5
1968

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ. Сын земли чужой (Окончание) 85

ПОВЕСТИ

ГЮНТЕР ГРАСС. Кошка и мышь 8

ПЬЕСЫ

ЕЖИ КРАСИЦКИЙ — Годовщина свадьбы (Телевизионная пьеса) 167

РАССКАЗЫ

ДЖОН ЧИВЕР. Геометрия любви 184

СТИХИ

КОГДА СРАЖЕНЬЯ — СМЫСЛ ЖИЗНИ (Стихи молодых поэтов Мозамбика) 3

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ. Поющее слово (Вступление Сергея Львова) 77

5

МАЙ

1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
Москва

КРИТИКА

М. КАГАН — Марксизм и эстетика. (К выходу в свет нового издания сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве».) 193

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО

Из переписки Р. Роллана и А. М. Горького 205

ПУБЛИЦИСТИКА

АНДЖЕЙ БРЫХТ — Мой Вьетнам 218

НАШИ ГОСТИ

А. СЛОВЕСНЫЙ — Писатель из «каменной страны» 232
Г. БОГЕМСКИЙ — «Партизанское кино» Дзаваттини» 234

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

В. ГОРЯИНОВ — Армандо Пиццинато . . . 237

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях зарубежных газет и журналов

И. БЕРНШТЕЙН — Не близнецы, но сестры 245
А. ЗВЕРЕВ — Вторая жизнь Роджека . . . 247
Н. НАУМОВ — Феноменология болтовни . . 250

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

УИЛЬЯМ КУПЕР — Эра острых ощущений . 254

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Г. Брейтбурд — Высокие страницы. ◇ Вильгельм Левик — Переводы Марины Цветаевой ◇ А. Тишков. Монография о Тао Юань-мине 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

А. Опульский — Поэт любви к своей земле. ◇ А. Мулярчик — Философия истории Торнтона Уайльдера 267

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 271

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 273

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА 287

На обложке: рисунок венгерского художника АРНОЛЬДА ГРОССА.

Когда сраженья — смысл жизни

СТИХИ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ МОЗАМБИКА

Перевод с португальского
ЛИДИИ НЕКРАСОВОЙ

Для нашей литературы всегда была характерна патриотическая направленность, вдохновленная освободительными идеями. Могучий революционный подъем народа вызвал бурный энтузиазм среди молодежи, и поэтому в сегодняшней литературе Мозамбика преобладают голоса молодых, голоса тех, кто в солдатской форме сражается против колонизаторов.

Появление большого количества молодых поэтов совпало с началом нашей вооруженной борьбы. Это она дала свободу еще неокрепшим голосам и призвала молодых бойцов нашей армии освобождения высказать свои надежды и желания. Сегодня, порой еще неумело выражая свои чувства и мысли, молодые поэты пытаются фиксировать события повседневной реальности нашей вооруженной борьбы. Молодые поэты утверждают новые позиции народа, решающего свои насущные проблемы.

Сегодня основной темой поэтических произведений является уже не разоблачение колониализма, как это было еще в недавние времена, а переустройство окружающего мира. И мы являемся свидетелями того, как молодая поэзия народа, ведущего революционную борьбу, прокладывает пути в лучшее будущее.

Молодые поэты живут вместе с народом, деля с ним все трудности и радости освободительной войны. Они все — солдаты. И поэтому вооруженная борьба является лейтмотивом их произведений. Арманду Гебуза, Жоан Мунгвамбе, Жоржи Ребелу и Сержиу Виейра, так же как многие другие, живут и пишут в то время, когда винтовка — гордость, когда сраженья — смысл жизни.

Такова современная поэзия Мозамбика. В рядах наших поэтов сегодня много людей разного возраста и разного характера, но одного направления. Революционного.

МАРСЕЛИНУ ДУШ САНТУШ

АРМАНДУ ГЕБУЗА

Что делать, Мать?

Что делать, Мать,
Когда есть души, зараженные
Мерзейшим тлением
Покорности?

Что делать, Мать,
Когда все дьявольские пытки перепробованы
На черном теле
Сына твоего?

Что делать, Мать,
Когда бесчисленные оскорбленья
Казнят жестоко
Истерзанное сердце Африки?

Что делать, Мать,
Когда звериное насилье
И днем и ночью совершается
Над дочерями юными твоими?

Что делать, Мать,
Когда вся низость человеческая,
Замаскированная под благодеяния,
Открыто брошена тебе в лицо?

Твои страданья

Твои страданья
И мои страданья
Соединятся и раздавят угнетенье.

Твои глаза,
В мои глаза взглянув,
Заговорят безмолвно о Восстанье.

Твои рубцы
И все мои рубцы
Напомнят нам о плети.

Моя рука,
С твоей рукою вместе,
Возьмется за оружье.

Мои усилья
И твои усилья
Врагов извечных наших победят.

И кровь моя,
С твоею кровью вместе,
Победу оросит, мой брат!

ЖОАН МУНГВАМБЕ

Кто виновен, мой брат?

Кто виновен, мой брат,
Что хижина развалилась?..
Кто виновен, мой брат,
Что человек на земле стонет?..
Кто виновен, мой брат,
Что ты жил под копьем страха?

Подними, брат, подними
Хижину, поверженную на землю,
Подними, брат, подними
Дух ослабевшего человека.

Подними, брат, подними
Над врагами копье страха,
Подними, брат, подними
Голос свой, рассвет возвещая,
Подними, брат, подними
Всех врагов наших на ноги,
Пусть они, перепуганные, бегут
При блеске грозных копий,
При виде нашего неудержимого шествия
К Независимости Национальной.

Можешь смеяться над стонами боли моей...

Можешь смеяться над стонами боли моей,
Можешь петь непонятные мне мелодии
И восторгаться ворованным изобилием,
Можешь бить меня
И убивать меня можешь,
Можешь летать высоко, словно птицы,
Можешь мчаться быстрей антилопы,
Можешь делать все, что делают твои братья,
Можешь делать все...

Чего ты не в силах сделать, шакал,—
Это понять нашу музыку,
Чего ты не в силах сделать, шакал,—
Это уничтожить в нас жажду свободы!

ЖОРЖИ РЕБЕЛУ

Свобода

Свобода,
Ты придешь когда-нибудь,
Знаю.
Но если придешь после того,
Как кончится время борьбы
моей
И жизни моей,—
Не забывай,
Что любил я тебя безгранично,
Что искал я тебя неустанно
В течение всей моей жизни
бесплодной.
Остановись на мгновенье
Возле моей могилы:
Даже мертвый,
Я почувствую твой приход,
Я узнаю тебя
И буду тогда спокоен.

Стихи солдата

Мать,
В руках у меня винтовка,
Твой сын,
Которого ты увидала когда-то в оковах
И плакала так,
Как будто эти оковы
Сковали и ранили
Руки твои и ноги твои,—
Твой сын сегодня свободен!
В руках у меня винтовка!
И эта винтовка
Разобьет все оковы,
Откроет все тюрьмы,
Убьет всех тиранов,
Вернет нашу землю народу.
Мать,
Как прекрасно сражаться

Во имя свободы!
В каждой пуле, которую я посылаю,—
Весть правосудья
И мечты вековые,
Они просыпаются, словно птицы.
Во время сраженья,
В разгаре боя,
Образ твой неизменно со мною,
И за тебя я тоже сражаюсь,
Для того чтобы не было слез
У тебя в глазах!

СЕРЖИУ ВИЕЙРА

Триптих о войне

I картина

Трупы забастовщиков Шинаваны
Протягивают братские руки
Крестьянам,
Убитым на плантациях Муеды,
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГОЛОД
ПОКИНУЛ ЛЮДСКИЕ ЖЕЛУДКИ.

Ноги шагают, карабкаются, идут в атаку,
Уши внимают новой науке
О неуловимой разнице
Между пулями, которые убивают,
И теми, которые только свистят,—
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЮДИ
НЕ ПОГИБАЛИ В ШАХТАХ.

Черноглазая молодежь повсюду,
На фоне зимних пейзажей,
Среди удивительных языков,—
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТИ
УМЕЛИ ЧИТАТЬ.

Рабочие с белых полей хлопка,
Осыпанные серой пылью цемента
Юноши
Ласкают шершавую округлость гранат,
Пересекают длинные коридоры университетов
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ СВОБОДНЫЙ НАРОД
ДРУЖИЛ С ДРУГИМ СВОБОДНЫМ
НАРОДОМ.

II картина

Надолбы и колючая проволока
На берегу морском,
На берегу песчаном,
Бесконечном, горячем...
Так было в Манге,
В Лугеле,

В Шипаманине
И на Замбези...
Ветер, и кулаки, и полиция
Терзают и обнажают
Людей и деревья...
Надолбы и деревья без листьев,
Загражденья из проволоки
И самолеты,
Производимые
От Сан-Франциско
До Федеративной Германии,
Для того, чтобы «террористы»,
патриоты,
бойцы,
националисты
не прошли...
Транспортные суда везут белых юношей,
Со взглядом тупым,
С улыбкой бездумной,
Их тошнит,
Но они улыбаются,
Едут они умирать на наших дорогах
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ОДИН НАРОД
И ДРУГОЙ НАРОД ОСТАВАЛИСЬ РАБАМИ.

III картина

Колышатся жаркие волны
Высокой травы в Токуане,
Сквозь них шагают вооруженные братья,
Окружая вражеские посты,
Освобождая пленных.

Яркие звезды сияют в ночи,
Распростертой над озером Ньясой,
Они бледнеют при вспышках взрывов
И опять возрождаются
Во тьме погасшего пламени.

Пыльные повороты дороги,
Утыканной указателями,
Раскаляются постепенно
От пылающих грузовиков.
Смех и радостные голоса
Сливаются
С грохотом сбитого самолета.

И ночью и днем повсюду,
Где существуют люди,
И улыбка ребенка,
И мягкий изгиб груди женщины,
ФРЕЛИМО *, ВЕСЬ МОЗАМБИК
СРАЖАЮТСЯ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИЛ НАРОД
И УМЕРЛА ВОЙНА.

---

* Фронт освобождения Мозамбика.

ГЮНТЕР ГРАСС

Кошка и мышь

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого
НАТАЛИИ МАН

I

Как-то раз — Мальке тогда уже умел плавать — мы лежали в траве возле площадки для игры в лапту. Мне бы следовало сходить к зубному врачу, но они меня не отпустили: заменить защитника — дело нелегкое. Зуб у меня гудел. Кошка по диагонали пересекала лужайку, и никто ничем в нее не бросал. Одни жевали травинки, другие общипывали метелочки со стебельков. Хоттен Зоннтаг протирал свою лапту шерстяным чулком. Мой зуб занимался бегом на месте. Матч продолжался уже два часа. Мы отчаянно продулись и надеяться могли только на реванш. Кошка была молоденькая, но уже не котенок. На стадионе гандболисты раз за разом забивали мяч в ворота. Мой зуб твердил свое. На гаревой дорожке бегуны на сто метров то ли репетировали старт, то ли просто нервничали. Кошка кружила по лужайке. В небе медленно тащился грохочущий трехмоторный самолет, однако заглушить мой зуб ему не удавалось. Черная кошка сторожа при площадке то тут, то там выставляла из травы свою белую манишку. Мальке спал. Крематорий между Объединенными кладбищами и Высшим техническим училищем работал при восточном ветре. Учитель Малленбрандт засвистел в свой свисток: аут. Кошка тренировалась. Мальке спал или казался спящим. Рядом с ним я мучился зубной болью. Кошка, тренируясь, подошла ближе. Она приметила кадык Мальке, потому что он был большой, непрестанно двигался и отбрасывал тень. Кошка сторожа распласталась между мной и Мальке, готовясь к прыжку. Мы образовали треугольник. Мой зуб смолк и прекратил бег на месте, верно, потому, что кадык Мальке стал мышью для кошки. Она была так молода, эта кошечка, а Маль-

кова штука так подвижна — короче говоря, она вцепилась ему в горло; а возможно, кто-нибудь из нас схватил ее и бросил ему на шею, возможно, даже, что это я со своей зубной болью или без оной нацелил кошку на его кадык. Иоахим Мальке закричал,— впрочем, он отделался небольшими царапинами.

Но я, подсунувший твой кадык этой и всем другим кошкам, теперь обязан писать. Даже если бы мы с тобой оба оказались выдумкой — все равно обязан. Тот, кто в силу своей профессии выдумал нас, заставляет меня снова и снова брать в руки твое адамово яблоко и переносить его в те места, где оно побеждало или оказывалось побежденным. Итак, для начала пусть мышь снует по отвертке, я же высоко над головой Мальке выпущу в задувающий рывками норд-ост стаю разъевшихся чаек, погоду назову летней и установившейся, предположу, что эти обломки некогда были тральщиком класса «Чайка», придам Балтийскому морю густой зеленый цвет бутылки из-под сельтерской, устрою так, что кожа Мальке — поскольку уже решено, что действие происходит в новом фарватере, юго-восточнее причального буя,— кожа, по которой еще ручейками стекает вода, покроется пупырышками, станет так называемой «гусиной кожей»; но не страх, а обычный озноб после слишком долгого купания будет сотрясать Мальке и делать его кожу шершавой.

Все мы, худые и длиннорукие, широко раздвинув колени, сидели на корточках на капитанском мостике, и никто из нас не подстрекал Мальке еще раз нырнуть в носовое помещение затонувшего судна и там, в машинном отделении, с помощью своей отвертки добыть винтик, колесико или еще какую-нибудь дребедень — медную дощечку, например, густо исписанную на польском или английском языке указаниями, как пользоваться тем или иным механизмом. Мы ведь сидели на торчавших из воды палубных надстройках бывшего польского тральщика класса «Чайка», сошедшего со стапелей в Модлине и достроенного в Гдыне, который год назад затонул юго-восточнее причального буя, следовательно вне фарватера, и потому ничуть не мешал движению судов.

С той поры чаичий помет всегда сох на рострах. Чайки, жирные, гладкие, с глазами как нашитые бусинки, летали при любой погоде, то низко над развалинами компасной будки, уже готовясь схватить добычу, то опять высоко и беспорядочно по какому-то им одним понятному плану, и в полете прыскали своим слизистым пометом, почему-то никогда не попадавшим в море, а всегда на рострах. Эти выделения затвердевали, обызвествлялись и комочками ложились друг подле друга, а не то скапливались в большие комья. Забравшись на тральщик, мы тотчас же начинали пальцами рук и ног сковыривать помет. Поэтому у нас и ломались ногти, а вовсе не оттого, что мы их грызли, вечно грыз ногти только Шиллинг, отчего пальцы у него всегда были в заусенцах. Длинные ногти и желтые от частого ныряния были лишь у Мальке; он их берег, не грыз, не отдирал ими чаичий помет. Вдобавок он один из всех никогда не ел этих комочков, тогда как мы, раз уж они оказались под рукой, жевали их, словно осколки ракушек, и сплевывали за борт пенную слизь. Вкуса они никакого не имели, хотя, пожалуй, отдавали гипсом, рыбной мукой,— вернее, всем, что ни приходило на ум: счастьем, девочками, господом богом. Винтер, а он очень недурно пел, как-то раз заявил: «А вы знаете, что тенора каждый день едят чаичий помет?» Чайки, случалось, на лету ловили наши плевки, не замечая подвоха.

Когда Иоахиму Мальке вскоре после начала войны стукнуло четырнадцать, он не умел ни плавать, ни ездить на велосипеде, да и адамова яблока, позднее приманившего кошку, у него еще не было. От гимнастики и плавания он был освобожден, потому что считался болезненным и умело это подтверждал соответствующими справками. Еще до того как Мальке научился хорошо ездить на велосипеде и до упаду смешил всех

своим напряженно неподвижным лицом, торчащими красными ушами и растопыренными коленями, которые дергались то вверх, то вниз, он задумал учиться плавать и записался в секцию плавания, но был допущен только к упражнениям на суше вместе с восьми- и десятилетними ребятишками. Ему еще и следующим летом пришлось довольствоваться тем же самым. Тренеру этого заведения в Брёзене, типичному пловцу с поджарым животом и тонкими безволосыми ногами, пришлось сначала муштровать Мальке на песке и лишь потом перейти к упражнениям на воде. Но когда мы день за днем стали делать большие заплывы и рассказывать всякие чудеса о затонувшем тральщике, это послужило для него могучим стимулом, и он за две недели стал пловцом что надо. Сосредоточенно и упорно кружил он между сходнями, большим трамплином и купальней и уже приобрел некоторый навык, когда ему вздумалось поупражняться в нырянии неподалеку от волнореза. Сначала он доставал со дна обыкновенные балтийские ракушки, затем нырнул за пивной бутылкой, вытащил ее из воды и зашвырнул довольно далеко. Видно, Мальке теперь уже регулярно удавалось доставать бутылку со дна, потому что, когда он стал нырять с нашей лодчонки, новичком его уже никак нельзя было назвать.

Он умолял нас взять его с собой. Мы, шесть или семь парней, собираясь в очередной заплыв, предусмотрительно плескались в мелководном квадрате семейной купальни, когда Мальке вдруг возник на сходнях мужской.

— Возьмите меня с собой. Вот увидите, я не отстану.

Отвертка болталась у него под горлом и отвлекала внимание от кадыка.

— Ладно, валяй!

Мальке поплыл и опередил нас между первой и второй отмелью. Мы и не пытались его догнать.

— Пусть его старается.

Когда он плыл на животе, отвертка — ее деревянная ручка была видна издалека — плясала у него между лопаток. Когда он переворачивался на спину, ручка подпрыгивала у него на груди, но ни разу целиком не закрыла злополучного хряща между подбородком и ключицей, который торчал над водой, как плавник, и оставлял килевой след.

Ну тут уж Мальке нам показал. Он нырнул со своей отверткой несколько раз почти подряд и вытащил на поверхность все, что можно было отвинтить или отковырнуть за двух- или трехкратное ныряние: какую-то крышку, куски опалубки, деталь генератора; еще он нашел трос и, прицепив к нему крюк, выудил из носовой части судна огнетушитель «Минимакс». Эта штука — разумеется, немецкого производства — и сейчас годилась к употреблению. Мальке выпускал пену, демонстрировал, как тушат пеной, пеной тушил стеклянно-зеленое море — и с первого же дня гигантски возвысился над нами.

Хлопья пены все еще лежали островками и долгими полосами на плоской, ровно дышащей зыби; они привлекли нескольких чаек, нескольких чаек отогнали, потом сбежались и понесли к берегу неаппетитное створоженное месиво из прокисших сбитых сливок. Мальке, видно, решил закончить свой рабочий день, прикорнув в тени компасной будки; и тут — нет, уже много раньше, еще до того, как заблудившиеся хлопья пены устало прилегли на мостике, трепеща от каждого легчайшего дуновения,— кожа у него покрылась той самой зернистой россыпью.

Мальке дрожал мелкой дрожью, его кадык сновал вниз-вверх, и отвертка пускалась в пляс над сотрясавшейся ключицей. Спина его — плоскость со светлыми пятнами, а пониже плеч красная и точно ошпаренная,— на которой по обе стороны позвоночника, ребристого, как стиральная доска, от свежего загара шелушилась кожа, тоже покрылась пупы-

рышками и подергивалась в приступах набегавшего озноба. Синяя полоска обвела его побелевший рот, обнаживший стучащие зубы. Большими выщелоченными руками он пытался удержать свои колени, скребшиеся о заросшую ракушками переборку.

Хоттен Зоннтаг — или это был я? — растер Мальке полотенцем.

— Смотри как бы не слететь с катушек, нам еще обратно плыть.— Отвертка стала вести себя разумнее.

Чтобы с мола доплыть до лодчонки, так мы называли затонувший тральщик, нам требовалось двадцать пять минут, от купален — тридцать пять, на обратный путь уходило добрых три четверти часа. Мальке, пусть даже вконец выдохшийся, всегда минутой раньше нас стоял на гранитном молу. Преимуществом первого дня он не поступился и в дальнейшем. Случалось, мы еще только подплываем к лодчонке, а он уже успел побывать под водой, и когда мы морщавыми, как у прачки, руками, все приблизительно в одно время, цеплялись за ростры и заодно за чаичий помет на мостике или карабкались по выступающим кранцам, он уже молча показывал нам какой-нибудь шарнир или другую, легко отвинчивающуюся штуковину, весь дрожа от озноба, хотя после второго, а может быть, третьего заплыва он начал густо и расточительно смазывать тело кремом «Нивея» — карманных денег у Мальке было предостаточно.

Мальке был единственным сыном.

Мальке был сиротой.

Отца Мальке не было в живых.

Мальке зимой и летом ходил в высоких старомодных ботинках, надо думать, унаследованных от отца.

На шнурок от высоких черных ботинок он и прицепил отвертку, которая болталась у него на шее.

Теперь мне сдается, что Мальке кроме отвертки еще что-то носил на шее, и на то у него были свои причины; но отвертка больше бросалась в глаза.

Наверно, уже давно, только мы не обратили на это внимания, наверняка и в тот день, когда Мальке стал учиться плаванию посуху и усердно ползал по песку, у него на шее была серебряная цепочка, а на ней серебряная католическая подвеска — богоматерь.

Никогда, даже на уроке гимнастики, Мальке не снимал этого украшения, а в наш гимнастический зал он заявился, едва начав заниматься в зимнем бассейне сухим плаваньем, и с тех пор ни разу уже ни от какого домашнего врача справок не приносил. Серебряная подвеска иногда исчезала в вырезе спортивной рубашки, иногда же пречистая болталась над ее красной нагрудной полосой.

Мальке не потел даже на параллельных брусьях. Он упражнялся и на коне, а на это отваживались еще только три или четыре парня из первой команды; оттолкнувшись от трамплина, согнутый в три погибели и тем не менее весь — сила и упругость, со своей цепочкой и выскочившей из-под рубашки богоматерью, он косо приземлялся на мате, поднимая облако пыли. Когда он делал на турнике обороты на подколенках — впоследствии он в неудобнейшем положении делал на два оборота больше, чем Хоттен Зоннтаг, лучший наш гимнаст,— итак, когда Мальке выдавал тридцать семь оборотов, амулет выбрасывало из-под рубашки, и серебряная богоматерь тридцать семь раз — всегда впереди его русых волос — перекувыркивалась через скрипящий турник, но все же не слетала с шеи и не вырывалась на свободу, так как кроме кадыка, тормозившего ее движение, еще и выпирающий затылок Мальке с отчетливой впадинкой под волосами не давал соскользнуть цепочке. Отвертка висела поверх богоматери, а шнурок, к которому она была прицеплена, местами прикрывал цепочку. Тем не менее этот инструмент не смог вытеснить амулет хотя бы уж потому, что ему с его деревянной рукояткой

доступ в гимнастический зал был запрещен. Учитель гимнастики, некий Малленбрандт, знаменитость в кругу гимнастов, так как он написал основополагающую книгу о правилах игры в лапту, запретил Мальке во время уроков гимнастики носить на шее отвертку. Против амулета он не возражал, потому что кроме гимнастики и географии преподавал еще закон божий и вплоть до второго года войны умудрялся собирать в гимнастическом зале остатки католического рабочего общества гимнастов для упражнений на турнике и на брусьях.

Отвертке только и оставалось что дожидаться в раздевалке поверх рубахи, покуда серебряная и довольно-таки стертая богоматерь, болтаясь на шее Мальке, помогала ему не сломать таковую во время самых рискованных упражнений.

Обыкновенная отвертка — прочная и дешевая. Мальке часто приходилось нырять раз пять или шесть, чтобы вытащить на свет божий узкую дощечку, не больше тех, что с выгравированным на них именем жильца двумя шурупами крепятся на квартирной двери, в особенности если винты на ней проржавели. Зато иной раз ему удавалось, нырнув всего два раза, достать большие пластинки с пространными надписями; пользуясь своей отверткой как ломом, он вытаскивал их вместе с шурупами из прогнившей деревянной обшивки, чтобы на мостике похвастаться своей добычей. К коллекционированию таких щитков Мальке относился небрежно, щедро дарил их Винтеру и Юргену Купке, которые собирали все, что отвинчивалось, не брезгуя даже щитками с названиями улиц и вывесками общественных уборных, домой же уносил лишь то, что ему особенно приглянулось.

Мальке не старался облегчить себе жизнь: покуда мы клевали носом на лодчонке, он работал под водой. Мы отковыривали чаичий помет, загорали дочерна, из русых становились соломенно-желтыми, Мальке же только обзаводился новыми солнечными ожогами. Мы лениво следили за движением судов севернее причального буя, а у него взгляд всегда был устремлен вниз — красноватые, слегка воспаленные веки с жидкими ресницами и глаза, кажется, голубые, становившиеся любопытными только под водой. Не раз Мальке возвращался без дощечек, без добычи да еще со сломанной или безнадежно согнутой отверткой. Показывая ее нам, он опять-таки производил впечатление. Жест, которым он швырял в море это орудие, сбивая с толку чаек, не выражал ни вялого разочарования, ни бессмысленной ярости. Никогда он не выбрасывал пришедший в негодность инструмент с наигранным или подлинным безразличием. Его жест говорил: погодите, скоро я вам покажу что-нибудь похлеще.

И вот однажды, когда в гавань вошло двухтрубное госпитальное судно, в котором мы после недолгих колебаний опознали «Кайзера», приписанного к восточно-прусскому военно-морскому флоту, Мальке без отвертки отправился в головной отсек тральщика, скрылся в отверстом зеленом люке носового помещения, двумя пальцами зажал ноздри, всунул голову с гладкими от плавания и ныряния, посредине распадающимися на пробор волосами, затем подтянул туловище и зад, слева от себя выпустил воздух и, обеими ступнями оттолкнувшись от краев люка, наискось пошел вниз, в сумеречно-прохладный аквариум, озаряемый лишь слабым свечением воды за открытыми иллюминаторами: нервозные колюшки, неподвижная стая миног, тихонько раскачивающиеся, но все еще прочно закрепленные матросские койки, заплесневелые, с мотающимися бородами водорослей, в которых кильки селили свою детвору. Редко-редко — отставшая от стаи навага. Об угрях разве что слухи. О камбале ни слуху ни духу.

Мы придерживали свои слегка дрожавшие колени, чаичий помет

у нас на зубах превращался в мокроту, беспокоились, ощущали усталость и некоторую заинтересованность тоже, считали военные катера в составе эскадры, не сводили глаз с труб госпитального судна, все еще вертикально выпускавших дым, искоса друг на друга поглядывали — что-то долго он пропадает; чайки кружили в воздухе, волны с плеском набегали на нос тральщика и разбивались о держатели демонтированного носового орудия, журчание слышалось за мостиком, где вода между вытяжками устремлялась вспять и упорно лизала все те же заклепки; известь под ногтями, зуд пересохшей кожи, мерцание моря, стук мотора по ветру, семнадцать тополей между Брёзеном и Глетткау; наконец он появился на поверхности, с иссиня-красным подбородком, с желтизной, разлившейся по скулам, головой с пробором посредине, вытеснил воду из люка, шатаясь, по колено в воде, схватился за поручни, встал на колени, бессмысленно вытаращил глаза — нам пришлось втащить его на мостик. Вода еще текла у него из носа и из уголков рта, а он уже показывал нам отвертку из целого куска стали. Английский инструмент, еще покрытый слоем салидола. На нем было выгравировано: «Шеффилд». Ни ржáвого пятнышка, ни зазубринки, капли воды на этой отвертке принимали шаровидную форму и скатывались вниз.

Эту тяжелую, я бы сказал, неистребимую отвертку Иоахим Мальке изо дня в день носил на шее больше года, даже когда мы уже не плавали на свою лодчонку или плавали лишь изредка. Он сделал из нее своего рода культ — или это потому, что он был католик? Перед уроком гимнастики, например, отдавал ее учителю Малленбрандту на хранение — видно, боялся воров — и таскал ее с собой даже в церковь. А Мальке не только по воскресеньям, но и в будни, еще до начала занятий, ходил к ранней обедне в церковь на Военно-морской дороге, пониже Новой Шотландии.

Ему, с его английской отверткой, до церкви было недалеко: пройти по Остерцейле и спуститься вниз по Беренвегу. Множество двухэтажных домишек, но также и виллы с двускатными крышами, с колоннами и шпалерными плодовыми деревьями. За ними — два ряда домов, расцвеченных или не расцвеченных водяными затеками. Справа — трамвайная линия делала поворот, его повторяли провода, подвешенные под обычно хмурым небом, слева — худосочные песчаные огородики железнодорожников, дачки и сарайчики для кроликов из черно-красной деревянной обшивки списанных товарных вагонов. За ними — сигнальные установки путей, ведущих в открытую гавань. Силосные башни, краны, двигающиеся или застывшие. И неожиданно красочные надстройки грузовых судов. Рядом два серых линейных корабля со старомодными башнями, плавучий док, хлебозавод «Германия»; и на небольшой высоте несколько чуть покачивающихся привязных аэростатов, наевших серебристое брюхо. Зато по правую руку, перед бывшей школой имени Елены Ланге, ныне школой Гудрун, заслоняющей железный хаос верфей и основание большого крана с горизонтальной стрелой,— отлично содержащиеся спортплощадки, свежепокрашенные ворота, белые линии штрафных полей, прочерченные на коротко подстриженном газоне,— в воскресенье желто-голубые будут играть против «Шельмюль-98»,— никаких трибун, но вполне современный высокооконный и светлый гимнастический зал, ярко-красную крышу которого странным образом оседлал просмоленный деревянный крест. Дело в том, что церковь Девы Марии пришлось соорудить в бывшем гимнастическом зале спортивного общества «Новая Шотландия», так как церковь Сердца Христова находилась слишком далеко и обитатели Новой Шотландии, Шельмюля и поселка между Остер- и Вестерцейле годами слали ходатайства в епископат в Оливе, покуда там

наконец не решились купить гимнастический зал, перестроить и освятить его.

Хотя церковь Девы Марии продолжала неоспоримо походить на гимнастический зал, несмотря на множество красочных и старинных икон и декоративных украшений, добытых из подвалов и кладовых чуть ли не всех церквей епископата, а также из частных коллекций,— даже запах ладана и восковых свечей не всегда, а полностью никогда не мог возобладать над былой вонью мела, кожи, пота гимнастов и гандболистов, и это сообщало ей нечто евангелически скаредное, фанатическую трезвость молельного дома.

В новоготической, построенной в девятнадцатом столетии из обожженного кирпича церкви Сердца Христова, в стороне от поселков и неподалеку от пригородного вокзала, Иоахим Мальке со своей отверткой выглядел бы нелепо и безобразно. У Святой девы Марии он спокойно и не таясь мог носить на шее свой высококачественный английский инструмент: эта церквушка, с тщательно вымытым линолеумом, покрывавшим пол, с квадратными матовыми светильниками под самым потолком, с хорошо пригнанными креплениями в полу, в свое время служившими опорой для турника, с железными, хотя и побеленными балками под обшитым досками бетонным потолком, к которым некогда были приделаны кольца, трапеции и с полдюжины шестов для лазания, несмотря на раскрашенные и позолоченные гипсовые статуи, пластично простертыми руками благословлявшие прихожан, была столь современна и холодно рационалистична, что стальная отвертка, которую молящийся или даже причащающийся гимназист счел необходимым нацепить на себя, не бросалась в глаза ни его преподобию Гузевскому, ни его сонному служке, которым частенько бывал и я.

Ерунда! От моего взора она бы уж не укрылась. Исполняя свои обязанности перед алтарем, даже во время обряда причастия я по разным причинам старался не выпускать тебя из виду; но ты на это и внимания не обращал. Отвертка на шнурке висела у тебя под рубахой, на которой проступали довольно приметные жирные пятна, неясно повторявшие очертания этого инструмента. Мальке преклонял колена у второй скамьи левого ряда, если смотреть от алтаря, и, широко раскрыв глаза,— сдается мне, светло-серые, нередко воспаленные от ныряния и плавания,— нацеливал свою молитву прямо на богородицу в алтаре.

...И вот однажды, теперь уже точно не помню, в какое лето — то ли во время первых летних каникул на лодчонке, вскоре после заварухи во Франции, то ли в следующее, в день, подернутый знойной дымкой, с толкотней в семейной купальне, с поникшими вымпелами, распаренными телами и усиленным товарооборотом в киосках с прохладительными напитками, с обожженными подошвами на кокосовых половиках перед запертыми кабинками, полными хихиканья, среди расшалившихся детей с их возней, пачкотней,— кто-то ногу порезал,— среди племени ныне уже двадцатитрехлетних, копошившихся под ногами озабоченно склонившихся взрослых,— трехлетний бутуз монотонно лупит по детскому жестяному барабану, превращая день в адскую кузницу. Тут уж мы не выдерживаем и плывем к нашей лодчонке; с пляжа в морской бинокль тренера — шесть все уменьшающихся голов, но один впереди, один первый у цели.

Мы бросились на овеянные ветром и все же раскаленные рострь в чаичьем помете, не в силах пошевелиться, тогда как Мальке уже два раза побывал внизу. Он вынырнул с добычей в левой руке; в матросском кубрике, где полусгнившие койки либо тихонько покачивались, либо все еще прочно висели на местах, в тучах всеми цветами отливающих колю-

шек, в густых лесах водорослей, среди снующих миног он рыскал и шарил и наконец нашел в куче хлама, заросшего илом, вещевой мешок матроса Витольда Душинского или Лишинского, а в нем бронзовую пластинку, на одной стороне которой, под маленьким и гордым польским орлом было выгравировано имя ее владельца и дата вручения, а на другой красовалось рельефное изображение усатого генерала. После того как мы протерли пластинку песком и размельченным чаичьим пометом, надпись на ней открыла нам, что Мальке вытащил на свет божий портрет маршала Пилсудского.

Две недели кряду Мальке лишь за такими штуками и охотился. Он нашел похожую на цинковую тарелку памятную медаль регаты 1934 года, состоявшейся на Гдыньском рейде, и там же, перед машинным отделением, в тесной и труднодоступной кают-компании, ту серебряную бляшку величиной с одномарковую монету с серебряным же ушком для ленточки, с вытертой до гладкости задней стороной, с богато профилированной и украшенной передней: четкий рельеф богоматери с младенцем.

Это было изображение, как явствовало из столь же рельефной надписи, прославленной матки боски Ченстоховской. Мальке не стал чистить серебро, предпочел сохранить черноватую патину, когда на мостике рассмотрел, что́ он извлек со дна, и не взял чистого наносного песка, который мы ему предлагали для этой цели.

Но покуда мы спорили, непременно желая, чтобы серебро заблестело, он уже опустился на колени в тени компасной будки и так долго вертел туда и сюда свою находку, покуда она не оказалась под углом, наиболее соответствовавшим его благоговейно потупленному взору. Мы смеялись, когда он, позеленевший и дрожащий, осенил себя крестным знамением,— кончики пальцев у него были выщелоченные, трясущиеся губы тщились двигаться, как то подобает в молитве, и за компасной будкой послышалось латинское бормотание. Я и поныне думаю, что это были слова из его любимого песнопения, того, что поется лишь раз в году — в пятницу перед Вербным воскресеньем: «Virgo virginum praeclara,— Mihi iam non sis amara...» *

Позднее, когда наш директор Клозе запретил Мальке являться на занятия с этой польской штукой на шее — Клозе усиленно занимался политической деятельностью и преподавал лишь от случая к случаю,— Мальке пришлось довольствоваться прежним амулетом и стальной отверткой под кадыком, который для кошки сошел за мышь.

Черно-серебряную богоматерь он повесил между бронзовым профилем Пилсудского и открыткой с портретом Бонте, героя битвы при Нарвике.

II

Культ богоматери — было ли это шутовством? Ваш дом стоял на Вестерцейле. Твой юмор, если ты им обладал, был весьма своеобразен. Нет, вы жили на Остерцейле. Все улицы этого поселка выглядели одинаково. Но даже когда ты ел бутерброд, мы покатывались со смеху. И дивились, что смеемся над тобой. Когда же учитель Брунис опрашивал своих учеников, кто какую намерен избрать профессию, и ты — в ту пору ты уже умел плавать — в ответ заявил: «Я хочу стать клоуном и смешить людей», в нашей четырехугольной классной комнате ни один человек не рассмеялся, а мне даже стало страшно, так как Мальке, во всеуслышание высказывая желание стать клоуном в цирке или еще где-нибудь, сделал до того серьезное лицо, что невольно возникло опасение: он и

* О дева, прекраснейшая из дев, да не причинишь ты мне больше страданий *(лат.)*.

правда будет пугать и одновременно смешить людей, пусть культом святой девы Марии, помещенным где-то между номером укротителя и акробатами на трапеции. Ну, а молитва на лодчонке — было это всерьез или тебе вздумалось подшутить над нами?

Он жил на Остерцейле, а не на Вестерцейле. Их домик стоял рядом, среди и напротив других таких же домиков, отличавшихся друг от друга разве что номерами да еще, пожалуй, гардинами разного рисунка и поразному повешенными, но уж никак не растительностью в узеньких палисадниках. К тому же в каждом палисаднике были скворечники на шестах и фигурки из обливной глины: лягушки, мухоморы или гномы. Перед домом Мальке сидела керамическая лягушка. Но и перед соседним домом и следующим за соседним сидели зеленые керамические лягушки.

Короче говоря, это был номер двадцать четыре, и если идти с Вольфсвега, то Мальке жил в четвертом доме по левой руке. Остерцейле, так же как и параллельная Вестерцейле, под прямым углом сходилась с Беренвегом, идущим параллельно Вольфсвегу. Тот, кто спускался с Вольфсвега на Вестерцейле, слева от себя за красными черепичными крышами видел фасад и западную сторону башни с оксидированным куполом. Тот, кто в этом же направлении шел вниз по Остерцейле, справа над крышами видел передний фасад и восточную сторону той же самой колокольни; дело в том, что церковь Сердца Христова стояла точно посредине между этих улиц на противоположной стороне Беренвега и на четырех своих циферблатах под зеленым куполом показывала точное время всему кварталу от площади Макса Гальбе до католической церкви Святой девы Марии, не имевшей часов, от Магдебургской до Позадовской улицы, позволяя рабочим, все равно евангелистам или католикам, служащим, продавщицам, ученикам народных школ и гимназистам, независимо от их вероисповедания, минута в минуту приходить на работу или в учебное заведение.

Из своего окна Мальке видел восточный циферблат башни. Под двускатной крышей меж слегка скошенных стен, с дождем и градом, стучащим над самой его головой, всегда причесанной на прямой пробор, устроил он свою комнатушку: мансарда, полная мальчишеской дребедени от коллекции бабочек до открыток с портретами популярных актеров, увешанных орденами пилотов-истребителей и генералов танковых войск; и среди всего этого олеография без рамки — Сикстинская мадонна с двумя толстощекими ангелами у нижнего края картины, вышеупомянутая медаль с вычеканенным профилем Пилсудского и священный амулет из Ченстохова рядом с фотографией командира нарвикской эскадрильи истребителей-бомбардировщиков.

В первое же посещение мне бросилось в глаза чучело снежной совы. Я жил неподалеку, но речь пойдет не обо мне, а о Мальке, или о Мальке и обо мне, но всегда в центре внимания будет Мальке, ведь это у него был пробор посредине, он носил высокие башмаки, у него на шее висел то один, то другой инструмент, предназначенный отвлекать вечную кошку от вечной мыши, он преклонял колена перед алтарем пресвятой девы Марии, он был ныряльщик, обожженный солнцем, и всегда, пусть с безобразно сведенным судорогой лицом, на несколько метров опережал нас, он хотел, едва выучившись плавать, когда-нибудь, скажем после окончания школы, сделаться клоуном в цирке и смешить людей.

У снежной совы тоже был важный пробор посредине и, совсем как у Мальке, страдальческая, исполненная мягкой решимости и словно бы пронзенная внутренней зубной болью мина спасителя. Эту хорошо препарированную и лишь слегка подрисованную птицу, когтями впившуюся в березовый сучок, ему оставил в наследство отец.

Центром его комнатушки для меня, старавшегося не смотреть ни на снежную сову, ни на олеографию мадонны, ни, наконец, на серебряную ченстоховскую бляшку, был граммофон, который Мальке, кропотливо трудясь, по частям вытащил на поверхность. Пластинок он под водой не нашел. Скорей всего, они растворились. Этот еще довольно современный ящик с заводной ручкой и мембраной он извлек из офицерской кают-компании, уже подарившей ему ту серебряную бляшку и несколько других мелочишек. Кают-компания помещалась в центральной части судна и, следовательно, для нас, даже для Хоттена Зонтага, была недоступна. Мы спускались только в носовую часть и не отваживались пробираться через темные, дрожащие от проплывающих рыб коридоры с тесными каютами по сторонам.

Незадолго до окончания первых летних каникул на лодчонке Мальке, нырнув не менее двенадцати раз, вытащил граммофон — как и огнетушитель — немецкого производства. Метр за метром проталкивал он ящик к люку и, наконец, с помощью того же крюка, которым в свое время выудил «Минимакс», поднял его на поверхность, а затем и на палубу.

Из прибитых волнами дощечек и пробки нам пришлось соорудить плот, чтобы переправить на берег тяжелый ящик с заводной ручкой. Плот мы толкали по очереди. Все, кроме Мальке.

Через неделю граммофон, починенный, смазанный, со свежебронзированными металлическими частями, уже стоял в его мансарде. Диск был обтянут новым фетром.

Мальке завел аппарат, и пустой ярко-зеленый диск закрутился. Мальке стоял, скрестив руки, рядом со снежной совой на березовом сучке. Я стоял спиной к Сикстинской мадонне и попеременно смотрел то на пустой, чуть покачивающийся на ходу диск, то в окно мансарды, поверх ярко-красных черепичных крыш в направлении церкви Сердца Христова с циферблатом на фасадной и с циферблатом на восточной стороне башни. Прежде чем пробило шесть, граммофон с затонувшего тральщика зашипел и остановился. Мальке несколько раз его заводил и требовал от меня деятельного участия в своем новом ритуале: множество звуков разного тембра, освященный холостой ход. В то время у Мальке еще не было пластинок.

Книги стояли на длинной прогнувшейся полке. Он ведь любил чтение, в том числе религиозное. Наряду с кактусами на подоконнике, моделью торпедного катера класса «Волк» и моделью вестового судна «Каприз» я должен упомянуть еще о стакане, стоявшем на умывальнике рядом с тазом, стакан всегда был мутный и сохранял следы сахара, насыпанного слоем толщиною в палец. В нем Мальке, не выливая вчерашнего осадка, по утрам размешивал сахар в воде, покуда она не превращалась в молочно-белый раствор, который должен был скрепить его от природы тонкие и рассыпавшиеся волосы. Как-то раз он предложил мне это средство, и я втер в свою шевелюру сладкую воду. Моя прическа и вправду застекленела от обработки этим раствором и продержалась до самого вечера. Но кожа под волосами зудела, руки стали липкими, как у Мальке, оттого что я проводил ими по волосам, проверяя, достаточно ли они подслащены,— но, может быть, я позднее придумал липкие руки, а они вовсе и не были липкими.

Внизу, в трех комнатах, из которых использовались только две, жила его мать и ее старшая сестра. Очень тихие при нем и неизменно боязливые, они гордились своим мальчиком: Мальке, судя по отметкам, был хорошим, хотя и не первым учеником. Его школьные успехи умалялись тем, что он был на год старше нас: мать и тетка на год позже отправили в народную школу слабого, по их мнению, болезненного ребенка.

Он не был тщеславен, зубрил умеренно, каждому давал списывать, никогда не ябедничал, не выказывал особого честолюбия, кроме как на

уроках гимнастики, питал явное отвращение к грязным привычкам пятиклассников и возмутился, когда Хоттен Зоннтаг, найдя презерватив под скамейкой в парке, принес его в класс насаженным на прутик, как на пику, и надел на ручку двери. Его будто бы выронил учитель Трейге, полуслепой старикан, которому давно пора было выйти на пенсию. Кто-то уже крикнул в коридоре: «Идет!» Мальке вылез из-за парты, неторопливым шагом направился к двери и обрывком бумаги снял презерватив с ручки.

Все смолчали. Он опять показал нам, каков он есть. И теперь я могу сказать: в том, что он не был тщеславен, умеренно зубрил, давал списывать всем и каждому, не выказывал честолюбия, разве что на уроках гимнастики, и не имел грязных привычек, он опять-таки был ото всех отличным Мальке, который добивался успеха как-то изысканно, но и судорожно в то же время; в конце концов он ведь стремился попасть на арену, а то и в театр, упражнялся в клоунаде, удаляя из класса оброненные презервативы, слышал тихий шепот одобрения и был без пяти минут клоуном, проделывая свои обороты на турнике, так что серебряная богоматерь вихрем кружилась в спертом воздухе гимнастического зала. Но всего больше лавров он пожинал в летние каникулы, на потопувшем судне, хотя одержимое его ныряние отнюдь не представлялось нам эффектным цирковым номером. Нам и в голову не приходило смеяться, когда он, посинелый и дрожащий, влезал на лодчонку и тащил со дна морского какую-нибудь ерунду, чтобы нам ее показать. Мы только восклицали, задумчиво и восхищенно: «Чудила ты, старик! Хотел бы я иметь твои нервы! Сумасшедший ты тип, Иоахим! Ну, как ты умудрился опять раздобыть такую штуку?»

Одобрение действовало на Мальке благотворно и угомоняло прыгуна у него на шее; одобрение, с другой стороны, давало новый импульс этому прыгуну. Ты не был хвастунишкой и никогда не говорил: «Попробуй-ка ты это сделать», или «Ну, кто из вас сумел бы, как я третьего дня, нырнуть четыре раза почти подряд, пройти до самого камбуза и унести оттуда консервную банку. Это определенно были французские консервы — лягушечьи тушки, на вкус вроде телятины, но у вас, видно, был понос, вы даже попробовать не захотели, после того как я уже полбанки выжрал. А потом я еще одну вытащил и даже консервный нож нашел, но эта вторая банка была испорчена».

Нет, Мальке так не говорил. Он совершал невероятное, например, раз за разом вытаскивал из бывшего камбуза лодчонки консервные банки, судя по штампованным надписям, английского или французского происхождения, сумел под водой «организовать» консервный нож, на худой конец еще годный к употреблению, на наших глазах молча вскрывал эти банки и поедал их содержимое — лягушачье мясо, как он полагал,— при этом его кадык проделывал стремительные гимнастические упражнения; кстати, я забыл сказать, что Мальке от природы был прожорлив, хотя и оставался худым, и вызывающе, но не назойливо протягивал нам банку, когда она была уже наполовину пуста. Мы благодарили и отказывались, так как Винтер от одного вида этих консервов залез в пустой кранец и, повернувшись лицом к гавани, долго блевал.

Конечно, Мальке и этим демонстративным обедом снискал наше одобрение, сделал жест, отклоняющий таковое, бросил остатки лягушатины и провонявший Corned beef * чайкам, которые еще во время его жранья беспокойно носились над вожделенной добычей. Наконец, он столкнул за борт жестянки, а вместе с ними чаек и почистил песком консервный нож; только этот нож он и решил сохранить. Так же, как английскую отвертку, как то один, то другой амулет, он стал носить его

---

* Говядину с кукурузой *(англ.)*.

на шее под рубашкой, правда, не постоянно, а только когда собирался в камбуз затонувшего польского тральщика за консервами — ни разу он не испортил себе ими желудка; этот консервный нож на бечевке под рубашкой наряду с разной другой ерундой являлся с ним в школу и даже к ранней обедне в церкви Пресвятой девы Марии. Это известно потому, что когда Мальке преклонял колена перед алтарем, откидывал голову и высовывал язык, а его преподобие Гузевский клал ему в рот облатку, служка, стоявший подле патера, заглядывал Мальке под воротник и видел, что у тебя на шее консервный нож болтается рядом с мадонной и жирно смазанной отверткой. И я восхищался тобой, хотя ты не прилагал к этому ни малейшего усилия. Нет, Мальке не был тщеславен.

Даже то, что осенью, когда он научился плавать, его вышибли из юнгфолька и сунули в гитлерюгенд из-за того, что он по воскресеньям несколько раз отказывался подчиниться приказу с утра вести свой отряд — он был юнгфюрером — в Ешкентальский лес на праздник, вызвало, по крайней мере у нас в классе, всеобщий восторг. Изъявление наших чувств он, как обычно, принял спокойно, даже несколько смущенно, продолжая и впредь, уже как рядовой член гитлерюгенда, отсутствовать утром по воскресеньям, только что его отсутствие в этой организации, охватывавшей всю молодежь, начиная с четырнадцатилетнего возраста, особенно не бросалось в глаза. Не в пример юнгфольку гитлерюгенд был организацией довольно разболтанной, и люди, подобные Мальке, могли незаметно в ней раствориться. К тому же он не был саботажником в обычном смысле этого слова, всю неделю регулярно посещал клубные вечера и кружки, старался быть полезным при все чаще устраивавшихся «особых кампаниях», как, например, сбор утиля и «зимняя помощь», поскольку звон монет, опускаемых в жестяную кружку, не имел касательства к воскресной ранней обедне. А так как перевод из юнгфолька в гитлерюгенд не был чрезвычайным происшествием, то член этой государственной молодежной организации Мальке остался в ней безвестным и бесцветным, тогда как в нашей школе после первого же лета на лодчонке за ним утвердилась слава, не дурная и не хорошая, но легендарная.

Видимо, наша гимназия, в сравнении с вышеупомянутой молодежной организацией, в конце концов больше значила для тебя, чем просто гимназия, с ее чопорными, но уже привычными традициями, с яркими фуражками, со школьным духом, нисколько не отвечающим твоим представлениям о жизненном призвании.

— Что это с ним?
— Говорят тебе: у него тик.
— Может быть, это связано со смертью его отца?
— А эта дребедень у него на шее?
— И вечная беготня в церковь.
— А он ведь ни в чох не верит.
— Куда там, для веры он слишком рассудочен.
— А страсть к барахлу и теперь еще эта история?
— Спроси ты его, ты ведь тогда бросил кошку...

Мы думали и гадали, но не могли тебя понять. До того, как ты научился плавать, ты был ничто, которое время от времени вызывали к доске, которое по большей части правильно отвечало и звалось Иоахим Мальке. Мне почему-то кажется, что в первом классе, а может быть и позднее, во всяком случае до того, как ты стал учиться плаванью, мы сидели за одной партой... или твое место было позади меня, или нет — ты сидел тоже на третьей парте, только в среднем ряду, а я поближе к окну, рядом с Шиллингом. Позднее говорили, что ты до пятого класса

носил очки, я их не заметил. Да и на твои высокие шнурованные ботинки я обратил внимание, только когда ты уже стал пловцом и шнурок от них нацепил на шею. Великие события тогда потрясали мир, но Мальке знал одно исчисление времени — до больших заплывов и после больших заплывов, потому что, когда повсюду, не вдруг, а мало-помалу, сначала на Вестернплатте, потом по радио, далее в газетах началась война, он, гимназист, не умевший ни плавать, ни ездить на велосипеде, ничего еще собой не представлял. А вот тральщик класса «Чайка», впоследствии давший ему возможность себя показать, уже играл тогда, пусть всего несколько недель, свою воинственную роль в Пуцигер-вик, в заливе и в рыбацкой гавани Хела.

Польский флот был не велик, но честолюбив, мы наперечет знали все его ультрасовременные, в большинстве случаев сошедшие со стапелей в Англии или во Франции военные корабли и могли без запинки и без ошибки выпалить все, что касалось их вооружения, тоннажа, скорости в узлах, точно так же, как могли отбарабанить названия всех итальянских легких крейсеров, всех старомодных бразильских линкоров и мониторов.

Со временем Мальке стал лидировать и в этой науке и мог почти что скороговоркой перечислить наименования японских эскадренных миноносцев самоновейшего класса «Казуми» выпуска тридцать восьмого года и менее скоростных судов модернизированного в двадцать третьем году класса «Асагао»: «Хумидуки», «Сатуки», «Иуки», «Хокаце», «Надакаце» и «Ойте».

С перечислением судов польского флота дело шло еще быстрее: два эскадренных миноносца «Блискавица» и «Гром» водоизмещением в две тысячи тонн со скоростью тридцать девять узлов в час, которые, однако, за два дня до войны снялись с якоря, вошли в английские гавани и были приняты в состав английского флота,— «Блискавица» существует и поныне. Она превращена в плавучий музей военно-морского флота, стоит в Гдыне и в порядке экскурсий посещается школьниками.

Тем же курсом на Англию лег и миноносец «Бурца» водоизмещением в полторы тысячи тонн, делавший тридцать три узла в час. Из пяти подводных лодок польского флота только одной «Вилк» да еще тысячастотонному «Орцелю» после рискованнейшего плавания без морских карт и без командиров удалось дойти до английской гавани. Подлодки «Рыс», «Збик» и «Семп» были интернированы в Швеции.

В начале войны в гаванях Гдыня, Пуциг, Хейстернест и Хела на якоре стоял лишь бывший французский крейсер, давно уже устарелый и служивший учебным судном, а заодно и жильем для портовых работников, так же как минный заградитель «Гриф», мощно вооруженное судно водоизмещением в две тысячи двести тонн, построенное на верфи «Нормандия» в Гавре и берущее на борт триста мин. Далее сохранился единственный миноносец «Вихрь», несколько торпедных катеров бывшего немецкого императорского флота и шесть тральщиков класса «Чайка» (ход восемнадцать узлов в час, носовое орудие — семь запятая пять сантиметров и четыре пулемета на кранцах), которые по официальным данным могли иметь на борту двадцать мин, а также ставили и убирали мины.

И один из этих тральщиков водоизмещением в сто восемьдесят пять тонн был построен специально для Мальке.

Морские бои в Данцигской бухте продолжались с первого сентября по второе октября. После капитуляции полуострова Хела чисто внешний результат этих боев оказался следующим: польские военные корабли «Гриф», «Вихрь», «Балтика», а также три судна класса «Чайка»: «Мева», «Яскулка» и «Цапля» — сгорели и затонули в гавани; немецкий миноно-

сец «Либерехт Маас» вышел из строя в результате прямого попадания, минный тральщик М-85 северо-восточнее Хейстернеста подорвался на мине польской подводной лодки, затонул и потерял треть своей команды.

Итак, единственными трофеями оказались три слегка поврежденных судна класса «Чайка». В то время как «Зурав» и «Чайка» вскоре уже несли службу под именем «Остхефт» и «Вестернплатте», третий тральщик «Рыбитва», после того как его отбуксировали из Хелы в новый фарватер, дал течь, накренился и стал дожидаться Иоахима Мальке, ибо это он следующим летом принес с него на поверхность медную дощечку, на которой было выгравировано «Рыбитва». Позднее рассказывали, что некий польский офицер и боцманмат, под немецкой охраной стоявшие у руля, последовав общеизвестному примеру «Скэйп флоу», пустили его ко дну.

По этой или иной причине он захлебнулся в стороне от нового фарватера и причального буя и не был поднят, хотя лежал довольно удобно на нескольких отмелях, и все последующие военные годы его палубная надстройка, остатки поручней, погнутые вентиляторы и крепления демонтированного носового орудия торчали над водой, сначала странно и чуждо, потом привычно, и служили целью тебе, Иоахим Мальке,— так же как боевой корабль «Гнейзенау», в феврале сорок пятого года потопленный у самого входа в Гдыньскую гавань, служил целью для польских школьников, хотя, конечно, неизвестно, был ли среди нырявших и обиравших «Гнейзенау» польских мальчишек кто-нибудь, кто нырял с такой одержимостью, как Мальке.

III

Красивым он не был. Ему следовало бы немного подправить свое адамово яблоко. Вся беда была в этом хряще.

Правда, он имел свои соответствия. Впрочем, что можно доказать ссылкой на пропорции? А с душой своей Мальке так меня и не познакомил. Ни разу я не слышал, о чем он думает. Вот и оставалась его шея да множество ее противовесов. То, что он таскал с собой в школу и в купальню большие свертки с бутербродами и во время уроков или перед тем как окунуться поедал хлеб, намазанный маргарином, только лишний раз напоминало о мыши; она ела с ним вместе и была ненасытна.

Теперь два слова о молитве, которую он нацеливал прямо на алтарь пресвятой девы Марии. Распятый спаситель не слишком его интересовал. Правда, непрестанное вверх-вниз на его шее не кончалось, полное затишье не наступало, когда он складывал кончики пальцев, но все же, молясь, он делал глотательные движения, как при замедленной съемке, и умел, чрезмерно стилизуя молитвенный жест, отвлечь внимание от лифта, который безостановочно сновал поверх воротника его рубашки, поверх побрякушек на веревочках, шнурках и цепочках.

Да и на девочек особого внимания он не обращал. Что, если бы у него была сестра? Мои кузины тоже не сумели его расшевелить. Его отношение к Тулле Покрифке в счет не идет, оно было совсем особого рода и в качестве циркового номера — он же хотел сделаться клоуном — в общем-то могло сойти; Тулла, скелетик с ногами как две тоненькие черточки, мало чем отличалась от мальчишки. Во всяком случае, эту хрупкую особу, которая плавала с нами, когда ей вздумается, в наше второе лето на лодчонке, нисколько не стесняло, если мы нагишом валялись на рострах, не зная, что с собой делать, и бережливо относясь к своим плавкам.

Лицо Туллы лучше всего было воспроизвести по способу совсем малых ребят: точка, точка, запятая, черточка. Казалось, у нее плава-

тельные перепонки между пальцами ног, так легко она лежала на воде. И вечно, даже на лодчонке, несмотря на водоросли, чаек и кисловатую ржавчину, от нее разило столярным клеем: отец Туллы столярничал в мастерской ее дяди. Она состояла из кожи, костей и любопытства.

Тулла Покрифке, на которую Мальке произвел наиболее сильное впечатление, некоторое время бегала за ним, на лодчонке всегда устраивалась поближе к компасной будке и не сводила с него глаз. Несколько раз она слезно к нему взывала, но он, не выходя из себя, отклонял ее домогательства.

— Возьми меня с собой туда, вниз. Одна я боюсь. Держу пари, что там мертвец.

Надо думать, из воспитательных целей Мальке взял Туллу с собой на нос затонувшего корабля. Он слишком долго пробыл с ней под водой, когда они всплыли, Тулла была серо-желтого цвета и бессильно висела у него на шее. Нам пришлось поставить на голову ее легкое, без округлостей тело.

После этого случая она еще только раза два-три приплывала на лодчонку. Хоть она и была девка что надо, не в пример своим подругам, но ее вечная трепотня о мертвом моряке все больше действовала нам на нервы. Это была ее любимая тема.

— Кто вытащит мне его наверх, того я пущу к себе,— посулила она.

Вполне возможно, что все мы — в носовом помещении, а Мальке — в машинном отделении, не признаваясь в том друг другу, искали полуразложившегося польского матроса, не затем, чтобы поразить нахальную девчонку, а просто так.

Мальке тоже ничего не нашел, кроме обросших водорослями лохмотьев, из которых врассыпную ринулись колюшки: чайки приметили их и пожелали друг другу приятного аппетита.

Нет, Тулла не слишком много значила для Мальке, хотя позднее, кажется, и сошлась с ним. К девчонкам он был равнодушен, даже к сестре Шиллинга. А на моих двоюродных сестер из Берлина смотрел рыбьими глазами. Если уж говорить правду, то мальчиками он больше интересовался; я не хочу этим сказать, что у него были извращенные наклонности. В те годы, когда мы только и знали что шастать от купальни к затонувшему тральщику и обратно, ни один из нас толком не знал, кто он: парень или девка. По правде говоря — сколько бы слухи или сведения «из достоверных источников» впоследствии этого ни опровергали,— из всех женщин для Мальке существовала только одна — католическая дева Мария. Во имя ее он таскал с собой в церковь все, что можно было, не скрываясь, нацепить на шею; ныряние, так же как и позднейшие, более воинственные его успехи,— все делалось для нее и еще, тут я поневоле сам себе противоречу, чтобы отвлечь внимание от кадыка. Наконец, можно привести и третий мотив, не навлекая подозрений ни на пресвятую деву, ни на мышь: наша гимназия, эта душная, непроветриваемая коробка, и прежде всего актовый зал, много значили для тебя, Мальке, и со временем заставили тебя совершить твой последний подвиг.

Сейчас уже пора сказать, какое лицо было у Мальке. Некоторые из нас уцелели в войну, живут в маленьких затхлых городках и больших затхлых городах, лысеют и кое-что зарабатывают на жизнь. С Шиллингом я беседовал в Дуйсбурге, с Юргеном Купкой в Брауншвейге незадолго до того, как он эмигрировал в Канаду. Оба сразу же начали с адамова яблока:

— Погоди, старина, что-то у него такое было на шее. И как-то раз мы взяли кошку и... Это, кажется, ты ее бросил ему на шею.

Пришлось мне его перебить:

— Я не то имею в виду, мне важно лицо.

Наконец мы сошлись на том, что глаза у него были серые или серо-голубые, светлые, но не блестящие и уж во всяком случае не карие. Лицо удлиненное, худое, скуластое. Нос не то чтобы очень большой, но мясистый, легко красневший на холодном ветру. О выпуклом затылке уже говорилось раньше. Относительно верхней губы Мальке мы с трудом пришли к согласию. Юрген Купка держался того же мнения, что и я: она была слегка вздернутая и не вполне прикрывала оба верхних клыка, которые росли не вертикально, а вкось — наподобие бивней. Тут нас вдруг взяло сомнение: мы вспомнили, что у маленькой Покрифке тоже была такая губа и из-под нее всегда виднелись клычки. Потом мы и вовсе растерялись: уж не смешали ли мы, чего доброго, Мальке с Туллой в вопросе о верхней губе. Может, это только у нее губа была вздернутая, а что она у нее была вздернутая, это точно.

Шиллинг в Дуисбурге — мы с ним встретились в привокзальной гостинице, потому что его жена была не охотница до незваных гостей — напомнил мне о карикатуре, на несколько дней переполошившей наш класс. Году так в сорок первом у нас появился долговязый парень, говоривший на ломаном немецком языке, но достаточно бойко, которого они вместе с его семьей переместили из Прибалтики, дворянин, неизменно элегантный, знал по-гречески, болтливый, что твоя книга, фамилии не помню, а по имени Карел. Он умел рисовать быстро-быстро на заданную тему и без оной: стая волков преследует запряженные тройкой сани, пьяные казаки, евреи точь-в-точь как в «Штюрмере», нагие девушки на львах, просто нагие девушки с длинными фарфоровыми ногами, всегда вполне благопристойные, зато большевики на его рисунках рвали зубами маленьких детей, Гитлер, наряженный Карлом Великим, гоночные автомобили, за рулем которых сидели дамы в длинных развевающихся шарфах; но всего лучше ему удавались карикатуры на учителей и соучеников, которые он набрасывал кистью, пером, иной раз красным карандашом на первом попавшемся клочке бумаги или мелом на доске; Мальке он нарисовал не красным карандашом на бумаге, а скрипучим мелком на классной доске.

Мальке был изображен в фас. В то время он уже носил кокетливую прическу на прямой пробор да еще закрепленную сахарной водой. Лицо его было передано через заостренный к подбородку треугольник. Рот горестно сжат. Никакого намека на выступающие из-под верхней губы клыки, которые производили бы впечатление бивней. Глаза — колючие точки под приподнятыми в муке бровями. Склоненная набок шея и чудовищный кадык. Вокруг страдальческого лика круглый нимб; Мальке-спаситель был великолепен и, конечно же, производил сильнейшее впечатление.

Мы ржали на своих партах и опомнились, только когда кто-то набросился на смазливого Карела имярек и едва не прикончил его возле самой кафедры, орудуя сначала кулаками, а потом, за минуту до того, как нам удалось растащить обоих, отверткой, сорванной с шеи. Это я стер губкой с доски твое изображение в виде спасителя.

IV

В шутку, а может, и всерьез: возможно, из тебя получился бы не клоун, а нечто вроде законодателя мод, потому что не кто иной, как Мальке, зимой, после второго лета на лодчонке, ввел в обиход так называемые «бомбошки» — два одноцветных или пестрых шерстяных шарика величиной с теннисный мяч на плетеном шнурке, тоже из шерсти, который

надевался под воротник рубашки, как галстук, и спереди завязывался бантом. Я произвел проверку: действительно, начиная с третьей военной зимы, и прежде всего среди гимназистов, эти шарики, или «бомбошки» — так мы их называли,— вошли в моду чуть ли не во всей Германии, но главным образом в Северной и Восточной. У нас их ввел Мальке. Не исключено, что Мальке и вправду был автором этого изобретения, во всяком случае он похвалялся тем, что упросил свою тетку Сузи изготовить «бомбошки», в которых и явился в школу, из остатков шерстяной материи, из тщательно промытых шерстяных ниток из штопаных-перештопанных носков его покойного отца.

Десятью днями позднее они лежали в галантерейных лавках, поначалу стыдливо и неуверенно, в картонных коробках около кассы, а вскоре уже были выставлены в витринах и продавались без ордера — это было очень важно, чтобы затем, уже без чьих-либо попечений начать свое победное шествие по Восточной и Северной Германии; их стали носить— у меня есть свидетели — даже в Лейпциге и в Пирне, а через несколько месяцев, когда Мальке уже от них отказался, отдельные экземпляры дошли до Рейнской области и Пфальца. Мне точно известен день, в который Мальке снял с шеи свое изобретение, и ниже я расскажу об этом.

Мы еще долго носили «бомбошки», собственно говоря, из протеста, так как наш директор Клозе объявил ношение таковых бабством, недостойным немецкого юноши, и запретил являться с этим украшением не только в классы, но даже и на школьный двор. Большинство выполняло приказ Клозе, зачитанный как циркуляр во всех классах, лишь во время его уроков. Папаша Брунис, отставной учитель, которого они во время войны снова поставили на кафедру, вспомнился мне в связи с «бомбошками»: его очень забавляли эти пестрые шарики, а раз или два — Мальке тогда уже перестал носить их — он подвязал «бомбошки» под свой стоячий воротник и в этом оформлении декламировал Эйхендорфа «Стрельчатые окна башен...», а может, и что-нибудь другое, но безусловно своего любимого Эйхендорфа. Освальд Брунис был заядлым сладкоежкой, и позднее его забрали прямо в школе под предлогом, что он присваивал витаминные таблетки, которые должен был распределять среди школьников, на самом же деле, вероятно, по политическим причинам. Брунис оказался масоном. Его учеников вызвали на допрос. Надеюсь, я ничего не сказал ему во вред. Приемная дочь Бруниса, прехорошенькая куколка, ученица балетной школы, разгуливала по улицам в трауре: они отправили его в Штутгоф, откуда он не вернулся,— темная и запутанная история, которая должна быть написана, но не мною и, конечно, не в связи с Мальке.

Вернемся к «бомбошкам». Разумеется, Мальке придумал их в угоду своему кадыку. На недолгий срок они, кажется, и вправду угомонили неугомонного прыгуна, но когда они вошли в моду и даже первоклассники стали носить их, на шее своего изобретателя они перестали бросаться в глаза. Я как сейчас вижу Мальке зимой сорок первого — сорок второго года, для него, вероятно, достаточно тяжелой, потому что и нырять было нельзя, и «бомбошки» отказали, вот он идет неизменно в величественном одиночестве по Остерцейле, поднимается по Беренвегу в направлении церкви Пресвятой девы Марии в своих высоких шнурованных ботинках, скрипящих на сером, посыпанном золою снегу. Без шапки. С торчащими красными и остекленевшими ушами. Волосы, застывшие от мороза и сахарной воды, от ветра распались посередине. Брови страдальчески сходятся над переносицей. Полные ужаса глаза, сейчас бесцветно-водянистые. Поднятый воротник пальто, тоже унаследованного от отца. Серый вязаный шарф, накрест сложенный под острым, я бы сказал, горестным подбородком и заколотый, чтобы не распахивался, огромной, издали заметной английской булавкой. Через каждые двад-

цать шагов он вынимает из кармана правую руку и щупает, все ли в порядке с шарфом у него на шее. Шутник — я видел в кино клоуна Крока и Чарли Чаплина, работавших с такими же огромными булавками; значит, Мальке упражнялся: мужчины, женщины, военные, приехавшие на побывку, ребятишки, в одиночку и целым клубком, вырастают из снега ему навстречу. У всех, и у Мальке тоже, дыхание белыми клубами улетает через плечо. И глаза встречных устремлены на комичную, очень комичную, до ужаса комичную английскую булавку, так, верно, думал Мальке.

В ту суровую и сухую зиму я со своими двумя кузинами, приехавшими из Берлина на рождественские каникулы, и с Шиллингом, для ровного счета, предпринял поход по замерзшему морю к нашей вмерзшей в лед лодчонке. Нам хотелось немного прихвастнуть и пощеголять перед девочками, хорошенькими, кудрявенькими и белокурыми, чистенькими и избалованными берлинской жизнью, чем-то необыкновенным, нашей лодчонкой, например. К тому же мы надеялись, что там нам удастся устроить с девчушками, очень застенчивыми в трамвае и на улицах, что-нибудь такое интересное, а что — мы еще сами не знали.

Мальке испортил нам все дело. Так как ледоколы много раз взламывали лед у входа в гавань, то льдины оказались отодвинутыми к лодчонке и, громоздясь одна на другую, одна в другую врезаясь, образовали испещренный трещинами, овеваемый ветром и потому поющий вал, который заслонил часть палубных надстроек. Мальке мы увидели, уже стоя на барьере высотой в человеческий рост и втаскивая на него девочек. Капитанский мостик, компасная будка за мостиком и все прочее, что уцелело, превратилось в конфету, покрытую бело-голубой глазурью, которую напрасно лизало окоченело-морозное солнце. Ни одной чайки. Они улетели подальше — поживиться отбросами с вмерзших в лед грузовых судов.

Разумеется, у Мальке был поднят воротник, шарф скрещен под самым подбородком, и булавка торчала в положенном месте. Голова с прямым пробором непокрыта, зато наушники, точь-в-точь как у мельников или ломовиков, круглые, черные, держащиеся на жестяной скобе, что, как поперечная балка, пересекала голову, прижимали его обычно оттопыренные уши.

Он нас не заметил, так как не покладая рук трудился на носу тральщика. Маленьким топориком он силился расколоть лед в том месте, где должен был находиться люк, ведущий в носовое помещение. Быстрыми короткими ударами пробивал круг, повторявший очертания крышки люка. Мы с Шиллингом соскочили с барьера, поймали на руки девочек и представили их ему. Перчаток ему снимать не пришлось. Топорик перекочевал в левую руку, а нам он протянул правую, горячую, всю в цыпках, которая, после того как мы ее пожали, тотчас же снова взялась за топорик. У девочек рты были удивленно приоткрыты. Маленькие их зубки пробирал холод. Дыханье обручем ударялось о теплые платки на головах. Широко открытыми глазами они смотрели на то место, где шла схватка между железом и льдом. Мы без дела стояли рядом и, хотя отчаянно злились на Мальке, завели разговор об его подводных подвигах, а следовательно, о лете:

— ...Притащил оттуда дощечки, металлические, ну и еще огнетушитель, консервы, хотите верьте, хотите нет, вместе с открывалкой, в них было человечье мясо; из граммофона, когда он его принес наверх, выползла какая-то тварь, а в другой раз...

Девчонки плохо во всем этом разбирались, задавали идиотские вопросы и говорили Мальке «вы». Он без передышки скалывал лед, покачи-

вал головой в черных наушниках, когда мы преувеличенно громко повествовали об его доблестях, но не забывал свободной рукой ощупывать шарф и английскую булавку. Когда мы окончательно выдохлись и уже только мерзли, он, почти не разгибаясь, стал после каждых двадцати ударов делать паузы, заполняя их скромным и деловым отчетом. Уверенно и в то же время сдержанно говорил он о разных незначительных событиях в своей жизни пловца и ныряльщика, но ни словом не обмолвился об отважных подводных экспедициях — больше распространялся о своей работе, чем о приключениях в мокром чреве затонувшего тральщика, и все глубже по кругу врубался в лед. Не то чтобы мои кузины были потрясены Мальке — для этого он был слишком вял в выборе слов и неостроумен. К тому же обе девчонки никогда еще не имели дела с человеком в черных дедовских наушниках... И все-таки мы с Шиллингом стояли как неприкаянные. Маленьких продрогших и смущенных мальчиков, у которых текло из носу, сделал из нас Мальке. И девчонки на обратном пути разговаривали с нами свысока.

Мальке остался: хотел прорубить отверстие и убедиться, что выбрал правильное место, над самым люком. Он, правда, не сказал: «Погодите, пока я доберусь до цели». Но когда мы уже стояли на ледяном валу, задержал нас на добрых пять минут — вполголоса и не обращаясь к нам, а глядя на суда, вмерзшие в лед на рейде, обронил несколько слов.

Он просил нас помочь ему. Или то был вежливо отданный приказ? Во всяком случае, нам предлагалось слить свою жидкость в пробитый им желоб и теплой мочой растопить или, по крайней мере, размягчить лед. Прежде чем я или Шиллинг успели сказать: «Фиг тебе» или «Мы уж по дороге сюда облегчились», мои кузины услужливо захихикали: «Хорошо, хорошо, только вы отвернитесь, и вы тоже, господин Мальке».

После того как Мальке показал им, куда присесть (струя должна попадать в одну точку, иначе все это ни к чему, пояснил он), мы трое вскарабкались на вал и стали смотреть в сторону берега. В то время как за нашими спинами под двухголосое хихиканье и шушуканье шуршала двойная струя, мы не сводили глаз с Брёзена, где все кишело, как в муравейнике, и с заледенелых сходен вдали. Семнадцать тополей приморской аллеи стояли семнадцать раз засахаренные. Золотой шар на верхушке памятника павшим воинам, возвышавшийся над Брёзенской рощей, беспокойно подмигивал нам. Повсюду был воскресный день.

Когда лыжные штаны девочек опять влезли на положенное место и мы уже стояли у пробитого желоба, круг, им очерченный, еще дымился, и прежде всего те два места, которые Мальке предусмотрительно пометил топориком. Бледно-желтая вода в ямках, чуть потрескивая, уходила в снег. След ее приобретал желто-зеленый оттенок. Лед жалобно пел. Резкий запах долго стоял в воздухе, потому что ничто его не развеивало и ничего кругом не пахло, он еще усилился, когда Мальке стал топориком врубаться в образовавшееся углубление и выскреб оттуда, наверно, с ведро льдистого месива. А на отмеченных местах ему удалось пробуравить ходы и пробиться в глубину.

Когда в сторонке уже лежала куча размякшего и на морозе тотчас же опять затвердевшего льда, Мальке сделал две новые отметины. Девочкам пришлось отвернуться, мы расстегнулись и пришли на помощь Мальке, пробив ледяной покров еще на несколько сантиметров, но все же недостаточно глубоко. Сам он мочиться не стал, да мы его к этому и не побуждали, даже побаивались, что его подвигнут на это девчонки.

Едва мы справились со своим делом и прежде чем мои кузины успели открыть рот, Мальке велел нам уходить. Уже стоя на валу, мы оглянулись; он натянул свой шарф вместе с английской булавкой, не обнажив при этом шеи, на подбородок и на нос. Шерстяные шарики, или «бомбошки», в красную и белую крапинку выскочили наружу. Он уже опять

работал топориком в той вмятине, что шептала о нас и о девочках, гнул спину за летучей пеленой прачечного чада, в котором ворочалось солнце.

На обратном пути только о Мальке и было разговоров. Обе девчонки попеременно или в один голос задавали вопросы, но у нас не всегда находились ответы. И лишь когда младшая пожелала узнать, почему он так высоко под подбородком повязывает шарф, Шиллинг воспользовался случаем и начал описывать его кадык так, будто речь шла о зобе. Он делал подчеркнутые глотательные движения, пародировал жующего Мальке, сдвинул на затылок свою лыжную шапчонку, пальцами провел по волосам, устроив себе нечто, намекающее на прямой пробор, и, рассмешив девочек, наконец, добился того, что они заявили: у этого чудака Мальке, видно, не все дома.

Несмотря на эту маленькую победу, одержанную за твой счет — я тоже внес свою лепту и в лицах изобразил твое отношение к пресвятой деве Марии,— мои кузины неделю спустя уехали обратно в Берлин, и мы, не считая обычного тисканья в кино, так и не сумели сделать с ними что-нибудь интересное.

Не могу умолчать о том, что на следующее утро в довольно ранний час я поехал в Брёзен, среди плотного берегового тумана пустился в путь по льду, едва не пробежал мимо лодчонки, прорубь над носовой частью нашел готовой, тонкий слой льда, затянувший ее за ночь, не без труда расковырял каблуком и отцовской тростью с железным наконечником, которую я предусмотрительно прихватил с собой и просунул сквозь льдистое месиво в черно-серую дыру. Она ушла по самый набалдашник, темная жижа уже замочила мне перчатки, когда конец ее ткнулся в верхнюю палубу — нет, сначала она погрузилась в бездну, и лишь когда я повел ею вдоль проруби, она на что-то наткнулась нижним концом; итак, я водил железом по железу. И правда, это оказался открытый люк в носовое помещение, точно под прорубью, как одна тарелка под другой. Вранье! Не «точно как». «Точно как» вообще не существует. Или отверстие люка было немножко больше, или чуть побольше была прорубь. Во всяком случае, довольно точно под нею открылся люк, и я чуть не захлебнулся от сладостной гордости за Мальке. Право же, в тот момент я с удовольствием подарил бы тебе свои наручные часы.

Добрых десять минут я просидел на круглой крышке люка, покрытой льдом не меньше чем на сорок сантиметров. В нижнюю треть ледяного пласта вмерз вчерашний нежно-желтый след мочи. Нам разрешено было помочь Мальке. Но он и в одиночку прорубил бы эту дыру. Выходит, что он может обойтись без публики? Есть, значит, что-то такое, что он бережет про себя? Ведь никто, даже чайки, не восхитился бы твоей прорубью над люком, если бы я не пришел сюда тобою восхититься.

У него всегда была публика. Если я сейчас скажу: даже когда он один прорубал круг на обледенелой лодчонке, дева Мария была возле него, она восхищалась им, она смотрела на его топорик,— то церковь, собственно говоря, должна была бы признать, что я прав. Но даже если церковь и не смеет видеть в деве Марии неизменную зрительницу всех его фокусов, она сама тем не менее внимательно к нему приглядывалась, уж я-то могу это сказать: как-никак я был служкой, сначала при его преподобии Винке в церкви Сердца Христова, потом при Гузевском в церкви Пресвятой девы. Я еще отправлял эти обязанности, хотя уже давно, видимо с возрастом, утратил веру в чудо. Мне нравилась вся эта возня. И я старался. Не позволял себе выпивать, как другие. Никогда я не был убежден, да и по сей день не знаю, может, все-таки есть что-то за этим, или над этим, или в дарохранительнице... Во

всяком случае, его преподобие Гузевский бывал доволен, когда я, как один из двух служек ему ассистировал, потому что я между освящением причастия и пресуществлением не обменивался сигаретными этикетками, как другие мальчишки, никогда не вовремя не трезвонил в колокольчик и не подторговывал церковным вином. А ведь со служками хлопот не оберешься: мало того, что они раскладывают на ступеньках алтаря всякий мальчишечий хлам, бьются об заклад на монеты или отслужившие шарикоподшипники, они еще спрашивают друг друга во время предалтарной молитвы и между латинскими текстами о плавающих или уже пущенных ко дну кораблях: Introibo ad altare Dei... — «В каком году спущен со стапелей крейсер «Эритрея»? — «В тридцать шестом».— «Его особенности?» — Ad Deum, qui laetificat juventutem meam... — «Единственный итальянский крейсер для операции в восточной Африке».— «Водоизмещение?» — Deus fortitudo mea...— «Две тысячи сто семьдесят две тонны».— «Сколько узлов в час?» — Et introibo ad altare Dei... — «Не знаю».— «Орудия?» — Sicut erat in principio...— «Шесть пятнадцатисантиметровых четыре семь запятая шесть... Вру!» — Et nuns et sempor...— «Верно!» — «Как называются немецкие учебные суда?» — Et in saecula saeculorum. Amen.— «Они называются «Ворчун» и «Ворон».

Со временем я перестал регулярно служить в Пресвятой деве, являлся, только когда Гузевский посылал за мной, потому что его мальчишки либо отправлялись в воскресные походы, либо были заняты сбором вещей для «Зимней помощи».

Все это говорится лишь для того, чтобы описать мое место перед главным алтарем, так как оттуда я наблюдал за Мальке, когда он преклонял колена перед алтарем пресвятой девы Марии. А уж как он молился! Глаза вытаращенные. И все больше стекленеющие. Скорбный рот в непрестанном движении, без интерпункции. Так равномерно вбирают воздух выброшенные на берег рыбы. Эта картина изображена для доказательства того, сколь самозабвенно умел молиться Мальке. Когда его преподобие Гузевский и я захлопывали требник и подходили к Мальке, который, если смотреть с алтаря, стоял на коленях в левом приделе, мы видели человека, забывшего обо всем: шарф с гигантской английской булавкой валялся на полу, глаза были неподвижны, голова с пробором посередине откинута назад, язык высунут. И в этой позе мышь становилась до того явной, что я мог бы схватить рукой беззащитного зверька. Возможно, Иоахим Мальке замечал, что аффектированность его поведения обнаружена, и вскакивал. Преувеличенно затрудненными глотательными движениями он старался привлечь к себе взор стеклянных глаз пресвятой девы, стоявшей сбоку. Потому что я не могу и не хочу верить, что ты хоть малейший жест сделал когда-нибудь не на публику.

V

В церкви Пресвятой девы я ни разу не видел его в «бомбошках». Он и вообще все реже носил эти шарики, хотя они только-только входили в моду среди гимназистов. Изредка, когда мы втроем стояли на школьном дворе все под тем же каштаном и перекидывались словами относительно этих шерстяных финтифлюшек, Мальке снимал с шеи «бомбошки», но лишь для того, чтобы после звонка в классы снова надеть их за неимением лучших противовесов.

Когда впервые случилось, что один бывший ученик и абитуриент нашей школы вернулся с фронта — по пути он еще побывал с официальным визитом в ставке фюрера — и посреди уроков вдруг прозвенел зво-

нок, призывавший нас в актовый зал, оказалось, что и он украшен все теми же вожделенными «бомбошками». Стоя перед тремя высокими окнами, уставленными крупнолистными растениями в горшках, и рассевшимся полукругом учительским персоналом, не на кафедре, а возле этого бурого деревянного ящика, молодой человек розовым нежным ртом бросал слова над нашими головами и пояснительно жестикулировал. Вдруг я заметил, что у Иоахима Мальке, который сидел передо мною и Шиллингом, уши сначала стали прозрачными, потом побагровели, он откинулся на спинку стула, долго теребил что-то на шее, давился и, наконец, швырнул под скамейку какой-то предмет — шерстяные черно-зеленые «бомбошки», подумалось мне. А тот у кафедры, лейтенант военно-воздушных сил, сначала почти неслышно открывавший рот, говорил с запинками, симпатично и неумело, часто краснея, хотя его слова никакого к тому повода не давали:

— ...это вам, ребята, не думайте, не охота на зайчишек — заприметил и давай пали. Бывает неделями — ничего. Но вот когда мы на канал вышли, я и думаю: если не здесь — значит, нигде. По-моему и получилось. В первый же вылет у нас перед самым носом откуда ни возьмись соединение истребителей, ну, доложу вам, и карусель пошла: то выше облаков, то под облаками — вираж за виражом. Я стараюсь набрать высоту, подо мной вьется тройка «спитфайеров», друг друга загораживают, э-э, думаю, комедия, если я с ними не справлюсь; пикирую на одного, он деру дает, едва я успел положить свою мельницу на левое крыло, вижу на визирном табло — второй взял курс на меня; я держу прямо на его пропеллер — либо он, либо я. Как видите, купаться пришлось ему, а я тем временем прикидываю, раз уж двоих гробанул, может, гробану и третьего, конечно, если горючего хватит. Они идут подо мной в разомкнутом строю, а я — хорошо еще солнышко мне в спину светит,— я наметил себе одного и неплохо с ним расправился; давай-ка, думаю, повторю этот номер — опять удача; до отказа выбираю на себя ручку, вдруг — откуда только он взялся — третий, стремительно снижается, похоже, я и его подбил; я за ним, почти инстинктивно, теряю его из виду — ушел в облака; вижу опять, еще раз жму и еще, а он уже барахтается в речке, да и я вот-вот искупаюсь. Ей-богу, не знаю, как мне удалось набрать высоту. Знаю только, что когда я дотянул до своего аэродрома — вам, наверно, известно, а может, вы в кинохронике видели, что мы покачиванием крыльев показываем число сбитых самолетов,— шасси у меня заклинило. Итак, я совершил свою первую посадку на брюхо, попозже в столовке ребята прикинули: я сбил шесть штук, не меньше, я, разумеется, с ними не считал, еще не успел опомниться, но радовался, конечно, а в четыре мы опять поднялись в воздух, короче говоря, все было почти как в детстве, когда мы в перемену на нашем милом старом дворе — спортплощадки ведь тогда еще не было — играли в ручной мяч. Может быть, господин учитель Малленбрандт вспомнит: я либо ни разу не забивал мяч в ворота, либо уж раз девять подряд. Так вот было и во второй вылет — к утренней шестерке прибавилась еще тройка. С девяти я быстро довел счет до семнадцати, но прошло не меньше полугода, прежде чем мне удалось добрать до сорока, а когда меня вызвали в штаб-квартиру фюрера, на моем счету было уже сорок четыре; на канале мы чуть ли не круглые сутки были в воздухе, но нам хоть бы хны, тогда как даже наземному персоналу ой-ой-ой как туго приходилось. Но для разнообразия надо рассказать хоть что-нибудь веселое: на любой авиабазе имеется собака. Как-то раз, очень уж хороша была погода, мы посадили в самолет нашего Алекса...

Так приблизительно высказывался увешанный орденами лейтенант, между двумя воздушными боями он всунул в качестве дивертисмента

историю о собаке Алексе, научившейся прыгать с парашютом, а также анекдотик об ефрейторе, который по тревоге всегда с запозданием выбирался из постели и потому не раз совершал боевые вылеты в пижаме.

Лейтенант смеялся, когда смеялись школьники и кое-кто из учителей позволял себе ухмыльнуться. Он окончил нашу школу в тридцать шестом году, а в сорок третьем его самолет был сбит над Рурской областью. Небольшого роста, с темно-каштановыми зачесанными назад волосами, он был довольно изящен и походил на кельнера из ночного ресторана. Произнося свою речь, он одну руку держал в кармане, но тотчас же вынимал ее, когда доходил до описания воздушного боя: чтобы проиллюстрировать таковой, нужны были две руки. Он тонко нюансировал свою игру; замедленный вираж каким-то образом воспроизводил плечами, не пускаясь при этом в объяснения, небрежно бросал наиболее характерные данной ситуации слова и превзошел самого себя, имитируя шум мотора от взлета и до посадки — он ревел, наполняя зал своим голосом, или уморительно заикался, последнее должно было означать, что мотор неисправен. По всей вероятности, он уже не раз выступал с этим номером в клубе своей авиабазы, тем более что слово «клуб» — «сидим мы спокойненько у себя в клубе и вдруг...», «только я собрался в клуб, как...», «...у нас в клубе висит...» — в его устах приобретало первенствующее значение. Но даже независимо от артистизма его рук и таланта звукоподражания, говорил он очень занимательно, хотя бы уже потому, что умел здорово поддеть кое-кого из учителей, в его времена носивших те же клички, что и теперь. В общем, он был мил, по-мальчишечьи проказлив, немножко кокетничал, но без всякой похвальбы, и неслыханные свои подвиги приписывал только везенью: «Я в сорочке родился, еще в школе, как вспомню историю с переходными отметками...»; отпустив школярскую шутку, он тотчас же воздал должное памяти троих своих одноклассников, которые, как он выразился, не могли же пасть понапрасну, но выступление свое закончил не именами троих павших, а чистосердечным признанием: «Верьте мне, ребята, тот, кто сражается в чужих краях, ничего так не любит, как вспоминать школьные годы!»

Мы долго аплодировали, орали и стучали ногами. Только когда ладони у меня уже огнем горели и стали как деревянные, я заметил, что Мальке ведет себя сдержанно и никаких признаков восторга не выказывает.

Директор Клозе перед всем залом очень уж сильно и долго — покуда не смолкли аплодисменты — тряс обе руки своего бывшего ученика. Затем, видимо, в знак признательности, взял его за плечи, вдруг отскочил от этого худощавого, тотчас же распрямившегося паренька и взошел на кафедру.

Речь директора была длинная. Скука расползлась от пышных растений в горшках до писанного маслом портрета на задней стене зала, изображавшего основателя гимназии некоего барона Конради. Лейтенант, казавшийся между учителем Брунисом и учителем Малленбрандтом еще тоньше, только и делал что разглядывал свои ногти. Мятно-конфетное прохладное дыхание Клозе, которое овевало все его уроки математики, подменяя собою дух чистой науки, не могло освежить высоченный зал. Слова едва-едва доносились до его середины: «Течтопридутнамнасмену — вэтотчас — странникомявишьсяты — нонасейразродина— иникогдамы — быстроупорножестко — чисто — ужеговорил — чисто — ктонехочеттогозаставим — вэтотчас — чистым — остаться — заключимсловамишиллера еслижизньюнерискнешь клавнойцелинедойдешь — асейчасзаработу!»

Нас отпустили, и мы двумя гроздьями повисли в слишком узких

дверях зала. Я оказался позади Мальке. Он вспотел, и его насахаренные волосы слипшимися копьями торчали по сторонам более не существовавшего пробора. Еще ни разу, даже в гимнастическом зале, я не видел, чтобы Мальке потел. Испарения трехсот гимназистов пробкой засели в выходах из зала. На шее Мальке два мускульных каната, идущих от седьмого шейного позвонка к выпуклому затылку, побагровели и покрылись капельками пота. Только у портальной двери среди гама первоклассников, немедленно затеявших игру в пятнашки, мне удалось догнать его. Я спросил в упор:

— Ну, что ты на это скажешь?

Мальке глядел прямо перед собой. Я попытался смотреть мимо его шеи. Между колонн виднелся гипсовый бюст Лессинга, но верх одержала Малькова шея. Спокойно и жалостливо, словно он собирался рассказывать о вечных недомоганиях своей тетки, прозвучал голос Мальке: «Теперь, чтобы украсить свой китель такой штуковиной, им приходится сбивать уже по сорок штук. Вначале, когда они расправлялись с Францией и потом ринулись на север, хватало двадцати, что, если и дальше так пойдет?»

Речь лейтенанта не пошла тебе впрок, иначе разве ухватился бы ты за столь дешевый эрзац? В те времена в витринах писчебумажных и мануфактурных магазинов навалом лежали круглые, овальные, а также испещренные дырками, светящиеся жетоны и пуговицы. Некоторые имели форму рыбы, другие, светясь впотьмах молочно-зеленым светом, повторяли контуры летящей чайки. Такие жетоны носили на отворотах пальто в основном пожилые господа и дряхлые старушки, боявшиеся с кем-нибудь столкнуться на затемненной улице; в продаже уже появились трости со светящимися полосами.

Ты не был жертвой противовоздушной обороны и тем не менее нацеплял по пять-шесть жетонов, сначала на отвороты пальто, а потом и на шарф: светящиеся стайки рыб, парящие чайки, букеты фосфоресцирующих цветов, а позднее, упросив тетку нашить тебе на пальто снизу доверху полдюжины пуговиц из светящейся пластмассы, принял обличье клоуна. Таким я видел тебя, вижу поныне, долго буду видеть, как ты идешь — идешь по Беренвегу, покуда еще длится зима, в полутьме, под косо падающим снегом, шагаешь в постепенно сгущающихся сумерках; сверху донизу и наоборот можно тебя исчислить: одна, две, три, четыре, пять, шесть тускло светящихся пуговиц — убогий призрак, могущий испугать разве что старух и ребятишек; ты силишься отвлечь людей от горя, и без того скрытого чернотою ночи, но ты, видно, думал: никакой черноте не поглотить этот перезревший плод, все видят, чуют, ощущают его, всем надобно его схватить, ибо он осязаем; хоть бы уж поскорей прошла эта зима: я хочу снова нырять, хочу быть под водой.

VI

Но когда пришло лето с земляникой, экстренными сообщениями и купальным сезоном, Мальке плавать не пожелал. В середине июня мы первый раз отправились на лодчонку. И особого удовольствия не получили. Нас раздражали пятиклассники, увязавшиеся за нами, в воде они суетились, приплыв на место, разлеглись на мостике, ныряли, вытаскивали на поверхность все, что можно было оторвать или отковырнуть. Если Мальке в свое время вынужден был просить нас: «Возьмите меня с собой, я уже научился плавать», то теперь мы с Шиллингом и Винтером атаковали его:

— Давай, давай с нами. Без тебя ничего не выйдет. Загорать и на лодчонке хорошо. А там, глядишь, наткнешься опять на какую-нибудь интересную штуковину.

Неохотно, после долгих отнекиваний вступил Мальке в теплую жижу между пляжем и первой отмелью. Он плыл без отвертки, вместе с нами, держался метра на два позади Хоттена Зоннтага, потом спокойно его обогнал и, кажется, впервые в жизни поплыл без судорожных движений, не брызгаясь. На мостике он уселся в тени компасной будки, и никакими силами нельзя было заставить его войти в воду. Он даже головы не повернул, когда пятиклассники нырнули в носовое помещение и вскоре возвратились с разными финтифлюшками в руках. А ведь он бы мог кое-чему поучить мальчишек. Некоторые даже просили его об этом, но он в ответ и бровью не повел. Мальке не сводил прищуренных глаз с открытого моря за причальным буем, и ничто не могло отвлечь его взор: ни входившие в гавань грузовые суда, ни суда, выходившие из гавани, ни соединения торпедных катеров. Волновали его, видимо, только подводные лодки. Время от времени далеко в море поднявшийся над водой перископ оставлял отчетливую пенную полосу. Семисотпятидесятитонные подлодки, к серийному выпуску которых приступила верфь в Шихау, совершали испытательные плаванья в бухте или за полуостровом Хела, погружались на глубоком фарватере, приходили обратно в гавань и разгоняли нашу скуку. До чего же красиво они всплывали. Сначала перископ. Не успевала вслед за ним показаться башня, как она уже выплевывала двух-трех моряков. Белоснежными ручьями стекало море с орудий, с носа и уже затем с кормы; из всех люков лезла команда, мы орали что было сил и махали руками — не уверен, что с лодки нам отвечали тем же, хотя во всех деталях вижу этот размашистый жест и поныне ощущаю его как напряжение плечевого сустава; но все равно, машешь ты ответно или безответно,— всплытие подводной лодки раз и навсегда будоражит сердце, один только Мальке не приветствовал их.

...Но однажды — это был конец июня, еще до летних каникул и до выступления лейтенанта в актовом зале нашей гимназии — Мальке вышел из своей излюбленной тени; один пятиклассник не всплывал и не всплывал из головного отсека. Мальке полез в люк и вытащил оттуда мальчонку. Он, оказывается, застрял перед входом в машинное отделение между труб и связок канатов. Два часа, сменяя друг друга, работали Шиллинг и Хоттен Зоннтаг под командой Мальке. Краска постепенно возвращалась на лицо мальчика, но плыть обратно он был не в силах, пришлось его тащить.

На следующий день Мальке уже опять нырял как одержимый, но без отвертки. Еще когда мы плыли на лодчонку, он взял прежний темп, опередил нас и успел побывать под водой, прежде чем мы вскарабкались на мостик.

Зима, обледенение и яростные февральские штормы доломали остатки поручней, снесли кранцы, сорвали крышу с компасной будки. Только затвердевший чаичий помет благополучно перенес зиму и заметно приумножился. Мальке ничего не приносил из своих подводных экспедиций, ни слова не отвечал на наши нескончаемые расспросы. Уже под вечер, после десяти- или двенадцатикратного нырянья, когда мы делали разминку, готовясь плыть обратно, он не вынырнул и всех нас вверг в отчаяние.

Если я сейчас скажу: пять минут отсутствия,— это ничего не будет значить; но после долгих, как годы, пяти минут, в течение которых мы глотали слезы, так что языки у нас вспухли и, сухие, ворочались в пересохших ртах, мы стали, один за другим, спускаться в нутро лодчонки.

В головном отсеке — ничего, одни кильки. Вслед за Хоттеном Зоннтагом я впервые отважился пролезть через водонепроницаемые переборки, пошарил, довольно, впрочем, поверхностно, в офицерской кают-компании, не выдержал больше и, уже чуть ли не лопаясь, ринулся к люку, потом снова нырнул, опять два раза пробрался через переборки и нырял еще с полчаса. Человек шесть или семь неподвижно лежали на мостике. Чайки описывали все более узкие круги; видно, что-то заметили. К счастью, с нами не было пятиклассников. Все молчали или вдруг начинали говорить, перебивая друг друга. Чайки прядали в сторону, возвращались вновь. Мы заготовляли слова для тренера, для матери Мальке, для его тетки и для директора Клозе, понимая, что допрос в гимназии неизбежен. Мне они навязали — я ведь был почти что соседом Мальке — посещение домика на Остерцейле. Шиллингу было поручено говорить с тренером и с гимназическим начальством.

— Если его не найдут, мы приплывем с венком и устроим поминки.

— Надо будет скинуться, с каждого не меньше пятидесяти пфеннигов.

— Мы сбросим венок за борт, а не то утопим его в люке.

— И еще мы будем петь,— сказал Купка; но глухой смех, раздавшийся после этого предложения, не исходил ни от одного из нас: кто-то смеялся во внутреннем помещении мостика. Покуда мы переглядывались, ожидая повторения смеха, он и вправду послышался вновь, теперь уже вполне обыкновенный и не глухой. Голова Мальке, мокрая, без следов пробора, просунулась в люк, дышал он сравнительно ровно, поглаживал обожженные солнцем места на лопатках и на плечах, и наконец сказал — не столько насмешливо, сколько добродушно-ворчливо:

— Вы что, уже сочинили надгробную речь, а меня в покойники записали?

Прежде чем мы поплыли назад — Винтер после этой жутковатой истории разразился истерическими рыданиями, и нам пришлось его успокаивать,—Мальке еще раз спустился во внутренние помещения лодчонки. И через четверть часа — Винтер продолжал всхлипывать — он опять появился на мостике; на нем были неповрежденные, судя по внешнему виду, разве что слегка потертые наушники, какие носят радисты. Оказывается, Мальке нашел проход в помещение внутри мостика, остававшееся над поверхностью моря и служившее раньше радиорубкой минного тральщика.

— Там даже пол сухой,— сказал Мальке,— вернее, чуть-чуть влажный.

Затем он признался, что вход в рубку обнаружил, высвобождая пятиклассника, застрявшего между труб и связок каната.

— Я хорошо его замаскировал. Сам черт не отыщет. Но и потрудиться пришлось здорово. Теперь он мой, этот чулан, зарубите себе на носу! Очень даже уютная комнатка. Можно в нее забиться в случае какой-нибудь опасности, да и техники там еще полно, передатчик и прочее. Надо бы все это наладить и использовать. При случае я попытаюсь.

Но Мальке ничего не наладил, да и не пытался наладить. А если тайком и ковырялся там внизу, то ничего у него не вышло. Несмотря на то, что он был довольно опытным радиолюбителем и даже знал толк в моделестроении, мысль его никогда не была направлена на технику; я не говорю уж о том, что нас неизбежно накрыла бы полиция или береговая охрана, если бы Мальке, починив передатчик, стал посылать в эфир сентенции собственного изобретения.

Вместо этого он изъял оттуда весь технический хлам — что́ подарил Эшу, что́ Купке, а что́ и пятиклассникам, себе же оставил только наушники, в которых и проходил, наверно, с неделю, потом он приступил к планомерному переустройству рубки и выбросил их за борт.

Книги — я уже не помню какие, кажется, «Цусима», роман о морской битве, один или два тома Двингера, еще что-то религиозное — он завернул в старые шерстяные одеяла и зашил в клеенку, промазав ее по швам варом, дегтем или воском, погрузил на плот из нескольких выброшенных волнами дощечек, который удобно было на плаву толкать перед собой, и с нашей помощью переправил на лодчонку. Помнится, книги и одеяла ему удалось вполне сухими водворить в бывшую радиорубку. Следующий транспорт состоял из восковых свечей, спиртовки, спирта, алюминиевой кастрюли, чая, овсяных хлопьев и сушеных овощей. Случалось, что он целый час торчал в своем чулане, ни слова не отвечая на отчаянный стук, которым мы пытались его оттуда выманить. Разумеется, мы им восхищались. Но Мальке это вряд ли замечал; его речь становилась все односложнее, он даже отклонил нашу помощь при транспортировке своих пожитков. Когда же он на наших глазах скатал в трубочку цветную репродукцию Сикстинской мадонны, знакомую мне по его комнатушке на Остерцейле, и засунул ее в отрезок металлической палки для гардин, залепив открытые концы пластилином, и так доставил мадонну на лодчонку, чтобы водворить ее в рубке, я уже знал, для кого он тратит столько сил, для кого стремится придать жилой вид этому чулану.

Репродукция, видно, не слишком хорошо перенесла морское путешествие, а может быть, бумагу покоробило в сыром помещении, куда почти не проникал свежий воздух. Так или иначе, но спустя несколько дней после водворения мадонны в рубке у Мальке уже опять что-то болталось на шее под самой ключицей — не отвертка, но серебряная бляшка с изображением так называемой черной богоматери из Ченстохова, на ней была петелька, через которую Мальке продернул черный шнурок. Мы уже многозначительно подняли брови, решив, что опять он затеял возню с этими церковными финтифлюшками, но Мальке исчез раньше даже, чем мы успели пообсохнуть на мостике; минут через десять-пятнадцать он появился снова уже без шнурка и бляшки и с довольным видом уселся на свое место за компасной будкой.

Он свистел. В первый раз я слышал, что Мальке свистит. Разумеется, свистел он не в первый раз, но я в первый раз заметил, что он свистит и, следовательно, складывает губы трубочкой; и только я, единственный католик на лодчонке — кроме Мальке, разобрался в его свисте. Он насвистывал один гимн деве Марии за другим, затем подбежал к остаткам поручней и, свесив ноги за борт, стал в этом своем назойливо-хорошем настроении отбивать такт по деревянной обшивке и потом, уже потише стуча, но не сделав ни малейшей паузы, пропел всю молитву Троицына дня «Veni, Sancte Spiritus» * и вслед за нею — я этого ждал — молитву, читаемую в страстную пятницу. Все десять строф от «Stabat Mater dolorosa» ** до «Paradisi gloria» *** и «Amen» **** он отбарабанил без запинки; я, некогда усердный служка, позднее, правда, лишь спорадически ассистировавший его преподобию Гузевскому, кое-как разбирал начальные слова строф.

А он продолжал посылать свою латынь высоко в воздух, где вились чайки, остальные же — Шиллинг, Купка, Эш, Хоттен Зоннтаг и все, кто еще был при этом,— встали, прислушались, пробормотали свое: «Эх, ты парень, парень!», еще: «Здорово это у тебя получается, дружище...» — и попросил Мальке повторить «Stabat Mater», хотя ничто не было им так чуждо, как латынь и церковные песнопения.

---

* Приди, святой дух *(лат.)*.
** Скорбящая матерь *(лат.)*.
*** Славься, рай *(лат.)*.
**** Аминь *(лат.)*.

И все же, думается мне, ты не собирался превратить радиорубку в часовню пресвятой девы. Барахло, которое туда сносилось, в основном к ней никакого отношения не имело. И хотя я не видел твоей кельи — нам попросту не удалось в нее проникнуть,— мне она представляется чем-то вроде уменьшенного издания твоей мансарды на Остерцейле. Только герань и кактусы, которые тетка, часто против твоего желания, ставила на подоконник и на многоступенчатую жардиньерку, не имели своего соответствия в радиорубке, в остальном переезд был вполне закончен.

После книг и кухонных принадлежностей под палубу перебрались модели авизо «Каприз» и торпедного катера класса «Волк», в масштабе 1 : 1250, собственноручно сделанные Мальке. К принудительному нырянию были приговорены также чернила, множество ручек, линейка, циркуль, коллекция бабочек и чучело снежной совы. Все упомянутые предметы обстановки, надо думать, приобрели довольно неприглядный вид в этом ящике с застойной водой. И больше всего, вероятно, пострадали от сырости мотыльки в застекленных коробках из-под сигар, привыкшие к сухому воздуху мансарды.

Но сознательная тяга к разрушению в этой бессмысленно затянувшейся игре восхищала нас не меньше, чем усердие, с которым Иоахим Мальке постепенно возвращал на бывший польский тральщик все, что два лета назад он сам с таким трудом демонтировал,— доброго старого Пилсудского, например, или указатели пользования механизмами, которые он снес в машинное отделение. Итак, несмотря на приставучих и ребячливых пятиклассников, Мальке снова подарил нам занимательное, более того, захватывающее лето на тральщике, для которого война длилась всего четыре недели.

К примеру: Мальке попотчевал нас музыкой. Граммофон, который он летом сорокового года, после того как мы с ним раз шесть-семь сплавали на лодчонку, с превеликим трудом вытащил из офицерской кают-компании, привел в порядок у себя дома и снабдил новым диском с наклеенным на него зеленым фетром, он теперь вместе с дюжиной пластинок переправил в качестве последнего груза в радиорубку и во время транспортировки, длившейся два дня, не сумев противостоять искушению, нацепил на шею заводную ручку на старом сапожном шнурке.

Граммофон и пластинки, видимо, неплохо перенесли путешествие через переборки в среднюю часть судна и оттуда наверх в радиорубку, ибо в тот самый день, когда Мальке закончил по частям осуществляемые перевозки, мы, к вящему своему удивлению, услыхали глухую, дребезжащую, неведомо откуда, но, надо думать, из внутренности тральщика доносившуюся музыку. Казалось, она вот-вот выворотит все заклепки и сорвет опалубку. Нас даже мороз подрал по коже, хотя солнце все еще освещало мостик косыми лучами. Разумеется, мы заорали:

— Давай еще! Пусть дальше играет! Поставь еще одну! — И вправду, услышали длинное, как жевательная резинка, и прославленное Ave Maria, угомонившее волнующееся море: без пречистой Мальке бы этого сделать не удалось.

А затем арии, увертюра — не помню, сказал ли я уже, что Мальке любил серьезную музыку? — во всяком случае, изнутри и снизу наверх донеслось нечто волнующее из «Тоски», нечто сказочное и таинственное из Хумпердинка и отрывок из симфонии с да-да-да-дааа, часто слышанной нами в концертах по заявкам.

Шиллинг и Купка требовали чего-нибудь позабористее; у Мальке, конечно, ничего такого не нашлось. Но когда он внизу поставил Зару, эффект был потрясающий. Ее подводный голос, можно сказать, уложил

нас на ростры и на бугристый чаичий помет. Теперь уже не помню, что́ она пела. Нам было все равно. Кажется, что-то из оперы, знакомой нам по фильму «Отчизна». Пела: «Ах, утратил я тебя». Плакала: «Ветер-сказкимне рассказывал». Прорицала: «Знаючудосовершится». Эта певица умела сетовать и умела заклинать стихии, она преподносила нам все сладостные мгновения, какие только есть на свете. Винтер всхлипывал, даже ревел в открытую. Но и другим тоже пришлось поработать ресницами.

А тут еще чайки. До отвала нажравшись пустоты, покуда там внизу Зара крутилась на пластинке, они все точно с ума посходили. Их пронзительный стеклорежущий крик — такой, верно, вырывается из душ почивших теноров — высоко взвивался над многократно повторенным и все же неповторимым, глубоким, как крепостное подземелье, сетованьем той, которую в годы войны любили на всех фронтах и на родине тоже, высокоталантливой, исторгающей слезы поющей кинозвезды.

Много раз, до того как пластинки вконец износились и из ящика вырывался уже только замученный хрип и скрип, радовал нас Мальке этим концертом. До сегодняшнего дня никогда не доставляла мне музыка бо́льшего наслаждения, хоть я и не пропускаю ни одного концерта в Шумановском зале, и едва у меня заведутся деньги, приобретаю долгоиграющие пластинки от Монтеверди до Бартока. Молчаливые и ненасытные, усаживались мы вокруг граммофона, который прозвали чревовещателем. Восхваленья нам уже на ум не шли. Правда, мы восхищались Мальке, но восхищенье вдруг оборачивалось своей противоположностью. Мы находили, что от него с души воротит. В другой раз, когда в гавань медленно входило грузовое судно с глубокой осадкой, мы его жалели, правда, умеренно. Мы и боялись Мальке, он ведь помыкал нами. Я стыдился показываться на улице вместе с Мальке. И я же гордился, когда сестра Хоттена Зоннтага или маленькая Покрифке встречала меня с тобой у входа в кино или на военном плацу. Ты был главной темой наших разговоров. Мы гадали: «Что он сейчас делает?» — «Пари держу, у него уже опять болит горло!» — «А я готов голову прозакладывать, он когда-нибудь повесится или невесть как далеко пойдет, а может, изобретет что-нибудь такое-этакое».

Шиллинг, например, говорил Хоттену Зоннтагу:

— Ну, скажи по чести, если бы твоя сестра гуляла с Мальке, в кино, например, ходила и вообще, что бы ты сделал — скажи по чести.

VII

Выступление усыпанного орденами капитан-лейтенанта и командира подводной лодки в актовом зале нашей гимназии положило конец концертам во внутреннем помещении бывшего польского тральщика «Рыбитва». Не будь этого капитана, пластинки и граммофон, конечно, еще поскрипели бы дня четыре; но он явился и, не всходя на нашу лодчонку, прекратил подводную музыку, дав новое, хотя и не радикально новое, направление всем разговорам о Мальке.

Капитан-лейтенант окончил школу году так в тридцать четвертом Поговаривали, что, прежде чем добровольно вступить во флот, он недолгое время занимался богословием и германистикой. Ничего не могу поделать — я обязан назвать его взор пламенным. Волосы густые, курчавые и жесткие, — словом, голова римлянина. Шкиперской бородки и в помине нет, но брови как два навеса. Лоб — нечто среднее между челом мыслителя и мечтателя, поэтому никаких поперечных морщин,

только две линии круто поднимаются от переносицы, словно в непрестанных поисках бога. Блики света играют на этой дерзостной выпуклости. Изящный заостренный нос. Рот, который он раскрывал для нас, мягко очерчен и явно говорлив. Актовый зал был переполнен — не только мальчишками, но и утренним солнцем. Мы пристраиваемся в оконных нишах. Кто, интересно, надумал пригласить два старших класса школы Гудрун послушать, что скажет этот мягкий говорливый рот? Девочки сидели на передних скамейках, им уже следовало носить бюстгальтеры, но они их не носили. Сначала Мальке не хотел идти, когда объявили доклад. Но я, сразу почувствовав, что моя возьмет, потянул его за рукав. Мальке дрожал рядом со мною в оконной нише — позади нас за стеклами на школьном дворе недвижно стояли каштаны, — покуда капитан-лейтенант не раскрыл свой говорливый рот. Ладони Мальке были крепко зажаты между колен, но дрожь не проходила. Наши учителя и с ними две учительницы из школы Гудрун расселись на дубовых стульях с высокими спинками и кожаными сиденьями, которые аккуратно расставил полукругом гимназический швейцар. Учитель Мёллер несколько раз хлопал в ладоши и мало-помалу добился тишины для директора Клозе. Позади девчонок с косами и конскими хвостами сидели четвероклассники, вооруженные перочинными ножиками. Некоторые девочки перекинули косы наперед. Четвероклассникам остались только конские хвосты. На сей раз Клозе произнес вступительное слово обо всех, кто на суше, в море и в воздухе за пределами отчизны; говорил он долго и безвдохновенно о себе и о студентах при Лангемарке, а на острове Эзель пал Вальтер Флекс — цитата: достигнув зрелости-остатьсячистым — добродетель мужчины. Потом он перешел то ли к Фихте, то ли к Арндту — цитата: лишьотебеитвоихдеяниях. Вспомнил образцовое сочинение то ли о Фихте, то ли об Арндте, которое капитан-лейтенант написал в старшем классе. «Один из нас, из среды, проникнутой духом нашей гимназии, и мы вслед за ним...»

Стоит ли говорить о том, как оживленно циркулировали записочки между нами в оконных нишах и старшеклассницами на скамейках? Разумеется, четвероклассники успевали нацарапать на них разные гадости. Я послал записку, сам не знаю, что в ней было, и не знаю, кому — Вере Плёц или Хильдхен Матуль, но ответа не получил. Мальке продолжал сжимать коленями ладони. Дрожь поутихла. Капитан-лейтенант на подиуме сидел, слегка стиснутый между старым учителем Брунисом, который, как всегда, без стеснения сосал конфеты, и доктором Штахницем, преподавателем латыни. В то время как вступительное слово подходило к концу, в то время как циркулировали наши записочки и четвероклассники сидели, вооружившись перочинными ножиками, в то время как взгляд фюрера на портрете встретился со взглядом написанного маслом барона фон Конради, а солнце выкатилось из актового зала, капитан-лейтенант еле заметным движением языка то и дело увлажнял свой говорливый рот, хмуро смотрел в публику, но старшеклассниц разглядывал с напряженным вниманием. Капитан-лейтенантская фуражка аккуратно лежит на сдвинутых коленях. Перчатки под нею. Парадная форма. Орден под самой шеей на неслыханно белой рубашке. Легкий поворот головы в сторону окна, орден его до известной степени повторяет. Мальке вздрогнул, подумал, что его узнали, но это не так. Через окно, в нише которого мы сидим, командир подводной лодки смотрит на запыленные неподвижные каштаны; о чем он думает, о чем думает Мальке, о чем Клозе во время своей речи, учитель Брунис, сосущий конфеты, о чем думает Вера Плёц с записочкой и Хильдхен Матуль, о чем думает он, он, Мальке, или тот, с говорливым ртом, гадал я тогда или гадаю теперь, ибо весьма поучительно было бы знать, что́ думает командир подлодки, когда

он вынужден слушать, когда взгляд его не устремлен в оптический прибор или на колышущийся горизонт, а повергает в смущение гимназиста Мальке; но он смотрел поверх мальчишеских голов на сухую зелень непритязательных дворовых деревьев и светло-красным языком обводил вышеупомянутый говорливый рот, потому что в этот момент Клозе, оперев слова на свое мятное дыханье, сделал попытку последнюю фразу дослать до середины зала:

— А теперь мы, оставшиеся на родине, со вниманием выслушаем то, что вы, сыны нашего народа, пожелаете рассказать нам о фронте, о фронтах.

Говорливый рот был обманчив. Капитан-лейтенант сначала сделал общий достаточно бесцветный обзор, какой можно найти в любом флотском календаре: задачи подводных лодок; немецкие подводные лодки времен первой мировой войны — «Веддиген», «У-9»; подводный флот общим водоизмещением в тринадцать миллионов брутто-регистро-тонн решает судьбу операции в Дарданеллах; наши первые двухсотпятидесятитонные подлодки — под водой работают электромоторы, на поверхности — дизели; произнесено имя Приен, позднее Приен, капитан первого ранга Приен, на своей «У-47» вбуравил в дно «Ройял оук» — все это мы знали, и про «Репульсу», и что Шухарт потопил «Courageous». А он все крутил да крутил свою надоевшую шарманку: «...судовая команда — это сообщество и содружество, вдали от родины нагрузка на нервы колоссальная, вы только представьте себе где-то посреди Атлантики или Ледовитого океана нашу лодку — банка с сардинами, тесно, сыро, жарко, целыми днями ни одного судна, пустота, наконец караван, усиленный конвой, все идет как по маслу, ни единого лишнего слова, а когда мы потопили танкер водоизмещением в семнадцать тысяч двести тонн... Тут я, хотите верьте, хотите нет, подумал о вас, дорогой доктор Штахниц, и как пошел спрягать, даже передатчика не выключив: qui quae quod, cuius cuius cuius... покуда наш старший механик, в свою очередь, не крикнул мне в передатчик: «Отлично, господин капитан-лейтенант! На сегодня можете быть свободны!» Но плаванье в водах противника это не только боевые действия, не только день за днем равнодушное море, да стук мотора и надо всем этим небо, небо до тошноты, а закаты бывают...»

Капитан-лейтенант с орденом под самой шеей, хоть и потопил судно водоизмещением в двести пятьдесят тысяч брутто-регистро-тонн, а также крейсер класса «Деспаг», и эскадренный миноносец класса «Трибаль», уснащал доклад не столько детальным изложением своих подвигов, сколько многословными описаниями природы, к тому же он пользовался смелыми сравнениями и говорил, например: «...ослепительно-белой пеною вскипает кормовая волна и слегка колеблющимся шлейфом из драгоценных кружев тянется за судном; а оно, как невеста, в пышной фате спешит навстречу смертоносной свадьбе».

Девчонки с косами захихикали, но следующее сравнение смахнуло невесту в небытие: «Такая подлодка напоминает горбатую акулу, а ее бушприт — лихо закрученные усы гусара». Вдобавок капитан-лейтенант умел так произносить технические термины, что они звучали как темные заклятия из сказок. Казалось, что доклад он читает скорее для своего прежнего немецкого учителя и поклонника Эйхендорфа папаши Бруниса, чем для нас, недаром Клозе помянул его блистательные школьные сочинения. «Водоотливный насос», рокочущим голосом произносил он, или «штурвальный». А слова «гирокомпас» и «репитер гирокомпаса» срывались с его уст, словно ошеломляющие вести. К тому же надо сказать, что мы давно освоили этот технически-морской воляпюк. Но он корчил из себя старую сказочницу и выговаривал «собачья вахта», «сферическая переборка», или всем известное выражение «мертвая

зыбь» так, что казалось, это таинственно прошептал добрый старый Андерсен или братья Гримм.

Становилось неловко, когда он начинал живописать закаты: «И прежде чем атлантическая ночь, словно пелена, сотканная из перьев ворона, опустится на нас... краски, каких мы сроду не видывали... апельсин стоит в небе, сначала мясистый, неправдоподобный, затем благоуханно-невесомый, темно-золотой по краям, как на картинах старых мастеров, вокруг нежно-перистые облачка; и нездешний свет разлит над медленно катящимися кровавыми волнами!»

Со своей жестяной блямбой на шее он заставлял греметь и шелестеть орган красок, переходя от водянистой голубизны через холодно глазированную лимонную желтизну к коричневатому пурпуру. Мак у него расцветал на небе. Облачка, сначала серебристые, мало-помалу тускнели. «Так исходят кровью птицы и ангелы!» — изрек его говорливый рот; после смело описанного явления природы у него из буколических облачков вырвался гидросамолет «сандерлэнд» и с ревом взял курс на подлодку, но ничего сделать не смог; после этого капитан, уже без сравнений, перешел ко второй части доклада, сухой и деловитой: «Сижу у перископа. Атака не удалась. Похоже, рефрижераторное судно зарывается кормой. Начинаем погружение — сто десять. Самолет мы запеленговали: сто семьдесят, такеборт десять, новый курс — сто двадцать, стук винтов затихает, опять становится громче, сто восемьдесят градусов, глубинные бомбы: шесть, семь, восемь, одиннадцать, погас свет, наконец включили аварийное освещение, и тут же подряд несколько сообщений по радио, эсминец замедляет ход. Новый курс — сорок пять градусов...»

К сожалению, за этим подлинно захватывающим дивертисментом тотчас же снова последовали описания природы такого характера: «Атлантическая зима» или: «Свечение воды в Средиземном море» и даже жанровая картинка: «Рождество на подводной лодке» с обязательной метлой, изображающей елку. Под конец он измыслил уже почти мистическое возвращение из победоносного похода, приплел к нему Одиссея и еще все, что полагается: «Первые чайки возвещают близость гавани».

Не знаю, заключил ли директор Клозе этот доклад привычными словами: «А теперь за работу!» или все хором пропели «Милынамбури!» Скорее мне вспоминаются приглушенные, но вполне почтительные одобрения да еще то, что девочки и косички понемногу начали вставать со скамеек. Я поискал Мальке глазами, но не нашел, только потом его голова с пробором посередине несколько раз мелькнула у правого выхода, но так как во время доклада у меня затекла нога, то мне не удалось сразу выбраться из ниши и пройти в вестибюль.

Наконец я натолкнулся на Мальке в раздевалке перед гимнастическим залом, но заговорить с ним мне не удалось. Покуда мы переодевались, начали циркулировать слухи, тут же и подтвердившиеся — нам выпала высокая честь: капитан-лейтенант испросил дозволения у своего бывшего учителя гимнастики Малленбрандта позаниматься вместе с нами в старом, милом его сердцу зале, несмотря на то что он, конечно, не чувствует себя в форме. Во время двухчасового урока, которым обычно заканчивались субботние занятия, он показал сначала нам, а потом и ученикам выпускного класса, приходившим ко второму часу, на что он способен.

Коренастый, с густой и темной растительностью на теле, хорошо сложенный, он взял у Малленбрандта традиционные красные трусики, белую рубашку с красной полосой на груди и буквой «С», вышитой черным на этой полосе. Во время переодевания школьники висли на

нем, осыпая его вопросами: «...можно посмотреть поближе? Сколько это продолжается? Ну, а если теперь... А вот приятель моего брата, он служит на торпедном катере, говорит...» Он всем отвечал терпеливо. Иногда смеялся, без причины, но заразительно. Раздевалка ржала; и только потому я и обнаружил Мальке: он не смеялся, а деловито складывал и развешивал свою одежду.

Свисток Малленбрандта позвал нас в зал на брусья. Урок вел капитан, заботливо опекаемый Малленбрандтом, следовательно, нам особенно напрягаться не приходилось: он хотел сам как можно больше нам продемонстрировать, среди прочего вращенье на подколенках и соскок ногами врозь. Кроме Хоттена Зоннтага конкуренцию выдержал один Мальке, но, право же, неохота было смотреть, до того некрасиво и сутулясь, с вывернутыми коленями, проделал он все это, включая и хват. Когда капитан начал с нами вольные упражнения, кстати сказать, тщательно отработанные, кадык Мальке все еще плясал сумасшедший танец. Во время прыжка через семь человек он боком упал на мат, видимо, подвернул ногу и со своим живчиком на шее присел в стороне возле шведской стенки; когда выпускники пришли ко второму уроку он, казалось, готов был провалиться сквозь землю и присоединился к ним, только когда мы стали играть в баскетбол против выпускного класса; раза три или четыре он забросил мяч в корзину, но тем не менее мы проиграли.

Наш новоготический зал производил весьма торжественное впечатление, тогда как церковь Пресвятой девы Марии в Новой Шотландии сохраняла характер вполне современного гимнастического зала, несмотря на раскрашенный гипс и пожертвованную доброхотами церковную утварь, которую его преподобие Гузевский велел расставить так, чтобы на нее падало как можно больше света из широких окон. Если там надо всеми таинствами царила ясность, то здесь мы проделывали свои гимнастические упражнения в таинственном сумраке: в нашем зале были стрельчатые окна, орнаментованные обожженным кирпичом, в котором глазированные розетки чередовались с фламбойянами. В то время как у Пресвятой девы жертва, пресуществление и причастие в ярком свете скорее походили на кропотливый и лишенный очарования производственный процесс — вместо гостии здесь вполне можно было бы распределять инструменты или, как некогда, гимнастические снаряды, клюшки, а не то эстафетные палочки, даже обыкновеннейшая жеребьевка двух волейбольных команд, которые энергичной десятиминутной игрой заканчивали урок гимнастики, производила в мистическом полумраке нашего зала торжественное и трогательное впечатление, вроде как посвящение в сан или конфирмация; а отход команд после жеребьевки на сумеречный задний план свершался словно бы в благоговейном смирении. Когда же день бывал ясный и солнечные лучи через листву каштанов на школьном дворе пробивались в стрельчатые окна, то в этом боковом свете упражнения на кольцах или на трапеции и вовсе производили необычайный и таинственный эффект. При некотором усилии я и сейчас вижу, как коренастый капитан-лейтенант в ярко-красных спортивных трусиках нашей гимназии легко и споро проделывает упражнения на раскачивающейся трапеции, вижу, как его босые ноги, безупречно прямо вытянутые, купаются в косых мерцающих золотом солнечных лучах, вижу, как его руки — он вдруг сделал вис на трапеции — хватаются за трепещущую золотой пылью воздушную дорожку; до того старомодным был наш спортивный зал, что даже в раздевалку свет падал через стрельчатые окна. Потому мы и прозвали ее ризницей.

Малленбрандт свистнул: семиклассники после игры должны были пропеть для капитана «Раннимутромвгорахмы» и потому были отпуще-

ны в раздевалку. Они опять повисли на госте. Только старшие вели себя менее назойливо. После того как капитан тщательно вымыл руки и подмышки над единственным нашим умывальником — душевых у нас не было — и стал быстро надевать белье, стянув гимнастический костюм, так что мы даже ничего не успели заметить, ему пришлось снова отвечать на вопросы мальчишек, что он и делал смеясь, добродушно и снисходительно; но вдруг между двух вопросов замолк: его руки неуверенно ощупывали одежду, искали что-то, сначала исподтишка, а потом и явно, повсюду, под скамейкой даже. «Минуту, ребята, сейчас вернусь на «мостик»,— и он, в синих, как море, брюках, не успев обуться, но уже в носках, стал протискиваться между школьниками, скамейками и звериным запахом нашего маленького зоосада. Воротник его рубашки был незастегнут, но уже поднят в ожидании галстука и ленточки с тем орденом, который я и назвать-то страшусь. На двери учительской висело недельное расписание уроков гимнастики. Он одновременно постучал и вошел.

Кто из нас заподозрил Мальке? Не поручусь, что эта мысль тотчас же у меня промелькнула. Нет, пожалуй, все-таки тотчас, но я, понятно, не крикнул на всю раздевалку: «Куда же это Мальке подевался?» Ни Шиллинг не крикнул, ни Хоттен Зонтаг, ни Винтер, Купка или Эш — никто; скорее все мы подумали на Бушмана, мальчонку, который даже после дюжины оплеух не мог бы согнать с лица прирожденную ухмылку.

Когда Малленбрандт в махровом купальном халате рядом с полуодетым капитаном оказался среди нас и прорычал: «Кто это сделал! Выходи!» — в раздевалке послышались голоса: «Бушман». Я тоже выкрикнул: «Бушман» и даже оказался в состоянии подумать: «Ну, конечно, это Бушман, кто же еще, спрашивается?»

Только снаружи, в области затылка, что-то начало у меня зудеть, покуда Бушман подвергался перекрестному допросу капитана и классного наставника выпускников. Зуд этот усилился в момент, когда мальчишка получил первую пощечину за то, что ухмылка не сошла с его лица во время допроса. И покуда я зрением и слухом ждал чистосердечного признания Бушмана, во мне от затылка кверху росла уверенность: «Эге-ге, да уж не сделал ли это некий имярек?»

Я уже не дожидался объяснений ухмыляющегося Бушмана, тем более что пощечины, которыми его щедро награждал Малленбрандт, выдавали неуверенность нашего учителя. К тому же он больше не говорил о пропавшем предмете, а рычал в промежутках между ударами:

— Перестань ухмыляться! Слышишь? Погоди, я еще вышибу из тебя эту ухмылку!

Но сделать это Малленбрандту не удалось. Не знаю, существует ли Бушман доныне, но если есть где-нибудь дантист, ветеринар или младший ординатор Бушман — Хейни Бушман собирался изучать медицину,— то это, конечно, ухмыляющийся доктор Бушман; потому что не может так быстро пропасть ухмылка — она переживает войны и девальвации, и даже в пору, когда лейтенант с расстегнутым воротничком дожидался конца некоего допроса, она уже торжествовала над пощечинами учителя Малленбрандта.

Украдкой — хотя все взоры были обращены на Бушмана — я оглянулся: где Мальке? Но не стал его искать, потому что даже спиной знал, где он возносит молитвы пресвятой деве. Уже одетый, вблизи от теснившейся толпы, но в сторонке он застегивал верхнюю пуговицу рубашки, которая, судя по покрою и полоскам, тоже была отцовским наследством. Застегиваясь, он силился запихать под пуговицу свою мету — кадык.

Не считая суетливого прыгуна на шее и механически работавшей челюсти, Мальке выглядел спокойным. Сообразив, что пуговицу на кадыке не застегнешь, он вытащил из кармана куртки, висевшей на гвозде, измятый галстук. Ни один человек в нашем классе не носил галстуков. В двух старших классах некоторые фаты нацепляли нелепые бабочки. Два часа назад, когда капитан делал с кафедры свой доклад, одухотворенный любовью к природе, Мальке еще сидел с расстегнутым воротничком; но в его нагрудном кармане уже комочком свернулся галстук, дожидаясь своего великого часа.

Галстучная премьера Мальке! Стоя в некотором отдалении перед единственным и к тому же пятнистым зеркалом раздевалки, просто так, для проформы, он чуть не задушил себя, повязывая вокруг шеи эту пеструю и, как мне сейчас кажется, довольно безвкусную тряпицу, наконец опустил воротничок, еще раз потеребил непомерно большой узел и сказал негромко, но достаточно весомо, так что его слова заглушили все еще продолжавшийся допрос и сухой звук пощечин, которые Малленбрандт, несмотря на заступничество капитана, продолжал отвешивать Бушману за ухмылку:

— Бьюсь об заклад, что это не Бушман. Кстати сказать, догадался кто-нибудь обыскать его одежду?

Слушатели тотчас же сгруппировались вокруг Мальке, хотя говорил он в зеркало: его галстук, новоизобретенный трюк, лишь позднее бросился в глаза, да и то не всем. Малленбрандт собственноручно перетряхнул вещи Бушмана и получил новый повод для битья по ухмыляющейся физиономии, так как в обоих карманах его куртки обнаружил надорванные пачки презервативов, которые Бушман в розницу продавал старшеклассникам: отец у него был аптекарь. Больше Малленбрандт ничего не нашел, капитан подумал минуту-другую, пристегнул свой офицерский галстук, пощупал пустое, еще недавно столь блистательно украшенное место и попросил Малленбрандта не принимать случившегося слишком близко к сердцу.

— Это дело поправимое. И мир, господин Малленбрандт, от дурацкой мальчишеской выходки не рухнет.

Тем не менее Малленбрандт, велев запереть гимнастический зал и раздевалку, сам с помощью двух старшеклассников принялся обыскивать наши карманы и все уголки обоих помещений, в которых вор мог бы укрыть свою добычу. Поначалу им еще весело помогал сам капитан, потом его разобрало нетерпение, и он сделал то, чего никто не осмеливался делать в раздевалке: курил сигареты одну за другой, швырял окурки на покрытый линолеумом пол и растаптывал их, он явно пришел в дурное настроение, когда Малленбрандт молча пододвинул ему плевательницу, годами бесполезно пылившуюся возле умывальника,— сейчас и она, в качестве возможного укрытия, подверглась обыску.

Капитан-лейтенант покраснел как школьник, вынул папиросу из своего говорливого рта и другую уже не закуривал, а скрестил руки на груди, затем стал нервно поглядывать на часы,— жестким боксерским движением он словно бы вытряхивал их из рукава, тем самым показывая, что спешит.

Он простился, уже натягивая перчатки, у двери, заметил, что ему неприятен как самый обыск, так и манера, в которой он производился, что он должен будет рассказать директору об этой прискорбной истории, ибо не может допустить, чтобы невоспитанные молокососы портили ему отпуск.

Малленбрандт швырнул ключ одному из старшеклассников, а тот был достаточно бестактен и не сразу открыл двери из раздевалки.

VIII

Дальнейшие следственные мероприятия заняли весь субботний вечер и ни к каким результатам не привели. Мне запомнились лишь отдельные мелкие подробности, о которых не стоит здесь упоминать, так как я не спускал глаз с Мальке и его галстука, узел которого он время от времени старался подтянуть повыше; но для успокоения Мальке был бы надобен гвоздь. Тебе ничем нельзя было помочь.

А капитан? Если этот вопрос правомерен, то ответить на него можно лишь в сухих словах: во время вечернего расследования капитан отсутствовал, по так и не подтвердившимся слухам, он в сопровождении своей невесты обходил все магазины города, торгующие орденскими знаками. Кто-то из нашего класса в следующее воскресенье видел его в ресторане «Четыре времени года» вместе с невестой и ее родителями. и под воротником его рубашки все уже было в порядке. Посетителям кафе предоставлялась возможность робко взирать на того, кто сидел среди них и вилкой, не без манерности, тщился отколупать кусочек от неподдающегося пирожного третьего года войны.

Мне в воскресенье попасть в кафе не удалось. Я обещал его пре подобию Гузевскому заменить отсутствующего служку во время ранней обедни. Мальке, в пестром галстуке, явился вскоре после семи, но даже вместе с пятью старушонками ему не удалось заполнить пустоту бывшего гимнастического зала. Он, как всегда, причащался в левом приделе. В субботу после расследования он, видимо, заходил в церковь Пресвятой девы для исповеди, или же, по тем или иным причинам, ты в церкви Сердца Христова шептал свои тайны на ухо его преподобию Винке?

Гузевский меня задержал, расспрашивал о моем брате, воевавшем в России, а скорей всего уже и не воевавшем, потому что от него не было вестей в течение нескольких месяцев. Кажется, он подарил мне две трубки малиновых леденцов за то, что я накрахмалил и выгладил все его стихари, точно одно: Мальке уже не было, когда я вышел из ризницы. Вероятно, уехал на предыдущем трамвае. Я влез на площади Макса Гальбе в прицепной вагон девятого номера. Шиллинг на ходу вскочил в него на Магдебургерштрассе, когда трамвай уже набрал скорость. Мы говорили совсем о другом. Кажется, я угостил Шиллинга леденцами, на которые расщедрился Гузевский. Между двумя остановками мы обогнали Хоттена Зоннтага. Он ехал на дамском велосипеде, а сзади него верхом на багажнике сидела маленькая Покрифке. Ляжки у нее все еще были лягушачьи, но кое-где уже наметились выпуклости. На ветру было видно, что волосы у нее теперь длинные.

На разъезде наш трамвай поджидал встречного, и Хоттен Зоннтаг с Туллой уехали вперед. Они дожидались нас на остановке Брёзен. Велосипед стоял, прислоненный к стене Управления купальными заведениями. Они разыгрывали из себя братца с сестричкой и сцепились мизинцами. Платье на Тулле было синее-синее, застиранное, слишком короткое, слишком узкое, слишком синее. Сверток с купальными халатами и прочим держал Хоттен Зоннтаг. Молча переглянувшись, мы сумели понять друг друга и из напряженного молчания выжать фразу: ясно, что Мальке, кто же еще? Псих, да и только.

Тулла хотела узнать подробности, приставала, тыкала остреньким пальцем в воздух. Однако никто из нас двоих не назвал случившееся должным именем. Мы остались при лапидарном «стальной Мальке» и «ясное дело». Но Шиллинг — нет, это был я — ввел в обиход новое понятие и, всунувшись между головой Хоттена Зоннтага и маленькой головкой Туллы, сказал: «Великий Мальке. Это мог сделать и сделал только Великий Мальке».

Титул остался за ним. Все прежние попытки связать имя Мальке с насмешливой кличкой быстро потерпели крушение. Мне помнится «недоваренная кура», а когда он отходил в сторону, мы шептали: «бедняга» или «ох, уж этот бедняга!» Но только мой непроизвольный выкрик: «Это сделал Великий Мальке» оказался жизнеспособным. Отныне, подразумевая Иоахима Мальке, мы будем говорить «Великий Мальке».

У кассы мы наконец отделались от Туллы. Она пошла в дамскую купальню — платье у нее на лопатках натянулось до отказа. С верандообразной пристройки мужской купальни открылось море, белесое, затененное легкими облачками — вестниками хорошей погоды. Температура воды — девятнадцать. Мы все трое, даже не вглядываясь, заметили, что за второй отмелью кто-то, сильно вспенивая воду, плывет на спине в направлении палубных надстроек минного тральщика. Решение было принято мгновенно: кто-нибудь один поплывет следом. Шиллинг и я выдвинули кандидатуру Хоттена Зоннтага, но он предпочитал лежать с Туллой Покрифке за стеной семейной купальни и посыпать песком ее лягушачьи ляжки. Шиллинг заявил, что слишком плотно позавтракал: «Яйца и так далее. Моя бабка из Крампица держит кур и по воскресеньям иногда привозит десятка полтора-два яиц».

У меня никакой отговорки не нашлось. Позавтракал я еще до обедни, а велениям благоразумия следовал лишь изредка. К тому же ни Шиллинг, ни Хоттен Зоннтаг не восклицали «Великий Мальке», а я восклицал. Я и поплыл за ним, не слишком торопясь.

На мостках между дамской и семейной купальнями едва не разыгрался скандал; Тулла Покрифке хотела плыть со мной. Она сидела на перилах — мешочек с костями. На ней уж которое лето все тот же серый детский купальник, штопаный-перештопанный — на маленьких грудках совсем потертый, на ляжках туго натянутый и разлохмаченный между ног. Она бранилась, морща нос и растопыривая пальцы на ногах. Когда Тулла за какой-то подарок — Хоттен Зоннтаг что-то посулил ей, нагнувшись к ее уху,— уже согласилась остаться на берегу, четыре или пять пятиклассников, неплохие пловцы, которых я уже не раз видел на лодчонке, перескочили через перила — верно, что-нибудь разнюхали — и стремглав побежали в воду, правда, они уверяли, что собираются не на лодчонку, а «разве что на мол сплаваем и еще там поблизости». Хоттен Зоннтаг обо мне позаботился: «Кто за ним поплывет, тому я морду отполирую».

Я спрыгнул в воду головой вниз, поплыл, часто меняя положение и не торопясь. Покуда я плыл и покуда я пишу, я пытался и пытаюсь думать о Тулле Покрифке, потому что не хотел и не хочу всегда думать о Мальке. Вот почему я плыл на спине, и вот почему я пишу: «Плыл на спине». Только так я мог и могу видеть костлявую Туллу Покрифке в сером шерстяном купальнике, сидящую на перилах: все меньше, сумасшедшее, жалостнее становится она. У всех нас Тулла, как осколок, застряла в теле, но едва я миновал вторую отмель, она стерлась, перестала быть точкой, осколком, и я плыл уже не от Туллы, я плыл навстречу Мальке, и о тебе я сейчас пишу, плыл брассом и не торопился.

Между двумя рывками — ведь вода держит — замечу: это было последнее воскресенье перед летними каникулами. Что происходило тогда? Они заняли Крым, и Роммель опять наступал в Африке. С пасхи мы уже сидели в седьмом классе. Эш и Хоттен пошли добровольцами, оба в военно-воздушный флот, но позднее, точно так же как и я, не знавший, что выбрать — то ли морской флот, то ли другой какой-нибудь род войск,— очутились в мотострелковом полку танкового соединения, то есть в осовремененной пехоте. Мальке не пошел записываться в добровольцы — как всегда, остался исключением, сказал: «Ну, у вас дело пойдет!» А ведь он был на год старше нас, и ему предоставлялся прекрас-

ный шанс пораньше выбраться из школы, но... пишущий не имеет права забегать вперед.

Последние двести метров я плыл еще медленнее и все время брассом, чтобы не выдохнуться. Великий Мальке сидел, как всегда, в тени компасной будки. Только его колени были освещены солнцем. Он, видимо, уже побывал под водой. Булькающие отголоски увертюры покачивались на ветру и вместе с мелкими волнишками устремлялись мне навстречу. Обычные фокусы: он нырял в свой чулан, заводил граммофон, возвращался наверх — вода капала с его головы,— усаживался в тени и, не обращая внимания на чаек, криком подтверждавших свою веру в переселение душ, слушал музыку.

Нет, покуда не поздно, я хочу еще раз броситься на спину и смотреть на большие облака, похожие на мешки с картофелем. Они всегда равномерно и неторопливо плыли над нашей лодчонкой, из Пуцигер-вик на юго-восток, и ведали световыми эффектами, а также прохладой, длившейся, покуда они не уплывут вдаль. Никогда в жизни не видел я таких прекрасных, таких белых, таких похожих на мешки с картофелем облаков, или нет, пожалуй, видел на выставке под названием «Дети наших прихожан рисуют лето», которую патер Албан года два назад устраивал с моей помощью в нашем Колпинговом доме*. И еще раз подумал, прежде чем ухватиться за погнутые ростры лодчонки: «Почему я? Почему не Хоттен Зоннтаг или Шиллинг? Разве нельзя было послать сюда пятиклассников или Туллу с Хоттеном Зоннтагом? Или поплыть всем вместе, и Туллу тоже взять с собой, тем более что пятиклассники вечно за ней таскались, а один как будто даже приходился ей родственником». Однако я не спеша плыл в полном одиночестве, поручив Шиллингу следить, чтобы никто за мной не увязался.

Я, Пиленц — причем тут, собственно, мое имя? — некогда служка, теперь секретарь в Колпинговом доме, кем только я не хотел стать, да и поныне невесть чем морочу себе голову, читаю Блоя, гностиков, Бёля, Фридриха Хеера и частенько, пораженный признаниями доброго старого Августина, ночи напролет за чашкой крепкого чая дискутирую о крови Христовой, о триединстве, о таинстве милосердия с патером Албаном, общительным и не очень-то верующим францисканцем, рассказываю ему о Мальке с его пресвятой девой, об адамовом яблоке Мальке, о тетке Мальке и его проборе посередине, о сахарной воде, граммофоне, снежной сове, отвертке, шерстяных «бомбошках», светящихся пуговицах, о кошке и о мыши и mea culpa ** и о том, как Великий Мальке находился на лодчонке, а я не торопясь плыл к нему то брассом, то на спине, ибо я один вроде как дружил с ним, если с ним вообще можно было дружить. Но я старался. Нет, не старался! Просто бегал за ним и его сменяющимися атрибутами. Скажи Мальке: «Сделай то или то»,— я бы сделал вдвое больше. Но Мальке ничего не говорил, без единого слова, без единого знака принимал мою суету вокруг него и то, что я за счастье идти вместе в гимназию описывал немалый крюк, заходя за ним на Остерцейле. А когда он ввел в моду «бомбошки», я первый стал носить их. Одно время — правда, только дома — я носил еще и отвертку на шнурке от ботинок. И если я и впредь старался как служка снискать любовь его преподобия Гузевского, хотя вера и прочие предпосылки для меня улетучились еще в младших классах, то лишь затем, чтобы во время причастия смотреть на шею Мальке. Поэтому, когда Великий Мальке после пасхальных каникул сорок второго года — в боях в Коралловом море уже участвовали авианосцы — в первый раз побрился, я двумя днями

---

* Католические союзы молодых ремесленников, учрежденные священником Адольфом Колпингом в 1848 г.

** Моя вина *(лат.)*.

позднее тоже скреб свой подбородок, хотя ни о какой бороде не могло быть и речи. И если бы Мальке после доклада капитан-лейтенанта сказал мне: «Пиленц, сопри-ка у него эту штуковину!» — я бы немедленно стащил ее с вешалки вместе с черно-красной ленточкой, для тебя.

Но Мальке сам о себе позаботился и сидел в тени на мостике, слушая свою вконец замученную подводную музыку: «Сельская честь»... чайки вверху... море то гладкое, то курчавое, а то вдруг набегут слабосильные волны...— две пузатые посудины на рейде... мимолетные тени облаков возле Пуцига... соединение торпедных катеров — шесть раз набежали носовые волны и мелькнуло затесавшееся между ними рыболовное суденышко... уже булькает вода у лодчонки, я медленно подплываю, смотрю куда-то в сторону — туда, где видны остатки вентиляторов — а сколько их, собственно, было? Прежде чем руки мои цепляются за ростры, вижу Тебя, уже пятнадцать лет вижу Тебя! Хватаюсь за ростры — вижу Тебя: Великий Мальке недвижно сидит в тени, пластинка под водой застряла, влюбилась в один какой-то такт, смолкла наконец, чайки отлетают; у Тебя на шее та самая штука с ленточкой.

Выглядел он довольно комично, потому что больше ничего на нем не было. Сидел в тени голый, костлявый, загорелый. Только колени высветлены, длинный, наполовину бодрствующий член плашмя лежит на рострах. Ладони сдавлены светлыми коленями. Волосы прямыми прядями свисают на уши, но посередине, может быть от ныряния, все еще разделены пробором. Лицо его — лик Спасителя, а под ним — единственная одежда: большая, очень большая и неподвижная блямба, пальца на три пониже ключицы.

Адамово яблоко, которое, я еще и сейчас так думаю, служило Мальке одновременно мотором и тормозом, хотя, конечно, у него имелись и запасные моторы, впервые обрело для себя точный противовес. Тихо дремало оно под кожей, как бы замерло на время, ибо то, что его угомонило, то, что гармонически с ним сочеталось, имело предысторию и уже в тысяча восемьсот тринадцатом году, когда золото отдавали за железо, было набросано на листе бумаги добрым старым классицистом Шинкелем, обладавшим безошибочным чувством стиля — для афиширования ратных подвигов. В дальнейшем лишь незначительные изменения в 1870—1871-м, незначительные изменения в 1914—1918-м и в эту войну. Впрочем, исчадие Шинкеля ничего общего не имело с Pour le merite *, в основу которого был положен Мальтийский крест. Оно впервые поднялось с груди на шею и тем самым сделало своим кредо симметрию.

— Ну как, Пиленц, хороша штучка, а?

— Здорово, дай-ка потрогать.

— Честно заработано, ты как считаешь?

— Я сразу подумал, что это ты стибрил...

— Ничего я не стибрил! Мне вчера ее вручили за то, что на Мурманском направлении в конвоируемом караване я уничтожил пять посудин да сверх того крейсер класса «Саутгемптон»...

Мы подпали под обаяние нелепости, горланили английскую песню, придумывали новые строфы, в которых торпедировались не танкеры и транспорты, а некоторые девчонки и учительницы из гимназии Гудрун, сложив ладони рупором, хрипло выкрикивали патетические и непристойные экстренные сообщения о количестве пущенных ко дну судов противника, барабанили кулаками и пятками по палубе, лодчонка наша трещала, тарахтела, сухой помет соскакивал в море, чайки возвращались, торпедные катера входили в гавань, прелестные белые облачка скользили на горизонте, легкие, как дымок, суда приходили и уходили, счастье, мерцанье, ни одна рыбешка не выпрыгнет из воды, погода

---

* За заслуги *(франц.)*.

остается ясной и теплой; правда, лифт на его шее работает, но тут дело не в глотке, нет, дело в том, что Мальке оживлен — весь — и впервые немного дурашлив, лика Спасителя в помине нет, скорее неумеренное возбуждение; он снимает с шеи бляху, нарочито жеманясь, держит ее у бедер за оба конца ленточки, склонив голову, довольно смешно изображает девочку, не какую-нибудь определенную, а девочку вообще, теперь большая металлическая бляха — орден болтается у него перед гениталиями, но и на треть не прикрывает их.

Между тем — твой цирковой номер уже начинает действовать мне на нервы — я спрашиваю, намерен ли он оставить у себя эту штуковину, говорю, что лучше всего было бы поместить ее в чулане под мостиком,— между снежной совой, граммофоном и Пилсудским.

У Великого Мальке были другие планы, и он осуществил их. Ведь спрячь Мальке эту штуку в свой чулан, вернее, не будь я другом Мальке или то и другое вместе — и орден был бы укрыт в радиорубке, а мне, приверженцу Мальке, из одного лишь любопытства, да еще потому, что мы с ним одноклассники,— мне теперь не было бы надобности писать, не было бы надобности говорить патеру Альбану: «Это моя вина, что Мальке впоследствии...» Но я пишу, потому что с этим надо разделаться. Конечно, приятно водить ручкой «Артистик» по белой бумаге — но что толку от белых облаков, ветерка, торпедных катеров, входящих в гавань в точно назначенный час, и стаи чаек, которая исполняет роль греческого хора; на что мне все эти фокусы с грамматикой; даже если бы я все писал с маленькой буквы и без знаков препинания, мне все равно пришлось бы сказать: Мальке не спрятал этой штуки в бывшей радиорубке «Рыбитвы», бывшего минного тральщика польского флота, не повесил ее на стене между маршалом Пилсудским и черной богоматерью над смертельно больным граммофоном и подгнившей белой совой, он только на краткий срок, покуда я, глядя в небо, считал чаек, с бляхой на шее спустился вниз — похвалиться перед своей мадонной шикарным орденом, вылез с ним обратно через люк в носовой части судна, не снимая этого украшения, надел плавки, поплыл, держа одинаковый со мною темп, назад к купальне и, зажав эту железяку в кулаке, прошел мимо Шиллинга, мимо Хоттена Зонтага, мимо Туллы Покрифке и пятиклассников в свою кабину.

Неохотно и немногословно ответив на вопросы Туллы и ее свиты, я, в свою очередь, скрылся в кабине, торопливо переоделся и догнал Мальке на остановке девятого номера. И все время в трамвае я пытался уговорить его, раз уж так случилось, из рук в руки отдать орден капитану, чей адрес можно было бы узнать.

Думается, он меня не слушал. Мы стояли на задней площадке, зажатые среди других пассажиров. Вокруг — толкотня субботнего вечера. Пока трамвай шел, он раскрывал кулак между своей и моей рубашкой, и мы оба опускали глаза на суровый темный металл и все еще мокрую измятую ленточку. На горке св. Саспия Мальке приложил орден — конечно не завязывая ленточки — к узлу своего галстука и сделал попытку посмотреться в оконное стекло как в зеркало. Трамвай остановился, дожидаясь встречного, я смотрел мимо одного уха Мальке, мимо заброшенного кладбища, мимо искривленных прибрежных сосен в направлении аэродрома, и мне повезло: грузный трехмоторный Ю-52 неторопливо совершил посадку и помог мне.

Но воскресная публика в трамвае все равно бы не обратила внимания на представления Великого Мальке. Чтобы ее привлечь, ему пришлось бы вступить в борьбу с малыми детьми, со свертками купальных халатов, с усталостью от купания, с переругиванием через скамейки.

Детский плач, визг, то пронзительный, то приглушенный, переходящий в сон, в легкое посапывание, висел в вагоне от передней до задней площадки — да еще запахи, от которых бы мигом прокисло молоко.

На конечной станции мы вышли, и Мальке через плечо бросил мне: он-де намерен потревожить послеобеденный отдых Вальдемара Клозе, но идти хочет один; ждать его тоже не имеет смысла.

Клозе жил — мы все это знали — на Баумбахаллее. Я проводил Великого Мальке через выложенный кафелем туннель под железнодорожными путями и оставил одного; он пошел не спеша, описывая небольшие зигзаги. В левой руке он держал ленточку, зажатую между большим и указательным пальцами, орден стремительно вращался — видно, Мальке использовал его как пропеллер, спешил скорее попасть на Баумбахаллее.

Проклятая затея и проклятое ее осуществление! Лучше бы ты зашвырнул эту бляху высоко в липы: ведь в пригородах среди тенистых аллей скачут сороки, в веселой суете они бы унесли этот орден, приобщили бы его к своим запасам, к серебряной ложке, броши, кольцу...

В понедельник Мальке в гимназию не явился. По классу прошел шепоток... Брунис вел урок немецкого. И опять сосал таблетки, которые должен был бы раздать гимназистам. На кафедре лежал раскрытый Эйхендорф. Старческий, подслащенный и липкий бормот слышался с кафедры: «...два парня бодро шли тропой. Эта лань всех прочих краше... В каждой вещи дремлет песня... Синей песней льется воздух...»

О Мальке ни слова.

Только во вторник появился директор Клозе с серой папкой под мышкой, встал рядом с учителем Эрдманом — тот потирал руки от смущения,— и поверх наших голов, вместе с прохладным дыханием, понесся голос Клозе: произошло неслыханное, и это в наше роковое время, когда все должны быть заодно. Недостойный гимназист — Клозе никакого имени не назвал — уже исключен. Помимо того, будут поставлены в известность высшие инстанции, в частности окружное управление. Всем ученикам вменяется в обязанность мужественно молчать о прискорбном поступке во имя поддержания духа гимназии. Такова воля бывшего ученика, капитан-лейтенанта, командира подводной лодки, кавалера и тому подобное и так далее.

Итак, Великого Мальке выгнали, но во время войны никого из гимназии окончательно не выгоняли, и потому он был переведен в среднюю школу Хорста Весселя. Там тоже не трезвонили о случившемся.

IX

Школа Хорста Весселя до войны называлась Реальным училищем кронпринца Вильгельма, и воздух в ней был такой же спертый, как в нашей гимназии. Здание, построенное в 1912 году и только внешне выглядевшее приветливее, чем наша кирпичная коробка, находилось в южной части предместья на опушке Яшкентальского леса. Следовательно, дорога Мальке в школу уже нигде не перекрещивалась с моей дорогой, когда осенью вновь наступила пора учения.

Но и во время летних каникул он оставался в нетях — лето без Мальке,— так как отправился в лагерь допризывной подготовки, где можно было получить квалификацию радиста. Ни в Брёзене, ни в купальнях Глетткау он больше не демонстрировал свой загар. Поскольку было бы бессмысленно искать Мальке в церкви, его преподобие Гузевский на время каникул не мог рассчитывать и на надежнейшего своего служку, ибо служка Пилеш сказал себе: ни одной обедни без Мальке.

Остальные время от времени все же бывали на лодчонке. Хоттен Зоннтаг тщетно пытался найти ход в радиорубку. Среди пятиклассников упорно циркулировали слухи о таинственном и по-сумасшедшему оборудованном чулане под палубой. Один мальчонка, с близко посаженными глазами, которого вся эта мелюзга почтительно именовала Штёртебекером *, нырял, как говорится, без пересадки. Родственник Туллы Покрифке, довольно-таки хилый паренек, тоже раза два или три побывал на лодчонке, но нырять не нырял. То ли мысленно, то ли на самом деле я попытался завести с ним разговор о Тулле; меня очень тянуло к ней. Но она не только меня, а и своего родственника проняла — чем, собственно? — вероятно, свалявшимся шерстяным купальником и неистребимым запахом столярного клея.

— Тебе-то какое до нее дело, паскудник! — отвечал он мне — или мог бы ответить.

Тулла на лодчонке не появлялась, торчала в дамской купальне; с Хоттеном Зоннтагом она порвала. Я, правда, был с ней два раза в кино, но ничуть не преуспел, а в кино она ходила со всеми подряд. Похоже было, что она втрескалась в этого Штёртебекера и, надо сказать, неудачно потому, что Штёртебекер втрескался в нашу лодчонку и только и знал что искать ход в Мальков чулан. К концу каникул пошли разговоры о его будто бы успешном нырянии. Доказательств не было. Он не принес наверх ни отсыревшей пластинки, ни растрепанного пера снежной совы. Тем не менее слухи не унимались; и когда два с половиной года спустя была раскрыта довольно таинственная шайка молодежи, предводителем которой называли Штёртебекера, то во время процесса речь будто бы вновь зашла о нашей лодчонке и тайнике в палубной надстройке. Но я тогда был на военной службе, и до меня доходили лишь отрывочные сведения через его преподобие Гузевского, который, покуда еще действовала почта, писал мне душеспасительные и дружественные письма. В последнем письме от января сорок пятого года — когда русские армии уже прорвались к Эльбингу — что-то говорилось о постыдном нападении так называемой Штёртебекеровой банды на церковь Сердца Христова, где служил его преподобие Винке. Этот парень, Штёртебекер, в письме значился под своей настоящей фамилией; кажется, там еще шла речь о трехлетнем ребенке, которого банда холила и нежила как свой талисман, свою маскотту. Минутами я уверен, а минутами сомневаюсь, упоминал ли Гузевский в своем последнем или предпоследнем письме — вся пачка и мой дневник пропали вместе с вещевым мешком под Коттбусом — о минном тральщике, которому перед началом летних каникул сорок второго года суждено было пережить свой большой день, а во время каникул полинять и поблекнуть — ведь это лето и поныне кажется мне пресным: его с нами не было, а что за лето без Мальке!

Не то чтобы мы уж очень убивались, оттого что его не было. Я так даже рад был избавиться от него, не бегать за ним по пятам; но почему, спрашивается, сразу же после начала занятий я явился к его преподобию Гузевскому и предложил себя в служки? У его преподобия за очками без оправы кожа пошла множеством радостных морщинок и за теми же очками вдруг разгладилась, когда я, как бы между прочим, за чисткой его сутаны — мы вдвоем сидели в ризнице — спросил об Иоахиме Мальке. Спокойно, поправив одной рукой очки, его преподобие Гузевский отвечал: «Он и теперь, как прежде, один из ретивейших прихожан, не пропускает ни одной воскресной обедни, правда, с месяц он пробыл в так называемом лагере допризывной подготовки; надеюсь, я

---

* Клаус Штёртебекер — предводитель морских разбойников, казнен в Гамбурге в 1401 году.

не должен думать, что вы только из-за Мальке собираетесь вновь служить у алтаря. Ответьте мне, Пиленц!»

Каких-нибудь две недели назад мы получили извещение, что мой брат Клаус, унтер-офицер, убит на Кубани. Его смертью я обосновал свое желание вновь служить у алтаря. Гузевский, кажется, поверил или постарался поверить в мое возросшее религиозное чувство.

Я плохо помню черты, из которых слагались лица Хоттена Зоннтага или Винтера, но твердо знаю, что у Гузевского была густая, жесткая и курчавая шевелюра с редкой проседью; перхоть с нее осыпалась на сутану. Тщательно выбритая тонзура синела на макушке. Березовая туалетная вода и мыло «Пальмолив» определяли его запах. Он изредка курил восточные сигареты, которые вставлял в сложно ограненный янтарный мундштук. Гузевский слыл прогрессивным священнослужителем и в ризнице играл в пинг-понг со служками или даже первопричастниками. Стихари и пелерины он отдавал стирать некой фрау Толькмит, если же она заболевала, то кому-нибудь из служек порасторопнее, нередко мне, и требовал, чтобы они были туго-претуго накрахмалены. Все облачение, висевшее или лежавшее в шкафах, он собственноручно увешивал или перекладывал мешочками с сухой лавандой. Когда мне было лет около тринадцати, он провел маленькой безволосой рукой от моего затылка вниз по рубашке до пояса спортивных трусиков и тотчас же отвел руку, потому что трусики были не на растягивающейся резинке, а впереди зашнуровывались тесемкой. Я не придал особого значения этому жесту, тем более что его преподобие Гузевский своими дружелюбными, я бы даже сказал, юношескими повадками внушал мне искреннюю симпатию. Я и сейчас вспоминаю его с насмешливой приязнью; итак, ни слова более о случайных, вполне невинных жестах, в сущности, нащупывавших лишь мою католическую душу. Вообще-то он ничем не отличался от сотен других священнослужителей, имел хорошо подобранную библиотеку для своей малочитающей рабочей паствы, был не слишком ревностен в исполнении своих обязанностей и веровал не безрассудно,— например, сомневался в вознесении пресвятой девы Марии,— и все слова, шла ли речь о крови Христовой или в ризнице о пинг-понге, выговаривал с одинаковой елейной интонацией. Мне показалось глупым то, что в начале сороковых годов он возбудил ходатайство о перемене фамилии, и не прошло и года, как стал называться Гузевингом, его преподобием Гузевингом. Впрочем, германизация польских фамилий, оканчивавшихся на «кий», или на «ке», или на «а» — как Формелла,— получила тогда широкое распространение: Левандовский сделался Ленгнишем, господин Ольшевский, наш мясник,— Ольвейном; родители Юргена Купки пожелали на восточно-прусский манер зваться Купкат, но их прошение по никому не известной причине было отклонено. По подобию Павла, ставшего Савлом, и некий Гузевский пожелал стать Гузевингом, но на этих страницах его преподобие Гузевский и дальше будет называться Гузевским, ибо ты, Иоахим Мальке, не изменил своего имени.

Когда после летних каникул я снова исполнял обязанности служки, во время ранней обедни я увидел его снова и заново. Сразу же после молитвы на ступенях я обнаружил тебя на второй скамье перед алтарем Марии. Но лишь между чтением эпистолы и песнопением, а затем, уже более основательно, во время чтения ежедневной главы из Евангелия я сумел как следует тебя рассмотреть. Волосы, как всегда смоченные сахарной водой и посередине разделенные пробором, теперь были сантиметра на два длиннее. Глазированные и застывшие, они образовывали как бы два навеса над его ушами; он мог бы сейчас сойти за Христа: руки, воздетые до уровня лба, следовательно, ни на что не опирающиеся

локти, и под крышей ладоней — шея, нагая, незащищенная; воротник рубашки отложной, ни галстука, ни «бомбошек», ни амулета, ни отвертки или еще какой-нибудь штуки из его богатого арсенала. Единственным геральдическим зверем на свободном поле была та беспокойная мышь, которую он укрыл под кожей на месте гортани, та самая, что однажды приманила кошку, а меня ввела в соблазн — бросить эту кошку ему на шею. Вдобавок между его адамовым яблоком и подбородком я заметил несколько заскорузлых порезов от бритвы и чуть не опоздал позвонить в колокольчик к Sanctus *.

Во время причастия Мальке вел себя менее аффектированно. Молитвенно сложенные руки он опустил до уровня ключицы; дыханье вырывалось изо рта так, словно у него внутри на маленьком огне непрерывно кипела кастрюлька с савойской капустой. Не успел он проглотить облатку, как обнаружилась еще одна смелая новация в его поведении: обратный путь к своему месту во втором ряду скамеек, тот тихий путь, который до сих пор Мальке, как и всякий причастившийся святых тайн, проходил, не описывая крюка, он удлинил и прервал — сначала медленно на негнущихся ногах, как на ходулях, прошел к алтарю девы Марии, потом упал на колени, но не на покрытый линолеумом пол, а на грубошерстный ковер у ступеней алтаря. Молитвенно сложенные руки он поднял до самых глаз, до пробора, еще выше и, вожделея, протянул их к гипсовой фигуре больше чем в натуральную величину, что без младенца, девою дев, стояла на посребренном лунном серпе в ниспадавшем до пят и усыпанном звездами одеянии цвета синих прусских мундиров, сложив на груди тонкие руки и воздев выпуклые стеклянные глаза к потолку бывшего гимнастического зала. Когда Мальке поднялся с колен и его пальцы уже опять шарили вокруг отложного воротника, на ковре остались две красноватые вдавлинки.

Его преподобие Гузевский, как оказалось, тоже обратил внимание на новомодные повадки Мальке. Я тут был ни при чем, так как никаких вопросов ему не задавал. Он сам, словно желая сбросить с себя бремя, его придавившее, отслужив обедню, сразу же заговорил о непомерном религиозном усердии Мальке, об опасных внешних проявлениях этого усердия и о той тревоге, которая давно уже гложет его, Гузевского. У Мальке, он так и сказал, культ Марии граничит с идолопоклонством, какие бы внутренние побуждения ни приводили его к ее алтарю.

Мальке ждал меня у выхода из ризницы. Испуг едва не втиснул меня обратно в дверь, но он уже взял меня за плечо, рассмеялся, непринужденно, на свой новый манер, и начал болтать, болтать... Он, всегда скупой на слова, говорил о погоде — бабье лето, золотые нити в воздухе — и, не понижая голоса, стал рассказывать о себе: «Я пошел добровольцем. Сам над собой смеюсь. Ты же знаешь, не очень-то мне все это симпатично: игра в войну и подчеркнутое солдафонство. А ну, угадай-ка род войск. Ничего похожего. От военно-воздушных сил давно уже мало проку. Может, еще скажешь: воздушные десантники! Не забудь, пожалуйста, о подводных лодках. Ну, наконец-то! Только подводные лодки и имеют еще какие-то шансы; конечно, пребывание в таком плавучем ящике будет казаться мне ребячеством, куда лучше делать что-нибудь осмысленное или смешное. Ты же знаешь, я хотел стать клоуном. Какие только мысли не лезут в голову мальчишке. Впрочем, мне и сейчас эта профессия кажется недурной. Школярство школярством остается. Какой только чепухой мы не занимались. Помнишь? Я просто не сумел привыкнуть к этой штуке. Думал, это своего рода болезнь, тогда как это норма. Я знаю людей, у которых есть кадыки и почище, а им от этого ни жарко ни холодно. Для меня все началось с этой кошачьей истории. Мо-

---

* Гимн в католическом богослужении.

жет, и ты помнишь, мы лежали на лужайке. На стадионе тогда шло соревнование. Я спал или клевал носом, а серая бестия — или она была черная? — увидела мою шею и прыгнула, или один из вас — вероятно, Шиллинг, на него это похоже — взял кошку... Ну, да черт с ней, с этой историей. Нет, на лодчонке я больше не был. Штёртебекер? Да, я слышал. Пусть его. Я же не заарендовал лодчонку или все-таки? Приходи когда-нибудь к нам домой».

Приглашением Мальке я воспользовался только перед рождеством, после того как всю осень пробыл из-за него усерднейшим служкой. До самого рождества я один служил с его преподобием Гузевским, потому что он никак не мог сыскать мне напарника. Собственно, я еще раньше собирался навестить Мальке и принести ему свечу, но свечи выдали с запозданием, и свою освященную свечу Мальке смог водрузить перед алтарем пресвятой девы лишь за два воскресенья до рождества Христова. Когда он спросил: «Можешь ты раздобыть для меня свечу? Гузевский что-то их зажимает»,— я отвечал: «Посмотрим». И достал для него одну из редких в военное время длинных свечей, прозрачно бледных, как росток на картофелине. Наша семья имела право на этот дефицитный товар, потому что погиб мой брат. Я отправился пешком в хозяйственное управление, предъявил извещение о смерти, получил ордер, поехал на трамвае в Оливу, где находился магазин предметов церковного обихода; свечей там не оказалось, и в последующие дни я сгонял туда еще два раза, но лишь в предрождественское воскресенье сумел обеспечить тебя необходимым, и в тот же день, как мне представлялось и как я желал, увидел тебя коленопреклоненным перед алтарем Марии. В предрождественские дни Гузевский и я надели лиловое облаченье, а твоя шея, казалось, вырастала из белого отложного воротничка, ее не могло скрыть перелицованное и переделанное пальто погибшего железнодорожного машиниста, поскольку ты — опять же новация — не надел шарфа, заколотого огромной английской булавкой.

В это и в следующее воскресенье Мальке особенно долго стоял на коленях на грубошерстном ковре, а я-то хотел поймать его на слове и под вечер зайти к нему домой. Его остекленелый взор — Мальке даже не моргал или, может быть, моргал, как только я поворачивался к алтарю,— поверх свечи был устремлен на чрево богоматери. Из обеих своих рук, не прикасаясь скрещенными большими пальцами ко лбу, он соорудил навес перед ним и мыслями, которые за ним роились.

И я думал: «Сегодня я пойду. Пойду и посмотрю на него. Пристально в него вгляжусь. Что-то ведь за этим кроется». К тому же он пригласил меня.

Как ни коротка была Остерцейле, домишки с оголенными плетями вьющегося винограда на грубо оштукатуренных фасадах, деревья вдоль тротуаров — все те же чахлые, малорослые липы, которые все так же нуждались в подпорках,— крайне обескураживали и утомили меня, хотя наша Вестерцейле была точным сколком с этой улицы, или именно потому, что Вестерцейле так же пахла, так же дышала и своими лилипутскими палисадниками заигрывала со всеми временами года. Еще и сейчас, когда я покидаю Колпингов дом, что случается редко, и, отправляясь в гости к друзьям или знакомым в Штоккуме или Лохаузене, между аэродромом и Северным кладбищем, прохожу по улицам поселка, которые по-прежнему утомительно и обескураживающе повторяются от номера к номеру, от липы к липе, я все еще иду к матери Мальке, к его тетке, к Тебе, Великому Мальке. Звонок прилепился к калитке, через которую можно было перешагнуть, даже не слишком высоко задирая ноги.

Несколько шагов по зимнему, но бесснежному палисаднику с укрытыми кустами роз. Клумбочки без цветов декоративно обложены битыми и целыми балтийскими ракушками. Керамическая лягушка величиной с кролика на плоском постаменте из мраморной крошки, по краям выпачканном рыхлой садовой землей. На клумбе по другую сторону узкой дорожки, которая позволяет мне, покуда я думаю, сделать всего несколько шагов от калитки до протравленной охрой двери в полуциркульной арке, точно напротив лягушки укреплена жердь, в рост человека с насаженным на нее скворечником, чем-то напоминающим швейцарскую хижину. Воробьи продолжают что-то клевать, покуда я прохожу свои семь или восемь шагов между двумя клумбами. Собственно, в поселке должно было бы пахнуть свежестью, чистотой и песком, но в те военные годы на Остерцейле, на Вестерцейле, на Беренвеге, нет, везде в Лангфуре, что в Восточной Пруссии,— правильнее сказать: во всей Германии пахло луком, луком, поджаренным на маргарине; но, пожалуй, лучше не прибегать к столь точным определениям — пахло еще и вареным луком и свеженакрошенным, несмотря на то что луку было везде в обрез: в Лангфуре, в Восточной Пруссии, во всей Германии острили о нехватке этого продукта в связи с рейхсмаршалом Герингом, который что-то сказал по радио о нехватке лука. Поэтому мне следовало бы натереть свою пишущую машинку луковым соком и приобщить ее, а также самого себя к воспоминаниям о луковом запахе, который в те годы отравлял Германию, Восточную Пруссию, Лангфур, Остер- и Вестерцейле, забивая запах трупов.

Я одним махом вскочил на третью ступеньку крыльца и уже готов был нажать ручку, когда дверь распахнулась. Мальке в войлочных туфлях, в куртке с отложным воротничком предстал передо мной. Видимо, он только что причесался, и конечно на прямой пробор. Застывшими прядями вкось ложились его не светлые и не темные волосы, от пробора зачесанные назад; прическа еще держалась, когда же через час я собрался уходить, волосы уже утратили жесткость и при каждом его слове трепетали над ушами, казалось, налитыми кровью.

Мы сидели в гостиной, свет падал в нее через пристроенную стеклянную веранду. К столу были поданы пирожные, изготовленные по некоему военному рецепту,— картофельные лепешки, отдававшие розовой водой, чтобы было похоже на марципан, и еще консервированные сливы вполне нормального вкуса, осенью поспевшие у них в саду на дереве, голые ветки и побеленный ствол которого виднелись сейчас сквозь левую застекленную часть веранды. Меня усадили напротив Мальке, который сидел спиной к веранде в конце стола. Слева от меня в боковом свете, серебрившем ее вьющиеся волосы,— тетушка Мальке; справа, освещенная с другого бока,— его мать, волосы ее не так красиво мерцали из-за гладкой прически. Мальковы уши с нежным пушком по краям трепетали в холодном зимнем свете, так же как и кончики дрожащих прядей, хотя комната была даже слишком натоплена. Край отложного воротничка казался белее белого, книзу эта белизна переходила в серость: шея Мальке оставалась в тени.

Обе женщины, ширококостные, выросшие в деревне, с натруженными руками, много говорили, никогда друг друга не перебивая, и всегда как бы обращались к Мальке, даже когда спрашивали меня о здоровье моей матери. Обе они через него высказывали мне свое соболезнование: «Значит, и ваш братец Клаус погиб. Я его хоть только в лицо знала, а какой был славный парень».

Мальке мягко, но решительно дирижировал разговором. Не в меру личные вопросы — покуда мой отец слал по полевой почте письма из

Греции, моя мать поддерживала интимные отношения с крупными военными — он отводил, восклицая: «Брось, тетя! В нынешнее время, когда все устои расшатались, никому не пристала роль судьи. К тому же тебя, мама, это совершенно не касается. Папа, будь он жив, расстроился бы из-за таких разговоров».

Обе женщины повиновались ему или покойному машинисту, которого он неназойливо вызывал с того света для того, чтобы угомонить их, когда они становились не в меру болтливы. В разговоре о положении на фронтах Мальке удавалось так же спокойно, без раздражения переправлять события в правильную географическую точку (когда они обе путали военные плацдармы в России с плацдармами в Северной Африке и, например, подразумевая Азовское море, говорили: Эль-Аламейн): «Нет, тетя, это морское сражение состоялось в Гвадалканаре, а не в Карелии».

Тем не менее тетка дала направление разговору, и мы углубились в предположения относительно японских и американских авианосцев, видимо потопленных под Гвадалканаром. Мальке держался того мнения, что заложенные лишь в тридцать девятом году авиаматки «Корнет» и «Васп», похожие на «Рэйнджер», уже введены в действие и участвовали в бою, потому что ни «Саратога», ни «Лексингтон» больше не числились в списках военно-морского флота. Еще менее ясна была участь обоих крупнейших японских авианосцев — «Акаги» и, безусловно, слишком неповоротливого «Каги». Мальке отстаивал самые смелые взгляды, говорил, что со временем в боях будут участвовать только авианосцы, что строить боевые корабли нерентабельно, будущее все равно за легкими и быстрыми судами и авианосцами. И он стал потчевать нас разными подробностями; обе женщины замерли от удивления, а когда он скороговоркой выпалил наименования итальянских военных судов, тетка громко и звучно всплеснула своими костлявыми руками, в лице ее промелькнуло что-то оживленно-девичье; в тишине, воцарившейся после этого всплеска, она стала смущенно поправлять прическу.

О школе Хорста Весселя никто не проронил ни слова. Теперь мне сдается, что, вставая из-за стола, Мальке со смехом вспомнил свои, как он выразился, «очень давние шейные истории» и даже рассказал — мать и тетка смеялись вместе с ним — сказочку о кошке: на сей раз Юрген Купка бросил ему на шею эту тварь. Ах, если бы мне знать, кто придумал сказку, он, или я, или тот, кто пишет на этих листках?

Так или иначе — но это уж наверняка,— его мать положила для меня в кулек два ломтика картофельного пирожного, когда я подошел к ней прощаться. В передней возле лестницы, ведущей на второй этаж и в мансарду, Мальке прокомментировал мне фотографию, висевшую возле платяной щетки. Довольно современного вида паровоз с тендером бывшей польской железной дороги — буквы ПЖД были видны довольно отчетливо — заполнял собою все пространство. Перед ним под руку стояли два крохотных человечка, однако господствовавшие на снимке. Великий Мальке сказал: «Это мой отец и кочегар Лабуда незадолго до крушения под Диршау. Если бы не отец, несчастье было бы еще более страшным, потому его посмертно наградили медалью».

X

С нового года я собирался брать уроки музыки — после брата осталась скрипка,— но нас сделали помощниками зенитчиков, а теперь мне уже, конечно, поздно начинать, хотя патер Альбан без устали мне это рекомендует; кстати, он же подвигнул меня рассказать о кошке и мыши: «Садитесь за стол, дорогой мой Пиленц, и пишите. У вас оригинальное перо, хотя первые ваши поэтические опыты, так же, впрочем, как и прозаические, сильно отдавали Кафкой. Словом, либо беритесь за скрипку,

либо облегчите свою душу писанием — господь бог не зря даровал вам различные таланты».

Итак, нас приняли пропахшие дегтем, носками и матрацами из морской травы бараки береговой и одновременно учебной батареи, притулившиеся за дюнами, за волнующимися зарослями осоки и аллеей, усыпанной галькой. Многое можно было бы рассказать о буднях помощника зенитчика, гимназиста, засунутого в солдатский мундир, который поутру обучался у седовласых учителей обычной школьной премудрости, а после обеда зубрил команды канонира и вникал в тайны баллистики. Но речь ведь идет не о моей истории, не о пышущей наивной силой истории Хоттена Зонтага или банальнейшей истории Шиллинга — только о тебе должно говориться здесь, а Иоахим Мальке никогда не был помощником зенитчика.

Ученики школы Хорста Весселя, в свою очередь обучавшиеся на береговой батарее, поставляли нам новый материал, не вступая при этом в продолжительный разговор, начинающийся с кошки и мыши: «Его сразу же после рождества забрали на трудовой фронт. И аттестат швырнули вслед, без экзаменов. Впрочем, экзамены для него никогда не составляли труда. Да он и постарше нас был. Они, кажется, стоят в Тухлеровом болоте. Может, их заставили торф добывать? Вряд ли, там, на севере, говорят, беспокойно. Партизан полно, да и вообще».

В феврале я навестил Эша в госпитале военно-воздушных сил в Оливе. Он лежал с переломом ключицы и мечтал о сигаретах. Я дал ему несколько штук, а он угостил меня липким ликером. Долго я у него не задержался. К трамвайной остановке в Глетткау я пошел в обход через дворцовый сад. Хотел посмотреть, существует ли еще старый шепчущий грот. Он существовал, и выздоравливающие горные стрелки забавлялись в нем с сестрами милосердия. С двух сторон нашептывали что-то пористому камню, хихикали, опять нашептывали и хихикали, мне не с кем было шептаться, и я в задумчивости зашагал по аллее, смахивающей на туннель, так как вверху над нею сплетались голые колючие ветви, на которые не садились птицы. Она прямой чертою шла от дворцового пруда и шепчущего грота к Цопотскому шоссе и все время на диво молодела. Там вслед за двумя сестрами милосердия, сопровождавшими хромого смеющегося лейтенанта, вслед за двумя бабушками и трехлетним карапузом, от них убегавшим вместе со своим сейчас, впрочем, молчаливым детским барабаном, мне в сером февральском туннеле встретился кто-то, неуклонно выраставший по мере приближения. Я столкнулся с Мальке.

Оба мы были смущены этой встречей. К тому же она состоялась в аллее без боковых дорожек, под замшелыми ветвями, закрывавшими небо, и вызывала какое-то торжественное, даже щемящее чувство: судьба или причудливая фантазия французского планировщика парков свела нас? — я и поныне избегаю дворцовых садов, со всех сторон замкнутых в духе доброго старого Ле Нотра *.

Разумеется, мы тотчас же заговорили, но я не мог отвести глаз от его головного убора: шапка солдата трудового фронта не только на Мальке, но и на любом другом выглядела необыкновенно уродливо. Высокая и непропорциональная, цвета засохших экскрементов, она дыбилась над козырьком, правда на тулье у нее была вмятина, как на фетровой шляпе, только края этой вмятины сходились ближе, почти смыкались, создавая некую борозду, снискавшую этому головному убору прозвище «задница с кокардой». На Мальковой голове эта шапка казалась совсем уж нелепой. Но ведь она всего лишь, правда, с многократным увеличением, повторяла его прямой пробор, хотя на трудовом

* Андре Ле Нотр (1613—1700) — французский архитектор, спланировавший Версальский парк.

фронте ему и пришлось от него отказаться. И вот мы со своею тонкой кожей стояли под шипами и среди шипов,— а тут еще появился малыш без бабушек, с барабаном, более уже не молчаливым; двумя палочками выбил вокруг нас подобие магического полукруга и, наконец, вместе с грохотом пропал в редеющей аллее.

Мы торопливо распрощались, но лишь после того, как Мальке брюзгливо и небрежно ответил мне на ряд вопросов относительно партизанских боев в районе Тухлерова болота, о довольствии на трудовом фронте, о том, не дислоцируются ли поблизости «девы трудовые». Еще я поинтересовался, что он делает в Оливе и успел ли он навестить его преподобие Гузевского. Я узнал, что с довольствием на трудовом фронте не так уж плохо, о трудовых же девах ему ничего не известно. Слухи о партизанских боях он считал преувеличенными, но не вовсе безосновательными. В Оливу его послал старший фельдфебель за какими-то запчастями — служебная командировка сроком на два дня.

— С Гузевским я говорил сегодня после ранней обедни.

Эти слова он сопроводил сердитым жестом.

— Этот остается таким, как был, что бы вокруг ни творилось.

Расстояние между нами возрастало, потому что каждый шагал вперед.

Нет, на *него* я не оглянулся. Трудно поверить? Но скажи я: «Мальке на меня не оглянулся»,— и это никого бы не удивило. А мне пришлось много раз оборачиваться, потому что никто, даже малыш со своей шумной игрушкой не попался мне навстречу, не помог мне.

После этого, как я сейчас прикидываю, я больше года тебя не видел; но не видеть тебя не значило и не значит забыть тебя и твою напряженную симметрию. К тому же остались следы: стоило мне увидеть кошку, все равно, серую, черную или пеструю, перед моим взором тотчас же возникала мышь; мною овладевали сомнения: я долго пребывал в нерешительности — защитить мышку или подстрекнуть кошку к охоте. До лета мы жили на береговой батарее, без конца устраивали соревнования по ручному мячу, а в воскресные дни, когда были разрешены посещения, более или менее умело возились в прибрежной осоке все с теми же девчонками и с сестрами этих девчонок; только я оставался одиноким и до сих пор еще иронически отношусь к тогдашней моей слабости. Что там было еще? Раздача мятных лепешек, поучения касательно венерических болезней, утром «Герман и Доротея», после обеда — орудие 98-го калибра, почта, четырехслойный мармелад, соревнования по пению, в свободные часы мы иной раз плавали на нашу лодчонку, всегда натыкались там на стайку подросших пятиклассников, досадовали и, плывя обратно, никак не могли взять в толк, что три лета кряду привязывало нас к этой усеянной чаичим пометом развалине. Позднее нас перебросили на батарею восемь запятая восемь в Пелонкен, еще позднее на батарею у Цыганкиной горы. Раза три или четыре объявлялась воздушная тревога, и наша батарея вместе с другими сбила четырехмоторный бомбардировщик противника. Неделями шли споры о случайном попадании, в перерывах между этими спорами — мятные лепешки, «Герман и Доротея», приветствия при встрече с офицерами.

Еще до меня на трудовой фронт попали Хоттен Зоннтаг и Эш, так как они были добровольцами. Я, как всегда, колебался в выборе рода войск, покуда не просрочил время подачи заявления, и в феврале сорок четвертого года вместе с доброй половиной нашего класса в учебном бараке сдал на аттестат зрелости, совсем как в мирное время, после чего был отпущен из помощников зенитчика и призван на трудовой фронт. Поскольку у меня оставалось две недели свободного времени и я считал, что аттестата зрелости недостаточно для завершения школьных лет, то я решил пристроиться — к кому же, как не к Тулле По-

крифке, ей было уже шестнадцать, а то и больше, и она чуть ли не каждого к себе подпускала, но мне и тут не повезло, не сумел я справиться и с сестрой Хоттена Зоннтага. В этом настроении на меня утешительно действовали только письма одной из кузин, эвакуированной вместе с семьей в Силезию из-за «тотальной разбомбленности» всего квартала. Я нанес прощальный визит его преподобию Гузевскому, пообещал ему во время отпусков с фронта заменять теперешнего служку и получил от него маленькое металлическое распятие из числа специально изготовляемых для солдат католического вероисповедания, уже выйдя из церкви, на углу Беренвега и Остерцейле встретил тетку Мальке — на улице она носила очки с толстыми стеклами, и ускользнуть от нее не представлялось возможным.

Раньше даже чем мы успели поздороваться, она начала говорить по-деревенски, врастяжку и тем не менее быстро-быстро. Когда кто-нибудь проходил мимо нас, она брала меня за плечо и приближала мое ухо к своему рту. Горячие фразы с влажными осадками. Сначала — сплошные пустяки. Болтовня о снабжении: «Даже по карточкам не получишь всего, что положено». Так я узнал, что в лавках опять нет лука, но что у Матцерата бывает желтый сахар и ячневая крупа, а мясник Ольвейн ожидает консервов из свиной тушонки: «Верно, одни хрящики». Наконец, без всякого вопроса с моей стороны была затронута самая важная тема: «Мальчику теперь получше живется, хоть он об этом и не пишет. Да он ведь и не жаловался никогда, точь-в-точь как его отец, мой зять. Они его сунули в танковые войска. Может, оно и лучше, хоть на дожде не мокнуть, как в пехоте».

Ее шепот все глубже проникал в мои уши. Я узнавал о новых странностях Мальке, о рисунках, нацарапанных словно бы рукой школьника пониже подписи в письмах со штемпелем полевой почты.

— Он и ребенком-то сроду не рисовал, разве что в школе, когда вам тушь в руки дали. Ах да, это последнее письмо у меня в кармане и уже помялось изрядно. Знаете, господин Пиленц, у нас отбою нет от желающих прочитать, что́ он пишет.

Тетка достала из кармана письмо Мальке.

— Почитайте и вы.

Но я ничего не читал. Только держал письмо рукою без перчатки. Сухой колючий ветер налетел с площади Макса Гальбе и неудержимо завихрился вокруг меня. Мое сердце билось, уходило в пятки, жаждало приоткрыть дверь. Семь братьев ожили во мне, и ни один не писал письма вместе с Мальке. Пошел снег, и бумага теперь белела в моих руках, хотя на самом деле была бурой и несортовой. Нынче я уже могу сказать: понял тотчас же, но только таращил глаза, а в письмо не заглядывал, не хотел понимать, потому что еще до того, как бумага хрустнула в моих руках, до меня дошло, что Мальке снова на передовой; зигзагообразные линии под тщательно выведенными строчками, впрочем, неровно ложившимися, так как бумага была нелинованая,— восемь, двенадцать, тринадцать, четырнадцать с неодинаковым нажимом и неровно очерченных кругов, и от каждого круга — отросток, смахивавший на бородавку маленький кружок, от каждой бородавки шла линия к левому полю листа, и на всех этих танках — ибо как ни беспомощны были рисунки, я все же узнал русские Т-34 — в одном каком-то месте, большей частью между башней и люком, имелась мета, как рукой, снимавшая бородавки: крест, знак попадания снаряда; к тому же регистратор попаданий, видимо, считался с некоторым тупоумием тех, кто будет рассматривать его рисунки,— выразительные и намного превосходящие размер заштрихованных танков синие карандашные кресты перечеркивали все четырнадцать, столько их было, не больше и не меньше,— четырнадцать Т-34.

Не без самодовольства я пояснил тетке Мальке, что речь, надо думать, идет о танках, подбитых Иоахимом Мальке. Но она не выказала ни малейшего удивления, ей многие говорили то же самое, одного она не может взять в толк, почему этих танков то больше, то меньше, раз как-то их было восемь, а в последнем письме двадцать семь.

— Может, оттого, что почта стала плохо работать. Но вы, господин Пиленц, должны прочитать, что пишет наш Иоахим. Он и о вас пишет, из-за свечей, но мы уже несколько штук достали.— Я пробежал глазами письмо: Мальке выказывал заботливость, осведомляясь о недомоганиях матери и тетки — письмо было адресовано им обеим,— спрашивал о спазмах и болях в спине, интересовался, что делается у них в садике. «Дала ли слива и в этом году такой же хороший урожай? Как пожи-вают мои кактусы?» Далее несколько слов об его службе, которую он называл утомительной и безответственной: «Разумеется, мы несем потери. Но пресвятая дева будет и впредь хранить меня». Засим следовала просьба: хорошо, если бы матери и тетке удалось раздобыть свечу, еще бы лучше две, и передать его преподобию Гузевскому для алтаря девы Марии. «Не поможет ли вам в этом Пиленц — им ведь выдают ордера». Далее он просил помолиться святому Иуде Тадейскому, двоюродному племяннику богоматери — Мальке знал все святое семейство,— и отслужить панихиду по погибшему отцу: «Он ведь ушел от нас, не причастившись святых тайн». В конце письма опять сущие пустяки и довольно бледные описания природы: «Вы и представить себе не можете, до какой степени все здесь разрушено, как несчастны люди и маленькие дети. Ни электричества, ни водопровода. Иной раз хочешь додуматься до смысла, но, верно, так тому и быть. Если будет у вас охота, съездите на поезде в Брёзен — только оденьтесь потеплее — и поглядите, не виднеются ли еще слева от въезда в гавань и совсем недалеко в море палубные надстройки затонувшего судна. Некогда там торчали обломки. Их видно невооруженным глазом, а тетя ведь в очках — мне очень интересно, можно ли еще...»

Я сказал его тетке:

— Не стоит вам туда ездить. Лодчонка с места не стронулась. Мой сердечный привет Иоахиму, когда будете снова ему писать. Он может быть спокоен. Здесь ничего не меняется, и его лодчонку никто не уведет.

Но если бы верфь Шихау и увела ее, иными словами, подняла со дна, превратила в металлический лом или отстроила заново — много ли тебе было бы от этого проку? Разве ты перестал бы в письмах со штампом полевой почты по-ребячески рисовать русские танки и зачеркивать их синим карандашом? А кто превратил бы в металлический лом богоматерь? Какие чары могли бы превратить нашу добрую старую гимназию в кормушку для птиц? А кошка и мышь? Разве есть истории, которые кончаются?

XI

Те три или четыре дня, которые мне пришлось просидеть дома, каракули Мальке неотступно стояли у меня перед глазами. Моя мать была в связи с неким инженером-строителем из организации Тодта — или она все еще стряпала диетические бессолевые блюда для маявшегося животом обер-лейтенанта Штиве, отчего он и был так предан ей? — то один, то другой господин бесцеремонно расхаживал по нашей квартире, да еще, не понимая, как это символично, в стоптанных домашних туфлях моего отца. Среди уюта, словно сошедшего со страниц иллюстрированного журнала, она таскала из комнаты в комнату свою

деловитую печаль и элегантным траурным нарядом щеголяла не только на улице, но в кухне и в гостиной. На буфете она соорудила нечто вроде алтаря в память моего павшего брата: во-первых, увеличенная до неузнаваемости фотография с паспорта, на которой он был снят в унтер-офицерской форме, но без фуражки; во-вторых, оба извещения о смерти из «Форпостен» и «Нейестен нахрихтен» в траурной рамке под стеклом; в-третьих, пачка писем с фронта, которую она перевязала черной шелковой ленточкой; в-четвертых, железный крест второй степени, который она на нее положила, придвинув все это сооружение к левому углу рамки; в-пятых же, поместила справа скрипку брата и смычок, на подстеленной под него исписанной нотной бумаге — он пробовал свои силы в сонатах для скрипки, эти сонаты, как видно, служили противовесом его письмам с фронта.

Если теперь мне время от времени недостает моего старшего брата Клауса, которого я едва знал, то в ту пору алтарь возбуждал во мне ревность. Я представлял себе свою увеличенную фотографию в такой вот черной рамке, чувствовал себя обойденным и грыз ногти, когда оставался один в комнате, и алтарь в память брата так и лез мне в глаза.

В одно прекрасное утро, в час, когда обер-лейтенант нежит на кушетке свой больной живот, а мать на кухне варит ему бессолевую овсянку, я непременно разнес бы в щепы своим уже окрепшим кулаком и фотографию и извещение о смерти, а уж заодно и скрипку... Но тут подоспел день призыва на трудовой фронт и лишил меня возможности разыграть эту сцену, которая и поныне могла бы производить впечатление благодаря великолепной постановке — я со своей нерешительностью, моя мать у буфета и эта смерть на Кубани. С чемоданом «под кожу» в руках я через Берент отправился в Кониц, чтобы в течение трех месяцев иметь полную возможность изучать Тухлерово болото между Оше и Рецем. Ветер и вечно движущийся песок. Раздолье для энтомологов. Ягоды можжевельника под ногами. Кусты и ориентиры: четвертый куст слева — за ним цель, в которую надо попасть. Красивые облака над березами и мотыльки, не ведающие, куда летят. Темно-блестящие, круглые озерца среди топей — в них мы ручными гранатами глушили карасей и карпов. Природа, приговоренная к расстрелу. В Тухеле имелось кино.

И все-таки, несмотря на березы, облака и карасей, я могу набросать лишь в общих чертах, как на песке, расположение этого отряда трудового фронта с его четырьмя бараками, укрытиями в леске, с флагштоком, окопами и отхожим местом позади учебного барака, потому что за год до меня, за год до Винтера, Юргена Купки и Банземера Великий Мальке ходил здесь в сапогах и тиковой блузе и в буквальном смысле оставил здесь свое имя: в отхожем месте, без крыши, полном жужжания навозных жуков, между деревянной обшивкой, которую прикрывали кусты дрока, в сосновую доску напротив голой балки было врезано двухсложное слово, а под ним, хоть и по-латыни, но так, что начертание напоминало рунические письмена, начало его любимого песнопения: Stabat Mater dolorosa... Францисканский монах Якопоне да Тоди мог бы торжествовать, но я и на трудовом фронте не отделался от Мальке. Ибо, даже когда я облегчался и позади меня и подо мной множились кишевшие червями экскременты моего призывного года, ты не давал покоя моему взору: громко и неустанно напоминал этот текст о Мальке и пресвятой деве, сколько бы я ни старался от них отвлечься.

Притом я уверен, Мальке не насмешничал. Насмешничать он не умел. Пытался иной раз. Но все, что бы он ни делал, к чему бы ни притрагивался, что бы ни говорил, становилось серьезным, значительным

и монументальным. Так же и слова, врезанные в сосновую доску отхожего места рабочего отряда между Оше и Рецем, называемого Тухель-Норд. Сентенции касательно пищеварения, похабные стишки, огрубленная анатомия — текст Мальке забивал все эти более или менее остроумно сформулированные сальности на загородке вокруг отхожего места, делавшие красноречивой обыкновенную дощатую стену.

Я и сам — возможно, потому, что Мальке воззвал ко мне так доходчиво и в столь укромном месте,— едва не сделался благочестивцем, и тогда бы мне не пришлось с неспокойной совестью заниматься весьма умеренно оплачиваемой работой по социальному обеспечению в нашем Колпинговом доме, не пришлось бы стремиться обнаружить в Назарете ранний коммунизм, а в украинских колхозах позднее христианство, я был бы, наконец, избавлен от нескончаемых ночных разговоров с патером Альбаном, от хитроумных исследований, может ли богохульство в какой-то мере подменить собою молитву; я имел бы право верить, во что-то верить, все равно во что, хотя бы в воскрешение плоти. Но я вырубил топором Мальково любимое песнопение, а потом, когда в кухне мне приказали наколоть растопок, я пустил в дело эту дощечку и предал огню даже твое имя.

Старая притча о непродажном участке, жутковато-моралистическая и трансцендентная! Слепое свежевырубленное место взывало ко мне громче, чем некогда врезанная в доску надпись. К тому же памятку о твоем пребывании здесь, видно, размножили щепки, ибо на территории между кухней, канцелярией и складом обмундирования, особенно по воскресеньям, когда даже мухи мерли со скуки, о тебе рассказывались невесть какие истории. Собственно, все те же побасенки, с отклонениями лишь в мелочах, о солдате трудового фронта по имени Мальке, который эдак с год назад отбывал службу в подразделении Тухель-Норд и бог знает какие откалывал штуки. Два водителя грузовиков, повар и кладовщик, еще помнившие его, так как никакие перемещения по службе их не коснулись, говорили, не слишком друг другу противореча: «Ну, и видик у него был, когда он здесь объявился. Волосы вот досюда. Его живо спровадили к парикмахеру, ну да толку чуть: ушами хоть пену сбивай, а кадык, скажу я вам, вот это кадык! И еще — как-то раз... когда здесь... или когда, к примеру...— но самая умора: повез я всю эту новоприбывшую братию на санобработку в Тухель. Когда под душ встали, думаю, что-то мне примерещилось, дай-ка посмотрю получше, ого-го, держись, говорю себе, только не завидовать: ну и штуковина, отродясь такой не видывал, а уж если заработает на полную мощность... словом, этой штуковиной он и так и эдак обработал жену оберфельдмейстера, ядреную такую бабенку лет сорока, а все оттого, что болван-муж — потом этого дурака перевели во Францию — привел его в свой дом, второй слева в поселке для командного состава трудового фронта: сарай вздумал для кроликов строить. Мальке, так этого типа звали, сначала отказывался, не ярясь, а вполне спокойно и деловито, цитаты даже приводил из устава. Но начальник все равно отправил его на два дня в отхожие места — мед качать. Я сам его видел со шлангом, поодаль ото всех, потому что другие его в умывальную не пускали, наконец он сдался, расколол несколько ящиков на доски, взял инструмент и пошел, уж не знаю, может, и ради кроликов! Видно, неплохо он со старухой управился. Через неделю она опять потребовала его к себе — в саду работать, и Мальке на рассвете, весь дрожа, шел к ней, а к перекличке уже был на месте. Начальника, наконец, осенило: сарай-то все стоит и стоит недостроенный. Не знаю уж, застал он их или как; может, они на кухонном столе или еще где пристроились, точь-в-точь как отец

с матерью дома на перине, у него, верно, дух перехватило; все-таки он вышел из положения и стал то и дело посылать Мальке в Оливу и в Оксхёфт за запчастями, чтобы не околачивался здесь этот бугай со своими причиндалами. В канцелярии говорят, что они и сейчас еще друг дружке письма шлют. Да это еще что, тут дело было посерьезнее. Ну, да поди знай. Во всяком случае, этот Мальке — я своими глазами видел — в одиночку обнаружил подземный партизанский склад под Гросс-Бислау. Опять-таки интересная историйка. Был там самый обыкновенный пруд, как во всех здешних деревнях. Мы занимались учением на местности; лежим уже с полчаса возле этой лужи, а Мальке все смотрит и смотрит, потом вдруг говорит: «Погодите-ка минутку, что-то тут не так». Унтер-фельдмейстер, забыл как его звали, ухмыляется, мы тоже, но дает разрешение, Мальке вмиг стаскивает с себя одежонку и плюх в лужу. И вот, честное слово, как нырнул — в четвертый только раз,— так и наткнулся в этой бурой подливке, меньше пятидесяти сантиметров под водой, на вход в хорошо оборудованный подземный склад, с гидравлическим погрузочным устройством и въездными воротами. Мы четыре грузовика с верхом нагрузили, командиру пришлось перед всем подразделением выразить ему благодарность. Он даже, несмотря на эту историю с его старухой, представил Мальке к ордену. Орден послали ему вслед, на фронт. Мальке хотел в танковые войска, а уж взяли его или нет, не знаю».

Поначалу я как воды в рот набрал. Винтер, Юрген Купка и Банземер тоже держали язык за зубами, когда речь заходила о Мальке. Случалось, правда, что за едой или отправляясь через командирский поселок на учение на местности — во дворе второго дома слева все еще не было сарая для кроликов,—мы переглядывались. Или когда кошка неподвижно лежала на зеленом, слегка колышащемся лугу, мы, объясняясь без слов многозначительными взглядами, становились сообщниками, хотя к Винтеру и Купке, особенно же к Банземеру, я относился довольно равнодушно.

За месяц до окончания службы — мы занимались вылавливанием партизан, но ни одного из них не схватили и потерь тоже не понесли, следовательно, в то время, когда нам и раздеться-то было некогда,— начали циркулировать слухи. Кладовщик, который выдавал Мальке обмундирование и возил его на санобработку, принес их из канцелярии. «Во-первых, опять письмо от Мальке жене бывшего начальника. Они собираются переслать его во Францию. Во-вторых, запрос с самых верхов. Они еще возятся с ответом. В-третьих, точно вам говорю: это самое от рождения сидело в Мальке. Но за такой короткий срок! Да, покуда не стал офицером, ему можно было мучиться этой дурацкой болью в горле. Но нынче в любом звании приходится... Наверно, он всех моложе. Как представлю себе его, с этими ушами...»

Тут слова сами стали срываться с моего языка. Винтер тоже не заставил себя ждать. Юрген Купка и Банземер, в свою очередь, поделились имеющимися у них сведениями.

— Ох, мы ведь этого Мальке очень давно знаем.

— Он с нами в гимназии учился.

— Он уже тогда, ему еще и четырнадцати не было, мучился болями в горле.

— А с капитан-лейтенантом какую он штуку отмочил. На уроке гимнастики упер у него с вешалки орден с ленточкой. Вот как это было...

— Нет, начинать надо с граммофона.

— А жестянки с консервами, это что, пустяки? Он, значит, с самого начала носил на шее отвертку...

— Минуточку! Если хочешь начинать с самого начала, то расскажи о состязаниях в лапту. Вот лежим мы, значит, на траве, а Мальке задремал. Тут откуда ни возьмись серая кошка и прямиком идет по лугу к Мальке. Увидела его шею и решила, что это мышь по ней елозит...

— Глупости говоришь, это же Пиленц взял кошку и... разве нет?

Двумя днями позднее все это получило официальное подтверждение. На утренней перекличке было объявлено: бывший солдат трудового фронта, подразделения Тухель-Норд, поначалу в качестве простого наводчика, затем уже как унтер-офицер и командир танка в непрерывных боях, происходивших в стратегически важном пункте, подбил столько-то русских танков, сверх того и так далее и так далее.

Мы уже начали сдавать свое барахлишко, так как должна была прибыть смена, когда мать прислала мне вырезку из «Форпостена». Там черным по белому стояло: сын нашего города в непрерывных боях, поначалу в качестве простого наводчика, затем уже как командир танка, и так далее и так далее.

XII

Песочные наносы, мергель, болота, мерцающие огоньками, стайки жуков, пруды, ручные гранаты, караси, облака над березами, партизаны в зарослях дрока, можжевельник, можжевельник, добрый старый Лёнс *, он родом из тех краев, и еще кино в Тухеле — все осталось позади. Только свой чемодан «под кожу» да иссохший пучок вереска я взял с собой. И еще в поезде, когда я выбросил его из окна, на всех пригородных платформах, затем на главном вокзале, перед кассами, в толчее солдат-отпускников, у выходов и в трамвае, идущем в Лангфур, я начал неразумно, с какой-то одержимостью искать Мальке. Комичным и слишком приметным казался я себе в штатском школьном костюме, из которого вырос, и не поехал домой — что могло там ждать меня? — а сошел возле нашей гимназии, на остановке Спортпаласт.

Чемоданчик «под кожу» я оставил у швейцара и, ничего не спрашивая — все здесь мне было досконально знакомо,— помчался, прыгая через три ступеньки, вверх по гранитной лестнице. Не то чтобы я надеялся застать его в актовом зале — там обе двери стояли настежь и уборщицы, опрокидывая скамейки, мыли их с мылом,— для кого, спрашивается? Я свернул налево. Приземистые гранитные колонны, предназначенные охлаждать разгоряченные лбы. Мраморная доска с именами погибших в ту и в эту войну, на которой оставалось еще довольно много места. Бюст Лессинга в нише. Везде шли занятия, поэтому коридоры были пустынны. Только раз какой-то четвероклассник протрусил тонконогими шажками со свернутой в рулон географической картой в руках сквозь восьмиклассный запах, пропитавший все углы и закоулки. 3-а... 3-б... рисовальный класс... 5-а... стеклянный ящик для чучел млекопитающих. Что-то в нем сейчас? Ясное дело, кошка. А где снует, где трепещет мышь? Вперед, мимо конференц-зала. Когда коридор кончился и светлое торцовое окно осталось у меня за спиной, между секретариатом и кабинетом директора передо мной предстал Великий Мальке без мыши, ибо на шее у него был совсем особый предмет — внушительная побрякушка, магнит, противоположность луковицы, гальванизированный четырехлистник, исчадие доброго старого Шинкеля, «бомбошка», прибор, вещь, вещь, вещь. Несмеюдаженазвать.

А мышь? Она спала, зимняя спячка в июне. Дремала под толстым одеялом — Мальке-то вошел в тело. Не то чтобы кто-нибудь, судьба или автор, ее уничтожил или зачеркнул, как Расин зачеркнул крысу на

* Герман Лёнс (1866—1914) — немецкий поэт и беллетрист.

своем гербе, оставив только лебедя. Мышка все еще была геральдическим зверем и даже во сне двигалась, когда Мальке делал глотательное движение; а глотать время от времени ему все же приходилось, как ни почетно они его разукрасили.

Как он выглядел? Что от боевых действий ты пополнел, я уже сказал — чуть-чуть, на толщину двух промокашек. Ты не то прислонился к подоконнику, не то присел на эту белую полированную доску. Как и все прочие в танковых войсках, ты был одет в форму, на разбойничий манер сшитую из черных и серых кусков сукна: серые штаны, наподобие лыжных, частично закрывали голенища черных, до блеска начищенных сапог, черный, тесный, так что у слишком узкой проймы набегали мелкие складочки, и тем не менее изящный китель делал тебя хрупким, несмотря на несколько благоприобретенных фунтов. На нем никаких орденов. А у тебя были два креста, но не было значка за ранение: богоматерь хранила тебя от пуль. На груди, разумеется, ничего, что отвлекало бы взгляд от бляхи, афиширующей ратные подвиги. Из-под растрескавшегося и плохо вычищенного ремня выступал лишь совсем узенький кусок кителя, такими короткими были кителя у танкистов, что их называли обезьяньими курточками. Этот ремень и пистолет, свисавший почти на самый зад, придавали неподвижную напряженность твоему телу и в то же время смело старались его из этой напряженности вывести, но серая пилотка, не заломленная набекрень, как это было принято в ту пору да принято и сейчас, тоже прямо сидела на голове и своей вмятиной напоминала о твоей тяге к симметрии, а также о прямом проборе тех лет, когда ты был школьником и пловцом и мечтал сделаться клоуном. Вдобавок с той поры, как твои хронические боли вылечили четырехлепестным куском железа, ты больше не носил длинных волос спасителя. Ты сделал себе, или тебе сделали, дурацкий ежик высотою в спичку, который тогда украшал рекрутов, а теперь сообщает налет модной аскезы курящим трубку интеллектуалам. Тем не менее — лик спасителя. Эмблема на пилотке казалась припаянной к волосам, орел распластал крылья над твоим лбом, как голубь,— олицетворение святого духа. Тонкая, чувствительная к свету кожа. Угри на мясистом носу. Верхние веки в тонких красноватых прожилках опущены как обычно. Когда я быстро задышал перед тобой, а за спиной у меня под стеклом было чучело кошки, глаза твои почти не расширились.

Первая попытка пошутить:

— Привет, унтер-офицер Мальке!

Шутка не удалась.

— Я здесь дожидаюсь Клозе. Он где-то на уроке математики.

— То-то он обрадуется.

— Мне надо поговорить с ним о докладе.

— Ты уже был в зале?

— Мой доклад разработан от слова до слова.

— Уборщиц видел? Они там скамейки надраивают.

— Мы потом с Клозе туда заглянем и решим, как лучше расставить стулья перед подиумом.

— Он будет очень доволен.

— Я сделаю все от меня зависящее, чтобы читать доклад ребятам, начиная с четвертого класса и старше.

— А Клозе знает, что ты ждешь его здесь?

— Секретарша фрейлейн Хершинг доложила ему.

— То-то он будет рад.

— Доклад я сделаю краткий, но содержательный.

— Слушай, старик, как ты это получил за такой короткий срок?

— Милый мой Пиленц, наберись терпения: в моем докладе будут затронуты все проблемы, связанные с наградами.

— То-то Клозе порадуется.
— Я его попрошу не вводить меня в зал и не представлять.
— Ты хочешь, чтобы это сделал Малленбрандт?
— Пусть служитель оповестит о докладе, и баста.
— Ну он...

Звонок запрыгал с этажа на этаж и положил конец урокам во всех классах гимназии. Мальке только сейчас широко раскрыл оба глаза. Короткие его ресницы стояли торчком. Несмотря на позу, с виду небрежную, он изготовился к прыжку. В спине я ощутил какое-то неприятное чувство и стал вполоборота к стеклянному ящику — в нем больше не было серой кошки, была черная, на своих белых лапках она неустанно подкрадывалась к нам, ее белая манишка блестела. Чучела кошек умеют красться лучше, чем живые кошки. На маленьком картонном щитке каллиграфическим почерком было выведено: «Кошка домашняя». Я заговорил, не поворачиваясь к окну, потому что после звонка стало слишком тихо и кошка приобретала все большее, все большее значение, сначала я отпустил какую-то шутку, еще одну, потом что-то сказал об его матери и тетке, сказал, чтобы его ободрить, несколько слов об его отце, о паровозе отца, о гибели отца под Диршау и посмертном награждении медалью «За храбрость»: «Будь твой отец жив, как бы он радовался».

Но прежде чем я успел заклясть отца и кошку отговорить от мыши, между нами возник директор Вальдемар Клозе со своим неокрашенным голосом. Клозе его не поздравил, не обратился к нему как к унтер-офицеру и кавалеру ордена, не сказал даже: «Господин Мальке, я очень рад вас видеть», а небрежно, поначалу выказав подчеркнутый интерес к моей деятельности на трудовом фронте и к ландшафтным красотам Тухлерова болота — как-никак это родина Лёнса, бросил несколько обязательных слов в воздух, поверх его пилотки:

— Вот видите, Мальке, значит, вам многое удалось. Были вы уже в школе Хорста Весселя? Мой уважаемый коллега господин доктор Вендт будет весьма и весьма рад. Думаю, вы не преминете сделать небольшой доклад вашим бывшим соученикам, дабы укрепить их веру в наше оружие. Разрешите попросить вас на минуту ко мне в кабинет.

И Великий Мальке с почтительным видом последовал за директором Клозе в его кабинет и в дверях сорвал пилотку со своей щетинистой шевелюры. Выпирающий затылок, гимназист в военной форме, готовящийся к серьезному разговору, результата которого я не дождался, хотя мне очень хотелось знать, что́ после этого разговора скажет уже совсем проснувшаяся предприимчивая мышь кошке, хоть и обращенной в чучело, но все еще крадущейся.

Вонючий маленький триумф: опять моя взяла. Ну, погоди! Но он не пожелает уступить, не пожелает пожелать. Я помогу ему. Надо будет поговорить с Клозе. Я подыщу слова, которые дойдут до сердца. Жаль, что они спровадили в Штутгоф папашу Бруниса. Он со своим старым Эйхендорфом в кармане поддержал бы его. Но Мальке никто не мог помочь. Может быть, если бы я поговорил с Клозе... Но ведь я говорил с ним, целых полчаса мое лицо обдували мятные слова, а под конец я вполголоса, робко вставил: «По-человечески вы, наверно, правы, господин директор. Но нельзя ли было бы ввиду... в этом особом случае... С одной стороны, я вполне вас понимаю. Основополагающий фактор: порядок во вверенном вам заведении. Ничто, конечно, не забывается, но с другой стороны... и еще потому, что он так рано потерял отца...»

Я говорил и с его преподобием Гузевским, и с Туллой Покрифке говорил, чтобы она поговорила со Штёртебекером и его бражкой. Ходил

к своему прежнему юнгбанфюреру. У него после Крита была деревянная нога, он сидел за письменным столом в окружном управлении на Винтерплаце и воодушевленный моим предложением разразился бранью в адрес этих «чертовых учителей»: «Сделаем, вот посмотришь. Пускай он сюда придет, этот Мальке. Я смутно его помню. Что-то с ним такое вышло? Ну, да замнем! Я всех на ноги подыму, даже Союз немецких девушек и женские организации тоже, и арендую зал при почтамте, наискосок от гимназии, триста пятьдесят мест...»

А его преподобие Гузевский вознамерился собрать в ризнице пожилых дам, своих прихожанок, и нескольких католических рабочих — залом общины он не имел права распоряжаться.

«Может быть, ваш друг скажет сначала несколько слов о Георгии-победоносце, дабы его доклад носил подобающий церкви характер, а под конец упомянет о могуществе молитвы в час горя и опасности?» — предложил Гузевский, многого ожидавший от этого доклада.

Теперь еще несколько слов о подвале, который подростки из компании Штёртебекера и Туллы Покрифке намеревались представить в распоряжение Мальке. Тулла Покрифке подвела ко мне некоего Ренванда — я знал его только в лицо: он был служкой в церкви Сердца Христова. Ренванд стал делать таинственные намеки, потом заговорил об охране, которая будет сопровождать Мальке, пистолет ему, конечно, придется сдать: «Если он решит к нам прийти, мы, разумеется, завяжем ему глаза. И еще ему надо будет подписать клятвенное обещание молчать и так далее, чистейшая формальность, конечно. Заплатим мы хорошо. Либо наличными, либо часами. Мы и сами ничего не делаем задаром».

Но Мальке не желал ни чистейших формальностей, ни гонорара. Я попробовал его подзадорить: «Чего ты, собственно, хочешь? Ничем на тебя не угодишь. Тогда поезжай в Тухель-Норд. Там теперь следующий призыв. Кладовщик и повар еще помнят тебя и будут в восторге, если ты щегольнешь перед ними своими орденами, да еще речью попотчуешь».

Мальке спокойно выслушивал все предложения, иногда посмеивался, одобрительно кивал, задавал весьма деловые вопросы касательно намечаемых мероприятий, и, как только выяснялось, что ничто более не препятствует тому или иному начинанию, коротко и угрюмо отвергал любое, даже приглашение гаулейтера, ибо с самого начала знал одну только цель: актовый зал нашей гимназии. Во что бы то ни стало хотел он стоять в трепещущем золотой пылью свете, который лился сквозь стрельчатые новоготические окна. Хотел читать свой доклад среди запаха трехсот тихо и громко пердевших гимназистов. Хотел знать, что позади него, вокруг него толпятся его постаревшие, поистрепавшиеся учителя. Хотел стоять перед портретом на задней стене зала, изображавшим основателя гимназии барона фон Конради, изжелта-бледного и бессмертного под толстым блестящим слоем лака. Хотел войти через одну из потемневших от времени двухстворчатых дверей в актовый зал, хотел после краткой, весьма целеустремленной речи выйти в другую; но Клозе в мелко-клетчатых брюках-гольф стоял одновременно у обеих дверей: «Как солдат вы должны были бы знать, Мальке. Нет, эти уборщицы мыли скамейки без особых на то причин, не для вас, не для вашей речи. Как бы хорошо ни был продуман ваш план, ничего из него не выйдет: многие — уж позвольте вам это сказать — всю жизнь любят драгоценные ковры и умирают на дощатом полу. Учитесь отречению, Мальке!»

Правда, Клозе до известной степени сдал свои позиции, созвал совещание, и совещание, в согласии с директором школы Хорста Весселя, вынесло решение: «Порядки гимназии требуют...»

И Клозе устроил так, что школьный совет стал на его точку зрения, раз прежний гимназист, чья предыстория, даже если в эти трудные и

серьезные времена... не придавая, конечно, излишнего значения тому случаю, тем более что время, отделяющее... но поскольку случай был беспримерным, преподавательский состав обеих школ считает, что...

И Клозе написал письмо, носившее глубоко приватный характер. И Мальке прочитал, что Клозе не может поступать по велению своего сердца. Времена и обстоятельства, к несчастью, таковы, что опытный педагог, несущий бремя своей профессии, не вправе допустить себя до простых отеческих чувств; он просит о мужественной поддержке в духе данного учебного заведения, в старом конрадовском духе. Он с большой охотою послушает доклад. который Мальке, надо надеяться, в самое ближайшее время и безо всякой горечи и обиды сделает в школе Хорста Весселя. Или, может быть, он, Мальке, как то и подобает герою, избе-рет лучшую долю, то есть молчание?

Но Великий Мальке уже шел по аллее, похожей на аллею дворцового парка в Оливе, которая была темна, как туннель, изобиловала шипами, так что птицы не садились на сплетавшиеся вверху ветви, не имела боковых дорожек и тем не менее была лабиринтом. Он спал целые дни напролет, играл в «мельницу» с теткой или, с виду бездеятельно, дожидался конца отпуска, а по ночам кралcя вместе со мною — я всегда по его пятам, никогда впереди, редко рядом — сквозь лангфурскую ночь. Мы не блуждали бесцельно, а прочесывали благородно тихую, покорившуюся предписаниям противовоздушной обороны Баумбахаллее, где водились соловьи и жил директор Клозе. Я, усталый, прямо в его обтянутую мундиром спину: «Брось ерундить. Смотри как бы не всыпаться. Ну что тебе далась эта история. Каких-нибудь два дня отпуска всего-навсего и осталось. Погоди, сколько ты еще в отпуску? Брось эту ерунду...»

Но в оттопыренных ушах Мальке звучало не мое унылое сетование, а совсем иная мелодия. До двух часов ночи мы держали в осаде Баумбахаллее и ее двух соловьев. Дважды нам пришлось пропустить его: он шел не один. Но когда после четырех ночей, проведенных в засаде, часов около одиннадцати директор Клозе в полном одиночестве показался в конце Баумбахаллее, высокий, узкий, в брюках-гольф, без пальто и без шляпы — погода была теплая,— Великий Мальке протянул левую руку, и она ухватила воротничок Клозе и его штатский галстук. Он прижал педагога к железной, искусно сработанной ограде, за которой цвели розы, они пахли — потому что было тепло — еще громче, чем пели соловьи, все вокруг пропитывая своим благоуханием. Мальке, вняв письменному совету Клозе, избрал лучшую долю — героическое молчание и безмолвно бил гладко выбритую физиономию директора, справа и слева, ладонью и тыльной стороной ладони. Оба молчали — выдержанные люди. Только шлепки были красноречивы, ибо Клозе держал маленький узкий рот сомкнутым: не хотел, видно, смешивать свое мятное дыхание с ароматом роз.

Случилось это в четверг и длилось меньше минуты. Мы оставили Клозе у железной ограды. Другими словами: Мальке сначала повернулся, потом зашагал в своих сапожищах по усыпанной гравием дорожке под красными кленами, вверху, впрочем, загораживавшими небо своей чернотою. Я сделал попытку принести Клозе нечто вроде извинений — за Мальке и за себя. Побитый директор движением руки отклонил их; он уже не выглядел побитым — стоял вполне собранный, олицетворяя своим темным силуэтом, оттененным редкими голосами птиц и мудреным узором ограды, просвещение, гимназию, учрежденную фон Конради, конрадовский дух, конрадинум, как называли нашу школу.

С того места с той минуты мы бежали по спящим улицам пригорода и ни словечка не проронили о Клозе. Мальке подчеркнуто делови-

то и негромко говорил о чем-то таком, что занимало его, отчасти и меня в тогдашнем моем возрасте. К примеру: есть ли загробная жизнь? Или: ты веришь в переселение душ? Мальке болтал и болтал: «Я сейчас довольно много читаю Кьеркегора. Ты когда-нибудь непременно прочти Достоевского, особенно если будешь в России. Тебе многое откроется, духовный склад и так далее».

Много раз мы останавливались на мостиках через Штрисбах, ручеек, кишевший пиявками. Хорошо было, прислонившись к перилам, дожидаться водяных крыс. На каждом мостике разговор от банальностей и несколько натянутого повторения школярских сведений о военных судах, их броне, количестве орудий и скорости в узлах перескакивал на религию и так называемые «проклятые вопросы». На совсем маленьком мостике у Новой Шотландии мы сначала долго смотрели на вызвездевшее, как в июне, небо, потом уставились — каждый сам по себе — на воду ручья. Мальке вполголоса, не заглушая даже стука пустых консервных банок о камни на дне ручья, который нес с собой еще и дрожжевой запах акционерной пивоварни: «Разумеется, я не верю в бога. Общепринятое надувательство, чтобы морочить народ. Я верю единственно в деву Марию и потому никогда не женюсь».

Фразочка, пожалуй, слишком уж краткая и слишком смутная для разговора на мосту. Она мне запомнилась. Где бы я ни видел реку или канал с перекинутым через него мостом, когда внизу журчит вода и булькает, натыкаясь на разный хлам, который неаккуратные люди бросают с мостов в реки и каналы, Мальке стоит передо мной в солдатских сапогах, в широких штанах и коротенькой «обезьяньей» курточке танкиста; когда он перегибается через перила, прыгун на его шее свисает вертикально, он серьезно, совсем как клоун, торжествует победу над кошкой и мышью с нерушимой своей верою: «Разумеется, не в бога. Надувательство, народ морочат. Единственная — Мария. Я никогда не женюсь».

И он наговорил еще множество слов, падавших в воду Штрисбаха. Мы, наверно, раз десять обошли площадь Макса Гальбе, раз двенадцать пробежали по Хеересангер снизу вверх и обратно. В нерешительности постояли на конечной станции пятого трамвая. Не без голодной зависти смотрели, как кондуктора и кондукторши с перманентом, забравшись в тускло освещенный синим светом вагон, поедали бутерброды, запивая их кофе из термосов.

...И вдруг проехал, или мог бы проехать, трамвай, в котором сидела Тулла Покрифке в сдвинутой набок кепочке кондукторши; она вот уже несколько месяцев отбывала трудовую повинность. Мы бы заговорили с ней, и я бы, уж конечно, с нею условился о встрече, если бы она работала на пятом номере. А так мимо нас промелькнул только маленький профиль за грустно-синеватым стеклом, да и то мы не были уверены.

Я сказал: «С ней тебе следовало бы попытаться».

Мальке раздраженно: «Разве ты не слышал: я никогда не женюсь».

Я: «Это наведет тебя на другие мысли».

Он: «А потом кто опять наведет меня на другие мысли?»

Я попробовал пошутить: «Дева Мария, разумеется».

Он, подумав: «А если она на меня обидится?»

Я, взяв на себя роль посредника: «Если хочешь, я завтра утром буду служить с Гузевским?»

Ответ последовал неожиданно быстро: «Я согласен». И он побежал к прицепному вагону, все еще сулившему профиль Туллы Покрифке в кепочке кондукторши. Прежде чем он вскочил на подножку, я крикнул: «А когда, собственно, у тебя кончается отпуск?»

И Великий Мальке, уже стоя в дверях прицепного вагона, сказал: «Мой поезд ушел четыре с половиной часа назад и, если ничего не случилось, сейчас уже подходит к Модлину».

XIII

«Misereatur vestri omnipotens Deus, et, dimissis peccatis vestris...»* легко, как мыльные пузыри, слетало со сложенных трубочкой губ его преподобия Гузевского, отливало всеми цветами радуги, выпущенное из незримой соломинки, нерешительно покачивалось в воздухе, наконец поднималось выше, все отражая в себе: окно, алтарь, богоматерь, отражая тебя и меня,— и безболезненно лопнуло, как только Благословение начало выпускать новые пузыри: «Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum...» ** Но когда возглас «аминь», сорвавшийся с уст семи или восьми молящихся, проколол и эти выдохнутые шарики, Гузевский поднял гостию, положенным образом сложил губы и выдул огромный мыльный пузырь, в ужасе затрепетавший на сквозном ветру, оттолкнул его светло-красным кончиком языка, и тот долго поднимался ввысь, прежде чем упасть и сгинуть возле второй скамьи перед алтарем пресвятой девы: «Ecce Agnus Dei...»***

Мальке первым опустился на колени на ступенях амвона — раньше даже, чем трижды прозвучало «господьянедостоинпринятьтебяподкровоммоим». И прежде чем я успел свести Гузевского со ступеней к скамеечке, откинул голову, положил свое худое, изможденное лицо параллельно побеленному бетонному потолку церкви и языком раздвинул губы. В ту секунду, когда священнослужитель, держа облатку в руке, осенил его крестным знамением, беглым и нешироким, на лице Мальке выступил пот. Светлая роса постояла над порами и вдруг покатилась вниз. Он не брился сегодня: щетина проткнула капли. Глаза сделались точно вываренные. Возможно, чернота танкистской куртки усиливала бледность его лица. Он хоть и высунул язык, но облатки не проглотил. Недвижим был крестообразный железный знак — награда за ребячьи каракули, за крестом перечеркнутые русские танки,— безучастно торчавший над верхней пуговкой воротника. Только когда его преподобие Гузевский положил гостию на язык Иоахима Мальке, тебе пришлось проглотить воздушное печенье; металл повторил движение гортани. Давай еще раз втроем снова и снова отпразднуем таинство причастия. Ты преклонил колена, я стою сзади, моя кожа суха. Твой пот, выступая, расширяет поры. Его преподобие Гузевский кладет облатку на твой обложенный язык. Только что мы все трое были как бы едины, теперь твой язык машинально втягивается. Губы опять смыкаются. Глотательное движение, кадык вторит ему, содрогаясь, и я уже знаю: Великий Мальке выйдет укрепленный из церкви Пресвятой девы Марии, пот его высохнет. И если вскоре твое лицо все-таки влажно блестело, то виною тому был дождь, моросивший на улице.

В сухой и теплой ризнице Гузевский сказал:

— Уверен, что он стоит у дверей. Может, позвать его сюда, но...

Я сказал:

— Не надо, ваше преподобие. Я уж сумею о нем позаботиться.

Гузевский, перевешивая лавандовые мешочки в шкафу:

— Надеюсь, он никаких глупостей не затевает?

Я оставил его стоять в полном облачении, не помог переодеться:

---

* Да смилуется над вами всемогущий бог, и, отпустив грехи ваши...

** Прощение, отпущение и разрешение... грехов ваших...

*** Се агнец божий...

— В этом случае вам лучше быть в стороне, ваше преподобие.

Но и Мальке, когда он, мокрый до нитки, предстал передо мной, я сказал:

— Слушай, ты, идиот, что тебе здесь еще надо? Отправляйся-ка в Хохштрисс, в штаб, да поживей. Придумай какую-нибудь причину опоздания. Я умываю руки.

Тут бы мне уйти, но я остался и вымок: дождливая погода объединяет. Попытался найти успокоительные слова:

— Не сразу же они на тебя накинутся. Скажешь, случилось что-нибудь с матерью или с теткой.

Мальке кивнул, когда я кончил говорить; нижняя его челюсть несколько раз как-то странно отвисала, он беспричинно смеялся, без умолку болтал:

— Забавно получилось с этой маленькой Покрифке. Никогда не думал. Она совсем не такая, какой себя выставляет. Говоря по чести, из-за нее копья ломать не стоит. В конце концов мое дело конченое — или еще нет?.. Я подам рапорт. Пусть загоняют меня инструктором в Гросс-Бошполь. Только надо кое-кому держать язык за зубами. Я не боюсь, просто с меня хватит. Ты понимаешь?

Я не дался в обман и постарался прижать его:

— Так, значит, все из-за этой Покрифке. А ее вовсе и не было. Она работает на второй линии, а не на пятой, второй трамвай, как известно, ходит в Оливу. Это всем известно. Тебя страх разбирает. Я отлично понимаю.

Но он настаивал, что-то между ними было:

— Насчет Туллы можешь мне поверить. Даже у нее дома на Эльзенштрассе. Мать на это смотрит сквозь пальцы. Главное, я больше не хочу. Может быть, боюсь. Перед обедней мне было страшно. Теперь полегчало.

— Подумай, ты же не веришь в бога и во все эти чудеса.

— Это тут ни при чем.

— Ладно, замнем, ну а что теперь?

— А что, если... у Штёртебекера и этих парней, ты же их знаешь.

— Нет, дорогой мой. С ихней бандой я больше ничего общего не имею. Хватит, я уж на этом деле обжегся. Спроси-ка лучше Покрифке, раз ты с ней... да еще у нее дома.

— Пойми же: на Остерцейле мне больше показаться нельзя. Если они еще туда не явились, то не сегодня-завтра явятся, скажи, а что, если у вас в погребе... дня на два, не больше?

Но я опять-таки умыл руки:

— Попытайся где-нибудь еще. У вас же родня в деревне, или у Покрифке в сарае при столярной мастерской ее дяди... Или на лодчонке.

Это слово довольно долго висело в воздухе. Мальке, правда, еще добавил: «В эту чертову погоду?» — но все уже было решено. Я упрямо и многоречиво отказывался проводить его на лодчонку, в свою очередь ссылался на «чертову погоду», но в конце концов все-таки оказалось, что я должен быть с ним: дождливая погода объединяет.

Наверно, с час мы шли от Новой Шотландии до Шельмюля, потом обратно и второй раз вверх по нескончаемой Позадовской улице. Два раза передохнули с подветренной стороны афишной тумбы, сначала одной, потом следующей, обклеенной все теми же аляповатыми плакатами, и опять пустились в путь. Около подъезда городской гинекологической клиники стала видна знакомая декорация: за железнодорожной насыпью и разросшимися каштанами фронтон и верхушка башни несокрушимой гимназии; но он не смотрел в ту сторону или видел что-то другое. Потом мы не меньше получаса простояли под навесом трамвайной стан-

ции и вместе с нами под той же громкой жестяной крышей трое или четверо учеников народной школы. Мальчишки полегоньку боксировали и старались спихнуть друг друга со скамьи. Мальке повернулся к ним спиной, но ничего этим не добился. Двое подошли с раскрытыми школьными тетрадками и затараторили вперемежку.

— У вас разве сегодня нет занятий? — спросил я.

— Занятия в девять, если мы вообще пойдем.

— Ну, давайте сюда, только поживее!

На последней страничке обеих тетрадей в левом углу Мальке написал свое имя и воинское звание. Мальчишки этим не удовлетворились: хотели, чтобы он пометил точное количество уничтоженных русских танков; Мальке уступил, написал, словно заполняя почтовый бланк, сначала цифрами, потом буквами, вдобавок ему пришлось моей авторучкой вписать по стихотворной строчке еще в две тетради. Я уже хотел забрать ручку, когда один из мальчишек поинтересовался:

— Где вы их подбили, под Белгородом или под Житомиром?

Мальке следовало бы утвердительно кивнуть и тем самым водворить спокойствие. Но он прошептал осипшим голосом:

— Нет, ребята, большинство на отрезке Ковель — Броды, в апреле месяце, когда мы высвобождали из котла первую танковую армию.

Мне пришлось еще раз отвинтить колпачок от своей ручки. Ребята хотели, чтобы все черным по белому стояло на бумаге, к тому же они свистом вызвали из дождливой дымки еще двоих мальчуганов. Все та же мальчишечья спина продолжала служить Мальке пюпитром. Паренек хотел распрямиться, хотел тоже дать тетрадку, но они ему не позволили: надо же кому-нибудь жертвовать собой. И Мальке все более неровным почерком — светлые капли пота опять выступили на его лице — писал: «Ковель», и «Броды», и «Черкассы». Вопросы слетали с побледневших губ:

— Вы и под Кривым Рогом были?

Все рты раскрыты. В каждом недостает зубов. Глаза от дедушки с отцовской стороны, уши — в материнскую семью. Ноздри у всех одинаковые.

— А теперь куда вас направляют?

— Об этом я не имею права говорить, а значит, и спрашивать нечего.

— Об заклад бьюсь, новое наступление.

— Спроси его, он тоже был у фюрера?

— Были, дядя?

— Ты что, не видишь, он же унтер-офицер!

— Может, у вас есть фотокарточка при себе?

— Мы их собираем.

— А долго вы еще будете в отпуску?

— Да-да, скажите, долго?

— Завтра еще не уедете?

— А когда у вас отпуск кончается?

Мальке прорвался сквозь толпу мальчишек. Из-за тяжелого ранца он споткнулся. Моя ручка осталась под станционным навесом. Длительный бег наискось и бок о бок по лужам: дождливая погода объединяет. Мальчишки отстали от нас лишь у стадиона. Они еще долго кричали нам вслед, позабыв о школе. Вероятно, они и поныне собираются вернуть мне мою авторучку.

Только за Новой Шотландией среди огородов мы стали дышать спокойнее. В животе у меня бурчало все громче. Указательным пальцем я вызывающе постукал по его проклятой «бомбошке», и Мальке торопливо снял ее с шеи. Она, как годы назад отвертка, висела на шнурке от ботинок. Мальке хотел сунуть ее мне, но я не взял: «Слуга покорный».

Но он не бросил своей железяки в мокрую траву, а вспомнил о заднем кармане.

Как мне было уйти отсюда? Крыжовник за планками забора еще не поспел; Мальке стал рвать его обеими руками. Предлог налицо, но как облечь его в слова? Мальке ел ягоды и выплевывал кожуру.

— Побудь здесь с полчасика. Тебе необходимо взять с собой продукты, иначе ты долго на лодчонке не продержишься.

Скажи Мальке: «Но, смотри, вернись сюда», я бы смылся. Он же едва кивнул, просунул обе руки сквозь штакетник, нарвал ягод и с полным ртом принудил меня к выдержке: дождливая погода объединяет.

Мне открыла тетка Мальке. Хорошо, что матери не было дома. Собственно, я мог бы и у себя раздобыть что-нибудь съестное. Но мне подумалось: у него же своя семья есть. Вдобавок, мне было любопытно: как там тетка? Я разочаровался. Она словно бы спряталась за своим кухонным фартуком и никаких вопросов не задавала. Из открытых дверей пахло чем-то набившим оскомину: на кухне варилось повидло из ревеня.

— Мы хотим устроить отвальную Иоахиму. Питья у нас дополна, но если ребята проголодаются...

Ни слова не говоря, она вынесла две килограммовые банки свинины, прихватила и консервный нож. Но не тот, который Мальке извлек из лодчонки, когда он нашел лягушачьи консервы в камбузе. Покуда она приносила продукты, то и дело останавливаясь в раздумье,— в семье Мальке кладовая всегда была битком набита: деревенская родня не скупилась,— я переминался с ноги на ногу в коридоре и посматривал на фотографию, запечатлевшую отца Мальке с Лабудой. Паровоз стоял с неразведенными парами.

Вернувшись с сеткой и бумагой, в которую она собиралась завернуть консервные банки, тетка сказала: «Если будете свинину есть, так вы ее немножко подогрейте, а то она камнем на желудок ляжет».

Спроси я на прощание, приходил ли кто-нибудь к Мальке, ответ бы последовал отрицательный. Но я ничего не спросил, а уже в дверях сказал: «Иоахим передает вам сердечный привет», хотя Мальке никому, даже матери, привета не передавал.

Он тоже не проявил ни малейшего любопытства, когда я снова предстал перед ним меж огородов, повесил сетку на забор и потер затекшие пальцы. Он все еще пожирал незрелые ягоды и тем самым заставил меня наподобие тетки высказать опасение за его физическое благополучие: «Смотри, испортишь себе желудок!» — но Мальке, уже после того как я сказал: «Давай пошли!» — набрал три пригоршни крыжовника, рассовал по карманам и всю дорогу — а мы шли кружным путем — выплевывал жесткую кожуру. Даже когда мы стояли на задней площадке прицепного вагона и слева, полускрытый дождем, виднелся аэродром, он жрал этот крыжовник.

Крыжовником он выводил меня из себя. К тому же и дождь перестал. Серость, сделавшаяся молочно-белой, вселила в меня охоту вылезти, оставить его наедине с этим крыжовником. Но сказал я только:

— Они уже два раза заходили к вам, спрашивали о тебе. Какие-то типы в штатском.

— Ах так? — Мальке продолжал выплевывать кожуру на ребристый пол площадки.— А моя мать? Она что-нибудь подозревает?

— Матери не было дома, только тетка.

— Ушла, наверно, за покупками.

— Вряд ли.
— Значит, помогает гладить у Шильке.
— К сожалению, и это не так.
— Хочешь ягод?
— Ее вызвали в Хохштрисс. Собственно, я не хотел тебе этого говорить.

Крыжовник Мальке доел уже под самым Брёзеном. Но он шарил в своих промокших карманах, надеясь найти завалявшиеся ягоды, даже когда мы шли по разузоренному дождем пляжу. Но едва Великий Мальке услышал, как волны бьются о берег, своими глазами увидел Балтийское море, увидел декорацию на заднем плане — нашу лодчонку и тени нескольких посудин на рейде, он сказал — и линия горизонта прочертила оба его зрачка:

— Я плыть не могу.

Я в это время уже скинул брюки и башмаки.

— Брось ерундить.

— Честное слово, не могу. У меня живот разболелся. Черт бы побрал этот крыжовник.

Я ругался и искал, искал и ругался и наконец нашел в кармане куртки одну марку и немножко мелочи. С этими деньгами я помчался в Брёзен и у старика Крефта нанял лодку на два часа. Сделать это в то время было совсем не так просто, как написать сейчас, хотя Крефт лишних вопросов не задавал и помог мне спустить лодку на воду. Когда я подъехал на ней, Мальке в своей танкистской форме катался по песку с боку на бок. Мне пришлось пхнуть его, чтобы заставить подняться. Он дрожал, обливался потом, прижимал оба кулака к животу. Но я и сейчас не верю в эти желудочные боли, хотя крыжовник и был недоспелым.

— Иди-ка в дюны, слышишь, да поскорей!

Он пошел, согнувшись в три погибели, оставляя путаные следы на песке, и скрылся за прибрежной осокой. Наверно, я мог бы увидеть его пилотку, но я, хотя ни одно суденышко не входило в гавань и не выходило из нее, упорно смотрел на мол. Он вернулся, все еще скрюченный, но тем не менее помог мне столкнуть лодку. Я усадил его на корму, положил ему на колени сетку с обеими консервными банками, а в руки сунул консервный нож, завернутый в газету. Когда вода, сначала за первой, потом за второй отмелью сделалась темной, я сказал:

— Теперь и ты можешь немного погрести.

Великий Мальке даже бровью не повел, сидел нахохленный, сжимая в руках пакет с консервным ножом, и смотрел вдаль сквозь меня — мы ведь сидели друг против друга.

Хоть я и никогда, никогда больше не садился в гребную лодку, мы все еще сидим друг против друга, и пальцы его бессмысленно шевелятся. На шее у Мальке ничего нет. Но пилотка надета как следует. Из складок танкистской куртки сыплется песок. Дождь перестал, а лоб усеян крупными каплями. Мускулы неподвижны, глаза вытаращены. Колени вразлет. Кошки на море нет, но мышь спасается бегством.

Воздух теплый. Когда рвутся облака и в просветы проглядывает солнце, трепетные блики пробегают по едва дышащей глади и нет-нет впрыгивают в лодку.

— Пересядь на весла, сразу согреешься!

С кормы, вместо ответа, до меня донесся, стук зубов, потом из периодических стонов стали прорываться на свет божий надкусанные слова:

— ...все что имеешь... Кто-нибудь сказал бы наперед... Из-за такой ерунды... А доклад и в самом деле был хороший... Начал бы с краткого описания обязанностей наводчика, потом через боеприпасы к Майбаховским моторам и так далее... Я не только о себе хотел. Хотел еще об отце

сказать и Лабуде... Всего несколько слов о железнодорожной катастрофе под Диршау... И как отец своим единоличным вмешательством... И что во время наводки я всегда о нем... У меня даже не было... Когда он... Спасибо тебе за свечи. О, пречистая... В непреходящем сиянии пребывающая. Твое заступничество возвысило меня. Любвеобильная! Милосердная! Да, да. Твоя благодать меня осенила в первом же бою севернее Курска. И в отчаянной заварухе под Орлом во время контрнаступления. А в августе на Ворскле опять ты, пресвятая. Все смеялись и еще навязали мне беседу с дивизионным попом. Но вскоре мы выровняли линию фронта. На беду меня перебросили на средний участок... Иначе не так быстро случилось бы все под Харьковом. Под самым Коростенем она мне явилась вновь... мы тогда входили в состав 59-го корпуса. И ни разу не было с ней младенца, только фотография. Знаете, господин директор, та, что висит у нас в прихожей, рядом со щетками. И держала она ее не у груди, а пониже. Я отчетливо видел паровоз. Но наводил между отцом и кочегаром Лабудой. Четыреста. Прямая наводка... Ты же знаешь, Пиленц, я всегда наводил между башней и люком. Нет, господин директор, она ничего не говорила. Но я хочу быть честным, со мною ей говорить и не подобает. Доказательства? Я уже сказал: она держала фотографию. Это как в математике. Когда вы, преподавая нам, исходите из положения, что параллельные линии пересекаются в бесконечности, возникает нечто вроде трансцендентности. Так было и при занятии исходной позиции, под Казатином... Кстати сказать, на третий день рождества. Она двигалась в маршевом темпе, влево от леса. Мне оставалось только целиться, целиться. Подгреби левым веслом, Пиленц, нас относит от лодчонки.

Произнося некий сколок со своего доклада сквозь поначалу стучащие, а потом сжатые зубы, Мальке умудрялся следить за курсом нашей лодки и с помощью своей скороговорки навязал мне такой темп, что пот градом катился с моего лба, тогда как у него поры перестали исторчать влагу и закрылись. Ни одной секунды я не был уверен, что за постепенно вырастающими палубными надстройками ему видится что-то, помимо обычных чаек.

Когда мы подходили к лодчонке, он, развалясь, сидел на корме, небрежно крутил в руках консервный нож, который вынул из бумаги, и больше не жаловался на боли в животе. Он прежде меня выскочил из лодки, а когда я привязал ее и тоже взошел на палубу, его руки теребили что-то у воротника: большая «бомбошка» из заднего кармана снова перекочевала на шею. Мы потирали руки, отряхивались, проглянуло солнце. Мальке по-хозяйски расхаживал по палубе, мурлыкал себе под нос что-то из литании, закинув голову, смотрел на чаек, словом, изобразил бодрячка дядюшку, который, вернувшись из долгих, несколько экстравагантных странствий, сам себя преподносит как подарок и жаждет отпраздновать возвращение: «Хэлло, ребятки, да вы ничуть не изменились!»

Не легко мне было подыгрывать ему:

— Валяй, валяй, поживее! Этот чудак Крефт дал мне лодку всего на полтора часа. А сначала хотел только на час.

Мальке тоже заговорил и вполне деловым тоном:

— Ладно, путешественников задерживать не положено. У той вон посудины, рядом с танкером, осадка довольно глубокая. Пари держу, что это швед. Да будет тебе известно, мы еще сегодня доберемся к нему на веслах, когда стемнеет. Смотри будь здесь не позже девяти. Думается, я могу на это рассчитывать, а?

Разумеется, при такой плохой видимости невозможно было определить национальную принадлежность фрахтера на рейде. Мальке стал раздеваться, обстоятельно и многословно. Чего он только не нес. О Тул-

ле Покрифке: «Шлюха, можешь мне поверить!» О Гузевском: «Говорят, он загнал алтарные покровы и прочие церковные ткани,— вернее, ордера на таковые. Там уже побывал контролер из хозяйственного управления». О своей тетке: «В одном ей нужно отдать справедливость: с моим отцом она всегда дружила, еще в деревне, когда они оба были детьми». Затем старые истории о паровозе: «Вообще же тебе следует еще разок заглянуть на Остерцейле и взять оттуда фотографию, в рамке или без рамки, как хочешь. Нет, лучше пусть висит на своем месте. Только лишний балласт».

Он стоял в красных гимнастических трусах, они были как бы частью нашей школьной традиции. Свою военную форму, сложив ее по-уставному, он сунул за компасную будку, излюбленное и постоянное его место. Сапоги стояли словно перед сном. Я еще спросил: «Ты консервы взял? Не забудь открывалку!»

Он перебрасывал орден с ладони на ладонь, безостановочно болтал разный школярский вздор, вспомнил даже старую забаву: «Каково водоизмещение аргентинского линкора «Морено»? Скорость в узлах? Толщина брони по ватерлинии? Год спуска? Когда перестроен? Сколько орудий имел «Витторио Венетто»?».

Я отвечал довольно вяло, но при этом радовался, что память еще сохранила эту чепуху.

— Ты возьмешь вниз обе банки?

— Там будет видно.

— Не забудь консервный нож, вот он лежит.

— Ты, как мать, обо мне печешься.

— На твоем месте я бы уже стал потихоньку спускаться в чулан.

— Да, да. Воображаю эту сырость и запустенье.

— Тебе там не зимовать.

— Главное, чтобы зажигалка была цела, спирту внизу сколько угодно.

— А эту штуку я бы не выбрасывал. Кто знает, может, за границей ее и в заклад возьмут.

Мальке с ладони на ладонь перекидывал знак отличия. Даже сходя с мостика и шаркающими шагами нащупывая люк, он продолжал эту игру, несмотря на то что правую его руку оттягивала сетка с консервами. Колени у него подгибались. Его тело, поскольку солнце опять прогляну-ло на минуту-другую, отбрасывало тень в левую сторону.

— Наверно, уже половина одиннадцатого, если не больше.

— Совсем не так холодно, как я думал.

— После дождя всегда тепло.

— Я считаю, в воде семнадцать градусов, в воздухе девятнадцать.

Вблизи причального буя стояла землечерпалка, видимо, работавшая, но шум ее оставался воображаемым, так как ветер дул в другую сторону. Воображаемой была и Малькова мышь, так как ищущими своими шагами сыскав наконец отверстие люка, он уже больше ко мне лицом не поворачивался.

С тех пор я непрерывно буравлю себя вопросом: сказал ли он что-нибудь, прежде чем спуститься вниз? Полудостоверным остается только взгляд через левое плечо, искоса брошенный на мостик. Он присел на корточки и побрызгал на себя водой, красная, как флаг, материя гимнастических трусов стала темно-бордовой; правой рукой поудобнее перехватил сетку... «Бомбошка»? На шее она не болталась. Может быть, он незаметно ее отшвырнул? Какая рыба принесет ее мне? И еще сказал что-нибудь через плечо? Бросил какое-нибудь слово вверх, чайкам? Пляжу, посудинам на рейде? Может быть, проклял свору, пустившуюся по его следам? Кажется, я не слышал, чтобы ты сказал: «До вечера». Головой вперед, отягощенный двумя консервными банками, он скрылся

под водой — согнутая спина и зад последовали за ней. Белые ступни взметнулись в пустоте. Вода над люком побежала привычными короткими волнишками.

Тогда я снял ногу с консервного ножа. Я и консервный нож остались снаружи. Если бы еще я сразу вскочил в лодку, отвязал ее и уехал: «Он и без ножа сумеет их открыть»; но я не двинулся с места, я считал секунды, предоставил считать их стоявшей у причального буя землечерпалке на гусеничном ходу, с подвижными черпаками, и напряженно считал вместе с нею: тридцать две, тридцать три ржавые секунды. Тридцать шесть, тридцать семь секунд на вычерпывание ила. Сорок одна, сорок две плохо смазанных секунды, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь секунд землечерпалка поднимала, опрокидывала, захватывала воду черпаками, делала свое дело: углубляла новый фарватер у входа в гавань и помогала мне отмерять время. Мальке должен был уже быть у цели с консервными банками и без консервного ножа, с «бомбошкой», близнецом которой была сладостная горечь, или без оной, должен был уже находиться в радиорубке польского тральщика «Рыбитва», расположенной над поверхностью воды.

Мы хоть и не уславливались ни о каком перестукивании, но ты все же мог постучать. Раз и еще раз предоставил я землечерпалке отсчитать для меня тридцать секунд. Как это говорится? По человеческому разумению он должен был бы... Чайки сбивали меня с толку. Набрасывали мудреный узор между нашей лодчонкой и небом. Но когда без всякого видимого повода они вдруг повернули вспять, меня стало сбивать с толку их отсутствие. И я начал своими каблуками, а потом и сапогами Мальке обрабатывать настил капитанского мостика: ржавчина отлетала кусками, обызвествленный чаичий помет крошился и плясал в воздухе при каждом ударе. Пиленц с консервным ножом в сжатом кулаке барабанил и кричал: «Подымись наверх, старик! Ты забыл консервный нож, консервный но-о-ож...» Пауза после отчаянных, а потом уже ритмически упорядоченных ударов и выкриков. Увы, я не знал азбуки Морзе и барабанил: раз-два, раз-два. Я охрип: «Ко-о-онсервный но-ож! Ко-о-онсервный нож!»

С той пятницы я знаю, что такое тишина — тишина воцаряется, когда улетают чайки. Ничто не может создать эффект тишины лучше, чем работающая землечерпалка, когда ее железный лязг слизывает ветер, Но еще более полную тишину создал Иоахим Мальке, не откликнувшись на шум, мною произведенный.

Итак, я греб к берегу. Прежде чем отчалить, я швырнул консервный нож в направлении землечерпалки, но в нее не попал.

Итак, я выбросил его, налег на весла, сдал лодку старику Крефту, доплатил тридцать пфеннигов и сказал:

— Возможно, я вечером буду в ваших краях и еще раз возьму лодку.

Итак, я выбросил нож, налег на весла, доплатил, сказал, что приду еще, сел в трамвай и поехал «домой», как говорится.

Итак, после всего этого я не сразу пошел домой, но заглянул еще на Остерцейле и, не задавая никаких вопросов, попросил дать мне паровоз в рамке, ведь я сказал и ему и Крефту: «Возможно, я вернусь вечером...»

Итак, моя мать только-только управилась с приготовлением обеда, когда я явился домой с фотокарточкой. Начальствующий господин из военизированной охраны вагонного завода ел вместе с нами. Мать подала рыбу; рядом с моей тарелкой лежал конверт из окружного военного управления.

Итак, я читал и читал приказ о моем призыве в армию. Мать начала плакать и привела в смущение своего гостя.

— Я же только в воскресенье вечером еду,— сказал я и бесцеремонно добавил: — Ты не знаешь, где папин полевой бинокль?

Итак, с этим биноклем и с фотографией я в воскресенье утром, а не в тот же вечер, как было условлено, отправился в Брёзен — над морем стояла мгла, к тому же опять пошел дождь. Я отыскал самую высокую точку на поросших лесом дюнах — это была площадка перед памятником павшим воинам,— влез на верхнюю ступеньку пьедестала — надо мной высился обелиск с венчавшим его золотым шаром в брызгах дождя. Не менее получаса, а то и три четверти часа я не отнимал бинокля от глаз. Только когда все стало расплываться, я опустил его и взглянул на заросли граба.

Итак, ничто не шелохнулось на лодчонке. Мне были отчетливо видны два солдатских сапога. Правда, чайки снова кружили над рострами, садились, посыпали пометом палубу и сапоги — но что доказывают чайки? На рейде все те же посудины, что и накануне. Но шведа среди них не было, вообще не было ни одного судна из нейтральной страны. Землечерпалку слегка отнесло. Погода, видимо, собиралась разгуляться. Я снова поехал «домой», как говорится. Мать помогала мне укладывать мой чемодан «под кожу».

Итак, я укладывался: фотографию я вынул из рамки и, поскольку Ты не претендовал на нее, положил на самое дно. На твоем отце, на кочегаре Лабуде, на их паровозе с неразведенными парами стопкой лежало мое белье, разные мелочишки и мой дневник, впоследствии вместе с фотографией и письмами пропавший под Коттбусом.

Кто поможет мне сочинить хороший конец? Ибо то, что началось с кошки и мыши, и сейчас мучит меня, стоит мне увидеть нырка на прудах среди камышовых зарослей. Если я бегу от природы, то научно-популярные фильмы демонстрируют мне этих вертких водоплавающих птиц. А не то киножурнал показывает работы по подъему затонувших судов на Рейне или водолазов на дне гамбургской гавани: они готовятся взорвать бункеры рядом с верфью и закладывают мины. Люди в блестящих, слегка помятых шлемах уходят под воду, потом возвращаются, множество рук тянется к ним; товарищи отвинчивают, снимают с них шлемы; но никогда Великий Мальке не закуривает сигарет на мерцающем экране, курят другие.

Если цирк приезжает в наш город, я усердно пополняю его кассу. Я уже знаю всех артистов, не раз беседовал с тем или иным клоуном, отведя его за жилой фургон; но эти господа по большей части лишены чувства юмора и отродясь не слыхивали о коллеге по имени Мальке.

Должен еще заметить, что в октябре пятьдесят девятого года я ездил в Регенсбург на встречу тех из оставшихся в живых, что подобно Тебе были награждены рыцарским крестом. В зал меня не впустили. Там то играл, то смолкал оркестр бундесвера. Через лейтенанта, командовавшего охраной, я попросил во время одной из этих пауз объявить с эстрады: «Унтер-офицера Мальке просят пройти в вестибюль». Но ты не пожелал вынырнуть.

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

ПОЮЩЕЕ СЛОВО

Перевод с немецкого
Г. АШКИНАДЗЕ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С БОЛЬШИМ ХУДОЖНИКОМ

Немецкий поэт, прозаик, эссеист и переводчик Иоганнес Бобровский (1917—1965) жил и работал в ГДР, в Берлине. Печататься он начал сравнительно поздно. Ему было тридцать семь лет, когда на страницах журнала «Зинн унд форм» («Sinn und Form») появились его первые стихи; за ними последовали пересказы легенд и преданий разных народов и переводы. Наконец, в начале шестидесятых годов вышли в свет сборники его стихов «Сарматское время» («Sarmatische Zeit», 1961), «Тенистая земля потоков» («Schattenland Ströme», 1962) и роман «Мельница Левина» («Levins Mühle», 1964). Эти книги показали, что в немецкую литературу пришел новый, большой, сложный и своеобразный художник. За несколько недолгих лет, которые прошли после их выхода в свет до трагической скоропостижной смерти писателя (он умер после неудачной операции), И. Бобровский был удостоен ряда литературных премий: имени Генриха Манна Немецкой академии искусств, премии западногерманской «Группы-47», а также австрийской и швейцарской литературных премий. Публикация наследства И. Бобровского продолжается после его смерти (роман «Литовские клавиры», сборники рассказов и др.).

Внимание к его творчеству все возрастает. Это можно подтвердить на двух примерах: в минувшем году в ГДР вышел том — «Иоганнес Бобровский в автобиографических свидетельствах и оценках его творчества» («Selbstzeugnisse u. Beiträge über sein Werk»), в журнале «Нейе дейче литератур» (№ 1, 1968) опубликованы обстоятельная статья Дитера Шиллера — анализ лирики поэта от первых публикаций до посмертных сборников, а также стихотворение Эвы Штриттматтер, посвященное поэту.

И. Бобровский родился в г. Тильзите (ныне Советск), годы детства и юность прожил вблизи тогдашней границы между Германией и Литвой, затем жил в Кёнигсберге (ныне Калининград). Выходец из верующей семьи, принадлежавшей к так называемой «исповеднической церкви», И. Бобровский двадцатилетним молодым человеком установил контакт с кругами антифашистского Сопротивления. Мобилизованный в гитлеровскую армию, он принимал участие в войне против Советского Союза, затем провел несколько лет в плену. Воспоминания предвоенных и военных лет определили главный, глубоко прочувствованный мотив его творчества. Сам писатель сказал о ведущей теме своих книг так: «...вина моего народа по отношению к народам Восточной Европы от возникновения ордена германских рыцарей до недавнего прошлого». Критика ГДР справедливо отмечает, что в предельно искреннем и драматическом воплощении этой темы И. Бобровский поднялся от осознания вины в прошлом к выражению ответственности за настоящее и будущее, то есть к активному и действенному гуманизму.

Через все творчество И. Бобровского проходят интерес и любовь к истории, культуре и фольклору народов Восточной Европы. Сложные, построенные на цепи внутренних ассоциаций, исторических, фольклорных, поэтических и музыкальных реминисценций, стихи Бобровского требуют медленного и вдумчивого вчитывания.

Публикуемые переводы дают советскому читателю возможность впервые познакомиться с прекрасным немецким поэтом.

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

Сарматская равнина

Душа:
мгла до краев. Темень
пульс дня обнажила.
Синева...
Равнина поет.

Кто
повторит ее песню,
прикованную к прибрежью,
ее зыбкую песню:
море после штормов —
ее песня.

Но
они внемлют тебе,
вслушиваются в тебя, города,
и цепенеют, белея, вдоль берегов
от неумолчных созвучий. Ветры
твои, словно песком,
города
заметают дурманом.

И
деревни в прожилках дорог —
тоже твои,
для тебя зеленеют. Слез
размолотое стекло на пожарищах
летних твоих —
в пепле следы.

Мерно
вдыхает сумерки стадо,
за ним — мальчуган
с посвистом тихим.
Из-за плетня
старуха
кричит ему
вслед.

Равнина,
сон необъятный,
необъятный от грез. Небо твое —
распахнуто храмом,
под куполом —
птичьи колокола...

Влажные тени лесов,
просветы полей,
по бедрам твоим
ниспадают потоки.

Дорогами птиц
на весенней заре
прошагали народы
свое бесконечное время,
которое ты охраняешь,
покрыв его мраком. Я вижу тебя:
тяжеловесная прелесть
безликой глиняной головы,
отысканной в иле.
Иштар тебя звали или иначе?

Лебединый взлет

Как трепет крови
песня пастухов:
он слышит вас,
поющий лебедь,
и направляет крылья,
медноклювый,
туда, куда плывет весенний лед.
Во мраке слышен голос белой птицы,
над топями, где спят
березовые ветры
и бродят пастухи.
Негромка наша речь.
Огонь,
упавший в тьму.

Когда мы станем вашим смыслом, реки,
в грядущее упав,
на дне источника
мелеющего лета
мы будем слушать лебединый взлет,
узнав его по той печальной песне,
которая звучала с башен
поющим словом Игореву войску
над белой древней слепотой тумана.

Ночь в деревне

Приходит мгла, последние
ворота запирают и прислоняют к небу,
к каменному фризу.
Переступают лошади, храпят
под взмах голов, над ними
тени, острый блеск,
негреющий огонь,
юлой скользящий вниз. Безлунно время.

Сон одолел последнюю избу.
Сухая ветвь царапает о стену. Скорее,
ветер, в горле, глубоко,

невнятный говорок, лохматой
кошкой облако урчит, как будто кличет
слепых котят. А темнота
все глубже загоняет в дом.

Пусть кто-то у окна,
а кто-то,
в лесах ныряя, ловит
собачью перепалку в невидимой
дали. Леса, речные берега
и сами реки заиндевели густо.

Клетка птицы, горемыка-арфа
звучит печально; крылья
ударяют о решетку. Тьма,
собирай, смакуй по каплям
соль, по каплям
звезды.

Слово «человек»

Слово «человек» как слово
имеет в словаре
свое собственное место:
между челобитной и человеколюбием.

Город,
старый и новый,
суматошный город
деревьев,
машин, в нем
меня обступает слово,
то там его слышу, то здесь,
могу указать, от кого, могу
начать с этого...

Там, где нет любви,
не говорите это слово.

Ветряная мельница

Свет,
вспененный свет,
над равниной крутая
громада блеска, яростный
грохот, атака бурь
с выдохом молний, жуть
врастающей в небо стены.

Я шел по зыбкому
песку, от моря, сквозь

мелкое безлесье, шагал
без тени и мечты среди жнецов.
Возникла мельница.
С ознобом ветра
на застывших крыльях,
она, беззвучно
возвышаясь
над землей,
тянулась
вслед за журавлями,
громадясь на белесом
фоне неба.

Издалека
ее пугало блеском
холодное бельмо —
глаза
зимы.

О, ледяная птица сердце,
построй гнездо из плавников
на рыбьей кости в дупле,
где шепчет кровь
детей равнины,
живи для них в коротких
тенях танцев,
как поздняя трава
живет
под снегом.

Родник

Родник,
здесь утро без конца и ветер
без начала.
Курится дымкой древний городок.

Дремучие кусты. Зеленая ограда
студеных берегов. Погоня
ласточек к зениту
за лучом.

Усталый,
в полдень
я пришел сюда,
чтоб рухнуть на песок.
Хочу
дышать дыханьем рек,
пить родники,
земное пить,
ртом припадая к тайнам глуби,
укрытым в травах.

Хочу
гореть в пожаре дня, руками
пламя раздвигая,
смотреть в тебя, поток,
мужающий весной
от половодья сил. Летишь —
навстречу мгла,
всплеск чаек, ярость волн:
тебя встречает
море.

В его тени,
со дна
доисторические жабры
дышат в твое лицо.

Странник

Густеют сумерки,
в тяжелое дыхание лесов
река вплетает песню,
облетанное звонкой
стаей небо разжигает
огонь созвездий
над берегами древней темноты.

Я жил, как подобает человеку,
я счет не вел распахнутым
воротам. В закрытые
стучал.

Открыты все ворота.
Глашатай зазывает.
Идут к столу
И говорят: леса поют,
дыхание реки проносит
стаи рыб и небо
в звездной лихорадке.

Вода

Ты лепечешь,
вода, все лепечешь,
сквозь кусты семеня
под ветром.
Ветер реки искал
за морем, челн,
в котором луна расселась. Слышишь,
в сено зарывшись, ветер все твердит:
ивы здесь,
дом совы.

Но луна глядится в огни пустыни.
Но вода слышит морозы Скифии.
Но сонмы птиц взмывают над чащей.
Но снег в поднебесье строит небесную крышу.

Зимний свет

Я ночью этой обратился в слух,
чтоб слушать, слушать первый лед
моих далеких рек и невесомый
камышиный перезвон; деревня
спит.

О детство смуглое, холодная
колодезная влага, бадья,
ныряющая вниз.
Кто приходил?
Кто отцеплял?
Кто пил?

Домов моих темноречивых
доброта, тепло
их слов заметено снегами.
Я слышу детский зов и шепот женщин.

Сиреневое время,
в текучем небе, в гаснущем
сиянье застыли
птицы; вдруг небс
цепенеет
над крышей хлева,
безмолвием свинцовым наливаясь.
Зима.
Голубизна на крыльях голубиных
все ниже, ниже
нависает небесной кровлей,
мерцающей беззвучно над землей.
И крик охотника взбегает
шумно на косогор, где спит
отшельник-снег. О чернота
глубокая! Твоя душа
лучится светом.

Кафедральный собор, 1941

Над ледяною глубью,
над чернотой, волною смятой,
навстречу нам рванулось из груди
насупленного Новгорода сердце —
его звонкоголосая «София».

Она не раз вот так во тьму звучала.
Но приходило время,
во тьму вплывали дни, лучистые
дельфины, и обжигали щеки ей
фруктовые сады, и странники
обветренные лица омывали
звучаньем золотым
ее огромных куполов.

«София», ночь твоя — лунная пропасть.
В ней — ты как в ледяном
гнезде, птица мира Алькион
с блестящим опереньем.

Сегодня твои стены от дыма
почернели и двери
выбиты огнем. Прозреют вновь
твои потухшие глазницы?
На нашей совести
крик
и молчанье. Но вот мы видим,
над землей восходит
белый лик «Софии».

И с ней
среди болот
взошел могуче гнев.
Гнев, посев суровый.
Как жаждал я
тогда, чтоб вновь
в моих зрачках зажегся свет.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Сын земли чужой

РОМАН

Перевод с английского
Е. ГОЛЫШЕВОЙ и Б. ИЗАКОВА

Глава шестая

Лично меня история с продажей судов русским не интересовала до тех пор, пока мы не отправились к мистеру Осипенко, возглавлявшему постоянную торговую миссию СССР в Великобритании.

Надо сказать, что в этот день, на который был назначен визит к Осипенко, Руперта вывело из себя одно небольшое происшествие. Он пришел мрачный и, не сняв пальто, схватил телефонную книгу, отыскал там номер, позвонил в полицейский участок Хэмпстеда и пожаловался, что как раз напротив его ворот стоит машина, откуда двое людей ведут наблюдение за его домом. Они сидят там уже три дня и либо собираются его ограбить, либо замышляют похитить его детей. Он сообщил номер машины и потребовал, чтобы полиция позаботилась убрать соглядатаев куда-нибудь подальше.

— Не может быть, чтобы они что-то замышляли против вас или против ваших детей,— недоверчиво заметил я, когда он повесил трубку.— Они бы не вели себя так нагло.

— В том-то и дело,— сказал он.— Но мои приятели из службы безопасности хотят внушить мне, что я в опасности.

Поэтому, когда мы в то утро пришли к Осипенко, вид у Руперта был довольно хмурый.

Осипенко жил — словно в отгороженном советском мирке — на сыром Хайгейтском холме, в старомодном готическом здании, к которому примыкал обширный парк с дорожками, посыпанными гравием. Красные ковровые дорожки, скрипучие ступеньки старого дома и русские лица переносили нас в Москву, где бьют кремлевские куранты. Забавно, но первое, что мы услышали, поднимаясь по лестнице, был как раз бой курантов — в передаче по радио.

Осипенко оказался тучным человеком с золотым зубом, и хотя я встречал немало англичан с золотыми зубами, мне это почему-то показалось чисто русской особенностью. Я допустил ошибку, в которую впадают многие западные люди: я ждал, что мистер Осипенко обрадуется или хотя бы взволнуется тем, что к нему пришли англичане. Но мистер Осипенко не проявил ни удовольствия, ни неудовольствия. Он вел себя как обычный деловой человек, и если бы не русская мебель в его кабинете и не русские шоколадные конфеты в голубых обертках, не русское печенье в вазе и русская водка в синих рюмках, все было бы такое же, как в любой другой стране.

Руперт представил меня, сказав, что мы компаньоны, и деловито объяснил цель нашего прихода. Он слышал, что в Англию приезжает советская торговая миссия, которая, помимо прочих закупок, собирается приобрести суда на сумму в тринадцать миллионов фунтов стерлингов. Фирма Ройсов желала бы, если возможно, взять на себя постройку некоторого количества этих судов.

— Я уверен, что это возможно, если условия будут подходящие,— сказал мистер Осипенко.

---

* Окончание. Начало в №№ 3, 4.

— А каковы ваши условия? — довольно сухо осведомился Руперт.— Мы пришли, чтобы это выяснить.

Осипенко на секунду задумался.

— Затрудняюсь сказать, мистер Ройс, потому что не знаю пока, чего там у нас хотят. Наш министр приедет в Англию во главе миссии недели через три.

— Я об этом слышал,— отозвался Руперт.— И потому спешу уведомить вас еще до его приезда, что фирма Ройсов может построить для России почти все суда, какие вы пожелаете. Мне хотелось бы, чтобы вы сразу же дали ход делу.

— Видите ли, мистер Ройс, самое существенное условие мне известно.

— Какое?

— Мы закупим в Англии суда на сумму в тринадцать миллионов фунтов, если Англия на ту же сумму взамен возьмет у нас нефть.

— Но ведь это сильно затруднит заключение сделки?

— Знаю. Хотя не по нашей вине. Начнем с того, что ваше правительство не дает нам долгосрочных кредитов, которые оно предоставляет другим странам. А это означает, что производить оплату мы можем лишь путем обменных операций. Следовательно, если вы хотите иметь с нами дело, вам придется с нами торговать, потому что платить наличными мы вам не будем.

— Но, вероятно, существуют и другие способы расчетов.

— Да, золотом.— Тон Осипенко вдруг стал резким.— Вам хочется, чтобы мы тратили свое золото даже на покупку шурупов! Никакого обмена, платите золотом! Несмотря на то что у нас в торговле с вами активный баланс, вы все равно не желаете продавать нам то, что нам нужно. Почему? Ведь вы поддерживаете взаимовыгодную торговлю со всеми остальными странами. Мы хотим торговать, но мы не желаем получать женские платья в обмен на наши золотые и стерлинговые запасы, а вы добиваетесь именно этого. Плохая коммерция. Она ставит нас в неравное положение с другими. Вы же сами понимаете, что так дела не делают!

— Допустим,— признался Руперт.— Но, вероятно, те же трудности возникают у вас и в других странах.

— Теперь уже нет. И не при покупке судов. Японцы и шведы дают нам лучшие кредиты, чем вы, и более долгосрочные, поэтому, если нам не удастся заключить сейчас сделку в Англии, мы подпишем договор с другой страной.

Завязался спор, и Осипенко повторил, что на этот раз главным условием будет: **нефть за суда,** в противном случае сделка не состоится. Разве что Руперт сумеет убедить правительство снять запрет на предоставление долгосрочных кредитов, что весьма сомнительно, ибо запрет этот продиктован политикой НАТО.

Обменявшись любезными замечаниями насчет погоды и выпив по второй рюмке водки, мы расстались с Осипенко и сообщили о нашем разговоре Фредди.

— Я пока напролом не лезу,— заверил его Руперт.— Ну, а как все-таки насчет долгосрочных кредитов?

Фредди пожал плечами:

— Политика! Американцы утверждают, что кредиты на десять или пятнадцать лет — это скрытая форма экономической помощи. Янки плевать на то, что́ с нами будет, они провели запрет на предоставление кредитов через НАТО, а мы согласились, потому что у нас не было выбора. Остаться в одиночестве слишком рискованно.

— Но русские все равно получают у нас кредиты! — возразил Руперт.

— Не больше, чем на четыре-пять лет. При покупке таких крупных объектов, как суда, это все равно что платить наличными. Игра для них не стоит свеч.

— А как-нибудь обойти запрет нельзя?

— Вы можете попытаться получить частный кредит от торгового банка, но вам придется добиваться утверждения его правительством через департамент обеспечения экспортных кредитов, а они все равно не дадут больше чем на пять лет, да и то небольшую сумму.

— А нефть?

Фредди притворно застонал.

— Нефть? В каком-то смысле это еще труднее. Но, видимо, другой реальной возможности у вас нет. Проклятые нефтяные компании сами себе хозяева, а мы должны плясать под их дудку: без их согласия никто не может ввезти хотя бы каплю нефти. Вы сразу же с ними столкнетесь.

— Что ж, попробуем провести товарообменную операцию, несмотря на их противодействие.

Фредди расхохотался.

— Раз у вас нет надежды изменить кредитную политику правительства, остается лишь попытаться ввезти нефть в Англию в порядке товарообмена. Валяйте! На этом деле мы узнаем вам цену, будьте спокойны!

— Вся трудность в том, с какой стороны подступиться,— сказал Руперт.— С кого начать? С правительства, которое, как я понял, должно дать согласие на импорт русской нефти, или с нефтяных компаний?

— В этом вопросе они заодно. Все же попытайтесь сначала обломать ребят из министерства. У них там есть какие-то комиссии, которым ничего не стоит оказать нужное давление. Я и сам — член нескольких комиссий. Наверху, среди нефтяных маг-

натов, идет соперничество, и мы можем использовать его в своих интересах. А русский сказал вам, какие суда им нужны?

— Нет, но он мимоходом упомянул землечерпалки.

— Боюсь, что землечерпалки относятся к стратегическим товарам.

— Даже обыкновенная лодка и та в нужном месте может служить для военных целей,— заметил я.

— Еще бы! — воскликнул Фредди.— Но я во всяком случае подготовлю почву: приглашу на ужин какого-нибудь министра, Хоуарта, что ли...

— А с чем он связан? С судостроением или нефтью? — осведомился Руперт.

— Он по уши в нефти, но вы с ним поосторожнее. В сущности говоря, это наш конкурент, потому что нефтяные компании — наши крупнейшие потребители и в то же время соперники на морских путях. Имейте это в виду, Руперт.

Мы вернулись в свою стеклянную клетушку. Руперт стоял у окна, наблюдая, как серая пелена тумана ползет грязным шлейфом из узкой горловины Чипсайда. Я сказал:

— Похоже, что, пока суть да дело, мы с вами погрязнем в непролазных нефтяных интригах.

— Да,— согласился Руперт,— все идет совсем не так, как я предполагал.

Тон у него был удрученный, это удивило меня — меня как раз привлекала перспектива жестокой схватки с нефтяными компаниями, и теперь вся наша затея казалась мне куда более заманчивой. Но Руперта предстоящая борьба явно не радовала.

— В чем дело? — спросил я.— Вас огорчает, что придется вступить в драку?

— Нет,— ответил он.— Меня огорчает то, что придется идти обходными путями. Кому интересно связываться с нефтяными компаниями? Я хочу одного — заключить сделку на наши суда. Давайте действовать.

Я почувствовал, что он закусил удила, но думаю, что его решимость подогревали еще и два джентльмена, наблюдавшие из машины за его домом.

Глава седьмая

Тут мне придется сделать маленькое отступление: прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, я должен кое-что рассказать о самом себе. Во-первых, я вынужден признаться в своем увлечении Пепи Ройс-Кэмпбелл, единственной внучкой старика Рандольфа и дочерью Кэти Ройс, которую семейство отвергло, не дав ей ни пенса (видимо, Ройсы обожали такую расправу с непокорными родичами).

Познакомился с Пепи Ройс-Кэмпбелл я у Фредди. Боюсь, как бы меня не осудили за то, что в двадцать восемь лет я увлекся девятнадцатилетней девушкой. Впрочем, девятнадцатилетняя англичанка в наши дни уже не ребенок. А Пепи и вовсе не была похожа на девочку — очаровательнейшее существо в кружевных чулках, с египетским разрезом глаз, одетое по самой последней моде своего экстравагантного поколения. Мне это нравилось. Я шагал по улицам Челси, где тогда жил, размышляя о том, что еще не погибла добрая старая Англия, во всяком случае если судить по ее девушкам. В калейдоскопе уличных впечатлений меня всегда привлекало все необычное, своеобразное, будь то лицо, покрой костюма и обуви, чей-то мимолетный жест. Какое увлекательное зрелище, сколько фантазии, молодости, красоты! Правда, зачастую, стоило какому-нибудь из этих оригинальных созданий, особенно если это была девушка из богатой семьи, открыть рот, и очарование пропадало: на вас извергался поток слащавой и глупейшей болтовни. Но к большинству молодых англичанок это не относится, и прежде всего это не относится к Пепи. Следование причудам моды не мешало ей иметь твердый, непокладистый характер. Она слегка заикалась (как и дядя Рандольф,— видно, у них и это было семейное) и, досадуя на себя, хмурила густые брови, стараясь говорить раздельно, внушительно. Словом, она была человеком решительного нрава и непреклонных, хотя подчас и вопиюще неверных, суждений, которые она отстаивала упорно и до конца. И уж, во всяком случае, жила она своим, а не чужим умом.

Беда была в том, что, восхищаясь молодой, вызывающей прелестью ее лица, всей ее броской красотой, я мечтал сыграть роль нового Пигмалиона и сделать из этой ультрасовременной длинноногой девчонки идеальную женщину, чему она никак не поддавалась. Я, видимо, с самого начала хотел верховодить и крепко взял в свои руки вожжи; возможно, это было единственное, что ей во мне нравилось, но чего она, однако, не желала терпеть. Она оказалась сильнее, чем я думал, а я — слабее, чем предполагал, и меня просто оторопь взяла, когда под конец я понял, до чего она мне необходима.

У Руперта в то время были свои заботы. Он пытался убедить дядю Рандольфа в необходимости терпимо отнестись к сделке с русскими, однако, съездив в Уошберн и поговорив со стариком, он понял (как и я), что ссора между Рандольфом и Фредди зашла слишком далеко и ни о какой терпимости со стороны дяди не могло быть и речи.

Мы поехали на воскресный день в Уошберн все вместе; жена Рандольфа тетя Фло позвонила мне и пригласила приехать с Рупертом. И хотя я уже бывал в Уошбер-

не, меня снова охватило смешанное чувство раздражения и гордости, когда я увидел в приветливой Чилтернской долине это огромное поместье, похожее на владения какого-нибудь феодала. И мне подумалось, что хотя внешне Англия очень изменилась, сила и богатство по-прежнему остаются в тех же руках, даже если миллион новых честолюбцев разъезжает на «ягуарах». Величина и роскошь поместья, его несокрушимая власть над всей округой ясно показали мне, каким исконным, устоявшимся могуществом обладает в Англии тот класс, который мы, австралийцы (во всяком случае, те, кто себя уважает), так ненавидим. И в то же время в душе моей шевельнулась тайная радость, что и я как-то причастен к этому всесильному роду.

Но мне все это было внове, а вот Руперт в такой обстановке вырос и Уошберна словно не замечал — слишком хорошо знакома была ему здешняя атмосфера, зато Джо вдыхала ее с наслаждением. Это и довело их до ссоры на обратном пути.

Мы обедали в Уошберне во «второй кухне» — нарядной, красиво обставленной и тем не менее настоящей кухне этого прекрасно сохранившегося дворца с пятьюдесятью четырьмя нежилыми комнатами. За столом распоряжалась тетя Фло, слуги ходили у нее по струнке. Это была настоящая леди доброго старого времени, выдержанная и спокойная, она умела ограждать себя от житейских огорчений. Я заметил, что хотя она вежливо слушала мужа, распускаться ему она не давала. Я ей явно понравился, и она понравилась мне.

После обеда мы с Рупертом и дядей Рандольфом отправились на вездеходе осматривать сложную оросительную систему, при помощи которой Рандольф (обуреваемый страхом, что Англия погибнет от засухи) перекачивал воду из холмов и долин своего поместья (размером в три тысячи гектаров!) в четвертый по счету пруд.

Мы сидели у этого пруда на камне и спорили о будущем компании Ройсов. Дядя Рандольф ругал Фредди за его революционный план превращения концерна из судостроительного предприятия в нечто весьма неопределенное.

— Ему плевать на суда и судоходство,— рычал Рандольф.— Он хочет все продать и поместить капитал в недвижимость и в производство полимеров и нейлона.— Рандольф вытянул длинную ногу, показывая нейлоновый носок.— Ну, что может быть гнуснее этого?

Руперт только улыбнулся.

— Не думаю, чтобы Фредди решил пустить фирму с молотка. Да вы ему никогда этого и не позволите.

— Поверь, он именно это и собирается сделать! — настаивал Рандольф.— Говорит, что золотые дни английского судоходства миновали. Прибыли, видите ли, слишком малы по сравнению с другими отраслями. Он хочет прекратить постройку собственных судов и покупать их в Японии, а деньги вложить во что-нибудь другое, во что угодно, лишь бы получать двадцать процентов прибыли на каждый пенс капитала. Помешан на деньгах, как и все его поколение.

Мы поднялись и зашагали по дороге среди полей. Кругом, насколько хватал глаз, раскинулись сады, холмы, лужайки, реки, леса, охотничьи угодья, фермы, деревушки — и все это принадлежало Рандольфу.

— И тем не менее золотые дни английского судоходства действительно миновали,— сказал Руперт.— Это признают все, не только Фредди.

— Да, знаю. Но разве отсюда следует, что надо все бросить и бежать?

— Нет, но он говорит, что надо реорганизовать...

— Он хочет вложить деньги в европейские фабрики и заводы! Бессмыслица! Любой школьник знает, что нам конец, если у нас не будет здоровой экономической политики и людей, способных ее осуществлять!

— Мне всегда казалось, что основа здоровой коммерции — торговать всюду, где можешь и как можешь...— вставил Руперт.

Старик пропустил мимо ушей этот намек.

— Фредди поступает крайне легкомысленно, отказываясь от той важной роли, которую наша фирма всегда играла в торговой политике Англии,— заявил Рандольф.— Мы никогда не гонялись за большим количеством пассажиров, а в трудные годы не пускались во все тяжкие, как другие пароходные компании. Не строили отелей, не открывали своих воздушных линий, не занимались всякой ерундой. Мы всегда сами строили почти все наши суда, перевозили на них грузы и сами их страховали, у нас были собственные складские помещения, собственные лихтеры, и мы сами производили все погрузочно-разгрузочные работы, сами снабжали суда углем из наших собственных хранилищ в колониальных портах. Мы неизменно стремились к тому, чтобы наши интересы в области судоходства и международной торговли совпадали с политическим курсом нашей страны. В прошлом столетии мы стали крупнейшими владельцами складских помещений в китайских портах, мы первые построили открытые хранилища для каучука в Малайе, мы первые создали специальные суда для перуанской селитры и фосфатов Океании, мы провели первую железную дорогу в Никарагуа для подвозки леса к глубоководным портам. Вот — настоящее дело,— жестко произнес он,— и хоть деньги тоже играют не последнюю роль, для нас они были, так сказать, лишь средством — суть нашей деятельности всегда была и будет для нас неизмеримо более важной, чем ее денежная сторона. А Фредди на это плюет, он думает только, как бы по-

быстрей сорвать куш, все равно с чего. С нейлона! — воскликнул он с искренней болью.

Он захлопал в ладоши. Впереди метнулась в траве и кинулась наутек куропатка, потом взлетела бреющим полетом над кустами. Руперт воспользовался подходящей минутой и заговорил:

— Если вы хотите получить солидный заказ, дядя Рандольф, я предлагаю построить суда для России...

— Слышал,— сказал Рандольф.— Мне все равно, кто это предложил, я на это не пойду.

— Почему? Почему надо отказываться от хорошего заказчика?

— Они не наши заказчики, вот что я тебе скажу.

— Но ведь вы же возите для них сахар, зерно, азотные удобрения, страхуете их сухие грузы...

— Это — чисто торговые операции. А строить им суда — снабжать тем, что может им пригодиться в других целях, нет, тут я русским не помощник. А с чего это ты вздумал им помогать? Почему **ты** в этом так заинтересован?

— Что за подозрения, дядя? — улыбнулся Руперт.— Разве плохо, если мы заведем с ними нормальные деловые отношения?

— Ты ведь там у них был, да?

— Был.

— Значит, ты взял на себя эти хлопоты по их просьбе. Так я, по крайней мере, слышал.

— А вы не слушайте Лилла,— спокойно возразил Руперт.— Я эту затею придумал сам. Я предлагаю законную сделку, как бы на нее ни смотрели. А на фантазии Лилла нечего обращать внимание.

— Мало ли что говорит Берти Лилл. Я сам хочу знать, почему тебя к ним тянет.

— Я уже сказал. И пора понять, дядя Рандольф, что вы не можете больше считать их париями. Эти времена миновали. Русские — равноправные партнеры в международных делах...

— Отнюдь! Для меня они парии и всегда ими останутся. Они пытаются получить суда всюду, где могут, чтобы подорвать наше морское могущество. Сами хотят стать великой морской державой. Сейчас они на восьмом или десятом месте, но через десять лет они будут на втором или на третьем. Что тогда?

— Но они же все равно свое место займут, с вашей помощью или без нее.

— Безусловно без нее. Чтобы я стал помогать им из-за какого-то десятка миллионов фунтов? Нет, не будет этого.

На обратном пути Руперт сделал еще одну попытку:

— Но почему бы мне не попробовать получить хоть несколько русских заказов для Бэркемстедской верфи? Если не мы, их возьмут японцы, какая нам от этого выгода?

— Пусть берут япошки. Я на такие дела согласия не дам, тут и говорить не о чем.

— Но послушайте, дядя Рандольф...

— Ладно, поступай как знаешь! А я посмотрю, что у тебя выйдет,— с раздражением ответил тот.— **Если** только у тебя что-нибудь выйдет. Беритесь за это дело с Фредди, раз уж вам так неймется. Но предупреждаю: я буду вам ставить палки в колеса, где смогу.

Руперт сказал, что не хочет семейной ссоры.

— И я не хочу. Но как же не ссориться с Фредди? Он всегда не прав, а теперь и ты играешь ему на руку.

— Ничуть. Я веду свою линию. И не участвую в игре Фредди, какова бы эта игра ни была.

— Оба вы одним миром мазаны и не ждите от меня ничего хорошего. Если ты связался с Фредди, ты — набитый болван. Рано или поздно мы поставим финансовую политику на голосование членов нашей семьи, главных акционеров, и тогда я всем покажу, что такое Фредди. Вот только погоди!

Мы вернулись в дом. Руперт продолжал спорить со стариком, взывая к логике, но Рандольф сердито повторял, что не желает «подпускать русских даже на пушечный выстрел» (излюбленное выражение всех Ройсов); он снова напомнил Руперту, что его затея на руку этому авантюристу и оппортунисту Фредди, который своей наглостью и беспринципностью погубил фамильную фирму.

■

Мы возвращались в Лондон разочарованные. Поезд пыхтел, проносясь в облаке пара по залитой дождем Англии.

— Фредди совершенно прав,— со злостью заговорил Руперт.— Дядя Рандольф недалеко ушел от ихтиозавра. А тут еще Лилл его нашпиговал.

— Ясно одно: вам его не уломать,— сказал я.

— Вы полагаете? — сердито спросил Руперт.— Ладно, что-нибудь придумаю.

— Без согласия старика суда не построить.

— Пока нет. Но я, пожалуй, выступлю против него вместе с Фредди. Во всяком случае, когда придет время, в кусты не полезу. Однако прежде всего нам надо уладить этот проклятый вопрос с нефтью.

— Рандольф сидит в правлениях нефтяных компаний,— предостерег я его.

— Знаю. Знаю. Попытаемся как-нибудь его обойти, вот и все. Может, мне помогут дружки Фредди из министерства.

— Может быть,— сухо сказал я.

— Ладно, нечего вешать нос,— закончил он разговор.

Мы оба повесили носы, а вот Джо вернулась в купе из коридора, где она была с детьми, очень веселая.

— Я и забыла, как живут люди,— воскликнула она.— Какой чудесный день! Давно я так не наслаждалась.

При этом, надо отдать ей должное, она восхищалась не громадным старинным домом, ломившимся от богатства и произведений искусства, а конюшнями, где было полно лошадей. Ездить верхом Джо научилась чуть ли не раньше, чем ходить. В своем родном Кэмберленде она лихо скакала за гончими по полям, засеянным овсом и репой. Любуясь ее раскрасневшимся лицом, я понял, что она рождена для верховой езды. Теперь дети тоже требовали пони, особенно Тэсс, которая явно будет такой же отчаянной, как мать.

Руперт смотрел в окно купе и, наверно, решал гро себя, правильно ли он поступает, особенно по отношению к детям, возвращая себе свое богатство. Разве не с этого начинается растление, от которого он старался уберечь себя всю жизнь,— не с этой ли потребности получать все больше и больше, не от этих дверей в мир, которые, казалось бы, широко открывает перед тобой богатство, а на самом деле закрывает навсегда!

— Я не возражаю против того, чтобы они ездили верхом,— сказал он Джо.— Но меня бы очень огорчило, если бы их влекло ко всему, что этому сопутствует в Уошберне.

— Почему ты вечно боишься, что дети могут испортиться? — возмутилась Джо.

— Я не хочу, чтобы они росли так, как рос я.

— Тогда, ради бога, отдай опять свои деньги и будем жить как нищие!

— Не злись,— сказал он.— Я не собираюсь снова отказываться от денег.

— Тогда почему ты нас попрекаешь всякий раз, как мы доставляем себе удовольствие? — спросила она.— О чем ты разговаривал с дядей Рандольфом?

— О продаже судов русским.

Джо громко застонала и повернулась ко мне:

— Эти русские заполнили всю нашу жизнь. Почему? Я не знаю. Почему ты вечно хочешь втиснуть жизнь в рамки своих теорий. Что ты надумал на этот раз?

— Ничего я не надумывал. Честное слово, Джо, я просто забочусь о своей выгоде.

— Иногда ты чересчур заботишься о своей выгоде!

— Я хочу заключить выгодную сделку. Мне уже за сорок, и пора браться за ум. Стричь купоны я не намерен. Не намерен, и все.

Глава восьмая

Я часто спрашиваю себя задним числом: стал бы Руперт так настаивать на сделке с русскими, если бы Лилл оставил его в покое? Правда, с другой стороны, можно спросить: оставил ли бы Лилл его в покое, даже если бы Руперт менее упорно добивался того, чего хотел? Человеческая душа — заманчивая добыча. Но как бы там ни было, оба лезли на рожон, словно с перепугу. Как напуган был Лилл, я понял, когда один из его экспертов, некий Лайонел Рэнд, позволил себе наглый выпад против Руперта в почтенной и высокоинтеллектуальной газете «Уорлд».

Рэнд, эксперт газеты по русским делам, написал статью о загадочном происшествии в Арктике, которое начинает тревожить официальные круги Великобритании. Речь шла о спасении Рупертом русского летчика Водопьянова. По словам Рэнда, до сих пор не был выяснен вопрос, что делал Водопьянов в этих полярных широтах. Автор статьи уверял, что в официальных кругах теперь считают, будто самолет Водопьянова разбился, когда шел на встречу с атомной подводной лодкой русских. Американцы знали, что в том районе находилась русская подводная лодка, и недоумевали, почему она не подобрала русского летчика. Действительно, почему русские устранились и наблюдали издали за тем, какие муки терпит англичанин, спасая Водопьянова, и почему они не попросили американцев организовать розыски? Что касается путешествия Ройса по льдам, этот подвиг равен подвигу Нансена, если, конечно, все факты изложены правильно. Однако бóльшая часть пути, проделанного Ройсом, представляется настолько загадочной, что требует дополнительных разъяснений от самого мистера Ройса, который отказывается (что вполне естественно) беседовать на эту тему. Весь его ледовый переход выглядит, в сущности, каким-то чудом, если основываться на том немногом, что о нем известно, поэтому все недоумения и вопросы, не нашедшие ответа, будут освещены в книге, которая должна появиться месяца через полтора под названием «Загадочное путешествие Руперта Ройса».

Я читал статью Рэнда в воскресное утро, сидя перед газовым камином моей меблированной комнаты, и плевался от возмущения. Газета «Уорлд» (в противовес «Обзёр-

веру» и «Санди таймс») считала себя самой интеллигентной, независимой и нелицеприятной из воскресных газет, но, как я теперь убедился, и она по-своему была лицеприятной и зависимой,— правда, от других хозяев. Зато она считала себя настолько серьезной, что становилось просто смешно. Ну, а самым серьезным из ее сотрудников был, конечно, специалист по русским делам Рэнд.

Когда я позвонил Руперту и высказал несколько нелестных замечаний по адресу Рэнда, он сообщил, что Рэнд — один из сотрудников адмирала Лилла и его источники информации — это, с одной стороны, ведомство Лилла, с другой — обширная англо-американская служба радиоперехвата, которая подслушивает все передачи в России, даже частные разговоры по радио и сводки погоды.

К тому времени телефон Руперта уже несомненно был подключен куда следует. Несмотря на это, он рассказал мне, что Рэнд обычно обедает по понедельникам с членом парламента лейбористом Глэдменом и обсуждает с ним полученные сведения. Глэдмен, также сотрудник Лилла, является председателем комиссии палаты общин по установлению дружественных связей с восточноевропейскими союзниками России. Руперт и сам перед своей поездкой в Москву присутствовал в здании палаты общин на одном из таких инструктивных обедов. Тогда, сказал он, помимо Глэдмена должен был прийти еще третий человек, некий Кантро, но он почему-то не явился.

Вот этот самый Кантро и состряпал «Загадочное путешествие Руперта Ройса», о котором Рэнд спешил оповестить читателей газеты «Уорлд». Мир и в самом деле тесен.

На следующий день в конторе Руперт рассказал мне эту историю подробнее.

Я посоветовал ему сходить в редакцию «Уорлда» и набить Рэнду физиономию, но он удивился:

— А вы — сторонник таких методов?

— Да, но только в пьяном виде,— признался я.

— То-то и оно,— сказал он, как мне показалось, даже с некоторым огорчением.

И я понял, что удар Лилла попал в цель.

Однако за всем этим скрывалось еще что-то, чего я не знал. Когда я ближе сошелся с Рупертом, у меня закралось подозрение, что Лилл и мать Руперта когда-то были близки, и в отношении Руперта к адмиралу сказывалась не то детская неприязнь (чересчур уж настойчиво отвергал он всякую попытку Лилла претендовать на роль «второго отца»), не то давние расхождения по каким-то коренным вопросам. Но я так и не выяснил, что породило эту вражду, а Руперт не желал ничего говорить.

Между тем Лилл держал в руках все козыри, он был вездесущ.

Даже когда мы отправились к Фредди, чтобы познакомиться с его приятелями из министерства и поговорить насчет нефти, мы и там столкнулись с одним из подручных Лилла.

Глава девятая

Фредди жил в особняке, построенном знаменитым сверхмодным архитектором. Как и в конторе, в доме не было ничего лишнего, в просторных комнатах лежали огромные, как лужайки, ковры, а кое-где в простенках между окон с двойными стеклами стояла роскошная мебель обтекаемой формы: Фредди был человек современный, он любил и понимал эпоху, в которую жил. И хотя мои представления о Фредди и о его жене Пегги строились на догадках, однако из слов самой Пегги я понял, что угадал характеры супругов довольно точно.

Пятнадцать лет назад Фредди женился на милой девушке из добропорядочной аристократической семьи, и до недавнего времени их семейная жизнь была счастливой. Пегги — бледная, плоскогрудая блондинка — до сих пор казалась Фредди очень привлекательной. Он всегда восхищался и гордился ею. Однако в последние годы, неожиданно для себя, он вдруг почувствовал, что в их отношениях что-то изменилось. Интуиция влюбленного мужа подсказала ему, что у Пегги появился кто-то на стороне, и хотя эта связь, вероятно, недолговечна и не слишком серьезна, она тем не менее существует. А потом он случайно увидел и этого человека, то есть предполагаемого возлюбленного жены. Как-то раз Фредди в неположенное время ехал по Джермин-стрит, и его шофер Джексон, постучав в стекло, спросил:

— Вон идет миссис Ройс. Остановить машину?

Его поразило не то, что она шла с каким-то мужчиной (Фредди лишь мельком взглянул на ее спутника),— поразило выражение лица жены. А ее взгляд, оживленный, веселый, полный женского кокетства, вызова и покорности,— так она никогда не глядела на мужа, во всяком случае не глядела уже очень давно,— его возмутил.

— Нет, не надо! — поспешно сказал он шоферу.— У нее свои дела.

Они влились в поток машин. Потрясенный выражением лица Пегги, он так и не разглядел ее спутника.

В тот вечер, переодеваясь к обеду, Фредди сказал жене, что видел ее на Джермин-стрит.

— Да ну? А с кем я была? — спросила она.

— С каким-то субъектом.

Он застегивал ей сзади платье, и она, обернувшись, поглядела на него своими ясными глазами и сказала:

— Ах, да? Это мой любовник.

Пегги всегда была правдива, но правда, высказанная в шутку, хуже всякого обмана.

— Не слишком ли он тучен для такой роли? — осведомился Фредди.

На этом разговор и кончился, но отныне Фредди был уверен, что интуиция его не обманывает. И хотя он знал, что ему ничего не стоит выяснить, кто был спутником Пегги, выяснять это ему не хотелось. Если он все узнает, придется делать какие-то решительные шаги, а ему не хотелось разрушать счастливый брак, который длился вот уже пятнадцать лет. Фредди ни о чем не расспрашивал жену, не ставил точек над «i», но теперь всякий раз, как у нее было свидание, он это сразу чувствовал.

Сама Пегги, по-видимому, считала, что муж не догадывается об ее измене. Во всяком случае, вначале она вела себя так, будто была уверена, что он ничего не знает. Она твердо решила не давать ему возможности что-нибудь узнать: была осторожна и дома ничем не выдавала своей второй, тайной жизни, не назначала свиданий, которые могли бы нарушить привычный распорядок дня, избегала лишней лжи. Когда она спрашивала себя, стала ли она меньше любить Фредди или меньше восхищаться им (а она очень его любила и очень им восхищалась), она должна была признаться себе, что ее отношение к мужу ничуть не изменилось.

Тогда зачем же она уходит к другому?

Что ее толкало — модная в наши дни жажда острых ощущений? Приевшаяся близость с мужем и потребность в какой-то перемене, желание пережить хотя бы еще одно или два маленьких приключения, пока совсем не состаришься и перестанешь быть привлекательной для кого бы то ни было? Погоня за свежестью чувства, чего уже не мог дать ей муж, чересчур поглощенный своими делами, слишком уверенный в себе и оттого часто с нею небрежный? Она сама не знала чтó. Правда, ее мучили угрызения совести, но она заглушала их без особого труда. И не по слабодушию или из лживости, а от сознания, что с посторонним человеком она может позволить себе то, на что никогда не отважилась бы с мужем. Сначала она думала, что Фредди ничего не замечает, но потом поняла, что ей не удалось его обмануть. Она недоумевала, чем себя выдала, ибо Фредди несомненно знал больше, чем могла раскрыть ему случайная встреча с нею и ее спутником.

«Что ж, если ему все известно,— сказала она себе с философским спокойствием,— значит, так тому и быть!»

Ей очень хотелось выяснить, что именно ему известно. На всякий случай у нее была заготовлена куча правдоподобнейших объяснений и тысяча оправданий, а если бы и они не помогли, она нашла бы в свою очередь, в чем его упрекнуть, чтобы заставить **его** оправдываться.

Этот-то дипломатический нейтралитет и стал с течением времени основой их совместной жизни. Они не ссорились, не выясняли отношений, все внешние приличия были соблюдены. Но что-то из их жизни ушло навсегда. Супруги, казалось, были по-прежнему нежны, даже как будто любили друг друга, однако общение их не шло дальше обмена словами, а от былой привязанности осталась лишь привычка, помогавшая прожить сегодняшний день, не думая о том, что будет завтра. Они ясно отдавали себе отчет в том, что стоит им нарушить размеренную повседневную рутину — и под ногами разверзнется пропасть, в которой оба они погибнут.

Но Фредди все еще приятно было, придя домой и приняв ванну, слышать, как она выговаривает ему своим ровным голосом за то, что он выпил второй коктейль до прихода гостей. Первый коктейль он обычно брал с собой в ванну и лежал в ней четверть часа, отдыхая, потягивая холодный мартини на водке и чувствуя, как отступают суматошные заботы дня, а нервы успокаиваются. Вода смывала вместе с грязью все дневные тяготы. Его поражало, сколько на нем было грязи после нескольких часов, проведенных в его стерильной конторе.

— Наверное, я сильно потею,— жаловался он Пегги.

— Слишком много ешь сахару,— упрекала она его.

Он вытирался, надевал чистое белье — одно из самых больших наслаждений в жизни — крахмальную сорочку, костюм и ботинки, которые завязывал ему камердинер Питер, выходец из Вест-Индии; сам Фредди тем временем допивал свой коктейль. Теперь можно было заглянуть на кухню и посмотреть, что готовят там для приема гостей — парадного или интимного. По дороге его радостно приветствовала собака; потом, если бывали письма от детей из пансиона, он их читал; о детях же говорила с ним и Пегги; впрочем, иногда она рассказывала последние светские сплетни (оба они это любили); Фредди просматривал вечернюю газету. Наконец, раздавался звонок, и одна из горничных вводила первых гостей.

— Ты подружишься с Рупертом,— предсказывал он Пегги. Она раскидывала диванные подушки, чтобы усесться поудобнее. На ногах у нее поблескивали золотые шлепанцы, которые в самую последнюю минуту она сменит на ненавистные туфли.— Хотя он, конечно, престранный субъект.

— Мне он всегда казался одним из самых симпатичных Ройсов.

— А разве не все мы симпатичные?

— Я рада, что он тебе нравится,— Пегги отпила глоток из его бокала.— Ты никогда не питал нежности к своим родичам. Но они с Джеком тебе подходят.

— Я все время говорю — и это пока подтверждается,— что настоящие деловые люди теперь вывелись. Во всяком случае, наверху. А дни таких дельцов, как Рандольф, сочтены. В Сити полно старых болванов, их там не меньше, чем в правительстве. Поэтому чудаки и упрямцы вроде моего двоюродного братца Руперта и моряка Джека могут нам пригодиться. У них есть честолюбие, и живут они сегодняшним днем. Когда меня спрашивают, что такое хороший работник на своем месте, у меня один ответ: толковый, современный человек. Плевал я на то, что он поначалу плохо знает дело, это не самое главное. Главное, что он собой представляет. От нынешнего хаоса нас спасет только характер, индивидуальность, нам нужен человек незаурядный, упорный, способный заглянуть вперед, видеть хотя бы на шаг дальше, чем все остальные, а не просто гоняться за деньгами или плыть по течению повседневных дел.

— Да, милый, нужен человек вроде тебя.

— Нет. Я тоже слишком погружен в дела и денежные операции. Но по крайней мере я стараюсь быть таким, как надо.

— Не скромничай. Я не встречала таких, как ты.

— Ладно, не издевайся! Кстати, я устроил этот обед для того, чтобы Руперт и Джек сумели обработать Хоуарта — он один из тех министров, с которыми им придется иметь дело. Если Руперту удастся заключить эту безумную сделку с русскими — а он добивается своего с присущим ему упорством,— я его возьму к себе. Может быть, он как раз тот человек, которого я искал все годы. Кроме того, ему можно абсолютно доверять.

— Будь поосторожнее с Рандольфом,— предупредила его Пегги.— Он совсем не дурак.

— Знаю, но если фирма Ройсов хочет уцелеть среди волкодавов из нашего Сити, кому-то придется свернуть голову старику, чтобы он не путался под ногами. Не то голову свернут нам.

— Ты-то выживешь,— заверила его Пегги.

— Никто теперь не может выжить в одиночку, даже я. Ей-богу, Пегги, сам Рокфеллер, будь он один, не справился бы с нашими живоглотами.

Раздался звонок, и Пегги вскочила, чтобы надеть туфли. Фредди сидел, не двигаясь. Раньше он ласково хлопнул бы жену пониже спины, тем более что она не носила корсета. Она как будто этого даже ждала. Но всякое проявление близости теперь было бы фальшью; он сдержался и, видимо, огорчил Пегги.

Фредди знал заранее, что к концу вечера слегка опьянеет, и тогда в нем поднимутся горечь и озлобление против Пегги. Некоторые люди напиваются, чтобы забыть, но с ним все происходило наоборот; алкоголь расслаблял волю, и сердце начинало щемить. Он уже мечтал о завтрашнем дне: в трезвом состоянии он не разрешал себе размягчаться, потому что никому не доверял; только так — весь собранный — он чувствовал себя в безопасности. И лишь будучи абсолютно трезвым, он мог не думать о Пегги.

Он грустно посмотрел ей вслед и, допивая мартини, распорядился:

— Луиза! Вкатите, пожалуйста, столик с напитками.

Услышав за дверью голоса, он сказал себе: «Немец! Вот аккуратист проклятый! До сих пор не научился приличиям». Фредди так надеялся, что успеет выпить третий коктейль, прежде чем придут гости. Но что поделаешь! Он поднялся навстречу господину Гуго фон Опфельну — своему будущему компаньону и соратнику, если сделка не сорвется. Рандольф, конечно, постарается им помешать, но если дело выгорит, Фредди с этим немцем затеют такое, что все дьявольские махинации Сити покажутся просто детской забавой.

■

Гости в тот вечер собрались за ужином богатые, лощеные, светские.

Когда дамы удалились, за стеклянным столом, освещенным черными парафиновыми свечами, осталось шестеро мужчин. Камердинер хозяина Питер разносил коньяк. На одном конце стола Фредди беседовал с немцем, предоставив мне и Руперту разговаривать с министром Хоуартом и неким Джули Джонсоном, у которого на месте глаза была черная повязка. Руперт давно знал этого Джонсона еще по флоту. Теперь он служил у Лилла, занимая там один из самых важных постов, а для маскировки работал у Хоуарта и заседал вместе с ним в комиссии по нефтеперевозкам. Дважды в месяц посещал заседания этой комиссии и Фредди.

После коктейля и вина языки у всех развязались. Министр стал поддразнивать Руперта. Он завел речь о его знаменитом путешествии по Арктике.

— Моя девятнадцатилетняя дочь считает, что вы совершили легендарный подвиг. Но вы уверены, что вас не сняла со льда русская подводная лодка? — пошутил Хоуарт.

Руперт ответил на эту шутку молчанием и спросил министра, почему правительство ограничивает ввоз русской нефти в обмен на английские суда.

— Потому, старина, что нефть — острие копья, которое пытаются всадить в нашу экономику русские,— ответил Хоуарт.

— Какого копья? — спокойно осведомился Руперт.— Русские хотят поставить нам меньше одного процента нашего годового потребления нефти. Это даже ниже той цифры, на которую ежегодно возрастает у нас импорт жидкого топлива.— Чувствовалось, что Руперт хорошо изучил этот вопрос.

— А все же копье это они хотят в нас всадить — будто вы сами не знаете.

— Право же, это несерьезно,— ответил Руперт.

— Торговля с русскими — в сущности политика, а не коммерция. А с какой стороны вас это интересует, позвольте спросить?

— Я хочу им продать суда.

— Суда — стратегический товар.

— Так же как для русских нефть, поэтому обмен будет справедливый.

— А вы неплохо защищаете их интересы! — добродушно заметил Хоуарт.

Руперт поглядел в единственный глаз Джули Джонсона и с ударением произнес:

— Я защищаю интересы фирмы Ройсов.

Хоуарт заявил, что в мире существуют проблемы посерьезнее, чем сбыт судов Ройсов.

— Вы-то должны это понимать! — сказал он Руперту.

— Я понимаю одно: вы боитесь торговать с русскими,— уже с раздражением произнес Руперт.— Почему вы создаете столько помех, ведь сделка вполне законная.

— Ах, бросьте, Ройс, давайте не играть в наивность.

— Наивность в отношении чего: судов или нефти? Мы с вами думаем о разных вещах. Вы думаете о нефти, а я о том, как бы продать суда...

Оба они слишком много выпили, и Руперт уже не скрывал своей антипатии к Хоуарту, им овладела врожденная надменность человека его класса, хотя, по-моему, виной всему была его неприязнь к Джули Джонсону. И все-таки я считал, что Руперт перебарщивает. Грубость была несвойственна ему.

— Давайте не ссориться,— с неожиданным миролюбием предложил Хоуарт, как истинный государственный муж.— Вы думаете, что я болван, а я думаю, что болван — это вы. И дело тут вовсе не в ваших судах или нефтяных монополиях, интересы которых я представляю. Все дело в политике. Поэтому либо давайте поспорим о ней, либо вообще прекратим этот разговор.

— Вот это правильно,— согласился Руперт. К нему вернулось чувство юмора, но он был слишком мало подготовлен, чтобы вести политический спор, и поэтому замолчал, а Хоуарт обратился к фон Опфельну.

— Гуго! Вы мне так и не рассказали, что вы сделали с Уайтхедом, когда сняли его в сорок первом году с «Графа Шпее»?

— Минутку! — перебил Фредди Хоуарта.— Мы еще не кончили.

— Ну так поторопитесь. Я хочу поболтать с Пегги.

Он встал, взял из вазы апельсин, очистил его, бросил кожуру прямо на стол и стал, чавкая, есть, рассеянно поглядывая на Фредди. Он спросил меня, кто я такой и чем занимаюсь, но я слушал и отвечал невнимательно: меня интересовало, о чем разговаривает Руперт с Джули Джонсоном.

— Я вижу, вы, Джули, неплохо информировали обо мне министра.

Я не расслышал ответа Джонсона, но понял, что он предпочел бы скромно умолчать о своих заслугах.

— А эта книжка обо мне будет выражать официальную точку зрения? — допытывался Руперт.

— Весьма непристойное сочинение,— заметил Джули.— Вам, Руперт, не мешало бы принять какие-то меры, прежде чем они ее выпустят.

— Меры я приму, не беспокойтесь. Но если вы намерены использовать эту книгу, чтобы меня дискредитировать или вывести из равновесия, я вам не советую этим заниматься.

Хоуарт, услышав последнюю фразу, обернулся, а так как все мы, разгоряченные вином и слишком сытной едой, уже встали и собирались присоединиться к дамам, он по-дружески взял Руперта под руку:

— Спокойно, мой друг. Вы забыли, что в комиссии по стратегическому топливу заседает старик Рандольф, а он и слушать не желает о вашей затее обменять его суда на русскую нефть. Чем же в таком случае могу помочь я?

— Вы не Рандольф, вы правительство,— возразил Руперт.— Народ выбирал вас, а не его.

Хоуарт расхохотался.

— Если вам удастся убедить старика, вы, может быть, уговорите и меня рассмотреть этот вопрос. Но я-то знаю, Рандольфа ничем не проймешь.

— Посмотрим,— сквозь зубы процедил Руперт, и мы, наконец, присоединились к дамам.

■

Я был очень влюблен в ту ночь, провожая Пепи домой в ее чистенькую двухкомнатную квартиру в Челси (почему-то я думал, что застану там беспорядок, но я еще не знал, какая Пепи чистюля!).

Пепи была пафицисткой, и ее уже раз шесть таскали в суд за участие в демонстрациях Комитета за ядерное разоружение и Комитета ста; однако мне казалось, что ее толкает на это только жажда сильных ощущений. Я спорил с нею, и дело доходило иной раз до ссоры.

— Для вас все это только забава,— утверждал я.— Вы ищете сильных ощущений. Демонстрации за мир для вас просто развлечение, вот и все.

— А если и так? — спокойно возражала она.— Я ищу сильных ощущений. Что тут плохого, раз они доставляют мне удовольствие? Только так человек и должен жить. Я хочу испытать **все.**— Она сбросила пальто: в ее жестах чувствовалась та же бравада, то же презрение к условностям, что и в словах.

Пепи села на диван, подобрала под себя ноги и не без язвительности принялась меня поучать, что надо жить чувствами. Правда, сказала она, для этого надо обладать смелостью, но вот она, например, ничего не боится, она хочет познать и лично испытать все.

— Что тут плохого? — настаивала Пепи. Раз она даже прожила три недели, переодевшись мужчиной (в наш век это не трудно сделать), и чего только за это время не наслушалась! — Мужчины трусы. А какие лицемеры! С женщинами сюсюкают, а между собой говорят такое — у меня волосы дыбом встали! Я-то ведь со всеми одинаково разговариваю — и с мужчинами и с женщинами, а у мужчин две совершенно разных жизни, разделенные сексом. Да, да, для мужчин все сводится к физиологии. Я-то против физиологии не возражаю, но нельзя же, чтобы она тебя порабощала. Ведь на вас, мужчин, смотреть жалко. Даже не хотят ни в чем разобраться, впрочем, и большинство женщин тоже.

Я снял пальто, кинул его на стул. Она меня злила: такая женственная — и столько цинизма! И вид у нее был опытной женщины, а не девочки, несмотря на ребячески тонкие брови, короткие юбки и длинные, небрежно вытянутые ноги в кружевных чулках. Я, правда, пытался обращаться с ней соответственно с ее возрастом, но мне это плохо удавалось, она сбивала меня с тона.

— Вы просто не понимаете женщин,— изрекла она с апломбом.

— А вы еще не женщина. В вас еще нечего понимать.

Она презрительно пожала плечами.

— А что, по-вашему, надо, чтобы стать женщиной? — спросила она.— Половая жизнь. Тогда я уже в шестнадцать лет стала женщиной. Но что это доказывает? Половая жизнь в наше время ничего не доказывает, хотя люди о ней слишком много говорят, в том числе и я. День и ночь ни о чем другом не слышишь. Не знаю, что надо для того, чтобы стать женщиной, но знаю, что я женщина. Я не девчонка.

— Почему же вы одеваетесь как девчонка?

— Так интереснее.

— Во всяком случае, вид у вас такой, будто вы целый месяц не мылись.

— Ну, а вы — Фома неверующий. Нев-верующий!

Тут только я впервые обратил внимание на то, что она заикается. Заикание было едва заметным, но по тому, как Пепи вдруг разозлилась, я понял, какого труда стоит ей говорить гладко.

— Видите, как вы меня злите! — вырвалось у нее.

Она замолчала и сидела, надувшись, глядя прямо перед собой, словно меня здесь не было. Я пытался ее развеселить, отпустив какую-то шутку насчет ее дурного характера, но мне показалось, что она даже не слышала моих слов, и только когда я встал, чтобы уйти, она сказала:

— Джек, я больше не сержусь.

— Тогда не делайте вид, будто меня здесь нет.

В ту ночь я возвращался домой, зная, что влюблен в нее, хотя это и тогда меня не радовало: я просто любил Пепи, и все тут. Незадачливый Пигмалион, я уже догадывался, что никогда не смогу превратить Пепи в ту женщину, о какой мечтал.

Глава десятая

В понедельник Руперта пригласил к себе мистер Осипенко. Тот вернулся из Хайгейта очень довольный: русские дали ему, прежде чем кому-либо другому, спецификации на постройку нужных им судов. Правда, Рандольф все еще представлял собой непреодолимое препятствие, а покупка русской нефти продолжала оставаться главным условием сделки, но мы почувствовали, что все же чего-то добились.

Судовая спецификация будит воображение, тем более когда видишь ее впервые, как это было в тот день со мной. Мы сидели в конторе, и Руперт читал мне один листок спецификации за другим, а я слушал его, глядя сквозь зимнюю мглу на грязные, засиженные голубями крыши лондонских автобусов, выстроившихся у церкви Сент-Мэри-Экс, и чувствовал себя Уилфридом Бишопом, который, нахохлившись на высокой конторской табуретке, мечтает о далеких экзотических странах. Я успел построить судно и даже поплавать на нем, пока Руперт дочитал пачку прозрачных листков до конца.

Две спецификации были на плавучие консервные заводы, одна — на рефрижератор, а четвертая — на рыбохолодильный транспортер. Все это были крупные суда довольно сложной конструкции, особенно плавучий рыбоконсервный завод.

Подробно обсудив спецификации, мы отправились с ними к Фредди, который не выказал по этому поводу никакого восторга.

— Только и всего, только и всего? — сухо спросил он, проглядывая две первые спецификации.— Основные двигатели — дизели Бурмейстера и Уэйна, пятнадцать узлов,— он подсчитал, какое количество льда потребуется для хранения 800 тонн рыбы,— плюс емкости для готовых консервов. Чересчур большие суда, Руперт, они слишком дорого нам обойдутся, слишком многое придется заказывать на стороне, закупать оборудование и прочее. Нет, для нашей фирмы это не подойдет, да и сроки поставки невыгодные.

— А плавучий холодильник? — спросил Руперт.— Там ведь дело совсем простое — пустая посудина с холодильной установкой в трюме.

— И там есть свои сложности, но, мне кажется, такие суда мы сможем построить. Погоди, я сперва все как следует выясню.

Фредди взял трубку синего телефона на пустом письменном столе и нажал синий рычажок на доске коммутатора. Это, объяснил он, прямой провод, соединяющий его с Бейрингом в Бэркемстеде.

— Алан, мы получили от русских спецификации,— сказал он в трубку.— Да, от русских! Четыре. На рефрижератор — пять тысяч тонн брутто, рыбовоз — две тысячи шестьсот и два плавучих консервных завода.

Бейринг отвечал обстоятельно и задал множество вопросов.

— Все довольно разумно изложено,— начал объяснять Фредди.— Они хотят, чтобы мы изготовили все, даже рыболовецкое снаряжение. Нет, этого я не знаю,— ответил он на следующий вопрос.— Мы не сможем вовремя получить оборудование, заказанное на стороне, и для нас это будет слишком дорого. Но насчет холодильников можно попробовать. Я вам, во всяком случае, перешлю сегодня эти спецификации. А вы мне поскорее сообщите свои соображения. Старику ни слова, а то Рандольф нам помешает. Да, я ему сам скажу...

Фредди повесил трубку.

— Так я и думал. Плавучие заводы — слишком специальные суда, чтобы с ними возиться, разве что мы сами надумаем их строить, а для всего остального — кратчайший срок поставки двадцать три месяца, хотя половина верфей сейчас простаивает. Нас задержат заказы, отданные на сторону, но все-таки начать переговоры вы можете. А цены мы назначим позднее.

— Я бы предпочел ничего не говорить русским, пока мы не сможем назвать цену, ведь денежная сторона будет интересовать их в первую очередь,— сказал Руперт.

— Сомневаюсь,— возразил Фредди.— Лично я предполагаю, что русских на этой стадии больше всего интересуют сроки поставки, а двадцать три месяца, поверьте, не такой уж долгий срок.

— А можно сделать быстрее, если они будут просить?

— Немного. Но основной камень преткновения для нас по-прежнему — нефть. На этом, Руперт, вы погорите!

— Да, с нефтью — дело дрянь.

Руперт извинился перед Фредди за то, что не сумел использовать встречу с Хоуартом, но Фредди только махнул рукой.

— Да что там! Хоуарт ведь, в сущности, болван. Да еще и мерзавец в придачу. Он просто первый пришел мне в голову, к тому же решать вопрос будут не министры, а люди, которые стоят в тени.

— Политики или хозяева нефтяных компаний? — поинтересовался Руперт.— С нефтяниками мне все-таки легче иметь дело. А при виде политиков я сразу зверею.

Фредди задумался.

— Знаете что? Через несколько дней мне надо съездить в Амстердам, на одно совещание. Там будет некий профессор Альфред де Кок, эксперт нефтяного консорциума, определяющий, что им выгодно и что невыгодно. Он играет большую роль в установлении европейских квот на нефть. Если вы сумеете его убедить, он, вероятно, убедит всех остальных. Поэтому давайте-ка вы с Джеком поезжайте со мной, постарайтесь обработать де Кока.

Мы согласились, понимая, что не продвинемся ни на шаг, пока не сломаем нефтяную преграду.

Глава одиннадцатая

В Амстердам мы летели в собственном самолете Фредди и по дороге расспрашивали его о предстоящем совещании.

— Там встретятся крупнейшие фрахтовщики и представители нефтяных компаний. Надо установить единые фрахтовые ставки на перевозку жидкого метана. Нефтяники требуют более дешевого фрахта, а мы хотим получить ставки повыше. Предсто-

ит драка нефтяных компаний — голландских, английских и французских — с пароходными — голландскими, шведскими, немецкими, французскими и нашими.

— Вот вам и общеевропейский рынок в действии,— сухо заметил Руперт.

— Ну, в этих пределах он у нас действовал всегда,— улыбнулся Фредди. Самолет продирался сквозь густые облака, нас так тряхнуло, что Фредди даже крякнул.— Вы, значит, против того, чтобы мы присоединились к европейской шестерке? — удивился он.

— Да, против,— сказал Руперт.

— Не понимаю почему.

— Хотя бы потому, что немцы здорово нагреют на этом руки.

— Ну, это не довод,— отозвался Фредди.— В наши дни такие вещи в расчет не принимаются.

Жалобно подвывая, самолет наконец пробился сквозь облака к семидесяти островкам и пятистам мостам старого богатого приморского торжища, плавающего на водах Зюйдер-Зее, укрощенных гигантской песчаной дамбой. Самолет прогудел над пригородами и, расставив плоские ноги, как утюг, плюхнулся на воду.

У Фредди была замечательная способность спокойно ждать, что все придет к нему само. Действительно, не прождал он возле своего самолета и минуты, как со всех сторон к нему устремились официальные лица, носильщики и машины.

— Вы — живой пример того, как правит правящий класс,— шутливо сказал ему Руперт.

— Все дело в голове,— Фредди постучал себя по лбу.— А вот Джек — как был матросня, так и останется.

Фредди пальцем не пошевелил, однако багаж мигом пропустили через таможню, паспорта проверили, вещи погрузили и выгрузили, а нас привезли в отель «Ройял Амстердам», записали в книгу и отвели в номера, где Фредди был вручен десяток телеграмм и где его уже ждал секретарь.

Остаток дня Фредди провел на совещании, а нам с Рупертом было предложено покататься на велосипедах и поглазеть на картины Рембрандта в Рикс-музее, на пухлых девиц, подававших нам пиво в кафе, на белый зимний туман и загорелые лица амстердамцев. Я глядел и злился на этот голландский город, где я зря потратил еще один день своей жизни вдобавок к долгой череде других попусту растраченных дней — мне было двадцать восемь лет, а я еще и не приступал к тому, ради чего, как я считал, живу на свете.

Утром мы вместе с Фредди вошли в отделанный деревянными панелями зал заседаний Международной страховой компании торгового флота, где за подковообразным столом сидели тучные голландцы, тучные немцы, худой, жилистый француз, краснолицые скандинавы и два с иголочки одетых англичанина.

— Этих чертовых англичан узнаешь с первого взгляда,— шепнул мне Фредди.— Достаточно посмотреть хотя бы на вас с Рупертом...

Нас никто не представил, и заседание продолжалось.

— Вот это — де Кок,— Фредди покосил глазом на астматического голландца, который курил короткую сигару, смотрел на мир сквозь толстые стекла очков и, по-моему, не слишком много там видел.

Обсуждение велось на трех языках. Фредди почти не принимал участия в дебатах и лишь изредка отвечал на какой-нибудь вопрос. Правда, один раз он затеял короткий, но жаркий спор относительно демарража и простоев.

Мы долго слушали, как они торгуются; я видел, что Руперт удивился не меньше моего, когда все вдруг поднялись с мест и Фредди с удовлетворением произнес:

— Ну, вот и прекрасно, дело сделано.

На этом совещание закончилось.

Его участники, обмениваясь прощальными рукопожатиями, покидали зал, а нас с Рупертом Фредди подвел к профессору де Коку, представил как «своих двоюродных братьев и ближайших сотрудников» и во всеуслышание сообщил:

— Профессор туговат на ухо, ему надо кричать.

Професор де Кок молча улыбнулся, обнажив желтые зубы. Меня заинтриговало шутливое, но крайне уважительное обращение Фредди с этим странным человеком, который жестом предложил Руперту сесть. Фредди тоже сел, но несколько поодаль и скрылся за пеленой сигарного дыма, все еще висевшего над подковообразным столом заседаний.

— Я вовсе не глухой,— по-английски сказал профессор де Кок Руперту.— Фредди шутник, так что уж вы, пожалуйста, не кричите.

Но для человека с хорошим слухом тучный профессор говорил чересчур громко. Поэтому Руперт все же повысил голос:

— Фредди сказал мне, господин де Кок, что вы — тот человек, который мог бы мне помочь.

Профессор протестующе воздел руки.

Руперт сжато и понятно рассказал о предложении русских поставлять нефть в Англию в обмен на английские суда.

— Русские любят обменные операции,— кивнул профессор.— Крестьянская манера торговать.

— Трудность не в самой сделке,— пояснил Руперт, взглянув на Фредди, который пожал плечами и отвел глаза, чтобы подчеркнуть свою непричастность к этому делу.— Вся загвоздка в импорте нефти. На это требуется разрешение английского правительства.

— Чье разрешение? — переспросил профессор.

Руперт забыл, что надо говорить громко.

— Разрешение английского правительства!..— прокричал он.

— Я не даю разрешений вместо вашего правительства,— сказал де Кок.

— Знаю,— отозвался Руперт,— но мой двоюродный брат Фредди говорит, что вы готовите решения нефтяного консорциума о квотах на импорт нефти, на основании чего наше правительство выносит свое решение. Таким образом, ваше слово будет иметь большой вес.

— Не очень,— закричал в ответ голландец.— Я ведь непосредственно не связан с вашим правительством и не консультирую его по таким вопросам.

— А кто же это делает? — спросил Руперт.

— Десяток смешанных комиссий в Лондоне.

— Но вы же эксперт по вопросам импорта нефти!

Профессор снова воздел свои пухлые руки.

— Никакой эксперт тут не поможет. Никто не потрудится даже спросить меня. Однако сколько нефти русские хотят вывезти в Англию? Наверно, не очень много...

— Около трех миллионов тонн.

Профессор пожал плечами.

— Капля в море. Так что дело, как видно, не в количестве, правда?

— А в чем же? — крикнул Руперт.

— Вам известно, как обстоят в мире дела с нефтью?

— Очень мало.

— Но вы, я надеюсь, слыхали, что все великие державы, за исключением Китая, контролируют огромные запасы нефти: Америка, Россия, Англия, Франция, а также Голландия. Потребление нефти,— продолжал де Кок,— показатель экономического могущества страны. Это, надеюсь, вам ясно?

— По-моему, всем это ясно, профессор. Впрочем, не только потребление нефти, но и мощь торгового флота. Однако к чему вы клоните?

Руперт явно заинтересовал де Кока.

— Вы знаете, какая страна лет через восемь будет самым крупным добытчиком нефти?

— Без сомнения, Россия. И вы не хотите, чтобы русские совали нос на западные рынки?

— Вот именно. Вы отлично все поняли.

— Разрешите задать вам нескромный вопрос? — обратился к нему Руперт.

— Не сомневаюсь, что вы его зададите.

— Может ли политика в области нефти осуществляться отдельно от той, другой политики?

— Не всегда. Часто они взаимозависимы.

— Вот-вот. Вам в решении вопросов, связанных с импортом, вероятно, часто приходится идти на серьезные уступки, продиктованные международной обстановкой?

— Беспрестанно,— признался де Кок.— Политическое положение в странах с нефтяными месторождениями всегда влияет на нашу политику.

— Но английские судостроительные и судоходные компании, как вы знаете, профессор, тоже проводят свою политику. Их тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Профессор слегка приподнял брови.

— В наши дни судостроение повсюду приходит в упадок. Между компаниями идет жестокая конкуренция,— продолжал Руперт.— А так как в других странах судостроительные фирмы получают более крупные правительственные субсидии, нам трудно с ними тягаться. Поэтому, если нам удастся получить такой крупный заказ, какой сулят русские, от него вряд ли стоит отказываться, не правда ли?

— Да. Но судостроители должны сами заботиться о себе,— возразил профессор.— Нефтяные компании и так самые крупные ваши заказчики на суда и на фрахт...

— Это я знаю.

— ...следовательно, не много ли вы требуете, мистер Ройс, добиваясь от нас разрешения на то, чтобы мы открыли русским запретный вход в наше нефтяное святая святых только потому, что вы хотите строить суда для русских?

Метафора насчет «святая святых» показалась мне чересчур пышной, но смысл ее во всяком случае был ясен.

— И все же,— настаивал Руперт,— где-то должно быть найдено равновесие между тем, что выгодно вам, и тем, что выгодно нам, тем, что вредно вам и вредно нам...

Тут я заметил, с каким удовлетворением Фредди потягивает свою трубку.

— Вы, пожалуй, правы,— признал профессор.— Вы нащупали главное, вокруг чего вертятся все проблемы международной торговли. Вот для этого у нас и существуют правительства: они должны отстаивать наши торговые интересы.

— В таком случае,— поспешно вставил Руперт,— будете ли возражать вы или нефтяные компании, если мы ввезем русскую нефть?

— Ну как, Фредди? Что мне ответить вашему кузену?

Фредди засмеялся:

— Понятия не имею, профессор. По-моему, он загнал вас в угол.

— Что ж, попробуем решить этот вопрос при помощи логики.

— Логики? — переспросил Руперт.

— Да, логики. В нынешнее время ввоз Англией русской нефти противоречит всякой логике. Вот и весь сказ.

— Таков и будет ваш совет?

— Я не даю никаких советов. Наверху у меня их не спрашивают, мистер Ройс. Поговорите с вашими политическими деятелями. Ну, например, с Грешэмом-Брауни или с сэром Перегрином Бендиго из Атлантического комитета. Пусть этим вопросом займутся они. Повидайтесь с сэром Бендиго. Вот он — нужный вам человек, единственный нужный вам человек, дорогие друзья.

В машине Фредди откинулся на сиденье и с облегчением вздохнул.

— Ох, уж эти нефтяники! — недовольно воскликнул он.— Они себя ведут, как люди с чертовски запятнанной совестью, которые боятся, что их выведут на чистую воду.

— У профессора я этого, пожалуй, не заметил,— не согласился Руперт.— Я даже не понял, на чем мы с ним расстались.

— На его обещании хранить нейтралитет,— сказал Фредди.

— А что мне это даст?

— Это уже неплохо. Он ведь мог вас с ходу раздолбать. А теперь, по крайней мере, не будет вмешиваться, если вы пойдете к нашим политикам. Нет, вы добились гораздо большего, чем думаете.

— У меня нет такого ощущения. Неужели все ваши деловые переговоры кончаются так же неопределенно, как эти?

— Важны оттенки, Руперт. Только в контрактах уточняется каждая буква. По-настоящему же большие дела чаще всего не заносятся на бумагу. Вы держались отлично.

— Все, по-моему, знают великого Бендиго,— сказал Руперт.— Но кто такой Грешэм-Брауни?

— Рождественский пудинг, в котором даже не запечена монетка,— объяснил Фредди.— Плевать нам на него. Найдем кого-нибудь получше этого маразматика.

Машина остановилась у подъезда гостиницы, но Фредди продолжал спокойно сидеть. Шофер-голландец вылез, обежал машину и, сняв фуражку, открыл Фредди дверцу. Да и в подъезде, едва мы подошли, двери перед нами распахнулись как по волшебству.

Меня злила четкая работа лакейского механизма, обслуживавшего Фредди. И я был удивлен, когда, обедая с ним и еще четырьмя голландцами, заметил, что Руперт относится к этому совершенно иначе.

— Странная вещь,— произнес Руперт в тот блаженный час, когда обед уже съеден, жизнь кажется прекрасной и на сердце царит покой,— со мной это редко случается, но сегодня я снова почувствовал себя настоящим Ройсом.

— Вас на это настроил Фредди с его «сезам, откройся»?

— Не только Фредди. Вообще все, что я сегодня видел. Я начинаю их понимать,— сказал он.— Они превосходно правят миром с минимальной затратой сил...

— И перебрасывают недра целых континентов из одного полушария в другой, никого не спросив,— ядовито добавил я.

Глава двенадцатая

В войне между Рупертом и Лиллом, как это бывает и в настоящих войнах, наступило затишье. Какое-то время даже казалось, что схватку выиграл Руперт — так открыто пренебрегал он всеми наложенными на него запретами.

Но тут произошло событие, которое снова обострило конфликт, подведя под него реальную почву, чего раньше недоставало.

Однажды утром Лилл приехал объясняться к Руперту в Сент-Мэри-Экс, и я оказался втянутым в их борьбу уже хотя бы потому, что при ней присутствовал. Мы с Рупертом сидели в нашей стеклянной клетке, погруженные в кипы журналов, книг и материалов, полученных нами из Балтийской библиотеки: Руперт хотел изучить все насчет нефти, и притом возможно поскорее, поэтому мы и читали о нефтяных месторождениях, о тех, кто ими владеет, о добыче и торговле нефтью, о ее сбыте, капиталовложениях, о соперничестве и политике нефтяных магнатов.

Мы уже несколько дней не давали передохнуть нашей секретарше, старательной миссис Ингрэмс, которая переняла у Руперта его манеру работать, состоявшую в необычайно тщательной подготовке материалов. Миссис Ингрэмс — англо-индианка средних лет с голубовато-серебристыми волосами — получила работу в правлении фирмы

Ройсов после того, как ее пост в калькуттском филиале фирмы был передан чистокровному индусу. «Бедняги!» — пожалел нас Фредди, передавая миссис Ингрэмс под начало Руперту: она была опытным и надежным работником, но с таким обидчивым характером, что никто не мог ее вынести. Однако у Руперта была на редкость приветливая, открытая и ровная манера обращения с женщинами, которых он сразу к себе располагал. Во всяком случае, миссис Ингрэмс редко срывала на нас свое дурное настроение.

— Мы пользовались услугами этих полукровок в Индии,— сказал Фредди,— потому что они были рангом повыше простых кули, и в то же время достаточно угодливы, и выполняли любое распоряжение любого англичанина. Но я понимаю, почему Неру захотел от них избавиться. Подобные нравы годились во времена Рандольфа, а мы живем в другую эпоху. Пусть Индия принадлежит индийцам. Так лучше. Теперь нам легче обделывать там свои дела и безопаснее вкладывать деньги, а наше влияние на них сильнее, чем когда-либо за последние тридцать лет. Почему? Потому, что им больше не приходится драться с нами, и мы можем разговаривать друг с другом спокойно. В Африке будет то же самое, хоть и не сразу.

Фредди был вообще человеком широких взглядов. У него не было предрассудков ни по отношению к англо-индийцам, ни к евреям, грекам или армянам, потерявшим работу в египетском филиале фирмы, когда Насер пришел к власти.

— Некоторые компании,— говорил он,— особенно крупные нефтяные тресты, обошлись со своими местными служащими по-свински, хотя кое-кто из этих бедняг спас им миллионы, а иной раз и помог сколотить состояние на тамошних биржевых операциях, утайке налогов и умелой торговле. У этих нефтяных компаний нет ни стыда, ни совести,— с презрением заключил Фредди.

Внезапно дверь в нашу стеклянную клетку распахнулась, и на пороге появилась миссис Ингрэмс. Я ожидал, что следом за ней посыльный внесет очередную кипу книг и журналов, но она сказала:

— Тут один джентльмен..

— Здравствуй, Руперт! — Отстранив ее и улыбаясь, как добрый дядюшка, в комнату вошел адмирал Лилл.

Руперт положил раскрытую книгу на стол переплетом кверху. Он застыл от удивления.

— Не ожидал! — протянул он.— Что вас сюда привело?

— Решил взглянуть, как ты тут живешь,— ответил адмирал, кладя свернутый зонтик на край письменного стола, котелок — на маленький столик и отдавая теплое синее пальто миссис Ингрэмс, которая услужливо дожидалась, чтобы принять у него это пальто.

— Минуточку,— попросил ее адмирал и вынул из кармана пальто какую-то бумажку.— Как поживает мама?

— Прекрасно. Уехала к себе в Оржеваль.

— Знаю. Я там на прошлой неделе был.

Я видел, что у Руперта чуть было не сорвалось с языка «зачем?», но он, должно быть, тут же раздумал и, спокойно глядя на адмирала, выжидал, что будет дальше. Умение выжидать было воспитано в нем с детства, за границей. Англичане нетерпеливо перебрасываются ничего не значащими фразами, а там, за Кале, умеют молчать, пока собеседник себя чем-нибудь не выдаст.

— Ну, как тебе нравится роль делового магната? — спросил адмирал, взяв дружеский тон.

— Магнат из меня пока что не вылупился,— сухо ответил Руперт; его худощавое лицо казалось еще более худым, чем обычно. Он показал пальцем на книги.— Вы, наверно, хорошо разбираетесь в этих делах, адмирал. В одной из книжек сказано, что капитал нефтяных компаний всего мира составляет около двухсот миллиардов фунтов стерлингов. Я думаю, что цифра несколько занижена. А вы как считаете?

Адмирал снисходительно улыбнулся.

— С тем же успехом можно сказать, что европейские правительства, вместе взятые, располагают двумястами миллиардами фунтов, и спросить, как мы на это смотрим. За определенным пределом деньги перестают быть мерилом чего бы то ни было.

— Но между правительствами и нефтяными компаниями все же есть некоторая разница,— настаивал Руперт — Иначе непонятно, кто нами правит.

— Верно,— согласился адмирал,— но к этому вопросу можно подойти и с другой стороны. Возьми, например, твою русскую нефть. Ты понимаешь, что русские выиграют вдвойне, если твоя затея удастся? Они приобретут суда и получат рынок сбыта для своей нефти. Ты когда-нибудь думал о нашей нефтяной политике с этой точки зрения?

— Зато мы получим возможность продать свою продукцию,— возразил Руперт.

— Возможно, это и так,— вздохнул адмирал.— Но давай лучше оставим экономику. Ты в ней не силен, да и я, боюсь, не очень. Не хочу быть невежливым, Руперт, но не могли бы мы поговорить где-нибудь с глазу на глаз?

Я встал, намереваясь выйти, однако Руперт резко повернулся ко мне и повелительно сказал:

— Останьтесь, Джек. Простите, адмирал, но говорить с глазу на глаз я не хочу. Пусть все будет в открытую, иначе я вообще не согласен разговаривать.

Адмирал бросил на меня просительный взгляд, и я почувствовал себя мячиком для игры в пинг-понг. Я снова встал.

— Сидите! — рассердился Руперт.— Вы останетесь здесь. Джек и так **все** знает,— обратился он к Лиллу,— нам нечего прятаться по углам.

Адмирал был явно оскорблен, но сдержался.

— Вот что я хотел тебе сказать,— начал он.— Ты знаешь, что среди участников прибывшей вчера советской торговой делегации находится твоя приятельница Нина Водопьянова?

— Нина? — поразился Руперт.— Что она здесь делает?

— Это я хотел у тебя спросить.

— А я, черт возьми, откуда могу знать?

— Они прибыли вчера утром в Глазго, но ты, несомненно, с ней встретишься на будущей неделе. Советское посольство устраивает в честь торговой делегации прием.

— Нине давно хотелось посмотреть Лондон,— сказал Руперт.

Он был заметно смущен и не сразу овладел собой.

— Что ж, вот она, наконец, этого и добилась.

— Прекрасно! — твердо произнес Руперт.

— А я-то думал, что она служит в комитете по делам Северного морского пути,— продолжал адмирал.— Так, во всяком случае, ты мне когда-то говорил.

— Да, когда я находился в России, она там служила.

— А в заявке на визу, которую они нам послали две недели назад, она значилась техническим сотрудником министерства внешней торговли.

— Нина превосходно говорит по-английски,— объяснил Руперт.— Не понимаю, почему это вас беспокоит?

— Русские несомненно послали ее сюда с каким-то специальным заданием,— продолжал адмирал.

— Я же вам сказал, что она прекрасно говорит по-английски.

— Конечно, она говорит по-английски, но в наше время половина Советского Союза говорит по-английски. Я лично думаю, Руперт, что скорее всего приезд ее связан с тобой.

— Это ваши домыслы, адмирал.

— Это не домыслы, а вполне обоснованное предположение, если смотреть на вещи как надо.

— Значит, я не намерен смотреть на них так, как вам надо,— заявил Руперт.

— А знаешь, что говорят американцы?

— Опять американцы? Черт бы их побрал! Им-то какое до этого дело?

— Они предполагают, что миссис Водопьянова послана сюда для того, чтобы немножко тебя пришпорить...

Руперт расхохотался.

— Побойтесь бога, адмирал!..

— Нет, я говорю серьезно,— сказал адмирал без тени улыбки.

Они были так поглощены разговором, что совсем забыли обо мне.

— Неужели и вы в это верите? — с любопытством спросил Руперт.

Лилл задумчиво помолчал.

— У нас есть в таких делах опыт, и ничего смешного тут нет, все, как мы знаем, бывает. Поэтому я больше ни от чего не отмахиваюсь и не считаю никакие опасения смешными. В сущности, я пришел для того, чтобы попросить тебя о небольшом одолжении: обещай не видеться с этой женщиной нигде, кроме тех официальных встреч, на которые, так и быть, мы закроем глаза...

— Вы прекрасно знаете, что я и не подумаю дать вам такое обещание! — сердито перебил его Руперт.

Адмирал обождал, пока его собеседник успокоится.

— Не понимаю,— продолжал Руперт,— уж если вы ее так боитесь, зачем вы ее пустили? Вы могли помешать ей приехать.

— Я боюсь не этой женщины, Руперт. Я за тебя боюсь. Я ее видел,— сообщил адмирал.— Она довольно эффектна.

— Она довольно эффектна! — передразнил его Руперт.— Ну, что я могу вам на это сказать? Что я влюбился в Нину Водопьянову? И потерял голову?

Адмирал взял свой котелок.

— Не все будут так покладисты, как я,— сказал он.— Имей в виду: за последствия я не отвечаю.

Произнеся это, он молча вышел и вежливо простился с миссис Ингрэмс, которая, можно не сомневаться, уж конечно, придерживала дверь.

Руперт отлично умел прятать свои чувства, и после ухода адмирала я не заметил в нем никакой перемены — выражение его лица было непроницаемо. Тем не менее я знал, что визит Лилла произвел на него впечатление. Вот только какое?

Вечером мы с Пепи поехали к нему в Хэмпстед, и он с раздражением отказал ей, когда она попросила пожертвовать пятьдесят фунтов Комитету ста, задумавшему устроить сидячую демонстрацию возле базы бомбардировщиков в Брайзнортоне.

— Я и пенса вам не пожертвую,— отрезал он угрюмо.— Дело кончится тем, что ты, Пепи, угодишь в тюрьму, как и все эти одержимые. Чего ради стану я поощрять ваш массовый психоз?

Пепи ничуть не смутилась.

— Неубедительные отговорки! — наступала она на Руперта.— Предрассудки!

— По-моему, у вас нет никаких шансов воздействовать на кого бы то ни было. Только зря время теряете.

— Зря? А вы предпочитаете, чтобы ваших детей испепелили заживо? — спокойно осведомилась Пепи.

— Что за безобразные разговоры за столом! — возмутилась Джо.

— Ничего, детям полезно это послушать,— отрезала Пепи.

Она сидела между Роландом и Тэсс: Джо намеренно посадила «всех детей вместе».

Роланд внимательно слушал, передавая отцу еду и стараясь уберечь салфетку от спаниеля Фиджа, который втихомолку воровал салфетки с наших колен и подбирал с них крошки. Когда разговор на минуту смолк, Роланд сообщил Пепи, что кто-то из Комитета за ядерное разоружение тайком устроил у них в лицее сбор денег. Он, Роланд, внес полкроны.

— Да неужели! — с восторгом воскликнула Пепи и, нагнувшись, чмокнула его в щеку.— Молодец!

— А мне ты ничего не рассказывал! — упрекнула сына Джо.

Но Роланд уже снова замкнулся в своем недоступном для взрослых мире и прилежно принялся за сладкое. Никто больше не возвращался к этой теме, однако, когда в полночь мы от них уезжали, Джо вынула из сумочки пять фунтов и подала Пепи.

— Одно условие,— сказала она, и в голосе ее прозвучала тревога.— Возьми эти деньги, но, ради бога, оставь в покое Роланда. Пожалуйста, не старайся на него влиять!

— Может, ты делаешь и полезное дело,— проговорил Руперт, когда мы закрывали за собой тяжелую чугунную решетку.— Но берегись, Пепи,— мрачно предостерег он ее,— ты настроила против себя перепуганных насмерть людей, они уж постараются упрятать тебя подальше.

Пепи только засмеялась в ответ, и мы пошли вниз по холму. Но теперь я знал, что у Руперта на уме и чего он ждет от Лилла.

Глава тринадцатая

Я слышал имя сэра Перегрина Бендиго не только от де Кока, но и от разных приятелей Руперта; все твердили в один голос, что Пинк — единственный человек, который может нам помочь. Поэтому Руперт решил **непременно** повидать Бендиго и, когда мы поехали с Фредди обедать в клуб, сказал ему о своем намерении.

Фредди замахал на него руками.

— Ради Христа, не впутывайте Пинка Бендиго!

— Почему? — удивился Руперт.

— Потому что у меня заварены дела поважней, чем эта ваша русская нефть и постройка нескольких судов. Погодите немного и вы поймете, о чем я толкую.

Вместо Бендиго Фредди предложил свести нас с неким мороженым судаком, которого звали лорд Най. Подобно отпрыскам Галифаксов, Солсбери и других семейств из самой высшей знати, потомки рода Ная уже не одно столетие в точности походили на своих предков. Правда, глаза нашего Ная скорее напоминали глаза голодной форели, чем глаза голодного тигра, как это было у прочих почивших в бозе Наев. Он числился старшиной клана колониальных капиталистов (добыча и производство каучука, олова, меди, какао, сахара, спирта, фосфатов во всех уголках Британского содружества). А поскольку я был, как англичане до сих пор говорят, «колонистом», мне хотелось познакомиться с этим Наем поближе; я вообще сгорал от желания посмотреть на подлинных владык Англии: несмотря на свое чисто австралийское предубеждение против них, я считал, что они, вероятно, все же люди умные, принципиальные и широкообразованные. Кое в ком из них я не ошибся, но большинство, как я обнаружил, хотя и были по-своему умны, особым глубокомыслием не отличались; меня поражала в них какая-то смесь ума и ограниченности. Не успел я провести с Наем и пяти минут, как выяснилось, что он беспросветно глуп во всем, что не касается его личных интересов, и я, помнится, спросил себя: неужели такие люди правят Британией вот уже пятьсот лет?

Тем не менее он был одним из тех немногих, кого боялся Фредди, а значит, в нем таилось нечто такое, чего я не мог ухватить, расценивая его с обычной, человеческой точки зрения.

Мы встретились с ним в игорном клубе «У Болдуина», помещавшемся в старинном особнячке эпохи короля Георга. Дело было в пятницу вечером, и там происходила ежегодная встреча «Пятерки» — общества, в котором состояло всего пять членов. Одним из них был Фредди. Они собирались «У Болдуина» не для того, чтобы играть, им просто хотелось поужинать в этом роскошном погребке с женами и дру-

зьями, а когда жены и друзья поднимались наверх к игорным столам, пятерка продолжала сидеть за столиками и заниматься переделом мира.

Мы пошли туда всей семьей — мать Руперта приехала из Оржеваля; с нами были Пегги и Джо, но Пепи отказалась составить нам компанию. Когда я ее пригласил, она скорчила гримасу и сказала:

— Ну, жизненный опыт подобного рода не так уж мне необходим. «У Болдуина» я рискую встретить слишком много пьяных родственников. Еще успею, когда мне будет шестьдесят и я уже ни на что путное не буду годиться.

Мы отлично поужинали в отдельном кабинете и перед тем, как подняться наверх, в игорный зал, уединились в уголок с Наем — высоким, худым, как скелет, человеком, все время усмехавшимся какой-то угрюмой, неприятной усмешкой. Обменявшись с ним за ужином несколькими фразами, я решил, что он — отъявленный мерзавец. Руперт был с ним незнаком, и Фредди представил их друг другу.

— Это мой двоюродный брат Руперт,— объяснил он Наю.— Тот самый, с Северного полюса.

Когда Руперт сказал, что хотел бы с ним поговорить относительно обмена русской нефти на суда, он ответил, что уже слышал об этом.

— Думаю, однако, что вам вряд ли удастся убедить наших нефтяников,— откровенно заявил Най.

— А вы не можете как-нибудь на них повлиять? — спросил Руперт.

— Сомневаюсь,— ответил Най.— Да я и не знаток в этих русских делах.

Руперт поглядел на Фредди, молча прося его о помощи.

— Вы же знаете, Най, что тут все решает политика,— вмешался Фредди.— А в этой области вы кое-что можете сделать.

— Это только одна сторона вопроса,— равнодушно проронил Най, отходя от нас.— Но, по-моему, вам в этом деле скорее поможет Пинк Бендиго.

Фредди не стал настаивать и взглядом предостерег Руперта от подобного шага. Най ушел. Нам оставалось подняться наверх и принять участие в азартной игре богачей.

Я люблю играть, но даже у меня не было желания садиться за стол в этом уж слишком изысканном обществе, а Руперт и вовсе с отвращением отошел от игроков, оставив Джо чек на сто фунтов, который ей обменяли на фишки за белой с золотом конторкой в картинной галерее клуба, где висели полотна Рейнольдса и Зоффани. Я видел, как Джо минут за пять проиграла почти все деньги, и дал ей еще десять фунтов.

Потом мы с Рупертом пошли в бар, сели на красный плюшевый диванчик и стали читать вечерние газеты, которые дал нам бармен. Мы попивали приятно горчившее кампари с лимоном и ждали, когда наши дамы кончат игру. Руперт был молчалив, я чувствовал, что разговор с Наем его встревожил, этот тип и на него нагнал жуть.

Пришла Джо и попросила еще денег, Руперт ей отказал, и они начали ссориться; всем стало ясно, что пора домой. Пегги пожаловалась, что проиграла триста фунтов, посочувствовав ей, мы усадили ее в «роллс-ройс» и отвезли домой. Руперт проводил Пегги до парадной двери, и я услышал, как она ему сказала:

— Я хотела бы с тобой поговорить. Мне нужен мужской совет.

— В любое время, Пег,— небрежно отозвался Руперт.— О чем разговор?

— Видишь ли...— Но она вдруг передумала.— В общем, неважно. Забудь.

— Сколько у нас семейных тайн! — посетовал Руперт, отвозя меня в мои мебли-рашки, где я ютился, экономя деньги, к вящему негодованию Пепи.

Джо дулась на Руперта — он же не дал ей пятьдесят фунтов и испортил так хорошо начавшийся вечер. Руперт тоже сидел насупившись — словом, наши развлечения кончились весьма печально.

— Надеюсь, что Фредди добьется от Ная большего, чем я,— сказал Руперт, прощаясь со мной,— не то мне придется отправиться к Пинку Бендиго, нравится это Фредди или нет.

— Вы ведь и не рассчитывали, что все пойдет как по маслу, правда?

— Да нет,— сказал он, включая мотор.

Я подождал, пока они не отъехали, а потом повернул на Кингсроуд и взял такси назад, в клуб. Настроение у меня было такое поганое, что даже это злачное место показалось мне более привлекательным, чем моя комната. Я разыскал в баре Фредди, сидевшего там с остальными членами «Пятерки»,— они уже сильно выпили, но не совсем опьянели. Я немножко поболтал с одним яхтсменом из их компании — у него была тридцатиметровая парусная шхуна, самое маленькое парусное судно, какое стоит иметь,— а потом сел рядом с Фредди. К нам подошел Най.

— Знаете, Фредди,— сказал он,— этот ваш кузен — странный тип.

— А что в нем странного? — осторожно осведомился Фредди.

— Одно время все были убеждены, что его завербовали русские.

— Слушайте, это же курам на смех! — пренебрежительно бросил Фредди.

— Американцы до сих пор уверены, что никакого ледового похода и в помине не было, а что вашего кузена взяла на борт русская подводная лодка, и потом он вернулся вместе с их раненым летчиком на остров Мелвилл. Какой-то умник даже написал об этом книгу.

— Неужели вы верите этому старому мерзавцу Лиллу? Кто станет слушать такую чепуху...

— Мне рассказывал об этом вовсе не Лилл,— сказал Най,— а Рандольф.

Фредди чертыхнулся.

— Будет очень глупо, Фредди,— увещевал его Най,— если вы впутаете фирму в эту затею. Надеюсь, вы меня понимаете.

Фредди зажмурился и не стал возражать. Теперь и у него вечер был испорчен. Мы отправились домой.

Я не знал, намерен ли Фредди передать этот разговор Руперту, и решил на другой день сделать это сам.

— Но для чего старику понадобилось впутывать в семейную свару посторонних? И подставлять меня под удар? — недоумевал Руперт.

Мы пошли к Фредди, чтобы узнать, как он на это смотрит.

— Он хочет нанести удар не только вам, но и мне.— объяснил Фредди.— Рандольф считает, что я затеваю против него заговор, и платит мне той же монетой. У него есть союзники, Най — один из них.

— Най меня не остановит,— решительно заявил Руперт.

— Тогда действуйте,— вздохнул Фредди.— Но, ради бога, Руперт, держитесь в рамках, остерегайтесь любого шага, к которому они могут придраться, не то вы еще больше осложните мое положение. А Най — опасная сволочь...

Глава четырнадцатая

День встречи Руперта с Ниной Водопьяновой приближался. Я заметил, что Руперт нервничает, меня же разбирало любопытство.

И вот наконец мы, то есть Руперт, Джо и я, едем на прием в советское посольство.

Машина остановилась у старинного особняка с парадной лестницей и портиком в готическом стиле. Входная дверь то и дело отворялась, и на короткий миг полоса яркого электрического света прорезала ненастную зимнюю мглу, вырывая из темноты у ворот силуэты высоких платанов, которые стряхивали с ветвей блестящие капли дождя.

Внутри, в гардеробной стояла очередь.

Мы тоже разделись, и церемониймейстер в красной ливрее с пышными усами громко объявил наши имена послу и его жене, миссис Солдатовой, приехавшему из России министру и его заместителю. Министр окинул Руперта пристальным, оценивающим взглядом, мы все обменялись рукопожатиями и несколько минут постояли с хозяевами возле пылающего мраморного камина.

Джо в таких торжественных случаях выглядела великолепно. Она была на редкость хороша собой: гладко зачесанные назад густые черные волосы, прекрасный выпуклый лоб, ясные синие глаза. Я подумал, что Водопьянова должна быть поистине необыкновенной женщиной, чтобы с ней соперничать. Я забыл о капризном и тяжелом характере Джо. А она так легко вошла в роль светской красавицы, словно была рождена блистать на дипломатических приемах.

Затем мы очутились в другом, продолговатом зале, где теснились гости и стоял многоголосый гул. Над заставленными едой столами плавал табачный дым.

Мы тоже подошли и взяли тарелки, а молодой темноволосый атташе посольства любезно принес нам кьянти. Он подвел к нам двух членов торговой делегации и стал в этой давке шутливо переводить наш глубокомысленный разговор на тему: 1) об английской погоде; 2) о московской погоде; 3) о черноморской погоде; 4) о путешествии наших гостей сюда; 5) об их первых английских впечатлениях. Оба зала переходили в изящный зимний сад с черно-белым кафельным полом и фонтаном посредине. Там мы потеряли своих новых знакомых из торговой делегации. Я заметил в толпе нескольких министров английского правительства. Две дамы из нашего высшего дипломатического круга подошли к Джо.

— Джо! Какими судьбами! — защебетали они.— Вот приятная встреча!

Одна из них была троюродной сестрой, а другая — приятельницей Джо, и они повели ее к жене еще одного двоюродного брата — члена парламента и консерватора, имевшего какое-то отношение к торговой палате.

Мы с Рупертом все еще разыскивали Нину Водопьянову. Толпа, теснившаяся вокруг столов, загнала нас в угол, но мы кое-как оттуда выбрались. Руперт поставил свою тарелку на стол, и мы с бокалами в руках пустились бродить по комнатам уютного старинного дома.

Внезапно рядом со мной раздался возглас, которого я все время ждал:

— Руперт! Это вы?

— Здравствуйте, Нина,— спокойно ответил Руперт и пожал ей руку.

Первым моим чувством было разочарование. Я лишний раз убедился, что человек с необычной репутацией редко обладает необычной внешностью. Сам не знаю почему, я ждал, что увижу красавицу — яркую, поражающую взгляд, похожую на Джо, но еще более красивую, чем она. А стояла передо мной маленькая, хрупкая, русово-

лосая женщина с милым, но простым лицом. Хороши у нее были, правда, глаза — живые, открытые.

Я сразу вспомнил старые групповые портреты русских революционеров, снятых так, как могут сниматься только русские и только революционеры. Среди них всегда была какая-нибудь прелестная женщина, и хотя мужчины, сфотографированные с ней рядом, прославились, как герои, ее бесследно поглотила история революции, которую делают мужчины. Лица этих женщин поражают удивительной целеустремленностью, женской строгостью, высокой нравственной чистотой, верностью, самоотверженной любовью к великому, благородному делу, которому они посвятили всю свою жизнь. То же выражение увидел я и на лице Нины Водопьяновой. Я, быть может, слишком идеализирую старые фотографии русских революционерок, но эти женщины всегда вызывали мое восхищение. Нина держалась очень спокойно, с большим чувством собственного достоинства и с каким-то мягким изяществом, однако нетрудно было заметить, что она чужая в этой дипломатической оранжерее. Как ни странно, и в Руперте тоже появилось что-то загадочное, словно и его место было не здесь, а неизвестно где.

Я, как зачарованный, не сводил с них глаз.

Они обменялись взглядом, который у счастливых супругов выражает духовную близость, к сожалению, далеко не всегда сопутствующую близости физической. Я уверен, что они не знали, как выдали себя этим взлядом, так же, как и не отдавали себе в эту минуту отчета, где они находятся.

— Как поживает Роланд? — застенчиво спросила Нина.

— Хорошо,— ответил Руперт.— Он теперь учится во французском лицее.

Мне сейчас смешно вспоминать всю банальность этого разговора, но почему-то тогда он мне вовсе не казался банальным. Я хотел было незаметно удалиться, чтобы дать им возможность побыть друг с другом без помехи, но словно по волшебству откуда-то появилась Джо. Руперт растерялся, явно не понимая, каким образом она вдруг очутилась рядом. А может быть, мы стояли там дольше, чем нам казалось?

Нина порывисто поцеловала Джо, и, увидев обеих женщин вместе, я понял, кто из них сильнее, у кого есть цель в жизни, а кто блуждает в мире мелких интересов. Мне стало жаль Джо.

Кругом стоял такой шум, что им приходилось кричать. Наконец Джо догадалась увести Нину в зимний сад, где росли пальмы и было тише. Руперт поплелся за ними, а следом пошел и я, спрашивая себя, что сейчас произойдет.

Но ничего не произошло. Джо пригласила Нину на обед в среду, а Нина ответила, что не уверена, сможет ли она приехать: ее, вероятно, не будет в этот день в Лондоне.

Потом ее позвали: она срочно понадобилась какому-то русскому как переводчица. Извинившись, Нина отошла от нас.

Но когда мы уже уходили, она торопливо приблизилась к нам и улыбнулась Джо:

— Да, я смогу быть у вас в среду. Заезжайте за мной, Руперт, в три часа.

— Хорошо,— ответил он.

Мне хотелось задать Руперту множество вопросов.

— Правда, у Нины очень элегантный вид? — спросила Джо у мужа, когда машина тронулась.

— Ничуть,— кратко возразил Руперт.— Ничего элегантного я в ней не заметил.

— Где твои глаза? Ручаюсь, что она купила этот костюм в Париже или в Лондоне.

Но Руперт не пожелал больше говорить на эту тему.

Глава пятнадцатая

Мы с Рупертом разделили наши обязанности, грубо говоря, так: я занимался всем, что касалось постройки судов, а он — сделкой на нефть. Поэтому я и отправился к эксперту по судостроению, приехавшему с советской торговой делегацией.

Борис Крылов встретил меня в вестибюле и провел в большую, пустую гостиную, которая, по-видимому, служила чем-то вроде клуба. Мы уселись. Крылов, как многие русские, был невысокого роста и очень широк в плечах. Во время обороны Ленинграда он служил моряком на Ладоге и потерял ногу. Говорил он с американским акцентом. Когда я рассказал ему, что проплавал десять лет, в основном простым матросом, на старых грузовых пароходах, он почему-то обрадовался, воскликнул: «Молодчина!»— и послал за водкой и стаканами.

Фредди снабдил меня примерными ценами на каждое из судов, которые мы брались построить, а также предварительными данными о сроках. Я передал эти данные Крылову, который, сложив бумаги, небрежно сунул их во внутренний карман и спросил меня: может ли фирма Ройсов построить для Советского Союза лесовозы водоизмещением в триста тонн или для нас это слишком маленькие суда?

— Почему слишком маленькие? — удивился я.

— Нам может понадобиться штук пятьдесят таких судов,— добавил он.— Для нас они выгоднее, потому что осадка у них меньше и они смогут заходить во все английские порты, расположенные в мелководных устьях рек.

— А как насчет судов, которые мы готовы для вас построить? — спросил я.— Данные на них вы как раз положили к себе в карман. Разве два плавучих холодильника вам уже не нужны?

— Конечно, нужны,— спокойно возразил он,— но стоит ли ими заниматься, раз вы не берете нашу нефть? Мистер Бенсон из торговой палаты вчера заявил, что нефти вы у нас не возьмете.

Я знал, что рано или поздно речь зайдет о нефти, но не думал, что так быстро. Я сказал мистеру Крылову, что хлопоты о нефти взял на себя Руперт и что они, как мы надеемся, увенчаются успехом.

Мистер Крылов недоверчиво пожал плечами.

— Хорошо,— сказал он.— Дайте мне знать, как у вас подвигается дело.

Я снова попытался завести разговор о холодильниках, разговор явно бесцельный — это я уже сам понимал. Мы выпили еще водки, и мой собеседник сообщил мне, что русские издают книгу о Руперте и Водопьянове.

Руперт не удивился, выслушав мой рассказ, хотя и был огорчен, а я, чтобы поднять его настроение, рассказал ему, что русские собираются выпустить книгу о нем и Водопьянове.

— Это будет книга друзей о друге,— добавил я.

— Я бы предпочел, чтобы они дали кануть всей этой истории в Лету,— ответил Руперт.

Вчера, по его словам, он ходил к Парку, адвокату фирмы Ройсов, по поводу другой книги, выпускаемой в Англии (я тоже знал Парка: мы встречались с этим типом в очках с толстыми стеклами у Фредди, по его громкой, развязной речи я бы принял его за шофера такси).

— Глэдмен готов переделать главы о нашем ледовом походе, если я пообещаю рассказать, как русские меня обрабатывали. Когда я это сделаю, мне пойдут навстречу и книгу переименуют, она будет называться «За что русские наградили Руперта Ройса».

— Как любезно с их стороны. И вы согласны на это предложение?

— Какая чепуха.

Я засмеялся.

— А мне, Джек, не до смеха,— заметил он.

— Но ведь вы можете привлечь их за клевету?

— Об этом я и спросил Парка. Он уверяет, что иск я, возможно, выиграю, но репутация моя и доброе имя будут навсегда опорочены.

— И все-таки подавайте в суд! — воинственно настаивал я.

Он покачал головой:

— Джо с ума сойдет.

— Но ведь это же грязная выдумка! Их надо привлечь за клевету! — возмущался я.

Холодные голубые глаза Руперта испытующе смотрели на меня, он даже не улыбнулся.

— Пусть издают свою книгу,— угрюмо произнес он.

— А как отнесется к этому Джо?

— Как-нибудь переживет.

■

Я постарался, чтобы и меня в среду пригласили к Руперту на обед. Хэмпстедский дом никогда еще не выглядел таким нарядным, никогда еще не дышал таким теплом и комфортом. Что может быть уютнее в зимние дни, чем старый лондонский особняк, о котором хозяева проявляют заботу! Толстый ворс новых дорожек на лестнице пружинил под ногой; старинная мебель была красивой, удобной и, казалось, вечной; оконные стекла сияли чистотой, огонь в камине пылал, на стенах яркими красками горели картины современных художников (в последнее время Руперт незаметно для себя пристрастился к модной живописи), а недавно купленные Джо элегантные люстры и бра лили мягкий, приятный свет, и горка с фамильным фарфором, стоившим целое состояние, придавала комнате богатый, изящный вид. На столе стоял наготове дорогой чайный сервиз, блюдо с тонкими, как бумага, сандвичами, вазы со швейцарским шоколадом, пирамида южноафриканских фруктов, персиков, винограда и букеты цветов — словом, все вокруг было богато, прочно, сделано со вкусом и носило неистребимую печать старой Англии.

Нина позвонила, что задержится на совещании по аэронавигации и поэтому Руперту не стоит за ней заезжать, она возьмет такси. Но привезли ее на машине русского посольства; мы с Рупертом увидели это из окна верхнего этажа, где пили коктейли.

■

Мне трудно последовательно описать, что происходило в тот вечер, но Джо явно решила поразить гостью великолепием западного мира.

Когда мы сидели у камина, дожидаясь дам, Руперт грустно произнес, глядя в потолок:

— Огромные спальни, в ванной стена зеркальная, а на полочках — целая выставка ароматических солей для купанья, духов, пудры...

Я засмеялся, а он только вздохнул.

Вошла Нина, весело помахала Руперту, словно стараясь заглушить в себе чувство, предательски светившееся в ее глазах. Но держалась она, благодаря врожденному самообладанию, превосходно — обратясь к Руперту, она любезно похвалила его красивое английское жилье.

— Ну, это все благодаря Джо,— довольно пренебрежительно отозвался он.— Это ведь ее дом.

В комнату влетела Тэсс со спаниелем Фиджем.

— Тэ-эсс! — воскликнула Нина.

Тэсс постепенно внушали правила хорошего тона, но она тут же о них забывала. Она подбежала к Нине, словно рассталась с ней пять минут назад.

— Фидж совсем спятил,— сообщила она.— Сделал пис-пис на новый Анджелинин стул...

Как раз в эту минуту Анджелина входила в комнату, держа в руках большой серебряный поднос с чаем; грохнув его на стол, она бросилась наверх.

— Quel porco di cane!* — донесся до гостей ее вопль.

Хозяйка сердито окликнула ее, а потом сама устремилась следом. Суматоха длилась добрых пять минут. Перекрывая шум какой-то возни, сверху доносился громкий голос Джо; она властным тоном отдавала приказания, которых, по-видимому, ни собака, ни Анджелина не желали выполнять. Даже я стал немножко нервничать. А Нина, как я заметил, совсем растерялась из-за всей этой неразберихи со служанкой, собакой и ребенком.

Руперт, наконец, нашелся и спросил Нину, как поживает Алексей.

— То есть как его здоровье? — быстро пояснил он.

— Гораздо лучше,— ответила Нина,— хотя сгибать ноги он еще не может и походка у него нескладная. Однако он опять летает.

Нина держала Тэсс за руки и ласково в нее вглядывалась. Она сказала девочке, что привезла ей подарок: отдать его сразу или когда Роланд придет из школы?

— Лучше потом,— сказала Тэсс.— А то Роланд будет завидовать. Что ты мне подаришь?

— Это секрет,— ответила Нина.— Если хочешь, я могу отдать тебе подарок сейчас?

— Нет, я подожду,— решительно заявила Тэсс.

Роланд приехал из школы на автобусе. Мы услышали, как он в кухне швырнул на пол школьную сумку и громко воскликнул: «А вот и я!» Возглас был адресован не нам, а Анджелине, которая должна была накормить его обедом.

Роланд уже носил длинные брюки и, несмотря на природную скромность, любил иногда покрасоваться. Войдя в комнату, где сидели взрослые, он церемонно протянул Нине руку, в легком поклоне склонил голову — ни дать ни взять французский дипломат — и с достоинством произнес:

— Как поживаете, тетя Нина?

— Здравствуй, Роланд. А ты как живешь?

— Очень хорошо, спасибо,— вежливо ответил он.

Нина открыла свою черную сумочку.

— Теперь я могу отдать вам обоим подарки. Можно, Джо?

— Пожалуйста.

Она вручила каждому из детей по небольшому свертку. Тэсс получила украшенный узорной эмалью ящичек, который открывался с четырех сторон и при этом играл четыре разные мелодии из балетов, а Роланду — золотые часы с календарем. Мальчик торжествующе поглядел на мать.

Но я знал, что Джо на чем-нибудь отыграется.

Мать велела Тэсс поцеловать Нину. А Роланд, крепко пожав гостье руку, признался, что он мечтал о русских часах-календаре. «Огромное спасибо!» — добавил он.

Нина спросила Роланда, не забыл ли он русский язык. Мальчик ответил, что не только не забыл, но учит его теперь в лицее. Однако не успел он договорить, как Джо решила показать свои материнские права: она отослала обоих детей, приказав Тэсс отправиться в ванную, а Роланду сесть за уроки. Словом, Джо отыгралась.

Она повела свое наступление против гостьи по всем правилам, а Нина ничем не могла ей ответить, хотя Джо вела себя вызывающе. Нина оказалась безоружной против чисто женской атаки Джо, она все больше и больше замыкалась в себе, боясь унизить свое достоинство какой-либо женской колкостью или проявить недостаток воспитания. Пока что она не допустила ни одной оплошности — только по русскому обычаю оставила ложечку в чашке, но тут же спохватилась и вынула ее, как принято в Англии.

---

* Свинья, а не собака *(итал.)*.

Руперт с грустью наблюдал за тем, как его дом превращается в поле битвы. Ему не дали даже тайно порадоваться тому, что обе любимые женщины теперь с ним рядом. Хозяйкой его жизни оставалась Джо. Она обеими ногами стояла на земле. И побеждала без труда.

Последним ее ударом было появление Фредди и Пегги, которых она не без умысла пригласила на этот обед. Ей хотелось продемонстрировать Нине, что Фредди хоть и капиталист, но вовсе не чудовище, а милый, очаровательный человек. Джо не преминула сразу же сообщить гостье, что он двоюродный брат Руперта, владыка международной финансовой державы Ройсов, в общем — один из тех, кого должны ненавидеть все коммунисты.

Фредди уже слегка порозовел от выпивки, но, видимо, вино привело его в отличное настроение. Он так и сиял добродушием, словом, был само обаяние. С Ниной он обходился подчеркнуто учтиво. А она чувствовала себя все более чужой в этом доме и держалась все настороженнее. И тем прелестнее становилось ее строгое, целомудренное лицо.

Руперт приготовил всем коктейли, и я заметил, как осторожно, даже робко пригубил свой коктейль Фредди, расспрашивая Нину, что она думает о Лондоне, английских домах и англичанах.

После обеда Фредди продолжал свои расспросы, однако Нина теперь отвечала односложно, а когда требуемое приличиями время истекло, поднялась и сказала, что ей пора, и попросила вызвать такси.

— Подождите, мы вас отвезем домой,— предложил Фредди.— Где вы живете?

— В отеле «Глостер».

— Где это?

— Возле нашего посольства.

— Нам по дороге.

— Мне неловко вас затруднять,— отнекивалась Нина.

Ей стало изменять даже знание английского языка.

— Хорошо, тогда я отвезу вас домой,— сказал Руперт.

— Нет, нет,— заупрямилась она.— Это совершенно лишнее, Руперт.

— Я вас отвезу,— настаивал он.— А вы, Фредди, меня обождите, ладно?

Чопорно попрощавшись со всеми, Нина пошла вниз, следом за Джо.

Я стоял на верхней площадке и видел, как Джо вдруг поцеловала Нину, словно в знак того, что она великодушно прощает поверженную противницу. Но Руперт молча прошел мимо, даже не взглянув на нее, и сел вместе с Ниной в свою малолитражку.

На другой день он спросил меня, что говорили о Нине после их ухода. Я ответил, что не говорили ничего, и это была правда. В самом деле, Джо так воинственно защищала свой очаг и своего мужа, что атмосфера за обедом накалилась до предела, и мы все с облегчением вздохнули, когда все это кончилось.

— Неужели Джо так ничего и не сказала? — настойчиво допрашивал меня Руперт.

— Джо насмерть перепугана,— мягко возразил я.— Вам должно быть лестно, что она так за вас дралась.

— Джо просто любит драку,— презрительно проронил он.— Она вела себя как последняя дура.

— А что по этому поводу сказала Нина? — спросил я.

— Ни слова конечно,— с раздражением ответил он.— У нее и без того хватает забот.

Когда они подъехали к отелю, он хотел проводить ее до вестибюля, но она взмолилась:

— Прошу вас, не надо!

— Почему? — удивился он.

Она на минуту смешалась.

— Знаете, это будет не очень разумно...

— А мне все равно, разумно это или нет,— вспыхнул он.— Ради бога, Нина, не смейте чувствовать себя в чем-то виноватой.

— Не в этом дело,— сказала она.— В Москве вы вечно воображали, будто следят за вами. А тут следят за мной. Да, да, это правда, куда бы я ни пошла. Какой-то молодой англичанин. Может, он и сейчас здесь...

Руперт сразу понял, о чем идет речь, но ему не верилось.

— Не может быть! — воскликнул он.— Чего ради он стал бы за вами следить?

— Не знаю, но он ходит за мной по пятам. Давайте попрощаемся.

Руперт был в таком настроении, что эти слова его лишь раззадорили, и он настоял на своем. В вестибюле старого отеля сидел только ирландец портье, который выдал Нине ключ от ее номера и пошел вызвать для нее лифт. Руперт пожелал ей спокойной ночи, и Нина поднялась к себе. Однако, выходя из отеля, Руперт в дверях столкнулся с тремя молодыми англичанами: они весело болтали, но один из них кинул на Руперта острый взгляд, и тот мгновенно понял, что Нина права.

Руперт был вне себя от ярости. Наглость Лилла и неумное поведение Джо вывели его из равновесия. И он твердо решил защищать Нину, чего бы это ни стоило.

Глава шестнадцатая

Руперт каждый день отправлялся либо в Адмиралтейство, либо в какой-нибудь клуб, на прием или на званый обед, чтобы встретиться со своими бывшими приятелями из правящей верхушки. Я понимал не хуже его, что решать вопрос будут не политики, а нефтяные компании. Однажды я услышал, как он громко разговаривает по телефону с Италией. Положив трубку и посовещавшись с Фредди, он сообщил мне, что сегодня в три часа дня нас посетит один итальянец.

— Прошу вас, Джек, обязательно быть,— сказал он.

— А кто он такой? — полюбопытствовал я.

— Константин Верокио, в его руках итальянская нефть. Утром Век позвонил мне домой и сказал, что летит из Генуи на своем реактивном самолете в Цюрих, но в три часа дня будет у Фредди. Вы, наверно, слыхали о нем...

Кто же не слышал о Верокио? За последние пять или шесть лет он стал таким же знаменитым человеком, как Энрико Маттеи из «ЭНИ» *. Так же, как и Матеи, он стремился к тому, чтобы Италия освободилась от английских и американских нефтяных монополий и проводила свою, независимую нефтяную политику. И так же, как Матеи, он предоставлял ближневосточным странам-поставщикам до пятидесяти-шестидесяти процентов акций, что вызывало бешеное негодование английских и американских нефтяников, забиравших себе чуть ли не девяносто процентов всех акций. Руперт как-то перевел мне статью из итальянского нефтяного журнала, где рассказывалось о происках американцев против Верокио. Пытаясь опрокинуть итальянца, заокеанские конкуренты натравливали на него определенные политические силы в Италии и создавали финансовые и сбытовые затруднения повсюду, где могли. Но Верокио был упорен, ловок, богат — и процветал.

Фредди больше всего импонировало то, что состояние итальянца было наследственным; его семье принадлежали в Генуе и Савоне крупнейшие в мире верфи по строительству танкеров среднего тоннажа (это обстоятельство и обеспечивало Верокио финансовую независимость). Руперт и его мать были близко знакомы с семьей Константина. Фредди их тоже знал и сразу же одобрил мысль Руперта привлечь Верокио к сделке на русскую нефть.

— Верокио ввозит все больше и больше русской нефти в Италию, и в то же время пытается наладить сбыт итальянской нефти и бензина у нас в Англии и во всей Европе,— объяснил мне Руперт.

— А вы ему сказали, что мы хотим купить русскую нефть, но нам чинят препятствия?

— Зачем ему говорить, он и сам это знает.

В три часа дня в кабинете у Фредди появились Константин Верокио и англичанин с крапчатом галстуке бабочкой — Формен, богатый и предприимчивый делец из химического концерна, производящего карбид и удобрения. Мы полчаса прождали их у Фредди, который в тот день был на удивление молчалив и задумчив. Что-то явно его угнетало. Не звонили телефоны, эффектная секретарша не просовывала голову в плотно обитую дверь, а сам Фредди сидел, посвистывая и опершись локтями на пустой письменный стол, и только поглядывал на нас.

Верокио был совсем еще не старый человек, и ранняя седина только молодила его. Он был по-итальянски красив, прекрасно одет и воротничок его рубашки, плотно облегавший загорелую шею, сверкал такой белизной, что я почувствовал себя немытым. На безукоризненном английском языке он извинился перед Рупертом за то, что вынужден торопиться, так как вечером ему надо быть в Генуе.

— Моего четырехлетнего сынишку завтра кладут на операцию. Аппендицит. Вот несчастье,— сказал он.— Жена с ума сойдет, если меня не будет дома.

Мы поспешно зашагали в зал заседаний, подгоняемые нетерпением Верокио, и сели в кофейный уголок. Верокио сказал, что с удовольствием выпил бы чаю с молоком по-английски; а Формен, поморщившись, попросил итальянского вермута. Для троих Ройсов Фредди заказал кофе и представил меня, как своего дальнего родственника.

— Много вам удалось сделать, чтобы снять запрет с русской нефти? — спросил Верокио у Руперта.

— Почти ничего,— признался Руперт.— Никого не могу уговорить за это взяться. Все боятся.

— Ясно.— Верокио понимающе покивал красивой головой.— А каковы перспективы, Руперт?

— Откровенно говоря, пока никаких. Нефтяные компании наложили вето, поэтому в правительстве не желают этим заниматься.

Формен осведомился, кого Руперту удалось в связи с этим повидать, и тот рассказал шаг за шагом обо всех своих попытках.

— Вам еще повезло,— заметил Формен.— Моего секретаря они там в Комитете по нефтяным ресурсам даже на порог не пускают, и я ничего не могу поделать. А ведь с половиной этой бражки я обедаю каждую неделю. Не желают разговаривать, и все...

---

* Итальянский концерн — «Национальная ассоциация жидкого топлива».

Верокио его прервал.

— Будем надеяться, что вы добьетесь большего, чем Формен,— обратился он к Руперту.— И это подогревает мой интерес к вашему предложению. Вы, вероятно, знаете, что мы, как и «ЭНИ», пытаемся наладить розничную продажу итальянской нефти и бензина в Великобритании, а Формен согласен финансировать постройку колонок. Но пока что у нас нет в Англии своих нефтеперегонных заводов, а строить их сейчас и долго и дорого, поэтому до шестьдесят восьмого года мы неочищенную нефть ввозить к вам не сможем. Пока речь может идти только о ввозе очищенной нефти, бензина и дизельного топлива. И мы с удовольствием будем покупать переработанную нефть всюду, где это возможно, в том числе и в России. Если и вы захотите нам ее продавать, прекрасно, мы купим у вас все, до капли. Более того, если мы наладим свой сбыт в Англии, мы согласны привлечь к этому фирму Ройсов и ввести вас (обратился он к Руперту) в правление нашей компании, вручив вам приличный пакет акций и право решающего голоса. Как вы на это смотрите?

— По вопросам, касающимся фирмы, вам надо разговаривать с Фредди,— ответил Руперт.— Я же хочу заручиться вашим обещанием взять русскую нефть, если нам удастся ее ввезти. Тогда я смог бы сказать нашим чиновникам, что у меня есть серьезный потребитель русской нефти, а британскому правительству пришлось бы дать, в соответствии с европейским нефтяным соглашением, согласие на продажу этой нефти вам. Тем более, что у итальянцев имеется договор с «Бритиш петролеум» и «Шелл».

Верокио скорчил гримасу:

— Беда в том, Руперт, что, как вы знаете, существуют два договора, а не один.

— Знаю, вы хотите сказать, что помимо общеизвестного есть еще и секретный договор, но...

— Вот именно,— прервал его Верокио.— Общеизвестный европейский договор — это весьма и весьма симпатичный документ, составленный с соблюдением всех требований закона и справедливости. Мы разрешаем «Эссо», «Шелл» и «Тотал» открывать сбытовые предприятия в Италии при условии, что Италия получает такие же права в Америке, Англии и Франции. Но в действительности все решается секретным соглашением, устанавливающим и объем сбыта и цены, а оно не подконтрольно никакому правительственному органу, потому что является соглашением частным. Вы уж поверьте мне, Фредди, нет такой страны, где бы пресловутые Семь Сестер * не распоряжались, как у себя дома.

Верокио не говорил, а стремительно выстреливал фразами, словно самолет уже запускал моторы, чтобы везти его домой, к сыну. Правда, Руперт потом мне сказал, что у Верокио всегда находится отговорка для поспешного отъезда: это позволяет ему сразу же переводить разговор на интересующие его темы, ибо ни на что другое он не желает терять времени.

— Простите, во мне заговорил итальянец,— продолжал Верокио.— Положим, мы согласимся брать у вас русскую нефть прямо в Англии. Но добиться от вашего правительства разрешения на ввоз этой нефти вы сможете только тогда, когда заставите его выполнять Европейское нефтяное соглашение. А заставить его можно, лишь мобилизовав общественное мнение. Надо поднять вокруг этого вопроса шум, как мы это сделали в Италии. Готовы ли вы оказать на ваше правительство такого рода политическое давление?

— Если надо,— произнес Руперт,— я готов вовлечь в эту борьбу и общественность. Почему бы и нет? Лишь бы это не повредило нашей фирме.

Он кинул взгляд на Фредди.

— Поступайте, как знаете,— отозвался Фредди.

— Браво! — воскликнул Верокио.— Думаю, что у вас найдется немало социалистов, которые захотят нажить на русской нефти политический капиталец.

— Не спешите, Верокио,— заметил Фредди.— Вот уж не думаю, чтобы социалисты встали на сторону Ройсов.

— Для них дело не в Ройсах,— возразил Верокио.— Ваша политика, если угодно, должна заключаться в том, чтобы довести до всеобщего сведения, что в Англии есть рынок для дешевой русской нефти и бензина. Общественное мнение будет на вашей стороне, потому что нефтяные монополии у всех стоят поперек горла.

— Опасный путь,— предостерег Формен.— Может выйти не по-вашему и больно по вас ударить.

— Каким образом? — живо обернулся к нему Верокио.— А если строить свою политику иначе, ничего не добьешься. Народ ненавидит нефтяные монополии, и это наш козырь. И к тому же,— продолжал Верокио, отмахнувшись от его опасений,— вы должны дать англичанам понять, что нефтяные запасы колониальных стран не будут принадлежать им вечно.

— Вы думаете, что это соображение может побудить правительство время от времени ввозить из России нефть? — недоверчиво спросил Формен.— Сомневаюсь, все не так просто...

— Отчего же?..

— По-моему, Верокио прав,— заявил Руперт, и хотя они потом еще минут десять

---

* Имеются в виду семь крупнейших международных нефтяных концернов.

спорили, основное было решено. Верокио нашел в Руперте лучшего союзника, чем в Формене, который не желал следовать примеру итальянцев и пускать в ход политику. Руперт же не прочь был воспользоваться средствами политической борьбы, вплоть до нажима на правительство через социалистов.

— Вот и прекрасно,— одобрил Верокио, допивая остывший чай, который он к тому же еще разбавлял молоком. И он вскочил, отложив разработку деталей «на потом», как это обычно делают, когда достигают соглашения.

Глава семнадцатая

Я сочувствовал Джо, хотя ей трудно было простить бестактное обращение с Ниной. В какой-то мере, правда, ее извиняло недовольство собой.

— Я страшная стерва,— жалобно призналась она своей ближайшей подруге Мэриан Крейфорд. (Я тоже с ней подружился и почти все, что я здесь пишу, рассказала мне она.)

Мэриан только что вернулась с Мадагаскара, где три месяца изучала состояние социальной и лечебной гигиены по заданию Всемирной организации здравоохранения ООН. Джо прошла к ней через заднюю калитку и за чаем в ультрасовременной кухне покаялась, как она дурно обошлась с Ниной Водопьяновой, хотя пришла к своей подруге совсем не за этим.

— Мне ведь так немного надо. Только чтобы муж у меня был нормальный,— грустно сказала она.— А он меня просто бесит!

— Но Руперт самый нормальный человек на свете!

— Ничего подобного! Если бы он хоть иногда сказал, что у него на душе! Мне было бы легче. А то он вечно всем недоволен.

Мэриан добродушно заметила:

— В наши дни трудно быть довольным, Джо. Все не так просто.

Джо вышла из себя:

— Но почему он так усложняет свою жизнь? Он сам создает вокруг себя всякие сложности. А сейчас стало еще хуже, я просто за него боюсь. Некий Кантро написал о Руперте подлую книгу, и газеты вдруг принялись на него клеветать.

— Но почему?

— Я не знаю почему! — закричала Джо. Потом сказала уже тише: — Нет, знаю. Потому, что он так интересуется русскими. Если бы он бросил с ними возиться, с этими проклятыми русскими! Они вдруг заполонили всю нашу жизнь. Портят все, а мы могли бы жить и только радоваться!

Теперь уже беспокойство передалось и Мэриан, но она все еще сомневалась, так ли серьезно обстоит дело, как говорит Джо.

— Вы действительно думаете, что он попал под подозрение потому, что интересуется русскими?

— Конечно! А почему еще? Он говорит, что это — деловой интерес, но зачем ему вообще вдруг понадобилось иметь с ними дело?

— Не волнуйтесь,— посоветовала Мэриан.— Если за этим ничего нет, Руперт прекрасно сам во всем разберется.

— Ну, положим, с этой женщиной вряд ли так легко разобраться! — злобно выпалила Джо.— Да, я вспыльчивая, злая. Но он ведь на такой женился, пусть не жалуется. Ну да, она — совершенство, а я — нет. И не желаю им быть!

Мэриан принялась убирать со стола.

— Руперт — однолюб, Джо,— сказала она материнским тоном.

— Дело не в этом! Любовь — еще не все.

— В браке она все! (Мэриан никогда не была замужем.)

— Только замужняя женщина понимает, какая глупость эта любовь,— заявила ей Джо.— Посмотрите на Пегги Ройс. Она очень любит Фредди, но это не мешает ей спать с человеком, которого она презирает и который к тому же пытается надуть Фредди в делах! Теперь она тайком ходит к психиатру, чтобы он объяснил ей, почему она так поступает, а психиатр говорит, что причина в том, что она слишком любит своего мужа! Представляете? Он требует, чтобы она привела к нему Фредди и чтобы Фредди тоже подвергся психоанализу.

— Ну что ж...— с сомнением произнесла Мэриан, не желая порицать своих коллег.

— Любовь тут совершенно ни при чем! — повторила Джо.— Я знаю, с Рупертом случится что-то ужасное, я это предчувствую, и виноват будет он сам, потому что он идиот и еще упрям, как осел! Но что можно сделать?

Глава восемнадцатая

Когда Верокио объявил в Генуе о своей сделке с фирмой Ройсов, это вызвало настоящую сенсацию; Руперт предвидел это; по его словам, ничего другого он и не ожидал.

О заключении союза между двумя фирмами я прочел за завтраком. Заголовок на первой полосе «Таймс» гласил: «Договор Ройсов и Верокио о закупке русской нефти. Европейские династии судостроителей пришли к соглашению в новой области». «Таймс» сообщала, что создается новая компания, которую от Ройсов будет возглавлять Руперт, и что с английской стороны он отвечает за проведение в жизнь соглашения. Газета напоминала, что фирма Верокио уже давно пытается осуществлять независимую политику в области нефти, а вот английские деловые круги впервые предпринимают такую попытку, поскольку ввоз русской нефти на Британские острова не имел еще прецедента и несомненно вызовет всякие толки и предложения. Не бросают ли тем самым эти два могущественных судостроительных концерна вызов Семи Сестрам, возглавляющим нефтяной мир. Такое предположение вполне обоснованно, если учесть, какими огромными ресурсами обладают Ройсы и Верокио, располагающие к тому же возможностью строить собственные нефтеналивные суда.

— Превосходно! — с восторгом воскликнул Фредди, когда мы пришли к нему в кабинет. И хотя он знал, что Руперт договаривался об этой публикации с Верокио и все время звонил по телефону в Геную и Милан, она его почему-то очень взволновала.— Пусть пресса кричит о соглашении сколько ей угодно, однако смотрите, чтобы все ограничивалось нефтью и договором с русскими. Не затрагивайте других сторон нашей деятельности или нашей политики.

В конференц-зале сидели человек пятнадцать репортеров, в основном экономических обозревателей. Заведующий отделом прессы фирмы Ройсов Гордон носил очки с голубыми стеклами и старательно подражал Фредди. Он представил собравшимся Руперта, человека, которого все безусловно помнят по его подвигу во льдах, где он спас русского летчика. Руперт Ройс ответит на любые вопросы, относящиеся к сделке на нефть. Худой, породистый репортер в жилете из верблюжьей шерсти встал и спросил, какова истинная цель этой затеи — за такой сделкой явно что-то кроется.

— Почему вы так думаете? — ответил Руперт вопросом на вопрос.— Мы хотим продавать суда, а русские хотят продавать нефть. Обе стороны стремятся к взаимной выгоде. Единственная трудность состоит в том, что английское правительство, боясь нефтяных концернов, не дает разрешения на ввоз русской нефти, но мы пытаемся найти выход. Европейское нефтяное соглашение обязывает Великобританию разрешить итальянцам торговать у нас нефтью, а по договору между нами и Верокио эта нефть будет получена из России.

— Не желаете ли вы этим сказать,— спросил один из репортеров, шотландец,— что вы собираетесь одолеть и английское правительство, и нефтяные концерны?

— Мы хотим ввозить нефть,— ответил Руперт.— И открыть английскому автомобилисту новый источник бензина, а в обмен за это продавать наши суда новому потребителю — России. Скажите, что в этом дурного?

— Но ведь у нас в стране и без того ввозится нефти на тринадцать процентов больше, чем требуется,— возразила маленькая женщина.— Так, во всяком случае, утверждают нефтяные компании.

— Едва ли это так, если судить по цене, которую мы платим за бензин,— ответил Руперт, и я снова восхитился его самообладанием и умением использовать находящиеся в его распоряжении сведения.— Так или иначе, избытка бояться нечего. У нас безусловно есть рынок для русской нефти, и фирмы Ройсов и Верокио хотят его использовать.

Репортеры нетерпеливо зашелестели блокнотами, требуя подробностей, а когда Руперт отказался их дать, спросили Фредди, согласен ли он с тем, что сказал его кузен относительно нефтяных концернов.

— Ведь половина из вас, ребята, знает Сити как свои пять пальцев, будто для вас новость, как жестко ведут себя нефтяники с конкурентами и как они влиятельны в высших сферах! — И Фредди выразительно поднял брови.

Все засмеялись.

— А как обходитесь с конкурентами вы, Ройсы? — осведомился один из газетчиков.— Вам они больше нравятся, чем нефтяникам?

— Да, они нам нравятся.— Вопрос, видимо, задел Фредди за живое.— Мы любим борьбу. Вы отлично знаете, что британским судовладельцам и судостроителям приходится выдерживать тяжелую конкуренцию на мировом рынке. Наши конкуренты не дают нам зевать.

— Значит, вы объявили нефтяным концернам открытую войну? — настаивал шотландец, и Фредди подтолкнул локтем Руперта.

— Если вы желаете изображать дело так, я вам помешать не могу,— ответил Руперт.— Но я этого не говорил.

Я услышал, как Фредди шепнул: «Молодчина!»

— Как вам известно,— продолжал Руперт,— Англия может существовать, только активно торгуя с другими странами, нравится это или не нравится нефтяным концернам. Вот что побудило нас заключить договор с Верокио на русскую нефть. Если мы возьмем нефть, мы продадим суда. Все очень просто.

Он говорил убедительно, и большинство этих профессиональных скептиков, как видно, ему поверило. Газетные отчеты были скорее благожелательны, хотя, как всегда, рассчитаны на сенсацию. В общем, мы могли быть довольны, хотя дядя Рандольф

позвонил Руперту и обвинил его в грязной спекуляции на имени и будущем фирмы Ройсов. Руперт пытался возражать, но старик заорал:

— Я вам не верю! Я больше никому из вас не верю!

Государственных деятелей убедить было еще труднее. Я не без удовольствия наблюдал, как Руперт силится их обработать, как он уламывает своих консервативных родственников, заседающих в парламенте. Ему не удалось уговорить ни одного из них. Даже когда он принялся за социалистов, это принесло ему только разочарование: они так же холодно отнеслись к его затее, как и твердолобые. Единственный, кто захотел выступить по этому вопросу в палате, был адвокат-лейборист Седрик Солт, хотя предварительная беседа с ним, по словам Руперта, и не была утешительной. Руперт встретился с Солтом у него дома, на Финчли-роуд, и, приехав туда в конце зимнего дня, обнаружил, что член парламента, голый до пояса, моет свою машину.

Они вошли в дом, и пока Солт надевал на тощее тело рубашку, Руперт объяснял ему, что на правительство, по его мнению, надо оказать нажим, тогда оно признает право Верокио сбывать — на основе Европейского нефтяного соглашения — русскую нефть в Англии.

Они выпили чаю, поданного миссис Солт, и похожий на гнома хозяин хитро поглядел на Руперта:

— А знаете, Ройс, ведь между вами, судостроителями и нефтяными компаниями, большой разницы нет. Все вы — одного поля ягоды: вампиры и кровопийцы, всем вам хорошо бы отрубить головы.

— Если вы так к нам относитесь, почему вы согласились нас поддерживать?

— Я и не думаю вас поддерживать,— негодующе воскликнул Солт.— Вы хотите использовать меня в своих интересах, а я вас — в своих. Отстаивать в палате общин выгоды фирмы Ройсов? Нет уж, дудки!

Вертлявый, как ящерица, Солт крутил головой, размахивал руками. Однако вся эта суетливость была наигранной: Солт получил хорошее воспитание, но любил, чтобы его считали самоучкой.

У них завязался жестокий спор обо всей этой затее. Солт сказал, что наивно думать, будто выступление в парламенте повлияет на правительство.

— Я могу, конечно, поднять шум в парламенте, но это не убедит ни членов кабинета, ни проклятых толстосумов из Торговой палаты. Для них важно, что скажут комиссии, а кто сидит в комиссиях? Те же нефтяные магнаты. Если вы хотите чего-то добиться, вам надо разорвать этот заколдованный круг.

— Может, я чего-нибудь и добьюсь, но для этого надо придать делу политический оборот. Нужен серьезный запрос в палате общин,— упорствовал Руперт.— Вы себе не представляете, как нефтяные компании боятся общественного мнения. Они не захотят, чтобы оно выступало против них.

— Чепуха! — бросил Солт.— Знаете, как правительство вас облопошит?

— Как?

— Старым, испытанным английским методом: бездеятельностью, полной бездеятельностью. Мы будем надрывать глотки, потеть от остервенения в дебатах, а правительство пообещает взять это дело на заметку, разобраться и принять меры. Потом положит под сукно и засушит, как увядший лист.

Все же после долгих пререканий Солт согласился сделать запрос в палате общин, и через два дня мы с Рупертом и Джо сидели на галерее для гостей, готовясь слушать, как Седрик Солт ставит в неловкое положение правительство.

Нелепая внешность не мешала этому маленькому человечку быть смелым политическим деятелем. К сожалению, англичанам свойственно судить людей по наружности, и внешность для них определяет внутренние достоинства и недостатки. Речь Солта была полна яростных выпадов, но при этом не лишена чувства юмора. Он спросил соответствующего министра, способен ли тот когда-нибудь посмотреть на мир не сквозь очки нефтяных концернов.

Мы засмеялись вместе со всем залом.

— Возможно, министр нам объяснит, чем вызван противоречащий Европейскому нефтяному соглашению запрет на ввоз в нашу страну русской нефти? — продолжал Солт.— И может ли министр заверить нас, что между консервативным правительством и тремя основными нефтяными компаниями нет секретного соглашения, обеспечивающего их проклятую монополию?

При слове «проклятая» в палате поднялся шум, но министр сохранял невозмутимое спокойствие.

— В нашей нефтяной политике мы исходим из стратегических соображений,— ответил министр.— Было бы непростительной глупостью покупать нефть у России, когда мы можем покупать ее у более дружественных держав, и почтенный член парламентской оппозиции понимает это не хуже меня.

Запрос есть запрос, и он должен быть сформулирован искусно, чтобы дошел его подтекст, поэтому, когда Солт спросил министра, долго ли, по его расчетам, будут оставаться «дружественными» нынешние источники нефти в колониальных странах, в палате снова поднялся шум. Началась одна из пресловутых парламентских перепалок. Я услышал крики со средних скамей, а с задних то там, то сям вскакивали какие-то встрепанные субъекты, выкрикивали нечто нечленораздельное и тут же исчезали;

наконец, спикеру * удалось восстановить в зале тишину, посоветовав члену палаты от Престина мистеру Флайту, который в ярости размахивал руками, не махать во время запросов крыльями, не то он может улететь.

— Вот **этим** они тут и занимаются? — недоумевала Джо, когда мы спускались по каменным ступеням зала св. Стефана.— Более дурацкого сборища в жизни не видела. Неужели их можно принимать всерьез?

— Ты же принимала их всерьез! — хмуро упрекнул ее Руперт.

— Да, но я никогда их не видела, я только их выбирала.

■

На следующий день Руперт позвонил Фредди, который снова жонглировал какими-то международными сделками в Амстердаме, и сказал, что другого выхода нет: надо идти на поклон к Пинку Бендиго.

— Поскольку политические деятели ничего не решают, а общественное мнение ничего не значит,— заявил Руперт,— мне остается лишь повидаться с человеком, от которого все зависит, иначе наши усилия пойдут прахом.

— Вы, наверно, правы,— нехотя признал Фредди,— но мне очень не хочется впутывать в наше дело Пинка. У меня есть на это свои причины. Он опаснее всех политических деятелей вместе взятых.

— Верю, но без его согласия никто и пальцем не шевельнет, чтобы нам помочь. Теперь это уже ясно.

— Ладно,— сказал Фредди после минутного колебания.— Но давайте сперва я поговорю с ним сам и условлюсь о встрече для вас. Прихватите с собой Джека, чтобы он смог записать ваш разговор. Я не хочу, чтобы вы ходили туда один.

Фредди снова позвонил во второй половине дня и сообщил, что договорился о нашей встрече с Бендиго на завтра.

— Но там будет и Най,— добавил он,— поэтому, ради бога, ведите себя осторожно. Это самые могущественные противники, с какими вам когда-либо приходилось или придется иметь дело.

— А в чем я, в сущности, должен соблюдать осторожность? — спросил Руперт.

— Сам не знаю, но, ради Христа, следите за каждым вашим словом. И не поссорьте с ним нашу семью.

Глава девятнадцатая

Некоторые крупные предприниматели, которых я встречал у Фредди, были воинствующими хамами, другие — бессовестными пройдохами, но, как я убедился, самые могущественные из них внешне были ничем не примечательны.

Именно к этой последней породе людей принадлежал и Бендиго — обаятельный, легкий человек, с которым все чувствовали себя свободно,— однако Фредди боялся его больше, чем Ная.

Мы отправились на Сент-Джеймс-стрит в особняк, похожий на аристократический клуб, и, войдя туда, попали в прекрасно обставленную контору, где в шкафах стояли переплетенные в кожу книги, а стены были обшиты деревянными панелями. Встретили нас дворецкий и хорошенькая секретарша. Бендиго и Най уже ждали нас, нам предложили виски, но мы предпочли водку. Кожаные кресла были глубоки и удобны, однако, утонув в них, мы сразу почувствовали свою беспомощность. Пинк Бендиго с места в карьер стал выспрашивать Руперта о делах фирмы Ройсов, а Най молча слушал.

— Я очень люблю Фредди,— сказал Пинк, потягивая виски.— Сколько Ройсов с правом голоса осталось у вас в правлении?

— Человек пять или шесть,— ответил Руперт.

— Я хочу сказать: настоящих компаньонов фирмы?

Это была семейная тайна, и спрашивать о таких вещах было бестактно.

— Понятия не имею, сколько нас еще осталось,— уклонился от ответа Руперт.

Пинк рассмеялся:

— Мне, конечно, не надо было спрашивать. Но крупные семейные концерны в Сити почти перевелись, некого и назвать — ну, Пилкингтоны, Спайсеры, Бэрринг-тоны, два-три банкирских дома... Мы часто задаем себе вопрос,— продолжал он все тем же дружеским тоном,— долго ли Фредди и Рандольфу удастся сохранять семейный характер дела, особенно в области судоходства. Нужны большие капиталы, а деньги сейчас достаются трудно.

— Вы хотите у меня что-то выпытать? — без обиняков спросил Руперт.

— Ну, что вы!

— Либо на что-то намекаете — тогда почему бы вам не сказать этого прямо?

Мы так глубоко погрузились в кресла, что почти ничего не видели вокруг, но и я и Руперт заметили, что секретарша как бы невзначай захлопнула шкафчик, похо-

---

* Председатель палаты общин.

жий на маленький бар, и догадались, что она включила магнитофон. Наше совещание записывалось. Фредди часто делал то же самое в своем «кофейном уголке».

Руперту надоела роль подопытного кролика, и он спросил напрямик, почему Бендиго не разрешает ввозить русскую нефть в Великобританию.

Пинк принял глубокомысленный и даже огорченный вид.

— Если бы эта сделка на русскую нефть носила исключительный характер,— сказал он,— в ней не было бы ничего плохого.

Он кинул взгляд на Ная, и тот поспешил на помощь:

— У нас есть ощущение, Ройс, что тут кроется какой-то подвох. Нам кажется, что Фредди маскирует возней вокруг русской нефти нечто совсем другое.

Руперт заметил, что Най волен иметь любые ощущения.

— Мне известно,— продолжал он, обращаясь к Бендиго,— что именно от вас, от вашего слова зависит, какую нефть правительство разрешит ввозить в нашу страну. Обращаться к кому бы то ни было, кроме вас, не имеет смысла. Это бесполезно.

— Возможно,— признал Бендиго.— Но вы знаете, в чем главная трудность таких обменных операций, как ваша?

— Нет, не знаю.

— Если вы заключите эту сделку с русскими, вам придется взять на себя ответственность за поведение русской стороны. Вот в чем состоит неприятная особенность такого рода операций.

— Даже в Сити русские славятся точным выполнением своих договорных обязательств,— заметил Руперт.

— Речь идет не о договорах,— возразил Пинк.— Речь идет об ответственности, которая не оговорена ни в каких договорах. Вы прекрасно знаете: все, что делают русские, продиктовано политическими соображениями.

— Наши суда они покупают не из политических соображений.

— Возможно и нет, но нефть нам продать они хотят из политических соображений.

— При чем здесь политика? Зачем видеть во всем скрытые побуждения?

— А вы их не видите?

Руперт задумался.

— Пожалуй, вижу,— признался он.— Но нельзя же прекратить всякую коммерцию только потому, что вы подозреваете вашего партнера в каких-то тайных мотивах? Как тогда быть с немцами?

— В наши дни, если вы желаете делать большие дела, вам надо точно знать, на чьей вы стороне. Мир разделен на два лагеря.

— Не для меня,— пожал плечами Руперт.— Меня вполне устраивает позиция нейтралитета.

— Я так и думал, что вы это скажете. Вы просто-напросто не сможете его сохранить, Руперт.

— Ладно, согласен, суда — это стратегический товар. Но разве мировые нефтяные концерны гнушались продавать противнику свою продукцию? И разве политики им в этом не помогали? Вы снабжали Германию и Японию нефтью вплоть до самой войны.

— Это другое дело.

— Ничуть.

Они заспорили о принципах торговой политики, и у меня появилось чувство, что Руперту удалось кое в чем его убедить. Но тут вмешался Най.

— Почему вы лично так заинтересованы в этой сделке? — спросил он.

— Какое это имеет отношение к нашему разговору? — возмутился Руперт.— Речь идет о чисто коммерческой операции.

— Учитывая ваше недавнее прошлое, Ройс, мы считаем себя вправе задать такой вопрос. Ваше поведение было в высшей степени странным.

— Мое поведение касается только меня,— отрезал Руперт. Видно было, что он с трудом себя сдерживает.— Мы обсуждаем здесь деловые вопросы, а не мои личные склонности.

Бендиго задумчиво шагал по комнате.

— Поверьте, мы не собирались вмешиваться в ваши личные дела, Руперт,— медленно произнес он,— но поймите, что ваша роль в этом деле имеет первостепенное значение. В конце концов ведь это вы поставили вопрос о русской нефти на публичное обсуждение, так что если вы навлечете на себя неприятности, то и пеняйте на себя.

— Какие неприятности? Я вас не понимаю.

— Я знаю, тут есть другие заинтересованные стороны,— продолжал осторожно Пинк.— Но как только вы примешали к этому политику, вы поставили под вопрос ваши побуждения. Это было опрометчиво.

— Я не собираюсь обсуждать мои побуждения,— заявил Руперт.— А каковы, например, ваши побуждения? — саркастически осведомился он у Ная.— И ваши? — обернулся он к Бендиго.— Неужели они уж так непорочно чисты?

Пинк не обиделся, но Най продолжал атаку:

— У вас уже были неприятности и в собственной семье, и с Лиллом...

— Лилл! Оставьте в покое этого Лилла! — воскликнул Руперт.— Я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать о Лилле.

— Ладно. Оставим, — согласился Пинк.— Мы хотим знать, что кроется за всей этой дурацкой затеей с нефтью. Вы же сами понимаете, что затея дурацкая.

— Нет, вы пытаетесь мне это внушить,— отпарировал Руперт.

— Фредди что-то задумал.

— Ничего он не задумал.

Тогда Най поднялся и сказал Бендиго:

— Зря тратим время.— Он повернулся к Руперту и посмотрел на него своими судачьими глазами:— Это Фредди научил вас так себя вести?

— Дело затеял не Фредди, а я,— решительно возразил ему Руперт.

— Ну что ж,— сказал Най.— Мне вас жаль. Прощайте, Ройс.— И даже не взглянув на меня, покинул комнату. Невидимая секретарша, точно угадав момент, распахнула перед ним дверь.

Руперт тоже поднялся, но Бендиго его задержал.

— Почему бы вам не отказаться от ваших нелепых симпатий к русским? — стал он внушать Руперту.— Вы тут ничего не выиграете.

Я видел, что Пинк нравится Руперту. Поэтому он только улыбнулся в ответ:

— Опять вы меня уговариваете?

— Зачем фирме Ройсов впутываться в какую-то темную политическую сделку с русскими? Для Верокио это не страшно, они итальянцы.— Он положил руку Руперту на плечо.— Если бы мы только знали, чего Фредди добивается, у нас было бы спокойнее на душе, и мы, возможно, сумели бы даже кое в чем помочь...

Руперт решительно направился к двери.

— Фредди не открывает мне своих карт,— произнес он.— Я не знаю, каковы его планы, и поэтому ничего вам о них сказать не могу.

— Но тут даже догадка поможет. Он сейчас ведет переговоры в Амстердаме, и мы смутно, правда, но все же представляем себе, о чем.

— Тогда зачем вы меня спрашиваете?

— Вы можете оказать ему услугу. Вы-то знаете, что он пытается объединить свой капитал с голландским и итальянским. А если не знаете, то я могу вам сообщить по секрету эту новость. Боюсь, что не вся ваша семья одобрит подобный шаг.

— Что вы хотите у меня выпытать? — спросил Руперт.

— Кто тут замешан — голландский филиал «Кальтекса»?

Руперт рассмеялся.

— Честное слово, понятия не имею.

Он понимал, что Пинк, в сущности, и не ждет от него ответа, а просто следит за выражением его лица. Смех Руперта звучал вполне искренне.

Пинк, вздохнув, открыл перед нами дверь.

— Да, вы, как видно, оба ни о чем и понятия не имеете,— не мог не признать он. Все же Пинк проводил нас до подъезда и, уже стоя на ступеньках, добавил, что в ближайшие дни нам не мешало бы вместе пообедать.— Вы славный парень,— сказал он, глядя сверху вниз на Руперта.— Но я знаю Фредди всю жизнь, и у меня такое чувство, что он собирается всех вас надуть. И вы лично непременно попадетесь. Так или иначе, но вас проведут. Можете мне поверить, Руперт!

— Чего на свете не бывает! — отозвался Руперт, и мы вышли с ним на Сент-Джеймс-стрит.

Он молчал всю дорогу, а когда мы вернулись в наш кабинет, он спросил меня, записал ли я разговор. Я утвердительно кивнул.

— Хотя зачем? Рандольф замкнул вокруг нас кольцо. Дальше идти нам некуда.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава двадцатая

Мы понимали, что отказ Бендиго означает крах нашего замысла. Глупо было обольщаться: русская нефть не попадет в Англию, условия, поставленные русскими, не могут быть выполнены, судов у нас они не купят, и мы бессильны что-либо тут изменить.

Но мы слишком размахнулись и уже не могли остановиться: события обладают своей инерцией. Главные же события в жизни Руперта только приближались. Нина Водопьянова вернулась после посещения делегацией Бирмингема, позвонила Руперту в его отсутствие и попросила ему передать, чтобы он на следующий день в 10 часов утра непременно зашел в торгпредство.

— Ее просьба может означать и хорошее и плохое,— сказал он.— Зря она меня звать не будет.

— Может, она хочет нам что-то посоветовать?

— Нет, не думаю,— сумрачно произнес он.

Руперт оказался прав. Когда на другое утро он вернулся от Нины, вид у него был совсем больной. Он рассказал, что Нина дожидалась его у подъезда торгпредства в Хайгейте и, хотя на улице моросило, повела его гулять по мокрому парку, где зябли под зимним дождем буки и араукарии.

— У меня, Руперт, неприятности,— сказала она.— Я не хотела вам говорить, но приходится.

— Не укрыться ли нам где-нибудь от дождя? — спросил он. Нина промочила ноги и забрызгала грязью чулки.— Вы же совсем промокнете.

— Неважно,— бросила она нетерпеливо,— я не хочу, чтобы нас видели вместе и слышали наш разговор. Кто-то из англичан...

— Вот до чего дошло! — пошутил он.— Кто же из англичан проявляет к вам такой интерес?

Но она даже не улыбнулась.

— Меня хотят выкрасть,— сказала она, с трудом выговаривая слова.

— Что?

— Понимаете, против меня что-то замышляют...— произнесла она с запинкой.— Мне сообщил об этом один человек.

— Англичанин?

— Да. Он все время пытается ко мне подойти, когда рядом никого нет. В Бирмингеме он меня совсем замучил. Раз даже по телефону...

— Но что он вам сказал? Почему вы решили, что он хочет вас выкрасть?

— Он говорит про вас, Руперт.

Их окатило водой с голых веток вяза; Нина прикрыла голову шарфом, а Руперт отер мокрое лицо носовым платком. И так холоден и бесприютен был зимний парк, и так мрачно у них на душе, что они даже не заметили потока воды, промочившего их насквозь.

— Два раза, когда я ходила покупать чулки и яблоки в Бирмингеме,— рассказывала Нина,— он шел за мной и старался оттереть меня от других прохожих. Он сказал мне по-русски: «Мне надо с вами поговорить, Нина Сергеевна». Знает даже мое отчество. Но это — англичанин. Он сказал, что у вас неприятности с английским МВД и что вам нужна моя помощь. Это правда, Руперт?

— Конечно, это неправда!

— Он мне говорит, что тут все знают про нас с вами и что, когда я уеду в Москву, вас, наверно, арестуют.

— Какая чепуха! — воскликнул Руперт.— Неужели вы ему поверили? Не верьте ни одному его слову, слышите, Нина?

— Да, но что-то он все-таки знает. Знает! — воскликнула она.— Он говорит, что я вам испортила жизнь, что я причиняю вам только неприятности, но могу вам помочь, если объясню каким-то его друзьям, что́ меня с вами связывает.

— Да не слушайте вы его и не обращайте на него внимания!

— Я и не слушаю его,— возмутилась она,— но он меня преследует.

— В следующий раз позовите полицейского.

— Подумайте, что вы говорите! — воскликнула она по-русски.— Как же я могу это сделать? Ведь он сам вроде полицейского!

— Ну и что? Если он к вам пристанет, позовите самого обыкновенного постового. Будьте спокойны: этот тип сразу смоется.

— Да, но если я обращусь к постовому, мне придется давать объяснения... Выйдет еще хуже. Нет, это невозможно.

— Послушайте,— заговорил он горячо, взяв ее под руку.— Это просто шантаж, за ним ничего нет. Они ничего о нас не знают. Они вас пугают, надеясь, что вы начнете оправдываться или защищать меня. Вы ему что-нибудь говорили?

— Нет. Но, Руперт, какое это безобразие! — гневно воскликнула она.— Он приводит меня в такую ярость, что я готова его убить! — От волнения она закрыла глаза.— Нет, все-таки меня это тревожит. Ведь он, наверно, действует не по собственной инициативе. А что, если они выследят, когда я буду одна, и схватят меня? Что мне тогда делать? Нет, я себе этого никогда не простила бы... Я не хочу причинять неприятности своим. Вот что мне не дает покоя. О нас с вами я уже даже не думаю.

— Да, да, конечно,— ласково успокаивал он ее, крепко прижимая к себе ее руку.— Погодите, дайте-ка сообразить...

Они молча шагали по дорожке, посыпанной гравием.

— Вашим вы об этом ничего не говорили? — спросил он.

— Ну, что вы! Разве я могу им пожаловаться, не втянув их в эту историю? Повторяю вам, Руперт, я не хочу причинять неприятности своим. Сейчас это единственная моя забота. Он упоминал и про Джо...

— Про Джо? — Руперт почувствовал боль, словно его ударили.— А при чем тут Джо?

— Он говорил, что рано или поздно кто-нибудь откроет ей правду. Он произносит эти гадости таким приветливым, дружелюбным тоном.— Нину передернуло.— Я его ненавижу. Его приятный голос, его вежливость!

— Не волнуйтесь! — проговорил он твердо.— Ради бога, не волнуйтесь. Они метят в меня, а не в вас.

— Я сама так думала,— сдержанно заметила она.— Но что им от вас нужно?

— Тут замешано слишком много такого, о чем я не могу вам рассказать,— огорченно признался он.— Сам виноват. Но мне обидно, что вас втягивают в эту гнусную историю. И я даже не представляю себе, как вам помочь. Во всяком случае сейчас.

— Тогда я должна вам помочь.

— Каким образом? Вы решили поговорить с ними?

— Нет! Нет! Нет! — закричала она в испуге.— Поговорить? Ни за что! Если они попытаются меня увезти или задержать здесь, я им не дамся!

— Они не будут вас задерживать,— заверил он ее.— Так далеко они не пойдут.

— Почем вы знаете, что не пойдут? Но, клянусь, я им не позволю до меня дотронуться! — горячо воскликнула она.

— Надо же, чтобы случилась такая беда...

Она молча сделала еще несколько шагов, вдруг Руперт переплел ее пальцы со своими.

— Вы мне скажете правду, если я вас кое о чем спрошу, Нина?..— негромко обратился он к ней.

— Конечно.

— Зачем вы приехали в Англию?

Она ответила не колеблясь.

— Чтобы увидеть вас, Руперт. Понять, что я не ошиблась. Мне было так плохо, когда вы уехали. Я столько о вас думала, а когда мне стало совсем тяжело, я поняла, что лишусь покоя на всю жизнь, если опять вас не увижу и не проверю, ошиблась я или нет. Ведь я вам так верила...

— А почему вы во мне начали сомневаться? Вот я всегда знал, что вы такая, какая есть.

— Да, да, конечно. Но вы ведь не верите в то, во что верю я...

— Зачем вы так говорите?

— Нет, не верите. И я боялась, что совершаю предательство не только по отношению к себе... Вот от чего мне было так тяжело.

— Вы ничего не предали! — сердито закричал он.— Не смейте так думать!

— Я старалась не думать. Но вот поэтому мне и надо было вас увидеть.

— Но вы мне ничего не сказали. Ни о чем не спросили!

— Я хотела спросить в тот день, когда была у вас. Но почувствовала, как я виновата перед Джо и как вы перед ней виноваты.

— Но хоть что-то вы могли мне сказать?

Теперь они забыли обо всем на свете, кроме этого ощущения близости, которое их соединяло.

— А зачем? Мне это было не нужно. Я всегда знала, что вы — человек честный и не можете фальшивить. И сейчас я это знаю наверняка. Мне только надо было в этом утвердиться. Вот и все.

— Но вы же ничего обо мне не знаете! Ничего не знаете даже теперь.

— Знаю. Знаю все, что мне нужно знать...

— А вы хоть раз подумали, что вы **со мной** сделали?

Она крепко сжала его руку. И только покачала головой.

— Вы перевернули всю мою жизнь,— сказал он ей.

— Я этого не хотела.

— Но я не жалею об этом.

— Тогда я рада, хотя мы поступили нехорошо.

Он рассмеялся.

— Вы замечательная женщина! И самый строгий моралист, каких я встречал...

— Я буду любить вас всю жизнь, Руперт. Вероятно, я не должна этого говорить. Но я ведь понимаю под этим совсем не то, что понимают обычно. Другое. Более высокое. Только вы и я знаем, что я хочу этим сказать.

— Я знаю...

По-моему, Лилл совершил большую оплошность, преследуя Нину, потому что Руперт теперь любил ее больше, чем когда бы то ни было. И больше, чем когда бы то ни было, думал о ней и о том, как уберечь ее от опасности. Вот почему он позвонил Лиллу и сказал, что хочет к нему зайти.

■

Адмирал был рад видеть Руперта.

— Я пришел попросить вас об одном одолжении, адмирал,— сказал Руперт, стараясь держать себя в руках и не злиться.

— Об одолжении? Каком же? — осведомился адмирал.

— Что вам надо от Нины Водопьяновой? — ответил вопросом на вопрос Руперт.— Чего вы хотите добиться?

— Минуточку, Руперт. Обожди, прежде чем ты зайдешь слишком далеко. А что, в сущности, случилось с мадам Водопьяновой?

— Какой-то человек преследует ее и пытается убедить, что я попал в беду. Единственный способ, каким она будто бы может меня спасти,— это рассказать, что у нас с ней было в России, или что-то в том же роде.

— Да, неприятная история.

— Грубая, топорная работа, и к тому же неумно придумано. Зачем вы этим занимаетесь?

Адмирал потер пальцем свой изящный нос.

— Почему ты считаешь, что в этом повинны мы?

— Ну, это ясно и младенцу. Видно по почерку.

— Пожалуй, ты прав. Но видишь ли, этой молодой дамой интересуются и другие.

— Возможно,— согласился Руперт.— Но большинство из них все равно связано с вами, так что это только отговорка.

Адмирал сохранял завидное благодушие.

— Ты льстишь нашему отделу, но, увы, это не совсем верно. Конечно, война нервов — штука безжалостная. Ты сам это понимаешь.

— Вы мне уже говорили о вашей войне нервов, но на этот раз вы перехватили через край. Зачем впутывать в нее женщину? Чем она это заслужила?

— Ну, а почему, в сущности, ее не впутывать? — спросил адмирал.— Я уже говорил тебе, что мы все участвуем в этой войне. И уверяю тебя, Руперт: она участвует в ней ничуть не меньше, чем мы.

— Все это я слышал, и не раз. Но я прошу вас, адмирал, сделать мне одолжение и оставить Нину Водопьянову в покое.

Адмирал стукнул себя по коленкам.

— Об этом не может быть и речи! — воскликнул он с деланным негодованием.— Я никого не могу оставить в покое — ни себя, ни тебя, ни миссис Водопьянову!

— Даже если смотреть на людей с вашей точки зрения, она не представляет для вас ни малейшей опасности.

— Откуда я знаю?

— Могу вас в этом заверить,— сказал Руперт, уже теряя терпение.— Да вы и сами в этом не сомневаетесь.

— Сомневаюсь,— раздумчиво произнес адмирал.— Вспомни, что ты делал в Советском Союзе. Разве они оставили тебя в покое?

— Нет, но ведь, если припомните, я искал радарные установки.

— А кто мне гарантирует, что Водопьянова не ищет радарных установок у нас?

— Вы сами знаете, как мало это вероятно.

— А ты хоть раз задумался над тем, о чем я тебе говорил? — спросил адмирал.— Может быть, **ты** — главная причина ее поездки в Англию.

Как потом Руперт рассказывал мне, он в эту минуту почувствовал себя оторванным от всего остального мира. В этом красивом зале с лепным, голубым с золотом, потолком он подумал о том, что стоит человеку поговорить о секретных делах вот в такой секретной комнате, и вся твоя жизнь становится призрачной, исчезает куда-то, словно ее и не было.

— Вы мне льстите,— заметил Ройс.

— Послушай, Руперт. Русские никогда не делают ничего из ряда вон выходящего или необычного без какой-либо специальной цели. И Водопьянова тоже находится здесь с определенной целью, мы это знаем. И вынуждены наиболее очевидной целью считать тебя.

— В таком случае, я — опасный человек, и меня пора упрятать за решетку,— с вызовом бросил Руперт.— Почему бы вам не посадить меня и не покончить с этим делом?

— Тс-с-с! — укоризненно произнес адмирал.— Мы ведь только стараемся уберечь тебя от непоправимой ошибки, помешать тебе совершить поступок, который обойдется и тебе и нам очень дорого.

— Какой только чепухи вы здесь не выдумываете!

— Давайте рассуждать так,— сдержанно сказал адмирал.— Она имеет на тебя безусловное влияние, не то ты не пришел бы сюда ее защищать. Значит, она такая же ценная добыча для нас, какой ты был для них. Даже больше...

Этого удара Руперт не ожидал. Мысль, что Нину могут принять за ценный трофей в этой профессиональной войне нервов и грязных проделок, была для него неожиданной. Стало быть, Нина и в самом деле в опасности!

— Тогда разрешите мне вам кое-что сказать, адмирал,— резко заявил он, застегивая пальто и думая только о том, как бы поскорее вырваться из этого гиблого места.— Если вы тронете Водопьянову, я охотно поделюсь с русскими всем, что мне известно о вашем учреждении. А не с русскими, так с кем-нибудь еще. Вам нужен я, адмирал, понимаю. Вы хотите, чтобы я покаялся и признал вашу правоту, тогда вы почувствуете себя в безопасности. Но я этого не сделаю и не допущу, чтобы вы отравляли жизнь ни в чем не повинной женщине.

Адмирал был ошеломлен и разгневан словами Руперта. Они расстались врагами. Никогда в жизни, рассказывал Руперт, он не чувствовал большего облегчения, чем тогда, когда вышел от адмирала Лилла на свет божий.

— На чистом воздухе не бывает тайн,— угрюмо заметил он. Но мне показалось, что этими словами он только пытался себя подбодрить.

Ему хотелось подбодрить и Нину: он позвонил ей по телефону в отель, но ему сказали, что она уехала. Он позвонил в советское торгпредство. Там ему ответили, что Нина в посольстве. Он позвонил в посольство, и ему объяснили, что мадам Водопьянова к телефону не подходит: она больна и не может ни с кем разговаривать.

Глава двадцать первая

Мы несколько дней ничего не слышали о Фредди, но однажды он вдруг появился у Руперта. Мы уже кончали обедать. В последнее время я обычно обедал у Руперта, если ни у него, ни у меня не было в эти часы деловых встреч. Иногда он меня приглашал специально, в качестве амортизатора между ним и несдержанной Джо. Он меня даже раз спросил, какой характер у Пепи, и когда я ответил: «Невыносимый»,— зло захохотал.

— Невыносимый характер,— сказал он,— это еще полбеды. Если бы у них была при этом хоть капля логики! Настроение у них меняется пять раз в день, то у них одна фантазия, то другая... А ты живешь, как под электрическим током.

В тот день я должен был изображать изоляцию для тока высокого напряжения, однако, к счастью, Джо была весела.

У дверей раздался звонок. Спаниель Фидж залаял и понесся встречать гостя. Анджелина ввела Фредди, который, подхватив спаниеля на руки, ласково потрепал ему уши и морду

— Привет! — воскликнул он с порога преувеличенно весело. — Как раз подоспел к кофе.

Мы были рады видеть его, а он нас. Сняв пальто, он швырнул его в угол. Мы тоже сразу повеселели. Он сказал, что приехал самолично пригласить Джо составить компанию Пегги, которая улетает в Кортина д'Ампеццо, и объяснить, **почему** он так заинтересован в их совместной поездке.

— Завтра тут начнется столпотворение. У меня и у вас оборвут телефоны и не будет житья от непрошеных визитеров. Поверьте, Джо, при этой кутерьме вам лучше не присутствовать.

— А в чем дело? Что завтра произойдет?

Но Фредди только разжег наше любопытство и ничего не стал объяснять, отделываясь шуточками. Он был явно возбужден, а может быть, просто слишком много выпил перед обедом? У него был вид человека, затаившего дыхание перед прыжком.

— При всем моем расположении, моя радость,— сказал он Джо,— сообщить я вам пока ничего не могу. Завтра узнаете.— И он мельком взглянул в окно, словно проверяя, не поджидает ли его кто-нибудь на улице.— Руперт, налейте, пожалуйста, рюмочку коньяку. За последние десять суток у меня мозги высохли, а мне еще надо держаться и сегодня и завтра.

Руперт налил ему щедрую порцию коньяку.

— Выпейте со мной,— предложил нам обоим Фредди.— И вы, Джо, тоже. Сегодня особенный день.

Никому из нас не хотелось портить ему настроение, поэтому мы выпили, сами не зная за что.

Фредди глубоко вздохнул, надел пальто, поцеловал на прощанье Джо и вывел нас с Рупертом на улицу к ожидавшему его такси.

— Послушайте, Руперт,— тихо сказал он.— Так как с завтрашнего дня мне понадобится в нашей семье хотя бы один друг, я рассчитываю на вас. Вы — единственный, на кого я могу положиться. Я не говорю о вас, Джек, потому что вы — не член нашего правления.

— Понятно,— кивнул я, хотя ничего не понимал.

Руперт почти все время молчал, занятый мыслями о Водопьяновой, но тут он шутливо заверил Фредди:

— Ладно, Фредди, я буду стоять за вас как стена. Но что вы затеяли?

— Пусть и вас и всех остальных это поразит, как гром среди ясного неба,— засмеялся Фредди.— Я и так из всей нашей родни предупреждаю об этом только вас, ребята; мне нужно чувствовать хоть какую-то моральную поддержку. Поняли?

— Ни черта не поняли,— отозвался Руперт,— но мы с вами, не сомневайтесь.

— Я вас сегодня днем больше не увижу,— сказал Фредди.— Мне пришлось отказаться от своей машины. Слишком много любопытных глаз. Вечером встретимся на приеме НАТО. Ну, а завтра поглядим...

— А почему вы не спрашиваете, как прошел разговор с Пинком Бендиго?

— Я про него слышал. Идиоты. Послезавтра это уже не будет иметь значения, Руперт.

Фредди сел в такси, и шофер взял с места, не спрашивая, куда нужно его пассажиру. Видно, у Фредди было так много разъездов и секретных встреч, что он нанял его на целый день.

— До вечера! — крикнул Фредди, когда машина тронулась.

■

Прием, о котором говорил Фредди, должен был состояться в здании Одли-Мейризон-хауз в Мейфейре. Его давали в честь западногерманских генералов и адмиралов, каких-то немецких промышленников, судовладельцев и политических деятелей. Официально банкет устраивал секретариат НАТО по северных странам, но, как объяснил Фредди, это был еще один шаг, предпринятый английским правительством (оно тогда собиралось войти в общий рынок и в дальнейшем создать многосторонние ядерные силы) с целью смягчить неприязненное отношение англичан к немцам.

— Плохо относиться к немцам сегодня глупо — хотя бы с деловой точки зрения. Вот почему вам там надо быть,— сказал Фредди Руперту, который отнекивался, несмотря на уговоры Джо.

Мне хотелось увидеть, что собой представляет дипломатический прием НАТО, а так как я был в ссоре с Пепи — выдерживал характер и с ней не виделся,— я мог свободно располагать собой. Джо и Руперт собирались приехать попозже, поэтому я отправился с Фредди и Пегги; я — в белоснежной крахмальной рубашке и в черном галстуке бабочкой, а Фредди — разукрашенный ленточками всех орденов, какие положено иметь порядочному человеку. Вид у него был бравый и очень внушительный.

В Одли-Мейризон-хауз сияли огни, и, несмотря на дождь, у мраморной лестницы толпилось с полсотни зевак, которых отгоняли полицейские. Зеваки образовали проход для гостей, появлявшихся из машин в роскошных туалетах и сверкающих золотом мундирах, увешанных медалями и средневековыми орденами. Швейцар в ливрее с шиком отворял дверцу лимузина, провожал гостей под большим зонтом до подъезда, а потом захлопывал дверцу, и машина отъезжала.

Наверху перед нами распахнулись двери из орехового дерева, мы вошли, и нашим глазам открылось ослепительное зрелище: мы очутились в огромном золотом, залитом огнями зале с мраморным полом. Лакеи в шелковых чулках величественно провели нас в гардероб со множеством зеркал. Мы сдали пальто и встали в блистающую вереницу изысканнейших дам и изысканнейших господ, увешанных орденами и лентами и представлявших здесь воинства всех западных стран: Англии, Франции, Греции, Турции, Америки, Дании, даже герцогства Лихтенштейн и еще невесть каких других держав. Они явились сюда как на парад, эти верные слуги своих королев, королей и республик, представители сухопутных и воздушных вооруженных сил, флотов, посольств, концернов, церквей и НАТО. Наши имена были объявлены хозяевам приема, а их было пятеро, и рядом с ними стояли их жены, и когда я увидел лица этих солдафонов и подкрашенные глаза их жен, я внутренне содрогнулся и сказал себе: «Нет, друг, это не для тебя!»

Сахарно-белая, словно глазурью облитая приемная напоминала мне раззолоченный, как бомбоньерка, бальный зал какого-нибудь венского дворца, а все эти парадные мундиры, шелка, драгоценные ожерелья, бриллиантовые диадемы — пестрые обертки находящихся в бомбоньерке конфет.

— Ах, как я все это люблю! — воскликнула Пегги.— Красиво, да?

— Прямо дух захватывает,— съязвил Фредди, думая о чем-то своем.

У меня тоже захватило дух от всего этого зрелища, и я скоро потерял Пегги и Фредди из виду: их увел какой-то военный, похожий на рыцаря в сверкающих доспехах. Подойдя к одному из буфетов с закусками, я положил себе на тарелку лососины и кусок утки, лежавших на серебряных блюдах, а потом выпил бокал шампанского. Тут я заметил, как вошли Руперт и Джо, вид у них был какой-то встревоженный. Мне показалось, что они ссорятся. Джо выглядела такой красавицей в своем белом атласном платье, что я чуть не ахнул. Черные волосы, яркий цвет лица, свежая, как утренняя роса, прозрачная кожа и настороженный взгляд колдовских глаз — все это придавало ей какую-то экзотическую прелесть.

Руперт жестом подозвал меня и сказал, что он только что видел, как полисмены волокли Пепи к полицейской машине. Надо бы мне попробовать ее вызволить.

— Почему? Что она сделала?

— Да тут у подъезда они пытались устроить демонстрацию. А вы не знали?

— Понятия не имел. Она мне про это ни слова не сказала, когда мы в последний раз виделись.

Случилось то, что я должен был предвидеть, если бы мной руководила не обида, а здравый смысл. Когда Руперт и Джо, выйдя из такси, стали подниматься по ступенькам, они услышали за своей спиной крики и улюлюканье. Они остановились и обернулись. Из толпы зевак вдруг выделилась плотная кучка демонстрантов. С криком: «Долой немецких фашистов!», «Фашистские генералы, вон!» — молодые люди выхватили из-под пальто спрятанные плакаты. Одно полотнище обличало фашистское прошлое кого-то из немецких гостей; на другом был изображен генерал Шпейдель рядом с Гитлером. Все это произошло в считанные секунды. Полиция накинулась на демонстрантов. Замелькали дубинки, какая-то женщина упала, мужчина прорвался сквозь полицейский заслон, его повалили чуть ли не под ноги выходивших из машины немцев, а он кричал: «Убирайтесь домой! Вон отсюда, убийцы!»

В руках у него была громадная желтая звезда из бумаги; полицейский смял ее, швырнул в окно подвала Одли-Мейризон-хауз и ринулся на демонстранта. Тот упал, и полицейский придавил его к земле коленями.

— Это был такой ужас! — воскликнула Джо: она все еще не могла прийти в себя.

Руперт рассказывал, что они просто застыли от неожиданности, но вдруг кто-то крепко взял его под руку и подтолкнул вперед. Полицейский инспектор сказал ему:

— Уйдите-ка лучше с дороги, сэр. Видите, что здесь творится.

Полисмены разгоняли толпу. Руперт увидел высокую девушку с копной мокрых белокурых волос, что-то яростно кричавшую полицейским. Ее лицо было искажено гневом, но Руперту показалось, что он узнал Пепи. Он сбежал по ступенькам вниз. Девушка стояла рядом с четырьмя или пятью парнями; они держались цепочкой, крепко схватившись за руки, и полицейские не могли оторвать их друг от друга.

— Руперт! — донесся до него сверху крик Джо.— Вернись!

— По-моему, это Пепи,— крикнул он ей.

— Не может быть! — ответила Джо. («Я уверена, что это была не она!» — и сейчас настаивала Джо.)

Полицейский обхватил девушку за шею, накинул ей дождевик на голову, и, как она ни отбивалась, трое или четверо полицейских потащили ее в фургон. У подъезда разгорелось настоящее побоище, и инспектор снова погнал Руперта наверх.

— Настоятельно советую вам, сэр, войти в дом, пока мы тут не наведем порядка,— сказал он.

— Я почти уверен, что это была Пепи,— повторял Руперт, стоя посреди бального зала.

— Ну ее к черту, эту Пепи,— сердито бросила Джо.— Да и чем ты можешь ей помочь? Она привыкла к таким похождениям.

— Мы должны выяснить, не ранена ли она,— настаивал Руперт.

Джо отошла от нас в ярости и направилась к двум дамам, которые издали здоровались с ней. Руперт поглядел ей вслед.

— Неужели Пепи ничего вам не говорила? — удивился он снова.— Сцена была безобразная. Какой-то полицейский подталкивал девушку коленом...

— Что я могу сказать...— развел я руками,— мы с ней в ссоре.

— По-моему, вам надо сходить в полицейский участок и выяснить, Пепи это или нет,— убеждал он меня с той упрямой настойчивостью, которая только злит.

— Зачем? — уперся я, решив по-прежнему проявлять характер.— Джо права: Пепи привыкла к таким переделкам.

Руперт, как истый джентльмен, не мог принять мою точку зрения, впрочем, мне и самому она была не по душе. Взяв пальто, я вышел и спросил полицейского, куда отвезли демонстрантов. Я сел в такси и доехал до полицейского участка Мейфейр, где еще продолжали составлять протоколы на арестованных. Когда я спросил, не было ли среди них Пепи Ройс-Кэмпбелл, двое задержанных отозвались: «Да, да, она здесь!» Но сержант заявил, что повидать Пепи мне не разрешат, а увезти ее — тем более. Ей придется провести ночь в камере до утреннего заседания суда.

Тогда я снова поймал такси и вернулся на прием, где мое имя объявили вторично. Разыскав Руперта, я сказал ему, что Пепи сидит в полицейском участке, где ей придется провести ночь.

— Я ее сразу узнал, хотя у нее был совершенно безумный вид,— ответил Руперт.

Я кивнул, и мы снова влились в толпу гостей НАТО.

■

Вряд ли Руперт мог относиться к этому сборищу так, как я. Для меня это было новое, увлекательное зрелище, а Руперта все это раздражало, как тесный пиджак: неудобно в нем чертовски, а скинуть нельзя, остается лишь терпеть и злиться. Приехал он сюда только ради Джо. В его теперешнем состоянии ему претил этот зал, битком набитый людьми, не знающими никаких забот и сомнений.

Среди них у него было много друзей, которые радушно с ним здоровались, но он не отходил от меня. Одной только тете Фло он по-настоящему обрадовался. Мы уже два или три часа почти не трогались с места и стояли у окна.

И вдруг ему захотелось вырвать Джо из этой атмосферы. Было уже поздно, но она все еще танцевала. Теперь ее партнером был некий француз по фамилии д'Эспрэ. Руперт заявил, что пора ехать домой.

— Сейчас?

— Да, сейчас.

— Но почему?

— Пора спать.

Он взял ее под руку, попрощался с Фредди и отказался воспользоваться его «роллс-ройсом».

— Господи, что у тебя за причуды! — не на шутку вспылила Джо, и тут я ей посочувствовал.— На тебя иногда находит такая блажь, что хоть криком кричи! — возмущалась она, садясь в такси.— Я тебя просто не пойму. Все не как у людей!

Шагая домой, я твердо решил жениться на Пепи и увезти ее в Суву, где самый лучший в тропиках климат. Я скопил денег и теперь мог принимать решения. Англичане вдруг стали мне в тягость, и мне захотелось уехать от них подальше.

Быть может, во мне говорило одиночество, а может, любовь. Мне было все труднее обходиться без Пепи, без ее молодого сильного тела, без ее своевэлия и независимого ума. Но, как и Руперта, меня снедали страхи; я понимал, что подвергаюсь опасности в этой изнеженной, скованной предрассудками стране.

Глава двадцать вторая

Наутро, около восьми часов, посыльный принес Руперту длинную срочную телеграмму; ее приняла Анджелина и побежала наверх к хозяину. Руперт распечатал ее, еще не успев стереть со щек мыльную пену.

— Что это? — сонно спросила Джо, приподнимаясь с подушки.

— Телеграмма от Фредди.

— О чем? Что случилось? — встревожилась она.

Руперт присел на кровать и прочел телеграмму вслух.

«Дорогой Руперт. Сегодня в девять часов утра передаю в газеты сообщение, копию посылаю восьми членам нашей семьи — директорам акционерного общества — и четырем другим, включая вас, обладающим правами попечителей, так же как и двум директорам, не членам семьи, секретарю нашей компании и казначею.

Сообщение гласит: «Директор-распорядитель и заместитель председателя британской судостроительной, торговой и транспортной акционерной компании Ройсов и судостроительных верфей «Ройс-Бэркемстед», а также имперской фрахтовой и судоходной компании Ройсов, имеющей отделения в Лондоне, Бомбее, Сингапуре, Гонконге и Сиднее, закончил переговоры с «Юнайтед Стейтс ойл» и с германским химическим и горнорудным концерном «Рейнише фарбверке» о слиянии их капиталов, промышленных предприятий, рынков сбыта, судов, сырья, рудных месторождений и прочего и образовании единого акционерного общества или корпорации, зарегистрированной в Лондоне, Балтиморе и Гамбурге с равным правом голоса для каждой из этих трех компаний».

Джо вскочила с кровати.

— Это и есть то, на что намекал Фредди?

— Обожди. Это еще не все,— сказал Руперт, читая дальше: «...Я хочу поставить в известность наших директоров, что предполагаемое слияние предусматривает серьезные перемены для фирмы Ройсов как у нас в стране, так и за границей Семейное товарищество, которое вело торговые дела на протяжении почти двухсот пятидесяти лет, должно распасться, так как наши новые партнеры — американцы и немцы, имеющие обширные международные капиталовложения в области транспорта, нефти и производства химикатов, являются обычными акционерными обществами. Поэтому компания Ройсов будет распущена и вместо нее организовано акционерное общество, которое затем сольется с нашими немецкими и американскими партнерами и образует концерн «ЮРФ», взяв первые буквы от названий всех трех объединяющихся компаний».

— Выходит, он распустил фирму Ройсов? — текст телеграммы был настолько невероятен, что Джо окончательно проснулась.

Руперт продолжал невозмутимо читать:

«Обладая более значительными капиталами, «Юнайтед Стейтс ойл», так же как и «Фарбверке», намереваются затратить большие суммы на расширение предприятий фирмы Ройсов, в связи с чем капитал нынешних директоров фирмы значительно увеличится, да и все наше имущество повысит свою стоимость. Если такое слияние будет осуществлено, доля каждого из компаньонов фирмы Ройсов в капитале фирмы сразу же увеличится по сегодняшним котировкам минимум в четыре раза, причем, благодаря более широким возможностям и средствам, которыми мы будем располагать совместно с «ЮСО» и «Фарбверке», дальнейшие перспективы будут еще лучше. Срок принятия или отклонения этого проекта — восемь недель начиная с сегодняшнего дня. Подпись — ваш покорный слуга во всех делах компании: Фредерик Холланд Ройс».

— Что это значит?

Руперт потом рассказывал, что он хохотал, как сумасшедший.

— Господи, как он на это пошел! Вот она бомба, которую Фредди обещал бросить! Слил фирму с двумя самыми страшными чудовищами делового мира.

— Но что значит «компания Ройсов будет распущена»? Он отказывается ею управлять?

— Да, во всяком случае, отказывается от семейного правления. Мы сейчас станем обычным акционерным обществом, частью «ЮСО» и «Фарбверке». Но у него это не пройдет.

— Почему ты так думаешь? Фредди знает, что делает.

— Сомневаюсь. Он считает, что подачка в виде четырехкратного или пятикратного увеличения нарицательного капитала каждого из компаньонов соблазнит родню, а я в этом не уверен.

— Держу пари, что Фредди окажется прав! — с жаром воскликнула Джо.

— Рандольф его убьет.

— А я ручаюсь, что он всех переубедит,— сказала она, надевая халат.

— Когда начнется голосование, никто из семьи не даст согласия.

— Что может быть соблазнительнее больших денег? — горячилась Джо.— Деньги — самый лучший стимул. Фредди победит.

— Деньги, может, и лучший стимул, но никто не захочет отдать семейную фирму американцам и немцам. Рандольф этого не позволит. Он уже давно ждал от Фредди чего-нибудь в этом роде, впрочем, как и все мы.

— Ну, я на стороне Фредди,— решительно заключила Джо.

Руперт только с изумлением посмотрел на нее; за завтраком они продолжали пререкаться, а потом Руперт по телефону вызвал такси, потому что у ворот уже караулили газетчики. Когда он выходил, его засыпали вопросами и стали фотографировать. В Сент-Мэри-Экс собралось еще больше репортеров, и он с трудом пробился в контору сквозь их шумную толпу. Ему кричали: «Торгаши!», «Продали английскую фирму иностранцам!», «Предали английское судоходство! Отдали на откуп Америке и Германии!», «На сколько вы лично увеличили свое состояние?», «Это что, генеральная репетиция Общего рынка?»

— А как теперь будет с вашей сделкой на русскую нефть? — крикнул кто-то уже ему в спину.

— А верно, как теперь с этим будет? — пробормотал он, обращаясь ко мне.

Я не понял, о чем идет речь, пока Руперт не показал мне телеграмму.

— Боже мой, Руперт! — воскликнул я.— Да ведь, если он объединится с этими типами, от Ройсов останется мокрое место!

Руперт взглянул на пачку телеграмм и записок, которую миссис Ингрэмс положила на стол — их набралось уже штук пятьдесят,— от лиц и учреждений, о которых мы раньше даже не слыхали, а две из них были от министров. Телефон за дверью звонил, не смолкая.

— Что мне им отвечать? — спросила его с отчаянием миссис Ингрэмс, когда Руперт ей объяснил, что ни для кого, кроме родных, его нет.

— Пусть звонят мистеру Фредди.

— Но большинство из них уже пыталось до него дозвониться, он не желает ни с кем разговаривать, вот они и обращаются к вам.

— Отсылайте их к Гордону, он заведует отделом рекламы и внешних сношений. Теперь настал его час.

Мы сидели молча, Руперт задумчиво на меня поглядывал.

— Ну вот, Джек, последняя надежда, которая еще оставалась у нас после свидания с Бендиго, рухнула. Можно собирать монатки и уходить.

Мне нечем было его утешить. А высказывать свою точку зрения не хотелось. Что ж, после ночного угара наступило холодное, трезвое утро. Интересно, понимает ли Руперт, что Фредди с самого начала пользовался нами как ширмой для своих махинаций? Мне казалось, что Руперт еще боится себе в этом признаться.

Выложил все это нам сам Фредди, сделав вид, что его мучают угрызения совести.

Он явился около полудня. Закрыв за собой стеклянную дверь, как бы отгородившись ею от внешнего мира, он сел и задрал ноги на подоконник. На его обычно розовом лице лежал серый налет, вид у него был нездоровый, утомленный.

— Ну? — спросил он Руперта.— Что вы на это скажете?

— У вас этот фокус не пройдет,— ответил Руперт.

Фредди явно хотелось передохнуть, глаза у него были воспалены от бессонницы.

— Говорят, что безумие от вдохновения отделяет тонкая, едва приметная черта,— сказал он.— Значит, если я хочу доказать, что действовал по вдохновению, мне надо сохранять рассудок.

— Никто в семье не поверит, что вы действовали только по наитию,— заметил Руперт.

— Я нашу семью знаю лучше, чем вы,— презрительно огрызнулся Фредди.— Все согласятся. Я взвесил свои шансы на успех, и только Рандольф, Кэти и, пожалуй, вы окажете серьезное противодействие. Но я надеюсь вас убедить, что шаг этот неизбежен и даже выгоден.

— Неизбежен, признаю,— согласился Руперт,— но меня это не убеждает. Зачем отдавать свой капитал «Юнайтед Стейтс ойл» и «Фарбверке»? Зачем это вам, Фредди?

— Затем, что возможности такого концерна фактически беспредельны.

— Не спорю,— ответил Руперт,— но не вы будете им управлять.

Фредди сказал, что сейчас у него только одно желание — выпить; он вызвал миссис Ингрэмс, попросил принести из зала совещаний бутылку водки, вермута и льда и никого сюда не пускать.

— А что еще вас беспокоит в этом деле?

— «Фарбверке»,— ответил Руперт.

— Почему? Чем «Фарбверке» хуже Ройсов?

— Бросьте, Фредди! — возмутился Руперт.—Что такое «Фарбверке» и чем она занимается, мир узнал еще пятьдесят лет назад: у ее продукции давно печальная

слава, а клеймо Нюрнбергского процесса так и не смыто с имени старого Хинкеля: это он производил газ для лагерей уничтожения и пользовался рабским трудом у себя на заводах.

— Не судите, да не судимы будете, — резко произнес Фредди.— Все мы одним миром мазаны. Вы видели наши доки в Шанхае и Кантоне до войны?

— Только мальчишкой.

— Тогда вы должны знать, что весь город Шанхай, например, был чем-то вроде концлагеря или гетто фирмы Ройсов и ей подобных. Весь международный сеттльмент существовал на рабском труде — мужчин, женщин, детей. Вас возмущает, что немцы зверски истребляли европейцев, а не черных или китайцев, вот и все,— жестко закончил Фредди.

— Может, вы и правы,— согласился Руперт.— Но зачем вам это вообще? Ройсам не грозит катастрофа.

— Не повторяйте глупой болтовни Рандольфа. Мы вот-вот сядем в лужу. Такая гигантская фирма, как наша, либо должна расширяться, либо вылетает в трубу. Третьего исхода быть не может.

Вошла миссис Ингрэмс с водкой, вермутом и льдом; Фредди приготовил нам всем мартини и стал размешивать свой коктейль стеклянной палочкой. Он послал секретаршу за лимоном.

— Ладно, чего нам спорить,— сказал, поразмыслив, Руперт.— Но я хочу довести до конца то, ради чего я пришел к вам. Что теперь будет с моей сделкой на русскую нефть?

— Я как раз хочу об этом сказать,— начал Фредди воинственно.— Понимаете, я ведь воспользовался вашей затеей с русской нефтью, постройкой судов и союзом с Верокио, чтобы отвести глаза Бендиго и Наю и сбить их со следа.

Руперт поставил свой запотевший стакан на стол.

— У меня были такие подозрения, но я не хотел в это верить.

— Не думайте, что я вас просто обманывал,— поспешно вставил Фредди, глядя в залитое дождем окно.— Обмана не было. Но вы сыграли мне на руку, когда предложили сделку с русскими. Собственно, помогли мне не столько русские, сколько договор с Верокио, которым я смог прикрыть свои истинные намерения.

— В какой же мере это все-таки было обманом?

— Ни в какой.

— Скажите правду.

— Я же вам объясняю, как я использовал ваш проект. Единственные люди, не считая Рандольфа, которые были достаточно сильны и достаточно заинтересованы, чтобы сорвать мои переговоры с «ЮСО» и «Фарбверке» в самом начале, это Бендиго со своими нефтяными компаниями и Най со своими политическими кругами. Я боялся возбудить у них малейшее подозрение о том, что я договариваюсь с «ЮСО» и «Фарбверке». Стоило им узнать, что задумано дело таких масштабов, и они немедленно приняли бы контрмеры и провалили его. Я хотел втереть им очки, чтобы они думали, будто я затеваю скромную сделку с голландцами и итальянцами, а русской нефтью угрожаю только для отвода глаз.

— Ну, и помогло? — сухо осведомился Руперт.

— Как нельзя лучше,— с милой откровенностью признался Фредди.— Они, правда, понимали, что к сделке с русскими нельзя относиться серьезно, но все гадали, что именно я стараюсь ею прикрыть, и попали пальцем в небо.

— А почему вы мне не сказали правды?

— Это вынудило бы вас лгать.

— Вы имеете в виду мой разговор с Бендиго и Наем?

— Если бы вы тогда знали, что я замышляю, вы бы не смогли разыграть положенную вам роль.

— Хорошо, что я был хоть чем-то вам полезен.— Руперт, очевидно, не ожидал от Фредди такого коварства; его дружеским чувствам был нанесен жестокий удар.

— Не становитесь в позу обиженного. Я использовал вас так же, как вы использовали меня. Ведь вы вошли в дело только из личных интересов, связанных с русскими, правда?

— Пожалуй, правда. Но я вас честно об этом предупредил.

— Не становитесь в позу обиженного,— повторил Фредди.— Я хочу, чтобы вы меня поняли, Руперт. Вы — больше, чем кто-либо другой. Когда вся эта история уляжется, я хочу, чтобы вы со мной работали.

— А я хочу добиться заключения договора на продажу судов русским,— решительно заявил Руперт.

— Вот и хорошо! У вас сейчас больше шансов на успех.

— Почему?

— Най и Бендиго сделают все, чтобы помешать мне договориться с «ЮСО» и «Фарбверке». Они поднимут на ноги правительство, казначейство, пустят в ход деньги, политический шантаж — словом, раздуют скандал и ни перед чем не остановятся. Они не могут допустить такого объединения.

— Ну и что?

— Когда наше слияние будет одобрено правительством, все пойдет иначе. У вас есть только одна возможность провести сделку — суда за нефть — это поддержать меня.

— А как быть с междоусобицей в нашем семействе?

— Никакой междоусобицы нет,— раздраженно возразил Фредди.— Противиться будет только Рандольф. Остальные...— он пренебрежительно передернул плечами.

Руперт жестом показал на лежавшие перед ним газеты.

— А как вы преодолеете оппозицию прессы?

— Чепуха! — бросил Фредди.— Я выиграю. Может, не без труда, но в конце концов выиграю. Могу я на вас рассчитывать?

Руперт пристально поглядел ему в глаза.

— А почем я знаю,— сказал он,— что вы снова не сыграете на моей глупости или доверчивости?

Фредди резким движением опустил ноги на пол. С минуту он молчал, нахмурившись.

— Да, это была подлость,— проговорил он, наконец.— Но я ее искуплю.

В дверях он задержался.

— Я не шучу, Руперт,— объявил он торжественно.— Вам с Джеком не на что будет жаловаться. Даю честное слово, вы получите большую, ответственную работу, которая вас удовлетворит...— Он затворил за собой дверь, не договорив фразу до конца.

Руперт разлил остатки водки.

— Как вы на это смотрите, Джек? — задумчиво спросил он.

Лицо его было непроницаемо, а за всегдашним спокойствием чувствовались какой-то холодок, отчуждение и, по-моему, даже тоска.

— Все зависит от того, чего вы добиваетесь,— ответил я.

— Строго говоря, только договора на русскую нефть.

— А фирма?

— Ну, что касается фирмы, тут Фредди абсолютно прав,— проронил он небрежно.— Мне надо решить, что делать, если я его не поддержу.

— Чего вам беспокоиться, вы и так достаточно богаты.

— Вы думаете? — сухо осведомился он.— Должен сказать, что это мне все опротивело.

— Тогда почему бы вам на все не плюнуть? — снова предложил я.— Это можно сделать теперь или никогда.

— Пока еще не могу,— с трудом выдавил он сквозь зубы, хотя, по-моему, предложение Фредди не могло его оставить равнодушным.

Впрочем, как и меня.

Глава двадцать третья

Я все утро звонил Пепи, но там никто не отвечал. В обеденный перерыв я пошел к ней, она принимала ванну. Ей пришлось мокрой открыть мне дверь, и она стала ворчать, что из-за меня наследила на своем красивом ковре. Потом она снова надолго заперлась в ванной, а я ждал, пока она кончит возиться.

— Меня всегда тошнит от гнусного неистребимого запаха хлорки в полицейских камерах. Потом эту вонь никак не отмоешь,— пожаловалась она.— Разит даже от пищи. Все равно что жить в общественной уборной.

Она ничуть не удивилась, что я пришел, а ее влажные волосы и ненакрашенные глаза совсем меня обезоружили. В ней вдруг появилась какая-то беззащитность. Я спросил, что теперь будет, ее ведь однажды уже приговорили условно к тюремному заключению и в суде предупредили, что если еще раз арестуют, она отсидит положенный срок.

— Будут судить,— сказала она.— Меня выпустили на поруки. Но я на суде не признаю себя виновной.

Мы мирно с ней пообедали, а потом я ушел, чтобы вместе с Рупертом проводить Пегги и Джо на аэродром.

В зале ожидания Пегги принялась говорить Руперту о том, как она завидует ему и Джо, их налаженной семейной жизни.

— Нет, я решила: заберу детей из интерната,— говорила она.— Просто варварство — отсылать малышей из дому в восемь лет!

— Да, я сам ребенком страдал от этого,— согласился Руперт.

— Вы с Джо молодцы, что оставили своих дома.

Она смотрела на него, ожидая сочувствия. Я понял, что им мешаю, и отошел. Пегги хотелось пооткровенничать с Рупертом. Он потом в пересказе безусловно смягчил этот разговор, но суть его, как видно, передал точно.

— Мне давно хотелось посоветоваться с каким-нибудь мужчиной,— сказала она,— и вы — единственный нормальный человек из всех, кого я знаю.

— А Фредди? — удивился он.

Она улыбнулась и сказала, что хочет поговорить с ним именно о Фредди.

— Я хотела вас спросить, как он, по-вашему, поступит, если узнает, что я его обманываю.

— Обманываете? — не сообразив, переспросил Руперт.— В каком смысле обманываете?

— Как жена обманывает мужа, глупенький.

Руперт почувствовал себя неловко.

— Откуда мне знать, Пег? Меня бесполезно об этом спрашивать. Ей-богу, не знаю.

— Но у вас с Фредди так много общего во взглядах на мораль, хотя вы и по-разному смотрите на жизнь. Вот почему я хочу знать ваше мнение.

— Что я могу вам сказать? — ответил Руперт.— Сомневаюсь, чтобы я хоть в чем-то был похож на Фредди.

— Ну, а вы как бы на это посмотрели?

— Не знаю. Думаю, что всякий может совершить ошибку... Ну, минутное затмение...

— Да нет же, нет,— спокойно пояснила она.— Это продолжается довольно долго.

— Но почему? — спросил он, преодолевая неловкость.— Мне казалось, что вы с Фредди так хорошо живете.

— Неплохо,— сказала она каким-то будничным тоном.— В общем, живем прекрасно. Но все не так просто. В этой сфере все непросто. Я хочу сказать, в сфере физиологии. Хотя меня вовсе не это волнует. Меня беспокоит не моя интимная жизнь, а Фредди. Я бы предпочла сама ему сказать, кто это, чтобы ему не пришлось ничего выяснять.

— Не надо,— настойчиво попросил ее Руперт.— Не говорите ему.

— Почему?

— Потому что мужчина никогда не сможет этого забыть. Не говорите Фредди,— повторил он.— Не делайте этого, Пег. Ведь он пока ни в чем не уверен.

— Уверен. И будет куда хуже, если он сам узнает, кто это. Особенно теперь.

Руперт не стал спрашивать, с кем она живет, но Пегги сама назвала ему имя.

— Это Пинк Бендиго.

— Вы сошли с ума! — вырвалось у Руперта.

Но Пегги была по-прежнему невозмутимо спокойна. Руперт был поражен..

— Вы нанесете ему удар, если скажете,— убеждал он ее.— У него и так хватает забот. Он совсем упадет духом.

— Может быть. Но мне надо вылезти из этой трясины. Не то я сойду с ума,— все так же спокойно сообщила она.

Глава двадцать четвертая

Всю неделю нас не покидало ощущение, что мы переживаем кризис, и хотя кризисов вокруг скопилось уже с добрый десяток и решений надо было принять столько, что и не перечислишь, вопрос, который стоял перед Рупертом, в общем сводился к одному.

Пожалуй, все могло пойти по-другому, хотя я не знаю как. Я говорю не о решении семейного совета по поводу слияния фирмы и даже не о том, что Руперт faute de mieux * стал на защиту интересов Фредди. Настоящие неприятности начались из-за Нины Водопьяновой, правда, немного позднее.

В первые дни скандала вокруг фирмы Ройсов тяжелее всего пришлось Руперту и мне, главным образом из-за отсутствия Фредди. Только на второй или на третий день газеты поняли истинный характер сделки, и хотя некоторые из них не порицали Фредди, однако рассуждения о судьбах фирмы Ройсов и о том, как скажется такое слияние на традиционных представлениях европейцев о Британии — владычице морей,— в общем-то сводились к тому, что Фредди предал Англию. И в зависимости от позиции, излагавшейся в той или иной статье, сразу можно было узнать, какие газеты принадлежат Пинку Бендиго и Наю или находятся под их контролем.

Нас ежедневно с утра до вечера донимали представители прессы и всевозможные учреждения, частные лица, биржевые маклеры, банки; мы отвечали на сотни телефонных запросов из Америки, Германии, Италии, Франции. Служащих Фредди мучили еще больше, чем нас. В конце концов мы ушли из конторы и, по примеру Фредди, пустили все на самотек. Фредди поступил весьма предусмотрительно, исчезнув из Лондона. Когда он вернулся, самое страшное было уже позади, правда, он клялся, что в Балтиморе ему было ничуть не легче.

Он вернулся на третий или на четвертый день, когда нам уже успела осточертеть вся эта шумиха, и нахально заявил:

— Я же вас предупреждал, что тут будет. Поэтому я и отослал отсюда Пегги и Джо. Но не волнуйтесь. Еще неделька, и шум пойдет на убыль. Вот увидите.

При двух самых важных событиях я, однако, не присутствовал, и хотя Руперт изложил их мне очень живописно и зло, он опустил много подробностей, так что мне

---

* За неимением лучшего *(франц.)*.

приходится их восстанавливать самому — к счастью, я хорошо знаю участников драмы и обстановку, в которой она разворачивалась.

Первое событие произошло вечером, на четвертый или пятый день после отъезда Джо.

Руперт поздно вернулся домой после ужина с Фредди, семейным поверенным в делах Парком и — хотите верьте, хотите нет — Пинком Бендиго. На крыльце своего дома он встретил поджидавшего его адмирала: видно, Лилл сидел где-то поблизости в машине, пока ему не сообщили, что Руперт выехал домой.

Руперт был удивлен, но пригласил адмирала войти. Вместе со своим котелком Лилл крепко сжимал в руке какую-то папку. Не снимая пальто и даже перчаток, он опустился на краешек дивана в нетопленой гостиной. Розовую папку он положил рядом на столик перед трюмо и постучал по ней пальцем.

— Взгляни, пожалуйста,— сказал он без обычных околичностей,— и ты убедишься, что миссис Водопьянова — подосланный к тебе агент. Она должна либо завербовать тебя, либо шантажировать.

— **Шантажировать!** Меня? — спросил Руперт.— Это уже что-то новое...

— Да, раньше я не поднимал этого вопроса,— согласился адмирал,— но нам давно все было известно. Я тебе ничего не говорил, потому что мы надеялись и так избежать неприятностей.

— Тогда я на вашем месте не поднимал бы этого вопроса и сейчас,— отрубил Руперт.— Это же абсурд!

Адмирал снял перчатки.

— Сейчас все это уже не имеет значения. Но каково бы ни было ее влияние на тебя, тут находятся неопровержимые доказательства.— Он снова постучал по папке.

— Откуда вы получили эти сведения? — спросил Руперт, взяв папку в руки.

Лилл впервые улыбнулся:

— У нас имеются свои источники информации, сам знаешь.

— И вы уверены, что сможете меня убедить?

— Без всякого сомнения.

Руперт положил папку на место и отошел к холодному камину. Так они и стояли, оба в пальто, друг против друга, разделенные стеной непримиримой вражды, одни в пустом доме, где не было ни огня, ни Джо, не слышно детей, не накрыт на столе непременный в Англии чай, нечего выпить и кажется, будто кончилась жизнь.

— Ну, допустим, вы меня убедите. Что я, по-вашему, должен сделать?

Адмирал на минуту задумался.

— Трудно сказать. Может быть, и ничего. Главная опасность в тебе самом, Руперт. Ты это знаешь. Когда я смогу тебе доказать, что ты все время был для них только желанной добычей, мы себя почувствуем спокойнее.

— Понятно.

— И тогда ты сможешь поступать, как хочешь, более или менее.

Руперт снова взял в руки папку.

— Неужели здесь все доказательства? — спросил он.

— Уверен, что тебе их будет достаточно,— сухо проронил адмирал.

Руперт протянул ему папку.

— Нет, адмирал. Мне не интересно.

— Понимаю твое чувство. Но ты сделаешь глупость и проявишь душевную слабость, если не прочтешь. От правды никуда не уйти.

— Мне не нужны бумажки, чтобы знать о человеке правду,— заявил Руперт.— И чем больше вы настаиваете, тем решительнее я отказываюсь. И в этом виноваты вы сами.

— Неужели я так и не смогу тебе втолковать,— в голосе адмирала прозвучало раздражение,— какую беду ты на себя навлекаешь? Неужели ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь?..

— Вы можете поступать как угодно,— перебил его Руперт,— это ничего не изменит. Я не сделаю того, чего вы добиваетесь.

— Ладно,— тихо сказал адмирал.— Тогда я должен тебя предупредить: мы постараемся, чтобы миссис Водопьянова не покинула нас. В этой папке достаточно доказательств, позволяющих нам поступить с ней, как она того заслуживает.

— Она пользуется правом дипломатической неприкосновенности,— резко указал ему Руперт.— Вы не посмеете ее задержать.

— В данном случае мы можем взять под сомнение ее право дипломатической неприкосновенности.

— Я вас уже предупреждал, что я сделаю, если вы ее тронете.

— Помню,— с обидой заметил адмирал.— Но неужели ты не видишь, что выбрал путь, который приведет тебя к гибели? Неужели не видишь, что все это обрушится на твою же голову и единственное твое спасение — вести себя не так безответственно. Иначе я ничем не смогу тебе помочь.

Адмирал взял папку и снова протянул ее Руперту, но тот лишь брезгливо взглянул на нее. И снова повторил, что не дотронется до нее и пальцем. Тогда адмирал согнул папку пополам, сунул ее в карман своего темно-синего двубортного пальто и сказал «прощай», словно умывая руки во всем этом деле. Они вместе спустились по лест-

нице, обменялись у дверей, как принято, рукопожатием, и Лилл зашагал к ожидавшей его машине.

Наутро Руперт позвонил в советское посольство и, назвав себя, попросил Нину Водопьянову. Ему пришлось обождать, а потом другой голос вежливо, но тоном, не допускающим возражений, сообщил, что Нины Водопьяновой нет, она не может подойти к телефону. Руперт передал, что заедет в посольство через полчаса, так как ему необходимо ее повидать.

В посольстве ему открыл дверь какой-то русский, поднявшийся из-за стола с четырьмя телефонами. Он спросил Руперта, по какому он делу. Руперт назвался, объяснив, что пришел к Нине Водопьяновой.

— Пожалуйста,— по-русски сказал молодой человек и проводил Руперта в одну из приемных, где горничная в переднике и наколке накрывала на столике чай.

За окнами приемной виднелся розарий и теннисный корт. Руперт услышал шаги Нины и поспешно обернулся.

— Простите, что я так бесцеремонно ворвался,— сказал он, вставая.— Но у меня не было другого выхода.

— Ничего,— сказала она.— Я вас ждала. Я знала, что вы придете.

— Я могу говорить с вами здесь?

— Почему же нет? Давайте выпьем чаю.

Она жестом показала на поднос, и они сели к столику: она — на диванчик, обитый французским узорчатым шелком, а он — в мягкое кресло. Нина налила ему чай и предложила соленые крекеры с икрой и крабами. Некоторое время они молчали, словно прислушиваясь к своим горестным мыслям и чувствуя в сердце одну только безнадежность.

— Когда вы уезжаете? — спросил, наконец, он.

— В будущую пятницу.

— Скоро...— Он поколебался, но понял, что обязан ей **все** сказать напрямик.— Я пришел предупредить вас, что они намерены помешать вашему отъезду.

Она прикрыла глаза и чуть заметно кивнула.

— Вы об этом знаете? — удивился он.

— Мне сказал тот самый молодой англичанин, когда мы ездили с делегацией в Гринвич. На нем был грязный дождевик, и я заметила его только на катере, когда мы переезжали на ту сторону реки,— он сел со мной рядом. Он пугал меня всякими ужасами.

— На этот раз, Нина, я не в силах ничему помешать. Я могу только предостеречь.

— Как грустно, Руперт. Смотрите, сколько бед мы принесли друг другу.

— Да,— отозвался он.— Но теперь уже ничего не изменишь.

— Чего они хотят? — спросила она с возмущением.— Выведать у меня тайны, которых я не знаю?

Он беспомощно улыбнулся.

— Они хотят узнать мою тайну, а ее-то, пожалуй, вы одна и знаете.

— Что? Вы серьезно?

— Да нет, шучу,— сказал он, надкусывая крекер.— Но они думают, что я скрываю какую-то страшную тайну. И что вы знаете ее... А вашим вы что-нибудь говорили? — спросил он, оглядываясь.

— Сказала, что ко мне пристают какие-то люди из-за моей дружбы с вами. И как это происходит. Наши хотят избежать скандала, и поэтому я живу здесь. Им было бы неприятно попасться на провокацию.

— Да, но понимают ли они, что, когда вы будете садиться в самолет, вас могут задержать?

— Кто посмеет меня тронуть? — возмутилась она.— Этого не может быть!

Руперт гадал, что́ в ней говорит: душевная сила или уверенность советского гражданина в мощи своего государства, способного вызволить его из любого трудного положения? Но он понимал, что для него она потеряна.

— И все-таки они попытаются вас не выпустить,— настаивал он.

— Но почему? Я ведь ничего дурного не сделала, Руперт. Какое они имеют право?

Он вспомнил розовую папку адмирала.

— Тем не менее они считают, что вы представляете для них опасность, а я являюсь вашей добровольной жертвой.

— Мне все равно, пусть делают, что хотят,— упрямо твердила она.— Я уеду, как собиралась. Они не смогут меня задержать.

Ему хотелось бы смотреть на вещи так же просто, но он понимал, что это невозможно. В Нине жила такая убежденность в правоте своих жизненных целей, что он мог только завидовать ей.

Кто-то ее позвал, и она сказала, что ей пора. Прощаясь, он предупредил Нину, что, может быть, ему не удастся повидать ее перед отъездом.

Тут стена, которой она себя окружила, сразу рухнула.

— Руперт, прошу вас...

Он вспомнил, как на Белорусском вокзале, когда отходил поезд, она прятала от него лицо, чтобы скрыть свои чувства. Теперь была его очередь скрывать от нее

то, что у него на сердце. Грозившая им опасность вновь пробудила их тайное влечение друг к другу, и он понял, как любит эту простую и чистую душу, как преклоняется перед ее ясностью и прямотой.

Не знаю, как они простились,— этого Руперт мне не рассказал. Не знаю, говорили ли они о горечи утраты, о своем раскаянии, о той боли, которую невольно причинили друг другу. Думаю, что о себе они не сказали ни слова, потому что оба понимали, как непреодолимо разделяют их два враждебных мира, мира, где царят такие разные законы. Их привязанность была слишком безнадежной, поэтому они не хотели признаться в ней даже самим себе.

— Плохо дело, Джек,— горестно сказал мне Руперт.— Она не понимает, что ей грозит.

Он знал, что только от него зависит, сможет ли она вернуться на родину. В этом он был убежден.

■

И тем не менее Руперт, возможно, уступил бы Лиллу, если бы не еще одно обстоятельство, которое тоже сыграло свою роль, повлияло на его решение и заставило выбрать честный, прямой путь.

Через несколько дней, часов в пять, когда служащие толпой покидали здание фирмы, а по лестнице стучали каблучки-гвоздики и в лифтах хихикали девушки, с любопытством оглядываясь на Руперта, нас вызвал к себе дядя Рандольф. Мы направились по длинным коридорам в кабинет к старику, который ждал нас, всем своим видом напоминая, по обыкновению, морского волка.

У Рандольфа был сильный насморк, и в закупоренной комнате царила невыносимая духота.

Старик был совсем болен и беспрерывно сморкался в бумажные салфетки, которые он скатывал в комок и кидал возле себя на пол.

— Когда Фредди объявил о своей грязной махинации, я думал, у тебя хватит элементарной вежливости зайти и поговорить со мной,— обиженно обратился он к Руперту, как только мы вошли.— Но хорошие манеры теперь не в чести в нашей семье.

— Я ведь знал, как вы отнесетесь к проекту Фредди,— уклончиво ответил Руперт,— какой смысл было мне вам о нем рассказывать?

— Разумеется, я своей точки зрения ни от кого не скрывал,— с горечью произнес Рандольф.— Но это тебя не оправдывает.

Руперту, по-видимому, стало его жаль, и он извинился.

— Дайте мне слово, что до Фредди ни при каких обстоятельствах не дойдет то, что я скажу. Ни до Фредди, ни до кого-либо другого. Как бы дело ни повернулось. Даете?

Руперт обменялся со мной взглядом.

— Если вы на этом настаиваете,— нетерпеливо бросил он.

Старик мельком взглянул на меня, и я заметил:

— Почему нет? Обожаю всякие тайны.

Но Руперту не понравилось дядино предисловие, и он сухо спросил:

— А вы уверены, дядя Рандольф, что хотите посвятить нас в ваши секреты?

— Ты не очень зазнавайся,— буркнул Рандольф.— Я не собираюсь открывать свои секреты. Я хочу сделать вам предложение.

Это заставило нас насторожиться.

— Я намерен помешать Фредди, и вы это знаете,— начал Рандольф.— У меня есть союзники как в семье, так и вне ее. Фредди думает, что найдет большую поддержку у родни, чем я. Что ж, может, и так. С этих дураков станется! Но у меня припасены другие методы убеждения, к которым, поверьте, мне не хотелось бы прибегать без крайней необходимости. Ты унаследуешь все деньги твоей матери, то есть не только состояние твоего отца, но и ее собственный капитал — деньги Стонхэмов; это — не считая того, что вложено в нашу фирму на твое имя. Думаю, что сумма выйдет изрядная.

— Более чем достаточная,— вставил Руперт.— Не могу сказать, что я так уж мечтаю об этих деньгах.

— Дело не только в деньгах. Я не вечен, а Кэти я лишил наследства. Она кое-что получит от матери, которая тайком от меня сделает глупость и оставит ей порядочный куш, но основное мое состояние, так сказать, повисло в воздухе, а я против того, чтобы завещать свои деньги приюту для бродячих собак, лабораториям или клубу, где старушек учат вязать. Я хочу оставить капитал тому, кто толково использует его для фирмы Ройсов.— Тут он поглядел на меня, словно наконец заметил, что я тут, и сказал: — Я завещаю крупную сумму Пепи, и так как ты, очевидно, единственный серьезный претендент на ее руку, я согласен оказать значительную помощь и тебе лично, если ты примешь мое условие.

Не могу сказать, чтобы меня удивило его предложение, но меня искренне поразила грубая прямота, с какою оно было сделано.

— Вы предлагаете мне Пепи, дядя Рандольф? — осведомился я.

— Сейчас увидишь.

— А что, если Пепи меня не захочет?

Руперт клялся потом, что я вел себя не очень достойно, но мне в ту минуту хотелось только слегка осадить старика, и не больше.

— Это уж твоя беда,— съязвил дядя Рандольф.— Но если ты с ней живешь, почему бы тебе на ней не жениться? А что касается тебя,— повернулся он к Руперту,— я согласен завещать тебе Уошберн и свою долю в фирме Ройсов, если ты возьмешься за ум, пока не поздно.

Руперт очень правильно отнесся к этому великодушному предложению. Он помолчал, а потом медленно и весьма наставительно произнес:

— Вам же вовсе не хочется делать меня своим наследником, дядя Рандольф.

— Правда, не хочется,— жалобно признался старик.— Но я согласен и на это. Больше того, я пойду на это охотно, если ты выступишь против Фредди и его подлой сделки с «ЮСО» и немцами. Она и тебе самому вряд ли нравится. Ты ведь не такой дурак.

— Да, она мне не нравится,— подтвердил Руперт,— но я не вижу лучшего выхода, а что-то в этом роде все равно неизбежно.

— У фирмы найдется другой выход! — горячо воскликнул Рандольф.— Фредди намерен прикончить нашу фирму, любой здравомыслящий человек это понимает! Ведь и ты это понимаешь.

— Да, но наша фирма как семейный концерн доживает свои дни. Это тоже очевидно. Ее время прошло.

— Что за малодушие! — возмутился старик.

— Конечно, никому не хочется ликвидировать все под корень,— возразил Руперт.— Ну, а есть другой способ сохранить дело при теперешнем порядке вещей? Скажите сами!

— Если семья узнает, что ты мой наследник,— убеждал Рандольф,— и ты ищешь других путей, тогда все пойдут за тобой, а не за Фредди. Клянусь, это будет так.

— Ничего подобного,— отрезал Руперт.— Я ни черта не смыслю в ваших делах. Чего ради они будут меня слушаться?

— Ты разбираешься во всем не хуже их,— буркнул Рандольф,— хоть еще и очень мало. А набравшись опыта, ты справишься, кое-как, но справишься. Да и у меня осталось еще несколько лет, чтобы тебя поучить.

Руперт молчал, и я видел, что он не знает, что ответить и как ответить. Почувствовал ли он в этот момент соблазн принять предложение Рандольфа? Мне казалось, что искушение было очень велико.

— Зря вы делаете на меня ставку. Мне Фредди не одолеть.

— Знаю. Однако ему на эту аферу надо иметь не только согласие семьи, но и разрешение правительства и казначейства, только разрешения этого он еще не получил, и ряд весьма влиятельных лиц приложит все силы, чтобы его не дали.

— Вы имеете в виду Ная и Бендиго?

— Да, и себя самого. Я помогаю им, чем могу. Раз Фредди пошел на открытый скандал без грязи не обойдется. Что ж, пусть сидит в ней по горло.

— Не думаю, чтобы им удалось остановить Фредди,— возразил Руперт.— У него тоже есть союзники. Разве правительство при его теперешней политике выступит против «ЮСО» и «Фарбверке»?

— Ничего, у меня есть возможность опорочить Фредди,— произнес старик с угрозой.

— Он и к этому готов.

— Нет, не готов,— заявил Рандольф. Он выдвинул средний ящик стола, достал какую-то папку и положил перед собой.— Знаешь, что это? — спросил он.

На столе лежала пресловутая розовая папка Лилла, и хотя я и сам об этом догадался, мне мгновенно подтвердил это Руперт. Он на глазах превратился из спокойного человека, который вежливо беседовал со стариком, во врага, готового пырнуть ножом дядю Рандольфа.

— Да, знаю,— произнес он после секундной паузы, и меня поразил ледяной холод его взгляда.— А что вы намерены с этим делать?

— Я предлагаю тебе выкуп. Возможно, по-твоему, это недозволенный прием, но ничего не поделаешь.

— Спрячьте вашу папку. Даже у Лилла ничего не вышло,— процедил Руперт.

— При чем тут Берти Лилл? — высокомерно произнес старик.— У него свои дела, у меня свои. И мне наплевать на то, что тут есть.— Он похлопал ладонью по папке.

— И мне тоже,— прервал его Руперт.— Ничуть не меньше, чем вам.

Я уже достаточно близко знал Ройсов и имел представление о том, как беспардонно может вести себя старик Рандольф: он никогда не считался с тем, кого хотел обездолить, и не выбирал для этого средства, он шел на любую подлость — лишь бы сохранить то, что, по его мнению, надо было сохранить.

— Возможно, у тебя и хватит храбрости послать Лилла ко всем чертям,— сказал он, пристально вглядываясь в Руперта,— а вот у Фредди кишка тонка.

— Вы собираетесь шантажировать меня, чтобы запугать Фредди?

— В скандал, который поднимут вокруг тебя, будут замешаны русские, их нефть, их шпионки. А это вряд ли понравится американцам, нашей родне, газетам, да и вооб-

ще всем. И, как только скандал разразится, я от тебя отрекусь. По уставу я могу даже аннулировать твою долю в капитале фирмы. Вот тогда ты посмотришь, что будет вытворять Фредди, как он постарается избавиться от тебя.

— У вас нет ни совети, ни чести,— тон у Руперта был невозмутимый,— но в этом деле их нет и у меня.

Рандольф одернул свой синий китель.

— Не могу сказать, чтобы ты мне слишком нравился,— признался он.— Но это не играет роли. Тебе можно доверять, и если ты дашь слово, что выступишь против затеи Фредди и будешь меня слушаться, я охотно оставлю тебе нашу фирму в наследство и помогу очиститься от всей этой мути в твоей жизни.— Он швырнул папку на стол.

— Уберите ее,— спокойно приказал Руперт.

— Не забудь вот о чем,— не слушая его, продолжал Рандольф.— Главное в твоей жизни — это долг перед женой и детьми. Они для тебя важнее всего — важнее и меня, и Фредди. Подумай, что будет с Джо, если эта история выйдет наружу.— Он снова презрительно щелкнул по розовой папке.— Что будет с твоими детьми?

Руперт молча встал, и я с радостью последовал его примеру. Я ждал, что он сейчас схватит папку и ударит ею старика, но, видно, недостаточно его знал. Голубые глаза Руперта были холодны, как лед.

— Вы всерьез верите тому, что тут написано? — спросил он Рандольфа, показывая на папку.

— Верю я или нет — какая разница. Меня это не занимает. Я пекусь только о фирме Ройсов и хочу получить обещание, что ты пойдешь против Фредди. Тогда со всей этой историей будет покончено раз и навсегда.

Старик ждал ответа, но Руперт глядел на него, не произнося ни слова.

— Ну?

— Я думаю, как бы повежливее послать вас к черту, хотя вы даже этого не стоите,— выговорил наконец Руперт; голос его был по-прежнему ровен.

— Зря ты так,— неожиданно смягчился старик, поняв, что нажим получился слишком прямой и слишком грубый.— Ты лучше подумай. Фредди не спешит собирать семейный совет, время у тебя еще есть.

Руперт направился к двери, и я покорно пошел следом за ним. Он ни слова больше не сказал дяде Рандольфу. Старое, самоуверенное лицо выражало обиду, злость, горечь, недоумение — сознание своего поражения и одновременно желание перегрызть противнику глотку. Он высморкался, скатал салфетку в комок и кинул на пол.

— А ты? — рявкнул он мне.

— Отложим этот разговор, дядя Рандольф,— возможно спокойнее сказал я.

И он резко повернулся в своем вертящемся кресле к нам спиной. Как только мы вышли в облицованный красным деревом коридор, я спросил Руперта:

— А папка?

— Если Фредди победит, старик с благословения Лилла ею воспользуется.

— Вы собираетесь все бросить и выйти из игры? — спросил я, понимая, что для Руперта это сейчас, пожалуй, единственное спасение: надо выходить из дела, пока цел.

— Нет,— сказал он.— Я не отступлю ни на шаг.

Глава двадцать пятая

К моему огорчению, Фредди держал сейчас Руперта в руках крепче прежнего. Когда Фредди вдруг созвал семейный совет (застав Рандольфа врасплох), казалось, что дело ограничится утверждением его проекта и выбором людей, которые, с общего согласия семьи, будут осуществлять слияние фирмы с немцами. Нас с Рупертом тоже должны были выбрать, и хотя мне это льстило, а чуждый мир, которого я не строил и не получал в наследство, манил меня, я уговаривал себя, что занимаюсь всем этим только ради Руперта. Мое будущее теперь связано с ним, мне суждено разделить его судьбу. И это меня только радовало.

Семейный совет представлял собой внушительное зрелище, несмотря на то что это было скопление разношерстной публики, вроде той, что видишь в кино. Все болтали, смеялись, курили. Тут были мужчины и женщины разного возраста и облика: все они были Ройсы, или частично Ройсы по боковой линии, но не те, кто вершил судьбами ройсовской компании. Просто собрались все члены семьи, извлекавшие деньги из предприятий фамильной фирмы, однако, когда я оглядел моих родственников — мою плоть и кровь,— я почувствовал себя среди них чужаком.

Наконец, все расселись. Мы с Рупертом поместились рядом с Фредди, во главе стола.

— Что ж, приступим,— начал Фредди, мрачно поглядывая на родичей. Перед заседанием он основательно зарядился коньяком.

Гул голосов утих.

— Это официальное собрание, Фредди? — послышался чей-то вопрос.

— Давайте не будем вдаваться в такие детали,— оборвал Фредди.

— Вот это правильно! — восторженно выкрикнула какая-то молодая особа.

Поначалу все шло довольно вяло. Фредди изложил выгоды предлагаемого слияния и ликвидации самостоятельной фирмы Ройсов, при этом он особенно напирал на то, какие громадные доходы извлекут присутствующие от объединения с «ЮСО» и «Фарбверке». Я уже видел, с кем мы имеем дело, и когда энергичные молодые дамы с железной хваткой стали пускать к потолку облака крепкого табачного дыма, мне стало ясно, что Фредди не придется долго их уламывать. Они, правда, задавали кое-какие вопросы, но в общем проекта почти не оспаривали, только немножко повздорили между собой, перебивая друг друга: «Да замолчи же, Мози, дай сказать другим!»,— словом, они сразу же согласились с идеей Фредди сделать их намного богаче.

Но вдруг дверь распахнулась, и в зал заседаний с криком ворвался дядя Рандольф.

— Это противозаконное собрание! — орал он.

Мы оторопели. На какой-то миг растерялся даже Фредди, но он тут же овладел собой и отбил первый натиск Рандольфа.

— Ерунда, дядя Рандольф. Это не заседание правления.

— Но большинство членов правления — здесь! — заявил дядя Рандольф.

— Это собрание акционеров. Мы вовсе не пытаемся подменить правление.

Дядя Рандольф подошел к нам вплотную. Он бесцеремонно ткнул меня в плечо, и я освободил ему место, пересев на другой стул, а Руперт и Фредди потеснились.

— Теперь послушайте меня,— зарычал дядя Рандольф; он был в бешенстве, кровь ударила ему в голову, и речь его стала почти нечленораздельной.— Что это за бессмысленная затея превратить фирму Ройсов в придаток «ЮСО» и «Фарбверке»? Вы что, с ума сошли? Почему вы решили, что такая фирма, как наша, не может стоять на собственных ногах? Разве вы недостаточно богаты? Да и какой смысл в деньгах, если мы потеряем право решать свои дела и продадим свое первородство шайке иностранцев! Вы получаете сейчас восемь процентов...

— Тебе хорошо говорить,— сказал какой-то старик из первого ряда.— У тебя денег куры не клюют, да и пожил ты в свое удовольствие...

— И ты не хуже, Стовер,— оборвал Рандольф старика, который, как я потом узнал, доводился ему сводным братом.— Бездельничал, стреляя буйволов и воображая себя великим охотником, пока мы зарабатывали для тебя деньги. Лучше ты помолчи. А как зарабатывали деньги **все** остальные? Никогда в жизни палец о палец не ударили. Во всяком случае, в нашей фирме. Я даже толком не знаю, кто вы такие. Вот, например, вы... и вы... и вы! — Рандольф тыкал пальцами в чьих-то жен и в молодых людей приятной наружности, а они ежились под его указующим перстом.— Приходите сюда пенки снимать! А чем вы это заслужили? — Рандольф захлебывался от презрения.— Не вы создавали фирму Ройсов, а готовы пустить ее с молотка, лишь бы сунуть в карман еще несколько тысяч. Восьми процентов им мало! Глядеть на вас тошно.

— Но, дядя Рандольф...— отважился какой-то храбрец.

— Молчать! — взревел старик.— Я знаю, что вы скажете, Фредди — деловой человек, делец до мозга костей! Умен. Чересчур умен! Но раз он пошел к немцам и американцам на поклон за деньгами, значит, у него ум за разум зашел, какие бы золотые горы он вам тут ни сулил.

Его речь была как струя горячего воздуха, которая плавит глыбу льда; от общего самодовольства и следа не осталось. Акционеры заерзали на своих местах, как дети, а я поневоле залюбовался стариком: уж очень эффектно рассчитал он свое появление и все перевернул.

Но Фредди прервал его и вступил с ним в спор. Он сказал, что мир меняется, и притом не к лучшему, с точки зрения интересов Ройсов. Англия не только теряет колонии, она теряет контроль над колониальными рынками, вот почему такой фирме, как фирма Ройсов, приходится искать новые методы работы.

— А мировая конкуренция грозит стереть нас с лица земли,— убеждал Фредди, он был багровый и размахивал руками.— Вы сами знаете: Ройсы загребают большие деньги только во время войны — тогда поднимаются фрахтовые и страховые тарифы, а правительства и крупные подрядчики так нуждаются в судах, что конкуренция никому не страшна. В годы мировой войны и войны в Корее вы утроили и учетверили свои капиталы; все вы зарабатываете теперь на пятьдесят, а то и на восемьдесят процентов больше, чем до войны...

— Вряд ли это твоя заслуга,— с издевкой заметил дядя Рандольф.

— Напротив,— отпарировал Фредди,— я хочу подчеркнуть, что нельзя всегда рассчитывать на войну.

— Но теперь нет войны, а торговля идет лучше,— настаивал Рандольф.— Где логика? Ты просто врешь.

— Но конкуренция сейчас сильнее. В мирное время она стала проклятием для коммерции. Денег мы вкладываем все больше, а прибылей извлекаем все меньше. Вы получаете свои восемь процентов только потому, что я провел рационализацию и модернизировал все наши предприятия сверху донизу.

— Ты что же, хочешь сказать, что нам грозит крах? — не унимался Рандольф.— Если так, ты опять врешь. Хочешь обмануть этих идиотов.

— Нет, дядя Рандольф,— стараясь не горячиться, ответил Фредди.— Я только утверждаю: главное — выжить, сохранив масштабы фирмы. Как ни смешно, чем ты крупнее, тем легче другим тебя проглотить или спихнуть под гору. В этом — ирония современного капитализма.

— И поэтому ты сам лезешь в пасть немецким торгашам и нефтяным мошенникам из Балтиморы? Чего ради? У тебя гигантомания от трусости — вот ты и предаешь все, чего мы добились.

— Предаю?! — взорвался Фредди — Нет, не предаю! Размах операций сам по себе еще ничего не значит, он даже опасен. Но если вы укрупняетесь, чтобы контролировать большой рынок сбыта, и получаете средства для расширения этого рынка — вы выживете. Ваши методы, дядя Рандольф, отжили свой век. Британская империя мертва и уже не воскреснет. У нас остался один-единственный выход...

— А-а-а...— простонал с отвращением Рандольф.

— Повторяю: ставка на Британию — владычицу морей — устарела,— с жаром настаивал Фредди.— Мы можем удержаться на поверхности, только маневрируя международными капиталами.

— Ладно, ладно! Я и сам знаю, что ставка на Британию — владычицу морей — устарела...— неожиданно согласился Рандольф.

— Мы не можем больше справляться одни,— наступал Фредди. Все присутствующие обратились в зрение и слух, в прокуренном зале слышно было, как муха пролетит, нервы были у всех напряжены до предела.— Взгляните на проблему с другой стороны. Что в наши дни составляет добрую половину морских грузоперевозок?

— Нефть,— пробурчал Руперт.

— Совершенно верно. А попробуйте конкурировать с нефтяной монополией — прогорите в два счета. Они строят свои танкеры. Вот почему любое слияние лучше конкуренции.

Дядя Рандольф вскочил с места:

— А что будет с судоходством? Мы же судоходная компания, а не дерьмовая маклерская контора.

Фредди осмелился на дерзость.

— Садитесь, дядя Рандольф,— сказал он, положив руку на плечо старику. Я ждал, что Рандольф отшвырнет его руку, но он только насупился и сел.— Мы вовсе не отказываемся от судоходства, мы расширяем его еще больше. Но британское судоходство — гиблое дело, если мы не объединимся с теми, кто может в собственных интересах гарантировать нам перевозки...

— Почему же в таком случае не соединиться с «Ай-Си-Ай» * или с Бендиго? — спросил дядя Рандольф.

— Потому, что они-то как раз и постараются нас проглотить с потрохами. Для «ЮСО» и для «Фарбверке» мы хороши именно тем, что остаемся английской фирмой. А для Бендиго — нет.

— Ты предаешь национальные интересы. Это тебе скажут другие британские судовладельцы, если вместо того, чтобы призывать их к борьбе с американцами, как ты делал всего неделю назад, ты пойдешь на грязную сделку с теми же американцами, чтобы обойти их протекционистские таможенные ограничения, направленные против британской морской торговли.

— Любая наша судоходная фирма поступила бы так же, если бы смогла.

— Тогда остается бросить все к черту и поднять на мачты звездно-полосатые флаги или немецкого орла!

Они продолжали ссориться, но все мы уже понимали, что Рандольф проиграл; да он и сам это понял, и, оборвав свою речь на полуслове, ушел, проклиная нашу тупость, наше невежество и наш эгоизм.

Тогда Фредди оповестил родичей, что каждый может заказать напиток по своему вкусу. Из потайной двери вынырнули четыре девицы; курьеры унесли стулья, взамен появились на столиках подносы с сандвичами, пирожными и бокалами шампанского.

Мы с Рупертом уже собирались дать тягу, но увидели Кэти. Она сидела где-то в задних рядах, и ее присутствие сразу опровергло мои поверхностные обобщения на-счет того, что все Ройсы на одно лицо.

— Вот не ожидал вас здесь встретить, Кэти,— обрадовался Руперт.

— Почему же? — удивилась она.

— Не думал, что вы интересуетесь такими делами.

— А я ими вовсе не интересуюсь. Мне наплевать, что станет с фирмой.

— Нет, все-таки любопытно.

— Людоеды вы, вот что,— пожала она плечами.— Рандольф сожрал пяток людей, включая твоего отца, прежде чем добился своего, а теперь Фредди пытается съесть Рандольфа, и, наверно, кто-нибудь вроде Джека в один прекрасный день проглотит Фредди.

---

* ICI — начальные буквы английского концерна «Империэл кемикл индастриз» («Имперская химическая промышленность»).

Я засмеялся, хотя Кэти говорила совершенно серьезно.

— С людоедством у Ройсов теперь кончено,— возразил Руперт.— Фредди отдал эту привилегию другим

Кэти посмотрела на него, как на дурака или на сумасшедшего.

— Да ну? — протянула она.— Впрочем, какое мне дело? Я пришла поговорить с вами о другом.— Мы взяли у одной из девушек по бокалу шампанского и удалились подальше от сутолоки в кабинет Фредди.— Я узнала, что назначен день суда над Пепи.

— Когда?

— В будущую пятницу.— Она присела на письменный стол Фредди.— Полицейские уверяют, будто она ударила одного из них плакатом по голове, а Пепи клянется, что этого не было. Она говорит, что вы все видели, Руперт. Это правда?

— Я не видел, чтобы она ударила полицейского. Они ее с кем-то путают.

— Ее уже приговорили условно за участие в прошлой демонстрации. Вот я и хотела спросить, не согласитесь ли вы выступить в качестве свидетеля?

— Разумеется,— ответил Руперт.— Готов поклясться, что она никого не била. Я сделаю все, что нужно. Как мне поступить? Заявить об этом в суд?

— Нет. Я настояла, чтобы она пошла к Парку. Он вам позвонит.

На прощание Кэти вдруг мне сказала (она уже стояла в лифте):

— Джек, поосторожнее с Пепи. Она сложнее, чем вы думаете. Да и с ее пацифизмом все не так просто.

Я лишь отчасти понял, что она имела в виду, и только потом сообразил, от чего она меня остерегала, но тогда уже было поздно что-либо изменить.

Глава двадцать шестая

Даже если Лилл и не собирался приводить свою угрозу в исполнение, ему все равно рано или поздно пришлось бы оказать прямое давление на Руперта. Я часто гадал, как тогда поступит Фредди, но так и не мог себе это представить.

До сих пор Лилл вел себя достаточно корректно. Правда, он уже не первый раз угрожал Руперту, но всегда уклонялся от решительных действий. Я никогда не узнаю, что Лилл говорил Фредди,— могу только об этом догадываться на основании того, что произошло затем с Рупертом. Но Лилл безусловно предупредил Фредди, что́ будет, если Нина через несколько дней попытается покинуть страну. Он показал Фредди свою розовую папку — теперь она превратилась чуть ли не в пружину всей интриги, наподобие уличающего письма из комедии Оскара Уайльда или ловко скроенной пьесы Сарду,— и заявил, что Фредди надо отделаться от Руперта, и не просто похоронить его сделку с русскими, а выдворить его из фирмы совсем. На меньшее Лилл не соглашался, грозя, что иначе компания Ройсов попадет в грязную историю.

Я тогда не знал, что Лилл нажимает на Фредди, не знал об этом и Руперт. (Он был в отъезде: после семейного совета Руперт полетел в Геную, чтобы объяснить Верокио, какие последствия будет иметь реорганизация фирмы для сделки между Верокио и Ройсами. Надо было заверить итальянца, что их отношения от реорганизации не пострадают. По существу, Руперт отправился в Геную, чтобы лично извиниться перед Верокио, который теперь уже знал, что Фредди использовал его для отвода глаз.) Но прежде чем пойти к Фредди, Лилл обратился ко мне. Он позвонил мне, когда Руперт был еще в Генуе, и попросил зайти в его резиденцию в Сент-Джеймсском парке.

— Боюсь, что мне понадобится ваша помощь,— доверительно сообщил мне Лилл.— Приходите, Джек, и как можно скорее.

Переступая порог старого здания в парке, я призвал на помощь все свое австралийское упрямство.

— Кажется, вы очень сблизились с Рупертом? — осведомился у меня адмирал.

Он принял меня не в той комнате, которую описывал Руперт, а в маленькой гостиной, обставленной французской мебелью, со старинным французским ковром на полу и двумя французскими картинами девятнадцатого века на стенах.

— Я сдружился со всей его семьей,— осторожно заметил я.

— Так я и думал,— кивнул он.— Поэтому я и прошу вашей помощи. Все идет к тому, что Джо и дети могут пострадать из-за очередной дурацкой выходки Руперта.

— Вряд ли вам стоит говорить о судьбе Джо и детей со мною,— возразил я адмиралу.— Лучше предупредите самого Руперта.

— А я ведь и в самом деле искренне тревожусь за его семью,— спокойно произнес Лилл.— Я слишком давно с ними связан, чтобы не принимать к сердцу их интересы.

Он говорил правду, и я извинился.

— Не будем касаться ваших мотивов,— сухо сказал я.— Давайте говорить прямо: чего вы от меня хотите?

— Вы в курсе личных дел Руперта?

— Не очень.

— Вы видели эту русскую, госпожу Водопьянову?

— Конечно.

Адмирал на минуту задумался.

— Придется мне вам довериться, Джек,— произнес он наконец.— Никто не даст мне такого совета, как вы. Я не буду просить вас хранить наш разговор в тайне — думаю, это подразумевается само собой.— Пока что он меня явно прощупывал, и я решил помолчать.— Вам известно, что мы собираемся задержать госпожу Водопьянову, если она попытается покинуть Англию?

Я сделал свое невыразительное лицо еще более невыразительным, но я вел поединок с сильным противником, и он сразу догадался, что мне все известно.

— Вижу, что это для вас не секрет,— проронил Лилл с кислой миной.— Все же мне хотелось бы выяснить, как поступит в этом случае Руперт. Вы его знаете. Какова, по-вашему, будет его реакция?

— Он очень рассердится,— сказал я.— Не можете же вы рассчитывать, что ему это будет по душе.

Лилл не улыбнулся.

— Понятно. Но, как вы думаете, что он предпримет?

Лиллу явно хотелось узнать, выполнит ли Руперт свою угрозу — сообщить русским все, что ему известно об учреждении адмирала,— однако что я мог ему сказать? Я тоже задавал себе этот вопрос, а Руперту, наверно, и самому было неясно, как далеко он пойдет. Но что ему оставалось делать? Он был человек упрямый, с нелегким характером, его на моих глазах постепенно загоняли в угол — можно было предвидеть, что он будет драться, как раненый лев, если его принудит к этому арест Нины. С другой стороны, я не был до конца в этом уверен. Руперт был сыт по горло неприятностями, и кто знает, что скрывалось под маской его чисто английской невозмутимости. В тот день, когда он улетал в Геную, ему позвонил Парк, снова предложив встречу с Глэдменом и с автором «Загадочного путешествия Руперта Ройса». Они соглашались теперь на более выгодные для Руперта условия, хотя я так и не узнал какие,— он был слишком раздражен, чтобы о них рассказывать. Руперт кричал в телефон Парку: «Я не желаю с ними разговаривать. Это мое последнее слово, что бы они там ни предлагали».

Я понял, что он доведен до отчаяния и цепляется за свою непримиримость, как за якорь спасения, хотя уже теряет надежду. Так или иначе, он не последует старому доброму обычаю англичан и не даст себя усадить вместе с противником за обеденный стол, где всегда легче пойти на мировую.

Все это промелькнуло у меня в голове, пока я отвечал на вопросы Лилла, который старался обвести меня вокруг пальца. Адмирал, словно в открытой книге, читал мои мысли, угадывая их по взгляду, по выражению лица, по моему неприязненному молчанию.

— Руперт совсем запутался,— с расстановкой сказал он, чтобы прервать молчание.

— Вот почему я и не могу предсказать, что он сделает,— решительно заявил я.— Вы же, надеюсь, не думаете, что я стану шпионить за Рупертом?

— Никто и не требует, чтобы вы шпионили,— мягко заметил адмирал.— Я просто хочу, чтобы вы помогли Руперту: уверяю вас, он нуждается в вашей помощи.

— Но не в той, какую вы хотите, чтобы я ему оказал.

— Вы, видимо, не подозреваете, какие неприятности ему угрожают.

— Может быть,— согласился я.— Чем же, по-вашему, я могу ему помочь?

— Вы могли бы оказать на него благотворное влияние.

— В каком смысле?

Адмирал чувствовал мою враждебность и не знал, в чем ее причина — в моей ли привязанности к Руперту или в том, что я разделяю его «ошибочные» взгляды; ему и в голову не приходило, что эти взгляды пока что были еще не осознаны даже самим Рупертом.

— Нет сомнения,— заявил адмирал,— что через день-другой дело может принять для Руперта очень скверный оборот. Если его не убедят вести себя как следует. Попробуйте на него повлиять, пока беда еще не пришла.

— Ничего я вам не скажу о Руперте,— заявил я адмиралу на прощание.— И ничего бы не сказал, даже если бы знал.

— Ладно,— беззлобно отозвался он.— Я вас понимаю.

— Сомневаюсь,— сказал я.

На улице я остановил такси, чтобы поскорее унести ноги из этого места.

■

На следующий день Руперт вернулся из Генуи, но я ничего ему не рассказал, у него и так хватало забот.

Проделка Фредди привела Верокио в бешенство, и он заявил, что больше не желает иметь с ним дела. Вся эта возня вызывала у Руперта отвращение, и я не понимал, как он представляет себе дальнейшее сотрудничество с Фредди. Но я не стал его об этом спрашивать — мы ожидали отъезда Нины, который мог для всех нас многое изменить.

Отъезд был назначен на следующий день. Накануне мы весело провели вечер у Фредди в тесном семейном кругу: в гости были приглашены только Руперт с Джо,

Пепи и я. Мы вкусно поужинали, много выпили, до упаду хохотали над шутками Фредди, который успел перед нашим приходом проглотить с полдюжины коктейлей, а с нами выпил еще; восхищались нежным загаром Джо и Пегги — у обеих был теперь цвет лица заправских лыжниц. По их словам, они прекрасно провели время в горах.

После ужина мы уселись перед телевизором: должны были передавать интервью с Фредди. В последних новостях сообщили о заседании кабинета министров, где в числе других вопросов обсуждалось предполагаемое слияние фирмы Ройсов с «ЮСО» и «Фарбверке» и последствия этого шага для британского судоходства. «Британские судовладельческие круги» резко критиковали Фредди, а председатель одной из судоходных компаний заявил, что идти на такие международные сделки — значит продавать интересы британского судоходства за чечевичную похлебку. Председатель торговой палаты отказался высказать свое мнение, но на экране показали, как он входит вместе с министром финансов в дом № 10 на Даунинг-стрит *, чтобы принять участие в заседании правительства. В конце последних новостей показали наводнение в Майами на юге Флориды, а затем — интервью с Фредди в зале заседаний фирмы Ройсов; мы уже слышали об этом интервью и даже видели, как устанавливали телевизионную аппаратуру. Крупным планом возникло лицо Фредди, похожего на добродушного английского моряка, чересчур пристрастившегося к бутылке.

— Боже, как ты ужасно выглядишь! — вырвалось у Пегги.— Вот пьянчуга!

В ответ на вопросы невидимого собеседника Фредди заявил, что в его проекте нет ничего враждебного британским интересам. Напротив, это единственный способ выжить в современном мире. Мы перебрасываем мост через пропасть, разделяющую Европу и Америку, и это — тот путь, по которому в будущем пойдет Англия как в экономике, так и в политике. Наилучший путь! «Никаких преимуществ одному континенту перед другим,— изрек Фредди,— выигрывают оба. Только так и можно сотрудничать с европейскими странами и в то же время сохранять особые отношения с Соединенными Штатами. Другого выбора у нас нет».

— Превосходно, Фредди! — с восторгом воскликнула Джо.

Фредди уже собирался выключить телевизор, но тут мы увидели на экране какое-то тощее зеленое насекомое: засунув руки в карманы пальто, оно входило в здание министерства финансов.

— Най?..— с удивлением протянул Фредди.

Снятый крупным планом Най был похож на высохшего кузнечика. Отвечая все тому же невидимому собеседнику, он заявил: при объединении британских судоходных фирм с иностранными компаниями возникает одна проблема: остается открытым вопрос о контроле. «Лично я целиком приветствую всяческую рационализацию в международном судоходстве,— пропищал он своим нелепым детским голоском,— но мы должны быть крайне осторожны и, перебрасывая мосты с одного континента на другой, не должны взваливать на себя все тяготы, утрачивая при этом все преимущества».

Эти слова прозвучали бы довольно туманно, если бы выступлению Ная не предшествовало интервью с Фредди. Несмотря на всю свою сдержанность и осторожность, Най явно стоял на противоположной точке зрения. Фредди молча сгорбился на стуле в позе боксера, ожидающего сигнала, чтобы снова броситься в атаку.

— А где же Бендиго? — вызывающе крикнул он в телевизор.— Давайте уж сюда всю шайку разом!

Но Бендиго не появился. Нефть предпочитала не высказываться публично, даже в порядке самозащиты, нечего зря собак дразнить.

— Не знаю, как можно принимать этого человека всерьез,— сказала Пегги про Найя.— Я знала его, когда он был моложе, большего болвана трудно себе представить. Не мог сосчитать до десяти, даже на пальцах.

Фредди не отозвался. Он все еще ждал, что на экране появится Рандольф или Пинк Бендиго, но вместо них показали киноактрису с пышным бюстом, которая чуть было не утонула в Карибском море.

— Поставь какую-нибудь пластинку, Пепи,— сказал, поднимаясь со стула, Фредди.— Ту самую, битлсов — «Да, да, да». Она меня взбадривает.

Руперт и Джо как-то притихли. Я услышал, как Фредди сказал Руперту:

— Пойдем поговорим.

Они исчезли: по-видимому, встреча и была затеяна ради этого разговора, и хотя я перескажу его вольно, как уже не раз делал, уверен, что беседа шла именно так.

■

Фредди опьянел и порой терял нить этого неприятного объяснения. А может быть, он только притворялся — слишком уж неприглядной была его роль. Они сидели в уютном кабинете хозяина, где на стенах висели картины Брака, Шагала, Миро и Георга Гросса,— Фредди устроился в удобном черном кресле, под боком у него блаженствовал залезший в кресло скотчтеррьер. Фредди заговорил с шпионаже и шпионах.

— Большинство людей обо всем этом даже и не подозревает,— заявил он с таким видом, будто тщательно исследовал этот вопрос и пришел к неожиданным выво-

---

* Резиденция премьер-министра.

дам.— А между тем факт налицо, верно? Все время кого-то арестовывают. Людей вовлекают в темные дела, и рано или поздно МИ-5* или кто-нибудь еще их разоблачает. Простодушная доверчивость! Вот в чем корень зла.

Что хотел сказать этим Фредди?

— Шпионаж — это не досужая выдумка, Руперт.

— Знаю.

— А чего **они** хотят, ты знаешь?

— От меня или от вас? — сухо осведомился Руперт.

— Лилл хочет, чтобы мы от тебя отделались. Совсем отделались, выставили со всех постов. Если мы тебя выставим, говорит Лилл, он позаботится, чтобы у тебя не было неприятностей и все обошлось без публичного скандала. Он имел в виду эту русскую. Она сможет уехать. Это очень умная женщина. В общем, ты сам все понимаешь.

— Да. Значит, цена, которую я должен заплатить,— уход из дела?

— Какая там цена? — вдруг протрезвел Фредди.— Это ультиматум. Они знают, что сейчас я не могу пойти на скандал. Понимаешь, мне не оставили выбора. Хотят свести с тобой счеты моими руками — а что я могу поделать?

— Ну, а если я не соглашусь? Что тогда?

— Он задержит твою русскую.

— Я не о том. Я спрашиваю, что **ты** сделаешь, если я не приму ультиматум Лилла?

Фредди расстегнул пиджак и распустил галстук, словно ему стало душно.

— И не спрашивай,— выдавил он из себя.

— Почему? Я хочу знать, чего мне ждать от тебя, если я не уступлю Лиллу.

— Ничего хорошего ты от меня не жди,— угрюмо произнес Фредди.— Ровным счетом ничего. У меня сейчас слишком много поставлено на карту.

— Понимаю,— кивнул Руперт.

— Не буду тебя обманывать. Скандал погубил бы все, чего я добиваюсь. Сейчас я не могу рисковать. Не могу. Ты понимаешь мое положение?

— Понимаю. Но я думаю **о своем** положении.

— Сейчас я не могу рисковать,— с огорчением повторил Фредди.

— Ладно,— медленно произнес Руперт.— Не буду усложнять твое положение, Фредди. Ты мне ничем не обязан. Я уйду.

Руперт знал, что возражать бесполезно. Зачем?

— Но ты берегись,— добавил Фредди,— они от тебя не отцепятся.

— Больше они мне уже ничем повредить не смогут,— заметил Руперт.

— Как знать? — мрачно развел руками Фредди.— Я спрашивал Лилла, не все ли равно, завербовали тебя русские или нет, раз ты ведешь себя как надо.

— Положим, это не все равно,— проронил Руперт.

— Пожалуй. До чего же мне не хочется расставаться с тобой, Руперт! Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я так мечтал...

Руперт поднялся.

— Я могу лишь обещать тебе,— сказал Фредди,— что ты сможешь уйти пристойно. На этом я настоял.

— Какое это имеет значение?

— Имеет. Для меня. И для Джо.

Выходя из комнаты, Фредди добавил:

— Ничего, я еще посчитаюсь с этим старым ублюдком Лиллом. Да и Рандольфу припомню. Пусть только улетит твоя русская.

Они вернулись к нам в самый разгар веселья, оба были чем-то угнетены и молчаливы; всем стало ясно, что они приняли какое-то решение. А я понял, что каждый из них лишился чего-то дорогого для себя.

Даже Джо это почувствовала. Она поднялась, ласково взяла Руперта под руку и сказала, что им пора домой. Они быстро ушли, не дожидаясь «роллс-ройса» Фредди, хотя машина была уже вызвана, чтобы их отвезти.

■

Теплым, почти летним днем Руперт, Роланд и я глядели, как пассажиры собираются в зале ожидания лондонского аэропорта. Руперт попросил меня поехать с ним, и я с удивлением обнаружил в машине Роланда.

— У него каникулы,— объяснил Руперт.

Но, по-моему, он захватил Роланда для того, чтобы придать проводам семейный характер, а меня взял за компанию. Утром он позвонил по телефону в советское торгпредство, и ему сообщили, что члены делегации улетают сегодня, как было намечено (большинство давно вернулись на родину). Может ли он поговорить с госпожой Водопьяновой? Ее нет. Не было ее и в посольстве.

— Отсюда не видно самолетов,— пожаловался Роланд, когда мы стояли внизу.— Пойдем на крышу!

---

* Военная контрразведка.

— Подождем еще немного,— сказал, сдерживая нетерпение, Руперт.

Но мне тоже хотелось посмотреть, что там выло и гремело у нас над головами, и мы с Роландом поднялись наверх.

Сквозь стеклянную стену я вдруг увидел внизу Нину. Она ожидала посадки на самом аэродроме. Как видно, она прошла через какой-то другой ход и стояла в очереди к маленькому автобусу, который подвозил пассажиров к самолетам.

— Вон она! — обрадовался я, и мы помчались вниз сообщить нашу новость Руперту.

— Подождите здесь! — приказал он и побежал по эскалатору к выходу, где стояла девушка в форме.

Мы не послушались и последовали за ним.

— Нина! — закричал он.

Она не услышала.

— Можно туда пройти? — спросил он девушку.— На минуту. По важному делу.

— Нет, это запрещено.

— Черт возьми...

Он стал снова звать: «Нина! Нина!» Она была уже в автобусе, но кто-то жестом указал ей на Руперта. Нина выглянула в окно и заспорила со служащим аэропорта, и в эту минуту автобус тронулся. Я успел лишь мельком увидеть ее лицо, лицо человека из другого мира, обычно такое ясное, а сейчас полное печали.

— Могу я подойти к этому русскому самолету? — упрашивал Руперт девушку.— Разрешите, пожалуйста. На одну минуту.

— С удовольствием, если у вас есть дипломатический паспорт или удостоверение министерства иностранных дел,— ответила она.— Пассажиры уже прошли таможенный досмотр.

Мы побежали на крышу, откуда было видно, как стартуют самолеты.

— Они похожи на крабов,— воскликнул Роланд.— Взгляните на тот самолет, вон там!

Мы с Рупертом ждали молча, пока не услышали, как голос в репродукторе объявил, что в Москву отправляется самолет Аэрофлота, и не увидели, как белая реактивная громадина с закинутыми назад крыльями поползла по взлетной дорожке, волоча по бетону тяжелое брюхо. Потом она вдруг подскочила и повисла в воздухе низко над землей. Какие-то лица в окошках промелькнули над головой, нас обдало волной горячего воздуха, и Нина исчезла — на этот раз, Руперт знал: уже навсегда.

Глава двадцать седьмая

Меня бы удивило, если бы Руперт сложил оружие,— это было не в его характере; но никто не поверил бы, что и Фредди забудет, как его унизили. Я не сомневался: что-то должно произойти.

Впрочем, лично я не очень был этим занят, все мои мысли были поглощены судебным процессом Пепи. Я пытался доказать ей, что самое благоразумное в ее положении — признать себя виновной. Тогда она могла бы избежать тюрьмы. Я уговаривал ее не валять дурака, потому что сидеть в тюрьме — не лучший способ защищать свои убеждения. Однако с Пепи творилось что-то непонятное. Она была очень ласкова и со мной не спорила, но в то же время не желала уступать, а когда я говорил, что необходимо признать себя виновной, только зло издевалась в ответ. Разве я что-нибудь понимаю? Я чуть было не сделал ей предложения, но вовремя догадался, что она и над этим посмеется, и промолчал. Я видел, что она решила сесть в тюрьму.

И вот Скотти, Кэти, Руперт и я снова препирались с Пепи, прохаживаясь с нею по коридорам недавно отремонтированного здания суда. Спорил с ней и Парк, размахивая у нее перед носом белой папкой с красными ленточками.

— Побойтесь бога, Пепи,— отчаивался Парк, в голосе его звучало профессиональное рвение.— Вы уже были осуждены условно, и если вздумаете оспаривать обвинение, вас все равно признают виновной, независимо от того, кто будет судьей; вы получите в лучшем случае шесть месяцев тюрьмы, а в худшем — три года. Таков закон.

— Но ведь я полицейского не ударила,— упрямо твердила Пепи,— зачем же я буду признавать себя виновной?

В Скотти проснулся здравый смысл деревенского жителя.

— Не болтай чепуху,— отчитывал он дочь.— Сесть в тюрьму — не самый лучший способ отстаивать свои взгляды. Ты уже сделала все, что могла. Брось дурить.

Пепи не хотелось спорить с отцом.

— Все равно,— пожимая плечами, сказала она надменно,— я не стану врать для их удовольствия.

Руперт наблюдал за ними молча. Я знал, что в душе он согласен с Пепи, потому что она ведет себя честно и не желает идти на уступки, чем бы это ей ни грозило. Наверно, Руперт лучше понимал Пепи, чем мы все,— он один не пытался ее переубедить.

Так или иначе, мы ничего не добились. Пепи отказалась признать себя виновной.

Но, прежде чем мы перешли в зал суда, Парк, отозвав Руперта в сторону, сообщил ему, что адмирал Лилл прикомандировал к прокурору своего человека.

— Я его знаю,— сказал Парк,— он работает у Глэдмена и, по-видимому, будет наблюдать за ходом процесса.

— А что они могут тут сделать? — изумился Руперт.

— Могут вас дискредитировать, если вызовут вас как свидетеля. Пожалуй, я не стану рисковать, лучше нам обойтись без вас.

— Ну, а что будет с Пепи?

— Если они начнут порочить вас, для нее это будет еще хуже,— ответил Парк.— Ну как, Пепи согласится признать себя виновной?

Но Пепи осталась непреклонной.

Процесс был будничным и недолгим — ведь англичане не выносят никакой помпы. И тем не менее в суде царила какая-то особая атмосфера. Если на передних скамьях палаты общин обе стороны кладут ноги на стол, чтобы придать заседанию как можно менее казенный характер,— черные мантии и парики судей достигают обратного эффекта: они выключают суд из обыденной жизни, придавая ему какую-то отрешенность. Присяжные оказались добросовестными людьми ограниченных взглядов, робевшими от возложенной на них ответственности. Пепи сидела на высокой, просторной скамье подсудимых, между двумя полицейскими.

Прокурор зачитал обвинение: подсудимой инкриминировалось нарушение порядка и применение насилия против полицейского, выразившееся в том, что обвиняемая ударила его по голове плакатом с надписью: «Убирайтесь домой, нацистские генералы!» Признает ли обвиняемая себя виновной?

— Не признаю,— произнесла Пепи и добавила: — Они сами знают, что врут.

Судья вскинул на нее глаза и что-то записал, а Кэти шепнула Скотти:

— Девчонка! Зачем эта дура себя так ведет?

Кто-то монотонно огласил сведения о возрасте, происхождении и общественном положении Пепи, а ее защитник пробормотал что-то невнятное. Вызвали полицейского, сперва он дал показания, потом его допросили, после чего защитник заявил, что свидетель, очевидно, спутал Пепи с кем-то другим. Перегруженная работой полиция легко может впасть в ошибку, а в разгар бурной демонстрации тем более.

Я рассеянно следил за этой комедией и никак не мог сообразить, в какую сторону клонятся весы правосудия. Я удивился, когда за Рупертом пришел посыльный: нас просил зайти Парк. Он сказал, что все-таки решил вызвать Руперта, но не как очевидца демонстрации, а для показаний о личности Пепи.

— Прокурор согласился не допрашивать вас, если вы будете говорить лишь о нравственных качествах Пепи и не коснетесь того, что произошло во время демонстрации,— объяснил Парк.

Я вернулся на галерею для публики, а Руперт появился в зале суда и принес присягу. Защитник объявил, что знаменитый Руперт Ройс, награжденный орденом за участие в войне, герой славного ледового похода и член семьи известных судовладельцев, согласился дать показания о личности подсудимой.

— Мистер Ройс,— продолжал защитник,— давно ли вы знаете подсудимую? Насколько мне известно, она приходится вам родственницей?

— Знаю со дня ее рождения, а близко познакомился в последние полгода.

— Но все вы, Ройсы, живете дружной семьей, правда?

— Пожалуй...

— Вы согласны со взглядами мисс Кэмпбелл на атомную бомбу и тому подобное?

— Нет. Я против одностороннего разоружения...

— Что вы скажете о характере мисс Пепи Ройс-Кэмпбелл? Можно ли назвать ее вспыльчивой? Несдержанной? Лживой?

— Нет. Она человек прямой.

— Вы считаете ее честной и правдивой?

— Безусловно.

— Может быть, она легко поддается дурным влияниям?

— Нет. Для этого она слишком умна...— начал Руперт.

— Вы сами, случайно, не пацифист? — прервал его защитник.

— Безусловно нет.

— Это все, мистер Ройс. Вы свободны.

Потом допросили Пепи; она заявила, что полиция сразу выбрала ее своей жертвой, ее схватили, не дав ей никакой возможности прибегнуть к насилию, если б она даже и хотела. Они не имеют права арестовывать за участие в демонстрации!

Пепи признали виновной, и судья, продолжая делать какие-то пометки в блокноте, приговорил ее к шести месяцам тюрьмы и штрафу в пятьдесят фунтов.

Я больше не видел Пепи. Только родителям разрешили свидание с ней в подвале суда. Мы с Рупертом ждали их наверху.

Вот когда я понял, что напрасно тянул так долго. Надо было рискнуть и сделать Пепи предложение. А теперь она недоступна, она попала за решетку, никому ничего не доказав и не получив удовлетворения сама. Во имя чего? Ей даже не дали объяснить, почему она не желает признавать себя виновной. Пепи увели, и я не мог отде-

латься от ощущения, что меня ограбили, а у Пепи отняли ее убеждения и она зря пошла в тюрьму.

Да и Руперт, которого заставили молчать, был глубоко уязвлен в своем чувстве мужского и человеческого достоинства.

Глава двадцать восьмая

Фредди боялся, что наш разговор подслушают, поэтому мы сели перекусить в углу конференц-зала, где обычно пили кофе. Он сказал Руперту, что нашел и для него и для себя выход и хорошо все продумал. Теперь-де мы проучим этих ублюдков!

— Если это опять какие-то сомнительные махинации, я и слушать не стану,— заявил Руперт.— Мне надоело. Либо честная игра, Фредди, либо я — пасс.

Фредди пропустил его слова мимо ушей.

— Я хочу, чтобы вы поехали в Китай,— сказал он.— Можете взять с собой Джека.

— Далековато, Фредди, в Китай...

— А вы послушайте. Знаю, вы скажете, что я просто хочу от вас избавиться, но это вовсе не так.

— Ну, выкладывайте,— предложил Руперт, с подозрением глядя на собеседника.— Послушаем.

— Сегодня утром я виделся с двумя министрами и экспертом Английского банка по заграничным капиталовложениям Филом Барри. Они не высоко расценивают мои шансы. Пинк Бендиго старается меня угробить и Рандольф тоже. Вот я и хочу, чтобы вы поехали в Китай.

— Зачем?

— Китайцы должны нам выплатить в порядке компенсации около двенадцати миллионов фунтов. Они хотят урезать их до четырех или пяти миллионов. Мне нужны эти деньги: надо выскрести оттуда все, что можно, на случай, если Бендиго, Рандольфу и Наю удастся меня прижать.

— Ну, а что мне там делать, открыть наш филиал?

— Нет, нет. Я хочу, чтобы вы достигли с ними какого-то соглашения и получили эти деньги, тогда мы смогли бы снова завести с ними дела. Мне пришло это в голову на обеде, который наши деловые круги давали японской делегации. Я подумал: какие мы идиоты, что отказались от торговли с Китаем, рано или поздно она теперь достанется японцам. По правде говоря, Эндрью Ротбарт уже два года ведет переговоры с китайцами о выплате нам компенсации; он летает в Шанхай из Гонконга. В принципе ему удалось с ними договориться; они утверждают, что верфи, доки и лихтеры нашей фирмы в Шанхае и Кантоне могут стоить немногим более четырех миллионов — это меньше одной трети их настоящей цены. Но тут мы не будем торговаться. Вся беда в том, что **в принципе** они согласились платить за конфискованное имущество, **а фактически** не платят. Надо их убедить, и для этого нужен человек, который их хоть как-то понимал бы. Мы пошли бы и на два с половиной миллиона, только бы они заплатили.

— Но ведь это пустая затея, Фредди,— сказал Руперт, уплетая пирог с мясом и почками.— Зачем им вообще платить, если они могут не платить? Вряд ли вы сможете их заставить.

— Китайцы хотят торговать — и не прочь, чтобы мы строили для них суда, не обязательно здесь, можно и на верфях в Гонконге. Им выгодно также возобновить традиционную торговлю, которую они вели через нас с Юго-Восточной Азией, и я на это пойду, если моя затея со слиянием провалится.

— Но зачем им платить компенсацию сейчас, раз они упирались все годы?

— На это имеются свои основания. У них снова засуха. Как утверждают наши эксперты, китайцы собираются завезти из Канады огромное количество хлеба — около четырех миллионов бушелей. Им нужны суда. Когда-то суда Ройсов доставляли в Китай много зерна. Китайцам сейчас выгодно рассчитаться с нами, чтобы иметь возможность потом дешево фрахтовать наши зерновозы. Теперь самый подходящий психологический момент, чтобы получить с них долг. Вас это интересует?

— Очень,— лаконично ответил Руперт, все еще глядя на него с подозрением.

— А вас, Джек?

— Тоже.

— Ладно, тогда слушайте...

Переговоры, о которых шла речь, осложнялись тем, что опись имущества Ройсов в Китае занимала целые тома, а китайцы собирались оспаривать каждый пункт. Кроме того, надо было взять с собой представителя торговой палаты для переговоров по поводу капиталовложений других английских фирм, связанных с Ройсами.

Фредди высказал еще одно соображение:

— Я открою вам то, чего никто не знает. Если Бендиго, Най и Рандольф поломают нашу сделку с «ЮСО» и «Фарбверке», мы обратим в наличные все, что возможно: здания, склады, предприятия, машины, процентные бумаги — словом, все, без чего можно обойтись. Тогда у нас в руках окажется достаточный капитал, чтобы проникнуть в химическую промышленность, в разработку естественного газа и минералов, в транспорт. И эти несколько миллионов, если бы мы их выжали из китайцев, пришлись бы

нам как нельзя кстати, Руперт. Да и добрые отношения с ними важны, ведь рано или поздно дальневосточная торговля откроется снова, что бы там ни говорили янки.

— Тогда позвольте спросить,— сказал Руперт,— почему вы хотите, чтобы за это дело взялся именно я?

Фредди пожал плечами.

— Вы у меня на совести, а этим я ее облегчу,— произнес он с деланной небрежностью.— К тому же вы persona grata у коммунистов, верно? К вам они могут прислушаться.

— Ну, а Лилл? — спросил Руперт.— Что, по-вашему, скажет адмирал?

— Мне это безразлично. А если вам хочется показать ему, что вы на него плюете, я даю вам прекрасную возможность.

— Но ведь вы с ним договорились, он вам не простит, если вы нарушите ваше обещание.

— Нашей договоренности это не касается. Я поставил условием, что вы уйдете с почетом, так оно и будет. Вы ведь не возглавляете фирму, правда? И русской нефтью торговать не станете. Вас нет, вы далеко...

— Но я буду в Китае. Вряд ли ему это понравится. Он просто взбесится.

— Ну и черт с ним,— отмахнулся Фредди.— Он поставил меня в дурацкое положение... И если вы согласны, беритесь с Джеком за это дело.

— С удовольствием,— коротко ответил Руперт.

Я спросил Фредди, какова будет моя роль, но он только удивился.

— Разве вы не сработались с Рупертом?

— Сработался, но этого, наверно, мало?

— Вы не хотите продолжать с ним работать?

— Хочу,— сказал я.

— Тогда решайте с ним, что вы будете делать.— Фредди выпил рюмку коньяку.— Вы ему там понадобитесь. Вдвоем всегда легче, чем одному. К тому же, разве вам не лучше уехать в Китай, пока Пепи сидит за решеткой?

Он был прав. Мне доставляло тайное удовольствие, когда кто-нибудь — даже Кэти — выражал мне сочувствие, словно у нас с Пепи все уже было сговорено. И в то же время мне было не по себе: я-то знал, что это неправда.

■

Мне не верилось, что Руперт сможет уговорить Джо отпустить его в Китай. Я был всецело поглощен судьбой Пепи и в последнее время несколько отдалился от них, но Джо держалась со мной так мило, что я снова стал проводить у них вечера, когда они бывали дома. Руперт и Джо больше не ссорились, словно понимали, что их семейное счастье и так висит на волоске. И все-таки они ничего не могли с собой поделать. Вспышки нежности лишь изредка нарушали установившуюся между ними холодность, они будто договорились ни в чем друг с другом не соглашаться; казалось, между ними непрерывно идет подспудная борьба, а этого долго не выдержит ни один брак.

Я не знаю, как Руперту удалось ее уговорить; знаю только, что их непрочный мир однажды рухнул из-за дорогого кашемирового джемпера, который куда-то задевала Тэсс,— с упорством девятилетнего ребенка она уверяла, будто он пропал.

— Упал в канаву,— с вызовом твердила она.

Джо обнаружила джемпер у нее под матрацем: на нем алели два больших пятна, сделанных акварельной краской. Потрясая джемпером перед Тэсс, она обругала ее маленькой лгуньей.

— В ее возрасте не лгут,— вмешался Руперт,— дети просто сочиняют.

— Ложь есть ложь,— стояла на своем Джо.— Большая или маленькая — какая разница?

— Ты преувеличиваешь,— возразил он и обвинил ее в склонности вымещать дурное настроение на других, особенно на беззащитных существах.— Она тебе дочь, а не заклятый враг.

— Тогда воспитывай ее сам! — кипела Джо.

Ссора разгоралась, они стали говорить друг другу — по мягкому определению Руперта — то, чего не следовало, и Джо, окончательно выйдя из себя, выбросила джемпер в уборную, а потом с яростью, которую, видно, давно вынашивала, ударила Руперта по лицу.

— Лгун и лицемер! — кричала она сквозь слезы.— Ты мне лгал, лгал! Подлец, обманщик!

Руперта душила брезгливость: все это так не вязалось с его представлениями о поведении в цивилизованном обществе. Ударить по лицу! Ведь для этого надо опуститься до уровня животного! Руперт подумал: «О господи! Так больше нельзя. Пора поставить точку. Уйду, уйду — и больше не вернусь!» Но это была только праздная мысль: что бы ни случилось, уйти он не мог.

Джо выбежала из спальни и так хлопнула дверью, что одна из картин Мондриана * сорвалась со стены и стекло разбилось вдребезги.

* Мондриан (1872—1944) — голландский художник, один из вождей абстракционизма.

Все же они кое-как помирились, хотя это не избавило их от угрызений совести, горечи и стыда; у них произошло мучительное объяснение, и Руперт принял вину на себя.

— Но, видит бог, Джо,— сказал он,— бесполезно уговаривать меня взяться за ум. Жить на проценты с капитала и коптить небо — так я не могу, не могу, и все тут. А ведь ссоримся мы из-за этого.

Он сообщил ей о предстоящей поездке, не вдаваясь в подробности.

— Возможно, это последнее,— добавил он,— что я делаю для Ройсов.

— Так я и знала! — В ее возгласе слышалось еще не угасшее озлобление.— Опять за моей спиной затевается какая-то гадость. Зачем тебе понадобилось ехать в Китай? В чем дело?

— Ни в чем,— пытался он урезонить ее,— просто Фредди хочет выцарапать оттуда наши деньги.

Она слушала молча, тая обиду.

— Я хочу, чтобы ты поехала со мной,— заключил он.

— Совсем спятил! — закричала она.— На кой черт я туда потащусь!

Он пытался заинтересовать ее незнакомой страной, но Джо не любила путешествовать. А как же дети? Он ответил, что Мэриан и его мать согласились за ними присматривать, да и поездка будет продолжаться всего две-три недели. Она стала упрекать его в том, что он, не договорившись с ней, заранее обратился к Мэриан и своей матери.

— А что мне было делать? — возразил он.— Я знал, что ты будешь беспокоиться о детях. Кэти сказала, что на воскресенье они могут приезжать к ней.

Джо боялась, что раз им придется лететь, они могут попасть в аварию и погибнуть оба — что тогда будет с детьми?

— Ну, зачем нам гибнуть? — ответил он.— Хотя, вообще говоря, погибнуть можно, и переходя улицу у своего дома.

— Если я поеду, обещай, что не дашь там водить себя за нос,— потребовала она, словно знала, чего ей следует бояться и почему ей надо быть с ним рядом, защищая его, и себя, и то, что у них еще осталось.

— Да, но...

— Если ты дашь им, как той русской, обвести себя вокруг пальца, для меня это будет последней каплей. Честное слово. Я не шучу. Я уйду от тебя. Ты ищешь в жизни одного, я — другого. Вот почему мы и ссоримся. Ты теперь сам на себя не похож. Ты стал совсем другой.

Он тяжело вздохнул.

— Ладно, рискнем,— сказал он, сдерживаясь,— хоть я не понимаю, из-за чего ты лезешь на стену.

— Из-за тебя! — возмутилась она.— Вот из-за чего я лезу на стену.

Джо не желала ни в чем уступать, и у Руперта было тяжело на сердце оттого, что поездка начинается так нерадостно. Но это все же лучше, чем ехать без Джо. Его влекло в Китай не только дело, порученное Фредди, и потому, несмотря ни на что, ему хотелось, чтобы жена была с ним, какие бы испытания его ни ждали.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцать девятая

Неудачи, пережитые Рупертом после возвращения из Москвы, безусловно отразились на нем, но я думаю, что главным виновником душевного кризиса, который он пережил в Китае, был адмирал Лилл.

Вся беда была в том, что эти два человека беспрерывно сталкивались и не могли разойтись. Они смертельно боялись друг друга. И все же Руперт меньше, чем когда-либо, склонен был покориться, а Лиллу не давала покоя мысль об опасных влияниях, которым Руперт подвергнется в Китае. Это было плохим прологом к нашей поездке. Пока мы дожидались самолета в лондонском аэропорту, Лилл совершил еще одну, хотя, может быть, и простительную, ошибку. Руперта вызвали по радио, и он откликнулся на вызов, полагая, что возникло какое-то недоразумение с билетами или дома что-то случилось с детьми. Но его пригласили в кабинет чиновника службы безопасности, где сидел Лилл.

Встреча с адмиралом не удивила Руперта, наоборот, он даже испытал известное удовлетворение — он во всяком случае рассказывал мне о свидании с Лиллом не без удовольствия.

— Должен вам сказать, что мне ваша поездка не нравится,— без всяких предисловий безапелляционно заявил Лилл.— Совсем не нравится.

— Тогда почему вы не задержали мой паспорт? — спросил Руперт, глядя ему в глаза.

— Это не в наших правилах. Но едва ли вы сможете воспротивиться опасному влиянию, которое будут оказывать на вас китайские коммунисты. Я говорю в ваших же интересах.

— Я еду в Китай, чтобы получить деньги для нашей фирмы и познакомиться со страной. Если хотите меня задержать — пожалуйста, все в вашей власти.

— Задерживать вас я не стану.

— Тогда незачем шум поднимать.

В маленькой комнате никого, кроме них, не было; громкоговоритель над дверью надрывался, передавая разные сообщения; Лилл бросил на репродуктор сердитый взгляд и попытался в последний раз заключить с Рупертом мир.

— Я вот хочу предложить вам, Руперт: забудьте все, что между нами было,— сказал он, силясь сохранять спокойствие.

— Почему это вдруг? — не без горечи спросил Руперт.

— Для нас обоих это единственный разумный выход.

— Может быть, вы так на это смотрите, адмирал, а я другого мнения.

— Ради бога, попытаемся начать все сначала,— сказал адмирал, взмахнув рукой, словно отгонял угрозу новой ссоры.

— С чего?

— Мы бы могли попробовать прийти к соглашению, Руперт. Ваша поездка дает для этого прекрасную возможность. Повторяю: для вас это единственный выход.

Над головой у них прогремел «боинг».

— Ну и глупый же вы человек, адмирал! — Голос Руперта перекрыл шум самолета.— Я вовсе не заблудшая овца, которая стремится назад в стадо. Я не желаю вас больше видеть.

Адмирал опустил голову, подумал и стал отчитывать Руперта, вспоминая, каким он был упрямым еще в детские годы, как опрометчиво он поступает теперь, как глупо отказывается от последней возможности себя реабилитировать. Ссора становилась все ожесточеннее и привела их, по-видимому, к окончательному разрыву. Руперт вернулся к нам с лицом, искаженным ненавистью,— по его виду я понял, что он принял решение и выполнит его, чего бы ему это ни стоило.

Пока мы ждали Руперта, Джо неожиданно увидела своего друга детства из Камберленда, и оказалось, что он и есть тот эксперт торговой палаты, который летит с нами в Китай по поручению правительства. Полусонная — она уже приняла снотворное — Джо радостно сообщила Руперту:

— Смотри, кто с нами летит — Брайан Бонни!

Джо крепко держала под руку Бонни и меня, словно мы вдруг стали для нее самыми дорогими на свете людьми. Бонни — типичный англичанин, высокий, корректный — производил впечатление человека мягкого и благодушного, но я сразу увидел, что на самом деле это не так. Я почувствовал, что и он испытывает ко мне такую же антипатию, как я к нему,— мы стали противниками с первого взгляда. Он был из тех холодных, расчетливых людей, которые всегда придерживаются общепринятых мнений и во всем поступают до тошнотворности правильно. Всем своим видом он как бы говорил, что хранит за семью замками множество всяких тайн, и тем самым стал мне противен еще прежде, чем Руперт рассказал мне о нем.

Они были знакомы и теперь сухо поздоровались, но я заметил в Руперте какую-то настороженность. Что-то с этим Бонни было неладно.

Нас забрал маленький аэродромный автобус (тот самый, который увез Нину), и мы сели в русский реактивный самолет; он вырулил на взлетную дорожку и оторвался от земли, загудев, как гигантский пылесос.

Казалось, все шло нормально, но это только казалось. На Внуковском аэродроме в Москве мы пересели в самолет, отправлявшийся в Пекин. Он взлетел сразу, как только погрузили наш багаж; вокруг простиралось летнее рассветное небо, серое, зеленоватое, лиловое, белесое. Вдали вспыхнула еле уловимая полоска зари, похожая на северное сияние, и Бонни указал на нее Руперту:

— Наверно, это вас наводит на неприятные воспоминания.

— Да,— задумчиво отозвался Руперт.— Вы правы.

Бонни проявил удивительную проницательность, так как Руперт и в самом деле рассказывал, что они с Водопьяновым двинулись в свой ледовый поход на юг при таком же вот слабом свете северного сияния. Глядя на светящийся горизонт, я спрашивал себя, спокойно ли спит сейчас Нина Водопьянова там, внизу, под своим холодным, северным небом.

В Свердловске мы остановились на заправку: Джо, все еще под действием лекарства, дремала в зале ожидания, а мы с Рупертом и Бонни пошли осматривать аэропорт. Было за полночь, реактивные самолеты один за другим с грохотом садились в пелене теплого дождя. Они приземлялись при свете дуговых фонарей, гаснувших, едва лишь машины добегали до конца взлетной дорожки, иногда волоча за собой тормозные колодки.

Мы сели и в молчании стали ждать, когда объявят наш рейс.

— Скажите, Руперт,— спросил Бонни, вытянув длинные ноги,— что делает Россию Россией? В чем тут соль? Почему я ее никак не пойму? Вы, наверно, лучше в ней разбираетесь. Вам и карты в руки.

— Откуда мне знать? — ответил Руперт.— Для меня эта страна такая же загадка, как и для вас.

— Что ни говорите, а **нам** она кажется удивительной.

Уже по одному этому разговору я мог бы догадаться о том, что рассказал мне позднее Руперт, когда мы летели где-то над Сибирью. Бонни, служивший в торговой палате экспертом по связям с иностранными фирмами, был, оказывается, одним из людей Лилла. Вероятно, его приставили к нам, чтобы не допустить какого бы то ни было соглашения с китайцами — даже об уплате денег фирме Ройсов. Зная адмирала, мне нетрудно было в это поверить, хотя я и думал, что Руперт несколько преувеличивает.

— Нет, теперь меня не проведут,— решительно добавил Руперт, все еще находясь под впечатлением встречи с Лиллом.

— Берегитесь,— заметил я, хотя мне тогда казалось, что он сгущает краски,— если Бонни будет представлять на переговорах правительство, он может сильно осложнить дело.

— Я договорюсь с китайцами так, как сочту нужным,— обьявил Руперт.— На этот раз Лиллу не удастся мне помешать.

В Иркутске мы переночевали, а потом полетели дальше над иссохшей, выжженной солнцем пустыней Гоби, изрезанной едва приметными нитями троп. Мы вошли в облака, но уже знали, что под их плотной, жаркой завесой лежит Китай. Краем уха я слушал, как Бонни и Джо делятся воспоминаниями детства. Руперт сидел, откинувшись в кресле.

Загорелась красная надпись: «Пристегните ремни».

— Ну, начинается!..— весело сказал Бонни.

Самолет провалился сквозь влажные белые облака. Его стало болтать, и вот, наконец, мы увидели внизу набухшие водой поля Китая.

Глава тридцатая

Думая о Китае, я прежде всего вспоминаю поток горячего воздуха — он встретил нас, когда мы со звоном в ушах вышли из самолета на бурый аэродром. Едва усевшись в большой черной машине, которая повезла нас между полями, обгоняя велорикш и тележки, запряженные осликами, мы опустили стекла, иначе мы задохнулись бы; так мы въехали в Пекин — раскаленный город на высоком жарком плоскогорье.

Запах Китая — это чистый аромат трав, который разливался вокруг, когда мы открывали большие гардеробы и шкафы в просторных номерах. Сперва меня восхищали приподнятые кверху углы крыш на пагодах, но через десять дней, к нашему отъезду, они мне порядком надоели, и я был рад, что в современных постройках от них отказались; впрочем, в монументальных новых зданиях Пекина есть все же легкий намек на остроконечную макушку, и это мне нравится. Здесь еще сохранились загородные чайные домики, похожие на английские таверны, куда в воскресенье люди отправляются с детьми, обычно по реке. Глянцевитая поверхность папье-маше, которым китайцы отделывают помещения,— визитная карточка Китая, а тунговый лак, покрывающий эту поверхность,— один из самых характерных запахов страны. Китайцы на редкость аккуратны; когда я о них думаю, в памяти у меня встает чисто выстиранная хлопчатобумажная ткань и нескончаемый человеческий поток, который бурлит и кружится по залитым дождем улицам Шанхая,— на взгляд, никак не меньше миллиона пешеходов, и все они движутся характерной, слегка подпрыгивающей походкой. Большинство женщин здесь поразительно красивы.

Китайцы встретили нас очень вежливо и угостили лимонадом в прохладном новом здании аэропорта. Они были одеты в шелковую одежду, застегнутую по самую шею, и обмахивались изящными черными веерами. Но за десять дней пребывания в Китае мы познакомились более или менее близко лишь с одной китаянкой, и только о ней я могу рассказать. Ее звали Ван.

Нас встречали и представители английского посольства. Когда мы устроились в гостинице и умылись с дороги, нас пригласили в посольство на обед, а затем прочитали в чахлом посольском саду осторожные наставления. Они были, в общем, безобидными, но у Руперта все же вышла небольшая стычка с одним из советников.

— Китайцы изобрели не только бумагу, но и государственный аппарат,— сказал советник.— Вот почему у них всегда будет бюрократическая система, возглавляемая верховными правителями, а не народом. Коммунисты ничего не изменили.

— И ради этого китайцы совершили революцию? — язвительно спросил Руперт.

Он никогда не говорил о политике, и этот неожиданный выпад мог бы меня насторожить. Но я еще не понимал, что Руперта обуревало желание бросить вызов Лиллу.

Переговоры должны были происходить в Шанхае, однако полтора дня мы провели в Пекине, и Руперт успел побывать везде, куда его приглашали,— в сельскохозяйственной коммуне, на химическом заводе, в школе, на текстильной фабрике. Все здесь его поражало. Я никуда с ним не ездил: к тому времени я уже стал догады-

ваться о его намерениях и не хотел их поощрять. Меня очень тревожило, чем все это кончится.

Ван служила в министерстве и была для нас связующей нитью с Китаем и китайцами, но она оказалась натурой сложной. Мне она до самого конца поездки представлялась чем-то вроде законченного в своем совершенстве каменного цветка. Эта китайская коммунистка была прелестной женщиной с изящными манерами и такими хрупкими пальцами и нежным лицом, что казалось, стоит ей взглянуть на опаленную жаром улицу, и она растает как воск. Она всегда оставалась бесстрастной и непроницаемой, как цветок лотоса, с которым китайцы любят сравнивать своих женщин. Ее полное имя было Ван Мей-лин, и звать ее «мадам Ван» было все равно, что звать бабочку вороной. В аэропорту она подошла к Джо и деловито представилась:

— Здравствуйте, миссис Ройс. Меня зовут Ван Мей-лин, и я к вам прикомандирована, чтобы о вас заботиться.

Еще когда она только подходила, Джо шепнула Руперту:

— Посмотри, какая прелестная китайская статуэтка!

Джо была так поражена совершенством мадам Ван, что, по-моему, это даже несколько примирило ее с Китаем, хотя она очень страдала от жары и редко поднималась с постели.

Мне вспоминаются два характерных эпизода в начале нашей поездки. Мы ехали на юг, в Шанхай, в медленно тащившемся переполненном поезде. Джо изнемогала от жары, лежа на широкой полке, покрытой камышовой циновкой, и глотала кипяток, в котором плавали зеленые листочки чая; сквозь проволочную сетку на окнах она глядела на бурые заболоченные поля.

— Зачем эта сетка? — спросила она сонным голосом.

— От мух,— сообщил Бонни.— Только мух больше не осталось. Их доконала пропаганда. Было сказано: «Перебейте всех мух» — и все мухи были перебиты. Буквально все! Разве не так, мадам Ван? — с невинным видом спросил он.

— Да, так,— невозмутимо ответила Ван.

— Как страшно! — пробормотала Джо, содрогаясь и вытирая потное лицо.

Потом Джо вдруг повела носом.

— Пахнет жасмином,— сказала она мадам Ван, которая сидела напротив.— Это ваши духи?

— Нет,— ответила Ван.— Шалость дочери. Она кладет мне в карман цветы. Смотрите! — Ван сунула руку в карман своего длинного китайского платья с разрезом сбоку до колен, вынула пригоршню увядших цветов и протянула их Джо.

Джо замотала головой.

— Нет, спасибо. Это слишком крепкий для меня запах.

Ван аккуратно завернула жасмин в листок из блокнота и выбросила пакетик в мусорную корзину.

— Зачем вы так? — всполошилась Джо.

— Жара усиливает их аромат,— учтиво ответила Ван, но в голосе ее можно было уловить чисто китайское высокомерие.

В Шанхае Джо долго не могла прийти в себя. Руперт и Бонни отправились в английское консульство за телеграммами от Фредди, а она осталась лежать в номере бывшей гостиницы «Китай», которая называлась теперь «Мир». Это был роскошный, построенный англичанами небоскреб, где мы жили высоко, в угловой башне. Ветер с реки Хуанпу завывал целый день и нес желтую пыль, а тропический воздух был так влажен, что мы задыхались. Я сидел у окна, обмахиваясь гостиничным веером, и читал один из бесчисленных документов, которые мы привезли с собой; Джо разговаривала с Ван.

— Вы **действительно** коммунистка, мадам Ван? — спросила она.

— Да.

— Но вы для этого слишком изящны,— заявила Джо.— Впрочем, вы здесь все такие. Смотрите, какие у вас прелестные руки!

— У нас в Китае едят очень мало сахара,— сказала Ван и спрятала свои прелестные руки.

— Вы думаете, у вас поэтому такая прозрачная кожа?

— У нас едят очень мало мяса,— осторожно добавила Ван.

— На ваш взгляд, мы ужасно большие и жирные,— устало усмехнулась Джо.

— О, я совсем не то хотела сказать,— поспешно заметила Ван.— Я пошутила.

Но с минуту обе женщины внимательно смотрели друг на друга, понимая, какая их разделяет пропасть. Впоследствии Джо напомнила мне об этом разговоре.

— Вот я валяюсь здесь, как корова, и щеки у меня румяные, и грудь большая, а она как тростинка, дунь — и вылетит в окно. Но, пари держу, в ней есть что-то железное.

Значит, и Джо заметила то, что бросилось мне в глаза. Я наблюдал за мадам Ван и на вокзале в Пекине, и в поезде. Она была непреклонна, и хотя всегда держалась спокойно и вежливо, ее матовое лицо часто принимало выражение холодной решимости, когда она настаивала на чем-то и добивалась своего.

Мне хотелось, чтобы женщина эта ожила, и под конец нашего знакомства, на

короткий миг, так и случилось, но, как правило, сдержанность никогда ей не изменяла, а ее учтивая предупредительность по отношению к нам всегда была безупречной.

■

С самого начала наших переговоров в Шанхае Руперт, по существу, требовал от Бонни доказательств, что коммунисты неправы. Я был даже рад, что Джо так невыносимо страдала от жары и всяких неприятностей с желудком,— ей было не до Руперта, и она не замечала, как неосмотрительно он себя ведет.

В первый день приезда в Шанхай мы оставили Джо в гостинице с мадам Ван, а сами отправились в черном русском «зисе» в другое здание, построенное англичанами на старой улице Бунд, которая была теперь такой пустынной, как лондонское Сити в воскресенье. Мы вошли в бывший Китайский банк, где в зале бирюзового цвета, щедро отделанном позолотой, стояли старинные китайские стулья и вазы — предметы роскоши, выглядевшие в этом спартанском городе как-то нелепо.

Китайскую сторону на переговорах представляли четверо, они встретили нас вежливыми улыбками и предложили чаю; переводчиками служили два местных чиновника. Китайцы, хоть и были людьми деловыми, разговаривая с англичанами, придерживались восточной вежливости и прикрывали ладонью рот. Бонни чувствовал себя в этой обстановке как рыба в воде, а мне было не по себе, но отнюдь не из-за непомерной вежливости китайцев — меня все больше беспокоил Руперт.

Переговоры начались. Китайцы спросили, чего мы хотим. Руперт сжато, со знанием дела, изложил наше требование немедленной компенсации, напомнив все, о чем обе стороны уже успели договориться раньше. Мы приехали сюда, сказал он, чтобы попытаться урегулировать старые счеты и вступить в новые деловые отношения или, по крайней мере, предоставить в распоряжение Китая наши суда.

— Мы хотим, чтобы на Хуанпу снова кипела жизнь,— заключил Руперт, указывая на молчаливые, безлюдные верфи за окном, растянувшиеся на много миль.

Руперт изучил требования во всех подробностях, как, впрочем, и я. Фредди дал нам с собой тысячу всевозможных документов, но предупредил Руперта, чтобы тот не слишком в них погружался. «Избегайте, насколько возможно, деталей,— советовал он.— Китайцы обожают детали, а вы в них не вдавайтесь: главное — принципиальная договоренность. Договоритесь с ними в принципе и вытяните из них деньги».

В первый день китайцы только слушали. На второй они вступили в спор. Моя задача заключалась в том, чтобы давать необходимые справки по мере того, как всплывал тот или иной вопрос, поэтому Руперту достаточно было только кинуть на меня взгляд, и он мог продолжать толковать о землечерпалках, складских помещениях, паромах, якорных стоянках, буксирных катерах и речных баржах (в свое время Ройсам принадлежало двести барж и сто тридцать джонок на одной только Хуанпу). Я перелистывал тома переплетенных документов, и тем не менее китайцы порой ловили нас на погрешностях: у них была более солидная документация о делах нашей фирмы, чем у нас самих. Так, например, зашел спор о судебном процессе 1901 года по делу о двух паровых катерах, оцененных тогда в 400 фунтов стерлингов. Фирма подала в суд, претендуя на эти катера в погашение долга одного китайского судовладельца. В то время фирма выиграла процесс, но теперь, шестьдесят лет спустя, китайцы оспаривали право международного (то есть английского) суда в Шанхае выносить подобные решения. Они ссылались не меньше чем на двести пятьдесят незаконных решений в пользу Ройсов — относительно краж, потерь зерна на складах, страховых и коммерческих сделок, каковых за шестьдесят лет в общей сложности накопилось на сумму почти в миллион фунтов.

— Ладно,— решил вдруг Руперт.— Вы правы, а мы нет. Снимаем эти претензии.

Бонни стал возражать, но Руперт заставил его умолкнуть.

— Вы не имеете права так поступать,— возмущенно выговаривал ему потом Бонни.— Если вы идете на такую уступку, вы создаете прецедент, который затронет интересы других фирм, не только ваши. Я должен защищать претензии двух крупных страховых компаний примерно на три миллиона, и наши притязания окажутся беспочвенными, если мы станем на китайскую точку зрения относительно неправомочности бывшего международного суда.

— Что ж, оспаривайте эту точку зрения,— сказал Руперт.— Но только не при мне.

Это была лишь одна из многочисленных стычек, которые доставляли откровенное удовольствие Руперту и все больше злили Бонни. Вскоре он утратил свое показное добродушие и даже пожаловался Джо на Руперта, чем взвинтил ее еще больше.

Руперт продолжал держаться вызывающе. Он отказывался от переговоров во второй половине дня: в эти часы он знакомился с Китаем, а китайские коммунисты хотели показать ему прежде всего Шанхай, город, где особенно отчетливо видны были происшедшие в стране перемены.

Когда-то это был самый грязный и бедный город на свете: миллион нищих жили тут неизвестно чем; ежегодно здесь убивали сто тысяч новорожденных — население целой страны, такой, скажем, как Люксембург. Чужеземное владычество, бедность, болезни, детская смертность, наркотики, проституция, бандитизм, пороки, неизвестные

за пределами этого гигантского притона, коррупция во всех ее видах, контрасты между богатством и нищетой — все это, вместе взятое, привлекало сюда европейских туристов, охотников до экзотики. Но теперь туристы исчезли, Шанхай очистился от всей своей нечисти, люди больше не умирали с голоду, и город перестал быть позором всего континента.

На Руперта это произвело глубокое впечатление. За обеденным столом, накрытым скатертью, сырой от влажного воздуха, он рассказывал, что помнит шанхайские доки с детских лет, когда приезжал сюда с отцом.

— Помню отчетливо: я поднимался по деревянной лестнице старого здания администрации наших верфей и видел в окно, как горбун китаец бросает десяток бамбуковых бирок в толпу оборванных мужчин и подростков, собравшихся за главными воротами. Поднялась отчаянная драка. Так людей нанимали на работу. Тот, кто предъявлял бирку, получал право таскать в тот день груз. Это был особый вид спорта, изобретенный нашей фирмой. Докеров здесь звали «дикими петухами»: им приходилось драться друг с другом за право получить работу.

Руперт посетил пустующие верфи фирмы, здание администрации стояло на прежнем месте. Он разговорился со старым докером, и тот рассказал, как жил в былые времена: зимой он ночевал в общественных уборных, дети его умирали с голоду, дочери продавались в кабалу, а жена нищенствовала, вымаливая капустные листы. Под складом № 7 помещалась водяная тюрьма, куда администрация бросала докеров за плохую работу или кражу. Это была тесная яма со стоячей водой, и провинившийся проводил там три-четыре дня, а то и неделю.

— Перестань! — не выдержала Джо; она решилась сесть с нами за стол и пыталась проглотить кусочек вареной курицы, запивая ее содовой водой.— Рассказывать такие мерзости, да еще за обедом! Ужас какой-то!

— Тем не менее это правда,— сказал Руперт, ехидно поглядывая на Бонни.

— Все так поступали,— возразил Бонни.

— И **ваша** семья так поступала? — спросил Руперт.

— Мне все равно, кто виноват, я не хочу больше об этом слышать! — истерически закричала Джо.

Мы замолчали, неприязненно поглядывая друг на друга, и я был рад, что пришла мадам Ван. Она повела нас в оперу, здание которой находилось рядом.

Но Джо заявила, что никуда идти не в состоянии, а Бонни предпочел отправиться в консульство пить виски. Руперт, Ван и я шли по раскаленным, душным улицам и видели под каждым фонарем кучки детей: они читали, писали и разговаривали.

— Что они тут делают? — спросил Руперт у Ван.

— Готовят уроки,— ответила она.— Здесь им светлее, чем дома.

Я заметил, что Руперта передернуло; не требовалось быть психологом, чтобы понять, как он изменился за последнее время.

Глава тридцать первая

Наши переговоры застопорились из-за одного весьма своеобразного, но принципиального вопроса. Многие шанхайские банкиры, маклеры и коммерсанты вложили свои капиталы в крупные дочерние предприятия Ройсов в Кантоне и Шанхае: в ремонтные мастерские, сортировочные станции, две домны для отливки низкосортного чугуна, фабрику для изготовления джутовых мешков. Когда к власти пришли коммунисты, китайские коммерсанты, бывшие владельцами (или совладельцами) таких предприятий, бежали в Гонконг.

Бонни хотел, чтобы их капиталовложения рассматривались как английские — более того, как капиталовложения фирмы Ройсов, и горячо спорил об этом с китайцами.

— Пожалуйста,— сказали те, вежливо его выслушав.— Мы можем включить в программу переговоров и вопрос о капиталовложениях китайских эмигрантов. Но это вызовет задержку.

— Нет, нет,— решительно воспротивился Руперт.— Никаких задержек.

Бонни был достаточно тактичен, чтобы не препираться с Рупертом в присутствии китайцев, но когда мы вернулись в гостиницу, он за обедом накинулся на него. Джо вяло спросила, из-за чего они опять не поладили.

— В Шанхае и Кантоне с фирмой Ройсов связано немало китайских капиталистов,— ответил Руперт и объяснил Джо, из-за чего сегодня шел спор.

— Это сейчас такие же английские капиталы, как и капиталы Ройсов,— настаивал Бонни.— Нельзя отделить одни от других.

— Когда их вкладывали в лихтеры и фабрику джутовых мешков, они не были английскими. Они были китайскими.

— Это не имеет значения. Предприятия, в которые были вложены китайские деньги, являлись английской собственностью, и мы вправе требовать компенсации.

— Ну, и требуйте на здоровье,— насмешливо бросил Руперт,— но только не за счет нашей фирмы.

Они продолжали пререкаться, и Джо с негодованием ушла из-за стола.

На другой день все началось снова, на этот раз из-за двадцати четырех землечерпалок, которые принадлежали Ройсам, но находились в пользовании Шанхайской канализационной компании. Руперт решил не включать их в список требований фирмы и сообщил об этом китайцам.

— Боже мой, Руперт,— застонал в отчаянии Бонни.— Вы же наносите удар по своим. Где ваша совесть?

— А вы хотите, чтобы Ройсы расплачивались за наследников Шанхайской канализационной компании, которые бьют баклуши в Гонконге и Лондоне! Не будет этого! Я против.

Так дальше идти, конечно, не могло, и Руперт в конце концов сделал шаг, который ему давно хотелось сделать.

— Придется вам сегодня отправиться туда одному, Джек,— сказал он мне на четвертый день.— Переговоры об оценке погрузочных приспособлений я поручаю вам. (Речь шла о законных требованиях фирмы.) А если Бонни спросит, куда я пропал, скажите, что я поехал осматривать сельскохозяйственную коммуну.

— А где вы будете на самом деле? — недоверчиво спросил я.

— Я заявил китайцам, что предпочитаю вести сепаратные переговоры о претензиях нашей фирмы; по правде говоря, я их уже веду.— Так вот почему он приезжал в гостиницу поздно вечером, отговариваясь тем, что наносит официальные визиты! — Завтра я их, видимо, закончу, но я не хочу, чтобы Бонни что-нибудь заподозрил.

Я сам недолюбливал Бонни, но то, что затеял Руперт, мне не нравилось, и я вдруг почувствовал, что в наших отношениях образуется трещина.

На другой день я отправился на переговоры один и весьма убедительно спорил о том, к чему должна свестись разница между нынешней и первоначальной стоимостью погрузочно-разгрузочного оборудования фирмы Ройсов. А когда в конце заседания Бонни спросил меня, где Руперт, я ответил, как было условлено:

— Поехал в одну из сельских коммун вверх по реке.

Бонни не поверил и, когда мы вернулись в гостиницу, пошел к Джо. Она в этот день поднялась с постели, и они с Бонни отправились погулять по набережной. Днем шанхайские улицы заполнены толпами прохожих, а по вечерам, когда спадает жара и уличная сутолока замирает, люди выносят тростниковые циновки, младенцев и кухонные горшки прямо на тротуар, чтобы провести часок-другой в прохладе.

— Послушайте, Джо,— сказал Бонни.— Руперт затевает что-то нехорошее, и мне надо знать, что именно.

— От меня вы этого не узнаете,— отрезала Джо.

— А почему? Для его же пользы.

— Вы думаете, я стану входить с вами в сговор за спиною мужа? — спросила Джо.— Вы с ума сошли!

— Нет,— с раздражением возразил Бонни.— С ума сходит Руперт. Честное слово! Неужели вы одобряете его поведение?

— А если и не одобряю,— проговорила она, глядя, как черные облака все ниже спускаются на бурую реку, и ощущая духоту всеми порами тела,— что я могу поделать?

— Добейтесь, чтобы он как можно скорее вернулся домой. Увезите его отсюда. Китайцы его обрабатывают, и если он заключит с ними секретное соглашение, я не дам за его будущее и ломаного гроша. Он станет такой подозрительной личностью, что никто не захочет иметь с ним ни малейшего дела.

Черное небо вдруг раскололось от края до края, и на них обрушился теплый поток дождя; в одно мгновение Джо промокла до нитки. Пока они добежали до гостиницы, платье у нее прилипло к телу, а с волос текла вода. Мы встретились в лифте, оба они были похожи на утопленников.

— Вы не в своем уме, Джо,— сказал я.— При вашем здоровье...

Джо просунула мокрую руку мне под локоть, я проводил ее в номер, и, переодеваясь у себя в спальне, она рассказала мне через дверь о разговоре с Бонни. Руперт еще не вернулся, Ван тоже не было.

— Что делать? — спросила она в унынии.— Неужели он действительно пытается заключить секретное соглашение с китайцами?

— Не знаю,— ответил я.— Ничего не пойму.

— Все это просто невыносимо! — воскликнула она.— Я и так плохо себя чувствую, а тут еще эта адская жара...

Мне стало ее жаль, и я сказал, что не стоит волноваться: скоро все кончится, и мы уедем.

Руперт появился только к вечеру. Он позвонил мне по телефону и попросил зайти к ним в номер. Когда я пришел, Руперт выговаривал Джо:

— Не успела встать с постели и уже бежишь под дождь...

— А я нарочно,— огрызнулась она. На миг в ней проснулась прежняя Джо.— Все, что угодно, лишь бы не торчать здесь. Все, что угодно...

Руперт посмотрел на нас обоих с вызовом и сообщил:

— Возможно, это будет вам небезынтересно? С китайцами я обо всем договорился.

Наступило короткое молчание.

— Ты что, заключил с ними секретное соглашение? — спросила Джо.

— А что в нем секретного? — возразил он.— Я просто не сказал ничего Бонни, вот и все.

— Сколько? — спросил я.

Руперт смотрел в окно — внизу при свете фонарей босые китайские трамвайщики переводили стрелки. Они перекликались, торопя друг друга, потом послышался трамвайный звонок, а потом удар грома потряс наш небоскреб до самого основания.

— Пять миллионов,— сказал Руперт, не отворачиваясь от окна.

— Боже мой! — в восторге воскликнул я.— Это миллиона на полтора больше, чем Фредди надеялся в лучшем случае получить. Вот здорово!

— Что скажет Брайан Бонни? — с тревогой спросила Джо.

— Брайан Бонни этого не узнает.

— Ну, уж он-то узнает,— капризным тоном заметила Джо.— Он все узнает.

— Пусть. Сделать он ничего не сможет,— пожал плечами Руперт.— Соглашение достигнуто. Мне осталось подписать его в Пекине и условиться о порядке выплаты.

— И мы можем ехать домой? — с надеждой спросила Джо.

— Пока еще нет.

— Но ты же сказал, что все кончено?

— Да, но раз уж нас занесло в такую даль, обидно сразу возвращаться.

— Ты это говорил и в России,— чуть не заплакала от досады Джо.— Честное слово, я этого больше не вынесу. Поедем домой!

— Вот увидишь, ты скоро поправишься,— пытался он ее подбодрить.

— Нет, я совершенно измучилась. У меня все тело ноет.

— Еще час назад ты бегала под дождем.

— Негодяй! — закричала она и бросилась в ванную комнату, чтобы выплакаться.

— Зачем вы ее злите? — сердито спросил я Руперта.

— Сам не знаю,— сокрушенно ответил он.

Он пошел за Джо, и они кое-как помирились. Мы опоздали к обеду, за которым все четверо дулись друг на друга. Английская выдержка Бонни сильно поизносилась за это время, а от выдержки Руперта давно не осталось и следа, словно окружавшие нас чужие люди, обычаи и говор содрали с нас не слишком надежную защитную оболочку.

■

В два часа ночи Руперт снова позвонил мне по телефону и попросил зайти к ним в номер.

— Дело срочное, Джек, — сказал он.— Пожалуйста, придите немедленно.

Я подумал, что Джо стало плохо, и побежал к ним сломя голову, но когда я открыл дверь номера, они оба сидели в халатах перед электрическим вентилятором.

— Джек,— обратился ко мне Руперт,— мы вылетаем в шесть утра. Только что звонила мадам Ван, она достала билеты.

— Я не полечу,— упрямо произнесла Джо, и по ее тону я понял, что она повторяет это уже не в первый раз.— Ни за что не полечу на китайском самолете.

— А куда вы так торопитесь? — спросил я.

— Надо в Пекине поскорее подписать соглашение. Я не хочу, чтобы они передумали, и не хочу, чтобы Бонни успел вмешаться. Вы мне нужны как свидетель: лучше обойтись без посольства.

— Никуда я на китайском самолете не полечу,— ныла Джо.

— Почему? Это удобнее и быстрее. В конце концов, в Пекин мы же прилетели на самолете.

— Но в Китае я летать не буду,— монотонно твердила она.— Во всяком случае, вдвоем с тобой. Хватит того, что мы оба здесь. Пусть погибнет один из нас, но не оба вместе.

— Но я не могу ждать.

— Почему ты мне раньше не сказал?

— Я не знал, достанем ли мы билеты. Зачем было зря тебя волновать?

Джо откинулась на спинку кресла, подставляя лицо теплой струе воздуха из вентилятора.

— Ты лети, а я поеду поездом,— сказала она.

Она так и не уступила. Руперту пришлось позвонить мадам Ван и сообщить ей, что Джо предпочитает ехать по железной дороге. Я вернулся в свой номер и лег спать. В пять часов утра официант принес мне завтрак, я выставил чемодан за дверь и пошел к Руперту. Джо продолжала упрямиться, но ее согласилась сопровождать Ван. Они должны были выехать вечерним поездом через Нанкин и прибыть в Пекин через сутки.

Руперта это устраивало, а если и нет, то он не подавал виду, так ему не терпелось поскорее подписать соглашение. Когда мы прощались, Джо стояла у двери бледная, какая-то потерянная; я чуть было не вызвался остаться с ней, но по глупости этого не сделал.

— Не огорчайся, детка,— ласково сказал ей Руперт.— К твоему приезду я покончу с делами, и мы будем все время вместе.

Джо промолчала. Она чувствовала себя глубоконесчастной, и вид у нее был такой безнадежный, что меня это даже встревожило. Если бы Руперт был повнимательнее, он бы понял, что ее нельзя оставлять одну. Она стояла в мрачном, злом раздумье, едва удерживаясь от очередной вспышки; в ней, видимо, поднималось отчаяние, и, так же, как Руперта, оно могло толкнуть ее на опрометчивый шаг. Но Руперт был беспощаден только к себе, а то, что она совершила по дороге в Пекин, было настолько безжалостно и к ней самой, и к нему, что могло разрушить даже самый счастливый брак.

Главы тридцать вторая — тридцать третья

Мы подписали соглашение в три часа дня; принимая во внимание размеры документа, а также то, что он был на двух языках — на китайском и на английском,— мы хорошо поработали.

Теперь, когда у Руперта сложилось свое, собственное мнение о Китае, он неизбежно должен был сделать из этого какие-то практические выводы. Собственно, он и начал их делать со свойственной ему решимостью, но тут ему помешала Джо.

Стоило нам вылететь из Шанхая, как Руперт и думать перестал о Бонни, но тот волей-неволей вынужден был следовать за ним. Бонни выехал тем же поездом, что и Джо; у него было свое купе, у Джо и Ван — свое.

— Руперт меня обманул. Это некрасиво,— пошутил он, когда Джо зашла к нему в купе.— Вам надо было меня предупредить.

Бонни делал хорошую мину при плохой игре.

— А вам не надо было с самого начала гладить его против шерсти,— ответила Джо.

— Зато теперь он гладит против шерсти меня.

Джо только пожала плечами: пусть дерутся. Но почему они так не любят друг друга?

Все утро она дремала у себя в купе, прихлебывая горячий чай, который ей подавали проводники, расхаживавшие по коридорам в поисках недобитых мух. Когда бы она ни выглянула в окно, она видела крестьян, которые трудились на облитой зноем влажной китайской земле. А поезд все бежал и бежал мимо сорговых, рисовых и хлопковых полей, мимо крохотных холмиков — неприкосновенных могил предков. В полях не видно было ни машин, ни тракторов. Все было здесь чужое; только когда поезд проносился по стальному мосту или вдруг останавливался в каком-нибудь большом городе, окруженном черной каймой фабрик, перед глазами возникало что-то знакомое, но все-таки сохранявшее восточный облик.

— Вы что-то замечтались,— заметил Бонни.

Они обедали у него в купе, чтобы избежать общества Ван; стук колес, заполнявший тесное отделение вагона, казалось, отгораживал их от всего мира, и Джо не очень удивилась, когда Бонни вспомнил, что он мужчина, и стал настойчиво за ней ухаживать.

— Послушайте, Брайан, вы, кажется, забываетесь,— оттолкнула она его руку и дружески похлопала его по колену — самый расхолаживающий жест, какой она могла придумать. Это подействовало.

— Джо, мы ведь с вами сейчас совсем одни, как на необитаемом острове,— вздохнул Бонни.

— А что скажет ваша жена? — спросила Джо, задав вопрос, который всегда задает женщина в порядке самозащиты.

— У жен своя интимная жизнь, вы это, наверно, знаете по себе,— рассмеялся Бонни.

— Что правда, то правда,— согласилась Джо.

Она с обидой подумала, что Руперт напрасно оставил ее наедине с Бонни в поезде: если что-нибудь случится, сам, дурак, будет виноват.

Но еще ничего не случилось.

После обеда она прилегла и тщетно пыталась уснуть — вагон трясся и громыхал, а когда он останавливался, в душное купе врывались голоса китайцев. Потом поезд, немилосердно раскачиваясь, несся дальше, сквозь тропические ливни, сквозь тучи пыли, через шумные потоки и снова резко тормозил. Путешествие казалось ей бесконечным: она никак не могла освоиться с мыслью, что едет совсем одна, без Руперта, по этой чужой и далекой стране с ее непонятными людьми. Слезы выступили у нее на глазах, и она откинулась на подушку, прикрыв лицо книгой, которую читала: это были «Мандарины» Симоны де Бовуар; роман дала ей в дорогу Пегги, заявив, что он очень подходит для долгой поездки — толстый, и в нем бушуют страсти.

Вечером, сидя напротив Бонни, она чувствовала себя лучше, но мысль, что ей предстоит провести целую ночь в одиночестве, была невыносимой. И, когда Бонни два часа спустя положил ей руку на грудь, она больше не сопротивлялась; она чувствовала, как злость на Руперта то закипает в ней, то ослабевает, потом злость вдруг исчезла, и тогда Джо только удивилась, почему она не отталкивает горячих рук Бонни.

— Не смейте! — воскликнула она.

Бонни не обратил на это внимания. На минуту ей показалось, что она взволнованно, исступленно смотрит на себя, на свою жизнь со стороны, ждет какой-то вспышки, прозрения; тело подсказывало ей, что она может его найти в мгновенном приступе страсти, пусть хотя бы случайной.

— Боже мой! — воскликнула она, когда Бонни одержал, наконец, победу.

Но едва только минутный порыв миновал, Джо почувствовала, как рухнули моральные устои, которые поддерживали ее всю жизнь. Снова и снова обвиняя во всем Руперта, она тихонько проплакала остаток ночи на своей верхней полке, над головой Ван; в суеверном страхе она твердила себе, что теперь непременно случится что-то с ее детьми — ведь она нарушила обеты, которые дали им жизнь и хранили их до сих пор.

Утром, когда поезд прибыл на ультрасовременный пекинский вокзал, Бонни, как ни в чем не бывало, хотел взять ее под руку.

— Не трогайте меня! — воскликнула она.— Не смейте со мной заговаривать!..

— Стоит ли так нервничать, Джо? — мягко спросил Бонни; он отлично понимал ее состояние, но хотел ее успокоить.

— Если Руперт узнает, он вас убьет.

— Сомневаюсь,— усмехнулся Бонни, снимая с полки ее чемодан.— Руперт человек великодушный.

— Лицемер!

— Видите ли,— изрек он философски,— великодушные люди всегда женятся на стервах, а вы, имейте в виду, ведете себя как настоящая стерва.

Она и сама это понимала, но тут ей пришло в голову, что, может быть, Бонни мстил через нее Руперту, и от этой мысли ей стало совсем тошно.

■

Мы с Рупертом ждали ее на вокзале. Джо взяла мужа под руку.

— Мне стало лучше,— сообщила она.— Когда мы поедем домой?

— Не знаю,— ответил он.— Хотелось бы здесь еще кое-что посмотреть.

Джо не стала спорить и только крепче прижалась к нему. Она решила взять себя в руки и ни в чем ему не перечить — может быть, тогда она избавится от угрызений совести. Бонни молча шел за ними; он старался держаться в тени, в то время как Джо болтала без умолку о себе и своем путешествии, поэтому мне не составило труда догадаться, что́ между ними произошло. Позже, за отсутствием наперсницы, вроде Пегги или Мэриан, Джо излила душу мне.

— Успокойтесь, Джо,— вот и все, что я нашелся сказать.— Чего там. Считайте, что это несчастный случай...

— Несчастный случай! — вспылила она.— Я сделала это нарочно. Руперт портит жизнь мне, а я испорчу жизнь ему.

Тем не менее мы оба понимали, что Руперт ничего не должен знать. Сейчас он был занят своими мыслями и ни о чем не догадывался, хотя и Джо и я не сомневались, что рано или поздно все выйдет наружу.

■

Мы провели два дня, до одури осматривая школы, больницы, университет (студентов мы не видели, они были распущены на летние каникулы), текстильные фабрики, десять огромных павильонов сельскохозяйственной выставки. Джо не пожаловалась ни разу. Она льнула к Руперту, не отходила от него ни на шаг, была с ним мила, предупредительна — наверно, она так вела себя, когда они только поженились. Руперт не видел в этом ничего странного, во всяком случае, первое время, хотя он хорошо знал Джо и мог догадаться, что такая перемена неспроста. Но он не задавал никаких вопросов. Он был слишком захвачен тем, что было кругом.

Мы улетели из Китая утром в среду, и на прощание мадам Ван открылась нам с новой стороны. Она привела с собой в аэропорт своего пятилетнего сына; его звали Сяо Бин. Он маршировал взад-вперед, как маленький солдатик, под ногами у провожавших нас сотрудников министерства. Собственно говоря, его имя и означало «маленький солдат»; он уверенно топал своими ножками по земле, словно ему принадлежала каждая ее пядь.

Как ни странно, Ван совсем не могла с ним сладить. Она окликнула его: «Сяо Бин» — и добавила несколько слов по-китайски. А он продолжал маршировать, бормоча что-то вроде «ба, бей, бин...»; когда же мать попыталась заставить его быть вежливым и подойти к нам, он надменно взглянул на нас, как генерал на параде, и снова принялся шагать, твердя свое «ба, бей, бин»... Руки мадам Ван смущенно забегали вверх и вниз по ее синему китайскому платью, но потом она улыбнулась:

— Мальчик избалован. В Китае мы, к сожалению, балуем детей.

Она кинула на меня робкий взгляд; каменный цветок наконец ожил, да и миссия ее кончилась, мы навсегда исчезали из ее жизни.

Русский реактивный самолет взмыл в воздух. В Лондон мы должны были попасть к ужину: летя на Запад, мы выигрывали пять часов. Мы приступили к первому из трех

завтраков, двух обедов и двух ужинов, которые нам предстояло съесть в пути. Полет происходил на такой высоте, что ни ветер, ни тучи, ни жара и ни холод не имели для нас в этой алюминиевой коробке никакого значения.

Мы пролетали где-то над Сибирью, когда Руперт вдруг вспомнил о Бонни: тот вернулся в Шанхай, чтобы от лица гонконгских банкиров продолжать переговоры о китайских компаньонах Ройсов.

— Бонни пытался убедить китайцев, что наша фирма скоро перейдет в руки «ЮСО» и деньги, которые я получу, попадут в карман к американцам.

— Не может быть! — возмутилась Джо.

— Он намекнул на это достаточно ясно,— насмешливо улыбнулся Руперт.

— А китайцы сказали, когда нам заплатят? — спросил я у Руперта: в последние дни он не раз встречался с китайцами без меня.

— Они вообще ничего не будут платить,— безмятежно ответил Руперт. Мы с Джо молча на него уставились.— Я аннулировал долг,— добавил он,— и отказался от денег.

— От пяти миллионов?

— Да. Я им отдал их.

У нас перехватило дух.

— Но почему? — воскликнула Джо.— Ты сошел с ума!

— Если я сумасшедший,— спокойно заявил он,— чего же нам ссориться?

— Но ты не имел на это права! — беспомощно пролепетала Джо.

— Нет, имел,— отрезал Руперт.— Я — Ройс, а это деньги Ройсов, и я имею такое же право ими распоряжаться, как любой другой член семьи.

Он был в отличном настроении; Джо смотрела на него с недоверием и тревогой, но ее обезоруживало то, что разговор шел в самолете. Что касается меня, я, конечно, был удивлен, но не слишком. Ведь я знал, что от Руперта можно было ожидать чего угодно. Я спросил его, что скажет Фредди теперь, и он мне ответил:

— Наверно, придет в бешенство.

Глава тридцать четвертая

В Англии катастрофа разразилась не сразу, жизнь подарила нам один безоблачный день. Мы прилетели в среду. Фредди возвращался из Нью-Йорка в пятницу, а в четверг мы отправились в Альберт-холл, где французский лицей Роланда проводил церемонию раздачи наград. Мы находились на расстоянии всего полусуток пути от раскаленной столицы Китая, но этому трудно было поверить, такой огромной казалась пропасть, разделявшая два мира.

Раздача наград была целым событием и для детей и для родителей; и Джо настояла на том, чтобы ради такого случая мы наняли лимузин.

Роланд не получил ни prix d'excellence*, ни даже prix du tableau d'honneur**, но ему достались награды за математику и за science naturelle***.

Когда церемония закончилась, органист оглушил зал звуками бетховенского марша, и все поспешили к выходу, а Тэсс заткнула уши пальцами.

— Скорей! — торопила Джо.— Я хочу поближе поглядеть на приятелей Роланда.

Мы увидели Роланда у подъезда № 9 — он болтал с двумя мальчиками, и они громко хохотали; заметив нас, Роланд поспешил отделаться от товарищей.

— Я ни разу не слышала, как он говорит по-французски,— огорчилась Джо.

— Кто эти мальчики? — спросила она Роланда, когда мы к нему подошли.

— Из нашего класса,— небрежно ответил он.

Джо это объяснение не удовлетворило, но Руперт только посмеялся. Юность у Роланда вряд ли будет долгой: время подхлестывает детскую жизнь, втискивает в жесткие рамки, слишком рано пробуждает тайные желания и страсти, а злая действительность грозит этой жизни уничтожением; да, сегодня как никогда детям необходима защита взрослых.

— Ну как? — спросил Руперт, взяв за руку Тэсс.— Едем домой?

— Давайте немножко пройдемся,— предложила Джо.

Она провела нас вдоль всего фасада Альберт-холла — ей, видимо, хотелось похвастаться перед всеми, какая у нее красивая, нарядная семья, ей приятно было отвечать на поклоны друзей и знакомых, Джо чувствовала себя совершенно счастливой в своем маленьком мирке.

Мы шли сзади, и Руперт шепнул мне, как ему смертельно не хочется разрушать то, чем она живет. Но выхода нет: прелестные лица детей как раз и напоминают, что их жизнь в наших руках и что мы должны сделать ради них все, что можем.

---

* Первая награда *(франц.)*.
** Почетная награда *(франц.)*.
*** Естествознание *(франц.)*.

Глава тридцать пятая

Я знал, что Руперт вернулся из Китая другим человеком, и все же, пока он не выложил мне своих планов, я не представлял себе, до какой степени он изменился. Его намерения были вполне определенными, и, зная его упрямство, я не сомневался, что он выполнит то, что задумал, до конца.

— Но что вы собираетесь сделать? — спросил я с неодобрением.— Расскажите подробнее.

— Только не принимайте все так близко к сердцу, Джек,— ответил он, не обращая внимания на мой враждебный тон.

Я еще никогда не видел Руперта таким довольным; с тех пор как он отдал пять миллионов китайцам, он держался как человек, который нашел свой путь. Он был спокоен, чувствовалось, что он уверен в своей правоте.

— Во-первых,— заявил он.— я хочу забрать из фирмы все свои деньги.

— А разве это возможно? — удивился я.— Ведь, кажется, акции фирмы не продаются?

— Их можно продать кому-нибудь из членов семьи. Я продам их Фредди.

— Фредди? А почему не вашей матери?

— Ни в коем случае! — воскликнул Руперт; он лежал на залитой солнцем лужайке возле дома, поставив на живот чашку чая, принесенную Анджелиной.— Мать мне за них заплатит, а потом положит их в банк на мое же имя или на имя детей. Нет! На этот раз я решил порвать с нашей фирмой окончательно.

— А вы не думаете, что Фредди тоже сохранит для вас акции?

— Фредди? Вот уж кто из рук ничего не выпустит.

— Но...

— Можете помолчать? — рассердился Руперт.— Вы не даете мне слова сказать. Разве вам не интересно знать остальное?

Я сказал, что интересно.

Намерения у него были самые простые. Получив деньги, он хотел создать нечто вроде фонда для разных полезных начинаний.

— Что вы называете «полезными начинаниями»? — спросил я.

— В конечном счете все полезные начинания преследуют одну и ту же цель.

— В таком случае, почему бы вам сразу не отдать ваши деньги коммунистам? — сухо осведомился я.

— Потому, что у меня свои взгляды и свои планы,— отрезал он.

Летний день выдался на славу. За углом дома Джо поливала розы: она крикнула Роланду, чтобы он убрал с грядки свой велосипед.

— Ах ты, растеряха...— бранила она сына.

— Если вы раздадите деньги,— спросил я,— на что вы будете жить?

— Не беспокойтесь, с голоду не умрем.

— А вы подумали о Лилле?

Руперт стал обкусывать травинку.

— Теперь ему со мной не так легко сладить,— заявил он.

— А Джо?..— этот вопрос я припас под конец.

— Не знаю,— задумчиво, но без всякой тревоги ответил Руперт.— Как-нибудь я ее уломаю. Беда в том, что я никогда всерьез не делился с нею своими замыслами.

Я сказал, что ему, конечно, необходимо поговорить с Джо, и со вздохом добавил, что я ему не завидую. В эту минуту я думал о той Джо, которой Руперт еще не знал и которая все эти дни жила в непрестанном нервном напряжении,— ее честной, прямой натуре было не под силу таиться и лгать. Я не сомневался, что рано или поздно, в минуту досады или просто не удержавшись, она расскажет ему все за столом или во время прогулки. Что тогда?

— Я убежден, что для Джо самое главное не потеря денег, а то, на что вы собираетесь их тратить,— предостерег я Руперта.

— Знаю.

— Боюсь, что она вас бросит.

Но он, видимо, обдумал и эту возможность.

— Вряд ли,— сказал он.

— По-моему, она никогда не простит вам, если вы примкнете к какому-то политическому движению,— осторожно заметил я.— А ведь похоже, что вы хотите к чему-то примкнуть.

Я думал, что он станет это отрицать, но он, видимо, не нашел в моем вопросе ничего странного.

— Верно,— кивнул он в ответ.

— И вообще, зачем забирать свои деньги из фирмы,— продолжал я, стараясь как можно тактичнее найти какой-то компромисс для него и для Джо.— Почему бы вам не оставить капитал фирме, а доходы тратить по своему усмотрению?

— На то есть свои причины,— покачал головой Руперт.— Во-первых, я хочу освободиться от фирмы Ройсов, чтобы мне ничто не мешало. Но это не все. В нашем уставе сказано, что председатель и один из директоров — то есть Рандольф и другой член семьи — имеют право конфисковать без всякой компенсации акции у того из нас, кто,

по мнению правления, наносит фирме ущерб. А когда Рандольф и остальные узнают, что я сделал в Китае, они именно так и поступят. Пока еще никто не догадывается, но рано или поздно Рандольф об этом пронюхает и заморозит мои акции или отберет их совсем.

— Значит, вам надо немедленно что-то предпринять?

— Я повидаюсь с Фредди завтра же, как только он вернется...

— Но и Фредди может заартачиться. История с пятью миллионами и его вряд ли очень обрадует.

— Конечно. Однако не беспокойтесь: Фредди захочет получить акции.

— А вы уверены, что поступаете правильно? — спросил я.

— Совершенно уверен,— твердо ответил он.— Я уже не могу смотреть на мир прежними глазами. Многое мне самому еще неясно,— признался Руперт.— Но я знаю одно: нельзя больше жить по-старому. Да вы и сами это понимаете.— Он лежал на траве, опираясь на локоть, но теперь приподнялся и раскинул руки, словно желая обнять синее небо и зеленую землю, все великолепие этой летней природы, излучавшей какую-то тихую радость.— Нельзя. Хоть и кажется, что вокруг нас все так прекрасно,— сказал он со вздохом и снова лег навзничь.

— Зачем же требовать перемен? Почему не оставить все, как есть?

— Потому что в нашей жизни не хватает главного,— ответил он.— И чем дольше это тянется, тем становится очевиднее. Я не хочу, чтобы мои дети росли в мире, который убивает в них все, кроме стяжательства и звериного чувства самосохранения. Должна быть какая-то другая, лучшая жизнь, Джек, и для начала надо хотя бы это признать.

— Вы по уши завязнете в политике.

— Вероятно.

— А ведь вы терпеть не можете политической кухни.

— Придется привыкать. Не вижу ничего другого, чем стоило бы заняться. Все остальное — пустая трата времени.

Глава тридцать шестая

В той неразберихе, которая потом началась, все обращались ко мне, будто я один мог объяснить поведение Руперта или оказать на него какое-то влияние. А между тем я не знал, на чьей стороне я сам: мне еще были неясны мои собственные симпатии и антипатии. Позиция моя была особенно сложной потому, что я хорошо понимал обе стороны.

Когда я встретился с Фредди, он все еще кипел от возмущения из-за пяти миллионов. Руперт подарил деньги китайцам окончательно и бесповоротно, но Фредди срочно послал из Гонконга в Пекин Эндрью Ротбарта, чтобы хоть как-то спасти положение. Злость Фредди усугублялась тем, что проект слияния с «ЮСО» и «Фарбверке» проваливался: Фредди не удалось пересилить влияние Бендиго и Рандольфа на министерство финансов и кабинет министров. Правительство не давало согласия. Фредди был совершенно вымотан, да к тому же в последние недели он пил запоем. Поступок Руперта был одним из тех coups de vent *, которые его почти доконали.

— Выкинуть такую глупость! — поражался Фредди.— Уму непостижимо. Неужели вы не могли ему помешать?

— Я ничего не знал,— ответил я.

— Как? Он вам ничего не сказал?

Я объяснил ему, что Руперт, как видно, нарочно держал все в тайне, чтобы не возлагать на меня никакой ответственности.

— Что же все-таки, черт возьми, произошло с ним в Китае? — спросил Фредди.

Мы обедали в кофейном уголке — Фредди был слишком занят, чтобы пойти в ресторан, и сейчас запивал свиную отбивную водкой с содовой водой. Я даже не пытался объяснить, что случилось с Рупертом в Китае: как ему это растолкуешь? Пришлось бы рассказать, что происходило с Рупертом все эти последние годы. И я рассказал только о Лилле и о Бонни.

— Про Бонни я знал,— заметил Фредди.— Но я думал, что Руперт с ним справится.

— Он с ним и справился,— подтвердил я.— Да еще как!

— А Лилл — круглый дурак,— буркнул Фредди.— Он так боится Руперта, что теряет всякое чувство меры.

Я спросил, как обстоят дела фирмы теперь, раз проект слияния с «ЮСО» провалился; и тут Фредди меня удивил.

— Все уладится,— спокойно произнес он.— Ни Пинк, ни я не можем одолеть друг друга, вот мы и решили объединить свои силы.— Он пожал плечами.— Это было неизбежно. Когда мы с Пинком объединимся в сентябре с «ЮСО» и «Фарбверке», у нас получится такой концерн, которому сам черт не страшен.— Фредди цинично рассмеял-

---

* Порывов ветра *(франц.)*.

ся, обнажив желтые зубы.— Мы разрежем на части и поделим между собой весь мир. Но помните, Джек, никому ни слова, не то я вас убью.

Я даже покраснел от возмущения.

— Если это такой секрет,— взорвался я,— зачем мне об этом рассказывать?

— Потому что и вам тут отведена роль,— ответил Фредди.— В сентябре, когда дойдет до дела, я хочу назначить вас директором. Родственнички уже не будут иметь надо мной власти. Мне нужен надежный человек и не трус. Это даст вам десять тысяч в год, Джек, но работать придется до седьмого пота.

Я не сказал ни да, ни нет — предложение было слишком неожиданным, чтобы сразу принять его или отвергнуть. Фредди признался, что его смущает предложение Руперта продать ему свои акции.

— Я не могу их купить, ничего не сообщив тете Кристине,— пояснил он.— Впрочем, Руперт обещал, что договорится с ней сам.

— Ему надо спешить,— заметил я.

— Знаю, но даже я не могу устроить передачу акций быстрее чем за неделю. Это невозможно.

А за неделю либо Лилл, либо Рандольф непременно обнаружили бы, что Руперт подарил китайцам пять миллионов фунтов из капиталов фирмы. Тогда Руперт потерял бы все. Я знал, что Фредди никому не скажет про пять миллионов, молчание сулило ему слишком большую выгоду: он мог получить акции Руперта за пятьсот тысяч фунтов. А через каких-нибудь полгода после создания нового концерна эти акции, наверно, будут стоить уже миллиона два или три; к тому же они давали Фредди дополнительные голоса в правлении. Фредди тут же предложил уступить часть акций Руперта на сумму в сто тысяч фунтов мне, а для их покупки ссудить меня деньгами из расчета всего двух с половиной процентов годовых.

— Это даст вам для начала хоть какое-то право голоса,— объяснил он.

Предложение Фредди меня порядком ошарашило, к тому же я отнюдь не был уверен, что хочу получить право голоса в фирме Ройсов.

— Но было бы куда проще,— сказал Фредди после обеда,— если бы вы отговорили его от этой идиотской затеи.

— Вы серьезно думаете, что его можно отговорить? — рассмеялся я.

— Пожалуй, нет,— улыбнулся он.— Но объясните мне, бога ради, чего он добивается?

— Ничего.

— Так какого же черта он лезет на рожон?

— По велению совести.

Фредди внимательно на меня посмотрел.

— Я понимаю, что такое веление,— протянул он,— но что такое совесть — вот в чем вопрос?

Мне показалось, что Фредди вот-вот отпустит какую-нибудь непристойную шутку насчет причуд совести у Руперта, и уже приготовился ответить, что Фредди тут не судья, раз он собирается делить мир с человеком, которого, по совести, ему, Фредди, полагалось бы пристрелить. Ведь он уже знал, что Пинк Бендиго — любовник Пегги.

Но у Фредди все же хватило порядочности не издеваться над Рупертом,— он только уныло махнул рукой.

■

Фредди вынужден был сообщить матери Руперта о предполагаемой сделке с акциями, и тетя Кристина, отбросив на сей раз привычную сдержанность, которой она с детства прикрывалась как железной броней, заявила Руперту, что он неслыханный эгоист. Джо ушла с Роландом и Тэсс в кино, а меня тетя Кристина перестала стесняться с той первой минуты, когда она приложилась к моему подбородку губами, признав настоящим Ройсом.

— Тебе не кажется, Джек, что он черствый эгоист? — обернулась она ко мне.

— Нет, ему это не кажется,— прервал ее Руперт.

Я думал, что Руперт отпарирует этот удар ссылкой на поистине беспримерный эгоизм своей матери, но он промолчал: и в самом деле, это было бы все равно, что отшлепать ребенка за то, что он любит мороженое.

— Эгоизм — вещь относительная, тетя Кристина,— все же не удержался я.— Тут нет установленной мерки.

— Глупости! — воскликнула она с возмущением.— Эгоизм есть эгоизм. Я никогда не прощу Руперту, если он сделает то, что задумал. Поверьте, лично мне все равно, отдаст он свои акции Фредди или нет. Я надеюсь, вы не подозреваете меня в жадности? Но я считаю, что поступок Руперта — верх сумасшествия. Почему ты хочешь окончательно порвать с семьей? Почему?

— Чтобы ты снова не втянула меня в нее,— терпеливо ответил Руперт, не желая с ней ссориться.

— Но ведь все равно я оставлю тебе свои акции, когда умру.

— Тогда я поступлю с ними так же, как поступаю теперь со своими.

— А куда ты денешь деньги?

— Куда к тому времени найду нужным,— пожал он плечами.

— Я не позволю тебе этого сделать! — твердо произнесла она.— Ты обещал Джо, что больше не откажешься от своих денег.

— А я от них и не отказываюсь. Я просто найду им другое применение.

— Лицемер! — воскликнула она и, немного помолчав, добавила: — К тому же ты знаешь, что твои деньги уйдут на всякие глупости, которые не имеют ни малейшего отношения ни к тебе, ни к твоей семье.

— Правильно,— подтвердил он.

— Не шути. Пожалуйста, не шути,— попросила она.— Я еще ни разу в жизни не говорила с тобой так серьезно. И никогда в жизни ничего тебе не приказывала, а вот сейчас я приказываю... оставить все, как есть. Не смей безобразничать... Джек, не позволяй ему делать глупости!

— Он меня не слушается,— сказал я.

— Послушается. Должен послушаться.

— Что же мне ему сказать?

— Что хочешь. Скажи, как поступит тогда Джо, да он и сам это знает. Скажи, что я перестану с ним разговаривать. Честное слово, перестану. Он жертвует своим положением из каприза. Скажи ему это.

— Мама, не впутывай Джека,— заметил Руперт, глядя в потолок.— Он не станет тебе помогать.

— Я впутаю в это дело всех, кого можно,— многозначительно объявила она.— Вот увидишь.

Руперт выпрямился.

— Напрасно,— встревожился он.— Это никого не касается, кроме тебя, меня и Фредди.

Но тете Кристине не так-то легко было заткнуть рот.

— А Рандольфа это не касается? — спросила она.— Что скажет **он**, если твоя доля капитала в фирме достанется Фредди? Да он просто взбесится.

— Он ничего не узнает.

— Я ему скажу.

— Нет, ты этого не сделаешь,— заявил Руперт.

— Нет, сделаю. А ты бы ему не сказал, Джек? — обратилась она ко мне.

— Нет, Рандольфу я бы не говорил,— ответил я.

— Ну да, вы с Рупертом друзья,— вздохнула тетя Кристина.— Но я знаю, как мне поступить. Завтра поеду в Уошберн и все расскажу Рандольфу. Все.

— От этого будет только хуже,— заметил Руперт.

— Что значит хуже? Я не дам тебе делать глупости.

Мы с Рупертом переглянулись. Невозможно предугадать, что выкинет старик; впрочем, пока ни он, ни тетя Кристина не знали о пяти миллионах, подаренных китайцам, дело обстояло еще не так скверно.

Но тетя Кристина вдруг расплакалась.

— Это самый гадкий поступок в твоей жизни, Руперт,— проговорила она сквозь слезы.— Я тебе его никогда не прощу.

Она вышла из комнаты, и Руперт пошел за ней; я слышал, как они продолжают спорить; вернулся он с расстроенным видом, беспомощно пожимая плечами.

Джо ничего не знала о планах Руперта, и когда она вернулась домой, тетя Кристина отозвала меня в сторонку и попросила:

— Джек, пожалуйста, разреши мне дать тебе денег и уговори его уехать с тобой на несколько недель.

— Куда? — задал я глупый вопрос.

— Ах, не все ли равно! — воскликнула она нетерпеливо.— Просто увези его на время, пока мне не удастся расстроить его планы.

— Он сейчас никуда не уедет, тетя Кристина.

— Но ты ведь можешь его уговорить! Скажи, что хочешь купить яхту во Франции или еще где-нибудь и просишь его совета. Он любит яхты. О деньгах не беспокойся, даже если тебе придется купить яхту на самом деле.

— Дело не в деньгах. Он просто не захочет уехать.

— Но для чего он все это делает? Какой упрямый. Он всегда был ужасно упрямым.

Я не мог ей объяснить, что творится с Рупертом, и только пробормотал:

— У него свои убеждения, тетя Кристина, и он хочет делать то, что они ему подсказывают. Вот и все. Не думаю, чтобы его можно было переубедить.

— Ах, какие все Ройсы идиоты,— не выдержала тетя Кристина.— Просто полоумные, все, как один!

Глава тридцать седьмая

Руперт пытался ускорить передачу акций: он самолично побывал у банкиров матери и у маклеров, которые занимались его собственными капиталами и акциями, посетил страховые компании и юристов, наблюдавших за выполнением завещания его отца, а также поверенных Фредди. Несколько дней я Руперта почти не видел.

Я поехал в Уошберн, чтобы повидать Кэти и поговорить с ней о Пепи. Я попросил ее уступить мне одно из ежемесячных свиданий, которые дают родным заключенных: хотя тюрьма была мало подходящим для этого местом, я решил сделать Пепи предложение. Кэти стала надо мной подтрунивать, тем не менее она сказала, что мое намерение ее радует.

Но неожиданно я вынужден был снова взять на себя роль представителя Руперта, которая мне уже порядком надоела: Рандольф прислал за мной машину, и меня повезли в Уошберн.

Вид старика меня поразил. Если Фредди последнее время просто спивался, Рандольф страдал от другого: его снедали мрачные мысли. Широкое злобное лицо с массивной челюстью страшно осунулось, он стал похож на старую больную собаку. (Накануне я спросил у Фредди, знает ли Рандольф о предполагаемом слиянии с Бендиго и Наем — ведь это означало, что старику изменили его ближайшие союзники. «Догадывается»,— сказал Фредди. «Ну и как он к этому относится?» — «Так, словно ему всадили нож в спину,— весело сообщил Фредди.— Будто его предали и продали».) Да, теперь у старика на лбу было написано, что он жертва предательства.

— Каждым своим шагом,— говорил он мне о Руперте,— этот субъект доставляет семье самые невообразимые неприятности. Совсем как его растяпа-отец. Если бы он хоть немного пошел в Кристину, у него все же была бы капля здравого смысла. а так он сидит у всех в печенках.

На минуту я подумал, что Рандольф уже знает о пяти миллионах и собирается прибегнуть к параграфу устава, который лишит Руперта его имущества, но выяснилось, что пока еще он в полном неведении.

— Я хочу для тебя кое-что сделать,— продолжал Рандольф сквозь зубы.

Мы сидели в обшитой панелью гостиной, похожей на салон в Версале. Я знал, что старик редко заходит теперь в эти комнаты, он просто хотел поразить меня их великолепием. Он протянул мне стакан виски, чего я вовсе не просил.

— Спасибо, но я не люблю виски,— отказался я, однако ничего другого он мне не предложил, хотя буфет ломился от напитков.

Я ждал, что последует дальше.

— Хочу, чтобы ты купил акции у своего двоюродного братца,— заявил Рандольф.— Вы ведь друзья, не так ли? Тебе он их продаст.

— Он продает их Фредди.

— Знаю. Но если ты попросишь, он их уступит тебе.

— Сомневаюсь, дядя Рандольф,— сказал я.— Да у меня и нет для этого пятисот тысяч...

— Деньги я тебе дам,— рявкнул Рандольф.— Все, что от тебя требуетя, это купить акции.

— Для себя или для вас?

— Можешь оставить их себе,— пренебрежительно бросил Рандольф.

Его предложение не так уж меня поразило, но слишком многое ставилось в этой игре на карту, чтобы можно было все принимать за чистую монету. Я спросил, чего он добивается.

— Не хочу, чтобы акции достались Фредди,— с угрюмой откровенностью ответил Рандольф.— Только и всего. К тому же, ты, кажется, женишься на Пепи? Во всяком случае, мне так говорили. Это правда?

— Все может быть.

— Ну, вот тебе и свадебный подарок.

Мне стало смешно.

— Ну, как? — спросил Рандольф.

Я взял стакан виски и осушил его залпом.

— Эти акции, дядя Рандольф,— усмехнулся я,— мне не удалось бы получить, даже если бы я захотел.

— Почему?

— Мне пришлось бы уговорить Руперта подложить свинью Фредди.

— Подумаешь! А сколько раз Фредди подкладывал свинью мне, да и все вам тоже?

— Пусть так, но Руперт меня и слушать не станет.

— А ты его уговори,— настаивал Рандольф.— Объясни ему, как это для тебя важно.

Мне стало тошно. За последние полгода жизнь среди Ройсов ко многому меня приучила, но кое-чего я все еще не мог переварить.

— Вы же знаете, что я оказался здесь, среди Ройсов, по чистой случайности,— заметил я.

— Подумаешь! Мне это безразлично. С таким капиталом ты станешь самым настоящим Ройсом.

— А вы слышали, что Руперт собирается сделать с деньгами, которые он получит за свои акции? — спросил я, надеясь нанести ему чувствительный удар.

— Нет, и мне на это наплевать. Раз он такой болван, по мне пусть хоть в омут бросается со всеми своими деньгами.

— Это примерно то, что он и собирается сделать,— подтвердил я.
— Ну, так как?
— Нет, дядя Рандольф, вы на меня не рассчитывайте.
— Просто пороху у тебя не хватает,— криво усмехнулся старик.
— Пусть так,— согласился я и поднялся со стула.

Рандольф остался сидеть, а когда я попрощался, он только презрительно фыркнул, и мне даже стало его жалко.

Я вернулся к Кэти. Прежде чем мы сели ужинать на кухне, где всегда разгорались горячие споры, я позвонил Руперту и рассказал ему о разговоре с Рандольфом.

— Вам надо спешить,— предупредил я,— иначе он выкинет что-нибудь такое, чего даже нельзя предугадать.
— Только бы он не узнал о пяти миллионах, пока не заключена сделка с Фредди.
— Постарайтесь ее ускорить.
— Делаю, что могу. Это не так просто, но, мне кажется, все уладится.

Мне тоже так казалось, однако тут Руперт допустил грубую ошибку.

Он все рассказал Джо. Не знаю, почему он не мог подождать хотя бы еще несколько дней до завершения сделки с акциями; но когда мне стало известно о том, что случилось и к чему это привело, я только руками развел и сказал себе: тот, кто безрассудно честен, заслуживает того, что сам на себя накликал.

■

Руперт уверял меня, что старался выбрать для разговора с Джо подходящий момент, но, по-видимому, выбор оказался неудачным. Он считал, что должен поговорить с ней до, а не после продажи акций. Вечером в воскресенье они сидели на лужайке перед домом, потягивая коктейли, и Руперт подумал: теперь или никогда. Он рассказал, что продает акции Ройса, а вырученные деньги намеревается истратить на разные благие дела — в первую очередь на кампанию за признание Объединенными Нациями Китая.

Джо секунду помедлила, словно не веря своим ушам.

— Не может быть...— пробормотала она.
— Подожди!..— начал он.
— Нет! Нет! — вскрикнула Джо.— Молчи! Не хочу даже слушать!— Она заткнула уши. Вскочила на ноги.— Мне надоело, надоело! Я покончу с собой! — истерично кричала она.— Забирай свои деньги. Отдай их китайцам. Но помни, что я тебе сказала. Я уйду от тебя навсегда.

Он пытался объяснить, что не собирается отдавать своих денег, он просто хочет найти им другое применение.

— Почему? Почему? — повторяла она, как пришибленная.— Объясни, почему ты все это делаешь?
— Не знаю,— покорно ответил он.— Но это даст мне больше радости, чем плыть по течениею вместе с Фредди.
— А чем плох Фредди? — снова закричала она.— По крайней мере, он не сумасшедший.
— Ты хочешь, чтобы я был таким, как Фредди?
— Да, потому что он живет как все. Тебе это не нравится? Он не беснуется, не то, что ты! Зачем ты это делаешь?
— Фредди — несчастный, жалкий человек. Даже в своих отношениях с Пегги...
— Они счастливы,— настаивала она.
— Они несчастны.
— Но не из-за денег.
— А из-за чего же тогда?
— Из-за того, что мужчины — идиоты. Думаешь, тебе больше повезло, чем Фредди?

Он попытался ее урезонить и сказал, что криком делу не поможешь.

— Тебе уже ничего не поможет! — продолжала она кричать и кинулась к дому.— Нечего тебе жалеть Фредди. Пожалей лучше себя. Не одна Пегги изменяет мужу.— Он шел следом за нею, и она, вдруг повернувшись, бросила ему в лицо: — Я тоже! Я тоже тебе изменила. Чем разыгрывать превосходство, подумал бы, в каких ты сам дураках! — со злорадным торжеством выпалила она.

— Что ты болтаешь?

Она побежала через оранжерею, потом через гостиную.

— Я спала с Брайаном Бонни в поезде, когда ты улетел из-за своих бредней в Пекин; а ты ничего не знал, и тебя это не трогало.— орала она на ходу, не оборачиваясь, зная, что он бежит за ней.— Тебе было все равно! Ты даже не догадался! — Он ей не поверил. Она это поняла: бледная как мел, она снова повернулась к нему:— Ты так чертовски самоуверен. А это правда, правда! — Они уже были в спальне.— Так что давай разведемся; мне теперь все равно. Но детей ты не получишь. Я не дам тебе портить им жизнь. Через мой труп.

Руперт почувствовал, что наступила самая горькая минута в его жизни, внезапно между ним и Джо пролегла бездна. Он тупо следовал за ней по пятам, а она металась по комнате и истерически кричала:

— И не хвастай, что ты чист, как ангел. Я знаю, ты обманывал меня с этой русской! Что же у тебя такой возмущенный вид? Ты начал первый, ты подал пример...

— Это была случайность...— неуверенно произнес он, все еще не в силах постичь того, что произошло.

— Ты просто подлец! Честности в тебе ни на грош. Ханжа! Все твои высокие принципы — чистое лицемерие!

— С Бонни!.. — Все еще не веря, произнес он.

Отупение прошло, на смену ему пришли гнев, возмущение, брезгливость, он почувствовал боль, словно от раны.

— Теперь я, по крайней мере, могу от тебя уйти,— выдавила она сквозь слезы.— Жить с тобой невыносимо. Нет больше сил.

— Послушай...

— Может, хочешь, чтобы я осталась? — с презрением спросила она.— Ну и рожа у тебя сейчас. Что, тошно? Так тебе и надо. По крайней мере, не будешь меня удерживать. Я тебя предупреждала, что уйду. Вот и получай, если мне не верил. Теперь тебе придется поверить. На этот раз никакие уговоры не помогут.

Он оставил ее в спальне и ушел, стараясь ни о чем не думать. Но голова у него была ясная. Он понимал: сейчас она вне себя и еще не отдает себе отчета в том, что наделала своим признанием,— так человек, который совершает самоубийство, не сознает, что возврата к жизни больше нет. Она еще не знает, как бесповоротно то, что случилось; она поймет это только потом...

— Но, боже мой,— говорил он себе,— что мне теперь делать? Что будет с детьми?

Думать о ее близости с Бонни было для него все равно что видеть ее мертвой.

Спускаясь с лестницы, он слышал ее плач; он надел пиджак, аккуратно застегнул его и вышел на улицу. Спаниелю Фиджу, который встретил его радостным повизгиванием, он сказал: «Нет, тебе со мной нельзя» — и закрыл у него перед носом калитку. Он снова и снова задавал себе вопрос: какое безумие толкало его доводить и себя и ее до крайности, что привело их совместную жизнь к крушению? Он не сомневался — это конец, конец всему, что они пережили вместе.

Глава тридцать восьмая

Я не видел Руперта уже дня четыре, а в воскресенье, когда Джо приехала вечером в Уошберн с Ролландом и Тэсс, я находился у Кэти. Тетя Фло позвонила нам и сообщила о приезде Джо, и я встретился с ней на следующий день. Она бросила Руперта окончательно, а может, он ее бросил: когда Джо уезжала, он еще не вернулся домой.

Не знаю, где был и что делал Руперт в те дни; но я догадывался, что он где-то скрывается, как подстреленный зверь, который предпочитает зализывать свои раны в одиночестве. Мы сидели с Джо на дизельном насосе, который глухо перекачивал воду из какой-то артезианской дыры в один из бессмысленных прудов Рандольфа.

— Теперь мне уже безразлично,— сказала Джо в ответ на мои уговоры.— Пожалуйста, ничего не предпринимайте. Ровным счетом ничего!

Она была измучена. Нервы у нее сдали окончательно, а внутренний огонь, который делал Джо тем, чем она была, казалось, навсегда погас.

— Я не хочу больше видеть Руперта, не хочу с ним разговаривать,— продолжала Джо, и в голосе у нее не слышалось уже ни горечи, ни обиды.— Хватит с меня. И не пытайтесь меня переубедить. Все потеряло смысл.

Бум, бум, бум — работал насос, как огромное механическое сердце — сердце Рандольфа. Я знал, как старик будет радоваться разрыву Руперта и Джо. Весть об этом событии облетела семью в мгновение ока, но все решили, что причиной размолвки были деньги. Только я один знал о Брайане Бонни, а позднее об этом узнала еще Мэриан Крейфорд.

— Что бы там ни было,— убеждал я Джо,— вы должны с ним помириться.

— Ах, даже не говорите об этом,— сказала она равнодушно.— Мы уже мирились не раз. Всю жизнь он чего-то искал. Почему он не довольствуется тем, что имеет? Почему?

— Мало кто из нас доволен тем, что имеет,— заметил я, не очень уверенно защищая Руперта.

— А мне этого было достаточно,— произнесла она с горечью.— И чего он только искал? Что он нашел в этой русской? Это **она** его испортила.

Джо даже не бранила Руперта, она просто высказывала свое мнение о нем, и я сразу почувствовал, как опасно такое настроение: если Джо даст ему волю — в душе у нее ничего не останется. А я все еще не мог поверить, что такой счастливый брак может рухнуть только из-за того, что рухнул один из его устоев. Тем не менее что-то, по-видимому, давно подтачивало эту семью, и если длинная цепь обстоятельств постепенно заставила Руперта порвать с тем миром, к которому он принадлежал, те же самые обстоятельства изо дня в день убивали и любовь, которая, казалось, так прочно соединяла его с Джо.

— Не внушайте себе, что это конец,— упрашивал я ее.— Попробуйте помириться еще раз.

— Да мне уже и не хочется,— бесстрастно возразила она.

На склоне холма дети катались верхом на уошбернских пони и громко перекликались друг с другом. Конюх вел за поводья лошадку Тэсс, а она подпрыгивала в седле, как мячик, и кричала: «Отпустите ее! Отпустите!» Это было умилительное зрелище, и я думал, что оно растрогает Джо. Но Джо смотрела застывшим взглядом вдаль, на жнивье, не видела ничего кругом и не слышала отголосков своего счастливого детства: ее детство давным-давно бесповоротно ушло.

■

В Лондоне меня с нетерпением ждал Лилл. В своей скромной квартире я нашел несколько записок: он просил меня позвонить как можно скорее. Сперва я хотел оставить его просьбу без внимания, но неожиданно мне пришла мысль, что дело касается Руперта; в голове у меня замелькали дикие предположения, и я снял трубку.

— Вот хорошо,— обрадовался Лилл.— Никуда не уходите, я посылаю за вами машину.

Больше он ничего не сказал, и я приехал в старинный белый особняк, опасаясь, не стряслось ли что-нибудь с Рупертом. Но с ним, как видно, ничего дурного не случилось, Лилл встретил меня, ухмыляясь себе под нос, будто знал, где находится Руперт, что мне было неизвестно.

— Здравствуйте, Джек,— деловито поздоровался он со мной.

Я сдержанно поздоровался: мне хотелось сразу дать ему понять, что я начеку; но адмирала это ничуть не смутило.

— Я вас долго не задержу,— произнес он с присущим ему высокомерием.— Знаю: все, что я вам скажу, вы дословно передадите Руперту.

— А почему бы вам самому не передать это Руперту? — предложил я.— Вы, наверно, знаете, где он находится.

— Для этого пришлось бы доставить его сюда силой.

— А почему бы вам не применить силу?

Мой неприязненный тон не производил на него никакого впечатления.

— Я узнал от Бонни,— продолжал он,— что Руперт договорился с китайцами о выплате фирме пяти миллионов фунтов, а затем отказался от этих денег. Вам это известно?

— Известно.

— Тогда вы должны знать и то, что он продает Фредди свои акции Ройсов.

— Да.

— Я хочу этому помешать, если сумею,— заявил адмирал все тем же деловым тоном.— Вы, наверно, не знаете, что в уставе фирмы есть такой параграф: если кто-нибудь из членов семьи нанесет ущерб интересам компании Ройсов, его акции могут быть отобраны правлением без всякой компенсации. Все, что для этого требуется, это согласие правления и подписи председателя и одного из директоров.

Я промолчал, не желая выкладывать адмиралу, что я знаю и чего не знаю, но даже молчание меня выдало.

— Значит, вы это знали?

— Конечно. Это известно всей семье.

— Послушайте, Джек, глупо говорить со мной таким тоном,— неожиданно сказал адмирал, давая всем видом почувствовать, что ему надоели и я и мои жалкие потуги выказать неприязнь.— Хорошее воспитание имеет свою положительную сторону: оно отучает от мальчишеского желания выразить собеседнику свое отвращение, каковы бы ни были обстоятельства и кем бы ни был ваш собеседник.

— В таком случае считайте, что я плохо воспитан,— грубо ответил я.

— Да сядьте вы, наконец,— приказал он устало.— Все, чего я хочу, это помешать Руперту получить эти деньги. Объясните ему, что, если он не раздумает продавать свои акции, я завтра же расскажу Рандольфу, как он подарил пять миллионов.

— Завтра? Вы не даете ему времени подумать.

— А я и не собираюсь давать ему думать.

— Но какое это имеет к вам отношение? — спросил я.— Эти акции его собственность.

— Я просто не хочу, чтобы Руперт получил деньги, я знаю, как он намерен ими распорядиться.

— Но он все равно может распоряжаться своими деньгами, даже если оставит их у Ройсов.

— Нет. Он сможет распоряжаться только доходами с капитала, а не самим капиталом. Я не хочу, чтобы Руперт использовал эти деньги так, как он хочет. Я говорю с вами достаточно откровенно и прошу передать это Руперту с такой же откровенностью.

— Я даже не знаю, где он сейчас.

— Он вернулся домой,— сообщил Лилл.

— Значит, он уже продал Фредди свои акции?

— Нет, не продал. Пока еще не продал.

— Неужели вы полагаете, что я могу его переубедить? — повторил я то, что говорил всем и каждому.

— Нет, этого я не думаю. Но после того, что случилось, он, быть может, прислушается к голосу рассудка.

— Сомневаюсь,— покачал я головой.— Вы недооцениваете силу его убеждений.

— Если он меня не послушается, я сообщу Рандольфу о деньгах, отданных китайцам; тогда Руперт почти наверняка не получит ничего. Я этого не хочу, Джек. Я вовсе этого не хочу. Объясните ему, какой у него выбор, и скажите, что я прошу его не продавать акций. Вот и все. Ничего большего от него не требуется, и, в конце концов, это не так уж много.

Я ненавидел адмирала, но в глубине душе считал, что Руперту придется принять его предложение. Признание и уход Джо, наверно, нанесли ему такой удар, что он может пойти на компромисс хотя бы ради нее, если не ради себя. Это было возможно, скорее даже вероятно, если только он не ослеплен ненавистью к Джо.

— Ладно,— уступил я.— Я ему передам.

— Он должен дать мне ответ сегодня же вечером,— потребовал адмирал.

— Ладно, ладно,— повторил я.— Но все, что случилось с Рупертом, дело ваших рук.

Я ожидал резкого ответа, но адмирал, посмотрев мне в глаза, сказал:

— Может быть, Джек. Но, зная об отношениях Руперта с моим учреждением, что бы вы сделали на моем месте?

— Я бы все равно ему доверял.

— Я доверял ему, сколько было возможно.

— Мало,— возразил я.— Вы загнали его в угол.

Лилл стоял у холодного камина, стройный, подтянутый.

— Видно, вы недостаточно хорошо знаете Руперта,— произнес он.— Руперт человек на редкость решительный и целеустремленный. Если он что-нибудь вобьет себе в голову, его не остановишь.

— Знаю. Но в наши дни люди не любят, когда им навязывают свои взгляды.

— Так что же я, по-вашему, должен был делать? Смотреть сквозь пальцы, как он переходит на сторону врага? Может быть, я и делал ошибки, но я вынужден пользоваться теми средствами, которые у меня есть. На моей стороне не было умной идейной женщины. А наше общество теперь не может похвастаться высокими идеалами. Откровенно говоря, все преимущества были у противника, тогда как наши идеи и наша правда стали слишком традиционными, привычными, чтобы о них помнить в пылу битвы. Руперт о них и забыл, поэтому стал нам опасен.

Все это звучало убедительно, и я понял, что Лилл со своей точки зрения прав. Если Руперт поверил в идеалы противника, он будет стоять за них до конца — тогда у Лилла есть основания его опасаться.

Но так как решение Руперта затрагивало интересы Джо, адмирал ловко спекулировал ее именем, утверждая, что ищет компромисса ради нее, и только ради нее.

■

Шансы Руперта были равны нулю, и, когда я сказал ему, чего требует Лилл за молчание насчет пяти миллионов, он понял это и сам.

— Мне нужна только подпись матери,— сказал он,— но она сегодня утром нарочно улетела в Афины. Они вместе с Лиллом хорошо все продумали.

Ультиматум адмирала его не удивил. Я спросил, что он делал все эти дни и как себя чувствует, но Руперт замкнулся в себе. Он ужинал один за столом со стеклянным верхом, читая вечернюю газету и поглаживая Фиджа, который сидел у его ног. В доме было угнетающе тихо. Появилась Анджелина, и я попросил ее приготовить мне яичницу. Итальянка пришла заплаканная, что вовсе не соответствовало ее калабрийскому характеру, но, как видно, все в этом доме жили с ощущением трагедии.

— Что вы собираетесь делать? — спросил я Руперта.

— А что мне остается? — ответил он.— Я, очевидно, проиграл.

— Значит, вы не примете условий Лилла?

Если Руперт и колебался, я этого не заметил.

— Вряд ли,— проговорил он.

— А что будет с Джо?

Он промолчал. Анджелина принесла мне бутылку вина и бокал. Поймав мой взгляд, она с сердцем бросила:

— Мистер и миз Ройз — очень глупые люди.— И затопала к двери.

Руперт посмотрел ей вслед, но не проронил ни слова.

Я снова спросил у него, что будет с Джо: я не собирался проявлять традиционной английской сдержанности, считая, что и ему лучше от нее отказаться.

— Не будем об этом говорить,— уклонился он от ответа.— Тут уж ничего не поделаешь.

— Из-за Бонни?— спросил я.

— Откуда вы знаете про Бонни?— вырвалось у него.

— Я догадался об этом в Пекине, пока вы раздаривали те самые пять миллионов.

Он не обиделся и даже не пытался возражать или оправдываться.

— Вам бы следовало поехать и привезти Джо домой,— посоветовал я.

— А на каких условиях? — вяло проронил он.— И кто кого должен простить — я ее или она меня?

— Простите друг друга.

— Не возражаю,— сказал он.— Ну, а что потом? Причина нашего разрыва — не только супружеская измена. Нет, нам не помириться.

— А вы помиритесь.

Он покачал головой.

— Это немыслимо, Джек. У нас теперь слишком серьезные разногласия, чтобы мы могли просто начать все сначала. Да она и слушать меня не станет. Джо хочет, чтобы я жил, как богач, а я этого не могу.

Судя по всему, он примирился с крушением семьи, и, хотя я не думаю, чтобы он навсегда отказался от надежды ее вернуть, сейчас особой охоты уламывать Джо у него явно не было.

— Если вы будете слишком долго тянуть, Джо не простит вам никогда,— предупредил я,— она просто привыкнет к разлуке.

— Мне нечего ей сказать.

— Вы неправы. Вы виноваты больше, чем она.

— Я ее не виню,— упорствовал он.— Но от прежнего ничего не осталось, это я хорошо знаю.

Разубедить его было невозможно; я понял, что он не поедет к Джо и не станет ее уговаривать. Бонни крепко засел у него в голове, и ничто уже не могло залечить этой раны или вернуть его преклонения перед Джо. Прежний образ ее был разбит вдребезги, и он не знал, как склеить осколки.

Глава тридцать девятая

Руперт не принял условий Лилла и полетел в Афины, чтобы уговорить мать, но прежде, чем он вернулся, Рандольф уже знал о пяти миллионах и дал ход сложной юридической процедуре, чтобы конфисковать акции Руперта. Фредди яростно возражал, у них с Рандольфом произошла жестокая стычка, но Фредди вряд ли мог рассчитывать на то, что остальным членам семьи придется по душе его попытка увеличить свою долю в семейном предприятии. Словом, Руперт явно проиграл.

Однако это было только начало. В тот вечер я ужинал у Фредди, и пока он был занят беседой с каким-то американским юристом, Пегги спросила меня, что слышно о Руперте.

— Он в Афинах,— ответил я,— вот и все, что я о нем знаю.

— Вы слышали, что Рандольф хочет учредить опеку над акциями Руперта? Когда Роланду и Тэсс исполнится двадцать один год, они их получат. К тому времени капитал составит три-четыре миллиона.

— Неужели Рандольфу это удастся?

— Они способны на все,— пожала плечами Пегги.

Я никогда еще не видел Пегги такой подавленной. Пока мы ездили в Китай, она призналась Фредди, что Пинк Бендиго был ее любовником: ей казалось, что это внесет в их отношения какую-то ясность. Но Фредди не проронил ни слова: скандал с будущим партнером снова опрокинул бы все его планы, поэтому он смолчал, а Пегги была убита его черствостью и равнодушием.

Впрочем, меня тревожила судьба не Пегги, а Руперта. Он всех избегал, но я условился с Анджелиной, что она сразу же сообщит мне о его приезде, и, придя домой, нашел послание, где, мешая итальянские и английские слова, она сообщила мне, что Руперт вернулся. Я отправился к нему назавтра с утра; позднее в тот памятный день у меня было назначено свидание с Пепи в тюрьме Холлоуэй, где я собирался сделать ей предложение.

Руперта дома не оказалось.

— Он у докторши Крейфорд,— сказала Анджелина.

Руперт возился со своей малолитражкой, пытаясь ее завести, Мэриан ему помогала. Но ни он, ни она не были сильны в технике. Я снял крышку карбюратора, прочистил жиклёр, вставил на место и запустил мотор.

— Подумайте! — ахнула Мэриан.— Вот что значит моряк.

Мы пошли с ней в дом мыть руки, и я долго выбирал подходящий момент для разговора, желая расшевелить Руперта известием о том, какое будущее готовят его детям. Выглядел он вовсе неплохо, в нем не чувствовалось даже горечи, но обычная его сдержанность превратилась у него теперь в холодную отчужденность, сквозь которую не могли пробиться ни Мэриан, ни тем более — я. Все это мне очень не нравилось.

— Поскольку Рандольфу не удалось вас спасти, он взялся за ваших детей,— круто начал я и рассказал ему о плане Рандольфа.— Деньги, которые вы хотели раздать,

дожидаются теперь совершеннолетия Роланда. К тому времени они обрастут еще несколькими миллионами.

— Ну, этого я не допущу,— произнес он жестко.

Больше он ничего не сказал, но я понял, что опасность, грозившая детям, вернула его к жизни.

— Мне надо идти,— объявил он, не глядя на меня, мне даже почудилось, что ему неприятно мое присутствие; я не стал его задерживать и не спросил, куда он идет.— Еще увидимся,— бросил он на ходу.

— Конечно,— отозвался я.

Я глядел, как он шагает по тихой улочке Хэмпстеда,— вид у него был такой, словно он попал в стеклянное царство, которое может разбиться, если он позволит себе хоть одно неосторожное движение. Не потому ли тяготился он и моим обществом?

Глава сороковая

Я больше не видел Руперта.

В три часа дня я пришел в тюрьму Холлоуэй на свидание с Пепи. Бремя своих и чужих забот так удручало меня, что сперва я даже не почувствовал всей тягостности тюремной обстановки. Находясь на воле, человек и в самом деле не отдает себе отчета, что такое свобода, но в тюрьме все специально устроено так, чтобы несчастный заключенный постоянно ощущал свою несвободу и ни на минуту не забывал, что он — беспомощное существо из плоти и нервов — обречен на гибель в этой железной клетке. Деревянная калитка в воротах отворилась, и я очутился на выложенной камнем четырехугольной площадке, запертый среди каменных громад, проволочных сеток, длинных коридоров, потрескавшихся стен, потертого линолеума, дощатых столов и спертого запаха вековой беды.

Но Пепи все это будто даже шло на пользу, и когда она появилась, у нее был такой свежий вид, словно она только что вышла из ванны.

— Я всего час назад узнала, что вместо мамы придешь ты,— сказала она.— Свидания разрешают только членам семьи, для тебя сделали исключение.

— Ты не возражаешь?

— Нет. Хочется увидеть хоть какое-то дружеское лицо. Вот когда свидание кончается и тебя уводят, это ужасно... Ну, что нового на белом свете?

— Много всякого...

Мы встретились в большой камере для свиданий с высоким потолком, оштукатуренными грязными стенами и тщательно вымытым цементным полом, на котором все же темнели какие-то пятна; мы сели на длинную черную скамью у закопченной стены. У двери — это была самая обыкновенная дверь — за сосновым столом сидела надзирательница; перед ней стояла чашка чая без блюдечка и лежали какие-то синие жетоны. К поясу ее платья была прикреплена цепочка, похожая на цепочку унитаза, и на ней висела связка ключей. Пепи выглядела несколько странно в длинной тюремной юбке, хотя чувствовала себя в ней совершенно свободно; впрочем, это странное впечатление объясняется скорее всего тем, что я пришел к ней из мира коротких юбок: тюремная мода отставала года на четыре, а может быть, лет на четыреста. Время здесь остановилось.

Я попробовал описать ей день за днем все, что произошло с тех пор, как ее посадили в тюрьму, но у нее не хватило терпения меня выслушать; к тому же, я забыл, что ее уже навещала Кэти.

— Хватит об этом,— прервал я вдруг ее расспросы о Руперте и Джо.— Я ведь пришел предложить тебе выйти за меня замуж, как только тебя выпустят; все остальное обсудим потом.

Она, славу богу, не стала надо мной издеваться, и я был ей благодарен хотя бы за это.

— Очень мило, Джек, но чем ты собираешься заняться? — спросила она.

— Это зависит от твоего ответа.

— Если я скажу «да», чем ты тогда займешься? — настаивала Пепи.

Я задумался: какой ответ заставит ее сказать «да»? Берегись, сдерживал я себя: никогда нельзя угадать, что она скажет. Но я уже чувствовал себя несчастным оттого, что готов был идти на любые уступки, и только не знал, каких она требует. Чего она от меня хочет?..

— У меня нет определенных планов,— отважился я наконец.— Придется тебе пойти на риск.

— Ты что же, хочешь, чтобы я за тебя все решала? — спросила она, постучав пальцем по моему колену.

— Ну тебя к черту! — воскликнул я с раздражением.

Надзирательница оторвала взгляд от чашки и пролаяла:

— Ругаться запрещено.

Внезапно от этого окрика я почувствовал какую-то дурацкую робость.

— Бедный Джек! — захохотала Пепи.

Не знаю, подействовал ли на меня лай надзирательницы или насмешливый тон

Пепи, но меня вдруг охватило непреодолимое желание бежать. Мне уже расхотелось жениться на Пепи, больше того, меня одолевал страх при одной мысли, что она может согласиться.

— Собственно,— скороговоркой произнес я, призвав на помощь всю свою волю,— я хочу перебраться в Сурабайю, или на французский остров Нумеа, или еще куда-нибудь, все равно куда. Уехать отсюда.

— Вот как?..

Я знал, что говорю как раз то, что заставит ее сказать «нет», и тут же понял, чем объясняется внезапный перелом в моей душе.

Дело было в самой Пепи. За несколько секунд в тюрьме я вдруг увидел, что она собой представляет. Есть такие англичанки — они всегда находят какое-нибудь дело и целиком посвящают себя служению ему, не столько ради самого дела, сколько из чувства противоречия, для того, чтобы постоянно преодолевать какое-то сопротивление. Я понял, что к такому типу людей принадлежит и Пепи, тогда как, например, Мэриан Крейфорд похожа на всех нас, простых смертных — она мучается от наших общих болячек, и сердце у нее кровоточит, как у любого из нас. Таким же, как Мэриан, был и Руперт.

Я отчетливо видел долгое, богатое событиями будущее Пепи; видел, как она бросает вызов несметным противникам, наслаждается гонениями, которые навлекла на себя, и упивается ненавистью злейших своих врагов, с которыми ее свяжут противоестественные, но нерасторжимые узы. При этом ей будет все равно, за что сражаться: она с тем же пылом ринется в бой против вивисекции или, скажем, поведет кампанию за выращивание апельсинов на дне океана... Ясные глаза и свежие щеки этой заключенной предвещали ей судьбу подвижницы, слава которой прогремит на всю страну: она, наверно, сделает людям много добра и, без сомнения, потратит все деньги Рандольфа на пацифистские цели; однако ей никогда не понять душой, да и не познать, что такое насилие, против которого она борется, даже если она сама с ним столкнется. Рандольф прав: по существу, Пепи пошла в него.

— Значит, ты хочешь спастись бегством? — спросила она.— Это на тебя не похоже.

— Я вовсе не спасаюсь бегством,— ответил я.— Просто хочу, наконец, делать то, что собирался делать с самого начала. Мне теперь хватит денег на несколько лет.

— Но, Джек, это ужасно глупо!

Она догадалась, что́ со мной произошло за эти несколько минут, поняла, что, заглянув в ее мужественную холодную душу, я решил от нее бежать. Теперь ей захотелось меня подчинить, заставить снова просить ее руки, чтобы она могла завладеть тем, что от меня останется, а останется, наверно, немного, потому что уже сейчас у меня коленки дрожали от страха.

— Знаю, что глупо,— неуверенно произнес я,— но мне необходимо на какое-то время отсюда уехать.

— Ты растратишь свои силы впустую. Тебе надо остаться здесь и начать работать.

— Если я здесь останусь, я останусь с Фредди в фирме Ройсов,— напомнил я.

— Все же это лучше, чем бежать на необитаемый остров.

Меня охватил ужас. Значит, Пепи охотно вышла бы за меня замуж, даже если бы я связал себя с фирмой; она готова признать меня законным супругом в качестве наследника Рандольфа, супругом с деньгами и положением.

— Необитаемых островов давно не существует,— угрюмо ответил я,— легче спрятаться от людей в Пимлико *, чем на берегах Тихого океана.

— Тогда в чем же дело?

— Наверно, я создан для моря,— сказал я, чувствуя себя несчастным оттого, что вынужден делиться с ней своими заветными помыслами, в которых я не решался признаться даже себе самому.— Нумеа, например, завидное место для моряка.

— Сентиментальная чепуха.

— Наверно.

— А ты не передумаешь?

Яснее нельзя было дать понять, что, если я передумаю, она будет моей. Я покачал головой.

— Нет, нет,— пробормотал я.— Это я решил твердо.

— Джек,— произнесла она и дотронулась до моей руки с искренним чувством, которое чуть было меня не обезоружило; все во мне рванулось к ней, но какая-то внутренняя сила сковывала меня.

— Нет! — крикнул я. Голос мой гулко отдался под сводами этого мрачного храма, которому Пепи собиралась посвятить весь остаток своей подвижнической жизни, всю свою несгибаемую волю и ненасытную жажду борьбы.— Прости меня, Пепи,— произнес я, поднимаясь со скамьи,— но это место действует мне на нервы.

Я протянул руку, чтобы коснуться ее лица, которое прежде так любил, но она сердито отодвинулась — так я до нее и не дотянулся. Мы не произнесли больше ни слова, я подождал у двери, пока надзирательница ее отпирала, и вышел, не смея оглянуться. Я знал, что стоит мне это сделать, и железная воля Пепи прикует меня к ней навсегда.

---

* Район Лондона.

■

Теперь, когда решение уехать было принято, я должен был выполнить его немедленно. Я нашел сухогрузное судно фирмы «Нортон и К°» водоизмещением в четырнадцать тысяч тонн, которое отплывало на Пенанг через два дня, и с помощью Фредди устроился помощником капитана, что было совсем неплохо. Я знал, что на Пенанге застану какое-нибудь каботажное судно, которое перевезет меня через Малаккский пролив, может быть, даже какое-нибудь судно фирмы Ройсов, зафрахтованное до Сурабаи, Нумеи, Сувы, Порт-Морсби или Науру, а то и до островов Гилберта.

Руперт гостил у Кэти, но мне некогда было туда съездить: надо было выправить мореходные документы, упаковать вещи и книги, взять наличные деньги и аккредитив на пять английских банков, которые безраздельно господствуют в тех местах, куда я направлялся. Я позвонил Руперту и сообщил о своем отъезде, но он не вызвался меня проводить.

— Надолго уезжаете?— спросил он.

— Навсегда.

— Жаль.— сказал он.— Но помните, Джек, что мы всегда вам будем рады.

Мы так быстро отдалились друг от друга, что теперь мне было неловко спрашивать его о Джо. Однако потом к телефону подошла Кэти и сообщила вполголоса, что с Джо он не виделся.

— Ну, а как у вас с Пепи? — спросила она, удивленная моим неожиданным отъездом.

— Ничего не вышло, Кэти,— вот и все, что я смог из себя выдавить, но я знаю: она меня поняла.

— Обидно,— с грустью сказала она.

Я позвонил Джо, но она не подошла к телефону. Оставалось попрощаться с Пегги и Фредди — мой отъезд не слишком их удивил,— а потом взять такси и поехать в порт; я прибыл на судно в час ночи, а на заре мы отплыли.

Я никуда не уехал с Пенанга. Так и остался на этом острове в Малаккском проливе и живу здесь на полпути к вершине горы, которая господствует над Джорджтауном. Куда ни глянешь, везде сахар, кофе, рис, перец, гвоздика, мускатный орех, бетель,— словом, все, ради чего Колумб отправился в кругосветное плаванье, отыскивая Восточную Индию; в свое время Запад зубами вцепился в эти сокровища и так и не разжал челюстей, пока не открыл здесь олово, каучук и нефть, а тогда челюсти сжались еще крепче. Здесь лишь недавно скончалась Ост-Индская компания *, еще не забыты договоры о борьбе с пиратами, японцы только-только убрались, а сейчас индонезийцы стоят у ворот нашего нового изобретения под названием Малайзия, и американцы умирают во Вьетнаме. За что?

Я аккуратно пишу Руперту, но он мне ответил один-единственный раз, сообщив, что книга о нем в конце концов вышла из печати, однако о последствиях он умолчал. Как-то раз мне написала Кэти, это было тогда, когда выпустили из тюрьмы Пепи. Кэти сообщила, что Руперт, наконец, съездил в Уошберн повидаться с Джо и детьми, но у Джо тяжелое психическое расстройство, и она отказывается принимать кого бы то ни было, даже Руперта,— вероятно, это и было причиной того, что она не подошла к телефону, когда я звонил. Руперт все еще живет у Кэти и ждет. А поскольку я знаю всю его историю, знаю, почему он стал таким, каков теперь,— я даже здесь, на этих влажных зеленых холмах, вдали от черно-белых английских городов, твердо уверен, что он кует свою судьбу; он ждет своего часа, но не так, как генерал Улисс С. Грант **, который терпеливо дожидался счастливой фортуны в бакалейной лавке в Галене, или как Дик Дайвер у Скотта Фицджеральда, коротавший свои пьяные дни в Хорнелле, или в Женеве, что в штате Нью-Йорк, или еще где-то неподалеку оттуда.

Вот почему мне не надо справляться о Руперте или о нем беспокоиться, я отлично знаю, что он посвятил себя прежде всего спасению своих детей, потом — своей жены, потом — себя самого и своего народа; не может он быть равнодушным и к судьбе всего земного шара, которая толкает нас все быстрее и быстрее навстречу нашей гибели только потому, что среди нас не хватает людей с твердой решимостью остановить зловещий ход событий.

Но рано или поздно нам всем придется приложить к этому руку. И хотя немало глупцов еще пугают нас тем, что мы «продались врагу», или наклеивают ярлык «предатель» на тех, кто трезво смотрит на мир и пытается что-то сделать, я считаю достойным уважения англичанина, которому посвящена эта книга.

Вольтер был прав, когда писал в 1755 году о развалинах разрушенного землетрясением Лиссабона:

«Несчастные смертные, вы кричите: «Все хорошо», но вселенная уличает вас во лжи, и собственное сердце стократно отвергает ваши прописные истины...»

---

* Английская компания по эксплуатации природных богатств Индии и Дальнего Востока, основанная в XVII веке. Распущена в 1858 году после передачи ее функций английским правительственным органам.

** Грант, Улисс Симпсон (1822—1885 гг.) — главнокомандующий армии северян во время гражданской войны между Северными и Южными штатами в 1861—1865 гг., впоследствии президент США.

ЕЖИ КРАСИЦКИЙ

Годовщина свадьбы

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЬЕСА

Перевод с польского
В. ЧЕСТНОГО

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Зенобия.
Мать Анджея.
Слепая.
Начальник милиции.
Крестьянин.

Столовая в квартире Анджея и Зенобии. Атмосферу пьесы определяет медленное, но неуклонно усиливающееся опасение за жизнь Анджея, причем у Зенобии и Матери Анджея оно проявляется по-разному. Шум каждого проезжающего автомобиля, шаги на лестнице, каждое движение Зенобии и Матери к окну и то, как они прислушиваются, их взгляды, жесты и т. д. (намеченные в тексте лишь ориентировочно) — все это должно усиливать тревожную тональность, что, в свою очередь, порождает и усугубляет драматизм. Если Зенобия не способна скрывать свои чувства, то Мать Анджея лучше владеет собой; это объясняется как различием их характеров, так и самой ситуацией.
Действие пьесы происходит в наши дни в маленьком провинциальном городке.

Зенобия стоит у стола и пытается вставить свечу в подсвечник. Свеча слишком толста. В этот момент за окном раздается шум проезжающего автомобиля. Зенобия подбегает к окну. Как бы разочаровавшись, быстро подходит к телефону, берет трубку.

Зенобия. Галинка, говорит Зеня. Пожалуйста, соедини меня поскорее с больницей. Нет, ничего не случилось, просто уже шестой час, а я понятия не имею, что с Анджеем. Нет, сегодня не ожидалось никаких трудных операций, но, конечно, всякое бывает. Больница занята? Хорошо, немного погодя. *(Кладет трубку, подходит к столу, берет свечу и выходит из столовой.)*

Телекамера некоторое время блуждает по комнате, показывая ее обыкновенную обстановку, лишенную каких-либо характерных особенностей. Две двери. Стол, накрытый на двоих. На диване, креслах и двух столиках кружевные салфетки — кривобокие, неуклюжие. Их изъяны бросаются в глаза. Под конец «обзора» телекамера останавливается на типичной для маленьких городков свадебной фотографии Зенобии и Анджея в узкой, украшенной орнаментом рамке.

Зенобия возвращается в столовую со свечой и бутылкой вина. Подойдя к столу, зажигает спичку, подогревает нижний конец свечи и вставляет ее в подсвечник. Затем подходит к шкафу, открывает его, достает коробочку, вынимает из нее кольцо, надевает на палец, разглядывает и уже собирается снять, как вдруг начинает звонить телефон. Зенобия бросается к нему и хватает трубку.

Больница освободилась? Спасибо тебе, Галинка! Алло, говорит Зенобия. Пан Казимир, Анджей до сих пор не вернулся домой, что случилось? Уехал? Ах, в Быстрицу. Да, да, это ужасно. Взял свою машину? Боже милостивый, там такая опасная дорога, и вдобавок сегодня так скользко. Ну ничего. Благодарю вас, буду ждать. А если он приедет с больной, пусть сейчас же позвонит мне. Спасибо. *(Кладет трубку, с минуту стоит в нерешительности, словно задумавшись о чем-то.)*

Стук в дверь. Зенобия выходит и спустя минуту возвращается с Матерью.

Проходите, пожалуйста. Пана доктора... то есть моего мужа нет дома, но он скоро вернется.

Мать. Хорошо, я подожду.

Зенобия. Садитесь, пожалуйста, нет, лучше сюда, здесь вам будет удобней и теплее.

Мать. Спасибо. *(Садится. На вид ей лет 65—70. Одета весьма элегантно. Видно, что она умеет и старается заботиться о себе.)*

Зенобия. Вы приезжая?

Мать. Да.

Зенобия. Далеко ли живете?

Мать. Не очень, во всяком случае «отсюда не видать», как говорят иногда. Кстати, из этого городка действительно не многое «видать».

Зенобия. Кто его знает! Тот, кто прожил тут всю жизнь и привык...

Мать. Привык, говорите? Да... Возможно, те, кто живет здесь со дня рождения и ничего более в жизни не видел... Но, очевидно, есть тут и приезжие. Разве они тоже, как вы выразились, «привыкли»?

Зенобия. Пожалуй, да. Например, Анджей, мой муж... родом не отсюда, а все же...

Мать. Тоже «привык»? Это вы хотели сказать?

Зенобия. Пожалуй, да. Впрочем, мы никогда не говорим об этом. Мой муж всегда очень занят. Ведь он и в больнице, и постоянно к больным ездит. Тут кругом деревни, а до тех, что поближе к горам, даже на машине трудно добраться, если снежные заносы, или дожди польют, или гололедица, как, например, сегодня. Но если надо, мой муж едет.

Мать. Понимаю.

Зенобия. А кроме того, он постоянно должен подучиваться. То и дело ему присылают разные книжки, в том числе заграничные. Муж говорит, что он должен быть в курсе всех новостей по своей специальности, иначе... вы сами понимаете.

Мать. Понимаю.

Зенобия. И поэтому ему просто некогда раздумывать, нашел он в нашем городишке свое место или только привык. Вы приехали повидаться с моим мужем?

Мать. Вас это удивляет? Ваш муж пользуется отличной репутацией и как хирург, и как диагност.

Зенобия. Я это знаю.

Мать. Однако поимейте в виду, что порой даже самый превосходный врач нуждается в помощи специалиста.

Зенобия. Но ведь мой муж не болен!

Мать. А может быть, он просто настолько занят, что не отдает себе отчета в этом?

Зенобия. Простите, но я не понимаю.

Мать. Увы. *(Пауза.)* Теперь, в свою очередь, я прошу извинения за нескромный вопрос.

Зенобия. Слушаю вас.

Мать. Вас, случайно... не смущает то общественное положение, которое ваш муж занимает в milieu, то есть в обществе этого провинциального захолустья? Как-никак... простите... но не в любом интерьере уместен персидский ковер.

Зенобия. У нас нет персидского ковра, сударыня, но я рада, что вы приехали к моему мужу. Это означает, что даже в таком провинциальном захолустье, как наше, можно добиться славы.

Мать. Вы преувеличиваете. В этом городке наверняка легче живется, но о славе, я полагаю, не может быть речи. Пан доктор еще в больнице?

Зенобия. Нет. Собственно, работа кончается в три часа...

Мать. Видно, не слишком торопится домой.

Зенобия. Простите, вы, пожалуй, сделали неправильный вывод. Но вы, надеюсь, понимаете, что врач не всегда может оставить больного. Часто бывает так, что вдруг кому-то понадобится неотложная помощь...

Мать. Ну, конечно, я понимаю.

Зенобия. Как раз сегодня он прямо из больницы поехал в горную деревушку. Там женщина рожает со вчерашнего дня, и мой муж... Боюсь, дорога там... и так скользко сегодня... Поехал на своей машине. Когда берет служебную машину, он едет осторожнее. Но он уже скоро должен вернуться. Я немного волнуюсь и поэтому рада, что вы...

Мать. Обязательно вернется. Он слишком умен, чтобы рисковать.

Зенобия. Чует мое сердце, что он торопится, и потому боюсь за него... но, знаете, иногда все решают секунды, несколько капель крови, один удар сердца.

Мать. Разумеется. Я понимаю. *(Пауза.)* Я вижу, что вы приготовили...

Зенобия. Да. Обычно мы едим в кухне, но сегодня...

Мать. Какое-нибудь семейное торжество?

Зенобия. Годовщина нашей свадьбы. Пятнадцатая. Я хотела...

Мать. Пан доктор помнил об этом или был тоже «слишком занят»?

Зенобия. Нет. Это уже моя забота. Я хотела...

Мать. Это очень мило, что вы хотели. *(Подходит к столу.)* Вино и свеча. Но ведь это вино не годится... Для годовщины свадьбы... И этот подсвечник! С таким подсвечником можно ходить в погреб или хлев...

Зенобия. Другого у нас нет, а я хотела зажечь эту свечу, как только муж постучится. Но, раз вы считаете... Я действительно родилась и выросла в этом городке и не знаю, какое вино к чему подходит. Зато и в погребе, и в хлеве у нас уже проведено электричество.

Мать. Но ведь... я догадываюсь... что пан доктор не здешний. Вероятно, он приехал сюда из иного, иного... Я не нахожу слова.

Зенобия. Мира.

Мать. Что-то в этом роде. Несомненно, родители привили ему определенные принципы... Нет, не зажигайте эту свечу, когда постучится пан доктор. Это может сконфузить его или, хуже того, позабавит своей неуместностью. Впрочем, извините меня, я не знаю местных обычаев и не имею права вмешиваться.

Зенобия. А почему бы нет? *(Ей хотелось бы ответить резче, но она сдерживается в присутствии этой пожилой незнакомой женщины, перед которой немного робеет.)* Мы совсем не против поучиться у других и даже бываем благодарны, но это, видите ли, не значит, что мы менее восприимчивы. Пятнадцать лет назад, когда я шла под венец...

Слышны шаги на лестнице.

Мать. Так что же — пятнадцать лет назад?

Зенобия. Пятнадцать лет — это много, особенно если рядом такой человек, как мой муж, не правда ли?

Мать. Да, конечно... хотя... все зависит от того, кто и где... У вас красивое кольцо. Покажите, пожалуйста.

Зенобия протягивает руку. Мать снимает кольцо, которое легко соскальзывает с пальца. Зенобия озадачена, но не подает виду; Мать, стиснув кольцо в руке, некоторое время глядит на Зенобию с грустью, как бы укоризненно, затем разжимает кулак и смотрит на кольцо.

Какое красивое.

Зенобия. Да. Старой венецианской работы.

Мать. Действительно. Это подарок к сегодняшней годовщине?

Зенобия. Нет, я получила его от мужа как раз пятнадцать лет назад. Это семейная реликвия, она досталась мужу от матери...

Мать. ...а мать получила его от своего отца, а отец — от своей матери со словами: «Подари его только той, которую ты когда-нибудь предпочтешь всем женщинам мира».

Зенобия. Откуда вы это знаете?

Мать. Таковы традиции в семьях... Не во всех семьях...

Зенобия. Я очень редко его надеваю. Оно мне великовато. Муж хотел его переделать, но... Видите ли, на нашей свадьбе недоставало только родителей моего мужа.

Мать. Понимаю. Ну что ж, иногда женщина, которую выбирает сын, не кажется его родителям той, которую он должен предпочесть всем женщинам мира. Я угадала?

Зенобия. Да.

Мать. Ничего не поделаешь. *(Возвращает кольцо, разглядывает комнату, замечает кружевные салфетки.)* Вы сами их вяжете?

Зенобия. Нет, это подарки.

Мать. Подарки? Так выполненные? Можно ли дарить нечто подобное?.. И пан доктор соглашается, чтобы они лежали на виду?

Зенобия. Он привык, хотя сперва... Все-таки привык.

Мать. Привык, говорите?

Слышны шаги на лестнице.

Мать. Неужели?..

Зенобия. Пожалуй, еще нет. Хотя... Нет.

Мать. Как? Вы не узнаете шагов своего мужа?

Зенобия. Прежде, первое время после свадьбы, он обычно бежал по лестнице. Тогда я знала, что это он. Но с годами шаги моего мужа делались все медленнее...

Мать. Не хотите ли вы этим сказать, что с каждым годом он все меньше торопился домой?

Зенобия. Нет, конечно нет. Просто у него все прибавлялось работы в больнице, он хотел, чтобы больным было лучше, часто во время разговора со мной точно выключался, даже, случалось, при гостях вдруг выходил и запирался в своем кабинете. Знаете, бывает, что и ночью за ним присылают. Я говорю: останься, надо выспаться, но знаю, что это напрасно, уж если решил ехать, ничто и никто не удержит. Теперь, поднимаясь по лестнице, он иногда вдруг оста-

навливается, словно забывая, куда идет и вообще где находится. Поэтому я не всегда могу узнать его шаги. А что касается того, о чем вы говорили, вряд ли это так. Я стараюсь, как могу, ведь если бы ему было со мной плохо, он, право же, мог бы устроить свою жизнь иначе.

Мать. Значит, так? Значит, мог бы?.. Вы так полагаете?

Зенобия. В прошлом году ему предлагали пост главного врача больницы, но я не согласилась. И хорошо сделала.

Мать. Вы в этом уверены?

Зенобия. Да. Вполне. Будь я моложе, может быть, и захотела бы... чтобы мы переехали в Варшаву, в большой мир... Вы меня понимаете. Девушке, которая родилась и выросла в маленьком городке, хочется... хоть раз в жизни... Но теперь, спустя пятнадцать лет... Вот если бы Анджей был другим, думал только о себе...

Шаги на лестнице. Стук в дверь.

Зенобия. Извините.

Зенобия выходит. Мать садится в кресло. Входит Слепая, за ней Зенобия. Она целует Слепой руку, помогает снять пальто. Слепая держит в руке какой-то маленький предмет, завернутый в белый платочек.

Слепая. Оставь мне палку. Без палки я как без рук.

Зенобия берет ее под руку.

Не надо, я сама. *(Идет к пустому креслу, садится).* Твоего нет?

Зенобия. Поехал в Быстрицу, к роженице.

Слепая. Дело важное, да плоха дорога. Скользко.

Зенобия. Да, но ничего не поделаешь. Боюсь, ведь там...

Слепая. А ты не бойся. Мальчонка еще у вас?

Зенобия. У нас.

Слепая. А как его отец?

Зенобия. Пока никак.

Слепая. А ты не отдавай. Как твой порешил, тому и быть. Конечно, он предпочел бы своего собственного...

Зенобия. Мама, прошу тебя.

Слепая. Но раз уж господь бог распорядился иначе — его воля, и дело с концом. Ужин приготовила?

Зенобия. Да, стоит на плите.

Слепая. Твой приедет голодный, надо, чтобы все было с пылу с жару. *(Осторожными движениями проверяет расставленные на столе приборы.)* Говорила тебе: клади ложку черенком вправо, потому что человек ест правой рукой, разве что господь бог наказал его и он левша. Свечка? Можно и свечку. Понимаю. Пойду я, хочу только одну безделицу вам оставить.

Зенобия. Мама, сколько раз я и Анджей просили, чтобы ты не утруждала себя.

Слепая. Пустое. А на что еще я способна? Когда руки заноют, подержу их на коленях — и дело с концом. *(Развязывает узелок, достает кружевную салфетку.)* Такого узора у вас еще не было.

Зенобия. Спасибо, мама, но право же...

Слепая. Поменьше болтай. Мать тебе дает — бери. Ведь мать-то от всего сердца дает. *(Встает, подходит к столику в глубине комнаты, раскладывает на нем салфетку.)* Ну как? Подходит?

Зенобия. Да.

Слепая *(по очереди ощупывает мебель, на которой лежат салфетки).* Теперь я знаю, что они у меня получаются красивые и ровные. Ведь если бы они такими не были, вы бы их не держали на виду. Я вам свяжу еще накидки на спинки кресел, узор уже придумала. *(Подхо-*

дит к пустому креслу и меряет ширину спинки.) Хорошо, ширину я запомнила. *(Возвращается к своему месту у столика, вдруг останавливается.)* У тебя кто-то есть?

Мать делает знак Зенобии, чтобы та молчала.

Зенобия. Нет, мама.

Слепая. Меня уж не обманешь, хоть я и слепая. Погоди, только помалкивай, сама найду. *(Вытягивает руки и осторожно идет в сторону Матери.)* Хорошо пахнет! Духи. Твоей отец только раз купил мне духи, перед свадьбой. Я тогда от этой его щедрости разревелась, как дурочка. *(Подходит к Матери, касается ее волос.)* Старые. Такие же, как мои. *(Трогает лицо и руки Матери.)* Все сходится. Уже знаю. Вы...

Мать. Да. Я его мать.

Слепая. Я рада, что через столько лет мы наконец можем посмотреть друг другу в глаза.

Зенобия. И я догадывалась, хотя не была уверена.

Слепая. Ты, Зенка, сиди теперь тихо и помалкивай. Я с гостьей потолкую, как мать с матерью.

Мать. Я не совсем понимаю, извините меня, о чем?..

Слепая. Извиняться потом будем, а теперь потрудитесь меня выслушать.

Мать. Что это вы ко мне так свысока?

Слепая. Не свысока, нет. Просто таю я на вас в сердце обиду. За них, не за себя, хотя...

Зенобия. Мама, прошу тебя!

Проезжает автомобиль.

Слепая. Окажите милость, ответьте мне, прошу вас, от души прошу, теперь я говорю без злобы и обиды. Я не вижу вас, но могу себе представить. Почему, почему?

Зенобия. Мама, прошу тебя!

Слепая. А я ждала, я знала, что когда-нибудь вы приедете и я спрошу вас: почему?

Мать. Почему я приехала?

Слепая. Нет, не об этом, а про те годы. Ведь я этого никак в толк не возьму.

Мать. Разумеется, удобнее всего смотреть на все со своей колокольни.

Слепая. Да, моя колокольня совсем другая, и если бы вы могли хоть раз моими глазами... Хотя теперь уже ничего нет... Простите, покорнейше прошу прощения, это ваше дело, а не мое. Но я чувствовала, знала, что придет в вашей жизни такой день, когда вы станете перед зеркалом и увидите там другого человека, не такого, как раньше, другую женщину, другую мать, и что вы тогда приедете. Зеня, подай мне пальто.

Мать. Пожалуйста, останьтесь. Я постараюсь все это...

Слепая. Не надо. Уже не надо. Ведь вы приехали, этого достаточно, хорошо, что вы приехали. Спасибо вам. Зенка!

Зенобия подает пальто.

До свидания, сударыня.

Зенобия. Я провожу тебя, мама, а то уже темно.

Слепая. Не надо. Мне даже полезно знать, что темно, тогда я лучше слышу и бываю осторожнее. Еще раз благодарю. *(Выходит в сопровождении Зенобии.)*

Мать поправляет волосы, нервно расстегивает и застегивает воротник блузки.
Возвращается Зенобия.

Мать. Я сожалею, что опрометчиво отозвалась об этих салфетках, но я не представляла...

Зенобия. Ничего, мы ведь сами понимаем, что они не очень-то красивые, но эта работа для моей матери... Знаете, иногда мне кажется, что она больше любит Анджея, чем меня.

Мать. Не удивляюсь. За все то, что он для вас сделал... К сожалению, это, по-моему, ничего не может изменить в наших отношениях.

Зенобия. Как вам угодно... А я догадывалась... Если я сказала что-нибудь не так, как следует, прошу извинить меня.

Мать. Помилуйте, еще чего. Признаюсь даже, что представляла вас иначе. Менее... как бы это выразиться...

Зенобия. Я наверняка была другой, когда выходила замуж за Анджея. Но он был терпелив и снисходителен ко мне. А я старалась...

Мать. Это заметно. Но все равно мы совершенно разные люди.

Зенобия подбегает к окну.

Я на вас в обиде, и этого ничто не сможет исправить.

Зенобия. Может, вы чего-нибудь отведаете?

Мать. Только когда вернется Анджей.

Зенобия садится. Шум проезжающего автомобиля.

Будем обращаться друг к другу так же, как до сих пор. Надеюсь, вы меня понимаете.

Зенобия *(как бы разговаривая сама с собой)*. Почему он задерживается?

Мать. Успокойтесь, пожалуйста. Вернется. Я не хотела бы быть с вами слишком суровой. Ну что ж, пятнадцать лет — это очень много, хотя иногда мне кажется...

Неторопливые шаги на лестнице.

Может, это он? Зажгите свечу.

Зенобия зажигает свечу и тут же гасит.

Я была здесь только один раз, шестнадцать лет назад, когда Анджей получил место после окончания института. Тогда он обещал мне, что поработает тут год-два, не более и вернется. Но получилось иначе.

Зенобия. Это не моя вина.

Мать. Скажу откровенно — даже хорошо, что мы одни. Так вот, я приехала сюда... Неужели мне почудилось?.. Нет, в той комнате кто-то есть.

Зенобия. Это ребенок. Шестилетний мальчик.

Мать. Кто-нибудь из ваших родственников?

Зенобия. Нет. Анджей взял его из больницы. Мать умерла, а отец очень плохой человек. Бил его и вообще... Он у нас уже две недели.

Проезжает автомобиль.

Кто-то должен был о нем позаботиться.

Мать. Но почему именно Анджей? Ведь это и связывает, и налагает определенные обязательства.

Зенобия. С местами в детском доме трудно, волокита, знаете ли, так вот Анджей... Ведь он занят не только больницей — в нашем городке непочатый край работы.

Мать. Я слушаю ваши речи, смотрю на вас и как-то не могу всего этого увязать. Мне трудно представить себе Анджея и врачом, и вашим мужем, и зятем вашей матушки, и моим сыном, и еще вдобавок приемным отцом.

Зенобия. Вот как? А я это великолепно представляю.

Мать. Вы были воспитаны в другой атмосфере, и ваши родители ожидали от вас чего-то совсем другого, нежели мы от Анджея. Когда я шла со станции... да, новые дома, магазины, скверы; не видно развалин, стало как будто почище, люди одеты лучше, чем шестнадцать лет назад, но что изменилось в них самих?

Зенобия. Не знаю. Я только знаю, что не каждый день у нас бывают похороны, зато крестины ежедневно.

Мать. Я ведь совсем о другом. Впрочем, оставим это. Скажу откровенно...

Голос ребенка. Тетя, я хочу есть.

Зенобия. Сейчас, Павелек, принесу тебе что-нибудь поесть. *(Выходит.)*

Мать, рассматривая комнату, замечает довольно толстый альбом с фотографиями и открывает его. На первой странице белой тушью выведено: «Зенобии — Анджей» и дата. На каждой странице одна-две фотографии: Зенобия с черной кошкой на фоне цветов, Анджей в белом халате среди работников больницы, какой-то шуточный снимок, свадебная фотография — та же, что на стене, только поменьше. Похороны. Маленький гробик с изображением креста и песочных часов. Мать подносит альбом к глазам, снимок теряет контрастность.

Зенобия возвращается, неся поднос с едой. Уходит в соседнюю комнату. Мать снова рассматривает альбом: Зенобия и Анджей перед домом, Зенобия на фоне автомобиля. Анджей и Зенобия с лопатами на фоне щита, врытого в землю, на щите надпись: «Здесь будет новая школа». Затем около дюжины неприклеенных фотографий.

Возвращается Зенобия.

Мать. Присядьте, пожалуйста. *(Обе садятся.)* А знаете... теперь и я начинаю волноваться. Далеко ли эта деревня?

Зенобия. Двадцать километров.

Мать. А сегодня такая гололедица. *(Пауза.)* Так вот, я буду откровенна: мне просто хочется, чтобы Анджей отсюда уехал.

Зенобия. Уехал? Навсегда?

Мать. Да. И как можно скорее.

Зенобия. Простите, но я не понимаю.

Мать. Извините, но я должна внести ясность. Ни я, ни мой светлой памяти супруг не были довольны его выбором первого места работы. Но мы полагали, что через год, самое большее два, он возвратится в Варшаву и займется частной практикой. Скажу откровенно, разве все это для такого человека, как мой сын? Я знаю его лучше всех. Что мог дать ему такой маленький городок? На какую карьеру здесь можно надеяться? Но потом совершенно неожиданно появились вы. Не перебивайте меня. Я жду от вас лишь одного — чтобы вы не мешали, что же касается ваших возможных условий, то, какие бы они ни были, я их все принимаю заранее.

Зенобия. Простите великодушно, но я не понимаю...

Мать. Не будьте наивной.

Зенобия. Но Анджей... Анджей — мой муж.

Мать. Я прежде всего заинтересована в том, чтобы он уехал отсюда. Навсегда. Уговорите его, растолкуйте по-своему. Он здесь пропадет, затеряется, ничего не достигнет.

Зенобия. Что вы говорите? Скольких он спас!

Мать. Прекрасно. А о нем, о нем самом вы не думаете? Конечно, это очень легко, это проще простого — привыкнуть, как вы говорите. А откуда вы знаете, что он привык? Что вы можете знать об окружающем мире, о жизни вообще? Вы, выросшая в маленьком провинциальном местечке, откуда дальше кончика своего носа ничего не увидишь.

Зенобия. Не знаю.

Мать. Вы не знаете, я верю этому. Но, когда он приехал сюда, вы знали, что надо делать, чтобы привязать его к себе.

Зенобия. Он мне понравился, обыкновенно, как парень девушке.

Мать. А если бы он принадлежал к тому же самому... извините, кругу, что и вы, он тоже понравился бы вам?

Зенобия. Конечно. Только таких людей, как Анджей, к сожалению, не так уж много. *(Зажигает свечу.)*

Мать. А я ничего не слышала. *(Пауза.)* Действительно идет.

Шаги на лестнице и свист.
Зенобия гасит свечу.

Значит, он вам тогда просто понравился? Вы знали, что он слишком благороден, слишком порядочен, чтобы уклоняться от ответственности за свой необдуманный шаг.

Зенобия. Но ведь я ему тоже понравилась. Иначе бы...

Мать. Знаю, знаю...

Зенобия. Через некоторое время я поняла, что...

Мать. Знаю. Именно это я и имела в виду. Но мне не верится, что Анджей был вашим первым мужчиной. *(Пауза.)* Скажите мне.

Зенобия. Нет, не был.

Мать. И, несмотря на это, решил на вас жениться?

Зенобия. Да. Несмотря на это.

Мать. Потому что вы не предупредили его вовремя. Вы не хотели его предупредить.

Зенобия. Нет, я с самого начала не скрывала. Он тогда поехал к вам, а когда вернулся...

Мать. Все равно. Вы не имели права портить ему жизнь и навсегда его связывать! Не имели права!

Зенобия. Но это не так, совсем не так! *(Плачет.)*

Звонит телефон. Зенобия порывисто вскакивает, подбегает к телефону и с трудом овладевает собой.

Да. Нет, еще нет. Очень беспокоюсь. Привезли больного? Несчастный случай? Операция... К сожалению... Хорошо, как только он вернется. Конечно. *(Кладет трубку.)*

Мать. Вы сами понимаете, какую причинили нам боль. Старшего сына мы потеряли на войне, тут я могу быть в претензии только к господу богу. У нас остался один Анджей. После того как он уехал сюда... Да успокойтесь же, ради бога! После его отъезда мы с мужем почувствовали себя очень старыми, нужными только друг другу, а этого мало. Поймите, что мы пережили, когда Анджей сообщил нам о своем решении. Мы до последнего момента надеялись, что до этого не дойдет, что он опомнится. Мы не были на свадьбе нашего единственного сына. В тот день... мой муж впервые в жизни... *(Делает движение, как бы смахивая слезу.)* Правда, он тогда очень нервничал... Умирая, просил, чтобы я его простила. Но сказал, что Анджея не простит никогда. Вы знаете, что я написала Анджею только после похорон.

Шум проезжающего автомобиля.

Может, это он? Дайте слово, что не будете уговаривать его остаться! И успокойтесь, очень прошу вас. Так распускаться — дурной тон.

Зенобия. А что же — хороший тон? Может, вы скажете наконец, а то я не знаю. По-вашему, я не имею права знать, вообще не имею никаких прав!

Мать. Ах, позвольте!

Зенобия. Вы думали, что найдете здесь бедную золушку, чумазую судомойку... Может, я и была бы такой, но за пятнадцать лет... Я тоже хотела быть достойной его, и теперь вы удивляетесь... вы приехали сюда, чтобы... А я-то в первые минуты, когда вы заговорили о нем, об Анджее, я была готова... Да, действительно, мне показалось, что, возможно, вы и правы, но теперь я говорю вам: нет! А как же иначе! Столько лет труда... у меня нет ни образования, ни такой красоты, ни... чего еще вы там для него желали, но мы вместе столько лет, и у меня тоже есть какие-то права на него. Я... У меня... у меня, кроме него, нет никого, ничего, понимаете? И поэтому я говорю вам: нет, нет!

Мать. И ты мне это говоришь? Ты, которая...

Зенобия. Вы ничего не знаете, ничего, ни обо мне, ни о нем, вы способны сердиться, и только, вы не хотели посмотреть на нас, на него... а эти пятнадцать лет... эти пятнадцать лет были нашей жизнью... и его, и моей... и не только нашей... тут живут и другие люди, и никто не имеет права, никто, никто, даже вы!

Мать. Кто-то идет.

Слышны шаги на лестнице и довольно громкий стук.
Зенобия идет открыть, уверенная, что это Анджей.
Входит Начальник милиции, за ним Зенобия.

Начальник. Кого я вижу, вот здорово! Матушка, не так ли? То-то Анджей порадовался.

Зенобия. Анджея нет, но он скоро вернется.

Начальник. Разрешите представиться: капитан Станислав Гжесяк, начальник здешнего управления гражданской милиции, блюститель общественного порядка, значит, почти ангел-хранитель и тому подобное собственной персоной. Где скитается Анджей в такую пору?

Зенобия. Поехал в Быстрицу, к роженице.

Начальник. Чтобы еще одним хулиганом стало больше на свете?

Зенобия. Давно уже должен вернуться. Боюсь я за него. Не мог бы ты...

Начальник. Нечего бояться. Это я тебе говорю. Его еще ни разу не штрафовали за нарушение правил безопасности движения.

Зенобия. Присядь, пожалуйста.

Начальник. Мне некогда. *(Снимает плащ и бросает на кресло. Зенобия хочет взять его.)* Оставь, иначе засижусь, а нельзя. *(Садится.)* Мне только что доложили, что поблизости скрывается один опасный тип. Вооруженный. Мы должны все так организовать, чтобы во время облавы не погиб ни один человек. А тут как назло моя Каська захворала. У нее температура и плачет от боли. Говорю жене, чтобы положила ей компресс на живот, а жена не хочет. Обозвала меня знахарем. Вот как бывает, сударыня, в собственном доме самого начальника милиции в один момент могут разжаловать. С опаснейшими бандитами человек справляется, а с собственной бабой — бессилен. Истинный конец света! Когда Анджей вернется...

Мать. Он приедет очень усталый. Разве он единственный врач в этом городке?

Начальник. Нет, но, видите ли, лучшие чудотворцы те, которых хорошо знаешь. А мы с Анджеем, как говорится, два сапога — пара. Уже много лет. Не скрою, поначалу были с ним неприятности. Как только начал работать в больнице, все ему не нравилось: постановка дела, уход, питание, даже сиделки. Хотели его отсюда выжить. Вы представляете, как сложно сработаться с людьми.

Зенобия. Погоди.

Начальник. А что?

Шаги на лестнице.

Зенобия. Нет, еще не он. Сташек, позвони, пожалуйста, в управление, пусть пошлют какую-нибудь машину в сторону Быстрицы. Я в самом деле боюсь.

Начальник. Будет исполнено. *(Встает, подходит к телефону. Набирает номер.)* Галинка, дай мне срочно управление. *(Пауза.)* Еще не вернулся. *(Пауза.)* Говорит Гжесяк. Быстро направьте машину с рацией в сторону Быстрицы и поищите там доктора. Только мигом! *(Кладет трубку).*

Зенобия. Спасибо тебе.

Начальник. Видите, пани? Милиция — это сила! О чем это я?.. Ага. Так вот, кое-кто хотел от него избавиться. Ведь люди не любят, когда им говорят, что они делают не то, что положено. Признаться, я сам не знал, как быть с этим переплетом. А потом сказал им: чего вам от него надо? Что он, все к рукам прибрать хочет или старается, чтобы всем было лучше? Приехал парень в эдакую дыру, желает работать, ваше дело за ним приглядывать, а не мешать! Оставили его в покое. Поняли. Убедились. Тут, знаете, люди обыкновенные, простые, ничего в жизни не видали, а Анджей, честное слово, к каждому умеет подойти. Впрочем, чего ради я вам это рассказываю? Поживете здесь несколько дней, сами удостоверитесь.

Мать. Я приехала не за тем, чтобы остаться.

Начальник. Я не говорил о постоянном жительстве, хотя тут тишина, а вы уже не молоды, воздух свежий, лес близехонько, тут грибки, там рыбка, сами понимаете.

Зенобия. Пани приехала, чтобы...

Мать. Прошу вас, не надо. Это наше семейное дело.

Зенобия. ...чтобы уговорить Анджея уехать. Навсегда.

Мать. Выходит — так.

Начальник. Да? А с кем я буду играть в шахматы? Во всей округе только он один подходящий партнер для меня. Правда, ксендз тоже играет в шахматы, но где ему тягаться с Анджеем!

Мать. Ну, знаете ли...

Начальник. Кроме того, он давно тут, всех знает насквозь, в темноте разберет, где у кого сердце, где почки, где желудок и прочие потроха.

Мать. Незаменимых людей нет.

Начальник. Верно, но, видите ли, мы с трудом привыкаем к чужим. Анджея уже все считают своим. Такой врач — не просто медик... а нечто большее, это авторитет! Когда нужно уладить какое-нибудь серьезное дело, идет Анджей. Врачу трудно отказать, ведь каждый сознает, что когда-либо может превратиться в пациента.

Проезжает автомобиль.

Да я прикажу вас арестовать! Вы действуете сознательно и предумышленно в ущерб нашим гражданам. Пять лет!

Мать. Вы шутите.

Начальник. А вы как думаете? Конечно шучу. Теперь поговорим серьезно: чего вы хотите?

Мать. Вы это прекрасно понимаете.

Начальник. Да, понимаю, черт подери. Простите. *(Пауза.)* Сколько лет он здесь живет?

Мать. Шестнадцать. Не кажется ли вам, что этого достаточно? Может быть, вы считаете, что он уже поставил на себе крест? А я? Разве я, старая и одинокая женщина, не имею права потребовать от своего сына хоть чуточку сердечности?

Начальник. Да... Говорят, что матери рожают детей не для себя... Что ж, дело не мое. Но мне кажется, что если бы все порядочные люди стали удирать из таких городков, как наш, то на карте страны образовались бы огромные белые пятна и тогда было бы очень скверно.

Голос ребенка. Тетя, я уже поел!

Зенобия. Хорошо, Павелек. *(Выходит.)*

Начальник *(быстро подойдя к матери, шепотом)*. А она? Что вы могли иметь против нее, раз она столько лет...

Мать. Только одно: если бы не она...

Начальник. Неправда!

Зенобия возвращается с подносом.

Если когда-нибудь к вам заявится его отец и начнет скандалить, немедленно звони мне. Уж я его успокою.

Зенобия выходит на кухню.

Мать. Я еще до их свадьбы слышала о ней то да сё. Я имела право знать, кем нас порадует наш сын.

Начальник. Простите, но вы все несколько упрощаете, а судьбы человеческие часто бывают очень запутанными. Человек хочет одного, а получается шиворот-навыворот. Вы, например, ждали, чтобы сын «образумился» и стал на путь истинный,— и на пятнадцать лет потеряли сына.

Мать. Я приехала сюда затем, чтобы обрести его.

Начальник. Вы полагали, что в таком городишке, как наш, ему будет тесно? Что он остался тут из упрямства или назло?

Мать. Да.

Начальник. А может, он открыл для себя здесь, именно здесь, нечто очень ценное, о чем раньше не имел представления, и поэтому остался?

Мать. Панну Зенобию?

Начальник. У него репутация хорошего хирурга и порядочного человека, дом, куда он возвращается после работы, не заходя по дороге в пивнушку, и в этом доме женщина, которая достойна его. В свободные минуты он играет со мной в шахматы, вы представляете — с самим начальником уездного управления милиции! А теперь прикиньте: неужели здешние люди хуже тех, которых вы принимаете в своем доме?

Мать. Пожалуйста, не говорите так!

Начальник. Жаль, что вы не побывали здесь сразу же после войны. Руины легко убрать, а вот если бы не было таких людей, как Анджей, кто бы боролся со знахарством, вшивостью, пьянством, невежеством, расхищением общественного добра? Кто бы ратовал хотя бы вот за те цветы, что растут на рыночной площади, за новую школу, новые дома, асфальт на улицах, чтобы люди не утопали в грязи, за освещение и нужники на окраинах, наконец, черт подери — извините,— кто бы подавал хороший пример другим?

Мать. Говорите своими словами, а не заимствованными из газеты.

Начальник. Будет исполнено. По дороге с вокзала вы должны были пройти мимо новой школы. Красивая, верно? А знаете, как с ней было? Анджей это провернул в воеводстве. Деньги нашлись, хуже было с директором. Никто не хотел сюда ехать, захолустье, мол. Однажды Анджей куда-то отправился, разыскал одного голубчика с дипломом, которого за несколько лет до этого буквально сложил собственными руками из маленьких кусочков, и сказал ему: «Поехали, будешь директором школы». И привез его к нам. Тот хотел сра-

зу приступить к работе и спрашивает, где школа. Анджей привел его на пустырь между вокзалом и рынком, топнул ногой о землю и сказал: «Вот здесь твоя школа». И тот остался, и директорствует. Трудно было? Да, было трудно, и еще трудно, и будет нелегко, но такова жизнь. Вот в чем дело. Не отнимайте этого у Анджея. И у нее, у нее тоже. Ведь она поверила Анджею.

Мать. Не удивительно.

Начальник. Потому что он ваш сын? А почему Анджей, по-вашему, не злоупотребил ее доверием? Только ли потому, что он ваш сын? А может, он попросту любит ее — и все?

Мать. Быть может, действительно...

Начальник. Они вместе трудились. Начинали с нуля. С первого совместно купленного полотенца. Даже после той их трагедии он остался с ней и с нами. Никто не принуждал, а остался. Знаете ли вы, скольких людей это заставило призадуматься?

Мать. Мы с мужем представляли себе все это по-другому. Но я не знала, ведь мы думали, что он тут работает только в больнице, и поэтому...

Начальник. Я хочу вам еще кое-что сказать, только не сердитесь. Я знаю Анджея *(начинает одеваться)* уже шестнадцать лет, и мне известно, что все эти годы он ждал вас. Верил, что когда-нибудь вы его поймете и простите. Ну а сегодня, когда он вернется... Когда он вернется, попросите его, чтобы, несмотря на усталость, он приехал к моей девчушке, хорошо?

Мать. Разумеется.

Телефонный звонок, Зенобия возвращается из кухни и идет к телефону.

Начальник. Спасибо вам, большое спасибо!

Зенобия *(у телефона)*. Да. Здесь. *(Начальнику.)* Тебя.

Начальник *(берет трубку)*. Да. Да. Да. Неужели!.. *(Преодолевает волнение.)* Хорошо. Ладно. Иду. Ждите меня у книжного магазина. *(Кладет трубку.)*

Мать. Что-нибудь случилось?

Начальник. Случилось?

Зенобия. Этот бандит?

Начальник. Что? А, бандит! Да, да. Извините. *(Выходит.)*

Зенобия тоже выходит.

Мать машинально берет альбом с фотографиями, открывает его, переворачивает страницы, но не разглядывает их, а смотрит прямо перед собой, словно о чем-то напряженно думая, она взволнована.

Возвращается Зенобия.

Зенобия. Вы на меня не сердитесь? Я не хотела, но это как-то само... Я очень перед вами виновата, не знаю, что со мной случилось, я впервые в жизни, с матерью... Пожалуйста, не говорите об этом Анджею, очень прошу. Я так волнуюсь!

Мать *(с трудом овладевая собой)*. Зенобия, скажи мне... Скажи мне, вы хотите оставить у себя этого ребенка?

Проезжает автомобиль.

Зенобия. Что? Нет, наверно, нет. Мы не имеем права. Если бы он был сиротой...

Мать. А вы не думали о том, чтобы все-таки обзавестись ребенком?

Слышно, как проезжает автомобиль.

Зенобия. Да, мы думали, но все как-то не могли решиться.

Мать. Мне кажется, что я смогла бы помогать вам. Понимаешь, я не чувствовала бы себя такой ненужной.

Зенобия. Поговорите об этом с Анджеем, когда он вернется.

Шаги на лестнице. Зенобия выбегает в прихожую.
Шаги стихают.
Мать подходит к двери соседней комнаты, открывает ее.

Мать. Спи... спи, маленький, дядя сейчас приедет.
Голос ребенка. А ты кто?
Мать. Я старенькая добрая бабушка. Спи, спи. *(Закрывает дверь.)*

Звонит телефон. Мать берет трубку.

Да. Говорит его мать. Почему вас это удивляет? Простите, но это уж мое дело. Нет, его еще нет, но он, вероятно, скоро вернется. *(Пауза.)* Да, вы правы, это очень важно.

Зенобия возвращается.

Разумеется, передам. Нет, не забуду. Спокойной ночи. *(Обращаясь к Зенобии.)* Звонил какой-то гражданин насчет стадиона.

Зенобия. А, знаю. Анджей им помогает. Речь идет о санитарном оборудовании и врачебном контроле.

Обе женщины садятся рядом. Проезжает автомобиль.
Шаги на лестнице. Зенобия берет спички, но не зажигает.

Мать. Боюсь я, Зенобия, страшно боюсь. Знаешь, когда этот милицейский говорил по телефону... Впрочем, нет, нет. А ты?

Зенобия. Я? Я тоже. И хотя Анджей часто выезжает... к этому невозможно привыкнуть. Но если один человек тревожится за жизнь другого, только тогда...

Мать. Зенобия, не говори мне «вы», обращайся ко мне иначе.

Зенобия. Когда Анджей вернется, хорошо?

Мать. Как угодно. Знаешь, теперь, после смерти мужа, мне не хватает его шагов на лестнице. Когда проживешь вместе столько лет... Он тоже первые годы после свадьбы бежал по лестнице от самого парадного... а последнее время все останавливался на площадках между этажами, словно в нем самом что-то притормаживало... *(Смолкает, прислушивается.)* Нет, мне показалось. *(Пауза.)* Еще и теперь, услышав чьи-то шаги, я подхожу к двери и выжидаю, а потом спохватываюсь, что уже некого ждать. Может, и впрямь человек живет лишь до тех пор, пока кого-нибудь ждет?

Зенобия. Верно вы сказали об ожидании. Так оно и есть. Ведь я тоже каждый день дожидаюсь Анджея и особенно волнуюсь, когда знаю, что у него операция. Понимаете, иногда достаточно пустяка... Прежде, вскоре после свадьбы, я об этом не думала столько, сколько теперь. Сейчас-то я знаю куда больше, хоть и без образования.

Мать. У тебя нет образования, говоришь?

Зенобия. Да. Может, не столько по неспособности, но... не получилось. Сама хорошо понимаю, что не такая женщина должна быть рядом с Анджеем. Он приехал сюда... *(Замолкает, прислушивается.)* Мы познакомились, он был одинок, как и я... я забеременела и не думала, что он женится на мне, а он женился. Ребенок прожил только два месяца, я и сама чуть не умерла, может, поэтому он и остался со мной... Никто не неволил. Я всегда знала, что родители были против меня.

Шаги на лестнице. Зенобия подбегает к двери.

Мать. Сядь, пожалуйста. Когда ты нервничаешь...

Зенобия. Может, надо что-то сделать, позвонить, поехать. Я больше не могу ждать сложа руки, не могу выдержать этого ожидания, шума этих машин, шагов на лестнице!..

Мать. Ты сделала все, что могла! Ваш милицейский обещал послать машину. Мы должны только ждать. Сядь, прошу тебя.

Зенобия садится. Она почти в оцепенении.

Продолжай.

Зенобия. Я уже все сказала. Знаете, я... я постараюсь уговорить Анджея, чтобы он вернулся в Варшаву и к вам. В Варшаве он окажется среди таких же людей, как вы...

Мать. Перестань.

Зенобия. Не будет так рисковать, станет больше зарабатывать...

Мать. Перестань.

Зенобия. Я не могу с ним ехать. Моя мама... а кроме того, у нас тут своя могилка на кладбище.

Мать *(шепотом)*. Перестань.

Зенобия. После того, что случилось, я уже никогда не смогу иметь ребенка. Сама не знаю, почему Анджей остался со мной. Может, поэтому. *(Снимает кольцо.)* Анджей подарил мне его еще до свадьбы, но оно... оно всегда было мне слишком велико. Я никогда не считала, что оно принадлежит мне. Возьмите его, правда.

Мать. Перестань, перестань. Я только теперь поняла... все, понимаешь, все — его, и тебя, и то... что я потеряла столько лет счастья, этого, этого уже никогда...

Проезжает автомобиль.

Я уже стара, Зенобия, нет-нет, не возражай, я знаю, что так полагается, но не перечь. Я совершенно одна. Я принадлежу к тому поколению, которое уже уходит. Навсегда.

Зенобия. Пожалуйста, не говорите так, особенно при Анджее. Он вас очень любит.

Мать. Мне страшно, что я окажусь одна в тот день, когда это начнется, и поэтому хотела бы... Но теперь знаю: несмотря на то, что со мной случится, я должна подобно всем людям пройти через это одна.

Зенобия. Пожалуйста, не говорите так, очень прошу!

Мать. Недавно ушли из жизни несколько моих близких. Это было так, словно я уходила сама. Шаг за шагом, словно каждый из уходящих уносил с собой частицу времени, которое мне еще осталось. И поэтому...

Проезжает автомобиль.

Поэтому, понимаешь? *(Пауза.)* Скажу тебе больше: по пути сюда я даже подумала, нельзя ли мне... насовсем... Не знаю, как долго еще... этого никто не ведает... Я так боялась того, что тут застану — какую семью, каких людей... ведь за столько лет... люди меняются, даже собственные дети, вот я и боялась, но сейчас...

Зенобия. В самом деле? Вы могли бы?..

Мать. Да. Благодарю тебя, от души благодарю.

Зенобия. Вы — меня? За что?

Мать. За то, что ты так громко, так ясно сказала «нет». Я... я только теперь... Идет!

Шаги на лестнице.

Зенобия. Да, это он! Боже милостивый! *(Стремительно выбегает, оставляя дверь открытой настежь.)*

На пороге появляется плечистый Крестьянин в длинном пальто, в шапке. Он слегка пьян.

Крестьянин *(вваливаясь в комнату)*. Доктор дома?

Зенобия. Нет.

Крестьянин. Не беда. Подожду. Мне не к спеху. *(Замечает Мать.)* Слава Иисусу Христу и так далее. Мое почтение, барыня.

Мать. Вы пьяны, прошу вас выйти.

Крестьянин. Пьян? Чуточку. За это в ад не отправляют. *(Садится в кресло.)*

Зенобия. В самом деле, может, подождете на улице или придете в другой раз, когда будет муж?

Крестьянин. Так ведь я не за лекарством пришел, а для разговора.

Мать. Вы слышали...

Крестьянин. А вы, бабуля, кто будете? Ага, мамаша, извиняюсь. Вроде бы нездешняя. Так вы, бабуля, помолчите, потому как мы не любим, когда нездешние вмешиваются в наши дела.

Зенобия подходит к телефону, берет трубку. Крестьянин вскакивает с кресла, вырывает у нее трубку и бросает на рычаг.

Вот ты как! Со мной так нельзя, а то я могу обидеться. Изволь сказать, где мой сын? Где мой парнишка?

Мать. Нет тут никакого парнишки.

Крестьянин. Некрасиво, мамаша, некрасиво, седьмая заповедь: не укради, восьмая — получше спрячь. А я знаю, что парнишка здесь. От людей узнал, людям все известно, а как поставишь четвертинку, так больше, чем надо, выложат.

Зенобия. Убирайтесь отсюда, а то позвоню в милицию!

Крестьянин. Нехорошо. Нехорошо. Что же это получается, ксендз стращает преисподней, она — милицией. А порядочному человеку некому пожаловаться, негде найти справедливость. Как же это так? Отнять у отца сына, да еще...

Зенобия. Вы хорошо знаете, почему у вас отобрали парнишку. Если бы не мой муж, ваш сын умер бы.

Крестьянин. Божья воля и перст судьбы.

Зенобия. Вы избивали мальчонку до потери сознания. Значит, не божья воля.

Крестьянин. Парень мой, и я имею право учить его уму-разуму. А тебе, Зенка, я скажу вот что: сейчас даже простому человеку говорят «вы». При народной демократии все равны — все сплошь паны.

Зенобия. Мальчика не получишь, и точка.

Крестьянин. Не получу, говоришь? Больно умна стала, Зенка, прежде такой не была.

Зенобия. Мое дело.

Крестьянин. Теперь-то ты пани докторша, не то что когда-то — «последнего разбора». Я знавал тебя совсем иной, пока пан доктор разок-другой не переспал с тобой...

Мать. Если вы сейчас же не прекратите...

Крестьянин. Ну и что тогда? Ну и что? Где парнишка?!

Из соседней комнаты доносится детский плач.
Крестьянин подходит к двери. Мать заслоняет ее собой. Крестьянин останавливается.

Мать. Вы туда не войдете.

Крестьянин. Не войду? Можем побиться об заклад.

Зенобия делает движение к выходу.

Мать. Зеня, не нужно. Я сама справлюсь.

Крестьянин. Пожалуйста! Бабуля сама справится! А как, нельзя ли полюбопытствовать?

Мать. Сейчас узнаете.

Крестьянин. А если я скажу пару слов, так вы узнаете кое-что насчет своей невестки. Люди помнят...

Мать. Ложь. Никто не имеет права, я... я...

Крестьянин. Ложь? Так почему же вы, бабуля, не потрудились ни разу приехать сюда за все эти годы, а? Сказать?
Мать. Не надо. Это я вам скажу.
Крестьянин. Всепокорнейше слушаю.
Мать. Пани Зенобия — жена моего сына.
Крестьянин. Согласен. И что же дальше?
Мать. Раз мой сын ее выбрал, значит, она этого стоит.
Крестьянин. Но в белой фате к алтарю она не шла.
Мать. Расскажите это тем, кто все выкладывают за рюмку водки.
Крестьянин. А еще что?
Мать. А то, что вы подлец.
Крестьянин. Повторите!
Мать. Подлец.
Крестьянин. А ну, еще раз повторите!
Мать. Подлец.

Крестьянин пристально смотрит на Мать, медленно подымает обе руки и сжимает кулаки.

Зенобия. Мама!
Мать. Я не боюсь его, Зеня. Он прекрасно знает, что он подлец.

Мать смело смотрит Крестьянину в глаза. Неожиданно он склоняется перед ней, как бы в смиренном поклоне.

Крестьянин *(с пьяным надрывом бьет себя в грудь)*. Подлец, подлец... *(Медленно выпрямляется, поворачивается, идет к дверям, оглядывается на Мать и выходит. Его шаги на лестнице постепенно отдаляются, стихают.)*

Длительная пауза.

Мать. Зеня, он ушел и больше не придет сюда. Иди и успокой малыша.
Зенобия. И надо же, именно сегодня, когда вы к нам приехали...
Мать. Пустяки, Зеня, пустяки. Я очень довольна. Никогда бы не подумала, что смогу так расхрабриться. Я боялась, конечно, но... значит, я еще не так стара... А когда Анджей вернется, ничего ему не говори, ничего. Я сама.

Вдруг раздается телефонный звонок. Зенобия медленно подходит и берет трубку. Она производит впечатление автомата.

Зенобия. Да, да, да, да, да. *(Поворачивается к Матери, с трудом владея собой.)*
Мать. Что случилось? Говори же!

Лицо Зенобии крупным планом. Выражение ужаса сменяется облегчением.

Зенобия. Все обошлось хорошо, мама, в самом деле. Он жив — только сломал ногу. Он будет жить!

ДЖОН ЧИВЕР

Геометрия любви

РАССКАЗ

Перевод с английского Т. ЛИТВИНОВОЙ

То было на склоне дня — одного из тех дождливых дней, когда женщины, толпящиеся в универсальном магазине на Пятой авеню у прилавка с игрушками, кажутся окутанными тайной. У всех у них такой вид, словно они только что вырвались из объятий любовника и хотят загладить свою вину перед семьей, купив подарок для маленького. На этот раз таких покупательниц — красивых, холеных, благоуханных, но с печатью душевного надрыва на лице — Чарли Мэллори насчитал по крайней мере с полдюжины. Всего каких-нибудь полчаса назад, думал он, в одной из городских гостиниц низкий соблазнитель лишил их честного имени, и теперь они торопятся домой, к своим ласковым невинным младенцам. Чарли ничуть не осуждал бедняжек, да он и не думал этого всерьез, а фантазировал со скуки, чтобы придать тусклому вечеру немного остроты и яркости. Его рабочий день прошел вяло, все время после обеденного перерыва он провозился над ящиком для картотеки — там что-то заело — и наконец надумал пойти в магазин за отверткой. Выйдя из отдела скобяных товаров, он очутился в игрушечном отделе и принялся внимательно разглядывать покупательниц с точки зрения только что придуманной им концепции. Ему показалось, что она не так уж фантастична: ведь та особенная одухотворенность на грани слез, которую он читал на их лицах,— чем ее объяснить, как не горестными усладами преступной любви? А глубокие вздохи, которых они не в силах подавить, перебирая детские игрушки, эти утехи невинности? Внимание Мэллори привлекла покупательница, одетая точно в такую же шубку, как та, что он подарил Матильде на рождество. Вглядевшись как следует, он увидел, что не только шубка была Матильдина, но и надета она была на Матильду, на его собственную жену.

— Бог ты мой! — воскликнул Мэллори.— Матильда! Какими судьбами?

Матильда оторвала взгляд от деревянной уточки. Медленно, очень медленно глубокая печаль на ее лице сменилась выражением гнева и презрения.

— Я не люблю, когда за мной шпионят,— отчеканила она. Голос у нее был звонкий, и покупательницы подняли головы в предвкушении скандала.

Чарли растерялся.

— Но ведь я и не думал, милая, за тобою шпионить,— сказал он.— Я просто...

— Не могу представить себе более гнусного занятия,— продолжала она,— чем выслеживать людей, ходить за ними по пятам.

И поза и голос Матильды были исполнены оперного пафоса. Ее слушали с напряженным вниманием, причем аудитория ежесекундно пополнялась за счет покупателей, сбегавшихся на шум из соседнего отдела скобяных товаров и садового оборудования.

— Преследовать ни в чем не повинную женщину на улице — низко и мерзко. Это патология!

— Но ведь я попал сюда совершенно случайно...

Смех ее был беспощаден.

— Ах, ты *совершенно случайно* оказался в игрушечном отделе? Случайно, да? Так я тебе и поверила!

— Я был в скобяном отделе,— сказал Чарли.— Ну, да не все ли равно? Пойдем выпьем по коктейлю и поедем вместе домой.

— Неужели ты думаешь, что я соглашусь быть собутыльницей и спутницей шпиона?— вопросила она.— Сейчас я покину этот магазин, и если ты посмеешь пойти за мной или изобретешь еще какой-нибудь способ меня преследовать, я обращусь в полицию. Тебя арестуют и бросят в тюрьму.

Матильда заплатила за деревянную утку и, взяв ее под мышку, царственно ступила на эскалатор.

Подождав две-три минуты, Мэллори отправился к себе в контору. Он был инженером и работал по договорам. Кроме него в конторе обычно сидела его секретарша, но в этот вечер ее не было: она уехала на остров Капри. Бюро обслуживания доложило, что никаких телефонограмм не поступало. И почты не было никакой. Мэллори был один. Он был слишком ошеломлен, так что даже не чувствовал себя несчастным. Реальность вдруг перестала для него существовать, или, вернее, он перестал ощущать в ней какое-либо подобие стройности и симметрии. В фарсе, в котором ему только что пришлось принять участие, не было и намека на здравый смысл — вместе с тем, нельзя же так просто решить, что это безумие, и успокоиться? А может, забыть весь эпизод, выкинуть его из головы? К этому средству Мэллори доводилось прибегать не раз. Но как забыть звенящий голос Матильды, раздающийся среди причудливых декораций отдела детских игрушек? Трагические недоразумения случались у них с Матильдой и прежде, и он всякий раз с готовностью принимался их распутывать, пытаясь разобраться в цепи случайностей и нащупать звено, где произошла детонация. Но на этот раз он был обескуражен. Последняя вспышка не поддавалась диагнозу. Что делать? Обратиться к психиатру, к специалисту по брачным делам? Или посоветоваться со священником? А может, просто выпрыгнуть в окно?

Мэллори подошел к окну. На улице было по-прежнему пасмурно и дождливо. Впрочем, остатки дневного света еще сопротивлялись сумеркам. Движение было не очень бурным. Мэллори проводил глазами большую легковую машину с багажником, затем машину с откидным верхом; за ней появился пикап, на боку которого красовалась надпись: ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА И КРАШЕНИЕ ЕВКЛИДА. Имя великого математика вызвало у Мэллори представление о прямоугольных треугольниках, основах геометрического анализа и принципах пропорциональности соизмеримых и несоизмеримых фигур. Логика — вот чего ему недоставало! Необходимо найти новый способ логического рассуждения. В этом ему поможет Евклид. Переведя мучившие его проблемы на язык геометрии, он, быть может, и не решит их сразу, но хотя бы подойдет к

их решению. И, взяв логарифмическую линейку, Мэллори принялся доказывать простую теорему, гласящую, что если две стороны треугольника равны, то равны и противолежащие им углы; потом доказал обратную теорему, по которой стороны, лежащие против равных углов, равны между собой. Он провел по линейке прямую. Пусть этот отрезок будет Матильда. Основание треугольника дети: Присцилла и Рэнди. Третья сторона, разумеется, он сам. В отрезке, которым он обозначил жену, самым критическим обстоятельством, обстоятельством, грозившим нарушить равенство углов, было то, что она с некоторых пор завела себе призрачного любовника.

Это было довольно распространенное явление среди домохозяек, проживавших в поселке Рэмсен-парк. Раза два в неделю Матильда надевала свое любимое платье, душилась французскими духами и, накинув меховую шубку, отправлялась одиннадцатичасовым поездом в город. Иногда она встречалась там с подругой и завтракала с ней, чаще же сидела одна в каком-нибудь из французских ресторанчиков, каких много в районе шестидесятых улиц. Там, в этом любимом пристанище одиноких женщин, она заказывала себе коктейль или полбутылки вина. Ей хотелось казаться распутной, таинственной, разочарованной женщиной, этакой жертвой горькой загадки любви. Впрочем, стоило какому-нибудь мужчине задержать на ней взгляд, как ее охватывала паническая застенчивость и она вспоминала свой прелестный домик в Рэмсен-парке, розовощеких детей и клумбу с бегониями. Из ресторана она обычно шла на какой-нибудь дневной спектакль или в кино на иностранную картину. Она предпочитала серьезные картины, «с переживаниями». После этих вылазок она возвращалась домой вечерним поездом и с видом смиренным и печальным принималась готовить ужин для семьи. Мэллори не раз доводилось видеть при этом, как она роняет в кастрюльку слезы. В ответ на его расспросы она только тяжко вздыхала. Мэллори поддался было ревнивым подозрениям. Но однажды, проходя по Мэдисон-авеню во время обеденного перерыва, он увидел, как его Матильда сидит одна, в своих парадных мехах, за стойкой бара и жует бутерброд; он понял, что зрачки у нее расширены не от любви, а от полумрака, царившего в зале кинотеатра, и успокоился. Словом, то была игра — безобидная и довольно распространенная; а при известной широте взглядов в ней можно было усмотреть даже некоторую пользу.

Итак, отрезок, включающий в себя вышеназванные элементы, образует угол с линией, которой Мэллори обозначил своих детей; но для определения этой линии он не обладал никакими данными; он знал только одно— что он их любит. А любил он их безмерно, и ничто — ни горечь, ни унижения — никогда не заставит его с ними расстаться. На детях покоился весь уют его души, без них она была бы пуста и убога, как недостроенный дом без мебели, без стропил и перекрытий.

Труднее всего — и Мэллори это прекрасно понимал — было точно рассчитать отрезок, обозначавший его самого. Человек с открытой душой, здоровой психикой и довольно основательными познаниями (много ли вы найдете людей, которые бы так хорошо помнили Евклида?) — вот каким представлялся он себе самому. Каждое утро он просыпался с ощущением собственной душевной чистоты и с жаждой приносить пользу человечеству. Но достаточно было ему обменяться с Матильдой словом, чтобы вся эта его душевная ясность и жажда рассеялись. Почему такая жестокая расправа ожидала его за каждый совершенный им шаг, за невиннейшие, обычнейшие, вызванные простой житейской необходимостью поступки? Почему, если ему случилось забрести в отдел игрушек универсального магазина, почему его за это наградили кличкой «шпион и сыщик»? Не поможет ли треугольник во всем этом разобраться? До некоторой степени он ему уже помог. Стороны треугольника, определенные

точно выверенными данными, так же, как и противолежащие им углы, оказались равны между собой. Мэллори вдруг почувствовал себя счастливым, великодушным, исполненным надежд. Всю его растерянность словно рукой сняло. И, как это случается с каждым из нас раз или два в году, он поверил, что начинает новую жизнь.

В поезде, возвращаясь домой, он подумал, что, вероятно, можно было бы подобрать геометрическое тождество для скуки дачного вагона, идиотизма вечерних газет и сутолоки возле автомобильной стоянки. Матильда накрывала на стол в маленькой столовой, когда он приехал, и не замедлила открыть огонь.

— Пинкертон. Крыса,— выпалила она.— Шпик.

Но хотя Мэллори отчетливо слышал каждое слово жены, это ничуть его не обескуражило, не рассердило и не расстроило. Ее снаряды падали, не долетев до позиций противника. Мэллори чувствовал себя спокойным и счастливым. Даже сама резкость Матильды его чем-то умиляла: женщина — это своевольное дитя в огромной семье Человека, говорил он себе. «Папа, чему ты так радуешься? — теребили его дети.— Отчего у тебя такое счастливое лицо?» А со временем это стали повторять все знакомые. «Как переменился Мэллори! — восклицали они.— Как хорошо он выглядит! Счастливец Мэллори!»

Вечером следующего дня Мэллори разыскал на чердаке учебник геометрии и принялся освежать свои познания. Евклид внес в его душу умиротворение и доброжелательность. Он вдруг понял, что все его мысли и чувства последнее время были хаотичны и исполнены отчаяния. Он допускал, что его открытие, может быть, построено на песке, но вместе с тем его практическая польза была несомненна. Мэллори чувствовал себя в тысячу раз лучше прежнего. Ему удалось определить угол между угнетавшей его реальностью и собственным восприятием ее. Если бы он был человеком религиозным или имел склонность к философии, быть может, ему и не понадобилась бы геометрия. Но богослужения в приходской церкви нагоняли на него тоску, а к философии он не испытывал ни малейшего влечения. И вот геометрия сделалась его самым надежным руководством к постижению метафизики страдания. С помощью геометрии Мэллори научился находить линейное выражение для всех Матильдиных капризов и претензий, а главное — относиться к ним без всякой досады и даже, напротив, — нежно и умиленно. Нет, он еще не победитель, он это знает, но во всяком случае он уже перестал быть затравленной жертвой. По мере того как Мэллори углублял свои теоретические и практические познания в геометрии, он обнаружил, что ни грубость метрдотелей, ни кислые рожи чиновников, ни сквернословие дорожных регулировщиков не в состоянии более смутить его душевный покой; а его прежние мучители, почуяв, в свою очередь, его могущество, становились все менее грубыми, кислыми и несдержанными на язык. Убежденность в собственной чистоте и внезапно открывшийся ему при пробуждении смысл существования он сохранял теперь на весь день. Он даже подумывал о том, чтобы посвятить своему открытию книгу, назвав ее: «Эмоции по Евклиду: геометрия чувства».

Однажды ему понадобилось съездить в Чикаго. Погода была нелетная, и он сел в поезд. Проснувшись на заре, умиротворенный и жаждущий полезной деятельности, он выглянул в окно. Перед его глазами промелькнула фабрика, изготовляющая гробы, за ней — автомобильное кладбище, ряд покосившихся лачуг, заросшие сорняком спортплощадки, стадо свиней, пожирающих желуди, и, наконец, вдалеке замаячил унылый массив Гери. Как всякое проявление человеческой тупости, невеселый этот пейзаж подействовал на Мэллори удручающим образом. До

сих пор он не пробовал применять свои теоремы к пейзажам, однако, сведя элементы, из которых состояла данная минута, к параллелограмму, он обнаружил, что можно избавиться от удручающего ландшафта и взамен создать другой — вполне приемлемый и даже не лишенный своеобразного обаяния. Сойдя с поезда, Мэллори с аппетитом позавтракал и отлично работал весь день. За это время ему ни разу не пришлось прибегнуть к геометрии. Один из коллег пригласил Мэллори к себе обедать. Отказаться было неудобно, и ровно в половине седьмого Мэллори подошел к двухэтажному кирпичному дому на окраине Чикаго. Не успел он нажать на кнопку звонка, как почувствовал, что без Евклида дело не обойдется.

Лицо у женщины, открывшей дверь, было заплакано, в руке она держала бокал с коктейлем.

— Он в подвале,— сказала она, всхлипывая, и, не потрудившись объяснить Мэллори, как в этот подвал пройти, оставила его в прихожей. Он, однако, последовал за ней в маленькую гостиную и увидел, как она, опустившись на колени, привязывает к ножке стула какой-то ярлык. Мэллори оглянулся и увидел точно такие же ярлыки на остальной мебели. Ярлыки были отпечатаны типографским способом, и на них значилось: «МЕБЕЛЬНЫЙ СКЛАД ЧИКАГО», а внизу от руки приписано: «Собственность Элен Фелз Мак-Гоуэн».

— Я ничего не оставлю этому сукину сыну,— сказала она, рыдая.— Ничего!

— А, Мэллори! — сказал Мак-Гоуэн, появляясь из кухни.— Не обращай на нее внимания. Такая уж у меня жена: ни с того ни с сего обозлится и — давай цеплять ярлыки на мебель. Сдам, говорит, все барахло на склад, а сама переведу с меблирашки и поступлю продавщицей в универсальный магазин.

— Много ты знаешь! — сказала она.

— Ну что там еще случилось? — спросил Мак-Гоуэн.

— А то, что позвонила Лоис Митчелл. Гарри напился и засунул котенка в смеситель.

— И что же — она едет к нам?

— Конечно.

Послышался звонок, и в гостиную ввалилась растрепанная женщина с мокрыми от слез щеками.

— Кошмар,— объявила она.— А главное — при детях. Это был их котенок, их любимый котенок. Если бы еще дети не видели, куда ни шло. А то ведь они были тут.

— Пойдем отсюда,— сказал Мак-Гоуэн.

Мэллори проследовал за ним через кухню, в которой не было заметно никаких признаков приготовлений к обеду, и очутился в подвале, где стоял стол для пинг-понга, телевизор и бар. Мак-Гоуэн налил ему виски с содовой.

— Понимаешь, Элен была когда-то богата,— сказал он.— Она из очень богатой семьи, и вся беда в этом. Ее отец основал сеть прачечных самообслуживания, которая опоясывала всю страну — отсюда до Колорадо. Он ввел эстрадные номера для развлечения клиентов, нанял живых артистов. Народные песни, джаз и все такое. Но тут на него обрушился профсоюз музыкантов, и он в один день потерял все свое состояние! И потом — она знает, что я ей изменяю. Но пойми, Мэллори, если бы я не изменял ей, я изменял бы себе. Ну, вот, я, например, спал с этой Митчелл. Которая с котенком. Вот это, я тебе скажу, женщина! Могу устроить — хочешь? Она мне ни в чем не откажет. Я обычно дарю ей какой-нибудь пустячок — десять долларов. или там бутылочку виски. А на рождество я ей даже браслет подарил. У ее мужа, понимаешь, этот самый комплекс самоубийства. Принимает снотворное лошадиными до-

зами — и всякий раз у него это дело выкачивают. Вот он как-то задумал повеситься и...

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Мэллори.

— Не говори глупостей,— сказал Мак-Гоуэн.— Дай-ка я тебе добавлю виски.

— Нет, мне в самом деле пора,—сказал Мэллори.— У меня очень много работы.

— Но ведь ты ничего не ел,— сказал Мак-Гоуэн.— Погоди минутку, я тебе разогрею бобы...

— Нет, нет, некогда,— сказал Мэллори.— Дел много.

И, не простившись с хозяином, Мэллори поднялся наверх. Миссис Митчелл уже не было. Миссис Мак-Гоуэн продолжала возиться с ярлыками. Мэллори вышел на улицу, сел в такси и поехал к себе в гостиницу.

С помощью логарифмической линейки он определил, как соотносятся между собой объемы конуса и призмы, в которую этот конус вписан, после чего сделал попытку свести алкоголизм миссис Мак-Гоуэн и судьбу котенка к простейшим геометрическим фигурам. О Евклид, приди на помощь! Чего добивался Мэллори, о чем он мечтал? Он хотел, чтобы жизнь была лучезарной, прекрасной, симметричной, чтобы в ней были порядок и стройность. Он хотел выразить висящего в петле мистера Митчелла через рациональное число. Или этот ужас, который Мэллори испытывает перед духовным убожеством и беспорядком,— признак чрезмерной утонченности, недостойной настоящего мужчины? Но разве он не вправе искать определения добра и зла, не вправе верить в красоту души человеческой, в несокрушимое могущество раскаяния? В уравнении, которое составил Мэллори, было много неизвестных, но он позволял себе оперировать лишь теми данными, которые имели отношение к вечеру в доме мистера Мак-Гоуэна. Просидев до полуночи, он лег и крепко уснул.

Поездка в Чикаго, которую из-за Мак-Гоуэнов Мэллори вспоминал как тягостный кошмар, в деловой своей части, однако, оказалась на редкость удачной. И, как всегда, когда у них заводились лишние деньги, мистер и миссис Мэллори решили куда-нибудь съездить проветриться. Они полетели в Италию и остановились в небольшой гостинице под Сперлонгой, знакомой им еще по прежним поездкам. Мэллори был в отличном расположении духа и за те десять дней, что они провели на побережье, ни разу не вспомнил Евклида. На обратном пути они заехали в Рим и в последний день своего пребывания там пошли завтракать на Пьяцца дель Пополо. Они весело щелкали раков, запивая их вином и смеясь, как вдруг у Матильды сделалось страдальческое лицо, она всхлипнула, и Мэллори понял, что ему придется снова обратиться к Евклиду.

Матильда вообще была подвержена неожиданным сменам настроений и легко впадала в хандру. На этот раз Мэллори показалось, что ему удастся с помощью тщательного анализа и геометрии разложить ее хандру на составные части. Ресторан представлял собой великолепное поле для исследования. В нем царил образцовый порядок, в воздухе струился приятный аромат; сидевшие за соседними столиками итальянцы держались корректно, и как-то не верилось, чтобы эти чужие люди, которых Матильда видела впервые, могли так омрачить ее настроение. Раков она ела с явным аппетитом. Салфетки и скатерти сверкали белизной, серебро было начищено, официант учтив. Мэллори придирчиво огляделся: нигде — ни в самом ресторане, ни в площади за окном не мог он найти источника глубокой скорби, исказившей ее лицо.

— Может, хочешь мороженого? — спросил он.— Или фруктов?

— Я сама могу заказать, что мне надо,— отрезала Матильда, подо-

звала официанта и, многозначительно посмотрев на Мэллори, заказала себе порцию мороженого и кофе. Мэллори рассчитался с официантом и спросил Матильду, не взять ли им такси.

— Что за вздор! — сказала она и поморщилась, словно он предложил ей промотать все их сбережения или определить детей в цирк.

Они зашагали домой гуськом. Солнце пекло вовсю, и казалось, улицы Рима всегда были и вечно будут такими раскаленными, как в тот день. Быть может, на Матильду подействовала жара?

— Милая, тебе не жарко? — спросил он.

Матильда повернула к нему голову.

— Ты мне глубоко противен,— отчеканила она.

Мэллори оставил ее в вестибюле гостиницы, а сам отправился в кафе.

Вынув из кармана логарифмическую линейку, он набросал на обороте меню условия задачи и стал биться над ее решением. Потом вернулся в номер. Матильды не было. Впрочем, к семи часам она возвратилась и тут же, не успев переступить порога, расплакалась. Сегодняшние занятия Мэллори в кафе навели его на небольшое открытие: оказалось, что душу Матильды омывает некое подводное течение. Капризное и таинственное, проходящее на недосягаемой глубине, оно день за днем подтачивает ее счастье, а следовательно, и счастье ее детей и мужа. Время от времени без всякой системы и без какой бы то ни было видимой причины течение это бурным фонтаном выбивается на поверхность.

— Ну, что такое случилось, милая, скажи! — попросил он.

— В этом городе никто не говорит по-английски,— сказала она.— Ни одна душа. Я заблудилась, стала спрашивать, как пройти в гостиницу — одного, другого — человек пятнадцать спросила, не меньше,— и хоть бы один ответил!

Хлопнув дверью, Матильда прошла в ванную, а Мэллори, невозмутимый и умиротворенный, сел к окну. По небу плыло облако, которое ни с чем, кроме облака, сравнить было нельзя, и на всем лежал медноватый отблеск, пронизывающий воздух Рима перед самым наступлением сумерек .

Вскоре после возвращения из Италии Мэллори вновь пришлось отправиться в Чикаго. Он обернулся в один день и, успешно избежав встречи с Мак-Гоуэном, поехал домой четырехчасовым поездом. Ровно в четыре тридцать он поднялся со своего места и пошел в вагон-ресторан промочить горло. Выглянув в окно, он увидел надвигающийся грозный массив Гери и вновь прибегнул к теореме, с помощью которой ему уже однажды удалось определить угол своего отношения к ландшафту штата Индиана. Заказав виски с содовой, он опять выглянул в окно; по его расчетам поезд должен был поравняться с Гери, однако за окном была совершеннейшая пустота. Вследствие ошибки в вычислениях, вместо того чтобы лишить Гери власти над собой, Мэллори начисто потерял этот город. Погода стояла ясная, до сумерек было еще далеко, и он не знал, чем объяснить внезапно возникшую за окном пустоту. Штат Индиана просто исчез, и все. Мэллори повернулся к женщине, сидевшей за соседним столиком, и спросил:

— Это ведь Гери, не правда ли?

— Ну, конечно,— ответила она.— Сами не видите, что ли?

Быстро построив в уме равнобедренный треугольник, Мэллори нейтрализовал резкость ее ответа. Но от других городов, которые они должны были проезжать, тоже не осталось и следа. Напуганный, вдруг почувствовав себя бесконечно одиноким, Мэллори вернулся в купе и закрыл лицо ладонями. Когда же он оторвал руки от лица, то увидел в окне

огоньки переездов, а затем освещенные окна и улички маленьких провинциальных городов — впрочем, к ним он никогда и не стремился применять свою геометрию.

Заболел Мэллори примерно через неделю после поездки. Секретарша (она уже вернулась с Капри) обнаружила его лежащим без чувств на полу кабинета и вызвала скорую помощь. Его состояние было тяжелым. Посетителей стали допускать только через десять дней после операции. Первой, естественно, его навестила Матильда. Ему удалили все зубы и десять дюймов кишечника. К рукам были подведены резиновые трубки.

— Да ты великолепно выглядишь! — воскликнула Матильда, быстро заменив равнодушной и пустой улыбкой мелькнувшее было на ее лице выражение ужаса и растерянности.— И какая уютная комната! Желтенькие стены. Нет, конечно, если уж непременно нужно болеть, то лучше всего — в Нью-Йорке. Помнишь ту жуткую загородную больницу, где я рожала?

Матильда присела на подоконник, хотя возле постели больного стоял стул. Нет, подумал Мэллори, самая горячая любовь не в состоянии разбить стену, возведенную страданием и болью, перекинуть мост через пропасть, отделяющую здоровых от больных.

— Дома все преотлично,— продолжала Матильда.— Дети по тебе ничуть не скучают.

До этого времени Мэллори ни разу не приходилось болеть всерьез, и только теперь он получил возможность оценить по достоинству полную непригодность Матильды к роли сестры милосердия. Она словно негодовала на то, что он посмел заболеть. Впрочем, ее негодование — так во всяком случае казалось Мэллори — было своеобразным, пусть и несколько неуклюжим, проявлением любви. Она никогда не считала нужным скрывать свои чувства, и сейчас тоже не могла скрыть, что рассматривает его болезнь как лишнее доказательство безграничности мужского эгоизма.

— Как тебе повезло,— сказала она,— то есть в том смысле, что ты заболел в Нью-Йорке, а не где-нибудь еще. Ты находишься под наблюдением лучших врачей, за тобой ухаживают лучшие сиделки, да и больница эта, по всей видимости,— лучшая в мире. Лежишь — и никаких забот. Все делается за тебя. Хоть бы мне когда поболеть недельку-другую, и чтобы за мною ухаживали!

Как это было похоже на его Матильду! С какой беспощадностью обнажает она свою душевную угловатость и тот естественный, присущий каждому эгоизм, который и самой горячей любви на свете не под силу ни смягчить, ни усовестить! Он узнавал свою Матильду и даже испытывал благодарность к ней за ее прямоту, за отсутствие сентиментальной фальши. В палату вошла сиделка с подносом в руках, засунула ему салфетку за ворот пижамы и приготовилась кормить его с ложечки.

— Дайте я! — воскликнула Матильда.— Дайте мне за ним поухаживать! Хоть что-нибудь сделать!

Она выхватила миску и ложку из рук сиделки. Впервые, хоть косвенно, Матильда показала, что, несмотря на «желтенькие стены», она осознает трагичность происходящего и сама в какой-то мере ощущает себя участницей трагедии. «Ах, как вкусно пахнет! — приговаривала она.— От такого бульона я бы и сама не отказалась! Все почему-то бранят больничный стол, но ты, видно, попал в какую-то исключительную больницу». Матильда поднесла ложку ко рту больного и вдруг, непонятно каким образом, вылила всю миску ему на грудь и на постель.

Она позвонила сиделке и стала энергично оттирать пятно у себя на юбке. Сиделка принялась за сложный, кропотливый процесс перемены постельного белья. Матильда между тем посмотрела на часы и воскликнула, что ей пора.

— Я загляну к тебе завтра,— сказала она.— И скажу детям, какой ты молодец.

Да, это была его Матильда, и он это понимал. Но Мэллори понимал также и то, что еще одно подобное посещение может оказаться для него роковым. Уже и этот визит несомненно замедлит его выздоровление. Увы, Матильда может даже ускорить его смерть! Когда сиделка, поправив ему постель и покормив его новой порцией бульона, собралась уходить, Мэллори попросил достать из кармана его пиджака блокнот и логарифмическую линейку. Любовь к жене и страх смерти составляли простое геометрическое тождество.

Результаты не замедлили сказаться. Наутро, когда пришла Матильда, он отчетливо слышал каждое ее слово, видел каждый ее жест, но она уже была не в состоянии вывести его из равновесия: он определил ее угол. На этот раз она была одета, как одевалась в дни своих мнимых свиданий, и без конца щебетала о том, как ему повезло и как преотлично он выглядит. Впрочем, она не преминула заметить, что ему следовало бы побриться. Когда она ушла, Мэллори попросил сиделку вызвать парикмахера. Но сиделка объявила, что парикмахер бывает в больнице только по средам и пятницам; она бы позвала кого-нибудь из санитаров, но у них сегодня как раз забастовка. Она принесла ему зеркальце, бритву и мыло, и Мэллори впервые после того, как свалился замертво у себя в кабинете, увидел свое отражение. Изможденное, беззубое лицо, глядевшее на него из зеркала, вынудило его немедленно обратиться к Евклиду. Он принялся составлять уравнение из неутолимости своих аппетитов, безграничности надежд и немощи своей бедной плоти. Шаг за шагом тщательно проверял он свои выводы. Ведь малейший просчет — он это прекрасно знал, он помнил, что произошло с Гери, когда он допустил небольшую ошибку в вычислениях,— малейший просчет может внезапно оборвать цепь событий, начавшихся в тот день, когда он увидел из окна своего рабочего кабинета пикап, рекламировавший химическую чистку Евклида! Матильда из больницы отправилась в свой ресторанчик на одной из шестидесятых улиц, оттуда — в кино, и только к вечеру, когда она вернулась домой, она узнала от женщины, которая приходила к ним убирать через день, что звонили из больницы и сообщили о кончине мистера Мэллори.

М. КАГАН

МАРКСИЗМ И ЭСТЕТИКА

(К выходу в свет нового издания сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве»)

Некоторые предварительные соображения

Вышло в свет новое издание сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». В целом оно повторяет предыдущее двухтомное издание, вышедшее десять лет назад, но состав его сейчас пополнен, некоторые отрывки даны в уточненных переводах, вступительная статья Мих. Лифшица несколько расширена, комментарий, написанный А. Выгодским и Г. Фридлендером, обогащен. Все это способствует свежести восприятия хорошо знакомых текстов и вызывает размышления о многих существенных проблемах истории марксистской эстетической мысли, о судьбах эстетических идей К. Маркса и Ф. Энгельса, о современном состоянии и перспективах развития марксистской науки об искусстве. Отмечаемая нами сейчас знаменательная дата — 150-летие со дня рождения К. Маркса — делает размышления над этим кругом вопросов особенно необходимыми и особенно ответственными.

Совершенно очевидно, что новое издание хрестоматии, о которой идет у нас речь, поможет популяризации эстетики марксизма — ведь в наше время интерес к ней становится все более и более широким, а прежние издания сборника можно найти сейчас разве что в букинистических лавках. Хотелось бы, однако, чтобы книга эта привлекла внимание не только учащихся, но и ученых.

История марксистско-ленинской эстетики, к сожалению, еще не написана. Процесс ее формирования и развития давно уже стал предметом специального научного исследования, и много ценного сделано в этом направлении учеными нашей страны, Германской Демократической Республики, Венгрии, Болгарии, Польши. Приходится все же признать, что нет еще книги, в которой был бы прослежен весь путь, пройденный эстетикой марксизма почти за полтора века — от первых обращений К. Маркса к эстетическим проблемам в его экономическо-философских рукописях 1844 года до нынешнего состояния марксистской эстетической мысли, ставшей одной из самых влиятельных в современной мировой культуре теоретических концепций. Важные участки этого долгого и трудного пути совсем еще не освещены историками — например, развитие марксистской эстетики в 20—60-е годы XX века; некоторые его фазы обследованы недостаточно глубоко — например, разработка отдельных проблем эстетической теории марксизма на рубеже XIX и XX столетий Г. Плехановым, А. Луначарским, Ф. Рингом.

Перечитывая сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» и воспринимая его богатое теоретическое содержание в свете проблем, которыми живут сейчас эстетическая наука и художественная практика, понимаешь особенно остро, какие серьезные задачи предстоит еще решить историкам марксистской эстетики. Задачи эти тем более серьезны и неотложны, что в последнее время многие буржуазные историки, признав, наконец, существование марксистской эстетической теории, все чаще включают ее в поле зрения при изучении истории мировой эстетической мысли, но даже наиболее объективные среди них очень плохо пред-

ставляют себе действительное содержание и реальный ход развития эстетики марксизма-ленинизма, а потому и излагают их крайне примитивно, а подчас грубо неверно (что уж говорить о случаях прямой фальсификации!). Противопоставить подобным толкованиям подлинно научный анализ истории нашей науки могут, конечно, только ученые-марксисты.

К истории одного открытия

Как это ни странно, но при жизни К. Маркса и Ф. Энгельса, да и спустя много лет после их смерти, не было осознано, какое богатое наследие они оставили в области эстетики. Даже самые близкие им люди — такие как Поль Лафарг или Франц Меринг — не подозревали, что в трудах основоположников марксизма содержатся и основоположения новой эстетической теории, базировавшейся на их философском и социально-политическом учениях. Это относится и к Г. Плеханову, и к А. Луначарскому, и к советским ученым, разрабатывавшим в 20-е годы проблемы эстетики, социологии искусства, методологии литературоведения. Чем объяснить подобное — столь очевидное с нашей нынешней точки зрения — заблуждение?

В отличие от Канта или Чернышевского К. Маркс и Ф. Энгельс не написали специального сочинения, в котором изложили бы систему своих эстетических воззрений; в отличие от Шеллинга или Гегеля они не читали университетских курсов по эстетике; в отличие от Дидро и Лессинга, Белинского и Добролюбова они не вели профессиональной художественно-критической деятельности. В кругу их научно-теоретических интересов вопросы искусства занимали относительно скромное место. Они отдавали все силы великому революционному делу и его научно-теоретическому обоснованию, эстетическая проблематика оказывалась так или иначе связанной с интересами революции, с классовой борьбой пролетариата, с необходимостью разработки его научного мировоззрения.

Их эстетическое наследие имеет фрагментарный характер. Наряду с немногими статьями и отдельными письмами, непосредственно посвященными критическому анализу некоторых художественных явлений, основной фонд эстетических рассуждений К. Маркса и Ф. Энгельса составляют отрывки из сочинений, темы которых весьма далеки от вопросов эстетики,— таких как «Капитал» и «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «К критике политической экономики» и «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Вполне естественно, что охватить единым взглядом все эти рассеянные по многочисленным трудам и письмам высказывания можно было лишь при условии, что сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса собраны воедино и изучаются как единое целое. Между тем ни в начале XX века, ни даже в первой половине 20-х годов полного собрания их сочинений не было — первое такое собрание начало издаваться в СССР лишь с 1928 года.

Мало того. Всякий, кто знаком с эстетическим наследием К. Маркса и Ф. Энгельса, знает, какое важнейшее место занимают здесь соответствующие отрывки из экономическо-философских рукописей К. Маркса 1844 года и 1857—1858 годов, из «Немецкой идеологии», а также письма Ф. Лассалю, М. Каутской и М. Гаркнесс, в которых рассматривались проблемы реализма и тенденциозности искусства, проблемы типизации, идеализации и индивидуализации, проблема связи мировоззрения писателя и его творчества, проблема отношения социалистического искусства к традициям античной классики, Шекспира, Шиллера... Однако все эти черновые рукописи и частные письма, без которых сейчас нельзя даже представить себе эстетическую концепцию К. Маркса и Ф. Энгельса, были впервые опубликованы лишь во второй половине 20-х — начале 30-х годов! Чтобы получить представление о том, какая небольшая часть эстетического наследия классиков марксизма была в это время известна нашим ученым, достаточно просмотреть изданные в 1925 году сборники «Искусство и литература в марксистском освещении» (составители Б. Столпнер и П. Юшкевич), «Марксистская хрестоматия по литературе» (составители В. Голубков, Н. Горностаев, Б. Лукьяновский, В. Сахаров), «Введение в изучение искусства и литературы» (составитель В. Десницкий). И хотя в том же 1925 году В. Быстрянский поставил на страницах журнала «Жизнь искусства» вопрос о необходимости собрать и внимательно изучить разбросанные по различным сочинениям К. Маркса и Ф. Энгельса эстетические фрагменты, реализовать этот замысел было в те годы еще невозможно. В эти годы высказывалось мнение, что основоположения марксистской эстетики были разработаны не К. Марксом и Ф. Энгельсом, а Г. Плехановым, в наследии которого эта проблематика действительно занимала большое место. «...Основа марксистского искусствоведения,— говорил, например, А. Луначарский,— дана именно Плехановым», а у К. Маркса и Ф. Энгельса «есть лишь небольшое количество разбросанных замечаний» по вопросам искусства, а не целостная система эстетических взглядов (цитирую по вступительной статье к сборнику «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 1, стр. XIII, примечание).

Мих. Лифшиц прав, отмечая «пренебрежительное отношение к литературному наследству Маркса и Энгельса со стороны его официальных хранителей», выразившееся, в частности, в том, что значительная часть их рукописного и эпистолярного наследия не публиковалась. Но упрек в том, что мысли К. Маркса и Ф. Энгельса об искусстве «остались незамеченными», трудно отнести к Г. Плеханову и Ф. Мерингу, к советским ученым 20-х годов; между тем Мих. Лифшиц считает, что они «прошли мимо» эстетического наследия классиков марксизма и не сумели его должным образом оценить

(т. 1, стр. XII—XIII). Исключение Мих. Лифшиц делает лишь для А. Луначарского, которого, как он выражается, «нельзя ставить на одну доску с другими авторитетами двадцатых годов», так как у этих последних «категорическое отрицание возможности марксистской эстетики, основанной на собственных взглядах Маркса и Энгельса, было связано с известным (? — *М. К.*) пониманием марксизма», у А. Луначарского же все объяснялось «простым недостатком информации»; поэтому, стоило Мих. Лифшицу в начале 30-х годов познакомить А. Луначарского с собранными им воедино многообразными эстетическими суждениями К. Маркса и Ф. Энгельса, и А. Луначарский «легко отказался от своих сомнений» (там же, стр. XIII, примечание).

Не знаю, следовало ли автору столь ответственного сочинения, как вступительная статья к сборнику «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», вводить в эту статью подобную автобиографическую справку, но твердо убежден, что объективный анализ приведенных выше фактов безусловно позволяет сказать, что недооценка эстетического наследия Маркса и Энгельса объяснялась в большинстве случаев тем же самым, что у А. Луначарского: «простым недостатком информации». Крайне огорчительно, что в наши дни некоторые зарубежные эстетики-марксисты умудряются не находить в наследии К. Маркса и Ф. Энгельса целостной и стройной, хотя и пунктирно намеченной, эстетической концепции, тем более что ее наличие признают сейчас даже противники марксизма, когда они хотят быть объективными (сошлюсь, к примеру, на капитальный труд патриарха американской эстетики Томаса Манро «Эволюция искусств и другие теории развития культуры»); однако в конце XIX века и в первой четверти нашего столетия это трудно было увидеть во всем объеме даже самым ревностным приверженцам марксистского учения.

С 1924 г. журнал «Архив Маркса и Энгельса» начал публиковать экономическо-философские рукописи Маркса и «Немецкую идеологию»; в 1925 году в приложении ко второму тому упоминавшейся выше хрестоматии «Искусство и литература в марксистском освещении» были опубликованы письма К. Маркса и Ф. Энгельса Ф. Лассалю, содержавшие анализ его трагедии «Франц фон Зиккинген»; в 1932 году в «Литературном наследстве» впервые увидели свет письма Ф. Энгельса М. Каутской и М. Гаркнесс. Вот *тогда-то* и оказалось возможным собрать воедино и оценить по достоинству эстетическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса. И действительно, в 1933 году двумя изданиями вышла в свет первая специальная антология «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», составленная Ф. Шиллером и Мих. Лифшицем под общей редакцией и с вступительной статьей А. Луначарского.

Опубликование этого сборника имело этапное значение в истории изучения, пропаганды и развития марксистской эстетической мысли. Отныне стало очевидным, что суждения К. Маркса и Ф. Энгельса на эстетические темы — это не совокупность более или менее случайных высказываний, а развернутая *система идей,* подлинное *основоположение* новой эстетической теории. Тем самым марксистская наука об искусстве получила такую георетическую и методологическую базу, какой она прежде не имела.

Вместе с тем — и это хотелось бы специально отметить,— данный сборник сыграл огромную роль в деле распространения марксистской эстетики за рубежами Советской страны. На его основе Ж. Фревиль построил аналогичную антологию, которая вышла во Франции в 1936 году и оказала глубокое воздействие на создание французской прогрессивной интеллигенции — это отмечал М. Торез в предисловии ко второму, расширенному изданию хрестоматии, выпущенному Ж. Фревилем в 1954 году. Антология эта была извесгна и в Италии, о чем свидетельствует Б. Джерратана, автор предисловия к итальянскому варианту сборника, увидевшему свет только в 1954 году, так как в годы фашизма в Италии было, разумеется, невозможно издавать произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Поскольку такой возможности не было тогда и в Германии, на немецком языке сборник был опубликован в 1937 году в Москве издательством «Товарищества иностранных рабочих в СССР».

В том же 1937 году под редакцией Мих. Лифшица вышло второе русское издание сборника, значительно обогащенное по сравнению с первым, с измененной общей композицией и подробными комментариями. Повторенное в следующем, 1938 году это издание дало начало целому ряду новых зарубежных его вариаций — немецкого, многократно воспроизводившегося в Берлине в конце 40-х и начале 50-х годов, американского (1947 год), австрийского (1948 год), итальянского (1954 год), которое было переводом с австрийского, индийского (на английском языке, 1952 год), дублировавшего американский вариант; оно было учтено и при составлении второго расширенного французского издания 1954 года, и тех сборников, которые были изданы в социалистических странах Восточной Европы; оно же, наконец, послужило основой третьего и четвертого русских изданий 1957 и 1967 годов.

Так эстетическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса становилось достоянием всего человечества. На протяжении последних десятилетий оно привлекает к себе все больший интерес не только в социалистических, но и в капиталистических странах, оказывая влияние на современную эстетическую мысль и на художественную практику.

Что же представляет собой система эстетических идей К. Маркса и Ф. Энгельса?

Попытаюсь в самой краткой форме наметить общие контуры их эстетической концепции, которая пронизывает и связывает воедино собранные в сборниках статьи, письма и фрагменты. При этом кажется предпочтительным не излагать своими словами суждения классиков марксизма, а предоставить слово им самим.

Система эстетических идей

Крепкая внутренняя связь всех эстетических суждений К. Маркса и Ф. Энгельса порождена единством их методологических позиций — диалектико-материалистическим и историко-материалистическим подходом к изучению общества, человека, его эстетического сознания и его художественной деятельности. Новаторство такого подхода заключалось в том, что в отличие от всех своих предшественников и современников К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали мир эстетических и художественных явлений не в системе отношений абстрактного «объекта» и столь же абстрактного «субъекта», не в системах «человек — бог», «человек — абсолютный дух» или «человек — природа», а в системе *«природа — общество»* и *«общество — личность»*.

Подходя с этих позиций к решению центральной проблемы эстетической науки — проблемы прекрасного, К. Маркс вскрыл историко-генетическую связь деятельности человека «по законам красоты» с общественно-трудовой практикой. Как всегда, предельно лаконично, но поразительно емко по содержанию, он показал в экономическо-философских рукописях 1844 года, что «практическое созидание предметного мира, переработка неорганической природы есть самоутверждение человека как сознательного родового существа», что в этом созидательном процессе человек обретает недоступную животным способность постигать «меру» всех вещей, прилагать эту меру к каждому предмету и что в силу этого человек «формирует материю также и по законам красоты» * (см. сборник «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т I, стр. 141—142. Далее все цитаты по этому изданию).

Развивая эту мысль позднее в экономических рукописях 1857—1858 годов, К. Маркс блестяще выявлял эстетический аспект диалектической взаимосвязи конкретно понимаемых объекта и субъекта: «Производство доставляет не только потребности материал, но и материалу потребность. Когда потребление выходит из своей первоначальной природной грубости и непосредственности... то оно само, как побуждение, опосредствуется предметом. Потребность, которую оно в нем ощущает, создана восприятием последнего. Предмет искусства... создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета» (стр. 129).

Именно в общественном производстве возникает, таким образом, эстетический контакт природы и человека, поскольку, с одной стороны, каждый объект становится в нем «общественным, человеческим объектом» (мы сказали бы сегодня, что природный объект выступает здесь в качестве эстетической ценности), а с другой — сам человек наделяется эстетической восприимчивостью, ибо его чувства становятся «человеческими чувствами»; *«чувства* общественного человека суть *иные* чувства, чем чувства необщественного человека», потому что и пять внешних чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус), и духовные чувства (воля, любовь и т. п.) «возникают лишь благодаря наличию *соответствующего* предмета, благодаря *очеловеченной* природе». *«Человеческий* глаз,—разъяснял К. Маркс,— воспринимает и наслаждается иначе, чем грубый нечеловеческий глаз, человеческое *ухо* — иначе, чем грубое, неразвитое ухо и т. д.», потому-то лишь человеческий глаз способен чувствовать «красоту формы», и только человеческое ухо может стать «музыкальным ухом» (стр. 126—127).

Точно так же и другие эстетические ценности — возвышенное, трагическое, комическое — не являются достоянием искусства или чистого эстетического созерцания, а характеризуют *реальную практическую жизнедеятельность* общественного человека. К. Маркс и Ф. Энгельс не раз обращали внимание на то, как оборачивается сам ход социальной истории: трагедией или комедией. *«Трагической,*— отмечал, например, К. Маркс,— была история старого порядка, пока он был существующей испокон веку властью мира, свобода же, напротив, была идеей, осенявшей отдельных лиц,— другими словами, пока старый порядок сам верил, и должен был верить, в свою правомерность». Но вот эта вера исчезает, и «современный немецкий режим» оказывается «скорее лишь *комедиантом* такого миропорядка, *действительные герои* которого уже умерли». Так комедия становится эстетическим выражением «последнего фазиса» закономерно развивающегося исторического процесса, когда он «уносит в могилу устаревшую форму жизни» (стр. 45). Много лет спустя К. Маркс повторял эту мысль, говоря, что «все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды: ...первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса» (стр. 46). В одном из писем К. Марксу Ф. Энгельс замечал: «История Франции вступила в стадию совершеннейшего комизма...» (стр. 50); в другом письме он говорил: «История, то есть мировая история, становится все более иронической» (стр. 53); в третьем его пись-

---

* В сборнике это рассуждение К. Маркса дано в неудачном переводе, в котором вместо философского понятия «мера», адекватного по смыслу немецкому термину «Maß», употреблено бытовое словечко «мерка» (в своей брошюре «Карл Маркс и вопросы искусства» Мих. Лифшиц оперировал точным переводом и очень хорошо его комментировал). Мне кажется, во всяком случае, в комментариях к сборнику следовало указать на эту грубую, с философской точки зрения, ошибку.

ме читаем: «Что значат крохи нашего остроумия по сравнению с потрясающим юмором, который прокладывает себе путь в историческом развитии!» (стр. 56—57). Вспомним, наконец, разбор драмы Ф. Лассаля «Франц фон Зиккинген», в котором и К. Маркс и Ф. Энгельс соотносили выстроенную писателем драматическую коллизию с объективным трагедийным смыслом изображенной им исторической ситуации.

Подходя с этих же методологических позиций к анализу происхождения, сущности, специфики и законов развития искусства, основоположники марксизма сумели и тут предложить недоступные всем их предшественникам — хотя и опиравшиеся, конечно, на опыт классической эстетики прошлого — решения проблем. Оказалось, что искусство — не дар богов и не дар природы, не порожденный абсолютным духом способ его самопознания и не плод абстрактно понимаемой способности человека к познанию реального мира, не продукт внутренней, психологической или физиологической потребности субъекта к «самовыражению» и не результат потребности в «подражании природе»; искусство рождается *в обществе,* на базе *общественного труда,* и служит консолидации общества, организации его сознания и регуляции его практической деятельности. Только благодаря труду, писал Ф. Энгельс, сформировалась рука человека и достигла в конце концов «той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини» (стр. 129); только на определенной ступени социального развития могла возникнуть древнейшая мифологическая форма сознания, которую К. Маркс определял как «бессознательно-художественным образом» переработанный народной фантазией материал природного и социального бытия (стр. 121), и только дальнейший процесс развития общества необходимо привел к ликвидации «всякого мифологического отношения к природе», положил в основу художественной деятельности «независимую от мифологии фантазию» и тем самым породил «художественное производство как таковое» (стр. 120—121).

Понять сущность и своеобразие художественного производства можно лишь в том случае, если оно будет рассматриваться не абстрактно, а в его реальной исторической динамике. «Чтобы исследовать связь между духовным и материальным производством,— читаем мы в «Теориях прибавочной стоимости»,— прежде всего необходимо рассматривать само это материальное производство не как всеобщую категорию, а в *определенной исторической* форме. Так, например, капиталистическому способу производства соответствует другой вид духовного производства, чем средневековому способу производства». И далее, еще более конкретно: «...из определенной формы материального производства вытекает, во-первых, определенная структура общества, во-вторых, определенное отношение людей к природе. Их государственный строй и их духовный уклад определяются как тем, так и другим. Следовательно, этим же определяется и характер их духовного производства» (стр. 174).

На ряде примеров К. Маркс и Ф. Энгельс показали действие этого общего закона. Они отмечали, что в первобытном обществе все духовное производство, в том числе и художественное творчество, было «непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное общение людей, в язык реальной жизни» (стр. 80); они объясняли, как экономическая структура средневекового ремесленного производства приводила к тому, что у ремесленника сохранялся «известный интерес к своей специальной работе и к умелому ее выполнению, интерес, который мог подниматься до степени примитивного художественного вкуса» (стр. 186), и как мануфактурное, а затем промышленное разделение труда оказалось убийственным для его эстетических потенций; они установили, что «капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например искусству и поэзии» (стр. 175), потому что художественное творчество подчиняется здесь законам товарного производства и труд художника начинает оцениваться не по его идейно-эстетическим достоинствам, а по тому, производителен ли он с точки зрения капиталиста, т. е. приносит ли он прибыль; они указали, наконец, на то, что коммунизм создаст такие условия материальной и духовной жизни, которые обеспечат искусству невозможные в классово-антагонистических обществах условия развития: ликвидировав отчуждение труда, превратив труд в самодеятельность свободного и всесторонне развитого человека, коммунизм должен сделать достоянием и потребностью каждого члена общества не только созерцательное наслаждение искусством, но и участие в созидании художественных ценностей — именно таков смысл известного утверждения К. Маркса и Ф. Энгельса: «В коммунистическом обществе не существует живописцев, существуют лишь люди, которые занимаются и живописью как одним из видов своей деятельности» (стр. 230—231).

Вместе с тем К. Маркс и Ф. Энгельс приходили к выводу, что уже в капиталистическом обществе искусство способно использовать таящуюся в нем великую энергию для активного участия в подготовке революции, в борьбе с враждебным человеку, красоте и ему самому торгашеским, отчужденным миром. Они были глубочайшим образом убеждены в том, что не во власти художника оставаться нейтральным в драматической схватке классов, решающей судьбы человечества, что не только идейный пафос искусства, его тенденциозность, но и его творческий метод—например, реализм—становятся оружием в борьбе, которая ведется в обществе, поскольку каждый творческий метод отвечает определенным идео-

логическим и психологическим установкам, интересам, потребностям каких-то социальных сил. Естественно, что К. Маркс и Ф. Энгельс стремились сделать все возможное, чтобы увлечь лучших поэтов Германии идеалами пролетарской революции, помочь им перейти с позиций мелкобуржуазной демократии на позиции рабочего класса. Именно такой смысл имело их общение с Гейне, Веертом, Фрейлигратом, их переписка с Ф. Лассалем, М. Каутской, М. Гаркнесс, их критика литературы «истинного социализма». Во имя этой цели они начали разрабатывать теоретические основы грядущего социалистического искусства, которое, «вероятно, только в будущем», как писал Ф. Энгельс, достигнет «полного слияния большой идейной глубины, осознанного исторического содержания... с шекспировской живостью и богатством действия» (стр. 23); которое объединит социалистическую тенденциозность с последовательным реализмом и, даже воспевая героев революции, пойдет не по пути создания «восторженно преображенных рафаэлевских портретов», где «пропадает вся правдивость изображения», а станет лепить эти образы «суровыми рембрандтовскими красками» (стр. 9), сохраняя и тут верность жизненной правде. Так вырастала из марксистской эстетической концепции *теория социалистического реализма.*

Убедительнейшим доказательством того, что мы имеем здесь дело не просто с выражением личных вкусов и субъективных пристрастий К. Маркса и Ф. Энгельса, а с продуманной и совместно ими выработанной эстетической концепцией, является полное единство приведенных выше суждений, хотя одно из них было сформулировано в 1850 году в рецензии, написанной К. Марксом и Ф. Энгельсом совместно, другие извлечены из писем Ф. Лассалю, написанных К. Марксом и Ф. Энгельсом независимо друг от друга почти десять лет спустя, а третьи — из писем Ф. Энгельса М. Каутской и М. Гаркнесс, написанных еще спустя тридцать лет! Особенно бросается тут в глаза отмеченное еще А. Луначарским в предисловии к первому изданию сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» поразительное сходство их писем Ф. Лассалю. К. Маркс жил в это время в Лондоне, а Ф. Энгельс — в Манчестере, и, судя по их переписке, никакого обмена мнений о «Франце фон Зиккингене» между ними не было. Однако разбор этого произведения, его оценка, выделение теоретических проблем и их решение (например, противопоставление шиллеровского и шекспировского методов), наконец, сама структура анализа оказались абсолютно одинаковыми!

И еще в одном отношении письма эти чрезвычайно интересны — они убедительнейшим образом опровергают распространяемое противниками марксистской эстетики представление, будто наш подход к искусству игнорирует его специфические художественные и эстетические качества, будто К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин сводили искусство к идеологии, а процесс его развития — к пассивному отражению экономического движения общества. Правда, именно такой вид принимала марксистская эстетика в сочинениях некоторых ее упростителей и вульгарных толкователей, однако классики марксизма-ленинизма представляли себе дело совсем иначе. Читая, например, письмо К. Маркса Ф. Лассалю, мы обнаруживаем, что анализ «Франца фон Зиккингена» начинается здесь с оценки композиции драмы, характера развития действия и такого «чисто формального», по выражению К. Маркса, момента, как качества самого стиха («раз уж ты писал стихами, то мог бы отделать свои ямбы несколько более художественно. Впрочем,— добавлял он,— хотя *профессиональные поэты* и будут шокированы этой небрежностью, я, в общем, считаю ее преимуществом, так как у наших поэтов-эпигонов не осталось ничего, кроме формального лоска» (стр. 18—19). Точно таким же оказывается построение письма Ф. Энгельса Ф. Лассалю: «Прежде всего коснусь формы. Меня очень приятно поразила искусная завязка интриги и драматизм, пронизывающий пьесу. В области стихосложения Вы, однако, позволили себе некоторые вольности, которые, впрочем, больше мешают при чтении, чем на сцене» (стр. 22). Призывая Ф. Лассаля придать пьесе большую сценичность и ликвидировать длинные монологи персонажей, Ф. Энгельс замечал даже: «*Идейное содержание,* конечно, должно при этом пострадать, но это неизбежно» (стр. 23). В самом ходе анализа «Франца фон Зиккингена» и К. Маркс и Ф. Энгельс с необыкновенной глубиной ставили ряд важных проблем, затрагивающих специфику художественного изображения жизни,— проблему построения характера героя, соотношение идеализации, типизации и индивидуализации, значение наследия Шекспира и Шиллера для современной драматургии и т. д. Вполне обоснованной оказалась поэтому резюмирующая фраза письма Ф. Энгельса: «Как видите, и с эстетической, и с исторической точки зрения я предъявляю к Вашему произведению чрезвычайно высокие, даже *наивысшие* требования...» (стр. 26).

В этом же ключе осуществлен Ф. Энгельсом и анализ повестей М. Каутской и М. Гаркнесс — напомню лишь такие общеизвестные места из этих писем, как признание того, что в искусстве тенденция художника должна выступать не обнаженно-декларативно, как в публицистических сочинениях, а «сама по себе вытекать из обстановки и действия», что ее «не следует особо подчеркивать», что «писатель не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов» (стр 5), или же суждение о реализме Бальзака, позволившем ему превзойти по глубине и точности изображения истории французского общества всех ученых «специалистов-историков, экономистов, статистиков этого периода, вместе взятых», и одновременно преодолеть собственные идейные заблуждения (стр. 7).

В этой связи заслуживает быть особо отмеченным тот такт, то уважение к лично-

сти художника и особенностям его замысла, которые определили и характер критических суждений, и самый стиль всех этих писем. Упрекая, например, М. Гаркнесс в том, что она несправедливо представила рабочий класс как пассивную массу, лишенную революционных потенций, Ф. Энгельс завершил свое письмо такой характерной фразой: «В ваше оправдание я должен признать, что нигде в цивилизованном мире рабочий класс не проявляет менее активного сопротивления... чем в лондонском Ист-Энде. И почем я знаю, не было ли у Вас достаточных оснований для того, чтобы довольствоваться на этот раз изображением пассивной стороны жизни рабочего класса, оставляя активную ее сторону для другого произведения?» (стр. 8).

Хотелось бы обратить внимание читателя и на весьма интересный последний раздел второго тома сборника, названный составителем «Литература в жизни Маркса и Энгельса». Собранный здесь материал воспоминаний показывает широту их художественной эрудиции, их нежную любовь к искусству и тонкое понимание своеобразия психологии художника, творческого процесса и самих художественных творений.

И в теоретических работах классиков марксизма мы находим ряд крайне важных суждений, характеризующих своеобразие эстетического сознания, художественного творчества и художественного развития. Ограничусь лишь двумя наиболее яркими примерами. Именно специфический характер эстетического чувства характеризовал К. Маркс, когда писал в экономическо-философских рукописях 1844 года, что *«чувство,* находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь *ограниченным* смыслом. Для изголодавшегося человека не существует человеческой формы пищи... Удрученный заботами, нуждающийся человек невосприимчив даже к самому прекрасному зрелищу; торговец минералами видит только меркантильную стоимость, а не красоту и не своеобразную природу минерала...» (стр. 127). Именно специфику искусства, как особого способа «освоения» человеком действительности, выявлял К. Маркс, противопоставляя художественную, религиозную, практически-духовную формы ее освоения тому способу, посредством которого осваивает мир «мыслящая голова», т. е. способу абстрактно-логического, концептуального, научно-теоретического познания (стр. 66). И именно на специфику развития искусства указывал К. Маркс в известном рассуждении о неравномерности научно-технического и художественного прогресса. «Относительно искусства известно,— писал он в экономических рукописях 1857—1858 гг.,— что определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием общества, а, следовательно, также и с развитием материальной основы последнего...» Здесь же К. Маркс подчеркивал и другую особенность искусства—способность созданных в далеком прошлом произведений «доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом» (стр. 120—121).

Однако, тонко понимая и постоянно учитывая специфику эстетических ценностей и художественного творчества, К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали ее не как качество, опровергающее социальную природу красоты и искусства, а лишь как *особый способ проявления их общественной природы.* Для построения основ новой эстетической теории существенно важно было поэтому в первую очередь выявить общественный характер искусства, его связь с другими формами общественного сознания и с общественным бытием. Исходя из сделанного ими великого открытия: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще», К. Маркс и Ф. Энгельс и рассматривали искусство как отрасль духовного производства, характеризовали весь ряд «юридических, политических, религиозных, художественных или философских» форм осознания общественного бытия (стр. 79) и подчеркивали, что «политическое, правовое, философское, религиозное, литературное, художественное и т. д. развитие основано на экономическом развитии», хотя каждая область духовной жизни обладает и относительной самостоятельностью, собственной активностью и способностью взаимодействия с другими (стр. 88).

Идеалистически и метафизически мыслящие теоретики считают такой подход к эстетическим явлениям не имеющим никакого отношения к эстетике, ибо эту последнюю они — со времен Канта — толкуют как науку, призванную выделять «чистую культуру» эстетического, анализировать отличие эстетического от неэстетического (практического, познавательного, религиозного и т. д.), художественного от нехудожественного (научного, публицистического, технического и т. п.). Марксизм же потому и сказал новое слово в истории мировой эстетической мысли, что он *не изолировал* эстетические и художественные ценности от жизненно-реального их контекста, а раскрыл свойственную им *диалектическую связь социально-общего и специфического,* конкретизацию общего в специфическом. При этом «общее» — решаюсь повторить это еще раз — оказывалось не абстрактно-духовной субстанцией идеалистической эстетики и не естественно-природной субстанцией материалистической эстетики просветителей и позитивистов, а началом *социальным* — ведь в марксистском освещении и труд, и любые иные формы практической деятельности людей, и их сознание, их идеология и психология, их язык представали как общественный труд, общественная практика, общественное сознание, общест-

венная идеология, общественная психология, общественный язык.

Таковы общие контуры той эстетической концепции, которая может быть раскрыта в мозаике представленных в сборнике статей, писем, фрагментов разнообразных сочинений и рукописей. Концепция эта предстает перед нами как принцип внутренней связи различных конкретных теоретических и критических суждений, как порождающая их единая методологическая позиция, как система идей, а не как систематическое, последовательно изложенное и охватывающее всю проблематику эстетической науки учение. Такой законченной теоретической постройки К. Маркс и Ф. Энгельс действительно не создали, и с этим фактом нельзя не считаться. Общие философско-методологические позиции классиков марксизма, равно как и методология их деятельности в разных конкретных отраслях знания — в политической экономии или в исторической науке,— дают нам все основания утверждать, что в науке об искусстве для них была неприемлема и традиционная спекулятивная «эстетика сверху», опрокидывавшая на художественную культуру всеобщие философские конструкции, и позитивистская «эстетика снизу», которую примерно в это же время обосновал Г. Фехнер, пытаясь оторвать эстетическое исследование от философии и замкнуть его в плоскости экспериментально-психологического анализа. Если уж пользоваться предложенным Г. Фехнером способом пространственного определения методологических позиций эстетики, то марксистские принципы построения теории искусства можно было бы, пожалуй, назвать «эстетикой изнутри», поскольку признание социальной детерминированности художественной деятельности и историко-художественного процесса ни в малейшей степени не отменяет научной необходимости изучения эстетического сознания и художественной практики в их специфической структуре, которая по-своему преломляет общие законы духовной деятельности и духовного развития общества. Поэтому ни точка зрения «сверху», ни точка зрения «снизу», односторонне схватывающие в этом феномене либо общее, либо эмпирически единичное, частное, не могут раскрыть диалектики социальной обусловленности и относительной самостоятельности художественной жизни, объяснить механизм перерастания основных законов исторического развития общества в специфические закономерности развития художественной культуры. Для этого необходимо внимательнейшее, скрупулезнейшее изучение всего богатства накопленного историей художественного «материала», исключающее поверхностное, легковесное, дилетантское решение эстетических проблем «с налету» и «на глазок», исходя из того, как *должно было бы* обстоять дело согласно нашим общим философским и социологическим представлениям, а не из того, как *было и есть* в действительности.

Догматическое толкование или научный анализ?

История должна изучаться объективно, и ее не следует, как хорошо известно, ни ухудшать, ни улучшать. Это относится в полной мере и к истории марксистско-ленинской эстетики. Однако именно желание «улучшить» ее приводило нередко к тому, что в эстетическом наследии К. Маркса и Ф. Энгельса хотели видеть не только и не просто целостную систему идей, а изложение законченной и всеохватывающей теории, содержащей в себе готовые решения на все случаи жизни. А это приводило к вытеснению научного подхода к изучению этого наследия чисто догматическим «толкованием текстов». Именно так приходится расценить убеждение некоторых неумеренных ортодоксов, что у К. Маркса и Ф. Энгельса можно найти ответы едва ли не на все конкретные вопросы, встающие в процессе художественного развития, и что их эстетическая концепция нуждается не в творческом развитии, а всего лишь в комментировании, популяризации и применении к явлениям мировой истории искусства и современной художественной практики. С этим связаны и попытки найти у К. Маркса и Ф. Энгельса решение эстетических проблем там, где есть только их постановка, или же стремление к предельно расширительному истолкованию смысла ряда их совершенно конкретных эстетических суждений. Наконец, тот же самый источник имеет укоренившееся у нас довольно прочно, хотя и абсолютно недопустимое с научно-источниковедческой точки зрения, игнорирование принципиальных различий между черновыми набросками мысли и отточенными формулировками сочинений, подготовленных автором к печати, или между суждениями, высказанными в частном письме без какого-либо расчета автора на их опубликование, и идеями, изложенными в книгах и статьях, обращенных к читающей массе, к обществу, к потомкам.

Если бы К. Маркс и Ф. Энгельс изложили сумму своих эстетических идей в виде законченной и систематически разработанной теории, ее структура, логика связи всех ее звеньев была бы столь же очевидна и недискутабельна, как очевидна и определенна она, например, в «Лекциях по эстетике» Гегеля или в «Эстетических отношениях искусства и действительности» Чернышевского. Поскольку же подобной задачи основоположники марксизма перед собой и не ставили, нам приходится самостоятельно раскрывать внутреннее строение системы их эстетических идей, а это оказывается не таким уж простым делом. Достаточно сопоставить разные варианты сборника «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» — четыре русских издания, два французских, несколько немецких, а также австрийское, американское, итальянское и другие,— чтобы бросился в глаза не столько разный объем представленного в каждом из них материала, сколько весьма существенные

расхождения в его организации и компоновке. Между тем композиция такого рода хрестоматии — дело отнюдь не формальное, как может показаться на первый взгляд. Поскольку сборник составлен из статей, писем и фрагментов, извлеченных из самых разнообразных сочинений, группировка этого материала и его рубрикация приобретают глубочайший содержательный смысл, ибо претендуют на воссоздание *действительной структуры* эстетических взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса, принципов сопряжения и взаимосвязи их эстетических идей. Можно понять поэтому составителя французских антологий Ж. Фревиля, который специально оговаривал в предисловиях относительность произведенного им членения и распределения материала, и трудно понять Мих. Лифшица, который ограничился заявлением, что «при расположении отрывков составитель руководствовался прежде всего их содержанием» (т. I, стр. XXXII), ни слова не сказав о гипотетичности соответствия структуры сборника структуре эстетической концепции К. Маркса и Ф. Энгельса — руководствоваться содержанием отрывков приходится часто в зависимости от того, как это содержание составителем интерпретируется. Например, приводившиеся выше суждения классиков марксизма о творчестве человека «по законам красоты», об особенностях эстетического чувства, о возвышенном, трагическом и комическом в реальной истории общества составитель включил в разделы «Общие вопросы художественного творчества» и «Искусство в классовом обществе», создавая, таким образом, представление, будто в системе взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса «эстетическое» было подчинено «художественному» и растворено в нем, будто оно понималось ими лишь как момент искусства, а не как ценностное качество реальной жизни, трудовой практики, социального развития. Думается, что есть по крайней мере не меньше оснований предполагать обратное, то есть считать, что, говоря о способности человека «формировать материю также и по законам красоты», К. Маркс имел в виду *не только искусство,* а говоря о трагических и комических фазисах исторического процесса, К. Маркс и Ф. Энгельс подразумевали *совсем не искусство.* Весьма странной оказывается в этом же сборнике такая рубрикация, при которой параграф «Возникновение искусства» включается в раздел «Искусство в классовом обществе», хотя всем известно, что искусство возникает в доклассовом обществе, а важнейшее, основополагающее для эстетики рассуждение К. Маркса об отличии художественного освоения мира от теоретического мышления попадает в параграф «Различные замечания», завершающий первый раздел и следующий за параграфами «Идеалистическое понимание трагического» и «Эстетика Гегеля». Подобную «реконструкцию» внутренней логики строения эстетической концепции К. Маркса и Ф. Энгельса приходится признать по меньшей мере спорной.

Столь же существенно в этом плане то место, которое отводится в разных вариантах сборника письмам К. Маркса и Ф. Энгельса Ф. Лассалю, М. Каутской и М. Гаркнесс. Центральной проблемой, рассматриваемой в них, является проблема реализма. Поэтому найти в сборнике то или иное место для данных писем — значит установить, какое место в системе эстетических воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса занимала проблема реализма: понимали ли они реализм как некий *общий принцип* художественного творчества, вечный для истории искусства, или же как метод, сформировавшийся в *определенную историческую эпоху.* Во французских антологиях, составленных Ж. Фревилем, письма эти включены в тот раздел сборника, который посвящен вопросам истории художественной культуры XIX века, и взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на реализм приобретают соответственно конкретно-исторический смысл; в американском, австрийском и повторяющих их изданиях интересующие нас документы отделяются от историко-художественного раздела и выделяются в предваряющий его самостоятельный раздел «Реализм»; еще дальше пошел в этом направлении Мих. Лифшиц, объединив эти письма под особой и весьма ответственной в теоретическом отношении рубрикой «Общие вопросы художественного творчества», отчего представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса о реализме придан внеисторический характер (интересно, что такая рубрика появилась впервые в издании 1937 года; в издании 1933 года, подготовленном Мих. Лифшицем совместно с Ф. Шиллером и под редакцией А. Луначарского, ее еще не было). Но если в варианте 1937 года и в основанных на нем немецких изданиях данная рубрика открывала историко-художественный раздел, то в двух последних советских изданиях она оказалась вынесенной в начало всего сборника, предваряя даже такие его разделы, как «Материалистическое понимание истории культуры», и все последующие.

В настоящей статье нет возможности привести сколько-нибудь обстоятельную аргументацию при определении сравнительной ценности всех этих попыток установить место концепции реализма в системе эстетических взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса: могу лишь заметить, что все их философско-историческое учение, вся их общефилософская и искусствоведческая методология, а также многочисленные конкретные суждения на эстетические темы, в том числе и содержащиеся в письмах Ф. Лассалю, М. Каутской и М. Гаркнесс, решительно восстают против приписывания им внеисторического понимания реализма.

В письме Ф. Энгельса к М. Гаркнесс дано определение: «...на мой взгляд, реализм предполагает, помимо правдивости дета-

лей, правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах» (стр. 6—7). Мне кажется, в контексте данного письма нетрудно увидеть, что это определение *непосредственно* характеризует реализм в повествовательных жанрах литературы XIX века, и с большой осторожностью может применяться нами к другим эпохам, другим жанрам литературы и другим видам искусства — ведь в наследии Ф. Энгельса нет указаний на то, к какому времени он относил возникновение реализма и как понимал модификации этого метода в разных видах и жанрах искусства. Между тем догматическое отношение к данному письму позволило многим теоретикам увидеть в этом определении некую тотальную «формулу реализма», относящуюся якобы ко всем жанрам, всем видам и всем историческим эпохам в истории искусства.

Догматический подход к теоретическому наследию классиков марксизма есть верность букве, а не смыслу, формулам, а не идеям, цитатам, а не мыслям. Однако преданность текстуальной стороне наследия лишь кажется в этом случае абсолютной — на самом деле догматизму свойствен произвольный, конъюнктурный отбор «цитат», заслуживающих быть пущенными в обращение, от не заслуживающих этого по тем или иным причинам. Если, например, суждения К. Маркса и Ф. Энгельса о реализме и о тенденциозности искусства приводятся в любой работе по эстетике, то некоторые их не менее важные в теоретическом отношении мысли либо попросту игнорируются, либо, в лучшем случае, цитируются обрывочно и вскользь, не удостаиваясь каких-либо комментариев. Так обстоит дело с утверждением К. Маркса: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть художественно образованным человеком» (стр. 155), или же с упоминавшимся выше его рассуждением о том, что научно-теоретическое мышление, то есть «переработка созерцания и представлений в понятия», есть способ освоения мира, принципиально отличающийся от «художественного, религиозного, практически-духовного освоения этого мира» (стр. 66). Между тем это место из экономических рукописей 1857—1858 годов заслуживает самого пристального внимания и разъяснения: необходимо установить, прежде всего, что понимает К. Маркс под «практически-духовной» формой освоения действительности, необходимо, во-вторых, объяснить, почему К. Маркс сближает искусство с религией и противопоставляет их вместе научному познанию. Но в любом случае следует признать, что изложенная здесь мысль имеет важнейшее значение для теории искусства, как и то, что мысль К. Маркса о значении художественной образованности для полноценного восприятия искусства есть исходный пункт теории эстетического воспитания. Остается лишь удивляться тому, что в сборнике «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» одно из этих суждений затерялось в параграфе «Меновая стоимость, деньги и мировая культура», а второе мы находим в конце первого раздела под рубрикой «Различные замечания», что достаточно определенно говорит об отношении к нему составителя.

Высвобождение из плена упрощенного, одностороннего, вульгарного понимания искусства позволяет марксистской эстетической науке по достоинству оценить эти мысли К. Маркса и, основываясь на них, раскрыть всю противоречивую сложность структурных и исторических взаимоотношений художественного творчества с наукой, с одной стороны, и с религией, с другой, позволяет постичь диалектическую связь эстетического восприятия людьми искусства и эстетического воспитания искусством людей.

Размеры этой статьи не дают возможности умножить приведенные примеры. Но думается, сказанного достаточно, чтобы еще раз подчеркнуть, как вредно догматическое отношение к эстетическому наследию К. Маркса и Ф. Энгельса.

Несомненно, многое в изучении этого наследия уже сделано историками марксистской эстетики, но в дни празднования 150-летия со дня рождения К. Маркса крайне уместно было бы сказать, что еще больше тут следует сделать, если мы хотим быть достойными светлой памяти великого учителя. При этом стоит почаще вспоминать, что говорил К. Маркс о некоторых своих «учениках»: если они марксисты, тогда я не марксист...

Сто лет спустя

При всех трудностях, которые пришлось пережить марксистской эстетике за вековую свою историю, она росла, крепла, развивалась вглубь и вширь. На фундаменте, заложенном К. Марксом и Ф. Энгельсом, вырастали этажи большого и сложного здания, и хотя сооружение это далеко еще не достроено, его общая конфигурация, его план и форма многих его частей прорисовываются все более и более отчетливо. Если несколько десятилетий тому назад марксистская эстетическая литература сводилась к статьям и монографиям, освещавшим отдельные проблемы философии искусства и методологии искусствознания, то в последнее время наряду со все более серьезной работой в этом же направлении — направлении глубинного исследования конкретных эстетических проблем, делаются один за другим опыты обобщения накопленного за сто лет теоретического материала, опыты систематического изложения всего содержания марксистско-ленинского эстетического учения. Такого рода сочинения пишутся в СССР, в Болгарии, в Венгрии, в Германии и в других странах. Они создаются индивидуальными и коллективными усилиями, иногда имеют исследовательский, иногда — учебно-методический, иногда — популяризаторский характер, они неравноценны по теоретическому уровню, они заключают в себе немало дискуссионных положений, но при всем том они свидетельствуют о ге-

зультативности исторического движения марксистской эстетической мысли.*

Закономерность и необходимость этого движения определялись тем, что основы нового эстетического учения, разработанные К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине прошлого столетия, и *позволяли* быть развитыми, и *требовали* дальнейшего развития. Позволяли — потому что эстетическая наука имеет дело с большим количеством проблем, которые основоположниками марксизма либо вообще не ставились, либо решались в самой общей форме, либо рассматривались в рукописях и письмах, не предназначавшихся к опубликованию и остававшихся долгие годы неизвестными их ученикам и последователям. Требовали — потому что эстетическая наука не может не развиваться вместе с развитием общества, культуры, философии, искусства, других наук. А во всех этих отношениях время, прошедшее после смерти К. Маркса и Ф. Энгельса, было и продолжает быть эпохой грандиозных перемен.

Во-первых, яркий эстетический ореол имели в XX веке революционная борьба рабочего класса, формирование социалистических общественных отношений, кризис буржуазного мира.

Во-вторых, в XX веке радикально менялась художественная культура общества: социалистическое искусство, известное основоположникам марксизма лишь в первых его ростках, стало могучим художественным движением едва ли не во всех странах мира; формы критического реализма, в каких представал он в XIX веке перед аналитическим взглядом К. Маркса и Ф. Энгельса, существенно модифицировались. Развитие искусства ставило перед эстетической теорией одну загадку за другой; воздействие на искусство буржуазной, демократической и социалистической идеологий складывалось бесконечно более сложно и противоречиво, чем в творчестве современников К. Маркса и Ф. Энгельса — Гейне или Фрейлиграта, Бальзака или Золя; наконец, сама структура художественной жизни общества претерпела в XX веке глубочайшие трансформации благодаря бурному развитию средств массовой коммуникации — печати, фотографии, кинематографии, радиовещания, телевидения — и рождению на их основе новых способов «доставки» искусства широчайшей массе людей и новых форм художественного производства, короче, благодаря появлению небывалой прежде «массовой культуры» и неизвестных прошлому взаимоотношений «высокого» искусства и всевозможных вариаций массового искусства, «зрелищ», как называл его В. И. Ленин.

В-третьих, развитие эстетики марксизма определялось движением в мире науки, поскольку эстетическая теория непосредственно соприкасается с самыми различными отраслями знания.

Стремление теоретически осмыслить эстетическую значимость тех социально-исторических процессов, которые развернулись в XX веке, привело марксистскую эстетическую мысль к углубленному исследованию проблемы эстетической ценности в ее общем философском содержании и в таких ее конкретных проявлениях, как прекрасное, возвышенное, героическое, трагическое, безобразное, низменное, комическое. Интересы современной художественной практики и методологический контакт со смежными науками определили видное место в марксистской эстетической науке проблем социологии и гносеологии искусства, проблемы содержания и формы, проблемы творческого метода, теории социалистического реализма, теории эстетического воспитания.

Нет ничего удивительного в том, что при разработке всех этих проблем разгорались острейшие дискуссии, некоторые из которых длятся по сей день, не приводя пока что эстетиков-марксистов к единству взглядов. Но нужно ли считать это только слабостью современной марксистской эстетики? Не правильнее ли усматривать в столкновении разных точек зрения *нормальное состояние* познающей мысли? Ведь марксистско-ленинская эстетическая теория — не сумма догм или аксиом, а живая, развивающаяся научная дисциплина, прогрессивное движение которой (как и любого другого познавательного процесса) невозможно без постоянного возникновения и разрешения противоречий. Можно быть уверенным в том, что раньше или позже эстетики, стоящие на позициях марксизма, достигнут единодушия в решении проблем, остающихся еще сегодня дискуссионными, потому что научный спор — не самоцель, а способ добывания истины. Нужно, однако, иметь в виду, что стоит установить некую истину, как дальнейшее развитие ненасытного познания рождает новые сложности и возбуждает новые дискуссии, и этот процесс бесконечен. При этом следует видеть принципиальное различие между теоретическими спорами в среде эстетиков-марксистов и теми боями, которые на протяжении всей своей истории марксистская эстетическая мысль вела и продолжает вести сегодня с эстетикой буржуазной.

Развитие марксистской эстетики не было и не могло быть замкнутым процессом. С одной стороны, она была связана со всем предшествующим опытом мировой эстетической мысли, опиралась на него и развивала его научные достижения; вместе с тем, марксистская эстетика впитывала в себя все научно ценное, что содержалось в

---

* Если читатель захотел бы ознакомиться с составленным автором этих строк «Библиографическим указателем», изданным в качестве приложения к его «Лекциям по марксистско-ленинской эстетике» (Л., 1966), он убедился бы в значительности работы, проделанной эстетиками-марксистами. При всей объемности этого «Указателя» в нем представлены только книги и статьи, опубликованные на русском, болгарском, немецком, французском и английском языках, да и тут он не претендует на исчерпывающий перечень теоретической литературы.

современной науке, в том числе и в буржуазной, в соответствии с известным методологическим указанием В. И. Ленина, призывавшего отличать в этой последней ложные общие теории и верные частные положения. С другой стороны, интересы развития самой эстетики как науки и интересы идеологической борьбы требовали от эстетиков-марксистов разоблачения ложности и реакционности тех концепций, с помощью которых буржуазная мысль пыталась и пытается ныне подчинить себе художественную культуру. В этом-то противоборстве росла, крепла и самоопределялась эстетика марксизма-ленинизма.

Одним из убедительных свидетельств силы, обретенной эстетикой марксизма, является заметное изменение отношения к ней буржуазной эстетики. Совсем еще недавно само существование марксистского эстетического учения попросту не замечалось буржуазными теоретиками; не только в сочинениях по истории эстетической мысли, написанных в конце XIX и начале XX вв., но и в опубликованной в 1939 году «Истории эстетики» К. Гилберт и Г. Куна (знакомой нашему читателю по русскому переводу) нет даже упоминания об эстетическом учении марксизма-ленинизма. Но уже десять лет спустя американский ученый С. Э. Хаймен в исследовании, посвященном методологии современного литературоведения, связывал один из четырех основных принципов объяснения историко-литературного процесса с влиянием идей К. Маркса. В вышедшей в 1951 г. в Швейцарии книге М. Верли «Общее литературоведение» говорится о «марксистской трактовке литературы» как о «наиболее принципиальной форме» социологической интерпретации художественного творчества. В работе видного итальянского теоретика и историка эстетики Г. Морпурго-Тальябуэ «Современная эстетика» (1960), рассматривающей развитие эстетической мысли на протяжении последних полутора веков, несколько параграфов главы «Искусство для общества» специально посвящены возникновению и развитию марксистской эстетики. Это тем более примечательно, что автор не скрывает своего резко отрицательного отношения к эстетической концепции К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и их последователей, что основные положения нашей эстетической теории он излагает, мягко выражаясь, весьма неточно (чего стоит, например, трактовка ленинского принципа партийности искусства как лозунга «искусство для партии»!), что он крайне узко осведомлен о развитии марксистской эстетической мысли в последние десятилетия. И все же Г. Морпурго-Тальябуэ вынужден считаться с тем, что эстетика марксизма существует уже более ста лет и пользуется в мировой культуре все большим влиянием. Нечто подобное мы видим и в книге профессора Сорбонны Р. Байе «История эстетики» (1961). Более объективной нужно признать позицию американского эстетика Т. Манро, который в уже упоминавшемся исследовании проблем философии истории искусства (оно вышло в начале 60-х годов) отвел описанию марксистской концепции целую главу («Марксистская теория развития искусства: социально-экономический детерминизм и диалектический метод»). Если Г. Морпурго-Тальябуэ нашел в сборнике «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве» «сотни чрезвычайно интересных страниц, раскрывающих личность Маркса и личность Энгельса, их литературную культуру, их вкусы», но не увидел там «почти ничего, что имело бы отношение к теории искусства», то Т. Манро говорит именно о «марксистско-ленинской теории развития искусства» и пытается охарактеризовать основные этапы ее формирования. К сожалению, и его эрудиция оказывается здесь весьма ограниченной — в советской эстетической литературе он знает лишь некоторые работы 30—40-х годов и потому совершенно неосновательно полагает, будто в последнее десятилетие положение в советской теоретической мысли изменилось «только в очень незначительной степени», и не видит того позитивного, что сделано в эти годы.

Одной из важных причин завоевания марксистско-ленинской эстетикой высокого международного авторитета является ширящаяся с каждым десятилетием интернациональная сфера ее действия. Если в 20-е годы влияние марксизма коснулось за пределами советской страны лишь нескольких немецких искусствоведов, если в 30-е годы марксистская методология стала внедряться гораздо более активно в науку об искусстве ряда европейских стран — Англии, Франции, Болгарии,— то в наше время самое деятельное участие в разработке эстетической теории марксизма и в ее конкретном применении при исследовании историко-художественного процесса принимают наряду с советскими учеными ученые всех социалистических и многих капиталистических стран.

Нужно ли доказывать, какую великую роль в дальнейшем развитии марксистской эстетической мысли может сыграть укрепление международного сотрудничества эстетиков-марксистов и такое обсуждение сложных теоретических проблем, которое сплачивало бы, а не разъединяло их силы, которое помогало бы двигать науку вперед, отделять истину от заблуждений, преодолевать рецидивы догматических и ревизионистских тенденций, вести совместную борьбу против всех современных вариаций идеалистической эстетики.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО

ИЗ ПЕРЕПИСКИ *Р. Роллана и А. М. Горького*

Журнал «Иностранная литература» не раз публиковал материалы из неизданного наследия Ромена Роллана — его дневники разных лет, страницы воспоминаний, выдержки из его огромной переписки. В этом номере мы печатаем неизвестные письма Ромена Роллана Максиму Горькому.

Многие документы, отражающие историю их двадцатилетней дружбы, уже знакомы советскому читателю. В Собрании сочинений М. Горького в тридцати томах (1949—1956) помещена статья Горького «О Ромене Роллане» (т. 24) и ряд писем к Роллану (тт. 29, 30). В Собрании сочинений Р. Роллана в четырнадцати томах (1954—1958) помещены статьи и заметки о Горьком (тт. 13, 14). Часть переписки обоих писателей опубликована в VIII томе Архива А. М. Горького («Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами», М., 1960).

Письма, печатаемые нами, дают представление о богатстве этого многолетнего заочного общения. В письмах встают разнообразные вопросы — от больших проблем философии до текущих событий международной политической и литературной жизни. Дружба крепла с годами. Горький и Роллан посылали друг другу свои книги, обменивались мнениями о прочитанном и т. д. Предметом обсуждения в их переписке не раз становились исторические судьбы России, проблемы русской культуры; в этом смысле характерен обмен мнениями о Толстом и «толстовщине» в письмах 1924 года. Оба великих писателя объединяли свои усилия в борьбе против империалистической реакции, фашизма, военной угрозы; заслуживает особого внимания, например, письмо Роллана от 25 сентября 1932 года об Амстердамском антивоенном конгрессе.

Тема Советского Союза занимала в их переписке очень большое, если не главное, место. Горький был связующим звеном между Ролланом и Советской страной. Он помогал Роллану знакомиться с ходом социалистического строительства, с советской культурой, вооружал его материалами и аргументами для выступлений в защиту Советского Союза.

Мы открываем нашу публикацию отрывком из большой (также не печатавшейся) статьи И. Анисимова, которая посвящена взаимоотношениям Максима Горького и Ромена Роллана, истории их знакомства, пути, пройденному каждым из них, всей их «чудесной дружбе».

Публикация подготовлена Архивом А. М. Горького. Перевод писем — О. В. Моисеенко, примечания А. Д. Михайлова (письма 1922—1926 гг.), С. Я. Бродской (1932 г.), Н. Н. Жегалова (1934 г.). В некоторых письмах опущены малосущественные приписки.

Горький и Роллан — два имени, без которых нельзя себе представить всемирную литературу нашего времени. Два великих писателя, которые оказали огромное и неизгладимое влияние на духовную жизнь двадцатого столетия. Творчество их было тесно связано с социалистической революцией, с самым главным, всеопределяющим явлением современной эпохи.

Дружба Роллана и Горького — это одна из интереснейших глав истории современной культуры. Горький и Роллан прошли далеко не параллельные пути развития. Они поднялись из разных социальных кругов, они по-разному соприкасались с материальными и духовными трудностями жизни, по-разному учились, по-разному осваивали духовное наследие прошлого, цену которому оба так хорошо знали.

Одним словом, это были разные люди, и их сближение, их идейная дружба, которая приобрела такую надежную прочность, представляют собой результат и выражение тех важнейших процессов, которые в XX веке происходят в области литературы.

Сближение Горького и Роллана было сближением двух великих писателей, искавших решение всех своих внутренних проблем в направлении революционного изменения мира.

Многолетняя переписка Горького и Роллана, до сих пор еще не полностью известная, отражает последовательно и те основания, на которых зиждилась духовная дружба писателей, и те важнейшие принципиальные расхождения, которые между ними возникали. Поэтому глубочайшая общность в революционном решении проблем современности, к которой оба они приходят, приобретает такой целостный и исторически значительный характер.

Изучение писем Роллана и Горького дает очень много для понимания творческого развития каждого из них и для понимания той общемировой и общелитературной ситуации, на основе которой это сближение великанов происходило.

И. АНИСИМОВ

Р. Роллан — А. М. Горькому

Вильнёв (Во), Швейцария, вилла «Ольга».
Понедельник, 22 мая 1922.

Мой дорогой друг,
редакция «Кларте» сообщила мне, что Вам хотелось бы поехать на юг Франции для полного выздоровления; она просит меня поддержать ее ходатайство (я это и делаю), чтобы Вы не встретили препятствий при въезде во Францию.

Спешу уведомить Вас, что я уже не живу во Франции. Я окончательно расстался со своей парижской квартирой и поселился в домике, снятом мною на берегу Женевского озера, в кантоне Во. Я, конечно, буду проводить несколько месяцев в году во Франции, но отныне мое постоянное местожительство — Швейцария, Вильнёв (Во), вилла «Ольга». Пожалуйста, не забудьте об этом и, если Вам случится побывать в наших краях, известите меня о своем приезде и остановитесь на вилле «Ольга». Для меня это было бы большой радостью.

Напишите также, прошу Вас, есть ли какая-нибудь надежда, что Вы приедете во второй половине августа в Варезе, Италия, поблизости от Лаго-Маджоре, куда Вы приглашены на международную встречу друзей-интеллигентов — французов, немцев, англичан, итальянцев. Я поеду в Варезе лишь в том случае, если буду уверен, что встречу Вас там. Иначе я проведу все лето в Вильнёве или его окрестностях.

Сердечно жму Вашу руку и желаю, чтобы здоровье Ваше окрепло.

Ваш Ромен Роллан.

Вильнёв расположен на берегу Женевского озера, напротив Женевы, за Шильоном, недалеко от впадения Роны в озеро. Это старинная деревушка виноградарей и рыбаков. Мой домик стоит несколько дальше чад ней, около дома Байрона.

Вторник, 20 февраля 1923.

Дорогой друг,
с удовольствием пришлю Вам свой очерк о **Махатме Ганди.** Не беспокойтесь об условиях! Никаких условий нет. Я считаю своим счастливым и священным долгом распространять столь замечательный образ мыслей. В наши дни он не только самый благотворный, но и самый действенный. Он противостоит всевозможным формам насилия, а также вялому, бесхребетному пацифизму — пацифизму на словах. Не думайте, будто есть нечто общее между героически напряженным **действием** такого человека, как Ганди, действием, чуждым физическому насилию, но основанным на огромном

самообладании,— и **отказом** от действия, **непротивлением**, пассивностью русских крестьян, о которых Вы говорите. Прочитайте лучше следующее:

«Там, где возможен только один выбор — трусость или насилие,— я посоветовал бы прибегнуть к насилию. Я проповедую спокойное мужество умирать не убивая. Но если у человека нет этого мужества, я хотел бы, чтобы он лучше развивал в себе искусство убивать и быть убитым, чем постыдно бежать перед опасностью. Ибо тот, кто бежит, совершает духовное насилие, он бежит потому, что не имеет мужества быть убитым убивая».

Таков этот проповедник героического мира. Он пришел, чтобы объединить разрозненные силы лучших европейцев.

Единственное затруднение, из-за которого я еще не послал Вам своей рукописи, заключается в том, что я отправил вчера два последних чистых ее экземпляра, а переписывать все заново довольно долго и скучно (в рукописи по меньшей мере 80 страниц. Много цитат из Ганди). Нужен ли вам очерк немедленно? Или достаточно будет послать Вам гранки журнала «Эроп»? Первая половина моего очерка появится в № от 15 марта, вторая — в № от 15 апреля.

Исключительное своеобразие Ганди заключается в том, что, будучи истым индусом, он прожил 23 года в Европе и в Южной Африке, где воспринял склонность к действию, свойственную нашим народам.

Славный мой друг, Вы, по-видимому, прислали мне неверный адрес г-на Дюмениля де Грамона: «ул. Пти-Огюстен, 3». Я отправил ему 5 февраля 1) Вашу рукопись заказной бандеролью и 2) письмо, объясняющее суть дела. Письмо мне только что возвращено с пометкой: **Улица неизвестна.** Заказная бандероль не была возвращена. Хочу верить, что парижская почта проявила на этот раз больше усердия и доставила ее адресату. Но что он должен подумать, получив бандероль без объяснительного письма? Я написал моим парижским друзьям, прося разыскать г-на Дюмениля де Грамона. Не будете ли Вы так добры уведомить его со своей стороны о том, что произошло, или сообщить мне его точный адрес. Быть может, речь идет о «Гран-Огюстен» или об улице Пти-Шан?

Всем сердцем преданный Вам

Ромен Роллан.

Пятница, 3 августа 1923.

Дорогой Максим Горький,
я несколько раз писал Вам за последние месяцы, а так как Вы все не отвечали, я уже опасался, не больны ли Вы. Вижу из Вашего письма, что Вы тоже ничего не получали от меня. Где же были задержаны мои письма? В Швейцарии или Германии?

Я нахожусь теперь в Австрии, **в Зальцбурге, у Стефана Цвейга,** 5, Kapuzinerberg, и пробуду здесь до 13 или 14 августа, затем вернусь в Вильнёв. Как жаль, что мы с Вами не можем встретиться! Но въезд в Германию в настоящее время для французов закрыт.

Как могли Вы подумать, что мое отношение к Вам изменилось? При всем своем желании Ваши враги и те не добились бы этого. Я горжусь Вашей дружбой.

Мы с Цвейгом как раз вспоминали Вас вчера: мы говорили, что не читали в русской литературе ничего прекраснее Ваших воспоминаний детства и Ваших очерков о Толстом, Чехове и др. В них Вы поднялись на вершину своего мастерства.

Я не могу Вам писать более подробно, так как нахожусь у друзей и не располагаю всем своим временем. Спешу, однако, заверить Вас в своих дружеских чувствах.

Ваш Ромен Роллан.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
Вторник, 8 января 1924.

Дорогой друг,
с опозданием шлю Вам свои сердечные новогодние пожелания. Я начал год в постели. Ничего серьезного. Бессонница, которая продолжается уже несколько недель,— естественное следствие постоянного умственного напряжения. Деятельность мозга от этого нисколько не страдает. Напротив. Но врачи принуждают меня к осторожности, и моя заботливая сестра следит за тем, чтобы я не слишком пренебрегал их советами. (Гораздо легче, однако, соблюдать постельный режим для тела, нежели для духа.)

А как Ваше здоровье? Надеюсь, что обострение легочного заболевания, о котором Вы мне писали в последний раз, уже прошло. В печати сообщалось об этом; а некоторые газеты возвестили даже Ваше скорое возвращение в Россию.

Благодарю за Ваше прекрасное, проникновенное письмо о Толстом [1]. Никогда еще этот нечеловеческий гений, этот престарелый Один [2] не производил на меня такого сильного впечатления, как сквозь призму Ваших воспоминаний о нем. Я прекрасно понимаю, что оскорбляет Вас в деспотизме этого догматика в области нравственности, который насилует человеческую природу (и прежде всего свою собственную), стараясь втиснуть жизнь в башмачки китаянки с изуродованными ногами. (К счастью, ему так и не удалось сделать это с самим собой!) Два года назад я получил от французского большевика Маршана французский перевод «Толстовской этики» Булгакова [3], просмотренный и одобренный Толстым. Меня просили написать введение к этой книге. Прочитав ее, я в ужасе отказался. Я спрашивал себя: «Возможно ли, чтобы гениальный Толстой, которого я так любил, дошел до такой степени нетерпимости и абсурда, до такого неистового обскурантизма, до такого плоского утилитаризма? Ведь он отвергает мысль, самую возвышенную, науку, самую бескорыстную, лишь потому, что они не служат **непосредственному** удовлетворению низменных чисто материальных потребностей всех людей!» Но подумайте, путем какого самообмана гений Толстого, по счастью, спас себя! Тот же Булгаков, секретарь Толстого в последний год его жизни, начал вести, а затем опубликовал свой «Дневник» [4], относящийся к тому же периоду. Из него видно, каким бурным становится порой свободный поток толстовского гения и как сокрушает он все нравственные преграды, несмотря на стремление старца обуздать себя! Возьмем, к примеру, разговор о Шопене [5] — он зашел после того, как какой-то пианист сыграл несколько произведений композитора, которые потрясли Толстого. А вокруг него люди болтали о любви Шопена и Жорж Санд. Старец в ярости крикнул: «Долго ли вы еще будете говорить непристойности?! Мне наплевать (я воспроизвожу по памяти слова Толстого на французский лад), что делал художник в личной жизни. Творчество превыше всего». И это не единственный раз, когда Толстой показывает себя в семейном кругу таким, каким он был в глубине души — «человеком по ту сторону добра и зла». Но что-то от протестантского моралиста и проповедника заслоняет его истинную натуру. И он лжет самому себе.

Что касается его мнимого недостатка доброты к людям, Вы правы, утверждая, что вопреки воле писателя этой добротой овеяны все его произведения — благодаря божественному дару перевоплощаться в каждый создаваемый им образ. Никогда не забуду, кроме того, с какой добротой он отнесся лично ко мне, когда я был никому не ведомым двадцатилетним студентиком. (Вы, вероятно, читали длинное, на тридцати страницах письмо [6], которое он мне написал тогда, чтобы разъяснить мои сомнения.) Правда, с тех пор он никогда не откликался [7] ни на мои новые письма,

---

[1] В письме от 13 декабря 1923 г. А. М. Горький высказывал, в частности, следующие суждения: «Мне кажется, что в современной Европе нет другого мыслителя, который бы так глубоко, с такой любовью и так не наставнически задумывался бы над человеком и человеческой судьбой, как Вы. В этом отношении Вы поразительно напоминаете мне Льва Толстого —с той лишь разницей, говорящей не в его пользу, что, будучи упорным догматиком, Толстой в сущности не любил людей. Он слишком высоко парил над землей, был велик, и люди казались ему муравьями, существуя для него только как муравьи. Он был средоточием своего морального догмата, догмата, абсолютно лишенного поэзии, социального романтизма, которым так насыщен Руссо, человек, в умственном отношении мне тоже очень чуждый.

Для Толстого жизнь и мир были его «вотчиной», беспорядочным потоком всевозможных событий, потоком, в который он желал ввести принцип, организующую проповедь, обязательную для всех, исповедующих рационалистическую религию, чего я не могу понять. В этом хаосе он, художник, утопил, по всей вероятности, половину своего таланта и посеял еще больший анархизм, чрезвычайно своеобразный, ибо анархизм Толстого безличен и, я сказал бы, бесчеловечен, ибо он видит перед собой не реальную личность, а человека-схему.

Для Вас, я чувствую, вселенная представляет собой тоже нечто, что является Вашей собственностью, но Вы отдаете этому хаосу Ваше сердце, полное любви, неизменного сострадания к человечеству, чувства, широта которого внушает мне зависть. Вы никогда не пытаетесь принизить человеческую личность, подчинить ее Вашему образу мыслей, Вашим стремлениям. Вы беседуете с нею, как с другом, как с ровней.

Это с давних пор все сильнее влечет меня к Вам».

[2] Один (или Вотан) — бог красноречия, мудрости и поэзии в скандинавской мифологии

[3] Речь идет о книге В. Ф. Булгакова (род. в 1886 г.) «Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Л. Н. Толстого», над которой он работал в 1910 г. Впервые опубликована в 1917 г. На французский язык переведена Соней Лорье и издана с предисловием Шарля Бодуэна в 1925 г.

[4] Р. Роллан имеет в виду известную книгу В. Ф. Булгакова «У Толстого в последний год его жизни» (первоначальное название), первое издание которой вышло в 1911 г. (с тех пор неоднократно переиздавалась). Во время своего пребывания в Праге летом 1924 г. Р. Роллан встретился с В. Ф. Булгаковым.

[5] Р. Роллан имеет в виду следующие слова Толстого в пересказе В. Ф. Булгакова: «Смешивают любовные пакости с творчеством... Творчество — это нечто духовное, божественное, а половая любовь — животное. И вот выводят одно из другого! Шопен не оттого писал, что она пошла гулять (Лев Николаевич усмехнулся), а оттого, что у него были эти порывы, это стремление к творчеству». (В. Булгаков. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1957, стр. 132—133).

[6] Л. Н. Толстой ответил лишь на второе письмо Р. Роллана — большим письмом от 3—4 октября 1887 г. Впервые опубликовано в «Неделе», 1888, № 46, стр. 1461—1465. (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 64, М., 1953, стр. 84—98).

[7] Всего Р. Роллан написал семь писем к Толстому: 16 апреля и в сентябре 1887 г.; 24 и 29 января 1897 г.; 21 июля 1901 г.; 23 августа 1901 г.; 27 августа 1906 г. («Литературное наследство» № 31—32. М., 1937, стр. 1007—1011. См. также R. Rolland. Mémoires. P., 1956, p. 320—322.)

ни на мои книги, которые я ему послал — «Св. Людовика» [1] (первое опубликованное мною произведение), «Жизнь Бетховена», два первых тома «Жана-Кристофа»: «Заря» и «Утро». Вероятно, он был сердит на меня за то, что я не последовал его предписаниям в области нравственности, что я упорно продолжал любить искусство и оставался самим собою... Он был человечен, «слишком человечен» — даже в своем нечеловеческом гении,— я понимаю это и думаю о нем с благоговением и сыновней признательностью (как блудный сын, ожидающий возвращения отца...).

До свиданья, дорогой друг (или, точнее, до нашей встречи, ведь когда-нибудь мы все же увидимся! Не находится ли Вильнёв на Вашем пути в Италию? Ибо я убежден, что дуче Муссолини слишком умен, чтобы не распахнуть перед Вами дверей своей державы).

Посылаю Вам при сем копию нескольких страниц моих воспоминаний [2], которые, очевидно, появятся в мартовском номере журнала «Эроп». Это моя беседа с Ренаном [3] в 1886 году. Буду очень рад, если Вы дадите перевести ее для Вашего журнала «Беседа».

Верьте в мою искреннюю привязанность.

Ромен Роллан.

Прошу Вас держать меня в курсе Ваших переездов, после того как Вы покинете Мариенбад.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
Четверг, 20 марта 1924.

Пришла ли к Вам весна, дорогой друг? У нас здесь стоят восхитительные дни, светит юное солнце, новое, горячее и ласковое, небо синее, девственное, и на его фоне нагие, прозрачные деревья простирают свои трепетные, усеянные птицами ветви.

Сердечное спасибо за Ваше письмо и за выдержки из книги Гольденвейзера, которые Вы так любезно поручили переписать для меня Вашему секретарю (я не разобрал фамилии, прошу Вас поблагодарить ее от меня). Если бы Вы могли сообщить мне, где вышла эта книга по-английски, я тотчас же выписал бы ее. Английский язык почти родной для моей сестры, и она читает мне английские тексты.

Некоторые эпизоды, рассказанные в этих выдержках, уже были мне известны со слов французского друга семейства Толстых, Саломона [4], который был в Ясной Поляне в ту ночь, когда г-жа Толстая разыграла истерическую сцену самоубийства, и Толстой, внезапно разбуженный, больной от волнения, спустился, шатаясь, по лестнице, чтобы привести ее обратно...

Боже мой! Несчастный старик! Просто плакать хочется... Я еще не получил обещанной Вами статьи, которую мне должен послать г-н де Грамон. Но если Вы строго судите в ней Толстого, я не могу Вас одобрить. Я не виню его жену: это несчастная, больная женщина. Но какой ужас быть связанным полувековыми супружескими узами, чувством привязанности, голосом совести, жалостью с мученицей и мучительницей, чья женская страсть оскорбительнее, ненавистнее самой ненависти!.. А гнусные псы, его сыновья, еще смеют грубо оскорблять старца, этого великого человека!.. А этот сброд, который, притаившись возле него, шпионит, подглядывает, снимает копии с его писем!..

Когда мне впервые (в 1912—1913 годах, вскоре после появления моей книги «Жизнь Толстого») передали от имени дочерей Толстого множество документов о последних годах его жизни (с просьбой не оглашать их), у меня сердце сжалось от боли и отвращения. Должен Вам признаться, дорогой друг (простите меня), что я несправедливо перенес это впечатление на всю Россию. Я подумал: «Так вот каковы эти русские!» И, получив весьма любезное приглашение посетить семейство Толстых, я поклялся себе никогда не встречаться с ними. Я не могу их простить.

Я прекрасно вижу недостатки, пороки Толстого. Такой человек, как он, не создан для семейного круга, он несговорчив, неуживчив. Но самое непростительное в нем (таково, быть может, следствие свойственной ему доброты) — это неизлечимая слабость среди семейных неурядиц, та слабость, которая приносит больше зла, нежели жестокая решимость, ибо она поддерживает зло, не смея ни пресечь его, ни прими-

---

[1] Свою пьесу «Святой Людовик» Р. Роллан послал Толстому вместе с письмом к нему от января 1897 г. Кроме перечисленных Р. Ролланом книг («Святой Людовик», «Жизнь Бетховена», «Жан-Кристоф») в личной библиотеке Л. Н. Толстого сохранилось еще несколько книг французского писателя, в том числе и «Жизнь Микеланджело». (См. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. II, М., 1955, стр. 200.)

[2] К письму была приложена машинописная копия очерка Р. Роллана «Беседа Ренана с юношей» (8 страниц) с правкой автора.

[3] Ренан, Эрнест (1823—1892) — французский писатель и философ-рационалист, автор ряда работ по истории христианства, а также драм «Калибан» и «Источник юности». (См. также примечание на стр. 216.)

[4] Саломон, Шарль (1863—1936) — парижский профессор русского языка, критик и переводчик. Перевел ряд произведений Л. Н. Толстого и неоднократно встречался с писателем.

риться с ним. Но можно ли себе представить худших, более ожесточенных врагов, чем эти дети, плоть от плоти его, с их показной любовью к отцу, а ведь те из них, которые живы, еще кичатся теперь его памятью. Вот какова семья! Враг, ставший частью нас самих.

O beata Solitudo! Sola beatitudo![1]

А это письмо к жене, такое прекрасное, нежное, смиренное, в котором он идет на все уступки, принимая всю вину на себя...

Нет, я не могу строго судить его. Он слишком много страдал. Он изведал самое недостойное страдание, которое грязнит закат жизни, оставляя душу умирающего истерзанной, безутешной...

Из кончин всех героев духа (одному богу известно, сколько их угасло в нищете, в муках, непризнанными, покинутыми!) смерть Толстого — одна из самых горестных. К его агонии примешивается (как и к агонии некоторых печальных героев Бальзака) нечто нечистое.

О несчастная Россия!.. Я слышу жалобу юродивого на заснеженной равнине в конце «Бориса Годунова»...

Когда Вы едете в Италию? Будет очень жаль, если Вы покинете Чехословакию этой весной. Ибо я, возможно, приеду туда в конце апреля или в мае на музыкальные торжества в честь Сметаны. (Когда я не знаю какого-нибудь языка, мне очень помогает национальная музыка, я читаю тогда в глубине сердца страны и даже проникаю в тайны, которые она вовсе не собиралась открывать!) Но мои планы еще не вполне определились.

А где Вы думаете побывать в Италии? Собираетесь ли Вы посетить его высочество князя де Монтеневозо?[2] Я часто встречался с ним прежде, когда он еще был только автором «Trionfo della Morte»[3]. Я гостил у него в Сеттиньяно. Мы были очень дружны, причем он всегда отличался поразительной честностью в дружбе. Я был свидетелем инцидентов с «Fuoco»[4], а также поверенным Дузе (она вполне заспуживает какого-нибудь королевского титула, ведь их раздают направо и налево с тех пор, как слетело столько корон). В начале войны мы с князем потеряли друг друга из виду.

Посылаю Вам экземпляр «Очарованной души». Боюсь, что моя Аннета покажется Вам еще более чужой, чем в первом томе. Я не поручусь за качество изображения. Но я ручаюсь за верность описанного типа.

Я узнал, что моя книга о Ганди запрещена в России[5]. Вот мы с Вами и товарищи по несчастью!..

От всего сердца жму Вашу руку, дорогой друг.

Верьте в искреннюю привязанность Вашего

Ромена Роллана.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
Воскресенье, 21 сентября 1924.

Мой дорогой друг,

до меня дошли слухи, что лето, проведенное в Италии, не принесло Вам ожидаемой пользы и что Ваше здоровье не улучшилось. Я огорчен и несколько встревожен этим. Вы успокоили бы меня, сообщив, хотя бы в двух словах, как Вы себя чувствуете.

Мне хорошо знакома Италия, где я прожил несколько лет, когда был «членом Французской школы в Риме», помещавшейся в палаццо Фарнезе. Я исходил тогда вдоль и поперек итальянский сапог и знаю там каждую деревушку. С тех пор я часто и с удовольствием приезжал в эту страну (но ни разу после 1914 г.). Я все так же люблю ее, но научился относиться к ней с недоверием. И прежде всего не доверять итальянскому климату, главным образом климату Ривьеры, лигурийского побережья — этих прекрасных солнечных мест с резким колебанием температуры и пронизывающим холодом в тени. Там легче, чем где-либо, схватить насморк, бронхит и самый зловредный грипп. Затем я научился не доверять мужчинам (и женщинам). Дело не в том, что они опасны. Нет! Я не то хочу сказать. Но они разочаровывают. Им вечно приписываешь больше того, что они имеют и, главное, что они будут иметь за душой. О, эти Джульетты, не умирающие весной!.. А сколько там мужчин, которые исчезают в самый неподходящий для вас момент или до неузнаваемости преображаются на ваших глазах! Конечно, такие люди встречаются повсюду. Но во Франции их гораздо меньше: у французов имеется, несмотря ни на что, известная внутренняя логика. Итальянцы же так сильно меняются, что не узнали бы самих себя, если бы

---

[1] О, благословенное одиночество! Одно благословение! *(Итал.)*
[2] Итальянский писатель Габриэле Д'Аннунцио (1863—1938).
[3] «Триумф смерти» — роман Д'Аннунцио (1894), прославляющий «сверхчеловека».
[4] Речь идет о романе Д'Аннунцио «Пламя» (написан в 1897—1900), рассказывающем о взаимоотношениях автора с Элеонорой Дузе (1858—1924). Публикация романа послужила окончательным поводом для разрыва Э. Дузе с Д'Аннунцио.
[5] Эти слухи не соответствовали действительности. Книга Р. Роллана о Ганди в 1924 г. вышла в СССР двумя отдельными изданиями: в переводе Н. Берберовой (изд. «Петроград») и в переводе Е. С. Кац и А. Н. Карасика (изд. «Сеятель»).

вспомнили, какими они были еще совсем недавно. Их невозможно понять. Да они и сами себя не понимают...

Со времени моей недолгой поездки в Прагу я не покидал Вильнёва, если не считать недели, проведенной в Женеве, где мне захотелось побывать на заседаниях Лиги Наций. Я слышал выступления Макдональда[1] и Эррио[2] (оба они — слабые люди, но разыгрывают из себя сильных; наиболее слабый — это Макдональд: он ничуть не уверен в себе, несмотря на «божественный дух», который якобы осеняет его). Я снова встретился с Уэллсом и Нансеном, и мы довольно долго беседовали втроем; Нансен стал пессимистом, Уэллс же по-прежнему полон оптимизма, и не потому, что международное положение кажется ему менее критическим, попросту все его забавляет: столкновения нынешние и грядущие на всех широтах и долготах нашей планеты служат развлечением для этого пытливого ума, и в поисках покоя он убеждает себя, что все хорошо кончится — через пять или шесть тысяч лет!

Я заметил на заседаниях Лиги Наций, которая показалась мне двухголовой монархией: Франция и Англия — это две огромные соперничающие головы, причем каждая из них не только пускает в ход собственные средства, но и действует при помощи своих клиентов и вассалов, я заметил, повторяю, как сильно меняется, по-видимому, темперамент народов. Как Вы думаете, представители какой национальности жестикулировали больше всех? Англичане! Макдональд, лорд Паннур неистовствовали, как черти перед заутреней, они кричали, размахивали руками, хлопали в ладоши, стучали кулаком, швыряли бумаги, словом, развивали бешеную деятельность, и все это для того, чтобы не сказать ни «да», ни «нет». А кто из выступавших был особенно угрюм? Как правило, итальянцы. (Попробуйте объяснить это явление: почему люди, у которых столько живости и блеска дома, в кафе или на улице, совершенно сникают, выступая с трибуны, они мямлят и чадят, как догорающие свечи!)

Я слышу восторженные отзывы о Вашем очерке «Ленин»[3]. Я не читал его в книжном издании; полагаю, что речь идет о Ваших статьях, появившихся в «Ревю эропеен». Ваши последние произведения[4] встречены у нас с восторгом; вероятно, Франция — одна из тех стран, где Вас больше всего любят как художника (что бы там ни думали о Ваших идеях).

Лично я сужу об успехе моих произведений по следующему признаку: после гробового молчания французской печати (причем некоторые ведущие газеты даже отказываются помещать объявления моего издателя) вот уже несколько месяцев как разразилась неистовая кампания против моих идей. Это доказывает, что они все же нашли распространение. Фанатик Анри Массис[5], который во времена «Над схваткой» призывал на мою голову все громы и молнии родины в своем памфлете «Ромен Роллан против Франции», с холодной злобой разоблачает меня теперь как главаря крупного заговора, направленного на то, чтобы отдать Запад в руки Азии, разумеется, при сообщничестве Москвы.

А я тем временем наслаждаюсь прекрасным Леманским озером и моим скромным каждодневным трудом — счастьем свободно мыслить, вызывать к жизни и закреплять на бумаге таинственный мир, который носишь в себе, подчас даже не подозревая об этом. Что может быть занятнее, когда из-под пера появляется неожиданная мысль или же образы, о которых ты даже не помышлял!

От всего сердца жму Вашу руку, дорогой друг. Желаю Вам доброго здоровья.

Верьте моей привязанности.

Ромен Роллан.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
2 марта 1926.

Милый, дорогой друг,

не знаю, как просить у Вас прощения за то, что я еще не поблагодарил Вас за двойной дар: превосходную статью в «Liber Amicorum»[6] и посвящение мне Вашего нового

---

[1] Макдональд, Джеймс-Рамзей (1886—1937) — английский политический деятель, лидер лейбористской партии, премьер-министр Англии в 1924, 1929 и 1931 гг.

[2] Эррио, Эдуард (1872—1957) — французский политический деятель и писатель, лидер партии радикал-социалистов, мэр Лиона. Неоднократно был председателем Совета министров Франции.

[3] Очерк А. М. Горького «В. И. Ленин» был напечатан в журнале Андре Жермена «Ревю эропеен» в 1924 (№ 8) в переводе М. Дюмениля де Грамона; в том же году был включен в сборник статей А. М. Горького, куда помимо очерка вошла статья «О русском крестьянстве».

[4] На французском языке вышли в 1923—1924 гг. следующие произведения А. М. Горького: «В людях», «Группа «Серапионовы братья», «Заметки из дневника. Воспоминания», «Лев Толстой», «Мои университеты», «Страсти-мордасти», «Женщина», «В. И. Ленин», «О первой любви», «О русском крестьянстве», «Об Анатоле Франсе», «Отшельник», «Рассказ о безответной любви», «Старик», «Сторож».

[5] Французский реакционный писатель, публицист и критик А. Массис (род. в 1886) неоднократно выступал в печати против Роллана. В период первой мировой войны (1915) он выпустил памфлет «Ромен Роллан против Франции».

[6] «Liber Amicorum» — книга друзей Р. Роллана, сборник, изданный в 1926 г. в честь 60-летия Роллана. Вышел под редакцией Максима Горького, Жоржа Дюамеля и Стефана Цвейга.

романа [1]. Как я был тронут и тем и другим! Ваша любовь, уважение, которое Вы мне выказываете, наполняют меня радостью и гордостью. Мне хотелось тут же выразить Вам свою сердечную признательность. Но за последний месяц я, как Полишинель в конце Лилюли, заживо погребен под грудой писем. Настала пора обвалов. Утром и вечером на меня обрушивается лавина. За последний месяц я только и делаю, что пытаюсь освободиться и вздохнуть. Наконец сегодня мне удалось пробиться сквозь эту толщу, и я высунул голову, чтобы крикнуть: «Друг Горький, спасибо!»

К сожалению, я никого еще не нашел, кто мог бы мне перевести или пересказать Ваш роман. Правда, у меня есть одна русская приятельница, которая время от времени навещает меня. Она завладевает книгой и приходит от нее в восторг, но совершенно невозможно заставить ее изложить по-французски прочитанное: она принадлежит к тем русским людям, которые способны запутать самый простой рассказ, примешивая к нему все события собственной жизни — не считая отступлений о жизни соседей — и то и дело перескакивая с одного предмета на другой. Мне удалось лишь уловить сюжетную линию и основные перипетии этого крестьянского романа, захватившие меня. Я горю нетерпением прочесть его по-французски.

Итак, мне шестьдесят лет! Так утверждают. И хотят, чтобы я этому поверил. Иного выхода нет. Приходится согласиться. Говоря между нами, я совсем этому не верю и чувствую себя моложе духом, чем в двадцать лет: тогда я нес на плечах бремя всей предстоящей жизни; теперь я избавился от него, оставив кусок за куском вдоль пройденного пути; еще немного, и я останусь нагим и свободным, как Адам — Адам до истории с яблоком (а если он в самом деле проглотил его, то оно давным-давно переварилось!).

Мое шестидесятилетие было отпраздновано в кругу самых близких друзей: швейцарец, француз, русский (почему это были не Вы?), моя сестра — она моложе меня на шесть лет и участвует во всех моих трудах — и мой отец, который на тридцать лет меня старше (в августе ему исполнится девяносто лет), но он по-прежнему подвижной и веселый, с неизменной трубкой во рту и раскатистым смехом — настоящий Кола Брюньон. Швейцарский издатель Ронигер вручил мне великолепную «Liber Amicorum», друзьям пришла в голову чудесная мысль пригласить из Берна струнный квартет, который сыграл для меня несколько прекраснейших квартетов Бетховена и Моцарта. Музыке суждено было принять участие в моем юбилее: недаром она была душой всей моей жизни.

А теперь я снова взял посох и двинулся в путь. И каждый день я «отмеряю», трудясь, несколько новых километров. Я вовсе не стремлюсь достигнуть следующей остановки — семидесятилетия. Дорога гораздо интереснее передышки. Мне хотелось бы только одного — быть уверенным, что мне осталось прожить еще года два-три, тогда я успею выложить то главное, что ношу в себе и что я мудро (а быть может, и неосторожно) решил не обнародовать, пока мне не перевалит за шестьдесят.

А если мне не дадут поболтать на этом свете — тем хуже! — мы найдем другой мир, чтобы закончить вместе начатую историю.

До свиданья, дорогой друг (которого я никогда не видел), будьте здоровы, счастливы и верьте моей привязанности.

От всего сердца жму Вашу руку.

Ромен Роллан.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
Вторник, 1 марта 1932.

Дорогой друг,
я получил Ваше славное письмо, в котором Вы с юмором, свойственным Кола, воспринимаете гневное предостережение моего письма «из Рима» [2]! Надеюсь, предостережение дойдет и до «читателей» и Вы без опоздания получите эту записку!

Мы еще поговорим с Вами о Вашем проекте беседы с европейской интеллигенцией. Мне тоже кажется, что мы могли бы сделать нечто интересное.

Сегодня же спешно посылаю Вам копию Воззвания [3], напечатанного мною в нескольких французских газетах, и вызванную им телеграмму из Москвы. Сообщите, получили ли Вы это Воззвание! Время сейчас грозное!

Обнимаю Вас.

Ваш друг и брат

Ромен Роллан.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
12 мая 1932.

Дорогой друг,
посылаю Вам при этом копии двух писем, только что полученных мною от группы студентов-стипендиатов Высшей технической школы в Париже. Вы увидите, прочтя их,

[1] Речь идет о посвящении Р. Роллану «Дела Артамоновых».
[2] Предыдущее письмо Р. Роллана было переслано А. М. Горькому через Рим.
[3] Имеется в виду Воззвание Р. Роллана от 1 марта «Мы призываем» («Nous appelons!..»), направленное против японской агрессии в Китае и угрозы нападения на СССР. Опубликовано в газете «Юманите» 3 марта 1932 г.

что семена, брошенные нами, дали всходы. Это молодая поросль энтузиастов, преисполненных бескорыстия и преданности. Главное же, из-за чего я посылаю Вам письма,— просьба, высказанная в конце и подсказанная мною. Мне хотелось бы, чтобы эта молодежь (мужчины и женщины) установила непосредственную связь **с советскими товарищами своего возраста** (моложе 25 лет), такими же, как они, **студентами-рабочими или молодыми преподавателями технических школ.** Не поможете ли Вы мне в этом? Сообщите фамилии и адреса! Я не разрешил этим молодым французам ставить свои подписи: они стипендиаты, и им предстоят вскоре выпускные экзамены, малейшая неосторожность печати могла бы напрасно их скомпрометировать. Я думаю, будет лучше для дела, если они прежде всего сдадут экзамены и получат дипломы: это придаст им силы в борьбе.

Одновременно я получил из Чикаго III, 142, Washtenau street письмо, проникнутое тем же духом. Оно подписано **Томасом В. Уолчем,** председателем «Ромен-Роллановского клуба», только что созданного для общественно-революционной деятельности. Не стану переводить Вам письмо, ибо оно составлено в выражениях, слишком лестных для меня (письмо молодых французов тоже, но в нем больше сдержанности). Ограничусь следующей выдержкой.

«Наша цель — распространять идеи и стремления прогрессивно-революционного движения в массах и привлекать их к участию в непрерывно обостряющейся классовой борьбе... Ваша жизнь послужит нам маяком в наиболее трудный момент. Мы тоже были некогда всего лишь «интеллигентами». Мы тоже заблуждались, поклоняясь отвлеченным святыням и пытаясь заглушить вопли обагренного кровью Человечества. Мы искали прибежище в amor — caritas [1] великого Толстого и в исходящих от Вас призывах к братству. Нам дорог Ваш Жан-Кристоф. Но вместе с Вами и Марком (мой юный герой из «Очарованной души») мы перешагнули через баррикаду и присоединились к силам, к которым Вы теперь принадлежите...» и т. д.

Вот видите, какие прекрасные, весенние обещания и какой хороший урожай сулит нам эта поросль! Появятся и другие всходы. Будем же сеять по-прежнему! Только бы нам удалось спокойно поработать еще год, только бы наш труд не был прерван надвигающейся войной! (Надеюсь, что новая французская палата депутатов, какой бы бесцветной она ни оказалась, сумеет противостоять войне. Но время не ждет! Тардье [2], Рено [3] и им подобные, эти вымуштрованные лакеи Ванделей и Шнейдеров, готовят кровавое будущее, и оно не за горами.)

Спасибо за книги, которые доставили мне большое удовольствие! Не посылайте мне статей Ленина о Толстом, о которых Вам говорила Мария Кудашева [4]. За это время я получил от Халатова [5] сочинения Ленина. Среди посланных им книг оказались два тома народных сказок. («Русская сказка». Издательство «Academia».) Я пристрастился к ним. (Я всегда был большим любителем сказок.) Если Вам известны другие издания того же типа (легенды, народные сказания), будьте добры прислать их мне. Ничто так не помогает проникнуть в душу народа.

Надеюсь, что возвращение в СССР в это холодное время года не отразилось на Вашем здоровье. Очень бы хотелось получить от Вас письмо. Я работаю над окончанием «Очарованной души». Недели через три-четыре думаю отдохнуть и полечиться в Немецкой Швейцарии, затем я продиктую летом два тома наконец завершенного труда, который я рассматриваю как Исповедь века. Передайте, пожалуйста, г-же Пешковой мой почтительный поклон. От всего сердца жму Вашу руку, дорогой друг.

Ваш

Ромен Роллан.

21 июля 1932.

Дорогой друг,

долго, слишком долго я не получал от Вас вестей и сам не писал Вам. Не надо разрывать связывающие нас узы. Они необходимы не только для нашей дружбы (мне, по крайней мере, она дает много радости), но и для всех тех, кого мы приобщаем к круговороту жизни, объединяющей благодаря нам два противоположных конца Европы. С тех пор как Вы замолкли, я уже ничего не знаю о мощных течениях интеллектуальной жизни, омывающих широкие просторы СССР. Никто меня об этом не информирует. Я не получил ни одного журнала, ни одной посылки, о которых Вы мне говорили (за исключением «СССР на стройке», на который я подписан, ежемесячного бюллетеня ВОКСа, да с большими перебоями журнала «Мировая литература революционных писателей» [6] — за последние месяцы до меня дошел лишь один его номер на немецком языке). Среди окружающих меня никто почти ничего не знает об интеллектуальной деятельности в СССР (я получаю кое-какие сведения только через по-

---

[1] Любовь — милосердие *(лат.)*.

[2] Тардье, Андре (1876—1945) — французский политический деятель, председатель Совета министров Франции в 1929, 1930 и 1932 гг.

[3] Основатель и владелец автомобильно-авиационной фирмы.

[4] Мария Павловна Кудашева — друг Ромена Роллана. В 1934 г. стала его женой.

[5] Халатов, Артемий Багратович (1896—1938) — видный советский и партийный деятель. В 1927—1932 гг.— председатель правления Госиздата.

[6] Очевидно, речь идет о журнале «Литература мировой революции».

средство парижских эмигрантов и «Нувель ревю Франсез», журнала весьма сомнительного политически, таким он был, таким и останется — такова уж его природа: писать двусмысленно...). Мы гораздо лучше осведомлены об экономической и даже чисто политической стороне дела в СССР. Однако для Запада чрезвычайно важно (я объяснял Вам это во многих письмах) быть в курсе обновления интеллектуальной и художественной жизни, происходящего в народных массах СССР, ибо именно это ближе всего латинскому духу. А какое невежество еще царит у нас в этой области!

Надеюсь, Вы лучше себя чувствуете, чем в прошлом году, и на состоянии Вашего здоровья не отразилось ни возвращение в СССР, ни грандиозность ожидавшей Вас там задачи. Мое здоровье сильно пошатнулось. В прошлом месяце я провел недели две в цюрихской клинике, где меня подвергли тщательным, бесконечным, утомительным исследованиям; в результате было установлено, что у меня весьма тяжелое поражение кишечника: несколько уже зарубцевавшихся язв, но они чреваты серьезными последствиями, насчет которых я нисколько не заблуждаюсь. Наибольший козырь в моей игре — это несокрушимая жизненная сила, которая лучше всяких врачей (они сами признают это) ведет длительную успешную борьбу, защищая мой пораженный организм от опаснейших недугов. Нет никаких причин, чтобы эта борьба не продолжалась еще некоторое время. Я верю в свою дьявольскую, никогда не оскудевающую энергию. Я мог бы сказать, умирая, что жестоко боролся всю жизнь — боролся и против других, и против самого себя. Я не сетую: это прекрасный жребий — всегда бороться! И вот такого человека называют «пацифистом»!..

Я окончательно отделываю, диктуя их Марии Кудашевой, три последних тома «Очарованной души», рисующие поколение 1919—1932 годов во Франции и трагический хаос этой эпохи, из которого возникает среди растерянности и страданий новый мир.

Последние два месяца я был очень занят еще одним делом: мы с Барбюсом организуем **Всемирный конгресс всех партий против войны** [1], о котором Вы, несомненно, слышали (Ваше имя стоит в списке членов Организационного Комитета). Хотя из-за плохого состояния здоровья и невозможности находиться в Париже я и старался избежать лишней работы, мне все же пришлось взять на себя часть переписки ввиду загруженности остальных заместителей председателя. Я оказался, таким образом, сам того не желая, посредником между II Интернационалом и III Интернационалом. Несмотря на противодействие социалистических партий, которые по мере сил официально саботировали Конгресс как замаскированное коммунистическое предприятие, массы оказали давление на вождей, и в лице Фридриха Адлера [2] и Вандервельде [3] тем пришлось начать так называемые переговоры с организаторами Конгресса. Итак, я получил ряд писем от Фридриха Адлера и провел с ним и Барбюсом совещание в Цюрихе, которое, впрочем, не дало никаких результатов. В процессе переговоров выявилось со всей очевидностью, что вожаки II Интернационала соглашались участвовать в работе Конгресса лишь при условии, что им заранее будет обеспечено превосходство при голосовании путем распределения голосов пропорционально количеству их основных сил. Сама идея Конгресса — подлинное объединение **всех партий против войны,** отказ от взаимной вражды и осуществление совместных действий — смущала социалистических вождей, ибо в глубине души ничто им так не претит, как **действие.** И все их усилия направлены на то, чтобы отвлечь от него людей, следующих за ними.

Вы уже знаете: в то время как сотни и даже тысячи представителей разных партий и стран с великолепным единодушием приветствуют Конгресс, правительства отказываются допустить его созыв на своей территории. Так, Женевский Совет запретил созывать Конгресс в Женевском кантоне (большая женевская печать предложила запретить въезд в кантон Эйнштейну, Барбюсу и мне). Вот он, прелестный дух, царящий в Лиге Наций. Она, по-видимому, боится, что несколько тысяч искренних людей провозгласят под ее окнами стремление к миру. В настоящее время мы ведем переговоры со многими странами: Францией, Бельгией, Голландией, Данией. Полагаю, что место созыва Конгресса вскоре будет известно. Открытие его назначено на 28 августа. Собираетесь ли Вы приехать на Конгресс, как предполагает Барбюс?

Я нахожусь теперь в Асконе (Тессин) на берегу озера Маджоре. Я приехал сюда в погоне за солнцем, которое по ту сторону Готарда было скупым, как мелкий буржуа. И я действительно нашел его. Но я не собираюсь долго оставаться здесь. Вокруг меня слишком много людей, помешанных на искусстве и псевдофилософии, слишком

---

[1] Международный антивоенный конгресс. Состоялся в Амстердаме 27—29 августа 1932 года.

[2] Адлер, Фридрих (1879—1960) — лидер австрийских правых социалистов, один из создателей так называемого 2½ Интернационала, боровшийся против присоединения рабочих партий к III Интернационалу. Субъективно-идеалистические философские взгляды Адлера подверг острой критике В. И. Ленин в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм». С начала второй мировой войны Адлер эмигрировал в США, где занял враждебные позиции по отношению к коммунизму и Советскому Союзу.

[3] Вандервельде, Эмиль (1866—1938) — один из лидеров II Интернационала, возглавлял бельгийскую «Рабочую партию», враг Советского Союза. О книге Вандервельде «Социализм против государства» (Париж, 1918) В. И. Ленин писал: «Мещанский эклектизм против марксизма, софистика против диалектики, филистерский реформизм против пролетарской революции, вот как надо было бы озаглавить книгу Вандервельде» (Полн. собр. соч., изд. пятое, т. 37, стр. 338)

много немцев, немецких баронов, приехавших со своими миллионами и коллекциями. По всей вероятности, я переберусь в Лугано. Пишите мне по прежнему адресу: **Вильнёв (Во), вилла «Ольга». Письма мне перешлют.**

От всего сердца жму Вашу руку, дорогой друг. Будьте здоровы и не забывайте, прошу Вас, хоть изредка давать о себе знать.

Искренне Ваш
Ромен Роллан.

Вильнёв (Во), вилла «Ольга».
25 сентября 1932.

Дорогой друг,

в ту минуту, когда я пишу эти строки, Вас чествует весь Ваш народ [1]. И в моей утренней телеграмме говорится, что я всем сердцем присоединяюсь к нему. Письмо дойдет до Вас с некоторым опозданием, но это неплохо: оно легче бросится Вам в глаза среди нахлынувшего на Вас потока приветствий; к тому же никогда не поздно выразить свою любовь.

Мало кому из писателей выпала на долю такая славная судьба, как Ваша. Никто из них, насколько мне известно, не способствовал рождению нового мира, не руководил его первыми шагами. И слава эта и труд достались Вам вместе в полной мере. Вы оказались в силах выдержать и то и другое. Я обрадовался, убедившись в конце Вашего последнего письма, что, прожив жизнь, полную тяжкого труда и порой трагических испытаний, Вы сумели сохранить великолепный оптимизм и непоколебимую веру в будущее — этот «праздник возрождения человечества», предсказанный Вами и подготовленный благодаря Вашим усилиям. Нет более высокого счастья, чем ощущать под своим крылом, вокруг себя молодой и выпестованный тобою народ — твой выводок, который мужает у тебя на глазах, гордый и сильный.

Мы на Западе не знаем этого удела. Для своего выводка я вынужден собирать птиц, рассеянных по всему миру. Я потерял свое гнездо, и теперь, чтобы свить его, я взял былинки со всего земного шара... «omne solum forti patria...» [2]. (Знаете, это мудрое изречение, приведенное мною в последнем явлении моей пьесы «Леониды», я обнаружил поблизости отсюда в Веве, на надгробной плите двух английских цареубийц, друзей Кромвеля, переселившихся в Швейцарию после возвращения Стюартов в XVII веке.)

Амстердамский Конгресс вылился в мощную демонстрацию, и, надеюсь, он явится поворотным пунктом в общественно-революционном движении на Западе. Подлинная работа развернется после его закрытия в постоянных международных комиссиях по изучению и выработке быстрых, решительных мер, способных предотвратить угрозу империалистической войны путем организованной борьбы на всех основных ступенях созданной системы. Но и сам по себе Конгресс явился крупным достижением, ибо он осуществил единый фронт всех партий против войны — невиданный факт, предшествующий созданию огромной антивоенной армии. И это тем более ценно, что на нашем пути встретилось множество препятствий, против которых пришлось вести борьбу. Правительства, буржуазная печать, руководство социалистических партий из кожи лезли вон, стараясь перещеголять друг друга в проявлениях скрытой или явной ненависти к Конгрессу. Читали ли Вы циркулярное письмо, разосланное цюрихским IOS [3] за подписью Штурмшталя (секретаря Фрица Адлера)? Это не что иное, как лживый отчет о работе Конгресса. Барбюс ответил на него в «Монде», а я — в «Эроп» (посылаю Вам копию моей статьи). Генеральный штаб социалистов раздосадован и сражен, видя, что, несмотря на все его усилия сорвать Конгресс, этот последний всколыхнул массы. У социалистов остался лишь один способ вернуть свое утраченное влияние — это бороться против войны решительнее, чем их противники. (Большего мы и не требуем!) Весьма сомнительно, чтобы они пошли на это: большинство социалистов (я говорю о вождях) пользуется слишком устойчивым положением в рамках буржуазного государства, которое им следовало бы разрушить. Они обманывают и себя и других. Они стали «столпами общества».

Я взял на себя смелость передать в редакцию «Юманите» Ваше предпоследнее письмо о большой издательской работе, ведущейся в СССР, и отрывок Вашего последнего письма, в котором Вы объясняете подлинные причины, помешавшие Вам принять участие в парижском митинге. (Я нигде не читал об оскорбительных ограничениях, предусмотренных правительством Эррио по поводу Вашего въезда во Францию). Впрочем, Ваше последнее письмо следовало бы опубликовать целиком. Оно раскрыло бы глаза французской публике и воодушевило бы друзей СССР. Не разрешите ли Вы мне впредь публиковать те отрывки из Ваших писем, которые не носят личного характера? Вы могли бы заранее помечать красным карандашом то, что не подлежит оглашению.

---

[1] Имеется в виду празднование 40-летия литературной деятельности М. Горького.
[2] Для мужественного человека вся земля — отечество *(лат.)*.
[3] Internationale ouvrière socialiste — II Интернационал.

Большое спасибо за присланный Вами альбом с видами Хибин, за фотографии, снятые Вашим сыном, и за альбом, посвященный заводу имени Сталина. Они очень заинтересовали меня.

Я не получал ни журнала «Наши достижения», упомянутого в одном из Ваших писем, ни, главное, фотографии Вашего портрета, исполненного художником-палешанином, которую Вы обещали прислать несколько месяцев назад. (Я не дам Вам забыть об этом обещании!)

Скажите, что я мог бы Вам послать со своей стороны, чем Вас порадовать?

Мария Кудашева посылает Вам **частушку,** которую она написала по моей просьбе в память вечера, устроенного на Вашей подмосковной даче, и забавного соревнования по сочинению **частушек.**

От всего сердца жму Вашу руку, дорогой друг, и твердо надеюсь, что, несмотря на серьезное недомогание, я непременно приеду будущим летом в Москву и повидаюсь с Вами. Мне очень этого хочется.

Ваш преданный друг
Ромен Роллан.

[Май, вторая половина, 1934.]

Благодарю за добрые письма. Я рад, что Ваши могучие жизненные силы позволяют Вам преодолевать Ваши страдания и Ваш траур [1]. Вы, по крайней мере, находите поддержку в этом широком Возрождении (вернее, рождении) громадной страны, в этом потоке, в котором Вы плывете и берега которого едва видны. Хорошо, если бы я в моей стране нашел такую же поддержку, но не хватает еще многого, не хватает всего.

Моя жизнь сейчас так же изолирована и одинока, как тогда, когда я ее начал.

Я одинок, несмотря на то что я окружен людьми мысли, которых хватает во Франции.

Моя публика — публика Жана-Кристофа, Бетховена,— вся выше общего уровня толпы, но каждый стоит на границах своей дороги и тянет назад.

Что же касается литературных моих коллег, то они более чем когда-либо стремятся образовать привилегированную касту. У них свой язык, свой мир мыслей, я не могу к нему приспособиться.

Когда я был молод, я боролся с ними, как Жан-Кристоф, стараясь разбить окна и выскочить на волю, чтобы вздохнуть. Я уже по ту сторону, а они остаются там, внутри, более ревнивые, более завистливые, чем когда-либо.

В своем последнем письме акад. Баху [2] для журнала «Наука и техника» я отмечал поразительные успехи планов строительства Советов и отмечал роль интеллигенции Запада.

Интеллигенция Франции в настоящий момент, ведомая идеологами разночинцев, часто расчетливая, стремится более увеличить свои привилегии, чем служить делу пролетариата. Это дело их не только не интересует, но даже пугает и раздражает. После того как Франция однажды уже пофлиртовала с призраком коммунизма, который она считает утопичным, она испугалась реальной действительности. Она прятала от самой себя свое отвращение, свой страх перед приближением нового пролетарского мира, который принесет ей равенство. Она делает софистические курбеты, чтобы доказать молодежи, в глазах которой слово «революция» имеет престиж, что настоящая революция не есть борьба классов, а сохранение привилегированного класса — интеллигенции, то, что называют революцией духа.

Это — реакция касты, которая чувствует себя обреченной. Она напоминает мне девственные мечты старого Ренана [3], который, кстати сказать, не принимал этого, видимо, всерьез, если мог заниматься ими, как игрушкой. Это — мечта доброго тирана философии, восседающего со скрещенными ногами на празднике, устроенном олигархией интеллекта. Но потомки — более реалисты, они эту мечту желают эксплуатировать в своих интересах. А так как они не могут этого сделать без поддержки реакционных сил, они плывут по течению, которое им указывают господа «политики» и «дела».

Сейчас очень развивается выпуск всяких журналов и речей, в которых отражен этот «плодотворный» союз. В последнем номере журнала «Коммуна» только очень немногие этому сопротивляются. Остальные или участвуют, или принимают своим

---

[1] Речь идет о смерти сына А. М. Горького — Максима.

[2] Бах, Алексей Николаевич (1857—1946) — ученый и общественный деятель, основатель советской школы биохимиков. Журнал, о котором говорит Р. Роллан, назывался «Фронт науки и техники». В № 7 этого журнала за 1934 г. была опубликована статья Роллана «Против империалистической войны».

[3] Воззрения Ренана сложились под сильным влиянием немецкой идеалистической философии и Платона. Будущее общество рисовалось Ренану как общество, в котором правит аристократия интеллекта. Ренан недооценивал историческую роль народных масс, его этика и социология проникнуты индивидуализмом. Последователи Ренана, о которых так иронически отзывается Р. Роллан, вульгаризируют наследие своего учителя, стараются выделить в этом наследии и утвердить наиболее реакционные элементы.

молчанием. Фашизм имеет хорошую пищу. Но во Франции слово «фашизм» произносится только антифашистами. Чем ярче фашист, тем больше он отрицает присутствие фашизма во Франции, и реформированная демократия служит ему прикрытием.

Я недавно видел А. Жида[1]. Он пришел меня навестить. У него острое отвращение к лицемерию общественной и религиозной морали. От этого он страдает с детства, и эти раны еще не зажили. Он очень искренне перешел в лагерь революции. Но он — эстет, и здесь ему не по себе. Его беспокоит будущее искусства. Все его симпатии остаются в искусстве, в лагере, который он покидает. Он не видит нарождения нового. Я не беспокоюсь. Искусство — это потребность человечества. Как только человек начинает освобождаться от самой острой нужды, искусство освобождается вместе с ним. Оно может проявиться в устройстве сада, в танце, в песне и в форме инструмента. Чтобы человек нашел для новых социальных отношений новые эстетические формы — в спектакле, симфонии, романе, эпопее,— надо, чтобы победа нового мира значительно продвинулась вперед, чтобы коммуна имела достаточно досуга, позволяющего ей воспринять искусство и оценить его создания с точки зрения знатока. Это время несомненно придет. Искусство будет иметь новую весну и новое лето, но каждый раз оно меняет свои цветы и плоды, то есть дерево трансформируется.

Мне надо о многом Вас спросить: во-первых, в истекшем декабре я послал Волгину[2] по просьбе Академии наук маленький этюд «Искусство и наука в действии», который должен быть опубликован в сборнике, посвященном памяти Ленина по случаю десятилетия его смерти. Появился ли он в печати? Я больше ничего о нем не слышал!

В каком состоянии издание полного собрания сочинений Толстого по-русски? Я получил несколько томов, но в течение последних двух лет я ничего не получаю.

В каком состоянии партитура новой оперы, исполнявшейся на праздниках в Ленинграде, о которой много говорят даже за границей — «Леди Макбет Мценского уезда»[3],— молодого, начинающего композитора Шостаковича?

Глава Французской федерации пролетарских эсперантистов Оноре Буриньон просит обратить Ваше внимание и возбудить интерес к его горячо оправдываемому желанию ввести эсперанто в массы и административные учреждения Союза. Союз советских эсперантистов уже выполнил большую работу, но очень стремится иметь Вашу поддержку, она необходима. Я советовал Буриньону послать только что вышедший первый номер его журнала «Пролетарская литература». Он там печатает ряд статей о пролетарской литературе УССР и молодых народов Советской Азии.

Я жду на этой неделе моего молодого пасынка С. Кудашева 17-ти лет. Я очень рад иметь возможность поговорить с советской молодежью и увидеть образец ее. Он больше всего увлечен успехами механики, главным образом аэродинамики. Он проведет в Вильнёве 3—4 недели.

Последний номер «АИЦ»[4] напечатал Ваше изображение среди рабочих, которые пришли Вас навестить. Я сижу с Вами и с ними за Вашим столом, задумавшись.

Сердечно жму Вашу руку, дорогой друг.

Верьте моей неизменной к Вам привязанности.

Жена сердечно Вас приветствует.[5]

---

[1] Жид, Андре Поль Гийом (1869—1951), в статьях и выступлениях начала 30-х годов объявил себя противником капитализма и выразил симпатии лагерю социализма. Однако этот период был недолгим. Р. Роллан в статье, опубликованной в «Юманите» в 1937 г. (через 3 года после этого письма), выступил с резкой критикой А. Жида.

[2] Волгин, Вячеслав Петрович (1878—1962) — советский историк и общественный деятель, академик. В 1930—1935 гг. был непременным секретарем Академии наук СССР. Этюд, о котором упоминает Роллан, очевидно, его статья, опубликованная под названием «Ленин, искусство и действие» в сборнике «Памяти В. И. Ленина (1924—1934)». М.-Л., 1934.

[3] «Леди Макбет Мценского уезда» — опера Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова» (по повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»), была начата двадцатичетырехлетним композитором в конце 1930 г., закончена в декабре 1932 г., впервые поставлена в 1934 г.

[4] «Арбайтер иллюстрирте цейтунг» — «Рабочая иллюстрированная газета».

[5] Французским текстом этого письма Архив А. М. Горького не располагает. По-видимому, А. М. Горькому был прислан лишь перевод, который публикуется нами с небольшими стилистическими исправлениями.

АНДЖЕЙ БРЫХТ

МОЙ ВЬЕТНАМ

Я хочу, чтобы здесь, со мной был каждый поляк. Я хочу, чтобы здесь, со мной были все люди Земли.

Но я здесь один. Серый раскаленный песок тянется до самого океана. Между водой и солнцем летит смерть. Невидимая, она приближается ко мне со скоростью, превышающей скорость звука.

Я один. Я смотрю на часы: четыре часа пополудни. Смерть обрушится на меня через минуту.

Дома сейчас десять утра — мои друзья читают утренние газеты. Хватит минуты, чтобы пробежать глазами заметку на первой странице — одну из примелькавшихся за долгие годы заметок о событиях во Вьетнаме. Ровно столько же нужно, чтобы со стороны океана обрушилась на меня смерть с американской звездой на крыле из серого металла.

Странный это сон — ждать свою смерть вот так, на чужом песке, среди незнакомых деревьев. Тишина, распухшая от солнца, зной, зной. Голые стволы бамбука торчат косо, без тени. Дальше карликовая роща, скрюченные, согнутые жаром деревца. За ними поблескивает Тихий океан.

Я знаю, как зовут мою смерть: ее индекс — Ф-105, на ней бортовое оружие — шестиствольная пушка калибра 20 миллиметров, выбрасывающая шесть тысяч снарядов в минуту.

Я знаю, как зовут мою смерть: это он, Майкл...

Вот он! Он летит прямо на меня! Прямо на меня! На высоте двести метров! Он не промахнется, ведь он здесь ради этого!

И вот я падаю — странный сон! — падаю лицом в горячий песок, все это длится какую-то ничтожную долю секунды, а во мне все кричит и воет, ах, сколько жизни во мне визжит и рыдает — долго, долго!

Они сейчас читают утренние газеты...

Опять то же самое: столько-то американских самолетов сбито над территорией ДРВ. Смелые атаки партизан на американские базы в Южном Вьетнаме. Варварские бомбардировки американскими воздушными пиратами школ и больниц. Героизм вьетнамского народа в борьбе с американским агрессором... Так! Так! Так!

Но что для нас газетное «варварство», напечатанное на скучной бумаге сто восемьдесят пять тысяч раз в месяц? Что для нас «героизм»? Что для нас «школа», которой мы не видели, что для нас «больница», которой мы не знаем, которую нам так трудно себе представить? Так далеко, так невероятно далеко!

Есть вещи, проблемы и понятия, которых человек никогда не осознает, пока не столкнется с ними, не ощутит, не переживет. Большая часть нашего народа не знает, что такое война. Время от времени наша молодежь видит по телевизору взрыв бомбы. Это очень хорошо. Но это плохо — потому что смерть, потому что убийство одних людей другими людьми быстро теряет свой страшный смысл и превращается в деталь семейного времяпровождения: на мерцающем экране падают малюсенькие фигурки, туман, грохот выстрелов приглушен слащавень-

кой музыкой, взрыв, города нет, хотя погодите, это синхронизации нет, война, война, а я скажу: глупые они люди, сидеть бы им тихо да не рыпаться, а у комментатора модная белая рубашка, галстук дай бог и костюм что надо, и улыбается так обаятельно, и только он во всем этом настоящий, свой, как стакан крепкого чая в руке, как телевизор, за который еще полгода вкалывать...

Песок, на котором умирают люди, везде такой же: пляж Хеля, Ястарни, пляж провинции Тань-Хоа. В карликовом лесу под Белжцем песок перемешан с пеплом и серыми кусочками костей, в маленьком блиндаже темнеют черепа, пропитанные дождевой водой. Здесь, на берегу Вьетнама: мой череп, обтянутый живой кожей, очки сползают со вспотевшего носа, тяжелый шлем налезает на шею, впивается в нее — живу, все-таки живу! — пусть я втиснулся в песок, словно труп, который весной прорастет... Я один. И я думаю: то же самое в песке Белжца, в песке Ястарни и Хеля. То же самое везде и всюду, под холодным солнцем и под огненным солнцем, на берегу моря и у подножья гор, в любое время, даже когда метет метель.

Странный это сон! Смерть — сделанная с такой тщательностью, деталь к детали, и на каждой штамп технического контроля, знак наивысшего качества, словно это часовой механизм, сверхточный и нереальный, как само время, — но ведь это механизм, сделанный людьми, такими, как ты и как я, управляемый людьми, такими же, как ты и как я, — против тебя, против меня! Здесь, на краю деревушки Куан-Туонг, на берегу Тихого океана!..

В армии Соединенных Штатов девятнадцать дивизий и четырнадцать бригад. Вполне достаточно, чтобы защищать даже такую большую страну, как Соединенные Штаты. Но у Соединенных Штатов своя теория обороны: все на половине поля противника. И поэтому четырнадцать дивизий и семь бригад расквартированы на чужих территориях. А половина из них, семь дивизий и три бригады, защищают границы своего государства в Южном Вьетнаме!

Попробуй найди ничем не примечательное имя своей собственной, частной смерти среди этого легиона имен, вот уже сколько лет вершащих расправу над страной размером с Польшу! Первая, четвертая, двадцать девятая пехотные дивизии, первая воздушно-мобильная дивизия, первая и третья дивизии морской пехоты, три артиллерийских бригады... Столько людей, каждый из которых может тут, во Вьетнаме, меня убить: двести семьдесят тысяч пехоты, семьдесят пять тысяч морских пехотинцев — знаменитых, вышколенных «маринес», пятьдесят пять тысяч в военно-воздушных силах, двадцать четыре в военно-морских... А кроме этих, силы поддержки: сто тысяч человек, размещенных в Сиаме, на острове Гуам, на Филиппинах и Окинаве... И американские наемники в Южном Вьетнаме: сорок пять тысяч безжалостных, имеющих опыт войны в джунглях южнокорейцев, тысячи австралийцев, новозеландцев, филиппинцев, сиамцев... И десять дивизий южновьетнамских солдат, и их десантные бригады, и шесть батальонов морской пехоты — в сумме миллион триста тысяч вооруженных молодчиков, обученных убивать... Как найти свою личную, неповторимую смерть, если она может быть везде?

У этой армии пятьдесят тысяч единиц боевой техники: четыре тысячи самолетов и вертолетов, не считая машин морской и стратегической авиации, тысяча двести штурмовиков, тысяча транспортеров, самоходные орудия калибра 175, 155, 203 миллиметра — быть может, там, в каком-то из этих стволов притаилась моя смерть? А может быть, в кровавых коробках Седьмого флота, в котором шестьсот кораблей, из них двести боевых, из них семьдесят пять постоянно на театре военных действий, на каком-то из его авианосцев, а там семьсот боевых самолетов, и двести из них беспрерывно наносят удары по Вьетнаму — стране размером с Польшу?

Друг мой, со скукой читающий варшавскую газету: огневая мощь Седьмого флота превышает огневую мощь всех американских войск, находившихся в Европе в 1944 году. Или тебе это ничего не напоминает?

Друг мой, послушай внимательно, что я тебе скажу, сосредоточься на минуту, мой друг, я понимаю, мой страх для тебя смешон, хотя, быть может, случится так, что мы поменяемся ролями и я возьму горький реванш, — вслушайся в эти тихие слова, которые я шлю тебе из Вьетнама, в этот шепот твоего самого близкого друга:

армия Соединенных Штатов в своей бандитской деятельности против Демократической Республики Вьетнам и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама применяет с максимальным размахом все имеющиеся в ее распоряжении силы и средства. Соединенные Штаты не объявили войны Демократической Республике Вьетнам, и поэтому любые вооруженные действия армии США против ДРВ и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама я буду называть бандитизмом, а каждого американца, послушно выполняющего приказы своих хозяев, буду называть бандитом. И еще послушай внимательно, мой друг, что я тебе скажу, потому что именно это мне больше всего хочется тебе сказать:

Вьетнам по территории такой же, как Польша, площадь ДРВ — 159 тысяч квадратных километров, а площадь Юга Польши — 170 тысяч. Население ДРВ — 17 миллионов, Юга Польши — 16 миллионов Народ один, страна одна. Подумай, ведь в этом чудится что-то очень хорошо знакомое... И вот, дорогой мой друг, мощная держава бросила своих бандитов на Вьетнам, страну, которая так похожа на нашу, обрушила на нее свой несущий смерть металл. Я рассказал тебе, сколько их! Я рассказал тебе, сколько у них техники, сколько самолетов, какова мощь Седьмого флота! Неужели это еще не заставило тебя задуматься?! Прости, но с некоторых пор мне очень жаль, что у многих моих друзей чересчур бедное воображение, так вот, если и теперь ты еще ничего не понял, спроси старших, они, без всякого сомнения, помогут тебе избавиться от всех твоих иллюзий. Вдумайся: огневая мощь, которую американские бандиты обрушили на Вьетнам,

повторяю:
огневая мощь,
которую обрушили
и которую
с максимальным размахом
применяют
американские бандиты,
в четыре раза превышает,
в четыре раза превышает
огневую мощь,
которой располагали
Соединенные Штаты
во время
второй мировой войны...

Каждый американец, приезжающий во Вьетнам, обходится своей родине в круглую сумму.

Какую? — сейчас прикинем по достоверным французским и американским источникам.

Итак: девять лет бесцельной, закончившейся страшным разгромом под Дьен-Бьен-Фу войны Франции во Вьетнаме — повторяю: ДЕВЯТЬ ЛЕТ войны стоили французам 8 (восемь!) миллиардов долларов.

Три года корейской войны стоили Соединенным Штатам 20 (двадцать!) миллиардов долларов.

Тогда как один только 1966 год военных действий во Вьетнаме стоил США 25 (двадцать пять!) миллиардов долларов!

В 1967 году стоимость этой спровоцированной американскими бандитами, но не объявленной официально вьетнамской войны снова увеличилась.

Сейчас, при существующей численности армии, США вынуждены транспортировать во Вьетнам ежемесячно миллион тонн грузов. С увеличением армии на триста тысяч человек расходы на транспорт плюс другие расходы, связанные с войной, возрастут до 45 (сорока пяти!) миллиардов долларов в год!

А ведь многие американские экономисты, подсчитывая расходы последнего года вьетнамской войны, расходы глобального масштаба, учитывающие потери в технике, произведенной в предыдущие годы, и стоимость разнообразных операций, на первый взгляд никак не связанных с войной, но тем не менее именно из нее вытекающих, приводят цифру 50 (пятьдесят!) миллиардов долларов!

Итак, тридцать пять процентов территории Южного Вьетнама постоянно заняты частями Национального фронта освобождения. Тридцать пять процентов территории Южного Вьетнама контролируется (подчеркиваю: контролируется, но отнюдь не занято) американцами. Остальные тридцать пять процентов территории Южного Вьетнама — это ничейная земля, на которой американцы практически не появляются и которая ночью постоянно контролируется Национальным фронтом освобождения.

И вот, чтобы сохранить это весьма проблематичное равновесие, огромная страна — Соединенные Штаты Америки — решается на такие расходы, что даже половины этих денег было бы достаточно, чтобы в течение двух лет кормить всех голодных людей на Земле!

Командование армии Соединенных Штатов планы своей агрессии против Вьетнама разработало солидно и всесторонне. Но оказывается, что гениальные планы составлять куда проще, чем выполнять. Потому что планируют генералы, а воюют солдаты. А солдат, когда он воюет за тысячи миль от родного дома и вдобавок неведомо за что, воюет плохо. И деньги тут не имеют никакой силы.

Американский солдат — плохой солдат. Пехота в условиях Вьетнама ничего не может сделать. Батальон армии США не может пробиться сквозь окружение втрое более слабых сил партизан. Подобных случаев в этой войне было немало. Американские парни... Да ведь они не знают, что такое настоящая земля! Уже как минимум два поколения они отделены от нее слоем бетона и автомобильной резины! Они предпочитают автострады, шикарные мотели, спят на гигиеничных матрацах, принимают пилюли, чтобы заснуть и чтобы поддержать потенцию, сидят в мягких автомобильных креслах и в мягких креслах перед телевизорами, зарабатывают геморрой и работая, и развлекаясь, потом купаются и натирают себе подмышки дезинфицирующим шариком «Дезодоро», прыскают туда одеколоном,

а если нет,

то по крайней мере очень хотят все это делать, жить именно так, ибо этому учит техника и цивилизация, к этому призывает неотвязная и всесильная реклама — пронизывающее всю их жизнь новое божество...

А тут вдруг такой парень съезжает с бетонной ленты прямо в непроходимые болотистые джунгли, раскаленные, как преисподняя, бредет по пояс в иле рисовых полей, попадает в хитрые ловушки, стреляют по нему неведомо откуда жители равнин и горцы, вооруженные таким же, как и он, современным оружием, но действующие этим оружием куда напористее и увереннее, а главное — знающие, за что нужно драться...

Вьетнамские джунгли признают один лозунг:

GAP MY LA DANH!

Это значит:

Встретил американца — убей его!

Последнее время этот лозунг заменен новым:

TIM MY MA DIET!

Найди американца и убей его!

Американский парень чувствует себя на вьетнамской земле плохо. И мало что может сделать. Поэтому бандитам остается лишь прибегать к воздушной войне.

На различные военные нужды во Вьетнаме США предназначают 2500 пилотов. (В прошлом году семьдесят летчиков отказались ехать во Вьетнам. Неважно, по каким мотивам они это сделали,— честь им!) В 1966 году совершалось в среднем 920 боевых вылетов в неделю, а в 1967 году — 1800 вылетов. Авиация сухопутных сил США воюет чрезвычайно напряженно: во время второй мировой войны для поддержки пехотной дивизии производилось в среднем десять боевых вылетов в неделю, а во Вьетнаме на поддержку пехотной дивизии производится 52 вылета. Боевой стаж американского пилота во Вьетнаме не превышает двенадцати месяцев. В течение этого года службы пилот получает два и даже три отпуска, которые он проводит в Европе или в Штатах. (Заметьте, что у белых в этом климате даже в мирных условиях через два года проявляются симптомы острого нервного расстройства, а уж в боевых и подавно!)

А каковы американские потери в этой безнадежной и бессмысленной войне с партизанами Южного Вьетнама? Смотрите, как быстро они растут: в 1964 году было убито лишь 136 американцев и ранено 1222, в 1965 году — уже 1275 убитых, 5466 раненых и 193 пропавших без вести, в 1966 году одних убитых 5899! А в 1967 году за одну только наугад выбранную неделю марта 232 убитых, 1385 раненых. Вскоре общее числе убитых и раненых превысило 2000 в неделю, а последнее время число убитых и раненых американцев превысило 3500 в неделю!

Убитых и раненых по этой статистике считают вместе. Причина проста: ни те, ни другие больше не воюют. Американцы старательно подбирают трупы и отправляют их в цинковых гробах на родину, все больше и больше таких герметически запаянных ящиков выгружают в аэропортах США, все чаще и чаще общественное мнение отзывается на их прибытие так, как следует. Но и раненый тоже сходит с «театра военных действий», как это они изящно называют. Он уже ни на что не годен, получил, что ему причиталось, его стоны не помогут завоевать победу, пусть лучше возвращается домой и пугает внуков рассказами о страшных вьетнамских джунглях.

На место убитых и раненых приходят новые парни — сильные, испуганные и глупые. За месяц сменяют половину дивизии, за год — полных шесть.

А потери в технике? Во время второй мировой войны американцы потеряли в боях 2 процента боевого снаряжения. Здесь, во Вьетнаме, они теряют уже более 5 процентов! Кроме того, четвертую часть всех военных перевозок американской армии в Южном Вьетнаме перехватывают партизаны! И почти 10 процентов так называемой американской помощи для Южного Вьетнама попадает тоже им.

Партизаны воюют новейшим оружием — американским, советским, китайским. И французским, оставшимся от прежней войны, и японским, оставшимся от разоруженной фашистской армии, и немецким времен второй мировой войны, попавшим к ним неведомыми путями... И любое оружие они знают в совершенстве, любым владеют артистически!

Майкл Д. Хвэн, у меня в руках твое воинское удостоверение. Майкл Д. Хвэн, ведь это я был тем существом, вгрызавшимся в песок, которого ты прилетел убить! Что за встреча, Майкл Д. Хвэн! Ты из Америки, я из Польши, а скрестились пути наши, как видишь, во Вьетнаме! Эх ты, дитя «Великого Общества», килограмм твоего самолета стоит больше, чем килограмм золота, а сколько ты стоил правительству Соединенных Штатов, одни учебные полеты — двести тысяч долларов, да самолет, считать, так считать,— больше пяти миллионов долларов, и что? Вогнала тебя в землю совсем юная маленькая девушка, которую я мог бы поднять одной рукой... По карточке видать, девчонки тебя сбходили, хотя, с другой стороны, это ничего не значит, от моей физии, бывает, тоже шарахаются, но я тебе скажу, чем эта девушка тебя вогнала в землю: старой развалиной, японским пулеметом образца 1935 года, выпущенным по немецкой лицензии, я тогда как раз родился, а фашисты обменивались лицензиями, чтобы вогнать в землю весь мир,— и, как видишь, пригодилась старая развалина, хоть немного отработала за то, что натворила...

АНДЖЕЙ БРЫХТ
МОЙ ВЬЕТНАМ

Впрочем, что я все это говорю — американец Майкл, полыхнувший, словно смолистый пень, это уже не летчик, не пират, не бандит, не труп человека — это попросту уже абсолютная бессмыслица. Разворотил сто метров пляжа, разбросал повсюду куски блестящего металла — маленькие вьетнамцы тщательно собирают все это, сносят в кучу и горюют, что кусок крыла упал в море и навсегда потонул, а я кладу на обломок обшивки воинское удостоверение Хвэна, наклоняюсь пониже и фотографирую и сразу же на всякий случай записываю в блокноте личные данные моей смерти, пришедшей за мной, когда я был еще так молод и которую так отменно точно загнали в землю. Довольно плотная карточка с забавным орнаментом по краю, немного напоминает доллар, сверху: **Личная карточка — не передавать другим лицам;** ниже — большие буквы:

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ.

А справа сверху: **Военно-Воздушные Силы Соединенных Штатов.** Под этим печать Управления Военно-Воздушных Сил. Ниже:

ПРОСИМ НАШЕДШЕГО ВЕРНУТЬ
ПОЧТОЙ ПО АДРЕСУ:
ШТАБ ВВС США,
ВАШИНГТОН, 25, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

Что ж, может быть, и действительно? Может быть, вернуть это лично Джонсону с коротенькой припиской, что так, мол, и так, мистер, был свидетелем, как его сбили и как он горел, ваш оболтус, который минуту назад хотел меня безо всякого повода застрелить, да к тому же еще на территории, появляться над которой он не имел не малейшего права, потому что она находится в самом центре Демократической Республики Вьетнам, в провинции Тань-Хоа, в волости Куан Ксуон, возле деревни Куан-Туонг, в нескольких сотнях метров от Тихого океана, а точнее, Южно-Китайского моря, 21 июля 1967 года в шестнадцать часов 01 минуту —

ниже: Срок действия —
БЕССРОЧНЫЙ,
Личный номер АО 3136152,

С другой стороны, под эмблемой армии Соединенных Штатов:

Воинское звание: ЛЕЙТЕНАНТ.

И последнее: ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ — Майкл Д. Хвэн, и вот он сам, своей собственной персоной, в середине удостоверения — солдатская фотография без всякой ретуши: глаза быстрые, уши торчат, волосы ежиком,—

а может быть так, мой друг? — послать фотографию маленького мальчика с грустным личиком, полным задумчивой сосредоточенности, глаза с длинными ресницами крепко зажмурены, как от яркой вспышки, может быть, он и увидел ее, эту вспышку, в последнюю секунду того дня, когда чинно шел с другими детьми по улице — сорок их было и молодая воспитательница,— и в ту секунду налетел вот такой Майкл Д. Хвэн, а может быть, Уильям Вестморлэнд, а может быть, Линдон Б Джонсон, и детей больше нет в живых, и воспитательницы нет в живых, а у мальчика этого, фотографию которого мы с тобой пошлем, снесено полголовенки, мозг лежит на каменных плитах,

а может быть, сделал это сын Джона Стейнбека, знаменитого писателя, друга людей?

Знаменитый писатель — и такой вот человек. Думаю о нем с того самого мгновения, как очутился во Вьетнаме, не могу забыть. Это ведь благодаря ему я во Вьетнаме. Хотелось посмотреть его «в деле», когда он весной был в Сайгоне. Только об этом и мечтал, только это меня и мучило: как этот великий ГУМАНИЗМ рушится, расползается и гниет — увидеть, увидеть! Как убивает сам себя и топчет созданных своими руками людей, как обманывает миллионы молодых, наивных щенят во всем мире, тех самых, что в школе под партой читают, вместо того чтобы учить алгебру, «Приморскую улицу», как совсем немного лет назад читал я...

Я хотел поехать к нему, когда он был весной в Сайгоне и посылал в американские газеты свои письма, когда летал на боевые задания вертолетом, вооруженный гранатами, автоматом и противомалярийными таблетками... Я хотел взглянуть ему в лицо, когда он стрелял в людей!

В Сайгон меня не пустили, я на ханойской стороне, среди людей, о которых с такой ненавистью, встречающейся лишь у детей и стариков, писал Джон Стейнбек. Я такой же, как они, желтый, а вернее, красный, у нас одни надежды, одни страдания и одно желание — жажда борьбы и победы. Нам грозит одна и та же смерть — от рук того же самого врага.

Шелест песка. Неподвижное, пылающее солнце. Ослепительно, до боли блестит Тихий океан. Быстрое, мелодичное журчание голосов вьетнамцев. Огромные пистолеты на узких бедрах маленьких, гибких юношей. Старухи, стройные и сухие, держат на головах корзины, смеются беззвучно, блеск океана вспыхивает на их черных, покрытых лаком зубах. Они из деревни, крестьяне...

Понять их, говорить о них, кричать на весь мир! Это о них разбивается наглая спесь и мощь империализма! Это они стали той живой плотиной, которую не может прорвать самая новейшая техника войны!

Мы даем им оружие, они дают нам свою кровь. Можно ли сопоставить эти две несопоставимые вещи? Как это случилось, что шестнадцатилетняя деревен-

ская девушка из отряда самообороны снимает с неба вершину авиационной техники и бросает ее к босым ногам этих людей, к худым ногам с черными, искривленными пальцами с ороговевшими ногтями, к ногам, которые никогда еще не выходили за землю своей деревни?

Шелест песка. Черные и белые улыбки, молчание, прощальные взмахи девичьих рук на фоне моря.

Неужели все это происходит на самом деле? Неужели я действительно здесь? Неужели таким непохожим может быть мир?

Смотреть. Смотреть. В глазах сухо, в горле песок. Тошнотворный запах сгоревшего мяса.

■

Улицы Ханоя за час до полуденного колокола пустеют. Белые, желтоватые стены домов жарятся на солнце. На маленьких площадях — стада велосипедов, неподвижные, горячие, над ними висит запах старой резины и смазки. Люди лежат в тенистых каменных арках ворот или сидят на корточках под деревьями на краю тротуара. Сьеста — святая пора дня в тропиках...

Этот климат, этот дьявольский климат! Весь день перевернут с ног на голову. Началось уже в Пекине: июль, должно быть сухо, а тут одна вода в воздухе. Неделю ждал самолета на Ханой — каждое утро снимал с ботинок пухлый слой плесени, смахивал с чемодана противный зеленый налет... Жарко и душно, жидкое оловянное небо висит прямо над головой, тяжелая чесночная вонь тянется за крикливыми колоннами хунвэйбинов с красными книжками в пластиковых обложках, а в них избранные мысли Председателя Мао, молодые девушки в длинных брюках из синего тика, девушки с коротко остриженными волосами, кричат: пусть вечно живет самое-самое-самое ясное солнце нашей эпохи! Председатель Мао! — но солнца в Пекине нет, одни тучи, моросит дождь, некоторые говорят, что это потому, что китайцы взорвали водородную бомбу, да только у нас люди везде, где бы ни очутились, за плохую погоду ответственность валят на «атом», не стоит все это принимать близко к сердцу, достаточно, что страдаешь от этой китайской погоды, которая обязана быть хорошей, а на самом деле такая, что готов дышать водой из бассейна нашего посольства, да очень уж она хлорированная... Жестокая акклиматизация! Но в сравнении с Вьетнамом — это все пустяки. За один день такой скачок: утром вылетаем из Пекина — 28 градусов, первая посадка в Ухане — 30 градусов, вторая посадка в Тсанза — 35 градусов, третья посадка в Наньинге — 40 градусов! И это в тени, потому что солнце превращает аэродромные плиты в адские!

А потом, когда темно-пурпурное солнце скрывается за черными громадами туч, страшных, как гигантские допотопные скалы, как обрывы лунных кратеров, потом, когда настает ночь и когда мы кружим над Ханоем, освещенным так, как если бы над ним летали трепетные стаи желтых птиц, потом, когда из низкой двери маленького самолета я выхожу в страну, корчащуюся на костре войны, мне кажется, что я стою у входа в туннель, ведущий прямо в земные недра, в самое пекло.

45 градусов Цельсия. Влажность воздуха 90 процентов.

Во всяком случае, так мне сказали. Проверять не хотелось. Фонари в Ханое светят тускло, целые кварталы погружены во тьму — но лишь для того, чтобы экономить электроэнергию, а не из страха перед налетом. В наши дни темнота не спасет от бомб никакой город, защитить его могут только хорошо обученные люди, у которых есть современная артиллерия и ракеты, а противовоздушная оборона Ханоя в несколько раз мощнее противовоздушной обороны любого города во время второй мировой войны. Медленно едем через Красную Реку по Длинному мосту, соединяющему аэродром с городом, мост протянулся почти на два километра, машина — старая «Варшава», вымазанная зеленовато-коричневой краской,— тянется в темпе неторопливых велосипедов, задающих скорость на мосту да, собственно, и по всему Ханою. С той стороны высоких черных ферм (посередине моста проходит линия железной дороги) из проезжающей навстречу машины доносится музыка, радио передает вьетнамскую песню, мне еще предстоит слушать ее множество раз, каждый день, пять раз на день по радио, сто раз на день от прохожих и проезжающих по улице велосипедистов. Ее поют все: и женщины, и четырехлетние дети, таскающие за спиной своих младших братьев. Но сейчас, на Длинном мосту, я еще не знаю, как называется эта песня, и думаю только о том, что делалось бы на этом мосту, если бы вдруг налетело звено бомбардировщиков,— и с этой минуты в самых разных местах, много раз на день, каждый день буду думать, что делалось бы, если бы...

Но в эту минуту не делается ничего, тьма, окутывающая мост, полна теплого болотистого запаха Красной Реки, глухо постукивают доски...

...Ханой спит в белом огне полудня. Люди отдыхают в тенистых арках. На маленьких площадях стада велосипедов, прислоненных друг к другу, пахнут смазкой и резиной, горячее облако запа-

ха неподвижно висит над ними. Сьеста — священная пора в тропиках, уже восемь раз за сегодняшний день прерванная воздушной тревогой и глубоким, далеким вздохом стартующей ракеты.

■

Сон под москитной сеткой душен, полон видений. Собственно, это даже не сон — обнаженное размякшее тело плавает в слое пота. Начинает сереть — в Польше на рассвете спится лучше всего, но здесь этот номер не пройдет! Так называемый рассвет — это лишь несколько минут сумерек, никаких проволочек, солнце выскакивает на полном ходу и сразу бьет огнем по убегающим полоскам облаков.

И в свете этого короткого, жалкого рассвета меня будит подозрительное хлопанье, ритмично повторяющееся каждые несколько секунд... Всякие уже я слышал в Ханое звуки, раскаты, уханья, шелесты и шумы: вот, скажем, огромные жабы мычат по вечерам, словно речные бакены во время тумана, и домовые ящерицы причмокивают, как будто обделывают какую-то грандиозную аферу, и бомбы ухают невдалеке, и бабахает артиллерия, и глубоко вздыхают ракеты «земля — воздух»,— но такого странного хлопанья еще не было...

Быстро входит человеку в кровь привычка реагировать на все страхом, пожалуй, даже слишком быстро. Мгновенно выскакиваю из-под москитной сетки, подбегаю к окну. И вот в этом коротком, даже не сером, а почти черном рассвете, под черным навесом пальмовых листьев вижу, еще не совсем придя в себя после вчерашнего трудного дня, нечто вроде странного ритуального танца: несколько полунагих вьетнамцев плавно изгибаются, подпрыгивают вверх и опускаются на землю, и каждый выбрасывает руку, нанося удар невидимым кинжалом... Это повторяется несколько раз, и начинается рукопашная схватка — схватка, лишь имитирующая настоящую, но движения бойцов так пластичны, так точны, что, когда она заканчивается, я явственно вижу побежденных, извивающихся в руках победителей. А эти прыжки! Мягкие, упругие, слегка присев — высоко вверх с полусогнутыми ногами — и оттуда прыжок на врага! И все это в абсолютном, удивительном молчании, и все это с удивительным самозабвением, как будто нет на свете ничего более важного, как будто ничего, кроме этого, не существует.

А это всего лишь обычная, каждодневная утренняя гимнастика вьетнамских солдат, гимнастика-схватка, гимнастика — боевая тренировка, которую делают истово и серьезно, готовясь встретить врага лицом к лицу.

Вьетнамцы продолжают свои упражнения, пока из Красной Реки не выскочит палящий шар солнца,— только хлопанье сандалий разносится по бетону двора, знаменитых сандалий из автомобильных покрышек, прикрепленных к ногам резиновыми полосками, вырезанными из камер...

Здесь все ходят в таких сандалиях. И уже немало лет. Еще во время войны с французами родилась и была охотно принята эта странная мода, странная, конечно, для нас, а не для них. Враг сегодня другой — сандалии те же самые, только раньше делали их из французских покрышек «Мишлен», а теперь из американских «Фейрстаун» и «Гудьир». Впрочем, и та и другие — фирмы мирового класса.

Помнится, когда я служил в нашей армии, носили мы ботинки с подметками на гвоздиках, и гвоздиков этих должно было быть в подметке вполне определенное число. Я был Швейк, и когда у меня гвоздики стесались, новых набивать что-то не захотелось, к тому же штука эта была трудная. Тогда ротный, которому я был известен с самой худшей стороны (неровно застланная постель, солома под тюфяком, балаган в тумбочке), влепил мне столько суток гауптвахты, сколько не хватало в ботинках гвоздей. Интересно, есть ли у кого-нибудь здесь, во Вьетнаме, время на такую глупость, как проверять глубину рисунка протектора в солдатских сандалиях?

Нет, нет, не только потому, что идет война! В этом кроется нечто большее: МЯГКОСТЬ в отношениях между начальниками и подчиненными, инстинктивная, врожденная культура взаимоотношений между людьми, тактичность.

Вот, например, приехал к нам на велосипеде побеседовать один из заместителей министра обороны ДРВ. Мундир этого офицера высшего ранга ничем не отличался от мундира любого вьетнамского солдата, тиковая рубашка с закатанными рукавами и тиковые же штаны. Маленькие красные знаки различия на воротнике расстегнутой рубашки, издали неотличимые от других войсковых знаков различия. Это был очень приятный и полезный разговор, я еще напишу о нем, но сейчас я расскажу об ином. При прощании выяснилось, что служебный велосипед отказал: спустила камера. Клеить камеру нет времени, кто-то должен заместителя министра отвезти. А по времени — сьеста, солдаты-водители спят под кустами в углу двора, спят под машинами, там тень самая лучшая, только ноги торчат. Расстроенный заместитель министра идет к этим ногам, я иду за ним и смотрю, что будет, он наклоняется и тянет рукой за одну такую ногу, через секунду высовывается из-под машины лицо молоденького солдатика, смотрит вопросительно, заместитель министра тихим, спокойным голосом спрашивает, может ли солдат его отвезти. Парнишка, вылезая из-под машины, ра-

достно улыбается — ведь именно к нему обратился известный военачальник, секунду они стоят друг против друга и смеются, в смехе министра нет и тени снисходительности или ласкового высокомерия, в смехе и позе юноши нет ни унижения, ни тайного страха. Ничего даже отдаленно напоминающего! Этот парнишка даже не стал «смирно!», НЕ ПРЕДСТАВИЛСЯ!! Потому что кому и для чего это нужно? Он — простой солдат, министр уже знает, что он шофер, его фамилия министру ничего нового не скажет, а кроме того, ОБА равны в своей борьбе за свободу своей родины. И было очень естественно, когда этот занимающий важный государственный пост офицер ткнул парнишку локтем под ребро, и вскочили они оба в машину на переднее сиденье, а уезжая, оба одинаково помахали нам.

Утро, а город уже раскален. Движение на улицах маленькое, все велосипеды, велосипеды, да и тех немного, потому что рабочий день начинается на рассвете, а я вышел в город только после завтрака... Первый выход в город! Табличка с названием улицы на углу — с чем будет она у меня связана? Высокие ограды из черного металла, над ними перегибаются на улицу ветви пальм, за пальмами большие белые виллы, с колоннадами перед входом, с верандами, зеленые жалюзи косо спущены, искрятся отблесками света; «Жарко, жарко»,— говорит по-русски, догоняя меня, маленькая вьетнамка Хань; «Да, очень жарко»,— охотно соглашаюсь я, тоже по-русски, и отныне эта маленькая девушка часто будет моей спутницей в прогулках по городу, она хорошо говорит по-русски, но только страшно медленно, и бывает, что за четверть часа мы обмениваемся всего двумя-тремя фразами. Ее зовут Хань, ее зовут так знакомо и по-польски: Ханя, и прежде чем я успеваю ей что-нибудь объяснить, она уже соглашается, и вот так рядом со мной появился живой и красивый кусочек Польши!

В Ханое до войны было миллион двести тысяч жителей. Теперь — только триста пятьдесят тысяч. Остались лишь те, кто нужен для работы и обороны. Остальные — женщины, дети, старики — эвакуированы из-за угрозы бомбежек, отправлены в джунгли. Было в Ханое трудное время — теперь это уже история,— когда Дядя Хо (так вьетнамцы зовут Хо Ши Мина) отдал первый приказ об эвакуации, и главное — только детей. Надо сказать, что вьетнамцы очень любят детей, а семья тут — самое большое счастье. И вот налетов, которых ожидали, нет, а американцы сбросили бомбы как раз на тот район джунглей, где разместили вывезенных детей. Много их там погибло... Уже пошли разговоры, что Дядя Хо ошибся в своих расчетах, первый раз с тех пор, как стоит во главе народа, ошибся, стали требовать возвращения детей назад в город, но все это продолжалось каких-нибудь три дня, и тысячи тонн американских бомб, сброшенных на Ханой, быстро изменили взгляды людей на решение, принятое Дядей Хо. Теперь бомбы падают всюду, и никогда не следует говорить, что падают неожиданно, потому что ожидать их должен каждый, пусть даже он живет в самом глухом уголке гор.

Теперь в Ханое остались только люди, нужные для защиты города и работы промышленности и систем городского хозяйства.

Как они живут?

Месячный заработок — от тридцати до шестидесяти донгов. Очень хороший, дипломированный инженер зарабатывает нередко больше ста пятидесяти донгов. Оклад министра — а легко понять, как ответственна во время войны эта должность,— около двухсот донгов. Что за это можно купить?

Политическая литература стоит от одного до трех донгов за книжку. Беллетристика - вьетнамская и переводы — от трех до шести. Маленькая граммофонная пластинка на сорок пять оборотов с записями народной музыки или солдатских песен — около четырех донгов. Велосипед советской марки, но старый, порядочно походивший,— триста пятьдесят. Новый чешский «Фаворит» — две тысячи восемьсот! Ну а французский велосипед марки «Пежо» — есть тут и такие — стоит уже целое состояние: три с половиной тысячи донгов! Практически ни у кого нет таких денег, и тем не менее я видел людей, разъезжающих на «Фаворитах» и «Пежо»! Да и вообще почти все ездят на велосипедах, хотя велосипеды страшно дороги. Откуда они их берут? Не знаю. И мне даже как-то не очень хотелось себе это объяснять. Взять у нас: средний заработок по стране что-то чуть больше двух тысяч злотых в месяц, а улицы забиты машинами ценой в десятки и сотни тысяч. Тут, видимо, надо подольше пожить среди людей, посмотреть кое-какие вещи изнутри... Так я думал, заканчивая свой первый день в Ханое, но потом оказалось, что во Вьетнаме эти вещи выглядят совсем иначе, чем у нас. Здесь нет «левых» заработков! Здесь нет бездельников, этаких пташек небесных, живущих неведомо как и неведомо на что, нет почвы для деятельности ЛЕГАЛЬНЫХ эстрадников, легально зарабатывающих около миллиона в год, в то время как доход среднего жителя в тридцать раз меньше! Шикарные велосипеды — это служебные велосипеды, они принадлежат государству, учреждениям, предприятиям, армии, редакциям газет и издательств. Это по-

---

АНДЖЕЙ БРЫХТ
МОЙ ВЬЕТНАМ

дарки от различных иностранных комитетов, обществ помощи, союзов солидарности... Мы вот сами не так давно собирали деньги на мотовелосипеды для вьетнамских журналистов — нам не понять, что значит такой велосипед для них!

Кстати о велосипедах. Мне они особенно симпатичны. Велосипед был мечтой моего детства. В сорок седьмом году я восемь месяцев ждал талона, о котором хлопотала мать, а потом с этим талоном в кулаке полгода околачивался у дверей магазина на улице Пётрковской в городе Лодзи, поджидая, когда привезут. И я его дождался! Он весил двадцать килограммов и назывался «Громада». А теперь такие щенки, как я тогда, гоняют на гоночных, весящих по семь, по пять килограммов, и достаточно зайти в магазин, будучи при деньгах, чтобы выбрать себе свое чудо из сотни других.

Поэтому не усмехайся иронически, мой друг, что так много места я уделяю вьетнамским велосипедам, что они там так дорого стоят, что они «служебные»... Надо хорошо помнить свою жизнь, свою беду, чтобы понимать чужую...

Потом, уже много позже, я спросил Ханю:

— Если эти велосипеды служебные, то почему на них установлена такая фантастическая, несусветная цена?

— На все есть своя цена,— медленно ответила Ханя.— Это их цена в валюте, переведенная в донги. Но только они не для того, чтобы их покупали или продавали. Они для того, чтобы на них ездили.

Умненькая она, эта Ханя. На главной площади Ханоя перед театром вьетнамцы должны поставить памятник велосипеду. Он заменяет здесь министерские «мерседесы» и многотонные грузовики. На нем мужья возят своих жен, на нем матери возят своих детей, видел я, как пять человек преспокойно ехали на одном велосипеде, на велосипедах идут через горы военные грузы; там, где ни одна машина не пройдет, там, где с лошадью, мулом, ослом или буйволом были бы одни неприятности,— там идет велосипед. Специальная конструкция из бамбуковых жердей — и можно грузить триста килограммов и идти полгода через горы, хоть до самого крайнего Юга! Потому что ровно полгода длится переход на Юг, через горные вершины, через перевалы, над пропастями, по кручам,— велосипед за велосипедом, человек за человеком, сотни, тысячи, капля по капле долбят стену войны, переносят сотни тысяч тонн оружия, боеприпасов, продовольствия, лекарств и промышленных товаров для партизан Юга, потом получают оружие и становятся партизанами, а велосипеды берут другие люди и возвращаются за новым грузом, навстречу беспрерывному потоку, идущему на Юг, и так вливается свежая кровь и свежие силы в эту справедливую борьбу. Потери партизан достигают шести тысяч человек в месяц, и ровно столько же новых людей приходит с Севера.

И потому, когда кончится война, я хотел бы видеть на площади перед театром памятник велосипеду из бронзы, гранита или сверкающей стали!

Кроме зарплаты горожанам выдают карточки, по этим карточкам можно получить двести пятьдесят граммов сахара и триста граммов мяса в месяц. Однако половину своего рациона люди добровольно отдают армии, и таким образом каждый работающий получает в месяц сто пятьдесят граммов мяса. Кроме этого каждый вьетнамец получает шесть метров тика и четыре метра полотна в год. Из этого шьется белье, и рубашки, и штаны. И все вьетнамцы ходят одинаково одетые, и это их ничуть не печалит.

Прямо за углом — строительная площадка. Большая группа женщин перемешивает цемент, песок и гравий, наливает эту кашицу в формы, рядом уже стоит несколько готовых изделий, это кольца, вроде тех, из которых у нас делают колодцы, только более узкие и низкие, двух колец, поставленных одно на другое, достаточно, их закапывают в землю, на каждой улице через каждые несколько метров, а в оживленных местах через каждые два-три шага эти маленькие колодцы, но не для воды, нет — просто во время тревоги в них прыгают люди, в каждый по человеку, а согласно военной терминологии это называется «индивидуальное укрытие». Весь Ханой утыкан этими укрытиями, на каждой улице женщины делают эти колодцы. Правда, я не видел, чтобы кто-нибудь в них вскакивал, хотя тревог повидал в Ханое достаточно. Люди охотнее уходят в большие коллективные убежища, которых по нескольку на каждой улице, с несколькими коридорами и выходами. Вьетнамцы теперь не очень-то боятся, привыкли к такой жизни... Сирена воет, а они неторопливо идут к убежищам, останавливаются около и с интересом смотрят в небо. Порой, когда делается чересчур уж горячо, кто-то спускается в убежище. Остальные сидят спокойно на земле и ждут. Чего? Может быть, смерти от бомбы? Какое! Этого вообще не берут в расчет, об этом никто серьезно не думает. Они ждут, когда будет сбит самолет! Ведь это здорово, увидеть своими собственными глазами, как ему там, в небе, дадут, и он будет метаться как ошпаренный, а потом из него поползет все, что в нем было: огромное облако дыма и огня!

— Мы живем для того, чтобы сбивать их,— говорит маленькая Ханя, имеющая звание капрала.— И когда ты увидишь, как его сбили, ты уже никогда не будешь бояться самолета!

■

Все винтовки нацелены на меня!

И зачем только я сюда пришел, на этот пригорок, поросший жесткой травой и ощетинившийся зубами смерти!

Я один, я безоружен... Я знаю, как нужно держаться в подобных случаях... По крайней мере, они не будут стрелять! По крайней мере, они меня не убьют!

Иду прямо на сорок дул, громко смеясь и подняв руки вверх. Тогда над черными дулами блестят смеющиеся черные глаза, дула нестройно колеблются, белые зубы поблескивают на солнце.

— Лен су, лен су! — орут сорок мальчишеских глоток, ибо это мальчишки, а не солдаты...

Винтовки опускаются, мальчишки бегут ко мне, хватают за руки, верещат радостно, довольные своей шуткой, моим притворным страхом и тем, как я поднимал руки, и что вообще все так случилось, что я стал воображаемой учебной целью...

— Лен су, лен су!

Развожу руками, не могу понять, что им надо. В ответ мне командир — он лишь немного старше своих шестнадцатилетних подчиненных — говорит по-русски:

— Здравствуйте, товарищ...

Что ж, будем беседовать по-русски, хотя я и очень плохо говорю...

Объясняю, что говорю плохо, а он мне на это:

— Вы не русский человек?

— Нет, я польский...

Тогда командир что-то коротко говорит мальчишкам, кричащим «Лен су, лен су», и они сразу перестают кричать это таинственное «Лен су», а вместо этого начинают:

— Ба лян, ба лян!

Опять развожу руками.

— Что это значит?

Командир машет на мальчишек, чтобы перестали. С серьезным лицом объясняет:

— Понимаете, «лен су» значит «советский человек». А «ба лян» значит «польский человек», вот и все...

Нет-нет, совсем не все. Каждый по очереди подает мне свою маленькую изящную руку, взяв перед тем винтовку в левую, каждый с улыбкой говорит одно и то же таинственное слово «донти», полное уважения и приязни, каждый...

А, собственно, почему каждый? И к тому же без причины, без потребности, без видимой цели...

Есть причина. Есть потребность. Есть цель.

Эта причина — война, в которой благодаря помощи «лен су», и «ба лян», и многих других друзей Вьетнам стал сильным, стал непобедимым препятствием на пути агрессора.

Эта потребность — их внутренняя потребность выразить чувства дружбы, искренней симпатии, братства, уважения.

Эта цель — благородное желание неустанно укреплять нашу дружбу всеми доступными им способами, пусть даже простым рукопожатием, которое у нас стало банальным жестом, зачастую лишенным значения и смысла, и которое здесь, во Вьетнаме, приобретает наконец свое истинное, первоначальное, прекрасное значение.

С этим «лен су» дело обстоит так: каждый белый человек на улицах Ханоя — это прежде всего лен су, а потом можешь объяснять, кто ты есть — поляк, чех, венгр, немец из ГДР...

Первое восклицание — это «лен су!», только потом все остальное.

Ты скажешь, что слишком огромное это слово — «любовь». Ты скажешь, что я, наверно, не особенно тщательно присматривался. Возможно. Но я знаю абсолютно точно: русских они любят. Они искренне и откровенно любят людей из Советского Союза, и это великое чувство своим ласковым крылом осеняет здесь, под раскаленным добела небом Вьетнама, и нас.

Этот простой вьетнамский крестьянин, с которым я разговаривал на пальцах под кроной бамбука на берегу Тихого океана,— этот старик, который всю свою жизнь провел в своей деревне, маленький, согбенный и босой, который так проникновенно повторял одно и то же слово: «Ба лян, ба лян»,— этот человек, стиснувший своими маленькими жесткими руками мою потную ладонь, видел ли он хоть раз в жизни карту мира? Знает ли он, что такое Польша, где она находится, ее историю, ее войны, как живут сейчас в ней люди, такие, как ты, как я?

Нет. Он ничего этого не знает. Но зато он знает, как живут сейчас в его стране такие, как он. Он знает, что из-за моря пришли злые люди, поставили огромные железные лодки в пятнадцати милях от берега и выпускают с них блестящих быстрых металлических птиц, в которых сидят люди, стреляющие в него и бросающие бомбы на его бамбуковый дом. И он знает, что такие, как мы, кого называют «ба лян» или «лен су», пусть и похожие с лица на его врагов, совсем иные, что такие люди, как мы, помогают таким людям, как он, бороться, выдержать, жить.

Они, живущие в борьбе с той минуты, как сложилось их государство, две с половиной тысячи лет,— сначала против китайских феодалов, потом против французских колонизаторов, потом против японских оккупантов, потом снова против французских неоколонизаторов, а

теперь против американских агрессоров, они, боровшиеся ВСЕГДА против более сильного противника, против победителей, и сохранившиеся как нация, внутренне объединившиеся; они, в которых несмотря на эти бесконечные войны нет и тени психического надлома; они, родящиеся и умирающие в борьбе; они, у которых в самые мрачные периоды их истории не было друзей; они, которые могли рассчитывать лишь на собственные силы; они, больше всего любящие свободу, наделенные от природы нечеловеческой выносливостью и звериным инстинктом, и вместе с тем талантливые и непосредственные,—

они умеют ценить помощь в борьбе.

Поэтому они любят русских.

Поэтому они любят нас.

Касаясь твоей руки, они касаются надежды, которая обрела реальное обличье, ибо то, что ты среди них, означает, что из твоей страны к ним прибудут новые орудия, самолеты, винтовки, ракеты — все, что нужно для победы, для того, чтобы надежда стала плотью свободы Вьетнама.

Вот почему то, что ты находишься во Вьетнаме, имеет для них такое большое значение. Вот почему они кричат: «Лен су!» Вот почему они кричат: «Ба лян!» Ибо это имена их друзей, имена их свободы — истерзанной, борющейся.

И поэтому тот старый крестьянин на берегу Тихого океана, с чувством повторявший свое «ба лян» и сжимавший мне руку, вовсе не обязан знать, в чем разница между «лен су» и «ба лян», вовсе не обязан знать, где находится Польша и как она называется на его языке, и у нас нет права быть к нему за это в претензии (попробуйте-ка спросить польского крестьянина, сколько километров от Варшавы до Ханоя), напротив, мы должны оценить эту почти не встречающуюся в наше время вещь: эту удивительную гармонию личных чувств и чувств общих, интересов — их и наших. Как же безошибочно они это чувствуют, даже самые необразованные!

Сплоченность общих интересов.

В каждой беседе вьетнамцы подчеркивают:

«Мы воюем не только за себя. Мы воюем за весь социалистический лагерь. Мы преграждаем дорогу всему неоколониализму. Мы не даем возможности империализму подобрать ключи к Азии. Мы все время напоминаем ему об одной древней истине, которую всегда опускают в своих расчетах агрессоры: маленький народ, достоинство которого пытаются растоптать, становится великим народом, победить который невозможно».

Мы, поляки, кое-что знаем об этом...

Но перед вьетнамским крестьянином, который пожимает мне руку и смотрит мне в лицо с такой невыразимой доверчивостью, что больно делается, я стою смущенный и беспомощный. Что, если он думает, что я через минуту дам ему пистолет, винтовку, миномет или обойму патронов? Если он надеется, что мое получасовое вторжение в его долгую и трудную жизнь приведет к каким-то переменам, что-то переставит, перевернет, сделает что-то, чем он и другие жители деревни будут довольны и горды? Что мне делать, если он так думает? А эта сердечность, эта доверчивость, эти слова — ведь они прямо говорят об этом!

Нехорошо. Он не знает, что единственное, что я могу сделать, — это описать его лицо, его фигуру, его сердечные слова — описать это на незнакомом ему языке, добавить в это немного своих сомнений, вот и все, ибо что изменится для этого человека от того, что кто-то с другого конца земли неточно и бегло опишет его, даст сигнал, что вот, мол, живет такой человек, неизвестный вьетнамский крестьянин, не знающий ни радио, ни кино, ни телевидения, ни газет, у которого есть только одно: острое чувство братства с такими же, как он, любящими свободу людьми ..

И поэтому мне бы очень хотелось поставить им там, посередине деревни, новенький скорострельный пулемет!

Ибо стрелять они умеют все.

Те ханойские мальчишки, те сорок, от которых я в первый раз услыхал, как называется по-вьетнамски Польша, учились стрелять. Собственно, учились только готовиться к выстрелу, прикладывать оружие к плечу, совмещать мушку с прицелом... Да и учились, на мой позднейший вьетнамский взгляд, немного запоздало, потому что через несколько дней я видел тринадцатилетних, попадающих с трехсот метров из тяжелого винтаря в консервную банку, почти не целясь! А этим ханойцам, здоровенным мужикам, было по шестнадцать! И поднимали винтовки, и прицеливались, и опускали, и поднимали, и так без конца, что значит — до самой сьесты.

А рядом другая группа отрабатывала удар штыком и прикладом. Прямо на улице, по которой едут толпы велосипедов и порой проезжают машины, стояли вырезанные из фанеры и обернутые тростниковыми матами фигуры американцев в шлемах, босые ребята, на мгновение полуприсев, бегом бежали к чучелам, один за другим, колонной, ударяли штыком, били прикладом, поворачивали и бежали назад, к исходному пункту, и без малейшего отдыха бежали снова, на тех же самых расстояниях друг от друга и в таком темпе, что никто ни с кем не сталкивался,— все шло изящно, как в балете, и фантастически быстро, без отдыха, словно живая конвейерная лента,— ударяя штыком и прикладом до тех пор, пока от макетов не полетели ошметки и не пришлось прервать тренировку, чтобы поставить новые.

Да, это не забава. Я видел лица этих

мальчишек, их глаза, когда они бежали на свой кровавый спаринг — мертвые чучела были для них живыми, грозными, их надо было убивать!

Такие учения проходят на многих улицах города. Был бы свободный дворик, была бы не слишком оживленная улица — и вот уже учебный бой.

Бою учатся здесь самозабвенно! В армию теперь идут по нормальному призыву шестнадцатилетние мальчишки. И отменены в армии все отпуска. И каждого, если только он не болен, учат стрелять не только из винтовок, но и из пулемета, и из зенитных орудий, и из крупнокалиберных пушек, из гаубиц! А у рабочих в городах нет ни свободных праздничных дней, ни воскресений, они работают все время, а определенные часы отведены занятиям по самообороне — стрельбе, маскировке, организации засад, изготовлению мин домашним способом, из горшков и чайников; они учатся разряжать невзорвавшиеся снаряды и бомбы и извлекать из них взрывчатку, учатся многим таким вещам, какие нам даже и не снились и о которых даже во время гитлеровской оккупации было известно лишь избранным, сравнительно немногочисленным боевым группам.

Здесь воевать умеет каждый. Здесь нет баб, ломающих руки и воющих, едва только послышится стрельба,— здесь деревенские женщины, что шестнадцати-, что шестидесятилетние, носят во время полевых работ за спиной винтовки! Здесь нет ресторанных девиц, занятых только своими юбками,— здесь женщины, если надо, носят на себе по тридцать два кирпича сразу, а каждый кирпич весит два килограмма!

И при всем этом так часто, так очень часто здесь встречаешь истинно красивых женщин. Женщин, проходящих мимо с гордостью и достоинством, женщин, походка которых — поэзия, а движения — музыка.

Удивительный мир! Здесь все друзья друг другу. Это маленькое, легкое слово «донти» — с ударением на «ти», а «т» выговаривается как среднее между «т» и «ц»,— это маленькое слово, которое пишется «Dongthi», слышится всегда и всюду: донти, донти, донти... Это маленькое, красивое, необыкновенно изящное слово значит: ТОВАРИЩ.

■

Я спрашиваю:

— Послушай, Нгуэн, в чем, собственно, заключается эта война, с точки зрения техники «выдерживания»? Как это может быть, чтобы после бомбардировок на этой земле хоть что-нибудь еще оставалось? Люди, читающие газеты, отказываются верить в цифры, которые им сообщает пресса, потому что, если посчитать все уничтоженные за последние годы мосты, разрушенные села и города, стертые с лица земли, и превращенные в месиво дороги, то получится, что уничтожено куда больше, чем всего этого было до начала войны! Как это может быть? Куда девались люди из эвакуированных городов? Что делают люди, у которых сожгли их деревни? Как можете вы жить под этим нескончаемым гнетом страха и опасности?

Нгуэн смеется...

— Ты много поймешь за эту дорогу, — говорит он. — А в случае чего я тебе объясню. Вот сейчас, видишь? Теперь они будут бомбить нас...

Там, где мы едем,— только скалы, высокие и крутые. И вдруг наши машины одна за одной сворачивают прямо в скалу...

Ход узкий, только-только чтоб уместилась машина. Едем дальше, включаем фары. Мы в огромном готическом соборе. Над нами потолок толщиной более тысячи метров.

— Здесь мы в безопасности! — говорит Нгуэн.— Этого не пробить ни одной бомбе. В таких природных пещерах находится немало наших предприятий...

Грохот бомб слышится здесь глухо, словно пьяный сосед колотится головой о стенку.

— Вы судите о нашей войне по своим меркам,— говорит Нгуэн.— В вашем воображении есть готовые образы тех понятий, которые употребляют, когда говорят о войне. Дом, мост, деревня, дорога — как будто то же самое и для вас и для нас... А это совсем не одно и то же! Но сначала давай отдохнем и напьемся чаю...

И он открывает большой китайский термос, разрисованный цветами.

...Трогаться в путь еще нельзя — по прежнему слышатся глухие взрывы бомб, и, наливая очередную чашку, Нгуэн говорит:

— Вам кажется, что столица нашего государства, Ханой, это то же самое, что столица какого-нибудь европейского государства. А все дело в том, что между ними принципиальная разница.

— Какая же?

— А такая, что сущность европейской столицы, ее роль в жизни государства заключена в **учреждениях**. Сущность нашей столицы заключена в **нас**...

— Не понимаю,— говорю я, но уже догадываюсь, что скрывается в словах вьетнамца.

Он смеется, немного сконфуженный.

— Не пойми меня плохо. Я лучше всего покажу это тебе на примере наших врагов. Представь себе, что в целях обороны во время войны внезапно потребовалось эвакуировать из Нью-Йорка восемь миллионов человек. Остаются толь-

ко молодые, сильные, умеющие обращаться с оружием. Автострады разбиты. Миллионы человек в течение недели должны уйти из города, пешком или на велосипедах преодолеть сотни километров и поселиться в лесах, в деревнях — словом, в тех местах, которые вы зовете «дырами»...

— Думаю, для них это было бы нелегко...

— Вот именно,— говорит он.— А наши ушли из Ханоя в полной тишине, спокойно, организованно. Больше миллиона человек. Ушли туда, где условия по сравнению даже с самыми плохими — ужасны. И должен тебе сказать, что люди, уходя из города, радовались, а не плакали. Потому что в городе, как ты знаешь, карточки: сто пятьдесят граммов мяса в месяц да двести граммов сахару. А в деревне с питанием легче. Фрукты, много фруктов, которых в городе не получишь даром. Крабы, моллюски, устрицы, птицы, лягушки, змеи, улитки, их сколько угодно на побережье, в джунглях, в сельской местности, и это все очень вкусно. Проблемы, которая для американцев может оказаться такой острой и порою даже неразрешимой, для нас попросту не существует. У нас при рационе в пять маленьких горсток сушеного риса в день работают, не щадя себя и без выходных дней.

...У нас нет ни телефонов, ни гор бумаги, которыми необходимо подпирать власть, зато у министров крепкие ноги. Все искусство управления в нашем государстве основано на том, чтó один человек на велосипеде скажет другому человеку на велосипеде и как быстро они оба доедут до пунктов назначения.

— И только?

— Нет. Еще одно: насколько то, что один скажет другому, будет этим другим понято, принято и выполнено. Но, как видишь, живем, и достаточно активно, чтобы нас заметил весь мир. И при всем том очень редко пользуемся телефонами, пишущими машинками и печатями. Наконец, в Ханое нет ни одного **центрального учреждения,** ни одного **органа власти,** уничтожение которого могло бы разрушить нашу систему обороны. Все, что имеет для нас хоть какую-то ценность, скрыто в густых джунглях под плотно сплетенными кронами...

Мы хотим, чтобы у нас были города,— говорит Нгуэн.— Хотим, чтобы электрический свет был в любом уголке Вьетнама. Мы хотим, чтобы у нас были бетонные автострады, автомобили, красивая одежда. Кому этого не хочется? Но какой ценой все это получить, каким путем и для чего? Мы хотим, чтобы все это было **наше.** И чтобы все это было у каждого.

У нас все иначе, не так, как вы себе это представляете! Когда у крестьянина сгорит дом или бомбой его разобьет, то этот крестьянин, если останется жив, в тот же день ставит себе новый дом. Протяни руку — и бери строительный материал, **бамбук...**

Иногда они бросают на нас листовки, призывают саботировать указания партии, сбрасывают деньги, бумажки из двух частей — одна — настоящий донг, а другая — листовка со словами: «Их будет у тебя еще больше, если поможешь нам победить коммунистов». Отрывай листовку от банкноты и иди за покупками. Но таких не находится. Люди несут все это своим секретарям партии. Американцы сбрасывают одежду, старые транзисторные приемники, которых, должно быть, уже никому не могут продать, сбрасывают фотографии улиц Сайгона со множеством автомобилей на первом плане, чтобы показать, как хорошо живется под их американской властью вьетнамцам. Но крестьянин относит находку руководителям и берет новый запас патронов для своей винтовки, чтобы стрелять по сверкающим заокеанским страшилищам, которые несут смерть и хотят его убить.

А дороги? А мосты? Не думай, что наши мосты — это нечто подобное их мостам на Миссисипи: если бы такой мост был уничтожен, то сначала нужно было бы победить агрессора, а потом уже ценою больших денег восстановить мост. Наши мосты все и меньше размерами, и требуют на ремонт меньше средств. Да их, впрочем, и не ремонтируют, а попросту заново наводят, потому что, когда бомба попадает в такой мост, от него остаются одни щепки. Однако сначала нужно попасть, а на сверхзвуковой скорости угодить бомбой точно в трехметровой ширины мост нелегко. И к тому же, заметь, бомба стоит дорого, куда дороже моста, не говоря уж о самолете, который, того и гляди, собьют. Но пусть даже мост разрушен. Налет закончен. Из пещерных укрытий в скалах, из подземных бункеров выходят люди. Приносят укрытые невдалеке большие связки бамбука, приготовленные заранее. Бросают их в воду, протягивают от берега к берегу канаты. Работы всего на несколько часов. И снова по мосту идут люди, едут велосипеды, тяжелые грузовики. Бамбук — штука крепкая. И тут его сколько угодно. Американцы со своей сверхтехнической техникой ничего не могут поделать с бамбуком, потому что мы защищаем бамбук, а он нас. Примерно так же обстоит дело и с дорогами. У нас нет асфальтированных шоссе, ремонт которых во время войны был бы нам не под силу. Зато есть длинные полосы утрамбованной земли, есть дамбы между рисовыми полями. И опять проблема: попасть в такую нитку, когда пролетаешь тысячу километров в час! Чаще всего бомбы падают в грязь рисовых полей, в джунгли, в скалы. Но если все-таки бомба попадает... У нас в принципе нет саперных частей. Есть от-

ряды самообороны, которым поручена эта работа и которые ей обучены. В отрядах — главным образом женщины. И как только налет заканчивается, выбегают пятьсот, тысяча, три тысячи человек, все зависит от размеров повреждений, несут корзины, полные земли, глины, песка, камней бамбуковых щепок, и с помощью самых примитивных инструментов, а чаще всего голыми руками засыпают воронки, заравнивают выбоины, укрепляют, трамбуют... Длится это, ну, скажу конкретно: воронку от полутонной бомбы ликвидируют через два часа. Неплохо?

Я думаю о том, что рассказал мне мой приятель Нгуэн, думаю о нем, четверть своей жизни прожившем в моем городе, о том, что это не наложило на него ни малейшего отпечатка, выделявшего бы его среди его собратьев, что в нем нет даже тени фальшивого превосходства, которому ничто не мешало затаиться где-нибудь в глубине его души за эти долгие семь лет жизни в какой ни на есть, а — **Европе.**

Мы уже можем оставить нашу пещеру размером с готический собор. Громкие голоса часовых у входа. Всеобщее возбуждение.

— Самолет сбили! — весело кричит Нгуэн.

Едем туда. Может быть, позволят посмотреть.

Езды не больше трех километров, но это заняло у нас добрых полчаса. За это время мне объяснили, что мы едем на кладбище американских самолетов. До недавних пор в Северном Вьетнаме было лишь несколько таких кладбищ. Их пришлось разбить на множество маленьких, потому что американцы принялись их усиленно бомбить. Старались затереть слишком заметные следы своих военных неудач. Поэтому теперь то там, то здесь лежат разбитые фюзеляжи, то пять-шесть штук, то несколько десятков, в каждой провинции по нескольку таких великолепных свалок металлолома. Ту, к которой мы ехали, бомбили уже раз десять, но без особого успеха.

Спрашиваю Нгуэна, много ли во Вьетнаме пленных американцев. Он смеется.

— Не знаю. Но есть. Американцы уверяли, что их пилоты в плен не сдаются. Тогда наши устроили небольшой показ. С тех пор американцы не ставят под сомнения наши данные...

Приехали. Оказывается, летчик со сбитого самолета спасся, но попал в плен. Случилось это в самом начале налета. Сразу же под охраной истребителей-бомбардировщиков прилетел вертолет, чтобы спасти сбитого пилота. Сбили и вертолет. Он упал на землю, взорвался и сгорел. Привязанные ремнями летчики тоже сгорели.

Нас ведут к вертолету. Белые лапки фонариков гладят мокрую траву. За невысоким нагромождением скал на маленькой полянке лежит еще щипящий остов. Нас окутывает странный, острый и одновременно приторный, запах. Подходим ближе, это дым. Сгоревшая резина, свернувшаяся краска, скрученный от жара металл.

А вот люди. Узкие лучики фонариков выхватывают четыре обуглившихся трупа среди искореженных, порванных листов металла.

Один из трупов лежит чуть поодаль, метрах в трех от пожарища. Подхожу, свечу фонариком. Все сгорело, комбинезон сплавился с телом в одну темную, округлую массу.

Только рука, выброшенная вперед, осталась целой Рука вцепилась в траву, словно он хотел, чтобы трава вытащила его из огня. Свечу на эту руку и смотрю долго-долго пока она не становится в моих глазах неестественно, ослепительно белой. И тогда замечаю на запястье часы, слегка прикрытые разорванной манжетой куртки. Наклоняюсь, всматриваюсь. Вижу зеленую секундную стрелку, бегущую по циферблату. Смотрю на нее полных два оборота.

До рассвета еще час.

Перевод с польского В. ДЕМИДОВА

НАШИ ГОСТИ

ПИСАТЕЛЬ ИЗ «КАМЕННОЙ СТРАНЫ»

Самая богатая и развитая литература Африки — в изгнании. Писатели, которыми могла бы гордиться любая другая страна,— и не только на африканском континенте,— вынуждены скитаться вдали от родины. Двенадцать тысяч запрещенных цензурой книг и лишь два писателя-неевропейца, не уехавших еще за границу. «Тюрьма, изгнание и цензура,— пишет журнал «Презанс Африкэн»,— практически лишили эту страну ее писателей-африканцев». Такая же участь постигает и белых писателей, если они осмеливаются выступать против существующего порядка вещей.

Речь идет о Южной Африке, или, как ее официально называют, Южно-Африканской Республике.

Алекс Ла Гума, «цветной» южноафриканский писатель, не составляет исключения.

— Прежде всего я должен сказать, что сейчас живу в изгнании, в Лондоне. Родину я покинул в 1966 году,— так начал Ла Гума в нашей редакции рассказ о себе.— Жизнь моя складывалась нелегко. В 1956 году я был посажен в тюрьму по обвинению в государственной измене. Четыре года длился процесс, и в конце концов меня оправдали. Но в 1960 году я снова угодил в тюрьму, когда ввели закон о чрезвычайном положении. В следующем году меня опять арестовали за участие в забастовке. В 1962 году я был приговорен сроком на пять лет к домашнему аресту. В течение того времени, которое я провел под домашним арестом, снова привлекался к суду. Меня так же как и мою жену, содержали в одиночной камере. А в 1966 году, накануне моего отъезда в Англию, меня опять посадили в тюрьму и держали там без суда и следствия...

Одним из самых обещающих молодых писателей Южной Африки назвал Ла Гуму известный публицист и общественный деятель ЮАР Брайан Бантинг. Советскому читателю известны две его первые повести — «Скитания в ночи», «И нитка, втрое скрученная...». Недавно в ГДР в издательстве «Севен сизбукс» вышла новая книга Ла Гумы — «Каменная страна».

— Помню, в 1960 году,— продолжал Ла Гума,— будучи в тюрьме, я узнал, как тяжело раненный заключенный скончался в полицейском фургоне. И тогда, под впечатлением этого случая, я написал свою первую книгу «Скитания в ночи». Повесть «И нитка, втрое скрученная...» я написал, когда находился под домашним арестом, а «Каменную страну» — в последний период моего пребывания в Южной Африке, в тюрьме. Замысел этой книги родился у меня в 1963 году, когда я в очередной раз был арестован, на этот раз по обвинению в хранении нелегальной литературы. Меня тогда посадили вместе с осужденными, хотя я и находился еще под следствием. Со мной в камере сидел девятнадцатилетний парень, приговоренный к смерти за убийство человека с целью грабежа. Он, кажется, украл часы. Для меня это был пример вопиющей несправедливости. Было ясно, что этот человек не родился преступником — общество, в котором он жил, сделало его таким. Я помню, как он подошел проститься со мной, когда его уводили для исполнения приговора. В камере меня окружали люди грубые, ожесточенные, искалеченные режимом, царящим в стране. Но что меня особенно поразило, так это то, что несмотря на ожесточенность в большинстве из них сохранилась искра человечности. И вот эти мои наблюдения,

человеческое тепло и гуманность, которые я почувствовал там, где от них, казалось бы, не должно остаться и следа, вдохновили меня на написание «Каменной страны». В центре этой книги — молодой человек, коммунист, попавший в тюрьму за политические убеждения.

Тюрьма настолько тесно переплелась с жизнью и творчеством Ла Гумы, что, говоря о своих творческих планах и о тех препятствиях, которые встают на пути к их осуществлению, он в шутку замечает: «Я хочу обратиться в английское министерство внутренних дел, чтобы меня отправили в тюрьму, где я действительно смог бы серьезно заниматься работой — все-таки есть крыша над головой, кормят кашей и никаких забот о хлебе насущном». Писатель уже хорошо представляет себе две будущие книги, одну — о подпольной борьбе в Южной Африке, а вторую — лирическую, о любви. «Я надеюсь,— замечает он,— что у меня будет возможность написать эти книги».

В 1927 году дважды — в марте, а затем в ноябре, на празднование десятой годовщины Октябрьской революции,— в Москву приезжал один из руководителей движения за свободу цветного населения, член ЦК компартии Южной Африки Джимми Ла Гума. А ровно через сорок лет, по удивительному стечению обстоятельств, также сначала в марте, проездом на Бейрутскую конференцию афро-азиатских писателей, и потом в ноябре, в связи с торжествами по случаю пятидесятилетия Октября, Советский Союз посетил его сын — Алекс.

— Мой отец,—вспоминает Ла Гума,—был сапожником, рабочим на алмазных копях, потом занялся профсоюзной деятельностью. В 1925 году он вступил в компартию. А моя мать была работницей на табачной фабрике. Я воспитывался в семье революционера, и это повлияло на всю мою жизнь. Девятнадцати лет я вступил в молодежную коммунистическую организацию, а затем — в компартию. Был членом городского комитета партии Кейптауна, участвовал в национально-освободительном движении. Я не могу утверждать, что всю жизнь меня влекло к литературе. Когда я учился в школе, учителя всегда выбирали мои сочинения, чтобы прочитать их перед классом, а сверстники любили слушать мои рассказы. Но тогда мне и в голову не приходило, что я стану писателем. После школы я поступил в техническое училище. Тогда же я занялся рисованием, но живопись была мне не по карману. Я стал рядовым пролетарием, работал металлистом на заводе. Однажды меня попросили написать отчет для газеты (о спорте или о чем-то еще); после того как я его написал, мне предложили постоянно сотрудничать в газете, писать очерки. Я занялся газетной работой и в конце концов стал профессиональным журналистом. Однажды участвовал в конкурсе на лучший рассказ и получил поощрительный диплом. Это был мой первый рассказ...

Когда молодому метису, жившему в одном из самых бедных и страшных районов Кейптауна, довелось прочесть несколько рассказов Горького, он почувствовал, насколько русский писатель близок ему. Все, что изображает Горький, говорит Ла Гума, очень похоже на то, что происходит у нас, на то, как живут люди в Южной Африке. Особенно это относится к роману «Мать» и пьесе «На дне».

Рассказывая о жизни Шестого района Кейптауна, населенного, в основном, цветными, или о тюрьмах фашистской ЮАР, Ла Гума выводит на страницы своих книг обитателей «дна», всех тех, кого белые правители «каменной страны» обрекли на скитания и нищету. Но Ла Гума примыкает к горьковской традиции не в силу пристрастия к теме «дна», а благодаря своему отношению к изображаемому — стремлению понять этих падших людей и найти социальные причины их падения. Он верит, что ночь, окутывающая тринадцать миллионов жителей Южной Африки — четыре пятых населения страны,— минует. И эта вера вдохновляет его на борьбу, которую он вел на родине и которую он продолжает вести и сейчас, находясь в изгнании.

— В Лондоне,— говорит он,— живет большая группа политических эмигрантов из Южной Африки. Цель их политической деятельности прежде всего — привлечь внимание мировой общественности к тому, что происходит в Южной Африке.

Южноафриканские писатели-эмигранты, разбросанные по всему миру, не потеряли связи с родиной, с той борьбой, которую ведет их народ против расистского режима.

— Главная трудность,— продолжает Ла Гума,— заключается в том, что все писатели, которые находятся в изгнании, попали в черный список и в Южной Африке их произведения запрещены. Совсем недавно правительство издало список писателей, публицистов, журналистов, чьи работы не могут распространяться в нашей стране, нельзя даже упоминать их имен. Правда, этих писателей не печатали еще задолго до того, как они были вынуждены уехать, так как издательства находятся в руках крупных бизнесменов, которые поддерживают политику правительства. Поэтому большинство писателей и тогда было вынуждено печататься за границей. Полиция зорко следит за деятельностью организаций, которые могли бы помочь нам в распространении наших книг. И все же я знаю, что произведения, которые издаются не в Южной Африке, находят туда путь. Например, мне известно, что мои книги проникли в Южную Африку, и их там читают. Я думаю, что влияние литературы протеста, возникшей на почве расового конфликта, огромно, хотя правительство и пытается ее задушить. Как это ни горько, но приходится отметить, что популярность многих наших писателей за границей обратно пропорциональна их известности на родине. Но неизбежно также и то, что писатель завоевавший популярность на

Западе, становится известным и в самой Южной Африке, и люди, которых интересует литература протеста, умудряются доставать наши книги и читать их.

Вынужденные заниматься поденным газетным трудом для того, чтобы как-то обеспечить себя и свои семьи, живущие в изоляции в чужих странах, южноафриканские писатели, по словам Ла Гумы, «находятся тем не менее в хорошем моральном состоянии, потому что все они преисполнены уверенности в конечной победе их дела».

Ну, а какие произведения ваших коллег произвели на вас наибольшее впечатление? — спрашиваем мы нашего гостя в заключение.

— Я всегда избегал выступать с оценками произведений моих товарищей. Это очень трудное дело. Кстати, однажды меня спросили,— говорит Ла Гума смеясь,— кто, по моему мнению, самый крупный писатель Южной Африки. Уклоняясь от ответа, я сказал, что скромность не позволяет мне ответить на этот вопрос.

А. СЛОВЕСНЫЙ

«ПАРТИЗАНСКОЕ КИНО» ДЗАВАТТИНИ

«Выражение требований своего времени всегда было истинной задачей всех видов искусства, и кино нужно призвать к выполнению именно этой задачи... Я призываю рассказывать жизнь не в плане сюжетной интриги, а в плане обычного человеческого существования... Поэзию нужно искать в окружающей действительности». Таковы были основные принципы, провозглашенные «отцом» и «мозгом» неореализма, как называли в Италии в конце 40 — начале 50-х годов Чезаре Дзаваттини — известного писателя-сатирика, надолго оставившего художественную прозу ради развивавшегося в итальянском кино молодого направления — антифашистского, гуманного, глубоко народного и демократического. Имя Дзаваттини-сценариста, Дзаваттини — теоретика кино, отстаивавшего поэтику неореализма в самой ортодоксальной, порой парадоксальной, неизменно боевой, полемической форме, заставило многих позабыть Дзаваттини-писателя, чьи антиконформистские сатирические повести и коротенькие сюрреалистические рассказы пользовались в 30-е годы немалой популярностью.

Творческая практика, метод Дзаваттини-сценариста полностью соответствовали его поэтике: «Я выхожу на улицу и беру «с натуры» отдельные слова и фразы, целые разговоры. Мои главные помощники — память и стенография. Потом я проделываю со словами то же, что проделывают с изображениями на пленке. Я отбираю, режу собранный материал, стремясь придать ему требуемый ритм, уловить и правильно осознать его внутреннюю сущность».

Но эти «подглядывание» и «подслушивание» жизни у Дзаваттини никогда не были механической регистрацией. Отбор материала и его монтаж неизменно подчинялись гуманной идее—это был протест против социальной несправедливости, против бездушия буржуазного общества. «Тема бедности—это тема, раскрытию которой можно посвятить, всю жизнь»,— писал Дзаваттини. И он раскрывал ее в сценариях таких шедевров неореализма, как «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Умберто Д», «Крыша», «Рим в 11 часов», как более поздние «Чочара», «Бум», «Брак по-итальянски», и в десятках других лент. Большинство этих фильмов созданы Дзаваттини в тесном содружестве с режиссером Витторио Де Сика. Советский зритель давно знает Дзаваттини-кинематографиста, и не только по фильмам, но и по опубликованным у нас переводам его сценариев и «Некоторых мыслей о кино».

И вот Чезаре Дзаваттини в Москве. Он приехал как общественный деятель — ведь он один из бессменных руководителей движения итальянских сторонников мира (ему в 1955 году была присуждена Международная премия Мира), один из четы-

рех президентов общества «Италия — СССР», глава массового движения киноклубов. В Советском Союзе Дзаваттини впервые, и вскоре по приезде он посетил редакцию журнала «Иностранная литература». Еще в 1956 г. наш журнал поместил статью С. А. Герасимова о творчестве Дзаваттини, в 1960 г. опубликовал его записки о пребывании на Кубе (Дзаваттини помогал рождению молодой кубинской кинематографии), а в этом году в третьем номере журнала напечатаны отрывки из его «Дневника кино и жизни».

Беседа касается главной темы, волнующей сегодня неутомимого и, несмотря на свои 65 лет, полного боевого задора Дзаваттини. Это свободные киножурналы, или «партизанское кино», которое, по его мнению, должно занять ныне в общественной, культурной и художественной жизни Италии то место, которое занимал неореализм.

— Теперь итальянское кино,— говорит наш гость,— в подавляющем большинстве случаев не ставит перед собой никаких общественных задач—ни в политическом, ни в социальном, ни в моральном плане. В противовес обычному, «официальному» кино с его громоздкой и насквозь коммерциализированной структурой надо организовать широкое, массовое движение «свободных киножурналов». Каждый может и должен снимать «свой» фильм, тем более что съемочная кинокамера теперь по карману почти каждому (дать каждому в руки киноаппарат, научить каждого снимать фильмы начиная со школьной скамьи — давнишняя мечта Дзаваттини).

Пусть каждый,— загораясь, продолжает Дзаваттини,— снимает что хочет и как хочет, пусть это будут фильмы совсем короткие, и короткие, и полнометражные, «журналы»-еженедельники и ежемесячники. Задача состоит в том, чтобы создать маленькие группки из 3, 7, 10 человек, которые ощущали бы необходимость объединиться и вместе использовать кино не для информации, не в документальных целях, а для того, чтобы постоянно, исподволь запечатлевать на пленке те факты и события окружающей жизни, которые им представляются интересными и значительными. Киноязык должен обрести множественность форм и тем. Однако все это — и приемы, и тематика — должно быть направлено к изображению и критике современной итальянской действительности. Я назвал бы это кинохроникой многих для многих. Наше «партизанское кино» будет доходить до зрителя не обычными каналами, которые использует коммерческое, «большое» кино. Оно не нуждается ни в прокате, ни в кинозалах. Эти фильмы можно смотреть где угодно — и дома, и в рабочем клубе, и в кафе, и на городской площади (старая поэтическая мечта Дзаваттини не столь утопична, как может на первый взгляд показаться, если учесть, что в Италии уже давно существует мощная, широко разветвленная сеть киноклубов, и это возглавляемое Дзаваттини движение «друзей кино» носит демократический и прогрессивный характер).

Я полностью отвергаю всю ныне существующую организационную структуру кино,— восклицает, все более воодушевляясь, Дзаваттини.— На Западе кино настолько глубоко коммерциализировалось, что это неминуемо отражается на содержании фильмов. И мы должны заботиться о том, чтобы наши «киножурналы» не заразились этим коммерческим духом. Пусть для начала их смотрят только в семье. В одном городке или селении снимут плохой журнал, в другом получше, самые сильные и талантливые приобретут известность, и постепенно повысится общий уровень, а главное — осуществится обмен идеями между разными слоями, кругами населения. «Партизанское кино» — попытка борьбы с болезнью разобщенности.

В ответ на замечание, что ныне во многих странах развито кинолюбительство Дзаваттини вскипает:

— Это огромная энергия, которая растрачивается совершенно впустую! Наши «свободные киножурналы» должны носить принципиально иной характер: они будут подчинены политической идее. Они помогут преодолеть глубокую пропасть между литературой, художественным творчеством и политикой. Это будет возврат к идеалам неореализма — широкого народного движения, которое — увы! — отошло в прошлое в силу ряда и внешних и внутренних причин. После смерти неореализма (Дзаваттини неизменно подчеркивает ее насильственный характер) в культурной жизни Италии осталась пустота, которую ныне пытается заполнить своими поделками коммерческое кино.

Новое кино,— продолжает Дзаваттини,— будет для начала узкопленочным. Его фильмы не будут в полном смысле слова репортажами. Надо покончить с традиционным пониманием этого слова. Каждый расскажет о собственной жизни, о том, что происходит вокруг, о политической ситуации и прочих ситуациях, которые мы все переживаем; главное — разбить цепи, которыми окутано ныне традиционное кино. Нам не нужны его ложные ценности. Наши журналы будут обогащать друг друга посредством взаимных контактов. Они втянут итальянскую интеллигенцию, ныне столь пассивную и не проявляющую ни малейшего интереса к проблемам исторического и политического порядка, в борьбу, помогут ей увидеть окружающую действительность и выработать о ней суждение. Это кино без режиссуры в ее обычном понимании. Режиссировать будет сама жизнь.

Мы высказываем наши опасения, что «кино без режиссуры», о котором говорит Дзаваттини, может стать аморфным и бескрылым, говорим, что наряду с политической страстностью в новых «киножурналах» должно сохраниться поэтическое видение, что политическую значимость они смогут приобрести только при подлинной художественности.

Соглашаясь с этим, наш собеседник, однако, еще раз подчеркивает, что импульс фильмов-журналов неизменно должен оставаться политическим. В нынешней конкретной обстановке именно прогрессивные политические идеи и требования могут стимулировать в Италии рождение нового киноязыка.

— Как же сложатся отношения между «партизанским» и «официальным» кино? — спрашиваем мы гостя.

— Наши киножурналы,— говорит он,— должны противопоставить себя традиционному кино и вместе с тем повлиять на него, расширить его узкие рамки. Пусть официальное кино продолжает пока идти своим путем. Молодое кино постарается на него воздействовать, а со временем заменить его.

Дзаваттини рассказал, что уже предприняты первые практические шаги к осуществлению идеи, горячим поборником которой он выступает. В родном его городе Реджо-Эмилии, небольшом, но славящемся своими передовыми традициями, центре «красной» Эмилии, создана первая группа «свободного киножурнала». По возвращении Дзаваттини в Италию будет опубликован манифест этого движения.

Мы просим гостя поделиться своими суждениями о нынешнем состоянии итальянского кино, имея в виду «официальное» или «традиционное»: нам трудно согласиться с мыслью, что оно уже отжило свой век, что в будущем — пусть даже более или менее отдаленном — его должна вытеснить и заменить киносамодеятельность, что художественное творчество возможно без художников или что художником может быть «всякий, кто хочет».

— В нашем кино,— говорит Дзаваттини,— есть и негативные и позитивные силы. Речь не идет о «штурме» официального кино, которое развивается по своим законам. Но и в нем самом назрел и прорывается наружу естественный бунт против деляческой регламентации и рожденных модой канонов, ограничивающих многообразие художественных форм, и в частности, против доминирующего положения так называемого «мифического кино», где в основу фильма кладется искусственная, умозрительно сконструированная ситуация или история.

Максимум того, что можно сделать в официальном кино, в Италии, по мнению Дзаваттини, сделал молодой режиссер Марко Беллоккио, автор сценариев и постановщик фильмов «Кулаки в кармане» и «Китай близко». В них заложен яростный критический заряд. Второй из этих двух фильмов — менее сильный и неожиданный, чем дебют режиссера, но и он подтверждает существование в Италии нового течения, разоблачающего и демистифицирующего лицемерие — как в политике правящих кругов, так и в сфере «человеческих отношений», культивируемых неокапитализмом,— в котором погрязли итальянцы. Но вокруг молодого режиссера — огненное кольцо, как вокруг скорпиона, и он порой вынужден, не в силах вырваться из этого круга, следовать «правилам игры» официального кинематографа.

Из других новых имен можно назвать режиссеров Бертолуччи, Тинто Брасса, братьев Тавиани. Последние принадлежат к самым талантливым представителям молодого поколения итальянских кинематографистов. Они успешно пытаются слить воедино в своих фильмах кино и литературу.

— Но, ради бога, хватит о кино! — начинает сердиться и в шутку и всерьез наш гость.—Перестаньте смотреть на меня как на кинематографиста (это-то после того, как он так долго и с таким пылом сам говорил о судьбах кино!), ведь я писатель и так рад, что пришел в литературный журнал!

Дзаваттини, смеясь, сетует, что во всем мире его считают прежде всего кинодраматургом. Когда во Франции недавно вышла книга его старых-престарых повестей, на суперобложке значилось, что Дзаваттини — автор сценария прославленных «Похитителей велосипедов», а критики писали, что известный кинодраматург Дзаваттини ныне стал и литератором...

Недавно итальянское издательство Бомпиани выпустило сборник «Слова через край», в который вошли отрывки из дневников Дзаваттини (эти дневники он ведет начиная с 1941 года, и они печатались в прогрессивных журналах), различные заметки, новая лирическая повесть «Письмо с Кубы женщине, которая изменила».

Читатели давно ожидали выхода «Дневника кино и жизни» Дзаваттини отдельной книгой. Этот своеобразный сплав мыслей и наблюдений писателя облечен в остроумную, непосредственную форму, под, казалось бы, хрупкой ассоциативной связью отрывочных записей кроется строгая логика и точный художественный расчет писателя-гражданина. Книга имела такой большой успех, что издательство поспешило выпустить еще один сборник Дзаваттини, в который вошли три сатирические произведения, написанные в 30-е годы: «Поговорим немножко обо мне», «Бедняки безумны», «Я — дьявол». Автор может быть доволен — теперь уже никто не станет оспаривать, что он прежде всего писатель, а уж потом — киносценарист.

Дзаваттини вынужден спешить: его уже ждут на «Мосфильме». Хотя наш гость хранил на этот счет молчание, в итальянских газетах мы прочли, что обсуждается проект создания фильма совместной советско-итальянской постановки по сценарию Чезаре Дзаваттини. Значит, можно надеяться, что наш разговор будет продолжен и мы снова услышим и о «партизанском кино», и о новых книгах Дзаваттини от него самого. Мы прощаемся с этим по-молодому энергичным, таким остроумным, простым и обаятельным человеком. Нет, это не живая история итальянского кино и литературы, не хрестоматийный патриарх неореализма, это шагающий в ногу со временем темпераментный и закаленный боец, высокий пример гражданской «завербованности».

До новой встречи!

Г. БОГЕМСКИЙ

В. ГОРЯИНОВ

Армандо Пиццинато

Портрет Клари. 1967 г.

Путь, которым почти каждое утро проходит Армандо Пиццинато, пролегает по самым красивым и, может быть, самым узким улицам в мире — улицам Венеции. Путь этот недолог — от дома в тихом переулке недалеко от Санта Мариа делла Салюте вдоль недвижных, безмолвных каналов к Академии художеств, где уже много лет он преподает живопись. В полдень художник теми же улицами возвращается домой, чтобы на много часов запереться в мастерской наедине со своими картинами. И так почти каждый день, уже много лет. Только в летние месяцы, когда в Академии нет занятий, Пиццинато уходит в мастерскую с самого раннего утра и проводит в ней почти весь день.

Со стороны может показаться, что жизнь этого невысокого, чрезвычайно спокойного и уравновешенного человека так же тиха и безмятежна, как сам этот стоящий вне времени город, с его вечно прекрасной архитектурой, фантастически отразившейся в воде каналов.

А между тем творческая судьба Армандо Пиццинато полна драматических событий, сложных, мучительных поисков, непрекращающейся борьбы.

Его формирование как художника проходило в то время, когда в Италии начали складываться основы прогрессивно - демократической культуры. Именно в связи с ней и следует рассматривать творчество Пиццинато в его более чем тридцатилетней истории.

Армандо Пиццинато очень быстро (уже с середины 30-х годов) сблизился с теми художниками и писателями, которые в «черное двадцатилетие» были внутри страны наиболее активными представителями антифашистской культуры, рождавшейся в результате борьбы прогрессивной интеллигенции против лжекультуры, внедрявшейся режимом. Молодой венецианец приехал в Рим, получив специальную стипендию, и сразу же вошел в круг художников - антифашистов. Он безоговорочно принял их идейные устремления, их протестующее искусство, направленность их эстетических программ. Так же, как и они, Пиццинато в эти годы ищет противодействия демагогии и риторике официальной живописи в интимной камерности сюжетов. В противовес национализму фашистского режима обращается к опыту французов (особенно импрессионистов). Это демонстративное противодействие эстетическим доктринам режима в те годы рассматривалось почти как политическое выступление против фашизма.

Однако до настоящей творческой зрелости в ту пору еще было далеко. Работы Пиццинато 30-х годов довольно часто несут следы посторонних влияний. И хотя художник нашел свое место в рядах борющегося искусства, его произведения еще не обрели собственного своего голоса.

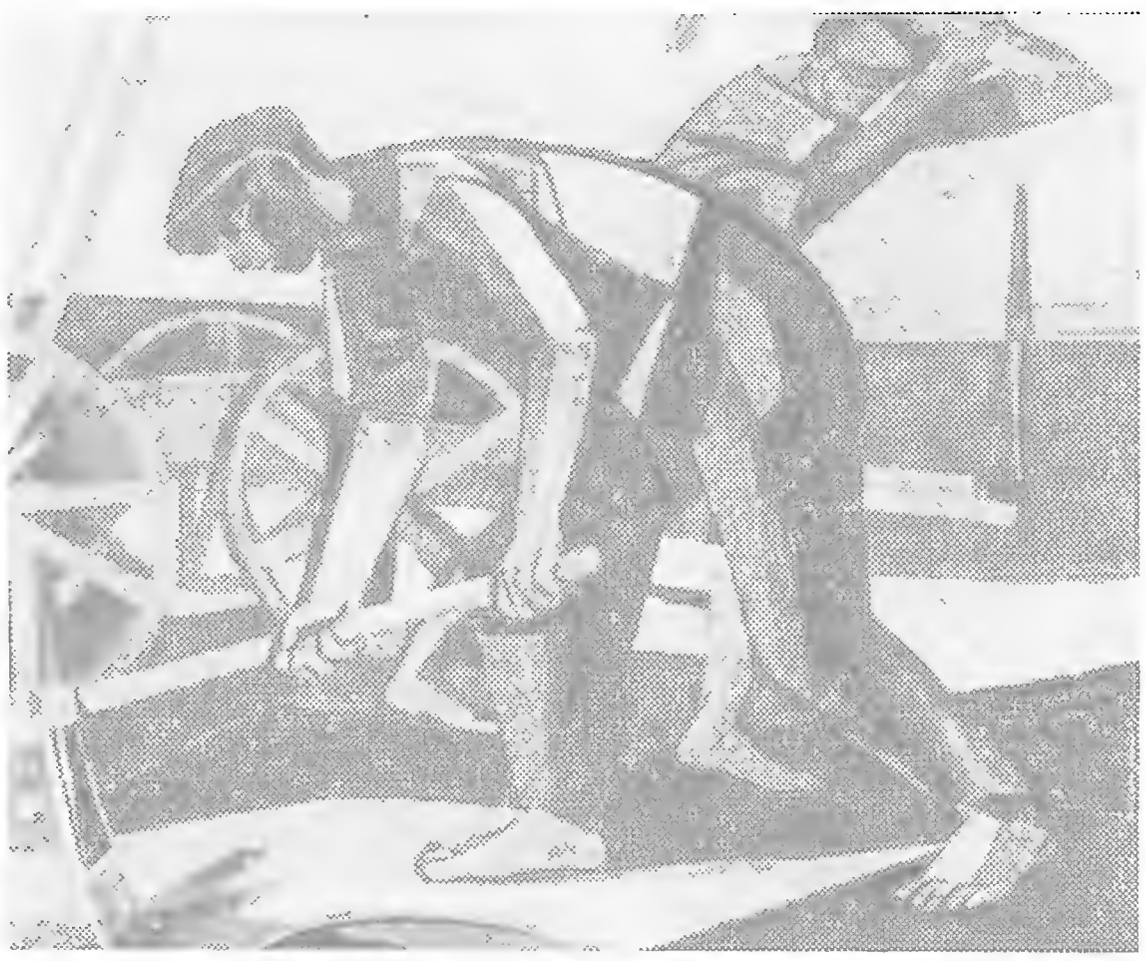
Это произошло уже после войны. Сама война или, точнее, участие в ней Пиццинато довершило то, что было начато в годы антифашизма — к художнику пришла идейная зрелость. В его сознании сложилось четкое понимание общественных целей искусства. Сам Пиццинато в годы войны работал мало — слишком много времени занимала подпольная деятельность. Она стала естественным и логическим этапом процесса его идеологического формирования.

В первые годы после Освобождения в культуре Италии сложилась особая обстановка. Движение Сопротивления за короткое время привлекло к себе, а следовательно и к активной общественной деятельности, очень многих людей, которые прежде в лучшем случае занимали позицию пассивного протеста. Поэтому из войны итальянский антифашизм

Наводнение. 1951 г.

Рабочий на лесах. 1954 г.

Земля, а не война. 1949—1950 гг.



вышел чрезвычайно укрепившимся. В области культуры на смену отдельным малочисленным и разрозненным группам, объединившимся вокруг нескольких либеральных журналов, пришло широкое движение, основанное на традициях и идеях Сопротивления, вдохновленное победой над фашизмом.

Движение Сопротивления вообще имело первостепенное значение для общественной жизни Италии. Оно как бы вновь утвердило жизненность и важность определенных нравственных идеалов, стало основой сближения людей, прежде чувствовавших себя одинокими и изолированными.

Именно эти годы вызвали подъем в области искусства (особенно в кино), который начинается в послевоенной Италии. Армандо Пиццинато оказался в самом центре событий. Художники его круга с большим энтузиазмом начинают поиски новых тем искусства. Новая тематика приходит в их произведения довольно быстро и на первом этапе целиком захватывает их. Так же, как прогрессивное кино и литература, живопись обращается к событиям и образам реальной действительности. Впервые героями живописных работ стали рабочие - забастовщики, партизаны, крестьяне.

Изменилось и отношение к самой художественной форме. Разрушение старого и создание нового искусства, поиски новых выразительных средств приводят к широкому распространению посткубизма, к заимствованиям из художественного языка ранних футуристов.

Творчество Пиццинато тех лет не было исключением. Он так же, как и другие художники, изучает опыт футуристов (в котором его, однако, прежде всего привлекает антибуржуазная направленность), так же, как и на других, на него сильное влияние оказывает «Гернika» Пикассо.

Крестьянская семья. 1959 г.

Однако уже тогда его формальные поиски не были самоцелью. Он твердо подчиняет их выражению главного в реальной действительности. Это главное он видит в нравственном и социальном освобождении, начавшемся в годы Сопротивления. Конкретное выражение его — борьба трудящихся за свои права — находит воплощение в программных произведениях того периода: «Убитый батрак», «Земля, а не война», «Защитники фабрики», «Призрак бродит по Европе». Основную философскую идею произведения Пиццинато стремится воплотить в образах и формах, максимально обобщенных, носящих характер символов. Художник стремится к тому, чтобы его искусство вышло за рамки музеев и выставок, приобрело бы ярко выраженный пропагандистский характер. Это стремление полностью соответствовало его пониманию социальной роли искусства.

Именно поэтому он стал одним из инициаторов первого после войны объединения прогрессивных художников «Новый фронт искусства». Оно сложилось в Венеции в конце 40-х годов. Тогда там по случаю очередной Международной выставки собрались почти все крупнейшие художники, и именно Пиццинато первым предложил создать объединение, которое могло бы продолжить дело, начатое антифашистскими группами еще в 30-е годы.

Пиццинато думал, что такое объединение могло бы стать основой формирующейся демократической культуры, сохранить дух и традиции движения Сопротивления. Он мечтал о значительных совместных выставках, которые могли бы помочь утверждению новых нравственных идеалов и тем самым влиять на события и на людей, помогать им в их борьбе.

Сразу же надо сказать, что «Новый фронт искус-

Сварщики. 1949 — 1950 гг.

К статье В. Горяинова «Армандо Пиццинато».

Строители. 1949—1950 гг.

Быки.
Картон к фреске
в Палаццо делла Провинча
в Парме.
(Фрагмент). 1956 г.

Строители. 1961 г.

Мотоциклист. 1949 г.

Баррикада на Ольтреторренте.
Картон к фреске
в Палаццо делла Провинча в Парме
(Фрагмент). 1955 г.

Батрак из Дельты. 1949—1950 гг.

ства» не смог выполнить до конца эту задачу, однако значение его для итальянской культуры было очень серьезным. Впервые после войны в таком масштабе был поднят вопрос об ответственности художника, о том, что его искусство в борьбе идей является мощным оружием.

«Новый фронт» существовал менее чем два года. Он не мог разрешить главного противоречия: одни художники (Гуттузо, Пиццинато) стремились углублять связь искусства с жизнью; другие ограничились лишь экспериментами в области формы, все более удаляясь от реальной действительности. Раскол произошел на рубеже 40—50-х годов.

В Италии складывается широкое реалистическое направление, одним из крупных представителей которого был Армандо Пиццинато. Так завершился цикл в процессе становления демократической культуры, начавшийся еще в годы антифашизма. «Ангажированность» и максимальная широта контактов со зрителем нашли в нем полное выражение.

Благодаря многочисленным выставкам, которые часто устраивались в рабочих клубах или домах культуры, художники получили возможность активно участвовать в событиях, влиять на них. Необычайно по сравнению с прошлым расширилась аудитория — тысячи людей, ранее не общавшихся с искусством, стали посетителями художественных выставок. Сами художники почувствовали необходимость языка понятного, способного оказывать максимальное эмоциональное воздействие на самого широкого зрителя.

Пиццинато был одним из первых, кто пошел по такому пути. Он отказался от формалистической зашифрованности изображения, от схематичности и умозрительности образного строя.

Этот переход не был легким для Пиццинато. Отказ от старых позиций неизбежно повлек за собой разрыв с некоторыми друзьями - художниками, которые стали яростными противниками нового направления. А со многими из них — с Ведова и Сентомазо, например, его связывала дружба еще с военных лет. Кроме того, именно к началу 50-х годов Пиццинато начал пользоваться особой благосклонностью критики. Его картины быстро находили покупателей, некоторые работы попали за границу. Отказаться от прежних позиций означало отказаться

Юноша в лодке. 1957 г.

от коммерческого успеха, что, по-видимому, не всегда просто.

Тем не менее художник нашел в себе силы, чтобы пойти тем путем, который соответствовал его убеждениям художника-антифашиста.

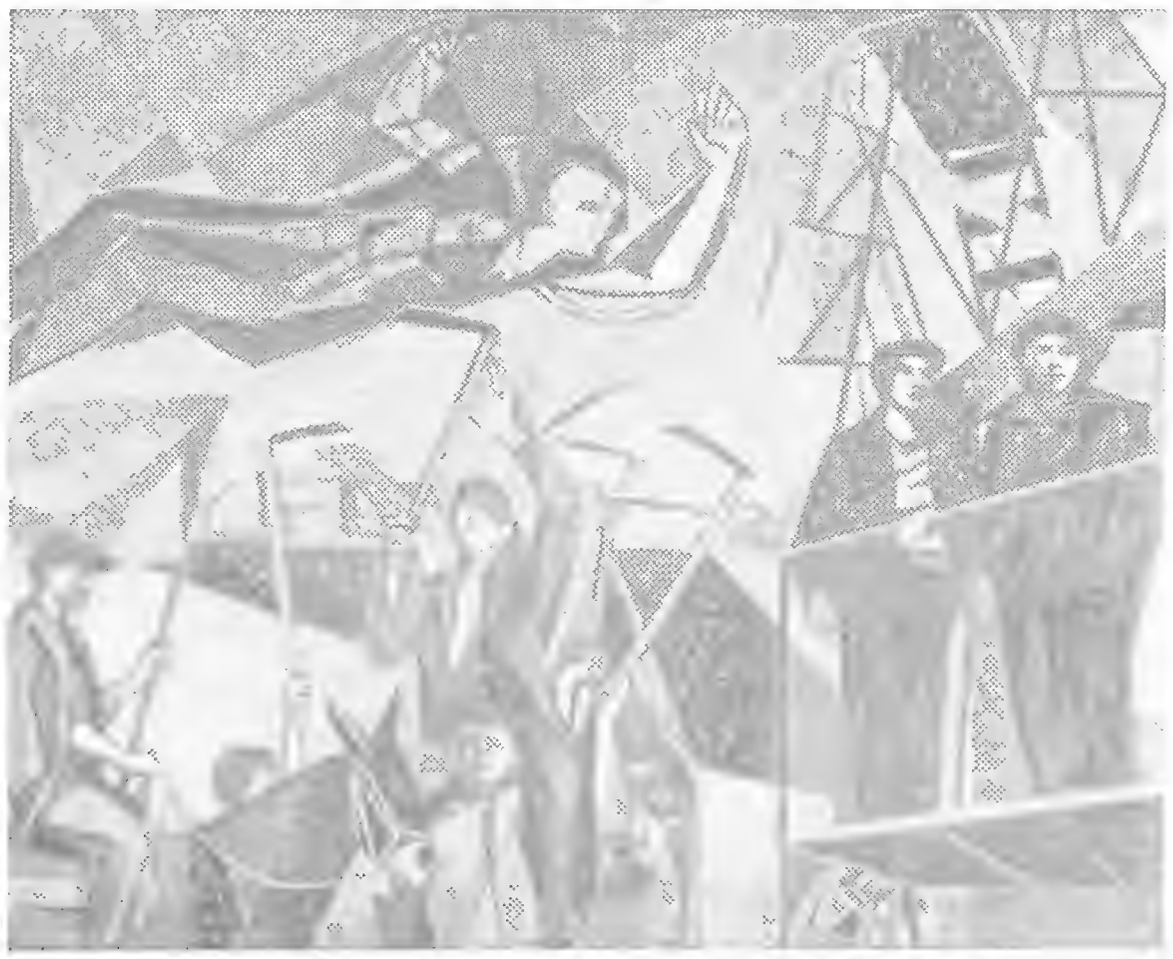
Его работы 50-х годов (то есть неореалистического периода) известны довольно хорошо, хотя немногие из них ему удавалось продать. Художник много участвовал в выставках, репродукции его произведений часто появляются в прогрессивной печати.

В течение десяти лет он создал огромную живописную эпопею, посвященную труженикам Италии. Его картины обычно не отличаются сложностью конструкций: большие многофигурные композиции встречаются у него довольно редко. Они чаще всего организуются логикой достоверного реального события. Художник изображает обычных людей в обычных, даже обыденных условиях. Так рождались широко известные его картины о рыбаках, грузчиках, крестьянах. Лучшими работами этого периода были фрески в Палаццо делла Провинча в Парме. Там он расписал небольшой зал заседаний. Сюжетами послужили эпизоды борьбы и труда пармского пролетариата.

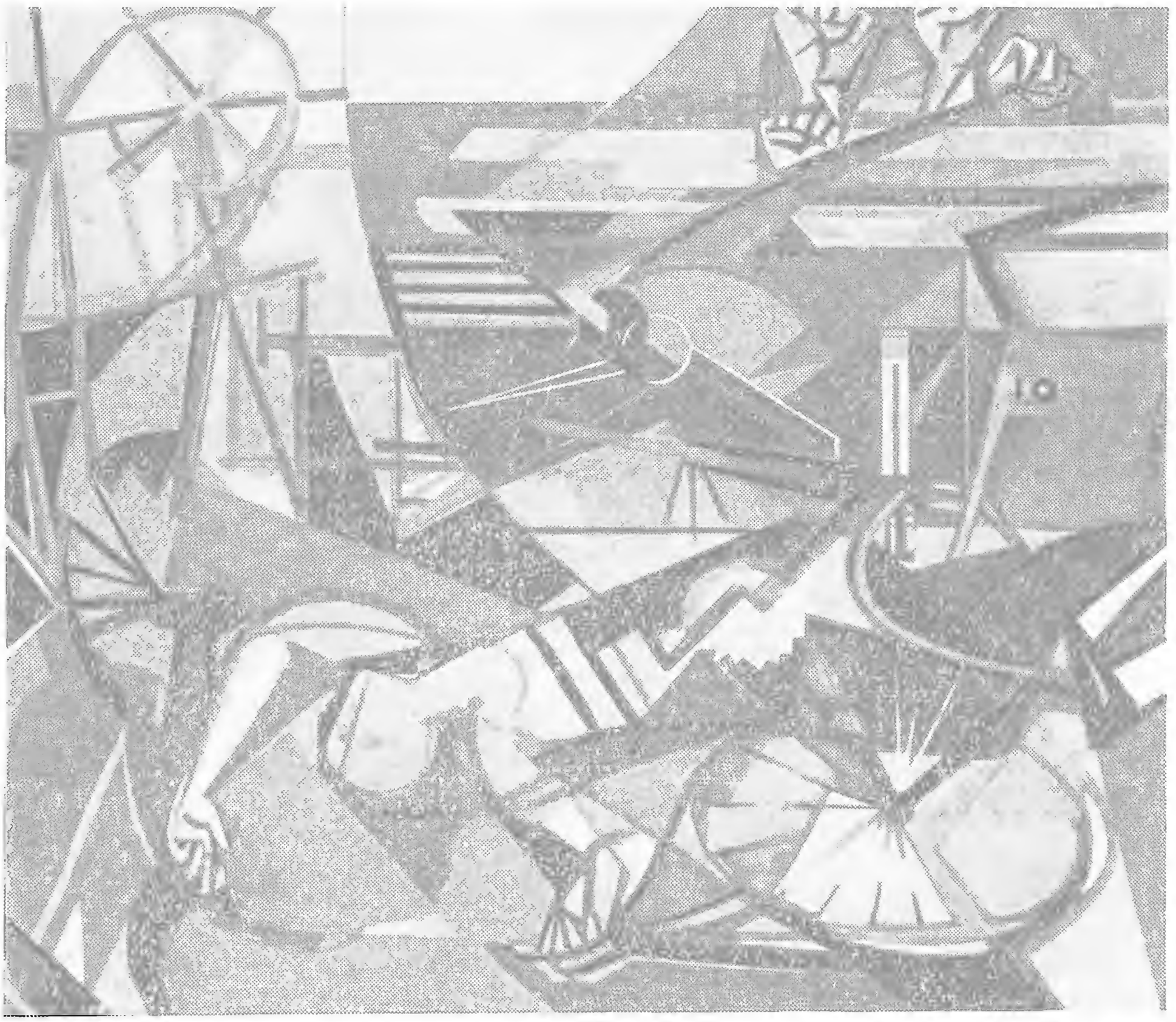
К концу 50-х годов стихает импульс, полученный общественной жизнью Италии от движения Сопротивления. В области культуры резко усиливается наступление реакции. Под давлением реакционной критики, торговцев картинами и владельцев галерей часть реалистов сдает свои позиции и отходит от движения.

К этому времени Венеция стала центром сложной игры вокруг венецианской Международной выставки, которая собрала всех преуспевающих дель-

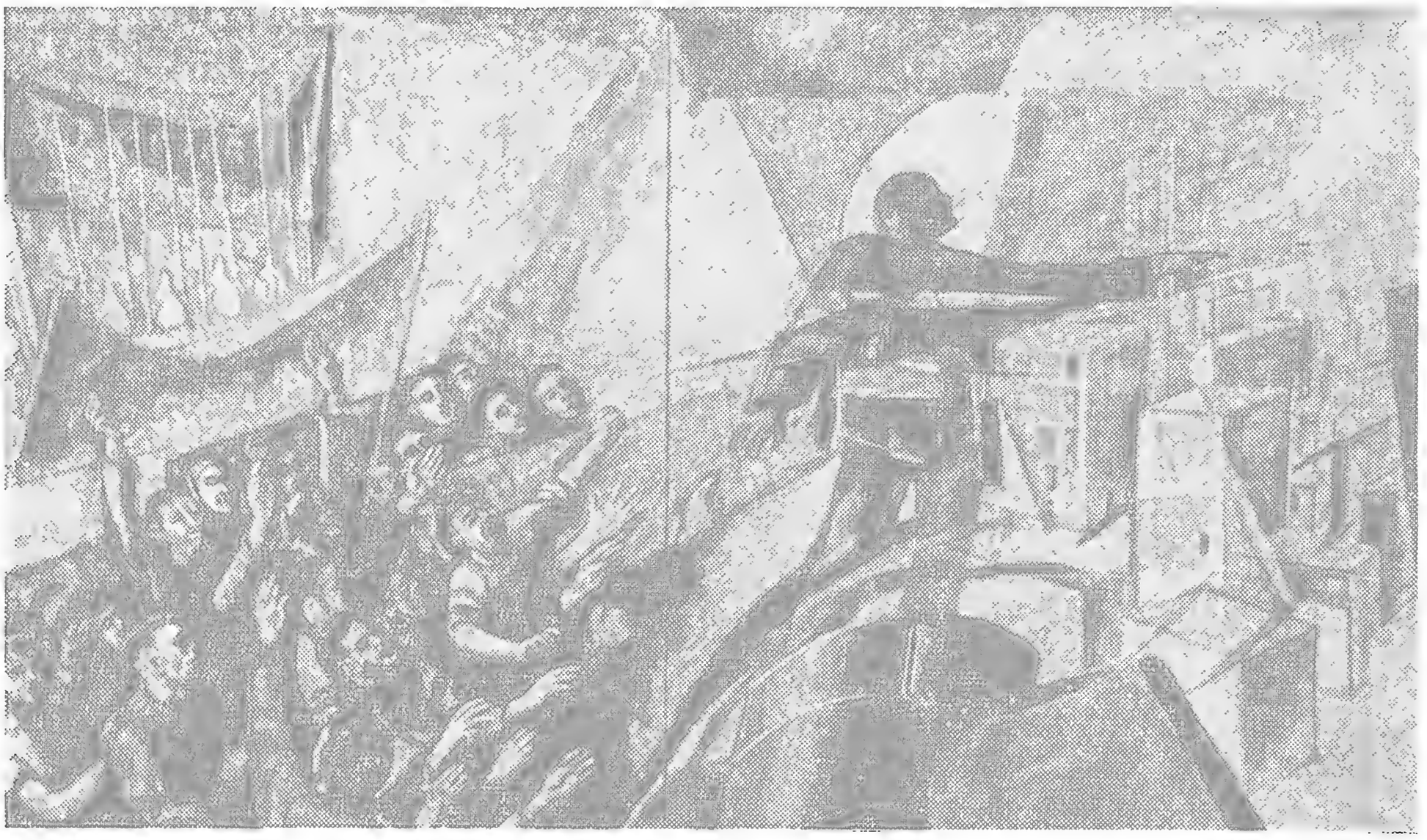
Грузчики угля. 1953 г.



Призрак бродит по Европе. 1949—1950 гг.



Убитый батрак. 1949 г.



За Октябрь. 1967 г.

цов от искусства. В этой ситуации Пиццинато раньше других почувствовал себя изолированным. Оставшийся без друзей, переживший большую личную трагедию, он тем не менее продолжает упорно работать, хотя почти не выставляется. Его живопись делается более эмоциональной, в ней все более остро звучат трагические мотивы. Не уходя от своих привычных тем, художник ищет более экспрессивные решения, неожиданные ракурсы, смелые цветовые сопоставления. Так появилась в конце 50-х — начале 60-х годов группа картин, посвященных сварщикам и строителям.

В начале 60-х годов он много работает над пейзажами, к которым раньше обращался не часто. В них художник начинает разработку сложного цветового образа, выражающего драматическое состояние.

Несмотря на то, что произведения Пиццинато в эти годы редко попадали на художественные выставки, он по-прежнему продолжал играть важную роль в демократической культуре Италии.

Его творчество последних лет подтвердило жизненность и перспективность художественных поисков фигуративной живописи и «ангажированного» искусства в целом.

Подтвердила это и последняя Международная выставка в Венеции. Пиццинато получил предложение выставить там свои картины. Он выбрал несколько пейзажей, и специалисты и зрители с удивлением увидели, как по-новому раскрылся талант художника.

Армандо Пиццинато еще не сказал своего последнего слова. Он мечтает о большой, самой важной для него картине. Художник готовит ее не спеша, исподволь. Большая картина «За Октябрь», которую московские и ленинградские зрители видели на недавней выставке произведений Пиццинато,— один из первых шагов в этом направлении. Однако тема уже намечена твердо — картина будет посвящена Октябрьской революции, Ленину.

НЕ БЛИЗНЕЦЫ, НО СЕСТРЫ

Каково соотношение национальных культур в социалистическом государстве? Как они развиваются, влияют друг на друга, переплетаются? Эти вопросы, особенно важные для стран, населенных различными народами, живо интересуют литературную мысль Чехословакии. Для понимания современного литературного процесса в этой стране совершенно необходимо разобраться в сложном соотношении двух братских литератур — чешской и словацкой.

Эта тема стала одной из ведущих на литературоведческом симпозиуме в Братиславе в 1967 году, на котором советские и чехословацкие литературоведы обсуждали проблему интернационального и национального в современной литературе. Там и чешские и словацкие литературоведы говорили о необходимости изучать взаимоотношения обеих литератур, их сходство и различия, обусловленные разными историческими судьбами, их роль в создании социалистической литературы Чехословакии.

И с чешской и со словацкой стороны в последнее время проявляется живой интерес к этому вопросу. Одно из свидетельств тому — статья в пражском литературном журнале «Пламен» Эмила Хароуза «Различия и сходства». Автор приурочил эту статью к приближающемуся 50-летию образования государства чехов и словаков. Он говорит об особой роли литературы в отношениях между двумя народами, исторические судьбы которых переплетались задолго до того, как они объединились в единое государственное целое:

> «Литература чехов и словаков часто определяла характер их взаимоотношений, всегда помогала взаимному познанию и, что самое важное, будучи активным элементом национальных культур, обогащала и обогащает сокровищницу каждой культуры ценностями другой».

В статье дается анализ исторических условий развития обеих литератур. Автор говорит об исключительно трудных условиях развития словацкой литературы в XIX веке. После образования национального языка во второй половине прошлого века

> «словацкая литература выполняла буквально все общественные функции — от политической до народно-образовательной, она сражалась за самое существование народа и его языка».

Структурную особенность словацкой литературы по сравнению с чешской Хароуз видит в преобладании интереса к деревенской теме и в неутраченной связи с фольклорной основой. При этом критик показывает, что эта фольклорность отнюдь не представляет собой что-то патриархальное, не противоречит современному звучанию литературы.

Особый национальный облик словацкой литературы в годы войны проявился в своеобразной форме духовного сопротивления клерикально-фашистскому режиму, возникшему под эгидой Гитлера. Прогрессивные писатели обращаются в это трагическое время к глубоким народным основам словацкой культуры:

> «Словацкий писатель в конце тридцатых годов и в годы войны ищет пристанища в деревенской жизни — там, в народной культуре, в народном мышлении, он находит столь необходимые ему моральные ценности, определенный моральный кодекс и даже художественные, жанровые образцы (сказание, баллада). Это пол-

ностью относится к волне так называемой лиризованной прозы, к произведениям Л. Ондреева, Фр. Швантнера, к повести Хробака «Дракон возвращается», к «Трем гнедым коням» М. Фигули. Часть чешской прозы, напротив, видит выход из лабиринта потрясенного мира, в котором все общественные ценности оказываются вывернутыми наизнанку, в уходе в сферу не менее сложных перипетий внутреннего мира индивидуума, как это делалось в психологических романах В. Ржезача, Яр. Гавличка, К. Шульца, М. Гануша».

Одно из направлений, по которому критик ведет сравнение двух литератур,— это судьба жанров. Он отмечает общее для чешской и для словацкой литературы преобладание поэзии над прозой в определенные периоды и прослеживает разную судьбу наиболее распространенных в обеих литературах прозаических жанров: исторического романа, военного романа и романа поколений. Исторический роман занял в чешской литературе XIX века совершенно особое место:

«Развитию национального самосознания в значительной мере способствовал Алоиз Ирасек, воплотивший в своих романических циклах, создававшихся начиная с 80-х гг. до первой мировой войны, важнейшие моменты чешского национального прошлого».

Кстати, аналогичные явления расцвета исторического романа можно наблюдать в это же время в литературах других славянских народов, перед которыми также стояли задачи национально-освободительной борьбы (в польской, болгарской, югославской — Сенкевич, Вазов, Шеноа). Словацкой литературе, как полагает автор статьи, в тот период не было еще свойственно такое сильное национальное самосознание, и пора расцвета исторического романа наступила в 20-х годах XX века (Кукучин, Разус, Надаши).

Наиболее характерным для чешской прозы 20—30-х гг. Хароуз считает тот вид романа, в котором нашли свое осмысление исторические события первой мировой войны, так как в ходе этих событий произошел поворот в исторической судьбе чехов и словаков. Эта тема находит свое воплощение в произведениях различного художественного облика; к лучшим образцам военного романа в европейских литературах принадлежит злая сатира Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» и гротескный роман В. Ванчуры «Поля пахоты и войны». Сравнивая с этими произведениями наиболее интересный словацкий военный роман «Живой бич» М. Урбана, автор противопоставляет той тяге к гротеску, которая отличает чешских авторов, балладичность словацкого романа.

В чешском романе поколений, к которому автор относит «Сирену» Майеровой, романические циклы Б. Клички и К. Нового, Хароуз видит

«неизбежные возвраты к прошлому, осмысление судьбы человека и общества, которое после победного завершения борьбы за независимость вступает в пору национальной и политической зрелости и хочет оглянуться на путь, приведший его к такому результату. Речь идет о значительной по своему социальному содержанию прозе, которая пытается понять современность, оглянувшись на судьбу одного или двух предшествующих поколений».

Словацкая проза тридцатых годов, в отличие от чешской, проявляет интерес скорее к современной проблематике, чем к прошлому, пусть недавнему. Первая мировая война не наложила на словацкую литературу такого отпечатка, как на чешскую.

Современная чешская и словацкая литературы постоянно обращаются к эпохе второй мировой войны и к теме антифашистского Сопротивления. Значительные достижения литературы связаны с изображением Словацкого антифашистского восстания 1944 года. Хароуз пишет:

«Восстание пробудило в словацком национальном организме такие духовные силы, которые превращают народ в нацию в современном понимании этого слова. Словацкий народ именно тогда вступил в новейший период всемирной истории».

Тема восстания доминирует в словацкой послевоенной литературе и, по словам Хароуза,

«находит самое разнообразное художественное воплощение от уравновешенного эпического повествования «Хроники» Илемницкого до лирической баллады Й. Горака «Горы молчат», от тонкого анализа психики словацкого интеллигента в «Церковной республике» Д. Татарки до глубокого проникновения в действительность эпохи войны, восстания и первых лет строительства социализма в «Часах и минутах» и «Чужом» А. Беднара».

Хароуз справедливо отмечает еще один важный момент трансформации темы восстания в словацкой литературе: с ее разработкой связано создание героической эпопеи.

«Трилогия Минача «Поколение» философски раскрывает на судьбе больших масс людей историю военной и послевоенной Словакии, фреска «Мертвые не поют» Яшика охватывает в едином потоке повествования жизнь отцов на родине и сыновей на фронте и, наконец, Тяжкий произносит новое слово в художественном

воплощении этой темы своей «Аменмарией», мучительно-искренней исповедью словацкого солдата, посланного на восточный фронт».

Автор делает вывод, что тема войны нашла свое выражение в словацкой литературе в монументальной, полной драматизма эпике, тогда как в чешской литературе она воплощается в более камерных жанрах. Можно сказать, что развитие жанра романа-эпопеи, посвященного проблеме национальных судеб, явилось вкладом словацкой литературы в развитие социалистической литературы Чехословакии. Еще одно характерное явление: так же как чешская литература на более раннем этапе, словацкая литература в послевоенные годы стремится осмыслить предысторию сегодняшнего дня, а это ведет в свою очередь к созданию романа поколений («Красное вино» Ф. Гечко, «Жизнь без конца» Швантнера, «Громовый зуб» А. Беднара).

Говоря о литературном процессе сегодняшнего дня, автор отмечает снова некоторые изменения в соотношении двух литератур:

«Центром тяжести словацкой прозы становится творчество молодого и самого молодого поколения писателей. И вместе с тем изменяется соотношение между чешской и словацкой литературой. Если мы в предыдущие годы привыкли встречаться с монументальной и сильной словацкой эпикой (Яшик, Тяжкий) и с экспериментом в малых прозаических жанрах у чешских авторов, то теперь мы видим существенные изменения: чешская проза добивается значительного синтеза (романы Фукса, Кундеры, Вацулика), а у молодых словаков отсутствует целостность восприятия мира даже тогда, когда они сознательно стремятся к синтетическому воспроизведению действительности».

Статья Э. Хароуза — интересная попытка проанализировать взаимоотношения литератур, которые составляют «единый культурный и литературный контекст», как принято говорить в Чехословакии. При этом он делает существенный вывод о чрезвычайно интенсивном и успешном развитии словацкой литературы в послевоенные годы, когда она вносит заметный вклад в литературное развитие Чехословакии. Здесь отразилась важная общая закономерность развития литератур социалистических стран: интенсивное, «ускоренное» развитие культур тех народов, чье поступательное движение в прошлом задерживалось национальным гнетом.

Исследования такого рода перекликаются с работами советских литературоведов, посвященными взаимоотношениям национальных литератур внутри многонациональной советской литературы (это привело к плодотворному обмену мнениями в Братиславе, о котором шла речь), сходные вопросы занимают югославских специалистов, исследующих проблематику многонациональной литературы народов Югославии. Работы чехословацких литературоведов представляют интересный вклад в коллективный опыт разработки проблемы, важной для социалистической культуры в целом.

И. БЕРНШТЕЙН

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ РОДЖЕКА

Осенью прошлого года американский писатель Норман Мейлер опубликовал роман «Почему мы во Вьетнаме?», и вокруг книги сразу же разгорелись ожесточенные споры. Этого следовало ожидать: еще не было случая, чтобы новая книга Мейлера не вызывала самой бурной полемики. Начиная с 1948 года, когда двадцатипятилетний писатель выпустил наполненный яростным протестом против войны роман «Нагие и мертвые» и имя его узнала вся читающая Америка, творчество Мейлера — своего рода эпицентр идей и настроений, свойственных очень значительной части американской интеллигенции, а нередко — и американской литературе в целом.

При всем том Мейлер уникален. Если другие писатели предпочитают высказываться о современном обществе и современном «расколотом» мире в форме самых общих предположений, осложненных тысячами оговорок и попыток спрятаться за персонаж, то Мейлер говорит об актуальнейших, требующих немедленного разрешения проблемах в парадоксально, чуть ли не до абсурда заостренной форме. Мейлер не признает интеллектуальной изощренности; его pro и contra лежат на поверхности и самоочевидны; его персонажи олицетворяют представления самого автора о том, что́ в нашем мире хорошо и что́ плохо; они и двигаются по прямой авторской воле. Столетиями копившийся опыт психологической разработки характера Мейлером отбрасывается как несущественный; ультрасовременная проблематика излагается языком литературного примитива. Рушится форма, роман трещит по швам. Критика злорадствует по поводу бесчисленных художественных ляпсусов, Мейлера списывают со счетов, его философию высмеивают, его герои — любимая мишень карикатуристов, академическое литературоведение вздыхает о бесплодно угасшем таланте, который обещал так много. Нередко Мейлер ввязывается в дебаты с критиками и темпераментно защищает свои произведения; при этом с обеих сторон нет недостатка в язвительной иронии, а то и просто в грубости.

Однако неоспоримым остается довольно существенный факт — Мейлера читают. И факт этот объясним: тема Мейлера слишком значительна, а талант и темперамент автора слишком очевидны, чтобы книги его не становились событием в американской литературной жизни. Тема эта — сама Америка, ее мучительная, извращенная действительность, в которой переплавились и приняли странную, пугающую форму веками державшиеся представления о смысле и судьбе западной цивилизации, в которой европейский человек, взлелеянный мечтами просветителей Фауст, творец, созидатель, преодолевший свою отъединенность от людей, превратился в Стивена Роджека, героя мейлеровской «Американской мечты»*, с его комплексом самоутверждения путем насилия и секса.

«Запад всегда стоял на одном основополагающем принципе: жизнь — это героика,— говорит Мейлер в интервью, опубликованном январским номером журнала «Плейбой» за этот год.— Это фаустовский принцип. Конечно, мне тут же возразят, что Запад стоит также на принципе христианства, но в подобном утверждении всегда крылось недоразумение. Христианство...— это самая боевая и воинственная из религий, самая практичная, самая фаустовская. Не случайно оно сумело завоевать мир. Противовес этому героическому понятию о человеке — пассивное приятие мира, характерное для индийской и восточной философии и религии.

Один из парадоксов нашего столетия состоит в том, что технократическое общество создает такую атмосферу, в которой людям не остается ничего другого, как принять именно восточное понятие о человеке, ибо их лишили реальной возможности самим определять, какой будет их жизнь. Населяющие технократическое общество столь же бессильны перед бытием, как восточный крестьянин. Уровень их жизни, может быть, гораздо выше, чем у него, но положение их в обществе точно такое же. Они все меньше и меньше управляют, зато ими управляют все больше и больше».

Мейлер касается здесь вопроса вопросов современной мысли Запада. В Америке, где «технократическое», иными словами, производящее лишь эрзацы духовных ценностей и ведущее к тотальной стандартизации общество породило чудовищные формы отчуждения человека от государства, от других людей и от самого себя, «бессилие перед бытием» осознается множеством людей как норма существования. Религия — в глазах большинства американцев — единственная форма связи между собой и миром — никак не спасение для разделяющих высказанную Ницше идею смерти бога западных интеллигентов, к которым принадлежит Мейлер.

«Я пришел к выводу, что если бог существует и он всемогущ, отношения между ним и нами абсурдны. Условия нашего существования свидетельствуют лишь о грандиозных, фундаментальных несоответствиях, о несправедливостях настолько явных, что даже консервативное понимание жизни, то, которое утверждает, что здесь, на земле, человеку следует не жаловаться, но принимать все как должное, а грешившим на земле, бедны они или богаты, воздастся в аду,— даже такое понимание жизни справедливо лишь при условии, что бог засвидетельствует свою способность придавать миру разумные соответствия. Если же мир, в котором мы живем, полон только непреодолимых, безумных несоответствий, слишком трудно принять идею всемогущего бога, воплощающего одно добро. Не легче ли принять другую идею о боге: он умер, или агонизирует, или несовершенен... несовершенен точно так же, как несовершенны мы сами».

От таких исходных посылок только шаг до основного тезиса Мейлера, неоднократно провозглашавшегося им и раньше,— до «отчаяния» как некоего перманентного состояния мыслящего человека «технократической» эры. Ни сам тезис, ни его посылки не новы — Мейлер прошел школу французского экзистенциализма. Однако в них есть и специфически американский колорит — хотя бы в том смысле, что «отчаяние» Мейлера свидетельствует о настроениях значительной части интеллигенции США, идущей вместе с ним. Но не только. Что «бог умер», а человек «бессилен перед бытием» и даже перед собственной сокровенной сущностью — все это гораздо раньше Мейлера и сильнее, чем у него, прозвучало на европейских берегах Атлантики. Особенность Мейлера в том, что его «отчаяние» — пожалуй, не философский принцип, а скорее жизненная эмоция. Это постоянное возмущение «несоответствиями и несправедливостями» и выдвинуло писателя на авансцену литературной Америки и позволило сквозь путаницу заимствованных идей и их причудливых экстраполяций различить в его суждениях голос многих тысяч субъективно честных, но давно и едва ли не безнадежно заблудившихся в джунглях технократического общества американских интеллигентов, от чьего имени он говорит.

Что же остается, если нет чувства единения с другими, нет бога, нет смысла жить, а есть только пустота, отчаяние, страх? Как трансформировать сегодня «героическое понятие о человеке»? Возможна ли свобода самоопределения в обществе, где люди «все меньше и меньше управляют, зато ими управляют все больше и больше»? К таким вопро-

---

* См. рецензию М. Тугушевой «Из глубин ада...». «Иностранная литература» № 7, 1966 г.

сам неизменно возвращается каждый, задумывающийся и над будущим Америки, и над ее современностью.

Неизменно возвращается к ним и Норман Мейлер. Вся концепция «Американской мечты» определялась столкновением в душе героя извращенных до грубого шаржа фаустовских порывов и чувства полного своего бессилия перед бытием, перед действительностью технократического общества, превратившей Роджека в безличный автомат, в такую же призванную безотказно работать вещь, как холодильник или автомобильный мотор. Но автомат этот был одушевленным, и в скудном духовном мире Роджека рождался темный и страшный в своих проявлениях протест против смутно ощущаемой им бесчеловечной силы, который принимал форму диктаторских устремлений и разрушительных инстинктов. В его, по терминологии Мейлера, «тоталитарных импульсах» уже проявилось понимание свободы как развязанных для насилия рук; в недрах технократического общества скопилась энергия разрушения, которой нужно было дать выход; иначе она могла оказаться опасной для самого общества, нуждающегося лишь в безропотной производительной силе в облике человеческом.

> «Тоталитарный импульс не просто стирает в жизни все различия,— писал Мейлер в книге «Каннибалы и христиане» (1966).— Он требует единого стиля в архитектуре, одежде, в бытовых приборах и инструментах, в каждодневном существовании. Это нужно, чтобы ослабить у человека сознание своей роли в обществе, ослабить его чувство реальности, что и достигается путем искоренения в человеке таких эмоций, как восторг, страх, чувство прекрасного, жалость, ужас, ощущение спокойствия, или кошмара, или гармонии. Отдалив нас от самых сильных источников чувства в самой реальности, тоталитаризм вынуждает ограничиваться пустынными горизонтами психоза; а открыв в душе нашей только пустоту и страх, мы в ужасе бежим их — и принимаем как избавление организацию жизни на основах, которые диктует тоталитаризм».

Социолог мог бы возразить Мейлеру, что тоталитарные тенденции произрастают из классовой политической борьбы, из особенностей общественного устройства. Однако для Мейлера главное не это. «Фаустовская» тема, считает Мейлер, потому и является вечной темой всякого искусства и всякой философии Запада, что «фаустовское» стремление человека возвыситься, стать чем-то большим, чем он есть,— вечная его черта, на каком бы этапе истории он ни жил. В такой позиции, конечно, заключена метафизичность. Тем более что Мейлер выделяет лишь одну сторону «фаустовского» конфликта — стремление возвыситься не для того, чтобы соединить свою жизнь с жизнью всех людей, а для того, чтобы стать выше других людей, подчинить их себе. В этом, по мнению Мейлера, исток и непобедимый вирус «чумы» тоталитаризма, эпидемии которой периодически повторяются в XX веке, хотя начались они гораздо раньше.

> «Я полагаю, что они начались еще в те давние дни, когда первобытный человек впервые усвоил, что посредственность способна подчинять себе других, более одаренных людей, если она использует волшебство для того, чтобы контролировать действия этих других, а не для того, чтобы всем вместе облегчить существование»,— утверждает Мейлер.

Заявление это в высшей степени характерно и для Мейлера, и для многих других американских писателей, стремящихся не только в социальной организации общества, но и в «природной организации» человека отыскать корни тоталитаризма, черты которого проступают в Америке последних лет все явственнее. «Обыкновенный тоталитаризм» рядового американца — один из ответов, а может быть, и главный ответ на вопрос, вынесенный в заглавие последней книги Мейлера: «Почему мы во Вьетнаме?»

> «Естественной тенденцией технократического общества стало устранять любого рода социальные эксцессы и искоренять все эпидемии репрессий, ибо такого рода действия просто лишены логики; они мешают машине работать бесперебойно. Поршень не заставляют двигаться более энергично, чем нужно по норме, чтобы направлять ход машины; ни одна ее деталь не должна быть тяжелее лимитированного веса. Так и технократическое общество — его естественное желание состоит в том, чтобы создать бесперебойно работающий тоталитарный механизм, избавившись от форм несправедливости вроде тех, к которым прибегает капрал по отношению к солдату».

Мысль, конечно, своеобразная, однако, если вдуматься, не очень уж фантастическая. В конечном счете антидемократический режим заинтересован, главным образом, не в том, чтобы убить конкретного противника, но чтобы навсегда искоренить вирус сопротивления, создать условия, при которых энергия противодействия отводилась бы в сторонние, безопасные для существования самых основ подобной общественной организации каналы. Разумеется, ситуация, которую пророчит Мейлер, пока что нереальна. Но тенденция есть, и она дает себя знать.

Вьетнамская война, считает Мейлер,— это свидетельство не только политического кризиса внутри страны, хотя именно этот кризис послужил ее причиной. На вопрос «Плейбоя»: «Почему, по вашему мнению, мы начали эту войну?» Мейлер ответил:

«Потому что мы не могли ее не начать. Америка страшно боялась негритянской революции. В подсознании мы готовы были пойти на все, чтобы предотвратить ее. Война во Вьетнаме была самым простым способом замедлить ее нарастание... Вьетнам был инструментом, с помощью которого Джонсон мог обманывать общественное мнение, который он использовал в качестве рычага для оживления экономики и в качестве дубинки против движения за гражданские права».

Мейлер полагает, что со стороны президента это было «шекспировских масштабов заблуждение» и что в результате Джонсон утратит «способность держать американский народ в идеологической узде».

Но у вьетнамской войны, считает Мейлер, была и другая, быть может, даже более существенная причина:

«Потенциал насилия увеличивался в американской жизни с каждым годом; социальные ее основы начали рушиться».

Мейлер предупреждал об этом и раньше — своими книгами, статьями, выступлениями на дискуссиях о Вьетнаме. В мае 1965 г. в Беркли на многотысячном митинге протеста против вьетнамской войны он выступил с неслыханно резкими и смелыми разоблачениями истинного смысла кампании. Прошло три года, и стало совершенно очевидно, что война не принесла Америке ни лавров победителей, ни разрядки внутренней напряженности, ни даже сочувствия в лагере ее союзников.

Она принесла совсем другое: потенциал насилия возрос в чудовищной степени. Стивен Роджек, которому технократическое общество не позволяло дать волю его диктаторским инстинктам, ибо они затрудняли нормальное функционирование общественного механизма, получил широкие возможности «самоутверждаться», убивая вьетнамских крестьян и насилуя их жен; энергия, бушевавшая в нем, выплеснулась: опустошенность и психоз, порождающие не только отчаяние, но и слепую ярость, и страсть к насилию как единственной — для таких, как Роджек,— форме противостояния убийственной безликости современной американской жизни, грозили исказить стройные пропорции «разумного» технократического общества; Вьетнам стал отводным каналом. Взбесившемуся обывателю «нужно только каким-то образом оправдать акт убийства как патриотическое действие, хотя на деле все, чего он хочет,— это просто убивать».

Этот штрих окончательно дорисовывает портрет рядового обитателя общества технократии или общества тоталитарного — для Мейлера эти понятия почти синонимичны. Какой бы метафизикой и путаницей ни представлялись его философские взгляды, позиция, которую занял Мейлер, помогла ему увидеть нечто очень существенное в современной американской действительности. И перечитав сегодня «Американскую мечту», убеждаешься, что ее автор одним из первых различил суть особого, зловещего типа людей, ею сформированных. Социологам еще предстоит исследовать феномен, описанный Мейлером; в литературе он уже живет и, видимо, будет жить долго. Такова особенность настоящего писателя — видеть сегодня то, что станет явным завтра, жить хотя бы на несколько лет вперед.

А. ЗВЕРЕВ

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ БОЛТОВНИ

Болтать, балясничать, чесать язык, точить лясы... В каждом языке есть много синонимичных речений, выражающих это понятие: пустословие — явление распространенное во все времена и у всех народов. Но подобно тому, как заниматься исследованием комического в жизни и в литературе еще не значит смешить людей (смех — дело серьезное, говорят юмористы), рассуждать о пустословии еще не значит переливать из пустого в порожнее. Это блестяще доказал Альберто Моравиа своей статьей «Болтовня на сцене», опубликованной в журнале «Нуови аргоменти». И мы увидим, что обратиться к вопросу о праздной болтовне его побудило отнюдь не праздное любопытство: вопрос этот имеет прямое касательство к некоторым направлениям в современной западной драматургии.

Моравиа видит существенное различие между болтовней в жизни и болтовней в искусстве.

Вообще говоря, «болтовня не имеет своим назначением общение и даже выражение мыслей и чувств. Ее целью является в некотором смысле утверждение, основанное на отрицании. Человек говорит: «Сегодня хорошая погода». Это, в сущности, означает только, что он не нем, не мертв, не отсутствует.

С другой стороны, болтовня указывает на то, что в известный момент что-то может быть сказано. Она свидетельствует, что инструмент, которым человек пользуется для того, чтобы общаться и выражать свои мысли, находится в нормальном состоянии. Она равноценна работе двигателя на холостом ходу, показывающей, что мотор действует. Сталкиваясь с человеком, который болтает, мы испытываем своего рода чувство успокоения, потому что думаем: «Этот человек болтает. Значит, в какой-то момент он может и сказать что-нибудь». Иными словами,

болтовня — верный знак, что перед нами не робот, не немой, не урод. И действительно, принято говорить: «Ну, хватит болтать, поговорим о серьезных вещах». Разве это не значит: «Хватит показывать, что ты существуешь, что ты живешь на белом свете, теперь тебе пора сказать что-нибудь»?»

Однако в искусстве, по мысли Моравиа, сама несущественность болтовни может иметь существенное значение, сама бессодержательность ее может таить в себе определенное содержание. При этом, как и все на свете, болтовня в искусстве имеет свою историю, ее относительная роль радикальным образом менялась на протяжении веков, а иногда и десятилетий.

«У Шекспира, например (мы ссылаемся на Шекспира, потому что этот автор пользовался болтовней. У древних трагиков для болтовни нет места), болтовня не выходит за пределы фона. Шут болтает; второстепенные персонажи болтают; безумцы болтают. Но герои никогда не болтают... И тут мы задаемся вопросом: почему же начиная с определенного момента в истории театрального искусства болтовня, которая некогда была отодвинута на задний план, заполняет сцену, берет верх над драмой, вытесняет, изгоняет ее?»

Это в свою очередь заставляет задуматься над изменением самой функции пустословия в произведении искусства.

«Вначале имеет место болтовня, которая предстает как таковая и не претендует ни на что иное. Это реалистическая, натуралистическая, веристская болтовня. Когда Гольдони или Мольер заставляют болтать своих героев, подразумевается, что они говорят то, что говорят, и не больше того. Их болтовня предназначена передать атмосферу, придать колорит персонажу, локализовать ситуацию, то есть сделать их «правдивыми», «реальными», «натуральными»... Это болтовня чисто описательная, не имеющая подтекста. Она исчерпывается сама собой; за ней ничего не стоит и не должно стоять».

Другое дело, скажем, чеховская драма, обозначающая, по мнению Моравиа, поворотный момент в истории театра. Здесь болтовня приобретает совершенно иную роль, перестает быть бытописательным элементом, ибо имеет своей основой общественно-историческую драму и в своеобразной форме выражает ее.

«Русское буржуазное общество,— пишет Моравиа,— как и буржуазия любой другой страны, состояло из торговцев, промышленников, чиновников, людей свободных профессий и так далее. Но оно сформировалось недавно, развивалось в удушающей атмосфере царизма, на нездоровой и архаичной почве крепостничества. Русская буржуазия знала, что она должна совершить свою революцию, но в то же время сознавала, что это означало бы для нее самоубийство, потому что за революцией буржуазной уже шла по пятам социалистическая революция. Предчувствие надвигающейся катастрофы, одновременно непредвидимой и неизбежной, начиная со второй половины девятнадцатого века отравляет сознание молодой русской буржуазии. И это предчувствие близкой и неотвратимой катастрофы вызывает тошноту, растерянность, упадок духа, апатию, тоску и сопровождается убеждением, что все, что делается и говорится,— временно, неосновательно, абсурдно, бесполезно и что самое важное начнется «потом», то есть после переживаемого момента, в непроницаемом будущем.

По всем этим причинам люди болтают, только и могут болтать; но при этом их не оставляет ощущение, что нависшая беда делает их болтовню тоскливо-бессмысленной, ирреальной. Болтовня русской буржуазии в силу угнетавшего ее предвосхищения катастрофы не могла оставаться просто болтовней, то есть болтовней как самоцелью, она была отягощена значением, в котором те, кто занимался ею, в известной мере отдавали себе отчет, хотя и не способны были его определить... Это была, следовательно, символическая болтовня, поскольку то, что говорилось, само по себе не имело значения, но отсылало к тому, что не говорилось и не могло быть высказано».

«Катастрофическое мироощущение» в концепции Моравиа не сводится к страху перед революцией и не равнозначно пессимистическому. Это видно, например, из довольно неожиданного сопоставления Чехова с Кафкой.

«В то время как персонажи Чехова угадывают за катаклизмом лучший мир, герои Кафки справедливо страшатся пришествия общества, которым правят администраторы-палачи и бюрократы-убийцы. У Чехова предвидение рождается из надежды, у Кафки — из чувства вины. Будущее сулит персонажам Чехова награду в виде обновления и возрождения, а героям Кафки — кару в виде лагерей смерти».

Тем не менее предпринятая Моравиа попытка глобальной интерпретации чеховского театра на основе социальной психологии русской буржуазии конца прошлого века представляется нам несколько поверхностной и не свободной, как ни парадоксально это звучит применительно к Моравиа, от вульгарно-социологического схематизма. Но

здесь для нас важно другое. Моравиа уловил большое социально-историческое наполнение «болтовни» чеховских героев и ее особую эстетическую функцию, которая делает, скажем, речь Гаева, обращенную к многоуважаемому шкафу, коренным образом отличной от дремотной болтовни купчих и свах из комедий Островского:

> «До Чехова натуралистическая болтовня была подобна предмету, освещенному отвесно падающими полуденными лучами: предмету без тени, незначительному и реальному. Начиная с Чехова, болтовня отбрасывает гигантскую тень, делается ирреальной и значительной»

«Болтовня» в современном театре абсурда, на первый взгляд, наследует эту символическую функцию. Но при ближайшем рассмотрении, утверждает Моравиа, многозначительность, на которую она претендует, оказывается мнимой. Более того, «заполоняя сцену», она не только вытесняет драматическое действие, но и снимает саму драму. То, что у Чехова было выражением предреволюционной ситуации и связанного с ней мироощущения, то, что у Кафки проистекало из «осознания инволюции немецкой культуры и связанного с ним предчувствия катастрофы», у Пинтера, например, пишет Моравиа, становится знамением так называемой угрозы. «Но что угрожает персонажам Пинтера? Ничего определенного, разве только сам автор».

Истинную функцию болтовни в модернистском театре Моравиа раскрывает на примере трагикомедии Беккета «В ожидании Годо» — «одной из святынь самой современной и самой консервативной буржуазии».

> «Не останавливаясь даже на рассчитанной дурашливости названия, которое низводит трансцендентность до уровня игры слов, следует заметить, что Бог в драме Беккета становится Годо, то есть каким-нибудь колбасником или галантерейщиком парижского предместья. Перед нами классический прием принижения в целях символики, в котором, как и во всяком принижении, есть нечто льстивое и угодническое по отношению к зрителю. Беккет как бы хочет сказать: вы тоже ожидаете Годо, ни больше, ни меньше, чем мои персонажи. Нет надобности в каких-либо особых данных или задатках для того, чтобы ожидать Годо, то есть проникнуться религиозным духом; достаточно продолжать обычную повседневную жизнь, не принимая ее, однако, слишком всерьез, не отдаваясь ей всецело, постоянно сознавая, что в действительности вы ждете... Годо. Буржуазная публика равнодушна к тому, что Беккет настоящий, хотя и худосочный, поэт и искушенный драматург. Больше всего ее поражает то, что она может так легко отождествить себя с оборванцами, которые обмениваются обрывками бечевки и морковками и говорят о совершенно незначительных вещах. Черт возьми, глубокомыслие обычно дается нелегко, а тут автор позволяет нам быть глубокими дешевой ценой: стоит только подмигнуть, обронить несколько бессвязных фраз — и дело в шляпе. Кроме того, эти обрывки бечевки, морковки, лохмотья нравятся буржуазной публике как символ еще и по другой причине: это внешние приметы ненавистной и устрашающей нищеты, очищенные, однако, от их обычного значения и перенесенные в духовный план. Они как бы говорят: нищеты не существует, она лишь символ духовного убожества, которое свойственно каждому человеку, независимо от его жизненного положения. Таким образом, холод, грязь, голод, одичание выносятся за пределы действительности и благодаря этому мир застывает в средневековой косности, становится отчужденным, внеисторическим, внеидеологическим. Этого-то и хочет благодушный господин, сидящий в кресле партера: чувствовать себя бедным, будучи богатым, чувствовать себя плохо одетым, будучи хорошо одетым, считать, что карманы у него полны обрывков бечевки и морковки, в то время как они полны денег, верить, что слышишь глубокие речи, хотя на самом деле слышишь пустую болтовню».

Так тотальный пессимизм Беккета обращается в свою противоположность — в приятие и освящение наличной действительности, возводимой в ранг онтологической категории как «условия человеческого существования». Тем самым снимаются все «проклятые вопросы»: для Беккета, как для эпигона, «единственно важные проблемы — это проблемы литературные», и потому болтовня в его театре становится по существу литературной болтовней, а «тени, которые отбрасывают его персонажи, освещенные стилистическим прожектором, чуть ли не короче самих персонажей».

Эта болтовня, в которой банальность сочетается с метафизическими претензиями, подобна, по выражению Моравиа, болтовне клоуна, играющего словами как цветными шариками.

> А «клоун — наследник придворного шута: он смешит, он даже заставляет думать; но когда наступает час коронного совета, его отсылают на кухню. Клоун — виртуоз, это верно, клоун также стилист. Но клоун не переступает огней рампы, он остается замкнутым в своей игре, как личинка в своем коконе, он не протестует и ничего не ставит под вопрос, он исчерпывает себя в формальных вывертах, в кривлянии».

Родословную литературы, которую представляет Беккет, часто возводят к Достоевскому, но, как показывает Моравиа, она и в этом плане не поднимается выше эпигонского уровня. У Достоевского

«персонажи тем больше болтают, чем более важные вещи они имеют сказать. Следователь Порфирий готовится обвинить Раскольникова в убийстве старой ростовщицы, а только и делает, что болтает, как говорится, о том о сем... Но покров болтовни у Достоевского всегда в конце концов разрывается и обнажает сложное и целостное видение мира, присущее русскому романисту. Болтовня у Беккета, тоже вуалирующая мысль и на что-то намекающая, никогда не разрывается. По той веской причине, что если бы она разорвалась, она обнажила бы только самое себя, иначе говоря, свою собственную бессодержательность, утвержденную и подкрепленную притязанием на метафизическую значительность».

Эскепистскую функцию болтовни в театре абсурда Моравиа показывает и на примере другого его столпа — Эжена Ионеско.

В повседневном языке есть известное количество слов и словосочетаний, которые, износившись в результате многовекового употребления, уже утратили всякий смысл,— так называемые общие места и избитые фразы. Особенность болтовни у Ионеско, по мнению Моравиа, и состоит в том, что его персонажи говорят почти исключительно такими избитыми фразами и общими местами,

«а этот язык, лишенный содержания, так сказать, метафизичен сам по себе — в точности так же, как магические формулы или молитвы на языке, незнакомом молящемуся».

Болтовня героев Ионеско поэтому — «болтовня в кубе»: они не только не говорят ничего, имеющего значения, но и то, что не имеет никакого значения, высказывают словами, которые ничего не значат, чем и создается атмосфера всеобщей, вселенской глупости.

«Как ни странно это звучит, Ионеско не менее угодлив по отношению к публике, чем Беккет: последний дает зрителю по дешевой цене иллюзии глубины, а первый — иллюзию идиотизма, тоже по дешевой цене».

Зритель чувствует себя идиотом — «как все», а это позволяет ему, пишет Моравиа, «с пьянящей легкостью и быстротой отдаться чувству безответственности, бессознательности, ирреальности».

Но по существу своему функция болтовни остается той же:

«И Беккет, и Ионеско — консерваторы, первый — с оттенком религиозности, второй — с оттенком наплевательства».

Тут необходимо сделать оговорку: нам не кажется вполне справедливой эта уничтожающая общая оценка творчества Ионеско — по крайней мере, применительно к его лучшим произведениям. таким как «Носорог» или «Убийца не для заработка». Но опять-таки здесь важно другое: Моравиа уловил идейную тенденцию того направления, которое представляет Ионеско, но в рамках которого он сам не умещается. которое он на своих взлетах перерастает, как это едва ли не всегда бывает с большими мастерами.

Моравиа отнюдь не смотрит пессимистически на судьбы современного театра. Заключая свою статью, он противопоставляет театру символической или метафизической болтовни театр подлинного драматического действия, виднейшим представителем которого он считает Луиджи Пиранделло и к которому относит таких драматургов, как Брехт, Сартр, Вейс.

«Это течение можно было бы назвать реалистическим,— пишет Моравиа,— но это слово с неопределенным значением не передало бы его истинного характера. Скажем лучше, что речь идет о диалектическом, то есть по существу трагическом театре».

Мы не боимся слова «реалистический», которого чурается Моравиа под влиянием распространенных предрассудков. Но дело, разумеется, не в словах. Мы согласны с ним в главном: будущее принадлежит театру, который выплескивает на сцену живую жизнь с ее драматическими борениями и проклятыми вопросами, а не успокоительную и обезоруживающую болтовню.

Н. НАУМОВ

УИЛЬЯМ КУПЕР

ЭРА ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ

В 50-е годы наше западное общество переживало трудную пору, которую зачастую называли «эрой беспокойства». Пожалуй, это была довольно поверхностная журналистская формулировка. Она вызывала у нас в представлении мрачную картину всеобщей тревоги: прежде всего и главным образом по поводу Бомбы, далее — по поводу вторжения техники в жизнь людей, утраты ими индивидуальности под влиянием массовой культуры и их неспособности справиться с социальными перетурбациями.

Но ведь было вокруг нас немало таких, кто не верил, что русские в конце концов пойдут на самоубийство и начнут сбрасывать на Америку атомные бомбы или что, наоборот, на самоубийство пойдут американцы и станут сбрасывать атомные бомбы на Россию; таких, кто усматривал в развитии техники возможность сделать более сносными суровые условия человеческого существования; таких, кто не боялся обезличиться под воздействием массовой культуры.

Слабая сторона этой формулировки — «эра беспокойства» — как раз и заключается в том, что в основе ее лежит недооценка силы и гибкости человеческой натуры. В ней, этой формулировке, не было ни той глубины, ни той универсальности, на которые она претендовала. Но что-то в ней все-таки было. Хоть и поверхностная сама по себе, она взяла людей за живое. О ней много дискутировали, и она того стоила. Нет, что-то в ней все-таки **было.**

Мне думается, в том же плане и с теми же оговорками нынешний этап в жизни нашего западного общества можно назвать «эрой острых ощущений», причем особенно это относится к области искусства. Идея эта зародилась у меня еще несколько лет назад, но по-настоящему завладела мною прошлой зимой, когда мы с женой смотрели один спектакль. Разумеется, таким толчком мог послужить для меня какой-нибудь фильм, или книга, или художественная выставка. Но случилось так, что мысль эта с особенной силой завладела мною именно в театре.

Дело было в Лондоне, в одну из суббот, на шестичасовом спектакле в Королевском шекспировском театре. Давали современную пьесу. На недорогих местах, впереди нас на один ряд, сидели две пожилые супружеские пары, судя по внешнему виду — самые обыкновенные добропорядочные горожане. (Впрочем, я уверен, что так оно и было на самом деле.) Все четверо — жизнерадостные, низенькие, седые, в очках, не так чтобы очень уж яркие личности, но, видимо, люди здравомыслящие; похоже, что это были мелкие лавочники. Пожалуй, нетипичным мне показалось в них только одно: как я понял по репликам, которыми они обменивались перед началом спектакля, это были завзятые театралы — они уже успели посмотреть решительно все. (Слышать их разговор мы могли потому, что зал был на три четверти пуст; Королевский шекспировский театр получает дотацию от государства.)

Не успел подняться занавес, как на сцене начались всякие страсти — предполагалось, видимо, что именно за это мы и выложили деньги. Шла пьеса из жизни рабочей семьи. Для начала **папаша ни за что ни про что так двинул в живот взрослого**

сына, а потом своего пожилого приятеля, что те покатились по полу. Четверо коротышек, сидевших перед нами, взыграли духом — как бывает со страстными театралами, когда их обрадует актерская удача или остроумная находка режиссера.

Потом другой сын, фатоватый подонок, поведал нам, что одна аристократка сделала ему некое предложение, но он ей отказал, потому что она заживо гниет от сифилиса. Тут наши лавочники хихикнули — не без приятного ужаса. Потом этот самый хлыщ стал рассказывать, как он избил аристократку. Они захихикали еще громче. Он добавил, что мог бы забить ее насмерть, но побоялся, как бы полиция не подняла шума. Тут наши друзья залились довольным смехом.

Четверо самых заурядных пожилых добропорядочных лавочников... Не какие-нибудь мелкие преступники, или бездушные подростки, или модничающие интеллектуалы. Нет, четверо обыкновенных людей, каких миллионы, добросовестно вытаращив глаза, смотрели на сцену и хихикали. Пользуясь тем, что их смех заглушал мои слова, я шепнул жене: «А ведь, пожалуй, в Англии нашлось бы немало охотников смотреть на публичные казни, верно?»

Для атмосферы, создавшейся сейчас в нашей культуре, характерны две особенности, которые, на мой взгляд, дают основания для беспокойства, и к тому же серьезного. Прежде всего, атмосфера эта способствует распространению в обществе того мнения, будто **первейшая** функция произведения искусства — вызывать острые ощущения, ошеломлять, бросать в дрожь. (А я считаю, что если общество согласится с таким мнением, то **первейшая** функция искусства может стать и его **единственной** функцией.) Вторая особенность, вытекающая из первой, заключается в следующем: все больше людей склоняется к мысли, что наиболее острые ощущения вызывает показ жестокости и секса — для начала одной только жестокости или одного только секса, а в дальнейшем — их комбинации. Спектакль, о котором я писал в начале статьи,— всего лишь второстепенное свидетельство того, что за последние два десятилетия порнография — секс и жестокость — на наших глазах заполонила все виды искусства.

Естественно возникает вопрос: связаны ли эти две особенности нашей культурной жизни с характером общества, в котором мы живем и которое сами же окрестили «терпимым»? Я считаю, что обе они — неизбежное порождение этого общества. Скажу больше: возможно, они, эти особенности,— отличительный признак общества, не имеющего перед собой цели и впадающего в отчаяние.

«Поставщики» острых ощущений получают огромные барыши. Одним из первых пропагандистов двойной порнографии — секса и жестокости — стала кинопромышленность. Правда, она дала несколько шедевров, вовсе не рассчитанных на то, чтобы вызывать у зрителя острые ощущения, но все-таки с самого момента ее возникновения упор делался на развлекательность фильмов и их кассовость. Под развлекательностью дельцы от кино понимают прежде всего умение ошеломить зрителя, показать ему такое, чтобы у него дух захватило, а кассовость, с их точки зрения, определяется в первую очередь умением выжать наибольшее количество денег из наибольшего числа зрителей, разжигая в них те инстинкты, на которых проще всего нажиться. На какие же инстинкты выгоднее всего воздействовать, кинопромышленники уразумели быстро.

В изобразительном искусстве за последние несколько лет в моду вошли и другие способы воздействия на аудиторию. Для новомодного искусства особенно характерно стремление ошеломить публику показом самых обыденных, прозаических предметов обихода, а то и попросту хлама, причем все, включая самого художника, отдают себе отчет в том, что это именно примелькавшийся предмет обихода или хлам. Например, произведениями искусства считаются сделанный из дерева и выкрашенный серебряной краской пылесос или отлитые в бронзе жестянки из-под пива. Можно, однако, не сомневаться в том, что опусы эти вызовут сенсацию. Ибо, хотя всем понятно, что это хлам — и к тому же самый обыденный,— в наглости художника, выставляющего подобные «произведения искусства», а тем более в нахальстве торговца, предлагающего публике выкладывать за них деньги, действительно есть нечто сенсационное. Требовать деньги за металлолом!

Оторопь вызывает и сногсшибательная эстетическая теория, призванная оправдать такого рода искусство. Речь идет о теории, согласно которой художник может именовать тот или иной предмет произведением искусства: именуя, к примеру, произведением искусства деревянный пылесос, художник тем самым совершает творческий акт, который вызывает у публики определенную эстетическую реакцию. Что и говорить, действительно вызывает!

Всякий, кто способен трезво оценить эту теорию, неизбежно придет к выводу, что она превращает искусство в бессмыслицу.

А теперь — несколько слов о моде. Вполне очевидно, что моде всегда принадлежала некоторая роль в тех переменах, которые происходили в искусстве, но за последние лет двадцать ее вторжение в эту область приняло чрезмерный характер, и, я полагаю, этого нельзя было не заметить. Такое вторжение осуществляется в широких масштабах и весьма энергично (можно даже, пожалуй, сказать — насильственно) через посредство радио, телевидения и печати; за последние два десятилетия их активность в этом отношении достигла апогея.

Сперва они объявляют, что в моду входит театр абсурда; потом — что театр абсурда устарел и в моду входит театр жестокости, потом театр жестокости, в свою оче-

редь, объявляется устаревшим — и так далее. При такой постановке вопроса к драме подходят с теми же критериями, что и к дамской прическе, произведение драматурга рассматривается в том же плане, что и изделие портного.

Успех того или иного модного направления в искусстве определяется остротой ощущений, вызываемых его новизной и непривычностью, но отнюдь не его эстетической, моральной или общественной ценностью. Одни теоретики, пытающиеся оправдать это явление, утверждают: «Искусство, как и женская одежда, нуждается в обновлении». Другие, более робкие, говорят: «Искусство сходит со своего пьедестала». И те, и другие правы, как никогда — во всяком случае, пока речь идет о тех произведениях искусства, которые отстаивают они сами. Однако вполне ясно, чем эта ситуация вызвана в действительности. Искусство нуждается в обновлении именно тогда, когда художники не могут создавать непреходящие ценности. Искусство сходит с пьедестала именно тогда, когда художники не создают ничего такого, что способствовало бы его возвышению.

■

Отвлечемся пока от проблем искусства и рассмотрим одно из самых примечательных явлений, характерных для «эры острых ощущений». Речь идет о том, что отдельные индивидуумы полностью погружаются в сугубо личный мир ощущений, прибегая для этого к различным наркотикам. По природе своей ощущение — нечто очень личное, имеющее значение лишь для данного, отдельно взятого индивидуума. Отсюда вытекает, что чем глубже индивидуум погружается в свои ощущения, тем больше он отрывается от других людей. Итак, следует помнить, что, хотя личный опыт представляет собой важную, необходимую часть нашего жизненного опыта, полное погружение в мир ощущений достигается ценою полного нарушения связи с другими людьми. (Это наиболее очевидно, когда человек находится в состоянии транса — будь то вызванного ЛСД, галлюцинаторного, экстатического или мистического.)

Мне кажется, что все более широкое распространение наркотиков в погоне за острыми ощущениями и возрастающий интерес к ним публики вынуждает нас признать тот факт, что в обществе, ратующем за отказ от каких бы то ни было моральных ограничений, все усиливается тенденция к уходу отдельных индивидуумов в асоциальный мир личных ощущений. (Отсюда, по-видимому, вытекает, что чем «свободнее» общество — если понимать под свободой отказ от применения моральных и социальных санкций,— тем больше членов этого общества жаждет как можно скорее отойти от него.)

Тут, пожалуй, уместно сказать в скобках несколько слов о том, как же выглядит на деле этот «отход от общества». Мне думается, те, кто заявляют о своем «отходе от общества» (а выражается он в отказе от выполнения какой бы то ни было полезной работы), в большинстве случаев фактически превращаются в иждивенцев этого же самого общества, получая от него вспомоществование в той или иной форме. Что же касается калифорнийских «хиппи», которые «отошли от общества», ища прибежища в марихуане и восточных религиях, то на прямой вопрос — на что они живут,— многие из них стыдливо отвечают, что существуют на небольшие суммы, получаемые от родителей. Какой уж тут отход от общества, когда они сосут его, как материнскую грудь!

■

На протяжении веков всякого рода пророки и мессии твердили нам, что испытать с наибольшей остротой то или иное ощущение можно лишь в том случае, если мы для начала отключим разум. Не стану ворошить старье и ссылаться на одного из самых влиятельных пророков нынешнего, XX века Дэвида Лоуренса. Нет, я буду ультрасовременным и обращусь к новоявленному мессии, предлагающему своим последователям в качестве причастия наркотик ЛСД. Речь идет о д-ре Тимоти Лири, который с апломбом истого пророка вещает: «Разум — это антиискусство». Конечно, он имеет в виду так называемое «психоделическое искусство» своих последователей, наиболее обычным образчиком которого (в Калифорнии, например) служит проекция на экран калейдоскопически пестрых огоньков. Тут действительно не обнаружишь никаких следов разума или чувства, как, впрочем, и никаких следов искусства.

Кстати, и самое слово «психоделический» употребляется неверно: смысл его вывернут наизнанку, а это — тенденция, весьма характерная для тех, кто ополчился сейчас против разума. Ведь слово — порождение разума и его оплот, стало быть, искажение смысла слов — довольно удачное начало для тех, кто ратует против разума. Нам беспрестанно твердят, что слово «психоделический» (один из греческих его корней — «делос», что значит «ясный») означает «расширяющий сознание». Прекрасно. Но почему же, в таком случае, слово это постоянно применяют для обозначения такого состояния, при котором сознание явно затуманивается? Потребляя наркотики, говорят нам, мы отключаем разум ради того, чтобы беспрепятственно отдаться ощущению, мы получаем возможность обонять цвета, осязать звуки и т. д. И это называется «расширением сознания»? Одурманивание, путаница ощущений — вот что это такое. Смысл слова вывернут наизнанку.

Сужение сознания — лишь первый шаг в погоне за острыми ощущениями. Далее следует обеднение комплекса чувств, связывающих человека с другими людьми, чувств, которые он питает к лично знакомым ему индивидуумам, к членам той части общества, к которой принадлежит он сам, и наконец к человечеству в целом. С моей точки зрения, самая поразительная особенность модного искусства нынешней «эры острых ощущений» — это его бездушие, бесчувственность.

Вернемся еще раз к пьесе, о которой я писал выше. Нам показывали сцены жестокости; то была жестокость людей, которые могут проделывать друг с другом все что угодно, ибо их не связывают никакие чувства. А где бесчувственность, там и жестокость.

Ощущение, в конечном итоге, переживается только самим индивидуумом, а чувство, привязанность соединяют его с другими людьми. Это положение общего характера находит свое отражение и в искусстве «эры острых ощущений»...

Нынешняя наша литература изобилует описаниями полового акта. Оказалось, что, когда писатели вольны писать о чем угодно, они начинают во всех подробностях описывать оргазм. Раньше такого не было. Вот основное, что мы получили от этой свободы. Я подчеркиваю слово «мы», ибо имею в виду все общество в целом. Разумеется, книги, содержащие подобного рода описания, существовали и раньше, но они были настолько мало распространены, что не могли определять общий колорит художественной литературы своей эпохи, а сейчас определяют, и в такой мере, что не заметить этого может лишь человек, страдающий дальтонизмом.

Итак, половой акт стал объектом искусства. Но вместе с тем из искусства что-то исчезло (интересно, заметили ли это те, кто ратует за свободу художника?). Исчезло чувство, половая страсть. Ибо в половом акте на первый план выступает ощущение, тогда как в основе половой страсти лежит чувство. В этой связи Чарльз Сноу заметил недавно в одном из своих публичных выступлений, что при той атмосфере, какая царит сейчас в нашей культуре, почти невозможно появление такого романа, как «Анна Каренина»,— ведь там не найдешь почти никаких упоминаний о половом акте, а тем более непристойных его описаний. И вместе с тем в книге этой с огромной силой показана половая страсть. Но в нынешнюю «эру острых ощущений» мы либо смотрим на жизнь иначе, либо предполагаем, что она совсем иная, и уж во всяком случае наши художники в большинстве своем изображают ее по-другому.

Мне хочется еще раз подчеркнуть: я вовсе не говорю, что ощущение не должно быть объектом искусства. Я только возражаю против того, чтобы оно вытесняло из искусства все остальное, и предостерегаю от опасностей, с которыми это связано.

В одной из критических работ, изданных в Нью-Йорке, говорится, что искусство есть программирование ощущений. Теория эта подразумевает, что ощущения должны программироваться по преимуществу в пределах некоего диапазона, крайними точками которого являются, с одной стороны — отвращение, а с другой — скука. Иными словами, видимо, предполагается программировать в основном ощущения, рассчитанные на то, чтобы шокировать аудиторию, оскорблять ее. Именно такие ощущения, вероятно, и будут считаться наиболее важными и, пожалуй, даже необходимыми. Но спросим себя: часто ли люди уходят со спектакля, с фильма или с художественной выставки, часто ли они захлопывают роман по той причине, что чувствуют себя шокированными? Кое-кто, правда, входит во вкус, и им даже нравится, когда их шокируют; быть может, они предпочитают чувствовать себя шокированными, чем вообще ничего не чувствовать? Иногда начинаешь подозревать, что для них это единственная альтернатива.

Это дает основание задуматься над тем, к чему приведет понимание искусства как программирования ощущений, а иначе говоря — принятие принципа, согласно которому первейшая функция произведения искусства — вызывать острые ощущения.

Ибо ощущение имеет одну роковую особенность: повторяясь, оно с каждым разом слабеет, притупляется. Для того чтобы острота ощущения оставалась неизменной, каждый раз следует усиливать вызывающий его раздражитель, и здесь неизбежно должен наступить какой-то предел. Стало быть, еще до того, как человек погнался за тем или иным ощущением, уже ясно, к чему это в конечном итоге приведет — к безразличию и к полной невосприимчивости.

В погоне за ощущениями всегда есть привкус отчаяния. И это не удивительно. Ибо отчаяние — ее неизбежный конец, а иногда и отправная точка. Ведь одной из причин, по которым человек погружается в сугубо личный мир ощущений, может быть отчаяние от того, что он не способен полюбить, не способен установить связь с другими людьми в сфере чувства.

Сейчас входят в моду две психологические — с социальным уклоном — теории, оправдывающие порнографию в искусстве. Обе они, на мой взгляд, абсолютно фальшивы по идее и никак не подтверждаются практикой. Первая из них — так называемая «теория предохранительного клапана» — основана на верной мысли, что у большинства людей бывают фантазии порнографического свойства, однако из этого делается странный вывод: читая порнографическую литературу и находя в ней воплощение своих фантазий, такие люди якобы от них избавляются окончательно и притом довольно

безболезненно; иными словами, порнографическая литература как бы играет роль предохранительного клапана.

Однако на деле все обстоит совсем иначе. Учитывая, что книги эти расходятся огромными тиражами, нет и не может быть сомнения, что в общем и целом они лишь повышают давление пара в котле. Теория «предохранительного клапана» фальшива, бесчестна и, что всего важнее,— опасна.

Вторая теория, именуемая «теорией утомления», не столько опасна, сколько нелепа. Ее сторонники признают, что от повторения острота ощущения слабеет, и на этом основании заявляют: «Пусть порнографии в искусстве становится все больше и больше, тогда люди устанут от нее». Блестящая теория, что и говорить!

По природе своей люди чрезвычайно восприимчивы, гораздо более восприимчивы, чем мы обычно принимаем это во внимание (вернее, чем мы склонны это допускать, оберегая свой душевный покой). Спрашивается: как воздействует на людей бездушное искусство? Я считаю, что бездушное искусство должно порождать бездушие. Именно эта мысль пришла мне в голову, когда я смотрел спектакль, о котором рассказывал в начале статьи.

Встали передо мной и другие вопросы: посещая в погоне за модой такие спектакли (поставленные, кстати, театром, существующим на государственную дотацию), не рискуем ли мы, зрители, лишиться нормального чувства отвращения, которое должен вызывать показ жестокости, черствости, деградации? Не получается ли так, что даже в тех случаях, когда нам все это показывают со сцены для того, чтобы вызвать в нас отвращение (будем великодушны и допустим, что театр руководствуется именно этой целью), фактически подобного рода зрелища вызывают у зрителей болезненно острое ощущение, ужас, сопровождающийся возбужденным хихиканьем? И еще один, гораздо более важный вопрос: не притупляется ли у нас чувство отвращения к жестокости, черствости и деградации из-за того, что нам их показывают со сцены чересчур часто? Не превращаются ли они для нас в нечто привычное?

Вопросы эти становятся еще более насущными, если учесть, что мы постоянно сталкиваемся с искусством — и не только театральным,— из которого выхолощены обычные человеческие чувства; с искусством, рассчитанным, по-видимому, на таких людей, у которых оно, в свою очередь, может эти чувства вытравить, словом,— с бездушным искусством, рассчитанным на бездушных людей.

Человеческие чувства культивируются цивилизацией, ибо от них зависит прочность ее существования. Укреплению их можем способствовать и мы сами, проявляя достаточно решимости в области нравственной и социальной. А вместе с тем их можно и вытравить — в том числе и с помощью искусства.

Когда общество предоставляет своим членам делать все, что им угодно, у них создается впечатление, что они ему безразличны; как же может быть иначе? Вот почему, на мой взгляд, не так уж неожиданно, что одним из наиболее впечатляющих результатов терпимости со стороны общества явилось обострение — и порою невероятно резкое — отношений между молодежью и старшим поколением, хотя, как известно, им всегда было трудно ладить друг с другом. Одна из основных жалоб юнцов, лишенных привязанностей, и состоит в том, что никому нет до них дела. «Терпимое общество» получило именно то, чего хотело.

Что же касается свободы в искусстве, то она привела не к расширению, а к сужению его сферы и к тому, что оно отупляет аудиторию, а не делает ее восприимчивей. Конечно, каждый волен иметь свое мнение. Я лично могу сказать одно: теперь, когда мы увидели, что такое свобода в искусстве, я сделал выбор — безусловно, не в ее пользу. Но дело не в моем личном выборе, а в том, что выбор должно сделать общество в целом, и притом безотлагательно. Ведь за эту свободу, являющуюся результатом терпимости (мы говорим сейчас только об искусстве, не ставя вопрос более широко), общество дорого расплачивается. И вполне возможно, обществу придется спросить себя, получает ли оно в обмен нечто действительно ценное. Впрочем, быть может, поднимать этот вопрос уже поздно. А может быть, скажут нам, самая его постановка возможна лишь в обществе, имеющем важную социальную цель, тогда как ситуация, о которой мы говорим, возникает лишь в том случае, если общество такой цели не имеет. Право, не знаю. Могу только сказать, что, по моему мнению, в обществе, ставящем перед собой важную социальную цель, немыслимы ни полная терпимость, ни «эра острых ощущений».

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

г. Лондон

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

ВЫСОКИЕ СТРАНИЦЫ

Антонио Грамши. О литературе и искусстве. Перевод с итальянского Э. Егермана и В. Бондарчука. Автор предисловия и редактор А. Лебедев. Москва, «Прогресс», 1967.

Трудно переоценить значение выхода в свет книги Антонио Грамши «О литературе и искусстве». Эта книга стала достоянием русского читателя через десять лет после публикации трехтомника «Избранных произведений» Грамши. Сегодня, когда литература, искусство, культура становятся ареной все обостряющейся идейной борьбы, очевидна особая своевременность появления на русском языке антологии работ Грамши, специально посвященных этому кругу проблем.

Мы не можем не видеть в области культуры вполне целенаправленной деятельности наших идеологических противников, всеми силами стремящихся к искусственному обострению различий во взглядах на литературу и искусство внутри международного коммунистического движения. Этим интенсивным попыткам может и должно быть противопоставлено прежде всего серьезное, творчески устремленное внимание к теоретической работе в области марксизма-ленинизма, которую ведут коммунисты в разных странах.

Нельзя не отметить в этой связи важность расширенного переиздания работ В. И. Ленина о литературе и искусстве и выхода у нас и в ряде стран новых антологий Маркса и Энгельса, посвященных искусству.

В новый сборник Грамши, наряду с работами, печатавшимися в уже упомянутом трехтомнике, вошли произведения, ранее не переводившиеся на русский язык,— так, впервые печатается весь раздел «Театральная хроника», заметки по лингвистике и некоторые другие работы. Мы отдаем себе отчет в трудности отбора произведений для антологии. Сложность подобного издания обусловлена и самим характером работ Грамши, подчиненных единому и огромному замыслу, но предстающих порой перед читателем в виде тематически разрозненных заметок.

Не считая возможным в пределах краткой рецензии подробно говорить об осуществленном составителями отборе (тем более что в основном полагаем его правильным), мы все же хотели бы высказать одно соображение общего характера. Чему при такого рода изданиях следует отдать предпочтение — работам, непосредственно посвященным оценке тех или иных произведений искусства, или работам, пусть непосредственно с такими оценками не связанным, но имеющим определяющее методологическое значение для исследования самой области искусства и литературы? Решительно придерживаясь — разумеется в том случае, если возникает потребность в предпочтительном выборе,— второй точки зрения, мы считали бы оправданным включение в антологию некоторых работ Грамши периода «Ордине нуово»*, в которых заключены его мысли о международном значении ленинизма и Октябрьской революции для духовного развития человечества.

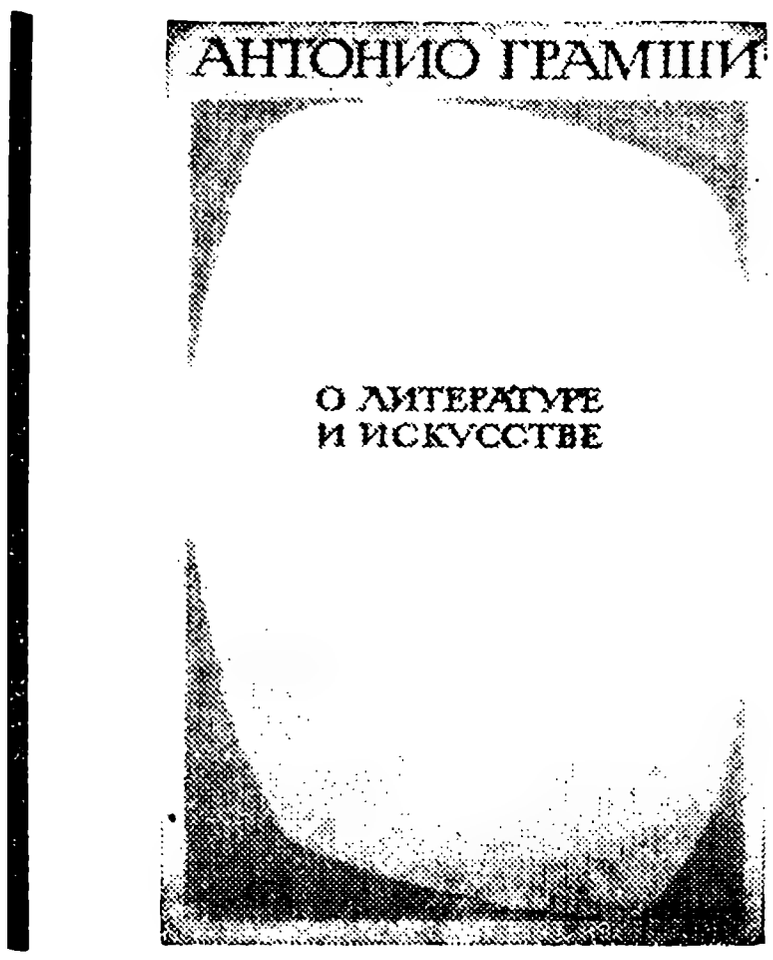
Страницы «Ордине нуово» носят отпечаток острейшей политической борьбы, шедшей в те годы в Италии и в мире. Но и жгучая неотложность задач, решаемых

* Журнал, принявший название туринской группы социалистов, которая впоследствии составила ядро Коммунистической партии Италии (во главе журнала и группы стояли А. Грамши, П. Тольятти, У. Терначини).

Грамши-политиком, Грамши-пропагандистом, не становится преградой его стремлению аналитически осмыслить бурное движение истории. Вот один из примеров такого анализа в рамках его газетной статьи 1919 года:

«Большевики придали государственную форму историческому и социальному опыту русского пролетариата, который является также опытом пролетариата и крестьянства всех стран, облекли в форму сложного разветвленного и гибкого организма все, даже самые сокровенные стороны жизни пролетариата своей страны, его традиции, славную историю его духовного и социального развития в ее наиболее глубоких проявлениях. Они порвали с прошлым, но в то же время продолжали его, порвали с традициями, но одновременно развили и углубили их; они покончили с историческим прошлым, в котором господствовали имущие классы, и продолжили, развили и обогатили жизненные традиции пролетариата, традиции рабочих и крестьян. В этом они были революционерами, поэтому они установили новый строй и дисциплину. Разрыв был неотвратим, так как дело шло о самой сути истории. Возврата к прошлому не было, ибо в противном случае Россия оказалась бы ввергнутой в небывалую катастрофу. И вот начинается гигантский поединок со всеми требованиями и задачами, выдвигаемыми историей, от самых элементарных до наиболее сложных; пролетарское государство должно было считаться с требованиями истории, подчинить их себе, включить их в сложный механизм своих многообразных функций».

Мы считали бы уместным включение в антологию такой важнейшей, на наш взгляд, работы, как «Некоторые аспекты южного вопроса», в которой высказаны мысли Грамши о связях рабочего класса и его партии с демократической интеллигенцией (раздел, посвященный Пьеро Гобетти), а также некоторых статей Грамши на тему «Американизм и фордизм». Вполне возможно, что эти или иные значительные в плане методологии произведения Грамши представили бы не меньший интерес для читателя, нежели юношеские театральные рецензии, которые, при всей их несомненной важности, могли бы найти место в более полном издании работ Грамши.



Своеобразие Грамши как марксистского мыслителя, подлинная оригинальность его мысли порождены прежде всего его стремлением к историзму, к конкретному, а значит, в первую очередь, национально-конкретному историческому анализу. Это позиция марксистской мысли. Можно вспомнить слова Энгельса в адрес «многих молодых писателей в Германии» в известном его письме К. Шмидту от 5 августа 1890 года. Как отмечает Энгельс, для этих молодых писателей «слово «материалистический» служит просто в качестве фразы, которую они применяют к разным вещам, не давая себе труда заняться дальнейшим изучением, то есть приклеивают этот ярлычок и считают, что этим все исчерпывается. Но наше понимание истории,— продолжает Энгельс,— есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования на манер гегельянства. Всю историю надо начать изучать заново. Надо исследовать в деталях условия существования различных общественных формаций, прежде чем попытаться вывести из них соответствующие им политические, частно-правовые, эстетические, философские и тому подобные воззрения».

Именно таков был подход Грамши к анализу литературы и искусства. В тягчайших, немыслимых, казалось бы, для научной работы условиях тюрьмы, под непрестанным надзором создал Грамши большинство из вошедших в сборник произведений, не устаревших и в сегодняшней борьбе против любителей революционной фразы, против попыток низвести ставший мировоззрением целой эпохи марксизм до уровня догматического свода прописей, равно как и против вчерашних и сегодняшних попыток ревизии марксизма «справа».

Внимание к специфике искусства, к особому значению художественного анализа — таков подход Грамши к задачам литературной критики, сохраняющий и сегодня всю свою антидогматическую направленность против «попугаев, которые, располагая несколькими избитыми, шаблонными формулировками, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери,— эти ключи называются, собственно говоря, «отмычками».

Два писателя,— продолжал Грамши,— могут представлять один и тот же историко-социальный момент, но один из них может быть художником, а другой простонапросто мазилкой. Ограничиться описанием того, что показывают или выражают в социальном отношении оба писателя,— то есть подытожить более или менее удачно характерные черты определенного исто-

рико-социального момента и тем самым исчерпать вопрос, означало бы оставить проблему искусства совершенно незатронутой. Все это может быть полезным и необходимым, более того, действительно является таковым, но только в другой области — в области политической критики критики правов, в борьбе за преодоление известного рода мнений и верований, известных позиций по отношению к жизни и миру, но это не критика и не история искусства и может считаться таковой только вследствие полного смешения понятий, отхода назад или застоя научной мысли, что как раз и сделало бы невозможным достижение тех целей, которые преследуются борьбой за культуру».

Здесь мы, к сожалению, вынуждены сделать отступление. Переводчики В. Бондарчук и покойный Э Егерман отлично справились со своей задачей — благодаря им написанная сложно и трудно книга Грамши хорошо звучит по-русски. Но перевод приведенной выше цитаты мы вынуждены были дать не по тексту рецензируемого сборника, а по трехтомнику Грамши, поскольку текст трехтомника соответствует итальянскому изданию Грамши пятидесятого года, а текст сборника расходится с ним, пусть в мелочах, но расходится. Так, Грамши пишет: «Эти ключи называются, собственно говоря, «отмычками» — и «отмычки» у него закавычены, потому что пользуется он словом жаргонным, а перевод в сборнике выглядит так: «Такие ключи можно было бы, собственно говоря, назвать отмычками», причем кавычки исчезают, зато в кавычках идут слова о «политической» критике, в то время как у Грамши о политической критике речи идет без всяких кавычек.

Мы бы не стали останавливаться на этих, казалось бы, мелочах, если б в других местах сборника не встретили схожие неточности. Думаю, что эти неточности, а также серьезные неточности комментария к сборнику могут быть без особого труда устранены при последующем издании книги.

Разъясняя свои, имеющие особую важность мысли о разграничении критики художественной и политической, Грамши в главе «Критерии художественной критики» подчеркивает, что это разграничение никоим образом не исключает «исследования того, скопление каких чувств и какое отношение к жизни пронизывают данное произведение». Напротив, в этом Грамши усматривает одну из важнейших задач художественной и литературной критики. Он возражает лишь против возможности «считать произведение искусства художественным только в силу его морального и политического содержания».

Грамши отмечает и важное моральное значение критики политической. Предположим, писатель, который в других произведениях зарекомендовал себя как художник, создает произведение несостоятельное, лишенное художественных достоинств Грамши говорит, что это может быть свидетельством духовной и политической фальши, свидетельством того, что «данное содержание является для NN ничего не говорящей и непослушной темой, что энтузиазм NN ложен и предписан извне, что в данном конкретном случае NN является не художником, а слугою, который старается угодить хозяину... Поэтому NN — политический комедиант, он хочет, чтобы его принимали за другого, не за того, кем он является на самом деле, и т. д. и т. п. Политический критик, следовательно, изобличает NN не как художника, а как политического оппортуниста».

Быть может, такая постановка вопроса иным покажется чрезмерно ригористичной, даже безжалостной. Но Грамши, ученый и политик, предвидит неизбежность борьбы с художественной фальшью, с приспособленчеством в искусстве и полагает в данном случае безжалостность уместной и нужной. Движет им прежде всего глубокая убежденность в том, что «если культура, за которую идет борьба, является живым и необходимым делом, ее стремление к развитию становится неудержимым и она найдет своих художников» *.

Важным в этом кругу проблем нам кажется отмеченное Грамши различие между политиком и художником. Сущность его, по Грамши (выраженная в наиболее общей, абстрагированной форме), состоит в том, что политик считает всякий «фиксированный» образ априорно реакционным и рассматривает любое движение в его становлении, в то время как художник должен иметь дело с образами, которым придана окончательная форма. «Политик представляет себе человека таким, каков он есть и в то же самое время каким он должен быть, чтобы достигнуть определенной «цели», а «художник показывает по необходимости» то, что есть в данный момент индивидуального, неоформленного и т. д.,— показывает реалистически».

Заметки Грамши несомненно отражали особенности продиктовавшего их времени, когда разрыв между революционной динамикой событий и верно подмеченной потребностью искусства в «фиксированном» образе казался автору наиболее разительным. И разумеется, только имея в виду это «отставание» «фиксированных» в искусстве образов, Грамши мог говорить о его «реакционности», с точки зрения динамически устремленной в завтрашний день политики. И разумеется, Грамши в этих замет-

* Опять досадные «неточности». В подлиннике Грамши сказано дословно: «Если культурный мир» или, вернее, «мир культуры», в трехтомнике переведено. «Если культура», в рецензируемом сборнике «культура» заменена «нравственностью». В своей книге «Антонио Грамши о культуре и искусстве» А. Лебедев цитирует слова Грамши о *культуре*, а в предисловии к сборнику «О литературе и искусстве», редактором которого он является, та же цитата приведена с заменой «культуры» на «нравственность».

ках не подвергает рассмотрению всю сложность взаимоотношений политики и искусства и менее всего собирался придавать изображенному им различию характер роковой необходимости на все времена. Он наметил лишь одну из граней сложного вопроса, при рассмотрении которого следовало бы принять во внимание «доброкачественный», то есть неантагонистический характер отмеченного явления. Такого рода различие становится стимулом, способствующим движению истории, движению искусства. Мы полагаем, что позитивное решение установленного Грамши диалектического противоречия не только возможно, но в условиях правильно осуществляемого руководства становится стимулом и для политика (умение увидеть фиксированный в подлинном искусстве момент реального развития во всей его противоречивости), и для художника (понимание направленности исторического движения, его ближних и дальних целей).

Конкретно-исторические причины антидогматической устремленности критики Грамши против сектантской узости и псевдореволюционной фразы разъяснены в предисловии А. Лебедева к сборнику. В книге А. Лебедева «Антонио Грамши о литературе и искусстве», вышедшей в издательстве «Искусство» в 1965 году, особенно интересен анализ этих причин в главе «Коммунизм» инженера Амадео Бордиги». Сектантская деятельность Амадео Бордиги и его сторонников, их левацкий экстремизм отчасти парализовали борьбу итальянских коммунистов во время самой острой политической схватки с фашизмом. Ясная оценка отрицательной, в сущности предательской роли бордигианства, непримиримость Грамши по отношению к этой столь бурно проявившейся «левой» болезни итальянского коммунизма во многом обусловили характер той идейной борьбы, которую Грамши продолжал вести, уже находясь в тюрьме Было бы, однако, ошибкой считать, что имеет только историческое значение эта важнейшая сторона критической мысли Грамши (равно как было бы неверно забывать и о борьбе Грамши против реформизма).

На родине Грамши, и, разумеется, не только в Италии, есть и сегодня немало любителей щеголять революционной фразой, заимствованной то из пекинских «дацзыбао», то якобы из арсенала самых современных научных дисциплин И разве не становится фразой сама сведенная к борьбе «с фразами буржуазного мира» антибуржуазность некоторых современных экспериментальных художников, стремящихся к «взрыву языковых структур», к литературе, утратившей коммуникативные связи из нежелания «быть понятой буржуазией». Разве не становится фразой антибуржуазность литераторов, ждущих нового «нашествия гуннов», которые разрушат привычные нормы языка благодаря союзу, «заключенному Аттилой с современной лингвистикой», о котором мы узнали из книги Жан-Пьера Фая «Повествование гуннов», вышедшей в 1967 году во Франции? Впрочем, Грамши, словно предвидя некоторые из самых современных веяний в искусстве писал: «Неолализм * — это индивидуальная патологическая форма речи Нельзя ли употребить этот термин в более общем смысле и обозначить с его помощью целую группу понятий культурного, художественного и интеллектуального характера? Ведь что представляют собой многие наши художественные и литературные школы и школки, как не проявление неолализма в области культуры? Наиболее распространенные и многообразные проявления неолализма встречаются в пору кризисов».

Грамши, надо полагать, соотносил свои рассуждения о неолализме с утверждавшимся в годы фашизма герметическим направлением в итальянской поэзии. Однако несомненно, что его мысль о возникновении подобных форм искусства именно «в пору кризисов» полностью сохраняет значение и сегодня.

Характерно, что Грамши, отрицая мелкобуржуазный анархизм, рассматривает возникновение подобных форм искусства и в плане социальной этики «Слишком легко,—отмечает он,—говорить не то, что говорят другие, заниматься патологическим словотворчеством... Делать же упор на дисциплину, на общественную сторону жизни и в то же время требовать искренности, непосредственности, оригинальности, индивидуальности — вот что поистине трудно и сложно». Грамши сумел увидеть не всегда уловимые нити, связующие «патологическое словотворчество» с мелкобуржуазным анархизмом, сумел противопоставить этому роду союзов — союз подлинной свободы с подлинным искусством И в этом смысле уроки Грамши жизненны и сегодня, а в чем-то, быть может, звучат даже актуальней, чем при его жизни. Внимательный и точный анализ некоторых самых последних проявлений кризиса в итальянской (и не только итальянской) культуре мог бы служить тому подтверждением

Анализ особенностей становления и развития национальной культуры приводит Грамши к важнейшему для всей его эстетической системы выводу об отсутствии в Италии его времени национально-народной литературы

Грамши вообще в высшей степени присуще свойство большого, настоящего патриотизма — любовь к своему народу и нетерпимость к его недостаткам, и эта его черта, это его стремление к «критической терапии» национальных болезней с особой силой дает себя знать при обосновании тезисов о национально-народной литературе.

Менее всего Грамши склонен отождествлять свои представления о национально-народной литературе с какой-либо школой, направлением, течением.

Стремление к литературе национально-

---

* Термин, образованный Грамши от «неолалиа» — стремление к созданию неологизмов, наблюдаемое у душевнобольных.

народной не было у Грамши отказом от самых высоких требований к ее уровню во имя большей доступности. Пожалуй, его концепция станет ясней, если мы упомянем, что в качестве примера писателя, у которого «очень сильно «национально-народное» чувство», Грамши называет Достоевского. И тут же поясняет свою мысль, говоря о том, что «национально-народное» чувство у писателя есть сознание особой миссии интеллигентов по отношению к народу, который, хотя объективно и состоит из «униженных», должен быть освобожден от этой униженности, должен измениться возродиться к новой жизни».

Такова высокая мерка Грамши, такова, думается, и та высокая оценка, которая в этом контексте относится не к одному лишь Достоевскому, а к исторической задаче русской литературы. Ее отношение к народу Грамши прямо противопоставляет отношению покровительственному, «патерналистскому», основанному на «самодовольном сознании собственного превосходства... в духе общества защиты животных, в духе отношения англо-саксонской Армии спасения к папуасам-каннибалам». Пожалуй, наиболее ясно видно отношение Грамши к миссии русской литературы в его противопоставлении Толстого Мандзони, крупнейшему итальянскому писателю девятнадцатого века.

У Толстого «инстинктивная и простодушная мудрость народа, проявляющаяся порой лишь в случайно оброненном слове, становится светочем для образованного человека, предопределяя в нем душевный перелом», в то время как у Мандзони, по мнению Грамши, «христианство колеблется между янсенистским аристократизмом и иезуитским патернализмом по отношению к народу».

Суждения Грамши о предназначении русской литературы, выходящие за пределы рецензируемого сборника, заслуживают стать предметом внимательного исследования.

В рамках краткой рецензии невозможно даже самое сжатое изложение и тех воззрений Грамши на литературу, на искусство, на роль интеллигенции в обществе, которые с годами приобретают все большую актуальность, «вписываясь» в контекст современной борьбы идей. Разве не примечателен в этом смысле подчеркнутый интерес Грамши к «массовым» формам литературы и искусства, в то время считавшимся недостойными серьезного исследования (роман-приложение, детектив, научно-географический роман, в целом весь комплекс называвшегося «коммерческим» искусства)? Разве не обретает особую актуальность (мы, разумеется, имеем в виду не пророчества, а научное прогнозирование) содержащийся в его работах серьезный интерес к проблемам «американизма», к анализу высокоиндустриализированного капиталистического общества с его стремлением к авторитарным формам управления?

Книга Грамши «О литературе и искусстве», вне сомнения, вызовет глубокий интерес советского читателя

На родине Грамши публикация его работ стала, как отметил К. Салинари «самым значительным событием культурной жизни после второй мировой войны».

Мысль Грамши живет и борется, как жила и боролась в годы его «медленного убийства» в фашистских тюрьмах.

В поэме «Прах Грамши» Пьер Паоло Пазолини, обращаясь к Грамши, говорит: «Страна, где не угас накал твоих страстей, взывает к тебе, лежащему среди могильного покоя, и помнит правоту и заблуждения того, кто в нашу неспокойную судьбу вписал высокие страницы в дни своего убийства».

Г. БРЕЙТБУРД

ПЕРЕВОДЫ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе Марины Цветаевой. Составили А. Эфрон и И. А. Саакянц. Предисловие Вяч. Иванова. Редактор выпуска Борис Слуцкий. Москва, «Прогресс», 1967. 104 стр.

Выходящая в издательстве «Прогресс» серия «Мастера перевода» обогатила нас еще одной прекрасной книжкой — «Простое сердце» Марины Цветаевой. В ней без всякого видимого плана собраны поэты восьми языков. Нельзя даже сказать, что в книжке доминирует одна какая-нибудь страна, дающая сборнику определенную физиономию. Нет, все страны представлены равным количеством — от одного до четырех стихотворений. Книга составлена как пестрый букет и все же обладает удивительным единством. Проникновенное, с подъемом написанное Вяч. Ивановым предисловие убедительно раскрывает тайну обаяния этой книжки И все же хотелось бы поговорить с читателем о некоторых аспектах творчества Цветаевой, лишь едва обрисованных или попросту не затронутых в предисловии.

Почему большой поэт берется за перевод и отдает ему свои силы едва ли не с таким же энтузиазмом, как собственному творчеству? Не потому ли, что он, подобно всякому художнику, увидевшему нечто прекрасное (я беру это слово в его философском значении), уже существующее в природе, хочет сделать это прекрасное «своим», овладеть им, пережить его не только воспринимая, но и творя. В этом отношении душевная организация поэта-переводчика немного сродни душевной организации поэта-импровизатора, о которой так хорошо сказано в «Египетских ночах» Пушкина: «Как? Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, как будто вы

с нею носились, лелеяли, развивали ее беспрестанно... Никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волей...»

Впрочем, то же самое можно сказать и об актере. И актер всю жизнь имеет дело с материалом, предложенным извне, потому что только в редчайших случаях ему удается сыграть им самим выбранную роль. А если он и добрался до такой роли, так разве вся драматическая ситуация, душевные конфликты, отношение к жизни, людям, наконец, сами слова не навязаны ему извне? И так же, как переводчику, актеру необходимо со всею силой непосредственного восприятия вообразить, увидеть тот реальный мир, ту живую жизнь, которая стоит за словами, написанными автором. Для наглядности сравним искусство переводчика с искусством копииста. Задача копииста заключается в том, чтобы воспроизвести с наибольшей точностью и во всех деталях само произведение. Задача переводчика (актера) заключается в том, чтобы через посредство авторского произведения и по возможности в поставленных им пределах найти новое выражение для того мира, из которого это произведение родилось. Но сравнительно с любым исполнительским искусством работа переводчика осложняется еще и тем, что он пишет на другом (на родном) языке. И, пожалуй, именно в языке с наибольшей яркостью выражается момент перехода «чужого» в «собственное», о котором говорит Пушкин.

Я не знаю, стала ли бы Цветаева заниматься переводом на русский язык всех поэтов, собранных в книжке, если бы ее не побудили к этому обстоятельства или заказы. Впрочем, это и не важно. История знает множество великих произведений — от египетской и греческой стенописи до фресок Гойи, от «Реквиема» Моцарта до «Аиды» Верди,— которые породила «случайность» заказа. Пушкина, например, Цветаева переводила на французский язык без всяких видов на издание (она говорила по-французски с детства, и это был для нее второй родной язык). Но мне не известно, знала ли она, например, испанский язык, любила ли она Лорку до того, как стала его переводить. Я только знаю, что, соприкоснувшись с творчеством Лорки (пускай через подстрочник, тем разительнее чудо!), она сумела так совершенно войти в его мир, что по-русски возникли стихи, «пахнущие лимоном и лавром», как испанская ночь, для которой «Париж» находится там, «далеко на севере». Но это не испанские, а русские стихи, написанные замечательным русским поэтом.

Я не могу судить, насколько Цветаева отклонилась от текста Лорки (думаю, что существенных отклонений там нет), но вот этого ощущения Испании, такой неожиданной и такой живой, достоверной, для меня достаточно, чтобы поверить в портретность, в подлинность русского Лорки, пусть это Лорка не «всеобщий», объективный, а глубоко субъективный, цветаевский.

Тот, кто требует от поэтического перевода всесторонней информации об оригинале, с равным успехом может заниматься поисками квадратуры круга. Поэзию, как таковую, перевести с одного языка на другой невозможно. Но тот, кто ценит в переводе новое выражение мира, которым жил и дышал автор оригинала, получит от переводов Цветаевой истинное наслаждение. И быть может, в цветаевском переводе, пускай свободном и далеко не всегда точном, этот мир предстанет ему в гораздо более ярком воплощении, чем в ином рабски следующем оригиналу переводе. Сама Цветаева так сформулировала требование свободы от оков формальной точности — свободы, которая необходима переводу, как и всякому другому искусству. Она писала: «Я перевожу по слуху — и по духу (вещи). Это больше, чем смысл». И в другом месте: «Идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он».

Именно поэтому мне не хотелось бы искать (даже так ограниченно, как это делает автор предисловия) точные соответствия переводов Цветаевой тем или иным строчкам подлинников, потому что утверждение о точности всегда остается спорным даже, казалось бы, в самых близких оригиналу стихах. Возьмем те же (цитируемые в предисловии) строки Бодлера:

Чернильною водой — морями глаже лака —
Мы весело пойдем между подземных скал.

Воображению рисуется нечто вроде Дантова ада в изображении Доре, нечто, благодаря трем определениям — чернильная вода, глаже лака и подземные скалы,— очень конкретное. У Бодлера этому соответствуют только два слова: «море Тьмы». При этом Тьма написана с большой буквы, следовательно, ей придано символическое, очень зыбкое значение.

Благодаря многим отступлениям такого рода, стихотворение становится цветаевским. И, конечно, этому еще очень способствует и то, что называется «дыханием стиха». У Бодлера, при всем новаторстве его образов и лексики, стих очень классический. Свой огненный темперамент бунтаря и новатора он всегда умеряет стремлением к «совершенной красоте», которая для него выражается в абсолютном равновесии и гармонии всех элементов формы. Стиху Бодлера чужды логические разрывы, искусственные цезуры и паузы. Но именно этого равновесия избегает мятущийся, напряженный стих Цветаевой. Возьмем для примера такие строки:

У Бодлера:

Une voix de la hune, ardente et folle crie:
"Amour, gloire, bonheur!" Enfer! C'est un écueil!

У Цветаевой:

Вдруг среди гор и бездн и гидр морского ада
Крик вахтенного: «Рай! Любовь!
Блаженство!» — Риф.

У Бодлера стих, как ему и положено классической поэтикой, распадается на два полустишия. Утверждающее полустишие: «Любовь... слава... счастье!» отделено от отрицающего: «Проклятье! Это риф» —

цезурой, точно соответствующей законной цезуре шестистопного ямба.

У Цветаевой цезура стоит после слова «Рай!», нарушая тем самым непрерывность утверждающего ряда. Для отрицания остается вместо шести бодлеровских слогов только один — «риф», который при чтении вслух можно отделить от предшествующих одиннадцати только искусственным нажимом.

Нагнетение таких приемов и создает ту чисто цветаевскую напряженность языка, которая так отличает поэтику перевода от поэтики оригинала. В этом вихревом стремлении слов проходят незамеченными и непривычные ударения (хоботáми, выдумщикáм), и небрежности синтаксиса (доколе дорастешь, о древо кипариса живучее? — *то есть более живучее, чем кипарис.— В. Л.)*— все это превращается в единый, очень своеобразный сплав.

Размеры рецензии не позволяют мне заняться анализом других переводов, да это и не нужно. Их достоинство отнюдь не в элементарной точности. Лермонтов, переводя стихотворение Гете, сохранил от оригинала только первую и две последние строки, да и те превратил в одну. Но он так точно воспроизвел то чувство, которым проникнут подлинник, что его перевод стал одним из лучших русских переводов, войдя при этом в число шедевров русской поэзии.

Переводчица подарила нам книжку прекрасных русских стихов, напоенных нерусской атмосферой, лучше точного перевода вводящей нас в мир иноязычных поэтических образов. Кто не узнает «старую веселую Англию» в том добродушном, чисто английском юморе, с которым Робин Гуд, получив сокрушительный удар от «маленького Джона», «полувплавь, полувброд, полумертв, полужив», выбирается из реки на берег и тут же приглашает своего обидчика вступить в его, Робина Гуда, вольнолюбивую дружину?

Кто не узнает истоков поэзии Бернса в этих гордых и веселых строчках?

Хоть ни фута у нас — всей шотландской земли,
Ни кирпичика — кроме тюрьмы,
Мы как сквайры едим и как лорды глядим.
Кто владельцы Шотландии? Мы!

И кто не почувствует, читая стихотворение Рильке или немецкие народные песни, что попал в совсем иную поэтическую стихию?

Так будем же благодарны переводчице и за эту, пусть маленькую, но такую весомую книжку.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕВИК

МОНОГРАФИЯ О ТАО ЮАНЬ-МИНЕ

Л. Эйдлин. Тао Юань-мин и его стихотворения. Москва, «Наука», 1967.

Автор этой книги — один из наиболее авторитетных наших китаеведов Л. Эйдлин — много лет отдал изучению китайской культуры, особенно изучению китайской классической поэзии. Счастливо сочетая талант исследователя с талантом переводчика, Л. Эйдлин первый по-настоящему познакомил советского читателя с произведениями великих китайских поэтов Бо Цзюй-и, Мэн Хао-жаня и других. И вот перед нами новая книга Л. Эйдлина — о китайском поэте-классике Тао Юань-мине, результат многолетнего кропотливого труда, сомнений и счастливых находок.

«Тао Юань-мин и его стихотворения» — книга весьма своеобразная. Это — монография о поэте, сборник его стихотворений и в то же время — научное, доскональное исследование почти каждой строки, написанной поэтом. Таким образом, эту книгу с пользой для себя прочитает и рядовой любитель поэзии, и литературовед, и специалист-синолог.

В первой части книги, озаглавленной «Поэт», автор рассказывает о жизни Тао Юань-мина, умершего в 427 году шестидесяти трех лет от роду.

Современник великого каллиграфа (и поэта) Ван Си-чжи и великого художника Гу Кай-чжи, прославившихся далеко за пределами своего государства, Тао Юань-мин при жизни не был обласкан славой. Она пришла к его творениям через несколько веков. До Тао Юань-мина уже были созданы в Китае замечательные поэтические произведения «Книги песен», был великий поэт-патриот Цюй Юань. Но поэзия Цюй Юаня, риторичная и расплывчатая, витала высоко над людьми; по меткому выражению одного из китайских исследователей, «надо запрокинуть голову, чтобы разглядеть этого поэта». Как справедливо отмечает Л. Эйдлин, Тао Юань-мин «впервые в китайской литературе доверительно обратился к другу-читателю, вплотную приблизил к поэзии каждодневную жизнь — дом, и двор, и поле, и сад,— за обыкновенностью которой явственно ощущается весь человеческий мир. Тао Юань-мин — первая конкретная, осязаемая индивидуальность в китайской поэзии».

В монографическом разделе книги есть небольшая глава «Страна поэта» — рассказ о местах, где жил Тао Юань-мин. Это увлекательный, яркий рассказ очевидца, бродившего по местам, где тысячу шестьсот лет назад бродил великий поэт и любовался теми же горами, озерами, водопадом. Вот — на берегу озера — знаменитый камень, на котором захмелевший поэт любил отдыхать. На камне и поныне показывают отпечаток уха Тао. Эти и другие непосредственные наблюдения путешественника-ученого, щедро рассыпанные в тексте и в комментариях, придают книге особый колорит и вызывают доверие у читателя.

Покойный академик В. М. Алексеев писал в одной из статей, что Тао Юань-мин сыграл, «по-видимому, в поэзии Китая роль нашего Пушкина». Другими словами, как отмечает Л. Эйдлин, «Тао Юань-мин подарил китайской поэзии еще не изведанные ею

возможности. Как Пушкин — русской поэзии».

После пяти веков безвестности Тао Юань-мин в эпоху Тан становится недосягаемым образцом великого поэта и достойнейшего мужа. Один из знаменитых поэтов этой эпохи, Мэн Хао-жань, признавался:

Мне случалось читать
«Жития высоких мужей».
Там прекраснее всех
«Удалившийся Тао Цянь».

И в последующих веках Тао Юань-мин останется своеобразным эталоном блистательного поэта и достойного мужа. Через много веков, в эпоху Сун, один из «восьми великих», поэт Су Ши, признается: «Среди поэтов нет таких, кого я любил бы особенно. Я люблю лишь стихи Тао Юань-мина... Начиная с Цао Чжи... и кончая Ли Бо и Ду Фу, никто не достиг до него», и пишет стихи на рифмы каждого стихотворения Тао Юань-мина — такова прекрасная, истинно поэтическая традиция, популярная в Китае: поэт воздает должное своему учителю и славит его.

Л. Эйдлин справедливо отмечает, что в каждом великом поэте «каждая эпоха искала и находила близкое своим устремлениям». По словам одного китайского литературоведа, «танские поэты видели в нем почитателя вина или отшельника, сунские — даоса, минские — непреклонного верноподданного чиновника, цинские — ученого, более близкие к нам по времени — землепашца». Таким образом, поэзия Тао Юань-мина представала перед читателем различных эпох в самых разных ракурсах. И здесь переводчик сталкивается со многими трудностями: как переводить стихи, написанные шестнадцать веков назад? Как их прочитать в наши дни? Какому комментатору верить? — и т. д. У каждого переводчика, с течением времени и накоплением опыта, вырабатываются свои собственные творческие принципы, которые очень часто не совпадают с принципами и манерой других переводчиков. И в этом нет ничего страшного. Перевод — один из видов творчества, и в нем непременно должна отразиться индивидуальность самого переводчика. Среди многих мыслей, высказанных о переводе древних памятников литературы разными людьми в разные времена, мне хочется здесь привести малоизвестные слова П. А. Вяземского: «Прозою переводить Анакреона невозможно, переводить его стихами также невозможно. В первом случае вы сушите цветок, который прельстил вас своими красками, блеском и свежестью; в другом — хотите вы перенести карандашом на бумагу эту свежесть, этот блеск, эти краски. А Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Батё. Дело в том, что поэта переживают его мысли и чувства; но красота и прелесть оболочки их верно оцениваются одними современниками».

Кратко и решительно сказал о переводе классической поэзии Цзан Кэ-цзя: «Старинные стихи — вроде стихотворения Ду Фу «Отблески» — почти непереводимы на современный литературный язык».

Каждый переводчик в каждом конкретном случае по-своему разрешает и преодолевает возникающие перед ним трудности. В книге о Тао Юань-мине есть глава «О китайской поэзии в русском переложении», в которой автор высказывает свои взгляды на перевод произведений китайской классики. Это тем более интересно, что до сих пор никто не высказывался по этому важному вопросу, хотя переводами из китайской поэзии занимались очень многие — от А. Ахматовой до А. Суркова.

Л. Эйдлин, предваряя читателя, пишет: «Я обязан сказать о тех принципах, какими я руководствовался при переводе на русский язык стихов Тао Юань-мина, а значит, о своем взгляде на перевод китайской поэзии». Образцом поэтического перевода автор считает «русское переложение» И. Буниным «Гайаваты» и всемерно в своей работе стремится приблизиться к нему. В этой, чрезвычайно важной для понимания всей книги, главе читатель найдет для себя очень много интересного. И действительно, откровенный разговор переводчика классической китайской поэзии, отдавшего любимому делу много лет, его меткие наблюдения, тонкие и остроумные суждения, полемика с переводчиками Тао Юань-мина на другие языки просто не могут быть унылыми и скучными.

Любопытны, на наш взгляд, такие высказывания автора-переводчика: «Как бы ни был скромен переводчик, он неизбежно оставляет след своей индивидуальности... Переводчик дает общее и вместе с тем свое понимание оригинала, и чем глубже оно, тем интереснее и богаче перевод, тем больше открытий в содержании оригинала». «Стих и язык переводчика должны быть современными хотя бы для того, чтобы поэзия оригинала оказалась столь же близкой и столь же понятной, какой она была в свой век». Это общие положения, они применимы к любым переводам. А вот суждения, касающиеся в первую очередь переводов китайской поэзии: «Переводчик должен знать национальную... особенность китайской классики и не увлекаться легким путем, на который может привести его начитанность в европейской поэзии». «Думаю, что в терпимых дозах, с соблюдением необходимого такта, комментарий может вплетаться в ткань стиха, и это будет приближать нас к точному воспроизведению оригинала и создаваемых им настроений...»

Все стихи Тао Юань-мина переведены без рифм. Переводчик дает этому объяснение: «Рифмы... во многом пропали для современного китайского читателя. Он ее часто не ощущает. Я прихожу к убеждению, что сохранение ритмического рисунка, параллелизмов, образов, логического движения китайского стиха — всех этих его национальных особенностей, отличающих китайскую поэзию, и есть самое главное при переводе. И во имя бережного сохранения этих особенностей, создающих поэзию китайского стиха, позволительно положить на алтарь рифму, превратившуюся в призрак». «Я попытался

передать «Послание к сыновьям» и предисловие к «Персиковому источнику» и другим стихам в русском переложении ударником (соответственно числу знаков в строке), при делении на строки, приняв во внимание пунктуацию, выработанную китайскими изданиями... Наверное, существует и иное и и даже иные решения задачи, но оно или они не исключают предложенного мною».

О том, как переводчик справился со своей задачей, будет судить читатель. Мне эти переводы нравятся.

Нельзя не отметить еще одного, важного, на наш взгляд, обстоятельства. Сейчас, когда в Китае бесчинствуют хунвэйбины и с благословения находящейся у власти группы Мао Цзэ-дуна втаптывают в грязь великие достижения многовековой китайской культуры, в том числе и всю классическую поэзию,— в эти трудные для китайской культуры времена мы с особым вниманием берем в руки такие фундаментальные работы, как книга «Тао Юань-мин и его стихотворения».

В обращении «К читателю» автор пишет, что если в книге «можно разглядеть и образ и место Тао Юань-мина, если найдет в ней читатель хотя бы отблеск прекрасной его поэзии, это и послужит удовлетворением для автора».

Автор может быть спокоен. Его интересная, талантливая книга найдет своего читателя и займет достойное место среди работ советского литературоведения.

А. ТИШКОВ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

ПОЭТ ЛЮБВИ К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Слав Христов Караславов. Приемете ме и такъв. Стихове. София, «Български писател», 1967.

Среди стихотворных сборников, выпущенных болгарскими издательствами в 1967 году и обративших на себя внимание любителей поэзии, не последнее место занимает книга «Примите меня и таким».

Ее автор, Слав Христов Караславов, принадлежит к поколению таких поэтов, как Владимир Башев, Дамян Дамянов, Любомир Левчев, Петр Караангов, Евтим Евтимов, Георги Струмски и др.,— то есть к поколению поэтов, чей облик, может быть, еще не устоялся, но многие произведения которых заслуживают самого пристального внимания. Поиски новых тем и преодоление шаблона в трактовке старых, воспевание героического как в прошлом, так и в современной жизни, поиски формы, наиболее отвечающей новому содержанию,—вот что характерно для поэтов этого поколения.

Слав Хр. Караславов среди них едва ли не самый активный творчески. С 1954 года, когда двадцатидвухлетний поэт начал печататься, он выпустил, не считая повести и пьесы, восемь стихотворных сборников; сборник «Примите меня и таким» — девятый.

Казалось бы, поэтические интересы Караславова уже определились. Прочитайте пять центральных триптихов сборника, и вы их постигнете в полной мере. Мир, в который вы войдете, уже знаком вам по предыдущим сборникам поэта.

Это воспоминания о детстве среди просторов родной Фракийской долины, это тропинка в траве и дорожная пыль, это корни деревьев и роса на листве, это плуг и борозда, это пастушья бурка и бочка с молодым вином, это кованые перстни и предрассветные соловьи, это ностальгия по «умирающей человечности простых вещей», беспощадно вытесняемых индустриальными достижениями XX века.

Но в сборнике 12 триптихов (36 стихотворений, объединенных по три общими заглавиями), да еще шесть предпосланных этим триптихам стихотворений, названных автором «разговорами». Эти «разговоры» показывают нам поэта с незнакомой еще стороны, не столько вспоминающим и грустящим, сколько мыслящим, задумывающимся о своем времени и о месте человека в жизни. О человеке как открывателе и творце, о человеке, достигшем космоса и разгадавшем загадку Луны, о человеке — разведчике Вселенной. Важно не само по себе появление в творчестве Караславова космической темы — над этим задумываются сегодня многие поэты,— а то, как звучит у него эта тема. Новые мотивы у Караславова тесно связаны, сплавлены воедино с его прежним преклонением перед всем зем-

ным. В этом сплаве земное является исходным для космического, а космическое постоянно соотносится с земным. Гражданская и эстетическая позиция автора связана с народной психологией, с народным взглядом на жизнь, и потому поэт гордится современными достижениями человеческого разума не меньше, чем исконной красотой родной земли А может быть, и любовь к земле становится сильнее от того, что земное, в том числе прошлое, для него — источник «космического», настоящего и будущего. Поэт не уходит в далекую историю, а подтягивает ее к современности, оценивая глазами нового человека. Этот органический сплав дался ему, по-видимому, нелегко. Недаром он пишет, что

Труднее верным быть,
чем быть неверным и двуликим.*

Уже в первом стихотворении сборника, носящем характер эпиграфа — «Открыватели»,— мы видим, как решает поэт тему устремлений земного человека за пределы Земли. По Караславову, «славные, великие открыватели» именно потому «новые миры открывают», что «твердо стоят на родной земле». Именно эта связь человека со своей Землей для поэта — главное.

Мчимся мы в звездные бездны.
Нет возврата,
возврата нет,—

лихорадочно думают люди, удаляясь от Земли. В этом состоянии, лишенном привычных, земных условий, поэт находит и трагичное. Но неверно было бы думать, что здесь сказывается какой-то внутренний протест консервативного мышления против стремительного развития человеческого гения — такому пониманию новых стихов Караславова противоречит вся их направленность. Новые стихи Караславова хочется рассматривать как попытку в поэзии «заглянуть в будущее», раскрыть неизвестные еще стороны человеческой психики. А кроме того, и как обретение поэтом новых возможностей, новых позиций, чтобы еще раз прославить земную жизнь, которая ему так близка, прославить ее «Недра», «Корни», «Дерево», «Тропинку», «Крестьянина», «Соловьев», «Любовь», «Родину» (все это— заглавия триптихов сборника). Прославить чернозем и жаворонка, сверкающую на солнце каплю росы и холодную тень, ржанье коней и тишину в горах,

даже обиду земную —
из человеческих уст.

Передать свою жгучую любовь ко всему земному другим людям и прежде всего самому близкому из них — сыну (см. «Разговоры», с которых поэт начинает сборник).

В пафосе стихов Караславова, в утверждении величия человека во всех его делах — от космических полетов до житейской земной повседневности — отражается атмосфера жизни социалистической Болгарии, ее устремленность вперед. Поэт любит человека и все человеческое. Любовь эта безгранична, самоотверженна, в ней заложена вера поэта в будущее и надежда, что человек — его современник ответит ему любовью.

И пламенем
своей земной крови
себе я в сердце обжигаю раны.
Меня ты любишь?
Полюби таким,
каков я есть,
каким еще я стану.

А. ОПУЛЬСКИЙ

---

* Переводы стихов автора рецензии

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ ТОРНТОНА УАЙЛЬДЕРА

Thornton Wilder. The Eighth Day, New York, Harper and Row, 1967.

От Торнтона Уайльдера в Америке уже давно не ждали новых произведений. Кумир 20-х годов, автор одной из наиболее читаемых книг десятилетия — романа «Мост короля святого Людовика» (1927), после войны он отошел от активных занятий литературой. Опубликовав в 1948 году роман «Мартовские иды», Уайльдер, казалось бы, затем добровольно отодвинулся в тень, стал одним из «бывших», подобно пережившим свою славу Джону Дос Пассосу и Джеймсу Фаррелу. Но вот весной 1967 года из печати выходит «Восьмой день», сразу же возглавивший списки бестселлеров, и критика вновь пишет об Уайльдере, о его нестареющем мастерстве стилиста и рассказчика, о его далеко не оригинальной, но талантливо и настойчиво развиваемой в каждой новой книге философской концепции истории.

Начиная с романа, принесшего ему славу, Уайльдера-прозаика (ибо он еще и знаменитый драматург, лауреат двух Пулитцеровских премий, присужденных ему за пьесы «Наш городок» и «Зеница ока») никогда не покидает ощущение безбрежности и всеохватности реки времени, которое втягивает в свои водовороты случайные человеческие судьбы. Уайльдер не связывает себя изображением конкретной исторической эпохи, определенного социального круга, его герои — это воплощение вечных человеческих сущностей, спроецированных в бесконечность. Задаваясь трансцендентными вопросами: что есть человек? случай или закономерность движут его судьбой? в чем счастье жизни и существует ли оно? — Уайльдер вычерчивает свои философско-литературные схемы на любом, но преимущественно на экзотическом историческом фоне. С одинаковой легкостью он пишет и о средневековом Перу, и об античной Греции, и о цезаристском Риме. В «Восьмом дне» он, наконец, возвращается к себе на родину Перед нами Америка на рубеже XIX и XX столетий.

Композиция нового романа Уайльдера

напоминает нехитрую фабулу обычного детектива. Весь сюжет книги—в ее первом абзаце: «В начале лета 1902 года в Коултауне, маленьком шахтерском городке южного Иллинойса, состоялся суд над Джоном Баррингтоном Эшли, обвиненном в убийстве Брекенриджа Лансинга, местного жителя. Эшли был признан виновным и приговорен к смерти. Пять дней спустя, во вторник, 22 июня, глубокой ночью, он бежал из-под стражи из поезда, который вез его к месту казни». И Уайльдер пользуется этим вымышленным инцидентом судебной хроники как поводом для сосредоточенного размышления о судьбах американского народа и всего человечества.

В рецензиях на «Восьмой день» американские критики особенно охотно цитировали пролог к роману — своего рода теоретическую заставку к следующим далее фрагментам семейной саги Эшли и Лансингов. Вначале романист, как могло бы показаться, следует за Эмерсоном и Уитменом. «Человек — не венец творения, а лишь источник созидательного процесса»,— возвещает своей пастве, жителям Коултауна, доктор Джилли в романе Уайльдера. «Мы начинаем вторую неделю строительства мира. Мы — дети восьмого дня».

Но престарелый Торнтон Уайльдер — один из идеологов американского модернизма, «пророк изящного Христа», как окрестил его еще в 1930 году писатель-коммунист Майкл Голд,— не был бы самим собой, если бы подчинил свою книгу непротиворечивой и четкой, оптимистической абстракции викторианского века. И в 60-е годы, как и в 20-е, он остается верным философскому скептицизму и всему тому комплексу художественных идей, с которым почти полстолетия тому назад вступали в литературу его ровесники: дадаисты, сюрреалисты, «потерянные».

Уже на следующей странице пролога он как бы дезавуирует вдохновенные слова, только что прозвучавшие с трибуны поборника общественного прогресса. На самом деле «д-р Джилли не верил ни в прогресс, ни в будущее человечества... Оказавшись на месте хромого беса из старой сказки, можно было бы заглянуть под крышу любого дома — от Коултауна до Владивостока: повсюду слышались бы одни и те же стертые слова и фразы... История не знает ни золотых веков, ни смутного времени. Существует лишь необозримая монотонность человеческих судеб, а кроме того, еще и времена года и погода — хорошая или дурная».

Отзвуки этой зловещей философии пессимизма и пассивности возникают вновь и вновь в различных местах повествования, складываясь в монотонный и мерный ритм, в чем-то совпадающий с ритмикой отточенной уайльдеровской прозы. «Жизнь — это цепь обещаний, которые никогда не сбываются»,— говорит содержательница гостиницы миссис Уикершем. Она высмеивает попытку скитальца Эшли основать в северном Чили университетский центр и оставить, таким образом, след в памяти человечества. «Города создаются и разрушаются, подобно замкам из песка, которые дети любят строить на морском берегу. Человеческий род не становится со временем лучше. Люди ленивы, коварны, сварливы и эгоистичны. Вы думаете, они возводят Афины, но на самом деле они лишь наводят глянец на свою обувь...»

В философском романе Уайльдера нет и следа тех экспериментов с повествовательной формой, которые ныне полагают подчас необходимым и даже единственным признаком эстетики модернизма. Напротив, в книге этой немало от классических романов XIX и XX веков. Эпизоды чикагской карьеры Роджера, сына Джона Эшли, находятся в русле мощной традиции реализма американской литературы. Здесь есть и зарисовки социальных отношений в начале века, перекликающиеся с разоблачительными страницами знаменитых книг Драйзера и Синклера. Здесь возникает и еще одна проблема, волновавшая некогда автора «Финансиста» и «Американской трагедии»,— становление характера американца, по поступкам которого можно было бы судить об уровне зрелости и морального совершенства всей нации в целом.

Писателя влекут к себе не только приключения молодого героя в широком мире. Он чуток и к «акустике семейной жизни». Однако стремление к детализации, свойственное всякому бытописателю, сочетается у Уайльдера с привычной только ему одному позой поразительной отрешенности от событий и чувств, им описываемых. «Мы увидим дальше...», «Мы упоминали...» — так создается образ творца, высоко парящего над им же созданной вселенной.

Две даты: 1883 и 1905 — таковы крайние вехи, в пределах которых романист размещает самые разнохарактерные события из жизни своих персонажей. Многолетние скитания по чужим краям Джона Эшли, «человека без родины», чудесное превращение его детей, Лили и Роджера, в блистательную оперную певицу и влиятельного журналиста и, наконец, показанные ретроспективно причины — озлобление и ревность — таинственного преступления, потрясшего иллинойсское захолустье,— вот те разрозненные фрагменты «грубой реальности», из которых под рукой писателя складывается «лик мира»

Уайльдер вместе с тем, свободно обращаясь с фабулой своего рассказа, не склонен уничтожать объективность времени, заменяя его цепью сумбурных и аритмичных скачков человеческого сознания. Восстание против «тирании времени» объединяет в XX веке под единым знаменем авангардистов всех мастей, от Гертруды Стайн и Джойса до современных «постбитников» Берроуза и Селби. Уайльдер же остается верен собственному, не меняющемуся с годами варианту философского модернизма. Время — вот единственная реальность, перво-

основная субстанция. Оно безразлично к человеку: все узлы и нити его жизни — лишь более или менее искусные и «эстетичные» узоры, вытканные на поверхности тысячелетий.

И все-таки насколько современно, насколько близко думам и чувствам нашей эпохи произведение Торнтона Уайльдера? Действие романа обращено в прошлое, но его моральный урок, полагает писатель, никогда не устареет. В «Эпилоге» Уайльдер добавляет последние мазки к созданной им картине. Он роняет фразу о 1917 годе, равно памятном и для Европы и для Америки; он упоминает о женщине, живущей близ гавани японского города Нагасаки, среди довольства и мира. И вновь раздается голос бесстрастного комментатора: «Многие пытались расшифровать рисунок истории. Одни полагались на самих себя, другие видели в ней то, что им подсказывали свыше. Некоторые и сейчас стремятся связать воедино обрывки воспоминаний, другие же устремляют взор вдаль, возлагая надежды на борьбу угнетенных и эксплуатируемых за свое освобождение. Есть и такие, для которых будущее — закрытая книга. Есть и...»

Монолог обрывается, перо падает из рук писателя. Допустимо любое толкование, никому не дано хоть что-то изменить в круговороте истории человечества.

Критики-рецензенты в США в целом сдержанно отозвались о книге Т. Уайльдера. «Восьмой день» находили «традиционным семейным чтением» и удивлялись его чрезвычайной популярности у широкого читателя. По-видимому, сам факт обращения Уайльдера к объемным метафизичным проблемам бытия и в общем-то «успокоительное» их толкование созвучны настроению значительной части нации зачитывавшейся его книгой в «самое жаркое лето» своей послевоенной истории. Ретроградная философия «модерна» полувековой давности и столь же старомодная манера письма Уайльдера — отзвук «старого, доброго времени» для многих американцев. Консерватизм Торнтона Уайльдера очевиден, и все-таки его книга воспринимается в современной Америке по сравнению со сверхавангардизмом «Американской мечты» Н. Мейлера и «Голого завтрака» У. Берроуза как противовес литературе стонов и ужасов, литературе «без догмата».

А. МУЛЯРЧИК

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Книги М. Горького «Детство» и «В людях» в переводе Е. Веера вышли в издательстве «Форум» (Стокгольм).

Стокгольмское издательство «Тиден» осуществило выпуск рассказа «Восковая персона» Ю. Тынянова и рассказов Ю. Казакова под названием «Голубое и зеленое».

Книгу детских рассказов Н. Носова «Фантазеры» выпустило в Стокгольме издательство «Арбетаркультюр».

В стокгольмском издательстве «Боньер» вышла повесть Л. Воронковой «Девочка из города».

Государственное военное издательство Болгарии выпустило книгу «От Волги до Балкан», в которой помещены воспоминания советских военачальников и солдат об освобождении Болгарии от фашизма и рассказы о боевой дружбе советских и болгарских воинов.

«Страница за страницей, воспоминание за воспоминанием возвращают нас к полным напряжения, борьбы и ликования дням, когда рождалась наша социалистическая Болгария»,— пишет рецензент газеты «Народна култура».

Более пятидесяти советских воинов откликнулись на предложение написать воспоминания о событиях того времени.

«Книга «От Волги до Балкан», составленная полковником Игнатом Лаловым,— заключает рецензент,— яркий документ, свидетельствующий о том, какая глубокая, вечная дружба связывает болгарский и советский народы».

Стамбульское издательство «Ремзи» выпустило третьим изданием сборник ранних рассказов Максима Горького под названием «Босяки». В сборник, переведенный Мустафой Н. Озоном, вошли рассказы: «Мальва», «Коновалов», «Челкаш» и другие.

В английском издательстве «Макгиббон энд Ки» вышел документальный роман А. Кузнецова «Бабий яр». Рецензент еженедельника «Таймс литерари саппл-мент», высоко оценивая роман, отмечает успех его переводчика Джекоба Гуральского.

В издательстве «Хилл энд Уэнг» в Нью-Йорке вышел сборник произведений Е. Евтушенко под названием «Стихи, отобранные самим автором». В нью-йоркском издательстве «Прегер» почти одновременно вышел сборник стихов Е. Евтушенко под названием «Братская ГЭС» и другие стихотворения».

Сцена из спектакля «Враги» по пьесе М. Горького в «Дейчес театер» (ГДР).

Софийское издательство «Народна младеж» выпустило повесть В. Катаева «Сын полка» (третьим изданием), повесть Д. Гулиа «Случай летом», а также «Навстречу бурям. Повесть о Джоне Риде» Е. Драбкиной и «Зеленое дерево жизни» Л. Волынского.

Повесть В. Некрасова «Кира Георгиевна» выпущена лиссабонским издательством Патриции Жоисе.

Издательство «Аркадия» в Лиссабоне выпустило сборник рассказов М. Горького.

В том же издательстве вышел роман К. Симонова «Живые и мертвые» в переводе Марии де Соса и повесть В. Гендрякова «Тугой узел».

В Осло в издательстве «Тиден» вышли «Донские рассказы» М. Шолохова в переводе Олава Риттера и роман «Поднятая целина» в переводе Ивара Дигернеса и Наталии Фредрик.

Сборник рассказов М. Горького вышел в издательстве «Меленхофф» в Амстердаме.

В Утрехте (Голландия) в издательстве «Спектрум» вышел сборник рассказов И. Бабеля.

Издательство «Пегасус» (Амстердам) выпустило повесть В. Конецкого «Завтрашние заботы». В том же издательстве вышла книга Г. Линькова «Война в тылу врага» и повесть Ю. Бондарева «Последние залпы».

Роман Ю. Бондарева «Тишина» в переводе Рене де Врие выпущен амстердамским издательством «Круземан».

Повесть Г. Бакланова «Пядь земли» выпущена цюрихским издательством «Бухклуб экс либрис» (Швейцария).

Издательство «Дремер» в Цюрихе выпустило роман И. Стаднюка «Люди не ангелы» и сборник стихов А. Белого.

Издательство ПИВ в Варшаве выпустило сборник рассказов советских писателей со вступительной статьей А. Дравича. В сборник вошли рассказы Ч. Айтматова, С. Антонова, М. Ауэзова, Б. Челышева, Г. Горышина, Ю. Казакова, А. Кирносова, А. Кузнецова, Ю. Нагибина, Ю. Семенова, С. Славича, А. Ткаченко, Л. Уваровой.

Фантастические повести «Шесть гениев» С. Гансовского и «Фиолетовую гибель» В. Владко в переводе Э. Вейзт и Г. Штейна выпускает издательство «Нейес Берлин» (ГДР).

Повесть И. Константиновского «Срок давности» в переводе Ю. Эльперина вышла в берлинском издательстве «Культур унд фортшритт».

Мюнхенское издательство «Пипер-ферлаг» (ФРГ) выпустило сборник стихотворений А. Ахматовой под названием «Скрещенные радуги».

Роман В. Аксенова «Пора, мой друг, пора» вышел в штутгартском издательстве «Дейче ферлаганштальт».

Издательством «Зуркамп-ферлаг» (Франкфурт-на-Майне) выпущен сборник эссе и статей Ю. Тынянова под названием «Художественные средства в литературе и литературная эволюция».

Роман «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова вышел в мюнхенском издательстве «Гольдман-ферлаг».

В «Антологию русской фантастики», которую выпустило белградское издательство «Нолит», включены произведения Пушкина, Гоголя, Чехова, Белого, Достоевского, Горького, Хлебникова, Леонова, Бабеля, А. Толстого, Олеши, Пильняка и других.

Народный театр г. Сараево (Югославия) поставил пьесу А. Арбузова «Мой бедный Марат».

Югославская газета «Политика» поместила в отрывках роман Ю. Семенова «Майор Вихрь».

Итальянское издательство Де Донато выпустило сборник «Серапионовы братья», в который входят художественные произведения, автобиографические заметки, теоретические высказывания членов группы «Серапионовы братья», а также воспоминания о них М. Горького, В. Шкловского, А. Белого (некоторые из этих материалов уже публиковались в Италии) и книгу В. Шкловского «Ход конем».

В Париже в издательстве «Эдитер франс реюни» вышел роман Д. Гранина «Иду на грозу» и «Бабий яр» А. Кузнецова.

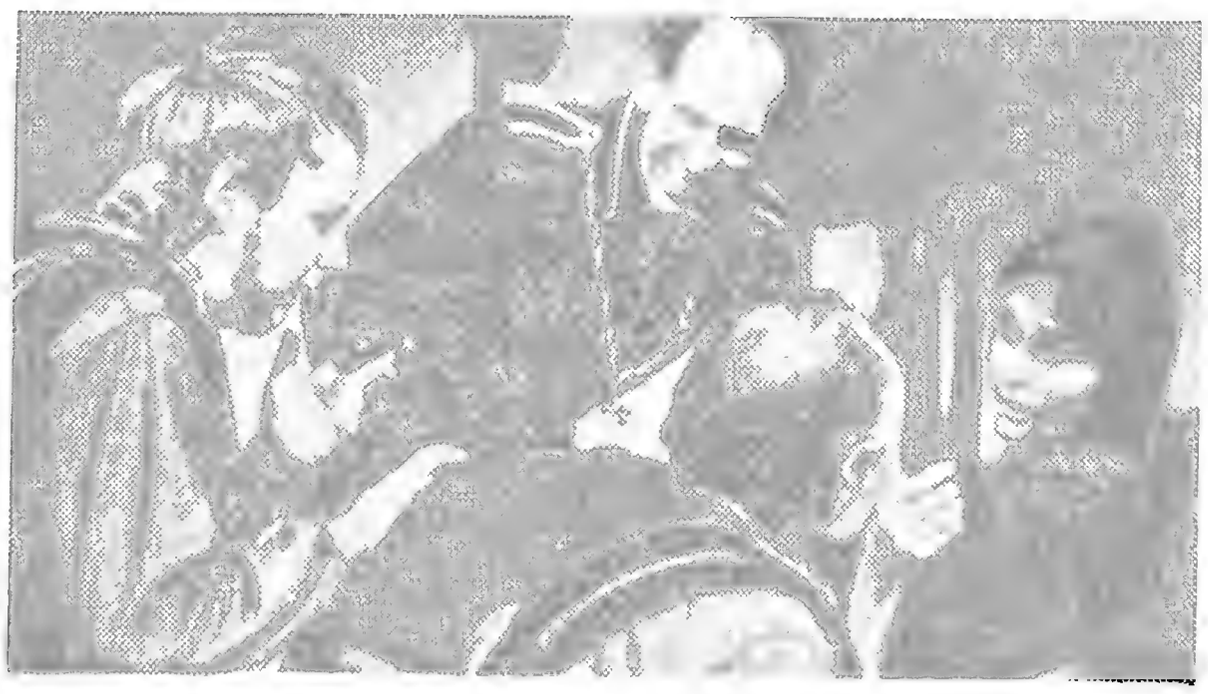
„Угрюм-река» В. Шишкова выпущена издательством «Свет Совету» (Чехословакия).

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ЛЕГЕНДА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

«Чилдермэс» (сокращение от «Children's massacre» — «Избиение младенцев») — так называется пьеса, идущая на сцене театра «Олд тоут» в Сиднее. Ее автор — известный австралийский писатель и драматург Томас Кэннили, перу которого принадлежит и ставший бестселлером роман «Приводите жаворонков и героев».



Сцена из спектакля «Чилдермэс» в театре «Олд тоут». *(Еженедельник «Трибюн»)*

Томас Кэннили создал пьесу-притчу. И хотя в ней звучат мотивы, заимствованные из древней мифологии, как христианской, так и буддийской, ее тема вполне современна: убийство десятков тысяч детей в Южном Вьетнаме. За их гибель несут ответственность американские агрессоры, преступления которых автор сравнивает со злодеянием, совершенным царем Иродом.

Согласно библейской легенде, царь Ирод, узнав от волхвов, пришедших в Иерусалим, о рождении Христа в Вифлееме, велел истребить всех вифлеемских младенцев. В пьесе Кэннили солдаты, измученные непрерывными войнами, избирают из своей среды троих и поручают им найти святого младенца, на которого человечество возлагает все свои надежды. Солдаты верят, что вернутся домой, когда он будет найден. Но трое избранных во время своих странствий попадают в край, где властвует генерал Ирод. Ирод подвергает оказавшихся в его руках солдат ультрасовременным пыткам, стараясь дознаться, где спаситель, а дознавшись, приказывает перебить младенцев. Казалось бы, пьеса кончается торжеством зла. Но это не так, она завершается призывом к борьбе. Где-то за сценой детский голос поет гимн свободе и справедливости. Ирод мечется, желая дознаться, кто поет. А солдаты, глядя на беснующегося Ирода, задают друг другу вопрос: «Неужели нельзя остановить этого человека?»

По словам рецензента еженедельника «Трибюн», режиссер Джон Кларк блестяще поставил «Чилдермэс», умело сочетая в спектакле современное с архаическим. Актеры тоже были на высоте.

Пьеса написана по заказу Австралийского комитета защиты Вьетнама. «Произведение оказалось настолько сильным,— пишет корреспондент,— что его постановка стала для австралийского театра событием огромного значения, поворотным пунктом в его истории».

АВСТРИЯ

НАГРАДА ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Премия Гердера, основанная «в целях поощрения культурных связей с восточными и юго-восточными

странами Европы» и ежегодно присуждаемая Венским университетом, в 1968 году вручена следующим деятелям культуры: эстетику Ромену Ингардену (Польша), писателю Мирославу Крлеже (Югославия), этнографу Людвику Кунцу (Чехословакия), искусствоведу Лайошу Вайеру (Венгрия), композитору Панчо Владигерову (Болгария), археологу Анастасиасу Орлендосу (Греция).

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ АДАЛЬБЕРТА ШТИФТЕРА

Награждение медалью Штифтера в этом году совпало со столетием со дня смерти этого классика австрийской литературы. Министерство образования, в котором в свое время служил Штифтер, присудило медаль Гансу Леберту, автору романа «Волчья шкура», написанного в 1960 году и широко известного в странах немецкого языка (см. рецензию в «Иностранной литературе» № 6, 1961). В книге, сохраняющей и ныне свою актуальность, ставится вопрос об ответственности «мирных» обывателей за злодеяния недавнего прошлого, о внутренней близости мещанства фашизму. Ганс Леберт изобразил в романе деревушку, затерянную в альпийских лесах; притчевый склад книги сочетается с меткими зарисовками деревенского быта, мастерскими описаниями альпийских ландшафтов, поэзию которых запечатлел Адальберт Штифтер.

Ганс Леберт — шестой признанный наследник штифтеровских традиций в современной австрийской литературе. До него этой медалью награждались Феликс Браун, Макс Мелл, Карл Генрих Ваггерль, Франц Набль и Йозеф Надлер.

АЛЖИР

ФИЛОСОФ ИЗ НАРОДА

В скромном помещении на окраине Парижа, где расположен небольшой экспериментальный театр «Лепе де буа», проходят репетиции новой пьесы известного алжирского драматурга Катеба Ясина «Крупицы мудрости».

Сцена из спектакля «Крупицы мудрости» в театре «Лепе де буа». Слева — Будьема Бухада.
(Еженедельник «Жён Африк»)

Впрочем, эта сатирическая пьеса лишь условно может быть названа новой: написана она десять лет назад, однако для предстоящей постановки автор создал новый сценический вариант, значительно переработав текст.

Героем пьесы, состоящей из небольших народных легенд, представленных в виде шаржированных скетчей, является простой рабочий по имени Гоха. Главную роль исполняет Будьема Бухада, которого еженедельник «Жён Африк», поместивший интервью с артистом, называет «арабским Чаплином».

Будьема Бухада — алжирец, он уже играл в пьесах Ясина «Труп за очерченным кругом» и «Разгневанные предки». Это актер комедийного жанра с ярко выраженным сатирическим дарованием. Он сыграл немало ролей в театре, кино и на телевидении, в том числе роли Фигаро и Скапена.

Гоха из пьесы «Крупицы мудрости» — народный герой, в нем есть нечто от Ходжи Насреддина. Как сказал в интервью Будьема Бухада, «это философ из народа, возмутитель спокойствия. Это добрый и отзывчивый человек, который, однако, умеет осмеивать и обличать. Гоха — само движение, сам разум». Гоха участвует в каждом скетче, его роль — стержень спектакля, который являет собой острую сатиру, направленную против власти денег и мракобесия религиозных фанатиков.

АНГЛИЯ

О КРИЗИСЕ АВАНГАРДИЗМА

Непрестанная смена модных художественных направлений не может вывести из кризисного состояния западное модернистское искусство. «Поп-арт» отодвинуто на второй план «оп-артом», за ними последовали «минимальное искусство» и «искусство отношения». Однако раздуваемая вокруг них газетная шумиха оказалась неспособной скрыть становящуюся все более заметной деградацию.

Лондонская «Таймс», обычно весьма сдержанная в оценках, уже заголовком статьи критика-искусствоведа Эдварда Люси-Смита заявляет о «кризисном годе авангарда». Симптомы кризиса, по мнению критика, очевидны: картины не покупают, а галереи закрываются,

притом, как правило, именно галереи, экспонирующие работы художников наимоднейших направлений. Причина, очевидно, не только и даже не столько в экономических затруднениях Великобритании, отмечает Люси-Смит, сколько в том, что публика не испытывает интереса к современному искусству, хотя повседневная рекламная пропаганда пытается уверить нас в обратном.

Люси-Смит считает, что этот упадок коренится в самом существе современного модернизма, который не может уже дать ничего нового, поражающего воображение. «Молодые львы, — пишет он,— рычат приглушенно... То и дело замечаешь, как уже зарекомендовавшие себя художники оказываются в творческом тупике».

По мнению критика, присущий модернизму крайний субъективизм, поглощенность художника собственной личностью стали особенно заметны в последнее время и привели к такому положению, когда художнику «становится чрезвычайно трудно дать миру что-то такое, чего не было раньше».

«Именно незначительность тем и равнодушие самих художников, как мне кажется, повинны в несерьезном отношении публики к искусству», — заканчивает свою статью Эдвард Люси-Смит. Критик «Таймс» не призывает художников искать в окружающем их мире новых творческих стимулов, которые могли бы обогатить искусство и оживить интерес к нему. Он лишь констатирует упадок, творческое бесплодие и, выражая тревогу, остаётся достаточно осторожным, чтобы не делать прогнозов на будущее. Вероятно, они были бы довольно мрачными.

«КОМЕДИАНТЫ» НА ЭКРАНЕ

«Иностранная литература» (№ 7, 1967 г.) уже сообщала о съемках фильма по роману Грэхема Грина «Комедианты» на основе сценария, написанного самим автором. Недавно этот фильм вышел на экраны и вызвал многочисленные отклики английской прессы.

«Атмосфера тирании, убийств, пыток, неслыханных ужасов удивительно впечатляет. Убогая, нищенская жизнь, на фоне которой происходят драматические события первого плана, показана очень правдиво»,— пишет обозреватель еженедельника «Санди таймс».

Режиссер - постановщик Питер Гленвиль сосредоточил все свои усилия на работе с актерами, Ричард Бёртон в роли Брауна, Элизабет Тейлор в роли госпожи Пинеда, Питер Устинов в роли посла создали запоминающиеся образы. Но, по мнению обозревателя, особенно выиграл, работая с Питером Гленвилем, Алек Гинесс, исполнитель роли «негероического героя» майора Джонса. В прежних ролях этому актеру не удавалось полностью раскрыть свой трагикомический дар, а здесь он «проявился в полную силу».

БОЛГАРИЯ

У ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА

Недавно одному из крупнейших болгарских писателей Людмилу Стоянову исполнилось 80 лет.

Режиссеры Дора Ковачева и Лилиана Кавани работают над первым болгаро-итальянским историческим фильмом «Галилео Галилей». Сценарий создан Лилианой Кавани и Гулио Пинелли. Съемки ведутся в Болгарии и Италии. В роли Галилея выступает Сирил Кусак. На снимке — кадр из отснятой части фильма.

(Журнал «Филмови новини»)

В беседе с корреспондентом газеты «Народна култура» Атанасом Свиленовым юбиляр высказал свои взгляды на вопросы писательского творчества. «Художник творит в обстановке общественных противоречий, охваченный стремлением заглянуть вперед, увидеть и предсказать,— сказал Стоянов.— Чем проницательнее он в понимании смысла происходящих событий, чем более близок духу, чаяниям народа, тем более он способен предвидеть будущее. Такие поэты, как Пушкин, Лермонтов, Байрон, Ботев, Маяковский, именно поэтому нашли слова, воспринимаемые нами сегодня как гениальные пророчества».

Отметив, что Людмил Стоянов своими работами вносит вклад в интеллектуальную жизнь всей Европы, корреспондент спросил об его отношении к «некоей теории, будто европейская культура едина, неделима, что она — монолитное целое и проводить в ней некую линию фронта было бы искусственно». Писатель ответил, что «никогда география не была существенным признаком искусства. Сущность художественного произведения определяется прежде всего его общественной ролью, его классовой направленностью. Говорить сейчас о едином характере европейской культуры значит выбрасывать белый флаг перед врагом, давать ему возможность совершать идеологическую диверсию».

Корреспондент попросил перечислить десять самых значительных болгарских поэтов. Людмил Стоянов первым назвал Христо Ботева, как он выразился, «нашего единственного гения, столь рано погибшего». Затем — Ивана Вазова, «без которого болгарин духовно был бы неизмеримо беднее». Следом были названы имена Пенчо Славейкова, связанного «как с европейской, так и с болгарской национальной культурой», Пейо Яворова, «самого драматичного из наших поэтов», Димчо Дебелянова, с творчеством которого Людмил Стоянов считает себя лично связанным, а также Теодора Траянова, Гео Милева, Христо Смирненского, наконец, Николы Вапцарова, «подлинного поэта-новатора, мастера, который открывал неизвестные творческие горизонты», и Младена Исаева, «тонкого лирика, подлинного трубадура новой жизни».

На заключительный вопрос, помогала ли Людмилу Стоянову в его писательской работе критика, писатель решительно ответил, что помогала, и даже не столько своими отзывами о его творчестве, сколько «постановкой общих вопросов в сочинениях больших критиков».

«Ведь я и сам критик,— добавил Людмил Стоянов,— я написал довольно большое количество статей и очерков, на которые смотрю как на неотделимую часть моего писательского творчества».

ВЕНГРИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МИХАЯ КАРОИ

«Если бы семьдесят лет назад кто-нибудь в аристократическом будапештском обществе высказал предположение, что девушка из семьи Андрашши может выйти замуж за отпрыска семьи Карои, то такого человека, безусловно, подвергли бы насмешкам. Андрашши славились свободомыслием, были либералами, антиклерикалами и националистами, а Карои были известны как реакционеры, клерикалы и космополиты. Но не прошло и двадцати лет, как внучка Дюлы Андрашши, соратника Кошута, вышла замуж за графа Михая Карои. И если бы во время их свадьбы опять нашелся простак, который предсказал бы, что Венгрия через пять лет отделится от Австрии, станет республикой и что граф Михай Карои возглавит венгерское правительство, то его просто сочли бы сумасшедшим»,— так начинает Отто Майор рецензию на недавно вышедшую книгу воспоминаний вдовы Михая Карои «В революции вместе».

Продолжая перечислять «невозможные», но реальные факты из жизни Карои, Майор рассказывает о том, как в 1919 году власть оказалась в руках Венгерской Советской Республики, а

Кинорежиссера Андраша Ковача называют основоположником направления «новой волны» в венгерском киноискусстве. Он — автор фильмов «Трудные люди», «Холодные дни» (в Советском Союзе шел под названием «Облава в январе»), жанр которых критики определяют как кинопублицистику.
Недавно вышел новый фильм Ковача — «Стены». Действие его происходит в среде современной венгерской интеллигенции. На снимке — кадр из фильма.
(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

бывший президент Карои был вынужден эмигрировать. Но если бы в том же 1919 году кто-нибудь предсказал, что Карои в эмиграции возглавит борьбу за антифашистскую демократическую Венгрию и через антифашизм придет к коммунизму, то такому человеку, вероятно, предложили бы писать фантастические романы.

Михай Карои умер в 1955 г. во Франции. С 1947 по 1949 год он был послом Венгерской Народной Республики в Париже; в последние годы жизни он отошел от политической деятельности. В 1962 г. его прах был перевезен в Венгрию, вернулась на родину и его вдова. Ее воспоминания о долгой совместной жизни с человеком такой необычной судьбы — большой вклад в венгерскую историческую литературу. Но это еще не все: вдова Михая Карои, урожденная Катинка Андрашши, обнаружила и незаурядные литературные способности. Рассказывая о том, как ее муж стал коммунистом, какой долгий и трудный путь проделал он за те пятьдесят лет, когда представители венгерской аристократии обливали его грязью, а для венгерского трудового народа он все еще оставался графом Карои, безоговорочное доверие к которому казалось невозможным,— жена и друг нашла то неповторимое сочетание романтики, пафоса, мягкого юмора и горькой насмешки, которые и делают ее воспоминания выдающимся художественным произведением.

На экранах ГДР с успехом демонстрируется новый фильм режиссера Конрада Вольфа «Мне было девятнадцать». Как уже сообщалось в советской печати, в фильме рассказывается история Грегора Хеккера, немца из семьи антифашистов, который вырос в Советском Союзе, а затем воевал в составе Советской Армии против гитлеровских захватчиков.

На снимках — кадры из фильма «Мне было девятнадцать».

(Газета «Берлинер цейтунг» и еженедельник «Форум»)

ГДР

ВЬЕТНАМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Горячие симпатии и поддержку вызывает в ГДР героическая борьба вьетнамского народа против американских агрессоров. Недавно композитор Жан Курт Форест завершил работу над оперой, которой он дал название «Одиссея Кью». В основу либретто оперы положено произведение классического вьетнамского эпоса «Ким-Ван-Кью» («Девушка Кью»). Действие оперы происходит в 1885 году, во время крупных восстаний вьетнамских крестьян против французских колонизаторов. Рецензенты отмечают актуальность исторического сюжета оперы, который живо перекликается с нынешними событиями на древней земле Вьетнама.

ИНДИЯ

«ПРАЗДНИК РЕВОЛЮЦИИ»

Так озаглавлен сборник произведений известных писателей и поэтов, опубликованный недавно аллахабадским издательством «Шабдпитх пабликейшнз». Он посвящен 50-летию Октябрьской революции.

Уникальной называет эту книгу критик индийского еженедельника «Нью эйдж». В ней собраны рассказы,

статьи и поэмы, написанные виднейшими представителями литературы на языке хинди о Великом Октябре и о жизни народов Советского Союза. Среди авторов — старейший поэт Сумитранандан Пант, писатели Нагарджун Банарсидас Чатурведи, Амрит Лал, Кедар, литературный критик Рам Билас Шарма и многие другие. Вошли сюда и отрывки из произведений Прем Чанда, и фрагменты «Писем из России» Тагора. Читатель найдет в книге и политические документы, в том числе одну из статей В. И. Ленина. Несомненный интерес представляют статьи Аджоя Гхоша о влиянии идей Октября на Индию, материалы об индо-советских экономических и государственных связях, а также статьи о КПСС и о советском государстве. Сборник богато иллюстрирован.

«ОБ ОДНОМ УБИЙСТВЕ»

Театральная группа «Абхиян» в Дели осуществила постановку пьесы Лалита Сехгала «Об одном убийстве». В основу сюжета этой драмы, созданной на документальном материале, положена история убийства выдающегося деятеля индийского национально-освободительного движения Ганди, который пал жертвой религиозного фанатизма.

...Зритель как бы присутствует на судебном процессе. На сцене всего четверо действующих лиц — Обвиняемый, Свидетель, Защитник и Судья. Автор априори допускает, что убийцей мог бы оказаться каждый из них. Одна версия сменяется другой, постепенно выкристаллизовывается истина, раскрывается тайна убийства...

Рецензент журнала «Линк» пишет, что спектакль идет в хорошем темпе и до последней реплики держит зрителя в напряжении. Этому немало способствует талантливая игра актеров. Предельно скромны декорации и освещение, удачно использована кинопроекция.

«Об одном убийстве», по словам рецензента,— первый спектакль в Индии, в основу которого положена «литература факта».

ИСПАНИЯ

ЛИБЕРАЛИЗМ ПО-ФРАНКИСТСКИ

Корреспондент газеты «Монд» сообщает из Мадрида о процессе молодого католического писателя и публициста Альфонсо Карлоса Комина. Два года назад Комин написал книгу об экономическом и социальном положении Андалузии — «Южная Испания», на которую обратили внимание за границей, а в 1967 г. напечатал во французском католическом еженедельнике «Темуаньяж кретьен» короткую информационную статью «После референдума — репрессии». Вот за эту-то статью он и был привлечен к суду по обвинению в распространении сведений, подрывающих авторитет режима. Отказавшись выслушать свидетелей, трибунал приговорил Альфонсо Карлоса Комина к одному году четырем месяцам тюрьмы.

Корреспондент отмечает, что этот процесс является новым звеном в длинной цепи репрессий, лишним доказательством, что надежды на либерализацию напрасны. Он приводит, не называя имени, слова одного профессора университета в Барселоне, выражающего чувства многих испанцев: «Сегодня ясно, что мы переживаем новый период репрессий. Правительство пошло лишь на формальные уступки, а по существу ничего не изменилось».

Газета «Монд» приводит и другие факты, подтверждающие этот вывод. Журнал «Дестино», орган либеральной каталонской буржуазии, закрыт на два месяца из-за того, что в нем было опубликовано письмо читателя, в котором ставился вопрос о возможности изучения запрещенного в 1939 г. каталонского языка хотя бы в начальной школе. Сто восемьдесят пять представителей интеллигенции Барселоны обратились к правительству с письмом, в котором выразили протест против грубых действий полиции во время национального каталонского праздника в сентябре 1967 г. Все подписавшиеся, среди которых — известные писатели, журналисты, артисты, приговорены за это к денежным штрафам.

ИТАЛИЯ

ПАОЛО ВОЛЬПОНИ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Известный итальянский писатель и поэт Паоло Вольпони заканчивает работу над новым романом. Это будет

Сцена из спектакля «Об одном убийстве».
(Журнал «Линк»)

его третья книга после «Воспоминаний» и «Мировой машины», принесшей ему премию «Стрега» в 1965 году.

«У моего нового романа еще нет названия,— рассказал Паоло Вольпони в интервью корреспонденту еженедельника «Паэзе сера либри».— Но сюжетная канва книги уже полностью определилась, осталось только «отшлифовать» ее форму. В отличие от первых двух книг Вольпони это роман из жизни итальянской интеллигенции. Его герой Джероламо работает в промышленности, считается ценным специалистом. Но он постоянно ощущает тесные рамки частнокапиталистической собственности. Джероламо восстает против порядков на предприятии — и немедленно становится объектом ярых нападок администрации. Постепенно он приходит к осознанию необходимости борьбы за разрешение коренных проблем, стоящих ныне перед итальянским обществом.

«Почему герой до конца книги остается в одиночестве, даже действовать решает один?» — спросил корреспондент еженедельника.

«Это не случайно,— ответил Вольпони.— Я специально решил провести своего героя через все трудности, чтобы показать, как в нынешних условиях человек даже без чьей-либо помощи, один приходит к единственно правильным выводам. Я хотел показать мужество человека, протестующего против конформизма, отказывающегося ради своих идей от всех призрачных удобств современного буржуазного мира».

«Какие проблемы вас волнуют сегодня? Какова будет тема вашей следующей книги?» — поинтересовался корреспондент.

«Сейчас,—ответил Вольпони,—меня интересуют вопросы, связанные с жизнью сельских районов Италии. Эта тема занимала меня давно, но после того как я долгое время прожил в сельских областях Абруццо, Базиликате, Калабрии, а также на Сицилии, жизненные проблемы крестьян и батраков встали передо мной во весь рост. После окончания войны у крестьян родились большие надежды на улучшение их положения, но «падрони» — хозяева — не позволили этим надеждам сбыться. Выход один: бороться за полную аграрную реформу, за передачу земли тем, кто ее обрабатывает. Думаю, что об этом я и напишу мою следующую книгу».

Жизни итальянских крестьян посвящен и цикл стихотворений, который Паоло Вольпони опубликовал недавно в журнале «Менабо».

В Неаполе состоялась большая выставка произведений скульпторов Юга Италии. На снимке: работа молодого скульптора Бальдо Диодато «Девочка, идущая по вечернему городу» (контуры фигуры очерчены горящими неоновыми трубками).

(Газета «Унита»)

ЮБИЛЕЙ УНГАРЕТТИ

В Риме в торжественной обстановке было отмечено 80-летие одного из виднейших представителей современной итальянской поэзии Джузеппе Унгаретти. В палаццо Киджи председатель палаты депутатов Буччарелли-Дуччи устроил в честь поэта большой прием, на котором присутствовали министры, депутаты, а также писатели, художники и другие деятели культуры и искусства. Из Милана приветствовать юбиляра прибыли поэты Эудженио Монтале, Сальваторе Квазимодо, Витторио Серени. От имени итальянских поэтов с приветственными речами выступили Квазимодо и Монтале, а от имени правительства — Альдо Моро, отметивший заслуги юбиляра перед поэзией — «важнейшим компонентом общественной жизни». Поэту на приеме была вручена премия в пять миллионов лир. Унгаретти в короткой речи, веселой и остроумной, поблагодарил собравшихся и сказал, что юбилейные празднества в его честь — довольно тяжелое испытание для его 80 лет. Однако 80, в сущности, ведь это четыре раза по 20... Закончил свое выступление Унгаретти словами «Да здравствует поэзия!» Римские газеты посвящают юбиляру статьи, в которых рассказывается о творческом пути Унгаретти и значении его произведений для современной итальянской поэзии.

АННА МАНЬЯНИ СНОВА В КИНО

Как рассказала римским журналистам Анна Маньяни, она после четырехлетнего перерыва возвращается на съемочную площадку. Актриса будет сниматься вместе с Энтони Куинном и Вирной Лизи в фильме «Тайна св. Виттории», который ставит американский режиссер Стэнли Крамер. Съемки фильма будут полностью вестись в Италии. В течение последнего времени Маньяни играла на театральной сцене, неоднократно заявляя в печати, что не видит для себя подходящих ролей в тех фильмах, которые ныне ставят итальянские режиссеры. Продолжая выступать против углубляющейся коммерциализации итальянского кино, актриса в последнем интервью заявила: «Публика должна была бы восстать против фильмов, лишенных идей, яркого таланта и фантазии, которыми ее изо дня в день кормят. Она должна была бы отвергнуть все эти «вестерны», которые один за другим непрерывно выпуска-

ют в Италии. Я очень люблю итальянского зрителя, глубоко его уважаю и не думаю, что он столь наивен, чтобы проглатывать все, что ему подсовывают».

КИТАЙ

ПЕКИНСКАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В Пекине состоялся концерт самодеятельности. Газета «Гуанминжибао» сообщила об этом под широковещательным заголовком: «Великая победа революционной линии Председателя Мао в литературе и искусстве — великая победа великой пролетарской культурной революции». Затем следовало: «Пекинский городской комитет рабочих делегатов организовал концерт самодеятельности революционных рабочих и служащих. Во всех видах и жанрах искусства с огромным энтузиазмом воспевался великий вождь Председатель Мао, пылко пропагандировались великие новейшие указания Председателя Мао, с жаром восхвалялись великие идеи Мао Цзэ-дуна и пролетарская революционная линия Председателя Мао в литературе и искусстве. Широкие революционные массы встретили концерт горячим одобрением».

Казалось бы, странно, что пекинские пропагандисты с таким пафосом пишут о столь обыкновенном, на первый взгляд, мероприятии. Однако следует учесть, что провести концерт было нелегко из-за постоянных кровопролитных столкновений между маоистскими «революционными» массовыми организациями. Междоусобицы в самом Пекине настолько обострились, что и концерт самодеятельности считается достижением «нового порядка».

На концерте были исполнены «революционные» песни: «Почтительно желаем Председателю Мао безграничного долголетия», «Председатель Мао роднее родного отца и родной матери», «Есть в Пекине золотое солнце» и другие.

Были инсценированы хунвейбиновские сборища периода «культурной революции»: «Каждый будь критиком», «Гневно клеймим предателей родины», «Разобьем черное ревизионистское мировоззрение».

Новейшим указаниям отвечали номера: «Народ поддерживает армию, армия любит народ», «Революционный комитет — это хорошо». Так называемые «ревкомы», сменившие в Китае законную народную власть, за отсутствием популярности остро нуждаются в рекламе, так же как и военный контроль, насаждаемый маоистами.

В заключение были показаны номера, сочетающие пение и пляску: «Великое революционное единение хорошо», «Все мы братья по классу», «Всемерно будем создавать группы по изучению идей Мао Цзэ-дуна».

Таково одно из последних «событий культурной жизни» китайской столицы.

ОАР

ДОСТОЕВСКИЙ НА АРАБСКОМ

Еженедельник «Аль-Мусаввар» опубликовал статью своего главного редактора Ахмада Баха эд-Дина, которая называется «Впервые на арабском языке — полное собрание сочинений Достоевского». Отмечая появление в продаже первых томов двадцатитомного собрания сочинений «великана мировой прозы» Ф. М. Достоевского, Баха эд-Дин пишет: «Наша культура и образование останутся ущербными, пока не будет завершен полный и точный перевод на арабский язык великих творений человеческого гения... Необходимо, чтобы наш юноша смог прочитать на арабском языке произведения таких философов, как Аристотель, Платон, Кант, Гегель и Декарт, таких писателей, как Толстой, Бальзак, Достоевский, Шекспир и Виктор Гюго, и таких мыслителей, как Адам Смит, Рикардо и Маркс». Перевод подобных произведений на арабский язык, говорит автор статьи, равен по своему значению «сооружению нового университета», ибо они будут жить сотни лет, подобно произведениям арабской классической литературы, которые переиздаются из года в год, так как потребность в них непрерывно растет.

«Я непременно куплю эти тома,— пишет далее Баха эд-Дин.— Правда, большинство из них я уже читал, но мои дочь и сын, достигнув юношеского возраста, должны будут тоже прочитать Достоевского. И я счастлив, что они найдут его на арабском языке».

В заключение автор статьи обращает теплые слова благодарности к переводчику Достоевского на арабский язык Сами-ад-Даруби, который в настоящее время занимает пост посла Сирии в ОАР, а также к египетскому критику Махмуду Амину аль-Алиму — инициатору издания сочинений Достоевского и других выдающихся произведений мировой литературы.

ПОЛЬША

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ-РЕАЛИСТОВ

В Варшаве состоялась шестая ежегодная выставка группы художников-реалистов. Со времени первой выставки, организованной в 1962 году, пишет Эва Гажтецкая в газете «Трибуна люду», группа выросла с 27 до 37 человек. В нынешней выставке принимают участие также два зарубежных гостя: Михаил Савицкий из Советского Союза и Вилле Зитте из ГДР.

«Непосредственная связь с действительностью, с реальными явлениями нашей жизни — важная характерная черта, объединяющая художников-реалистов, которые совместно из года в год выставляют свои работы. Каждый из них по-своему интерпретирует подмеченные в жизни явления — в зависимости от индивидуальных наклонностей и избираемых изобразитель-

ных средств. Поэтому выставленные полотна не производят впечатления однообразия, напротив, они демонстрируют возможности разнообразного подхода к явлениям окружающего нас мира,— продолжает рецензент.— И следует признать, что этот мир в работах художников-реалистов не приукрашен, не сдобрен легковесным оптимизмом. Напротив — перед зрителем суровое, критическое, а иногда и гротескно-сатирическое отражение действительности».

В центре внимания устроителей выставки — работы, откликающиеся на важные политические события, происходящие в мире. Так, полотна Ришарда Скупина предостерегают против угрозы опустошительной термоядерной войны, а Мечислав Барылка своей картиной «Мир и война» клеймит американскую агрессию во Вьетнаме. Антони Лыжваньский избрал для своей работы историческую тему— на картине «Первое мая 1945 года» — первомайская демонстрация среди руин Варшавы.

Немалое место на выставке занимают жанровые картины, композиции, пейзажи, натюрморты. Гажтецкая выделяет работы Влодзимежа Панаса «Пейзаж с отцом и ребенком», а также «Леда сегодня» и «Тяжелые кони» Станиславы Стельмашевской-Панас. Жизнь молодежи избрала своей темой Хелена Краевская.

Украшением выставки называет Эва Гажтецкая полотна молодых членов группы художников-реалистов. В работах Януша Качмарского, Марека Саппетто и Веслава Шамборского, поглощенных активными творческими поисками, по словам рецензента, ощущается живое дыхание жизни.

ФИЛЬМ ОБ УЧАСТНИКАХ ОКТЯБРЯ

Кинорежиссер Богдан Косинский создал документальный фильм под названием «Страницы из книги поляков», посвященный полякам — участникам Великой Октябрьской социалистической революции.

«Мне хотелось рассказать о людях, участвовавших в тех исторических событиях, и о свидетельствах светлой памяти, которую они по себе оставили,— сказал Богдан Косинский в интервью представителям печати.— Я создавал фильм с помощью современной камеры и смотрел на вещи с точки зрения современного человека, не упуская из виду, что минуло уже пятьдесят лет и сложно воссоздать подробности судеб людей, некогда боровшихся за лучшее будущее России... Должен признаться, что над материалом пришлось поработать, и немало. Казалось бы, от героев моего фильма остались лишь документы, фотографии, памятники и обелиски. Однако это были необыкновенные люди, колоритные личности. Они остались в памяти тех, кто дожил до наших дней».

Творческий труд режиссера принес богатые плоды: на экране оживают герои-интернационалисты и их славные дела.

РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

Польская писательница Моника Варненская, неоднократно бывавшая в Демократической Республике Вьетнам, опубликовала в еженедельнике «Польское обозрение» небольшой рассказ «Листовки и бомбы» — об использовании американцами «психологического оружия» во Вьетнаме.

Во время рейдов на города и села ДРВ, рассказывает писательница, американцы, помимо бомб, сбрасывают тонны листовок. «...С неба опускается на землю размноженный в тысячах экземпляров сам президент Джонсон,— рассказывает писательница.— Тьен переводит текст на оборотной стороне портрета». Это выдержки из выступления американского президента, который пытался оправдать агрессию США во Вьетнаме.

«Весь арсенал средств психологической войны, применяемых во Вьетнаме, мог бы вызвать только улыбку, настолько они наивны и примитивны,— пишет Варненская.— Мог бы вызвать

В связи с первой годовщиной со дня трагической гибели Збигнева Цибульского редакция еженедельника «Экран» учредила премию его имени для молодых актеров, создавших лучшую роль в кино, театре, на телевидении. Эта премия, говорится в редакционном сообщении,— дань памяти замечательного актера.

улыбку — если бы не действительность. Если бы не самолеты, которые днем и ночью не дают покоя жителям этой земли...

С неба спускаются игрушки на миниатюрных парашютиках. Я видела их по пути к 17-й параллели, в провинции Куанг-Бинь. К пластмассовым куколкам и зверюшкам были приклеены записочки с заверениями, что такие подарки ждут всех северовьетнамских детей «сразу же после свержения власти коммунистов на Севере».

Игрушки и сладости падают на землю попеременно с бомбами—населенные пункты подвергаются бомбардировкам и обстрелу на следующий же день после того, как были сброшены подарки...»

Все, что падает с неба: листовки, игрушки и другие подарки, даже транзисторные радиоприемники последних марок,—подлежит уничтожению, продолжает свой рассказ писательница. «Мы ничего не хотим от врага»,— говорят вьетнамские патриоты. Американские «дары» сжигаются на кострах...

«Нет,— пишет Моника Варненская,— такая пропаганда здесь бесперспективна».

США

«ПСИХИАТР ПРЕЗИДЕНТА»

На экраны Америки вышел новый фильм, поставленный режиссером Теодором Фликером по собственному сценарию. Уже из названия фильма — «Психиатр президента» — ясно, что речь идет о «высших сферах» американского общества. И действительно, на экране — глава государства и его окружение. Президент перегружен делами, подавлен заботами и нуждается в человеке, которому мог бы открыть душу. Таким поверенным президента становится психиатр Сидней Шефер (его роль исполняет Джеймс Коберн). Однако атмосфера подозрительности, «подсиживания» и шпионажа, царящая в «коридорах власти», сказывается и на здоровье психиатра. Врач вскоре сам заболевает: он одержим манией преследования, ему чудится, что за ним гонятся агенты ФБР и ЦРУ, так как он—хранитель всех секретов президента. Шпиономания доводит психиатра до того, что он даже свою возлюбленную подозревает в том, что она находится на службе у ФБР.

Теодор Фликер прибегает к элементам фантастики, чтобы показать, какую угрозу таит в себе «американский образ жизни». Так, крупная телефонная компания намерена с помощью изощренной системы подслушивания и гипноза обрести контроль над умами всех своих абонентов. Руководители компании надеются стать диктаторами в некоем фашизированном государстве, в которое неизбежно должны превратиться США.

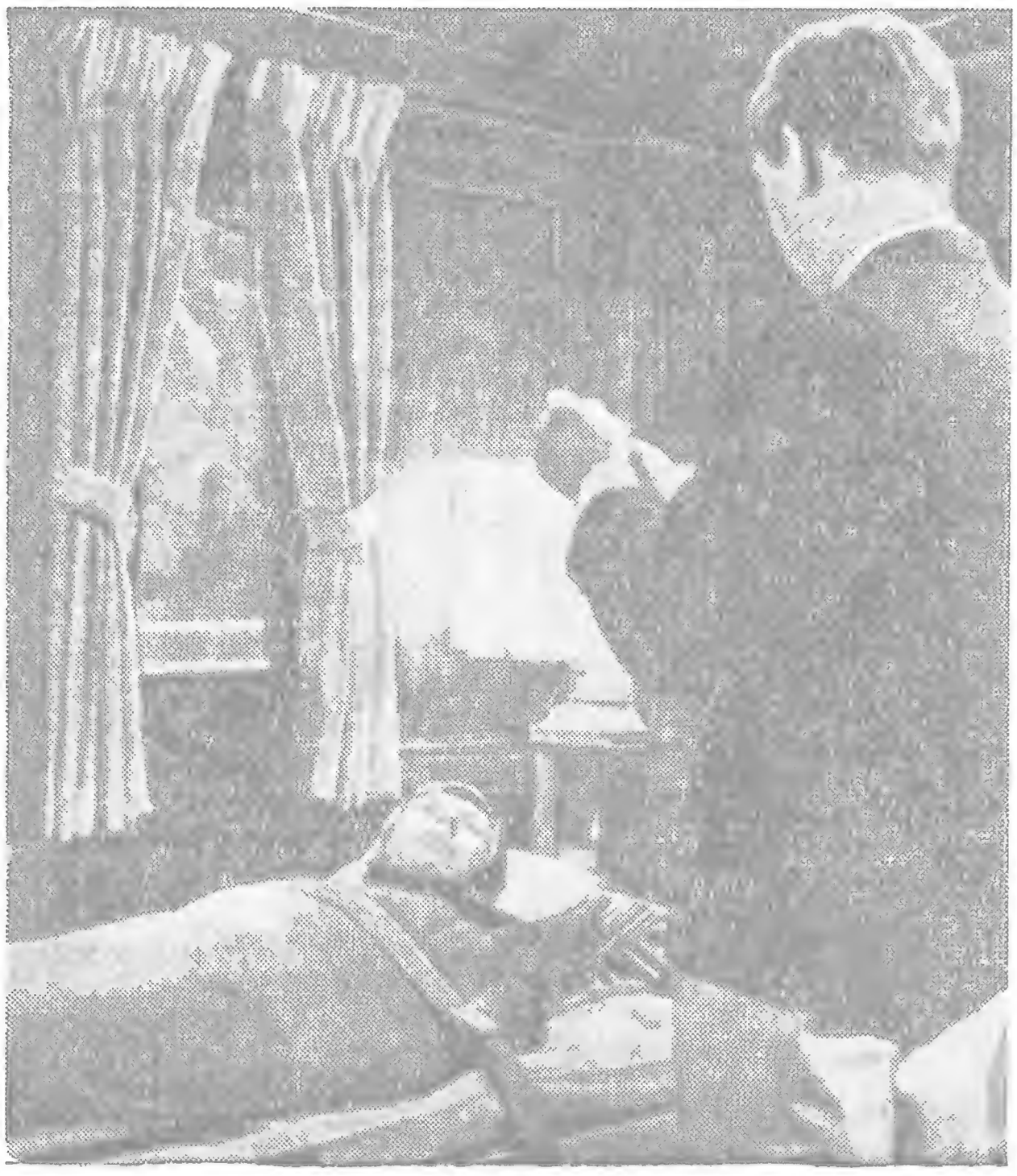
Одна из первых рецензий на фильм «Психиатр президента» появилась в канадской газете «Кенэдиен трибюн». Редакция газеты попросила написать о фильме американскую журналистку Эллен Эстрин. Беспринципность, неразборчивость в средствах, коррупция и страх, неотступный, разлитый в самом воздухе страх,— неотъемлемые элементы политической жизни США, пишет Эстрин. Это и показывает фильм «Психиатр президента».

Эллен Эстрин подчеркивает, что в условиях США подобный фильм имеет немаловажное значение: «Не все американцы достаточно проницательны, чтобы воспринимать американское общество таким, каково оно на самом деле,— пишет Эстрин.—Большинство руководствуется школьными прописями да сообщениями газет, радио и телевидения, которые искажают картину современного общества».

В «Психиатре президента», отмечает Эстрин, четко указывается, кто истинный враг Америки: «Капитал — вот кто враг, а не какая-либо другая политико-экономическая система». И в этом — главное достоинство фильма.

Кадр из фильма «Психиатр президента».

(Газета «Кенэдиен трибюн»)



НЕ ХОТЯТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Четыреста тридцать семь американских общественных деятелей, писателей и редакционных работников и в их числе Бенджамен Спок, Джеймс Болдуин, Роберт Блай, Нельсон Олгрен, Сьюзен Зонтаг, Терри Сотерн и многие другие заявили о своем намерении прекратить уплату налогов, так как деньги, которые они отдают государству, тратятся на агрессию США во Вьетнаме.

Не так-то легко было опубликовать это заявление, сделанное еще осенью 1967 года. Шесть изданий—«Нью-Йорк таймс», «Глоуб» (Бостон), «Сент-Луис пост диспэтч», «Крисчен сайенс монитор», «Чикаго трибюн», «Нэшнл обзёрвер» — категорически отказались его напечатать. Между прочим, среди подписавших заявление — десять сотрудников «Нью-Йорк таймс», которая первой стоит в этом постыдном списке.

ФРАНЦИЯ

«МАТЬ» НА СЦЕНЕ ТНП

Спектаклем «Мать» театр ТНП отметил в нынешнем сезоне два юбилея — Горького и Брехта. Критики считают, что этот спектакль — один из лучших в репертуаре театра.

Как известно, Брехт написал пьесу «Мать» по роману Горького в 1930—1931 гг. Это свободная адаптация горьковского произведения. Полностью был сохранен центральный образ Ниловны и несколько сцен из романа, а затем автор дал как бы продолжение романа в новых исторических условиях. Пьеса кончается победой рабочего класса в Октябре 1917 г.

Афиши ТНП гласят: Постановка Жака Роне. Декорации художника Юбера Монлу, хоры на музыку Ганса Эйслера. В роли Ниловны — Элеонора Ирт.

Рецензент еженедельника «Леттр франсез» пишет об этом спектакле: «Мать Брехта в ТНП — дань уважения и Горькому и Брехту. Это первая и наиболее оптимистическая пьеса, в которой Брехт так ясно и глубоко показал тесную связь между судьбой отдельной личности и ходом истории.

Пьеса вызывает раздумья о событиях, раздумья, которые должны помочь трудящимся в их собственной борьбе. Брехт показал не только борьбу классов, но, что еще важнее, перспективы этой борьбы».

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ВАЙЯНА-КУТЮРЬЕ

Премией имени Вайяна-Кутюрье в 1968 г. отмечена первая книга журналиста Эрика Вестфаля «Демонстрация», выпущенная издательством Галлимара.

Этот роман посвящен расовым беспорядкам в США, очевидцем которых стал молодой французский студент. С рюкзаком за спиной Эд во время каникул отправился путешествовать по США пешком, время от времени пользуясь попутными машинами. Так он познакомился со страной, ее людьми, нравами и обычаями.

Первое впечатление героя: «Люди приветливы и очень мне помогают!.. Мне дают приют, меня возят, кормят». Эд в восторге от американцев. Потом приходит недоумение и разочарование, вызванное постоянными вопросами: «А вы не коммунист?» «А вы не боитесь ехать в машине негра?»... И постепенно выясняется, что в этой приветливой стране опасно быть коммунистом, негром, евреем. У Эда на глазах начинается мирная демонстрация негров в городе Атланте: «Из каждого переулка, из каждой улицы нескончаемым потоком текли люди в надежде добиться своих прав...» А затем мирная демонстрация превращается в бойню, льется кровь. И Эд понимает, что и его долг — вступить в борьбу. «Чем больше знаешь о зле, чем чаще сталкиваешься с ним, тем важнее чувствовать себя человеком».

Андре Стиль в рецензии, напечатанной газетой «Юманите», пишет: «Эрик Вестфаль первой своей книгой доказал, что ему присущ талант реалиста. Эта книга не только потрясает, но и заставляет задуматься».

В Париже вышла книга Пьера Мозе «Негритянское искусство», которая, как сообщает корреспондент тунисского еженедельника «Жён Африк», сразу же обратила на себя внимание ценителей народного творчества. В монографии, богато иллюстрированной цветными и черно-белыми вкладками, популярно излагается история возникновения и развития национальных тенденций в искусстве, рассказывается об особенностях стилей африканских мастеров. На снимке: репродукция одного из произведений негритянского искусства.

(Еженедельник «Жён Африк»)

«УИК-ЭНД»

На экраны страны вышел новый фильм Жан-Люка Годара «Уик-энд». В основу его сюжета положена газетная заметка о том, что на автостраде, недалеко от Версаля, автомобилист сбил с ног пешехода и даже не остановился, а следовавшие за ним водители сделали вид, что не заметили несчастного, пока, наконец, один шофер не попытался оказать помощь пострадавшему.

В фильме изображена супружеская пара (роли исполняют Мирей Дарк и Жан Ян). Об этих людях известно лишь, что они женаты пять лет и давно разлюбили друг друга. Их связывают привычка и ожидание наследства. В конце недели, как и всегда, они отправляются на автомобиле за город. На автострадах, запруженных автомобилями, образуются пробки, валяются обломки искореженных, обгоревших машин. Супруги и сами попадают в катастрофу, а затем — в лапы шайки молодых бездельников, называющих себя «Фронтом освобождения Сены-и-Уазы». Бандиты расправляются с запоздавшими участниками пикников, пьянствуют, грабят и насилуют.

«Уик-энд» — еще один обвинительный акт против преступлений, сопутствующих прогрессу,— пишет рецензент еженедельника «Экспресс».— Здесь выносится осуждение не машине, но человеку, создавшему ее и ставшему ее рабом. Годар аккумулирует ужасы, убийства, грабежи — с одной стороны, безразличие, грубость, примитивность людей — с другой. Он старается во что бы то ни стало вывести зрителей из состояния спокойствия, взволновать, потрясти. Шайка каннибалов, исступ-

Один из эпизодов фильма «Уик-энд».

(Еженедельник «Вие нуове»)

ленными, разнузданными преступлениями которых кончается фильм, одновременно напоминает хиппи, хунвэйбинов и героев вестернов».

В рецензии, опубликованной «Юманите-диманш», говорится: «У этого фильма — своя цель, он несколькими острыми штрихами очерчивает характерные аспекты нашей эпохи и мира, в котором мы живем. В нем много безвкусицы, ненужной аг-

рессивности, но есть и серьезные, заставляющие задуматься эпизоды».

«ПОЛЬ ЭЛЮАР, ПОДЛИННАЯ КНИГА»

Прогрессивная французская печать тепло встретила вышедшую под таким названием в издательстве Тшу книгу-альбом, которую подготовил к печати Робер Д. Валетт.

В нее, кроме стихотворных текстов, вошло около шестисот фотографий, репродукции обложек книг и журналов, отрывки из неизданных писем (а их около четырехсот), документы, манифесты и т. д.

«Эту редкую по богатству материала, красоте, подлинности книгу, раскрывающую самое сокровенное в жизни поэта, можно назвать настоящим музеем,— писал Андре Стиль в газете «Юманите».— Читатель — зритель, словно посетитель музея, вновь и вновь возвращается к заинтересовавшим его годам жизни поэта, какая-то деталь, прежде незамеченная, надолго приковывает его внимание. Это, как назвал одно из своих произведений Элюар, настоящая «открытая книга», в которой жизнь и творчество поэта предстают, дополняя друг друга, в качестве единого целого».

«Элюар, ведомый любовью, справедливостью, поэзией, никогда не отклонялся от избранного им прямого пути,— отмечал рецензент еженедельника «Франс нувель».— Не случайно, что через шестнадцать лет после его смерти он пользуется всеобщим признанием и его читают все французы. Самый лирический из поэтов, он стал певцом борьбы и свободы, своими стихами он боролся против немецкого фашизма и всяческого угнетения, будь то в Испании или в Греции. Значение творчества поэта еще далеко не изучено, но эта книга воссоздаст живой его облик, делает его близким и родным...»

В последнее время, как отмечают литературные обозреватели, интерес к творчеству Элюара, умершего в 1952 году, заметно усилился. Его произведения выпускаются многими издательствами. Так, например, недавно издательством Сегер опубликованы его «Письма молодости». Творчество поэта-коммуниста выдержало испытание временем.

ШВЕЦИЯ

«МОЙ ДОЛГ — СЛУЖИТЬ ДЕЛУ МИРА»,—

заявил шведский писатель Вильгельм Муберг в интервью газете «Фреден».

В прошлом году вышел в свет антивоенный роман Муберга «Страна предателей». И хотя действие его происходит в эпоху средневековья на землях Смоланда, критики называют этот исторический роман «проповедью мира» и «оратория в честь мира».

«Подобные оценки моего романа, вероятно, излишне патетичны и торжественны,— сказал Муберг.— Но, несомненно, я хотел написать антивоенный роман — для меня нет ничего более ненавистного, чем война. Я пытался изобразить проклятие войны, чтобы тем самым подчеркнуть счастье мира».

«Каково ваше отношение к вьетнамскому вопросу?»— спросили писателя.

«Об этом я высказался со всей определенностью еще летом 1965 года,— ответил он.— В статье, помещенной в газете «Арбетарен», я выразил тогда полную солидарность с существующей в США оппозицией, выступающей против войны, которую ведут Джонсон и его правительство. Американцы должны покинуть Вьетнам, им там нечего делать. Если бы они защищали свою собственную страну — как это было после нападения Японии в 1941 году,— тогда другое дело. Но почему Америке теперь потребовалось обороняться в Азии?

Для себя я решил,— сказал в заключение Муберг,— я буду делать все возможное, чтобы служить делу мира своим творчеством. Этим я руководствовался, когда писал «Страну предателей».

НОВАЯ «НОВАЯ ВОЛНА»

В Стокгольме по инициативе Международной федерации кинокритики и Шведского института кино состоялся международный симпозиум, посвященный «молодому шведскому кино». В

этой встрече приняли участие критики из 12 стран и многие молодые шведские кинематографисты.

«Новая волна» в шведском кино зародилась пять лет назад. Своеобразным толчком к этому послужила книга молодого писателя Бу Видерберга «Картины мира в шведском кино», в которой автор обвинял шведскую кинематографию в том, что она систематически уходит от действительности, не желает или не умеет давать анализ современных общественных явлений, изображает надуманные отношения и конфликты между людьми. Если оставить в стороне такого мастера, как Бергман, то в целом шведское кино являет собой унылую картину, утверждал в то время Бу Видерберг.

За минувшие пять лет появилось несколько десятков фильмов пятнадцати молодых кинематографистов, которые ознаменовали решительный поворот в истории шведского кино. Среди наиболее видных представителей «молодого шведского кино» критики называют Йорна Доннера, Бу Видерберга, Вильгота Шёмана, Яна Троелля, Яна Халлдоффа, Ларса Ёрлинга и других. Почти все они отказались от традиционных методов создания фильмов: от работы в студии, от тяжелого съемочного аппарата, от сценария в старом понимании. Все их фильмы возникли в небольших коллективах, многие снимались методом «синема — верите», их авторы зачастую прибегали к импровизации. Большинство этих фильмов тематически связано с современностью, рассказывает о жизни Швеции шестидесятых годов. Деятелей «молодого кино» особенно привлекает проблематика, определяемая конфликтом молодого поколения с традиционными устоями общества. Таковы фильмы «491» и «Гунилла» Ларса Ёрлинга, «Жизнь прекрасна», «Оля и Юлия» Яна Халлдоффа, «Объятия и поцелуи» Йонаса Корнелла и другие. Шведская действительность без прикрас показана, правда ретроспективно, в фильме Яна Троелля «Вот твоя жизнь» и в фильме Бу Видерберга «Квартал ворон».

Участники международного симпозиума в Стокгольме отмечали бунтарский дух «молодого шведского кино», который проявился не только в изображении общественных отношений, но также и в показе интимной жизни людей.

Многие участники симпозиума обратили внимание на слабую сторону «молодого шведского кино» — на его художественное несовершенство. «За небольшими исключениями,— сказал критик Ян Агхэд,— молодое шведское кино игнорирует форму, оно не выработало еще эстетического видения; за «свободой импровизаций» часто скрывается беспомощность и незрелость».

Польский критик Болеслав Михалек в статье, опубликованной еженедельником «Фильм», написал об этом следующее: «Изображая наиболее противоречивые явления общественной жизни и быта современной Швеции, молодые кинематографисты не в состоянии выйти за пределы одних описаний; они не могут или не хотят обобщить своих наблюдений... Они регистрируют увиденное как-то нервно, зигзагами, предпочтительно касаясь наиболее неприглядных сторон жизни общества; но они редко достигают в этой области высот эстетической и интеллектуальной зрелости».

ТУНИС

УСПЕХИ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

В последние годы Тунис добился серьезных успехов в создании собственной полиграфической базы. По выпуску книг на арабском языке он занимает первое место среди стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания). Тунисские издательства выпускают самую разнообразную продукцию: художественную литературу, литературно-критические исследования, книги по истории, экономике, фольклору и искусству; печатаются также памятники средневековой тунисской литературы и книги о выдающихся деятелях арабской культуры.

Среди новинок, выходящих или уже вышедших в Тунисе, ливанский журнал «Аль-Адиб» называет книгу ветерана тунисской литературы шейха Тахира Бен-Ашура «Аль-Мутанабби» о великом средневековом арабском поэте, работу Мухаммеда аль-Хливи «Тунисская литература», «Народные песни» М. аль-Марзуки, исследование Ахмеда Халида о выдающемся деятеле тунисского рабочего движения и борце за эмансипацию женщин Ат-Тахире аль-Хаддаде («Ат-Тахир аль-Хаддад и тунисское общество в первые три десятилетия XX века») и другие книги.

ТУРЦИЯ

СОЮЗ ВЛЮБЛЕННЫХ

Народных поэтов в Турции называют «ашиками» — влюбленными. И по сию пору странствующие поэты, аккомпанируя себе на сазе, ходят из деревни в деревню, исполняя дестаны, газели, лирические песни. Недавно в Стамбуле на свой первый съезд собрались ашики со всей страны — около ста народных поэтов. Съезд решил создать постоянную организацию ашиков и принял обращение к интеллигенции Турции с просьбой о поддержке его деятельности. Избраны руководящие органы Союза ашиков. Председателем его стал популярнейший народный поэт Максуди. В наказе руководителям Союза говорится, что они «должны приложить все силы, чтобы в короткий срок показать мощь народной поэзии и утвердить ее прогрессивную роль в обществе».

ТЮРЬМА — ЗА ПРАВДУ

Прокуратура возбудила уголовное дело против одного из руководителей Союза турецких литераторов, пуб-

лициста и критика Фетхи Наджи за его статью «Октябрьской революции — 50 лет», опубликованную в журнале «Ант». Судебному преследованию подвергся и другой сотрудник журнала Хюсейн Баш за статью «НАТО должна быть изгнана». Ф. Наджи грозит пятнадцать лет, Х. Башу — шесть лет тюрьмы.

ПОЕТ РУХИ СУ

По сообщению стамбульского литературного журнала «Май» впервые в Турции с граммофонных пластинок зазвучал голос народного певца Турции Рухи Су. Рухи Су, собирающий и исполняющий народные песни, известен своими прогрессивными взглядами. Долгие годы из-за преследований властей он не мог выступать перед широкой аудиторией. Выпуск пластинок Рухи Су в стамбульских музыкальных и литературных кругах рассматривают как важное событие в культурной жизни Турции.

ЭКРАНИЗАЦИЯ РОМАНА РЕШАДА НУРИ

На экраны страны вышел цветной художественный фильм режиссера Тургута Демирага «Горная сказка». Фильм поставлен по роману одного из наиболее популярных турецких писателей Решада Нури, выдержавшему в Турции более десяти изданий. Как известно, этот роман (в русском переводе он назван «Птички певчие») рассказывает о нелегкой судьбе молодой турецкой учительницы, посвятившей себя воспитанию деревенской молодежи. Наряду с этим роман дает широкую реалистическую панораму жизни и быта турецкой деревни, правдиво изображает простой народ Турции, критикует постановку народного образования.

Рецензент газеты «Джумхуриет» подчеркнул широкую популярность в стране произведений Решада Нури, в частности, романа «Птички певчие» и дал положительную оценку фильму «Горная сказка».

ЮГОСЛАВИЯ

ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ИМЕНИ ГОРЬКОГО

...Начало декабря 1941 года. Югославия стонет под игом немецких оккупантов. Патриоты оказывают врагу мужественное сопротивление. Радость побед и горечь поражений. Враг прекрасно вооружен, а у партизан — нехватка оружия, продовольствия, одежды.

Воины одного из партизанских отрядов после очередной политбеседы, которая была посвящена жизни и творчеству великого советского писателя М. Горького, предложили присвоить отряду его имя.

С тех пор отряд имени Максима Горького совершил немало славных боевых дел. Бойцы отряда всегда гордились и дорожили именем великого писателя.

Бывший партизан отряда Драгослав Маркович решил написать роман об отряде имени М. Горького, в рядах которого он сражался. Это будет его первое большое литературное произведение. После войны Маркович стал художником, и его работы пользовались большим успехом на выставках в различных городах страны. Главным героем романа будет Зоран, прообразом которого явился политический комиссар Зоран Живанович, погибший смертью героя в одном из жестоких боев. Автор намерен показать в романе весь боевой путь отряда, героизм его воинов.

ДВА ЮБИЛЕЯ

В Белграде недавно была широко отмечена сотая — юбилейная — постановка оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» на сцене столичного Народного театра. Тогда же известный югославский бас Мирослав Шангалович отметил свой личный юбилей — 250-е исполнение им роли Бориса Годунова. Впервые он сыграл ее в 1954 году, и с тех пор она стала одной из его любимейших ролей. Шангалович пел Бориса Годунова на подмостках многих оперных театров — в Москве, Ленинграде, Варшаве, Софии, Париже, Токио, Барселоне и других городах. В 1961 году за исполнение этой роли на театральном фестивале в Париже он получил международную премию.

«Исполнение роли Бориса Годунова — великое испытание для певца,— сказал М. Шангалович перед юбилейным спектаклем.— Для меня работа над ролью Бориса Годунова — непрерывный творческий процесс. Мне постоянно хочется открыть что-то новое в этом образе, обогатить его».

ЯПОНИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О РОССИИ

В журнале «Бунгэй сюндзю» напечатана первая часть исторического романа Ясуси Иноуэ «Необыкновенный рассказ о России». Роман написан на основе подлинных записок XVIII века «Оросиякоку суймудан» («Сны о России»), принадлежащих одному японцу, который оказался в России из-за кораблекрушения. (Эти записки переведены на русский язык.)

Роман рассказывает о приключениях автора записок в России, о его жизни в Петербурге и встрече с Екатериной, которая разрешила ему вернуться в Японию.

Японская критика говорит об успехе писателя и отмечает, что избранная им тема — свидетельство все возрастающего интереса японцев к России.

Авторы этого номера

ГЮНТЕР ГРАСС — GÜNTER GRASS (род. в 1927 г.).

Повестью «Кошка и мышь» («Katz und Maus», 1961) мы знакомим советских читателей с творчеством немецкого писателя Гюнтера Грасса (Западный Берлин), произведения которого неизменно вызывают споры и разноречивые оценки критики и читателей.

Широкую известность получили его романы «Жестяной барабан» («Blechtrommel», 1959) и «Собачья жизнь» («Hundejahre», 1963), написанные в гротескно-сатирической манере.

Г. Грасс удостоен многих литературных премий.

О романе «Собачья жизнь» см. в нашем журнале статью А. Карельского «Блеск и нищета сатиры» (№ 6, 1965).

■

ЕЖИ КРАСИЦКИЙ — JERZY KRASICKI (род. в 1927 г.).

Польский писатель и драматург. В 1948 г. окончил Краковское драматическое училище, а в 1950 г. филологический факультет Ягеллонского университета в Кракове. С конца 50-х годов успешно сочетает свою актерскую работу с литературной деятельностью. В 1961 году вышли его сборник рассказов «Тот берег» («Tamten brzeg») и повесть «Из одного теста» («Z tej samej gliny»), а затем еще две повести «Эмилия и незнакомец» («Emilia i nieznajomy», 1963) и «Граница молчания» («Granica milczenia», 1965). Е. Красицким написаны несколько пьес для театра: «Жил-был король» («Był sobie król»), «Пусть живет вечно» («Oby żył wiecznie»), «За наши и ваши грехи» («Za nasze winy i wasze»). Эти пьесы в разные годы шли на сценах польских театров. В последнее время он пишет также телевизионные пьесы.

В этом номере мы знакомим советских читателей с творчеством Ежи Красицкого, публикуя его телепьесу «Годовщина свадьбы» («Rocznica ślubu»), написанную весной 1967 года. «Годовщина свадьбы» была показана по общепольской программе телевидения в декабре прошлого года.

■

ДЖОН ЧИВЕР — JOHN CHEEVER (род. в 1912 г.).

Видный американский писатель, мастер новеллы, известный советским читателям по изданным на русском языке сборникам рассказов «Исполинское радио» и «Ангел на мосту». Дж. Чивер — автор романа «Хроника семьи Уопшот» («The Wapshot Chronicle», 1957), отмеченного в 1958 г. в США Национальной премией за лучшее произведение художественной литературы, а также романа «Скандал в семействе Уопшот» («The Wapshot Scandal», 1963) и др.

Рассказ «Геометрия любви» перепечатывается нами из американского журнала «Сатердей ивнинг пост» («The Saturday Evening Post»).

АНДЖЕЙ БРЫХТ — ANDRZEJ BRYCHT (род. в 1935 г.).

Имя этого молодого польского писателя и публициста знакомо нашим читателям — «Иностранная литература» в мартовском номере прошлого года опубликовала его повесть «Дансинг в ставке Гитлера», с живым интересом встреченную читателями многих стран.

С 1953 года А. Брыхт печатает в литературных журналах стихи, репортажи, рассказы. Он — автор книги очерков «Красный уголь») («Czerwony węgiel», 1960), книги стихов «Время без Марии» («Czas bez Marji», 1961), сборников рассказов «Сухие травы» («Suche trawy», 1961), «Оседание земли» («Opadanie ziemi», 1962), «Любовные сцены» («Sceny miłosne», 1967) и книги очерков «Репортаж из Мюнхена» («Raport z Monachium», 1967), написанной в результате поездки в ФРГ.

Летом 1967 года писатель побывал во Вьетнаме, воочию видел злодеяния американских агрессоров. Его непосредственными впечатлениями продиктованы репортажи «Мой Вьетнам» («Mój Wietnam»), публиковавшиеся польским еженедельником «Культура» и готовящиеся к изданию отдельной книгой. Несколько отрывков из этих репортажей мы предлагаем вниманию читателей.

■

УИЛЬЯМ КУПЕР — WILLIAM COOPER (H. S. HOFF) (род. в 1910 г.).

Английский писатель, по профессии физик. Автор романов: «Молодые люди» («Young People», 1958), «Сцены семейной жизни» («Scenes from Married Life», 1961), «Мемуары нового человека» («Memoirs of a New Man», 1966) и др. У. Куперу принадлежит также монография о Сноу («C. P. Snow», 1959).

Статья «Эра острых ощущений» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, С. А. ДАНГУЛОВ (первый зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Г. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Пятницкая, 41. Телефон В 3-51-47.

А 00784. Сдано в производство 6/III-68 г. Подписано к печати 25/IV-68 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 32,05. Зак. 778.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394

Вниманию читателей журнала «Иностранная литература»

В ИЮНЕ 1968 ГОДА ИСТЕКАЕТ СРОК ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА». ВЫ МОЖЕТЕ ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ.

В ИЮЛЬСКОМ — ДЕКАБРЬСКОМ НОМЕРАХ 1968 ГОДА БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ НОВЫЕ РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, НОВЕЛЛЫ, РАССКАЗЫ.

В портфеле редакции:

Питер Абрахамс (ЮАР) — ВО ВЛАСТИ НОЧИ (роман)
Рамон Амайа Амадор (Гондурас) — ОПЕРАЦИЯ «ГОРИЛЛА» (роман)
Иоганнес Бобровский (ГДР) — ЛИТОВСКИЕ КЛАВИРЫ (повесть)
Уильям Голдинг (Англия) — ШПИЛЬ (роман)
Георгий Джагаров (Болгария) — ПРОКУРОР (пьеса)
Имре Добози (Венгрия) — ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ (повесть)
Джон Квирк (США) — ПОБЕДИТЕЛИ БЕЗ ЛАВРОВ (роман)
Бетти Коллинз (Австралия) — В МЕДНОМ КОТЛЕ (роман)
Артур Миллер (США) — ЦЕНА (пьеса)
Р. К. Нарайан (Индия) — ПРОДАВЕЦ СЛАДОСТЕЙ (роман)
Эдвард Олби (США) — ВСЁ В САДУ (пьеса)
Азиз Несин (Турция) — СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ, МЕТ! (пьеса)
Нгуен Динь Тхи (ДРВ) — ЛИНИЯ ФРОНТА ПРОЧЕРЧИВАЕТ НЕБО (повесть)
Джованни Пирелли (Италия) — ПО ПОВОДУ ОДНОЙ МАШИНЫ (роман)
Эрвин Штриттматтер (ГДР) — НОВЫЕ РАССКАЗЫ

В ЖУРНАЛЕ БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ СТАТЬИ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ, РЕЦЕНЗИИ НА КНИЖНЫЕ НОВИНКИ. ЧИТАТЕЛИ НАЙДУТ В ЖУРНАЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ, ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ, ПОЗНАКОМЯТСЯ С НОВЫМИ РАБОТАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ, УЗНАЮТ О НОВОСТЯХ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО И ТЕАТРА.

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати.

Подписная цена

на 6 месяцев — 4 р. 80 к.
на 3 месяца — 2 р. 40 к.